# Иностранная литература

1966
12

# Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР


## СОДЕРЖАНИЕ


### *РОМАНЫ*

**ЧАРЛЬЗ П. СНОУ** — Коридоры власти (Окончание) 30

### *ПОВЕСТИ*

**ГЕНРИХ БЁЛЬ** — Чем кончилась одна командировка (Окончание) 128

### *РАССКАЗЫ*

**АННА ЗЕГЕРС** — Пророк, Поединок (Из книги «Сила слабых») 3

### *СТИХИ*

**ДАШДОРЖИЙН НАЦАГДОРЖ** — Четыре времени года и др. 26

**РАДОВАН ЗОГОВИЧ** — Из новой книги 124

### КРИТИКА

**С. ЛАРИН** — Связь времен (Заметки о польском рассказе) 191

**А. ПУЗИКОВ** — История и современность (О новых книгах французских писателей) 197

### АНКЕТА «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

**РЕАЛИЗМ СЕГОДНЯ** 204



12

ДЕКАБРЬ

1966

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

*Москва*

## НАШИ ГОСТИ

**Л. Д.** — Новое в румынской литературе 229
**Т. КУДРЯВЦЕВА** — Писатель-коммунист 231

## КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

**Заметки на полях зарубежных газет и журналов**

**И. БЕРНШТЕЙН** — Деловая, творческая атмосфера 233
**А. СЛОВЕСНЫЙ** — Африка, кино и... тачка, которую носят на голове 235
**И. МЛЕЧИНА** — Восстановить истинный образ поэта 237
**М. АЛЕКСАНДРОВА** — Борьба и творчество 239

## ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

**В. ЦИГАЛЬ** — В гостях у итальянского скульптора 242
**Ю. КОЛПИНСКИЙ** — Творчество Манцу 243

## ПУБЛИЦИСТИКА

**ДЖЕК ЛИНДСЕЙ** — Гуманизм Ленина 255
**РОНАЛД ФРЕЗЕР** — Фабрика новостей 260

## ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

**ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ** — Африканский блокнот (Главы из книги. Окончание) 267
**ЮСУФ АС-СИБАИ** — На пороге нового подъема 276

## НАША ПОЧТА

**ЧИТАТЕЛИ О ЖУРНАЛЕ** 278

## СРЕДИ КНИГ

### ИЗДАНО В СССР

А. Турков — В стране Библа. ◇ Григорий Бакланов — Сущая правда. ◇ В. Макаренко — Честь и совесть Филиппин. ◇ А. Сухочев — В трудном пути 282

### ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Е. Осенева — Свидетельство, которому можно верить. ◇ Е. Книпович — «Актовый зал» Германа Канта. ◇ Галина Жучкова — Главный герой — революция. ◇ Т. Мотылева — О дешевом отчаянии 289

## НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

297

## ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 300

## АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

314

**СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ЗА 1966 ГОД (№№ 1—12)** 315

*На обложке: картина румынского художника Брэдуца Ковалиу «Иоана».*

АННА ЗЕГЕРС

# Рассказы

## Из книги «Сила слабых»

Перевод с немецкого Вс. РОЗАНОВА

## ПРОРОК

Свою первую статью Стефан опубликовал, когда ему было пятнадцать лет — еще в первую мировую войну. Газету отпечатали подпольно в одном из предместий Будапешта, всего в нескольких сотнях экземпляров, и тут же раздали.

Стефан учился тогда на печатника. Он стоял у машины, тискавшей газету, и сам помогал ее распространять. Впервые сердце его исполнилось горделивой радости: он написал статью, которую люди, им уважаемые, сочли достойной того, чтобы ее напечатать. А сколько человек прочтут ее потом!

И покуда он, придя к началу смены, под самым носом у полицейских неподалеку от заводских ворот раздавал сложенный пополам листок — такой маленькой была тогда газета,— он был счастлив и даже не вспоминал об опасности: ведь все эти люди скоро прочтут и если не сегодня, то завтра непременно согласятся с его такими верными мыслями, высказанными такими верными словами. «И пусть не только те люди, которым сейчас попадет в руки наш листок,— думал Стефан,— пусть и другие узнают наши верные мысли, и, может быть, именно они, а не первые случайные прохожие поймут их скорей и лучше...»

Не много прошло времени — Стефан еще не выучился на печатника,— и друзья велели ему написать вторую статью; она пришлась им даже больше по душе, чем первая, ему тоже.

Все мысли и желания Стефана и его друзей были направлены на одно: как можно скорей покончить с войной! И поэтому они готовили стачку на большом патронном заводе. Но подвал, где печаталась газета, обнаружили — кто-то их выдал,— дом оцепила полиция, и редакцию арестовали. Тогда, чтобы не было перебоя, газету решили печатать на квартире одного из товарищей. А Стефан писал сразу несколько статей, подписывая их разными именами,— вот все и думали: аресты-то ни к чему не привели, так только, схватили кого попало.

Господа правители не хотели, да и не могли понять, что власти их приходит конец. Не гнушаясь ничем, они опять поставили на карту жизнь миллионов людей; за этим последовала новая волна арестов. На сей раз схватили и Стефана, долго избивали и допрашивали. Попался кто-то из разносчиков газеты, не выдержал пыток и выдал его. Когда

и от Стефана потребовали, чтобы он назвал имена товарищей, он взял все на себя, сказав, что сам писал газету от первого до последнего слова. В это уж никто не поверил, его ведь не считали даже автором статей, подписанных его собственным именем! На вид ему и пятнадцати лет не давали — худой, болезненный мальчонка, выросший в темных городских квартирах и в мастерских. Во время допроса Стефану выбили зубы, а потом бросили в общую камеру, где он долго еще плевал кровью.

Освободила его революция, вспыхнувшая в его стране после Октябрьской революции в России. Он стал членом редколлегии молодежной газеты. Когда же Хорти с помощью солдат задушил революцию, Стефану удалось бежать в Австрию. А скольких его друзей поубивали! Одному из них—они вместе учились в типографии — привязали камень к ногам и утопили в Дунае.

С той поры Стефан тяжелым физическим трудом добывал кусок хлеба и кое-как перебивался, кочуя из одной страны Европы в другую. Иногда он писал статьи для партийного органа той страны, где находил убежище. Читателям невольно запомнилось его имя — писал он просто, убедительно, и для людей, которые в те трудные и беспокойные времена не могли разобраться в событиях, объяснения его служили часто опорой и путеводной нитью. Но осознавали это люди гораздо поздней, спустя годы. Стефана же всякий раз, когда он видел свои мысли напечатанными в переводе на язык приютившей его страны, охватывала горделивая радость, как давным-давно, когда он увидел первую свою статью, написанную в пятнадцать лет. Над рукописью он работал долго, отшлифовывая ее, стремясь высказать именно то, что ему хотелось, чтобы не было ничего лишнего, но чтобы и мысли не скакали; а получал он за статьи гроши, и сводить концы с концами ему никак не удавалось. И все же он не отступал, не давал себе покоя до тех пор, пока мысли его не обретали предельно точную форму. Новые языки ему давались легко, и с переводчиком, которого ему выделяли в помощь, он сражался за каждое слово.

Так он и жил в двадцатых и начале тридцатых годов. И рад был, когда ему, благодаря побочному заработку, удавалось кое-как прокормить семью. Ведь тем временем он женился, приходилось заботиться о жене, а вскоре и о двух ребятишках. Жену он взял себе под стать — хрупкую, из себя невидную. Но когда она замечала, что муж в глубине души гордится своей последней статьей, она хорошела от радости. Больше всего на свете она любила такое выражение его лица, от всего пережитого казавшегося старым, но вместе с тем и мальчишеским. А какие добрые и внимательные были у него глаза! Стефану бывало немножко стыдно оттого, что она угадывает его потаенную гордость и ее лицо светится гордостью за него.

И Стефан и его жена Тереза были вне себя от счастья, когда узнали, что в результате такой длительной, тихой и незаметной работы — во всяком случае, им обоим так представлялось — его вдруг назначили членом редколлегии большого рабочего журнала, выходившего одновременно во многих странах на многих языках. Зато читателям подобное назначение показалось вполне разумным и ни в коей мере не неожиданным. Глубокий анализ событий, содержавшийся в его статьях, заставлял задумываться, они пользовались широкой известностью, и, когда положение дел принимало особо острый характер, люди с нетерпением ждали их.

В то время — это было незадолго до прихода Гитлера к власти — Стефан жил в Берлине. Ему уже не надо было хвататься за что попало, только бы заработать на кусок хлеба. Досуга для книг и для любимой работы было у него теперь вдоволь, но жизнь ничуть не стала легче.

Приходилось много разъезжать. Он своими глазами хотел увидеть, как развиваются события не только в Берлине и других немецких городах, но и во всей Европе, какое влияние они оказывают на людей.

Жена его, Тереза, и без того некрепкого здоровья, скоро совсем слегла. До этого ей удавалось скрывать от него свой недуг. А он, всегда видевший только ее улыбку, ее глаза, долго не замечал, как лицо ее поблекло и осунулось. Когда он бывал дома — случалось это в тот год очень редко,— ей удавалось перебороть боль. Днем и ночью он писал, делясь с людьми своим огромным, обогащавшимся после каждой поездки опытом. Быть может, только когда дни Терезы уже были сочтены, он осознал, что вместе с ней уходит навсегда и его счастье... После смерти жены дочь, еще школьница, взяла на себя заботы по хозяйству.

В десятках стран люди с жадностью набрасывались на его статьи, ибо в самое смутное время — между пожаром рейхстага и пожаром второй мировой войны — они несли им искры разума.

Несколько раз Стефан ездил и на фронт в Испанию, хотя путешествовать не любил ни на самолетах, ни в поездах, ни в автомобилях. Раньше времени он погрузнел, у него появилась какая-то нездоровая полнота. Он был неловок, неуверен, даже конфузлив, когда надо было купить самый обыкновенный проездной билет. Возвращаясь домой, он так никогда и не мог понять, почему, собственно, Тереза не встречает его. Печаль о ней навсегда запечатлелась в его умных, спрятанных за стеклами очков глазах.

Мюнхенское соглашение застигло его во Франции, и он тут же написал, что думает о словах Чемберлена «Я привез вам мир». Статья его всколыхнула людей, она предостерегала от опасной беззаботности, от пустых надежд, она предупреждала о надвигавшейся войне.

Год спустя в Париже, сидя в маленьком номере гостиницы с покатым потолком, он писал, что французское правительство, прикрываясь войной, вводит чрезвычайные законы, направленные против своих же рабочих, что оно испугалось союза с СССР против Гитлера.

Статья эта была опубликована на многих языках, она заставила сбитых с толку людей задуматься, помогла им понять последние события.

Солдаты вермахта ворвались во Францию. Они заняли Париж. То ли Стефан сам замешкался с отъездом,— а ведь он так ясно предвидел все, что должно было произойти! — то ли его нарочно обнадеживали, но в конце концов он оказался брошенным на произвол судьбы, ибо как бы глубоко он ни разбирался в мировых событиях — в людях, с которыми ему приходилось сталкиваться, он разбираться не умел.

Еще задолго до оккупации гестапо наметило себе жертвы и установило за ними слежку. А Стефан, сидевший в своем гостиничном номере на левом берегу Сены, думавший и писавший о том, о чем многие потом с жадностью читали, давно уже был для гитлеровцев бельмом на глазу. Так и не дождавшись обещанной машины, он решил пешком добраться до ближайшей железнодорожной станции под Парижем и уехать первым попавшимся поездом. Но прежде, чем он собрался, его арестовали в том же самом номере гостиницы и отправили в Германию — в лагерь.

За всем, что было с ним там, за всеми мыслимыми и немыслимыми пытками он следил внимательно и печально, как будто все это происходило не с ним самим. Рядом мучили и других людей, а он все точно запоминал, как будто ему предстояло писать об этом в газете.

Как-то раз его сильно ударили по голове, очки слетели и разбились. Он стал совсем беспомощным. Многие заключенные пытались ему помочь — кто поднимет то, что он уронил, кто даст корку хлеба, кто просто скажет доброе слово. В их такой невыносимой жизни от слабого,

беспомощного Стефана словно исходила какая-то сила. Они ловили каждое его слово, передавали его объяснения от одного к другому, особенно после того как Гитлер напал на Советский Союз и, намереваясь и здесь молниеносно добиться победы, вторгся в глубь страны.

Однажды ночью Стефана разбудили и отвели к коменданту лагеря. Тот сидел за столом со своим адъютантом в окружении нескольких эсэсовских офицеров. Должно быть, им только что взбрело в голову вызвать Стефана. Когда Стефан вошел, разговор сразу умолк, и все уставились на него, находясь где-то на грани между предельной взвинченностью, вызванной бессонной ночью, и полным опьянением. Комендант — он один был еще относительно трезв — сказал: мол, известно, что у евреев и коммунистов Стефан слывет пророком, он им давно уже предсказывал будущее. Даже вот предсказал, что фюрер возьмет власть и завоюет всю Европу. Пусть же Стефан и теперь попророчествует, но на сей раз для истинных господ, а он, комендант, выделит отдельное помещение, где ему никто не помешает написать о том, что будет с Европой через три года.

Стефан ответил, что готов это сделать, однако без очков писать не может.

Рассмеявшись, комендант сказал: «За этим дело не станет!» — и тут же отдал приказ лагерному врачу подобрать очки.

Стефана отвели обратно в барак, там он и рассказал своему товарищу о приказе лагерного начальства. Затем он простился с ним и попросил передать привет друзьям.

Рано утром Стефана привели в отведенную для него комнату. На столе он увидел очки, бумагу, перо и сытный завтрак — как будто он и не заключенный вовсе! Стефан попросил еще географическую карту — надо ведь было написать обо всем со скрупулезной точностью.

Своим друзьям по несчастью Стефан не раз объяснял, почему в Советском Союзе Гитлер не добьется молниеносной победы — там весь народ встал против него. Там Гитлер потерпит поражение, как в свое время его потерпел Наполеон. Много свидетельств тому, что близится конец его власти, и Стефан не уставал перечислять их друзьям.

Сейчас Стефан решил насладиться предоставленными ему покоем и тишиной, подумать без помех. Каждое слово он тщательно взвешивал. Неизбежность краха гитлеровской «империи» выступала в его анализе четко и ясно, как решение арифметической задачи. Не спеша, терпеливо подыскивал он точные выражения для каждой мысли, как будто его статья сейчас пойдет в печать, затем ее распространят, и она будет служить людям поддержкой, принесет им надежду. В том, что она принесет ему, он не сомневался. Так он сидел и писал своим аккуратным почерком, в котором не было завитушек и который так легко было читать.

Закончив, он сложил листы и сказал охраннику, стоявшему у дверей: «Я готов». Как и было приказано, охранник немедленно отнес рукопись коменданту.

Злым, каркающим смехом разразился комендант, прочитав все до конца. А листы швырнул адъютанту, молоденькому своему любимчику. Но вдруг лицо его налилось кровью, он вырвал листы из рук адъютанта и заорал:

— В огонь!

Покуда адъютант комкал листы и бросал их в печь, комендант раздумывал, что лучше — отправить самого пророка, как и его пророчество, в печь или же, не дожидаясь ближайшего эшелона в лагерь уничтожения, прикончить его на месте.

— Бункер «А»! — кратко приказал он эсэсовцу, обычно выполнявшему подобные поручения. Палач и его подручный хорошо знали, что из бункера «А» никто еще живым не выходил.

А Стефан, когда его сняли с работы в каменоломне, едва они туда пришли, понял по лицам окружающих, по пинкам и ударам, а под конец и по кирпично-красным стенам без окон, за которыми навсегда исчезло столько его товарищей, что́ его ждет.

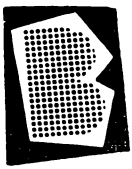
Не огонь, а ледяной холод принес ему смерть — это и была последняя мысль, вспыхнувшая в его мозгу, последняя искра жизни в этом каменном гробу.

Когда по истечении точно выверенного срока охранник открыл двери, пули уже не понадобилось, да и пинок его не имел никакого смысла. Узник окоченел.

В лагере его имя перестали выкликать. Как будто и не было здесь такого человека и ничего-то он не пророчествовал. Тихо ушел Стефан. А тем временем оглушительные взрывы сотен тысяч снарядов возвещали о близком конце мировой войны.

Но заключенный, которому Стефан доверил свою историю, перед тем как в последний раз уйти из барака, позаботился, чтобы рассказ о том, как кончилась жизнь Стефана, люди передавали из уст в уста.





# ПОЕДИНОК

Вскоре после окончания войны остатки сборной колонны — переселенцы, беженцы, отбившиеся от своих частей солдаты — добрались до маленького городка в Тюрингии. И хотя многие по пути отстали — кто на своих набрел, кто дорогою осел, получив жилье в какой-нибудь деревне,— оставшихся оказалось слишком много для предоставленного им на ночь барака. Кое-кому, в том числе и женщинам и детям, пришлось устраиваться на ночлег прямо под дождем — ведь те, кто посильней, отупевшие и обозленные бесконечными мытарствами, первыми захватили себе теплое и сухое местечко. Правда, прогнивший барак мог рухнуть им на голову.

В колонне оказался и шедший из плена солдат по имени Эрнст Хельвиг. Шагая в дождливые сумерки от станции к бараку, он, как это вошло уже в привычку, внимательно, боясь что-нибудь упустить, приглядывался ко всему, словно городку и впрямь предстояло стать местом боевых действий.

Хельвиг не лег сразу, как остальные, а кликнул трех парней, с которыми успел познакомиться в пути, растолкал крепкую, не совсем еще отупевшую от усталости девушку и сказал:

— Пошли со мной!

— Куда это? — спросили его.

Он привел их снова на разбомбленную станцию и, сразу же взявшись сам за работу, приказал собрать валявшиеся кругом доски и заделать стены довольно хорошо сохранившегося пакгауза. Потом, прихватив двух помощников, выгнал беженцев — как они ни ворчали, ни ругались — из грозившего обвалиться барака. До утра они заткнули последние дыры в пакгаузе, который стал надежным и сухим убежищем для всех.

В столь трудные времена всякий разумный поступок был благом, потому он и вызвал доверие к Хельвигу. Благодаря его заботам то тут, то там возникали временные жилища — ведь беженцы все прибывали. Вскоре Хельвиг сделался незаменимым помощником бургомистра, да и сам начал работать — сперва по восстановлению электрохозяйства городка, а затем на фабрике электроприборов, уже наладившей произ-

водство. Ловкости и сноровки ему было не занимать стать, хотя на электротехника он никогда не учился — война унесла его ученические годы.

День Хельвига был загружен до предела. Лишь изредка ему удавалось вырваться, и тогда он ходил гулять с девушкой, которая помогала ему, когда все они сюда прибыли. Звали ее Марией. Она работала теперь на металлическом заводе, неподалеку от городка. Как-то раз она спросила, неужели у него нет ни дома, ни семьи. «Все погибли,— ответил он.— Брата убили на Крите, а отца — тут поблизости, сразу за речкой. Его забрали в фольксштурм перед самым концом».

«Вот почему он строгий такой и неприветливый»,— подумала Мария и взяла его за руку. А как он улыбнулся ей по-доброму!

Скоро они поженились. Крыша над их комнатушкой почти не протекала.

Хельвиг теперь часто сожалел, что не может поговорить с отцом — тот когда еще предостерегал сыновей от Гитлера и его войны! Ведь старик-то был прав.

Иногда Хельвиг встречал товарищей отца, социал-демократов — добродушных, но неумных стариков. А когда он у бургомистра или на фабрике имел дело с коммунистами — те казались ему резкими, самонадеянными, хотя он и должен был признать, что во многом они правы. После создания Единой партии он решил, что теперь-то каждый отдаст ей все свои силы. Он во всяком случае отдал ей все что только мог.

Директор фабрики электроприборов, где работал Хельвиг, бежал на Запад, прихватив с собой патенты. Преемник его, пожилой и очень честный человек, долгие годы провел в концлагере. Но он не знал дела и слушался дурных советов, а толковые нередко с подозрением отвергал. Хельвиг злился, видя, как инженеры и старые рабочие смеялись над новым директором.

Однажды Хельвигу дали понять, что хорошо бы ему поступить на заочные курсы: из него, мол, выйдет неплохой инженер, на которого можно будет положиться. Человек он надежный, дело знает, на работе и на собраниях выступает с толковыми предложениями и всегда добивается, чтобы они были проведены в жизнь. Все еще помнят, как настойчиво и энергично он выискивал возможности помочь самым различным людям. Такие, как он, нужны теперь больше всего. И если он будет заниматься на заочных курсах с тем же упорством и энергией, с какими берется за всякое важное дело,— дорога в высшую школу ему открыта.

Хельвиг колебался. Это предложение отвечало его тайному, часто подавляемому желанию, но казалось ему неосуществимым. Знать, больше знать — вот что было его тайной мечтой. И Хельвиг принял предложение. С жаром взялся он за учебу. Марии не раз приходилось убаюкивать малыша на улице или забегать с ним к соседке. С грустью думала она: «Никому-то от нас нет покоя». Хельвиг говорил ей, что ему надо готовиться — скоро первый экзамен.

Примерно в это же время на собраниях в Берлине и других городах обсуждали школьную реформу. Спорили и о том, можно ли сократить срок подготовки в высшую школу и как это сделать. В прокуренном зале, прислонясь к стене, стоял учитель Карл Бётхер. Он молча выслушал проект реформы, знакомый ему из газет, потом речи сторонников и противников ее. И вдруг раздался голос — громкий, самоуверенный,— лица говорившего он в дымном чаду не мог разглядеть. Бётхер стиснул зубы. Он дал себе зарок не вмешиваться, а только вни-

мательно слушать, чтобы составить правильное представление о людях, часто казавшихся такими чужими, что ему делалось жутко.

До прихода Гитлера к власти Бётхер был преподавателем Высшего технического училища в Дрездене. По настоянию нескольких учителей-нацистов его сначала перевели с понижением, затем вовсе уволили, а вскоре и арестовали. Долго перебрасывали его из лагеря в лагерь, а последним местом заключения стала для него каторжная тюрьма в Бранденбурге. Во время воздушного налета Бётхер бежал. День за днем, неделя за неделей скрывался он от погони. Да и свобода, которой он наконец дождался, оказалась не сладкой. Все его близкие погибли. И теперь близкими стали те, кто был рядом. Изголодавшийся, измученный и измотанный, он целиком отдался работе. И хотя в ту пору головы большинства людей были безнадежно опустошены, как и города, лежавшие в развалинах, кое у кого в глазах зажглась вера, жажда изменить все к лучшему. Молодежь, вечно толпившаяся вокруг Бётхера, рвалась учиться, словно в этом смятенном мире учение было единственной опорой.

А Бётхер помогал всюду, где только была в нем нужда. То преподавал физику выпускникам, то руководил школами, то организовывал курсы для новых учителей...

Сейчас, стоя в битком набитом зале, он слушал этот громкий, самоуверенный голос. Резко, безапелляционно голос вещал о том, что немецкие школы испокон века превосходно готовили учащихся к поступлению в высшие учебные заведения. Изменений тут вводить не следует, да и немыслимы они: опасно сокращать срок подготовки молодых людей.

Сколько раз уже Бётхер слышал подобные возражения. Однако насторожиться его заставило другое — самый голос. Давно когда-то перед своим увольнением из Высшего технического училища в Дрездене он слышал этот запомнившийся ему голос. Владельцем голоса был высокий, чрезвычайно прямо державшийся человек с копной густых светлых волос. Кончив говорить, оратор как-то сразу исчез за спинами присутствовавших. Кое-кто захлопал, кое-кто рассмеялся. В зале зашумели.

Осенью Карл Бётхер объезжал семинары в разных уголках страны. Слушатели их, и старые и молодые, окончив заочные курсы и вечерние школы, собирались здесь, чтобы еще раз повторить программу перед вступительными экзаменами в высшие учебные заведения. Бётхеру предстояло решить, могут ли подобные семинары, как на то надеялись, подготовить для высшей школы новых людей, и не только гимназистов и студентов, выброшенных войной из привычной колеи, а детей рабочих — умных, жаждущих знаний, прежде лишенных возможности учиться.

Знающих работников тогда везде не хватало, и потому Бётхеру поручили проверить буквально все, прежде всего, разумеется, правильно ли преподносится слушателям учебный материал, усваивают ли они его, а затем заглянуть и в общежития, посмотреть, как живут учащиеся, как их кормят.

После этой поездки Карл Бётхер собирался, наконец, взять отпуск. Еще на курсах новых учителей он познакомился с Моникой Функ. Как и он, она осталась одна-одинешенька на всем белом свете. Недавно они договорились вместе поехать в отпуск. И остаться вместе навсегда — так думал про себя каждый.

Последним пунктом на пути Бётхера оказался небольшой замок, стоявший в стороне от шоссейных дорог. Владельцы его бежали, а замок, вероятно, национализировали. В бывших покоях устроили спальни и классы для слушателей семинара.

Бётхеру понравился замок, хотя за толстыми его стенами было уже холодновато, как и в запущенном парке. Первой из нынешних его обитателей Бётхеру попалась экономка фрау Ноль — маленькая коренастая женщина. «Должно быть, честная,— подумал он.— Такая и из скудных пайков сделает все, что только можно». Некий Зельбдрит, видно, себе на уме, ведал здесь всеми техническими делами. Он с подозрением разглядывал Бётхера: очевидно, недолюбливал приславших его, да и все их затеи.

Слушатели семинара уже пообедали. Бётхер поднялся по широкой винтовой лестнице. Белые перила с золочеными шишечками были захватаны. Широкие площадки и пологие ступени больше подходили для торжественной поступи и приподнятых шлейфов, нежели для долговязых ног и торопливых скачков Бётхера. Первая дверь, которую он открыл, вела в библиотеку.

Здесь сидели молодые люди, вероятно уже после занятий — болтали, курили. На полках, за проволочными сетками стояли книги бывших владельцев замка. Не прерывая веселой беседы, молодые люди мельком взглянули на вошедшего. Он повернулся, сошел по винтовой лестнице и открыл дверь в класс.

В незанавешенные окна лился желтоватый свет, процеженный через листву каштанов. На окнах без всякой пользы болтались клочья гардин. На стене, затянутой желтым шелком, висела большая доска. Перед ней стоял слушатель и что-то чертил. Трое сидевших за столом — один из них годился Бётхеру в отцы — недобро взглянули на него. А тот, кто чертил на доске, даже не обернулся.

В ответ на свой вопрос Бётхер услышал, что оба преподавателя, Энгельхорн и Борхерт, вероятно, ушли в деревню, в трактир. А дрезденский профессор, руководитель семинара, у себя в комнате. Фамилия его Винкельфрид. Бётхер подумал: «Уж не тот ли это Винкельфрид, которого я знаю?»

Он снова поднялся по лестнице — степенный подъем ему теперь даже понравился — и постучал в указанную дверь.

— Войдите! — услышал он и тотчас же подумал: да, это он, тот самый Винкельфрид.

В комнате пахло дровами, горящими в печи. Винкельфрид слегка приподнялся в кресле. Вид у него был моложавый, хотя волосы его так же выцвели, как серый шелк, затягивавший стены. Он был высокого роста и держался то чопорно, то небрежно, соответственно произносимым словам — иногда самоуверенным, иногда брошенным вскользь. Его перекрашенная шелковая домашняя куртка вполне могла бы принадлежать бежавшему владельцу замка, этакому обедневшему сельскому дворянину. Бёхтер уже не сомневался: да, это он.

— Что-то дымком попахивает,— были первые слова Винкельфрида.— Я приказал затопить, хотя это и вызвало возражения. Топить, видите ли, разрешено только после первого октября. Здесь, как и всюду, вот уже тринадцать лет привыкли подчиняться только приказам.

Бётхер подумал: «А тогда ты привык подчиняться приказам уже через тринадцать недель».

Пожав ему руку, Винкельфрид сказал:

— Какое счастье, что вы наконец выбрались к нам! Я боялся, как бы нас тут не заморозили согласно плану.

«А он ведь меня не узнает»,— подумал Бёхтер. Впрочем, у него тоже не было причин напоминать Винкельфриду об их первых встречах. На вопрос, составил ли он себе уже некоторое представление о слушателях, Винкельфрид ответил небрежно, с улыбкой:

— Если вы, дорогой друг, обладаете хоть толикой гражданского мужества, которое, кстати говоря, у нашего народа редкость, вы безот-

лагательно сообщите вашему начальству то, о чем я уже заявлял неоднократно, а именно: весь учебный план — сплошная бессмыслица, поскольку он составлен в согласии с программой заочных курсов и вечерних школ, имеющих целью готовить людей несведущих и даже невежественных, сначала для моего семинара, а затем и для ученой карьеры. Именно это обстоятельство и породило у слушателей, порой вполне честных и даже могущих быть полезными, безумные надежды. Они воображают, будто могут здесь подготовиться к высшей школе, к специальностям, кажущимся им заманчивыми. Однако им никогда не дорасти до них.

— Почему бессмыслица? Почему безумные?

— Сама идея смехотворна! — воскликнул Винкельфрид.— В отведенные нам часы никто не способен восполнить то, что подготовленная в нормальной школе молодежь черпала в течение многих лет у опытнейших педагогов. Вы хотите, чтобы эти полузнайки — я назвал бы их нуворишами, ибо поистине они нувориши во всех областях знания,— занимали ответственные посты!

Последнюю тираду он произнес резко, но не переставая улыбаться и ни разу не запнувшись.

— Желаете закурить?

— Да, благодарю,— ответил Бётхер. Гнев его улетучился вместе с дымом сигареты. Он спросил: — Зачем же вы приехали, если заранее считаете свое преподавание здесь бессмысленным?

— Меня спросили, готов ли я взять на себя руководство семинаром. И я согласился,— ответил Винкельфрид.— К тому же здесь есть несколько молодых людей, действительно нуждающихся в моей помощи.

— Вероятно, вы более сведущи в своей области, чем многие другие. Ученики смогут у вас немало почерпнуть.

— Только некоторые ученики,— сказал Винкельфрид.— В Берлине, вероятно, полагают, что профессор Винкельфрид способен вытянуть всех. Добрая половина учащихся вообще не имеет ни малейшего представления о материале. Ну, а те, кто и до семинара были знакомы с ним, разумеется, справятся.

— Вы разрешите мне завтра утром присутствовать на ваших занятиях? — спросил Бёхтер.

— Только что собирался вам это предложить,— поспешил заверить Винкельфрид. На его продолговатом холеном лице не отражалось ничего — ни того, что делалось в его душе, ни того, что происходило в окружающем мире.— Право, не знаю,— добавил он,— может быть, мой предмет вам покажется скучным.

«Неужели ты не узнаешь меня?» — чуть не сорвалось у Бётхера с языка. Но он сказал только:

— Нет, я охотно приду.

Когда Бётхер был уже в дверях, Винкельфрид спросил:

— Как долго вы намерены у нас оставаться?

— Я и сам еще не знаю. Может быть, до завтра, а может, и до послезавтра.— Их взгляды скрестились.

«Что это он так настроен против меня? — подумал Бётхер.— Очень я ему не понравился. А ведь не узнал...»

Винкельфрид еще раз окликнул его:

— Да, кстати, вероятно, это тоже входит в ваши функции: пожалуйста, позаботьтесь, чтобы протопили и у моих коллег.

— Попытаюсь.

Бётхер вышел в парк. Он шагал по каштановой аллее. Пятнышками сквозь листву просвечивало заходящее солнце. «Хорошо бы, Мони была здесь,— думал Бётхер.— Она так нуждается в отдыхе, а до моего отпуска еще очень далеко».

Парк незаметно переходил в сосновый лес. В конце аллеи виднелась белая фигура, застывшая в вечном прыжке. Бётхер поглядел вверх: кто бы это мог быть — нимфа или Диана?

Он присел на постамент. И вдруг заметил, что он здесь не один. За его спиной кто-то сидел с книгой в руках, затем встал и зашагал прочь, но не в сторону замка, а в лес.

Лучи солнца, будто выискивая самые затаенные уголки, косо просвечивали сквозь ветки. Подлеска здесь не было — всюду гладкая, устланная хвоей земля. Бётхер шел за удалявшимся незнакомцем. Ему хотелось заговорить с ним.

— Я здесь пройду в деревню? — спросил он, здороваясь.

Незнакомец мрачно ответил на приветствие. Лицо замкнутое, недовольное. Он сказал:

— Нет. Я и сам не знаю, куда ведет дорога.

— А вы разве не здешний?

— Нет, я живу в замке временно.

— Как так?

— Занимаюсь тут в семинаре.

— И нравится?

— Лучше бы не спрашивали. Завтра брошу все и уеду.— Голос его звучал спокойно, и все же Бётхер не мог отделаться от ощущения, что этот человек в чем-то разочарован и нуждается в совете, поддержке.

— Почему же вы решили все бросить? — спросил он и тут же добавил: — Только не подумайте, что я исподтишка выспрашиваю вас — в мои обязанности входит проверять учебные заведения и узнавать от учащихся и преподавателей, что у них хорошо и что плохо. Меня зовут Бётхер. Карл Бётхер.

— Да ладно уж. А меня — Эрнст Хельвиг. Кто-то ведь должен проверять, есть ли какой-нибудь толк в этих семинарах, успевают ли слушатели. Только я вам сразу скажу: я не успеваю. Не получается. Стараюсь, как могу, зубрю день и ночь — я ведь дома, ну, тем, кто меня сюда послал, обещал, что справлюсь, а теперь даже не боюсь признаться: нет, не справлюсь. Только стыдно вот, что за меня деньги платят, а я без толку тут торчу, но теперь решил: брошу все и уеду.

Мало-помалу Хельвиг рассказал, что с ним произошло здесь в замке, на семинаре. И добавил:

— Переоценили они меня дома. Я и поверил. Все мы падки на похвалы. А здесь есть ведь такие, для кого семинар одно повторение пройденного, освежение в памяти, так сказать,— гимназисты или те, что студентами были до призыва. Такие усваивают все играючи. Я мучаюсь, а они шутя решают задачи, которые задает нам профессор Винкельфрид. Да и экзамены сдадут без сучка, без задоринки. Из таких выйдут настоящие директора, какие раньше бывали. Они сдадут здесь экзамен и пойдут в университет. Да почему же им не получить диплома?

— Постойте,— прервал его Бётхер.— А те, что шутя решают задачи, они что ж, не объясняют вам ничего? А преподаватели? Они разве только в трактире время проводят? Не помогают вам?

— Да что там говорить, Винкельфрид все мне объясняет, как и другим. И оба учителя помощь оказывают. Но ведь для меня все вновь. Зубрю, зубрю, а потом все равно забываю. Да и забываю потому, что понял только наполовину. Мука одна...

Ужинали все вместе, преподаватели и слушатели, в большой белой столовой. Предки бывших владельцев замка — кто ласково, а кто насмешливо — улыбались со стен. Под потолком холодно и безрадостно мерцала хрустальная люстра — из экономии включали только две-три лампочки. На одном конце стола восседал Винкельфрид, справа и слева

щавый, в очках, был очень похож на бухгалтера; такой до конца дней своих будет служить верой и правдой какой-нибудь солидной фирме. «А может, он и был им,— подумал Бётхер,— впрочем, какое это имеет значение?»

Борхерт, долговязый молодой человек, оказался преподавателем железнодорожного училища. Его прикомандировали к семинару только на время болезни одного из педагогов; он давал консультации слушателям, проверял домашние задания.

Бётхер сел на другом конце стола между Хельвигом и пожилым молчаливым мужчиной, по фамилии Мюллер, вполне годившимся ему в отцы. Все вокруг говорили о еде и хвалили экономку — ту маленькую, коренастую. Она, мол, делом чести считает к каждому обеду, на который полагается один и тот же скудный паек, приготовлять самые разнообразные блюда.

На противоположном конце стола было очень весело. Больше всех смеялся Борхерт, долговязый учитель. Винкельфрид с серьезным выражением лица рассказывал одну смешную историю за другой. Похожий на бухгалтера Энгельхорн слегка усмехался. Сюда, до угрюмого конца стола, куда будто невзначай попал Бётхер, остроты Винкельфрида, смех Борхерта и насмешки Энгельхорна не долетали — они иссякали по пути, разобрать их было почти невозможно.

Хрустальная люстра внезапно погасла — прекратили подачу тока. Зыбкий ласковый свет трех свечей, поставленных быстрой рукой экономки, как-то размыл все черты, смягчил отчужденность, царившую за столом.

После ужина слушатели отправились в класс закончить подготовку домашних заданий.

— Вы нам немного не поможете? — обратился Винкельфрид к Бётхеру, когда они столкнулись на лестничной площадке. Свечи стояли уже на подоконниках, Бётхер не ответил. Винкельфрид сказал: — Ну тогда ни пуха ни пера.

Бётхер так разозлился, что готов был ударить Винкельфрида по физиономии. Он быстро зашагал в класс.

Здесь, сгрудившись, за столом сидело несколько молодых людей. Кто-то подскочил к доске, легко набросал чертеж и весело оттараторил доказательство. Друзья поддакивали ему: «Да, да, правильно»,— и что-то быстро записывали в тетради.

Бётхер нашел глазами Хельвига. Ему казалось, что он его давно и хорошо знает, не так, как остальных слушателей семинара. Хельвиг уже списал условие — добросовестно и аккуратно. Записал и задачи с формулами и доказательствами, необходимыми для решения.

— Хельвиг, покажи свою тетрадь! — крикнул невысокого роста человек с рыжим ежиком волос, когда вся молодежь покинула класс. Он мог бы казаться веселым и добродушным, если бы не боязливая напряженность, застывшая на его лице.

Четверо учеников склонили головы над тетрадями.

— Кто помнит, как решать?

— Все я понимал,— сказал слушатель с серым лицом, седыми волосами и резкими чертами лица,— а теперь вот вылетело из головы.

Бётхер стоял позади этих склонившихся над тетрадью людей — поистине они склонились под тяжестью забот и трудов! Он сразу понял, в чем суть: надо было высчитать объем катка прокатного стана. «Задача нетрудная»,— подумал он.

Вдруг Хельвиг резко отодвинул от себя тетрадь. Глаза его, серо-голубые, казалось, внезапно выцвели и потускнели, как у старика. Он растерянно посмотрел на Бётхера.

— Когда он объясняет, этот Винкельфрид,— сказал он,— и этот молодой, Либих, тоже, я все понимаю. А через минуту ничего уже не помню. Ни к чему мне здесь торчать!

Бётхер сказал:

— Успокойся, успокойся!..

— Никакого смысла нет время терять, да и деньги зря идут. Нет, я человек честный!

Старик, до сих пор молчавший, гневно забормотал:

— Хельвиг прав, я тоже бросаю. Сколько я ни прожил на свете, а всегда выполнял все, что обещал. И когда капповских бандитов в шею гнали, и во время мартовского восстания — я все делал как надо. И в Руре без меня не обошлось. Трижды сидел во времена Веймарской республики. Все двенадцать лет, пока этот проклятый Гитлер у власти был, за решеткой провел. А когда меня выпускали, я все равно делал, что надо было и что мне велели: ведь я обещал. Но меня опять сажали, чуть не прикончили, а как освободили нас, я сразу за работу и честно тружусь с тех пор. И в Дрездене мосты восстанавливал, и в Гарце металлургический завод в ход пускал. А теперь от меня потребовали, чтобы я на заочных курсах подучился, чтобы экзамен сдал, а потом, мол, меня назначат на должность, какую я заслужил, на меня положиться можно. Это все, конечно, правильно, да я вот не поспеваю, не усваиваю ничего. Первый раз, признаюсь, не могу сделать то, чего вы от меня требуете.

— Завтра же уеду,— сказал Хельвиг,— пусть дадут какую-нибудь работенку, все равно какую и где.

— Экзамен на разряд с тебя везде потребуют,— спокойно заметил Бётхер.— И непременно вот эту самую формулу спросят, и чертеж, и доказательство. А потом, что же тут трудного? Ты куда труднее уже решал. Вот, к примеру, этот каток, который нарисован на доске, у него же диаметр по всей длине одинаковый, стороны прямые — давай начертим в его разрезе треугольник. Давай, давай, не робей!

— Начертить-то, конечно, можно,— сказал Хельвиг, и глаза его сверкнули голубизной, он злился,— да не хочу я, чтобы мне стыдно было. Пусть он мне не тычет все время, что у меня мания величия и я взялся за дело, с которым мне в жизнь не справиться.

— Кто это тебе тычет?

— Винкельфрид, кто же еще!

Старик подтвердил:

— И оба учителя туда же. Но главное этот Винкельфрид, он тут всем заправляет.

Другой, с серым лицом, добавил:

— Видишь ли, большинство-то успевает, хорошо даже успевает.

— Сами же видели,— заметил Рыжий,— они давно домашнее задание выполнили.

— Им это нипочем. «Повторение пройденного»,— сказал Старик.

— Профессор Винкельфрид,— перебил его Хельвиг,— мне сразу заявил: «С такой подготовкой,— он говорил, передразнивая Винкельфрида,— польза, какую вам может принести семинар, весьма сомнительна!»... Но я уже не мальчик и после всех передряг, в каких мне довелось побывать, по правде говоря, не понимаю, почему я обязательно должен провалиться — разве только, чтобы Винкельфрид оказался прав!

Бётхер молчал.

— Нет, уж этого удовольствия мы ему не доставим,— сказал он наконец.— Вам же известно, зачем вас сюда прислали. Затем, чтобы на важнейших постах стояли не голько Винкельфриды, а такие люди, как

вы. Стиснув зубы, вы должны этого добиваться. А теперь слушаите, я еще раз вам все объясню.

— А вы разве все формулы тоже знаете?

— Да.

— Как же так?

— Тоже когда-то учился,— сказал Бётхер.

Он стер написанное с доски и медленно, шаг за шагом, стал объяснять задачу сначала, покуда каждый не уяснил себе все до конца. Потом начал задавать вопросы. Вскоре снова дали ток, лица, обращенные к нему, обрели четкость — он увидел на них рубцы и морщины, оставленные прошедшими годами, мрачными и печальными, трудными и суровыми. Позабыв о времени, ученики порой только тяжко вздыхали. Разошлись уже после полуночи.

Наутро все опять сидели за своими столами в том же самом классе с выцветшими нежными шелковыми обоями. Минута в минуту, прямой и деревянный, вошел Винкельфрид. Он торопливо повторил предыдущий урок — расчет катков и цилиндров. Материал нетрудный, вынужден был признать Бётхер.

Винкельфрид набросал на доске несколько формул. Мел так и скакал по черному полю, по указке преподавателя воспроизводя то, что он говорил. Несколько слушателей заносили формулы в свои тетради с той же улыбкой, какая играла на губах Винкельфрида. Хельвиг старательно чертил и записывал все, что слышал, но вдруг, пожав плечами, отшвырнул карандаш. Старик тоже. С таким гневом, что карандаш скатился на пол.

Первым Винкельфрид вызвал паренька, который накануне помогал товарищам. Паренек повторил все без запинки. Затем пришла очередь Хельвига. Он даже не поднялся с места, только что-то пробормотал. Винкельфрид стер с доски. Прямой, чуть покачиваясь, он стоял лицом к классу и говорил о вращающихся телах, о движении в пространстве. И вдруг, увлеченный излагаемым материалом, принялся выпаливать мысль за мыслью, быстро, скачками, то совершая экскурсы в сторону, то снова возвращаясь к главной теме. Он походил на фигляра. Время от времени он для своих любимых учеников чертил указательным пальцем, как бы удлиненным мелом, прямо в воздухе, словно и мел и доска слишком грубы для произносимых им слов. И любимые ученики, превосходно все понимая, со счастливыми улыбками следили за ним.

Хельвиг тяжело дышал. Явно насилуя себя, он все еще старался хоть что-то понять. Его товарищи, уже давно оставив надежду, недовольно поглядывали на Винкельфрида. А тот говорил и говорил, обращаясь к любимчикам:

— Завтра мы должны закончить этот раздел. Все это только цветочки, ягодки впереди.

И снова, как фокусник, он принялся вытряхивать одну теорию за другой. Конус вращался на вращающемся земном шаре. Лучшие ученики не отрываясь смотрели на него сияющими глазами. А четверо «стариков» даже не пытались следить за ходом его мыслей. Они сидели измученные, сгорбившись.

— После обеда,— объявил в заключение Винкельфрид,— Борхерт повторит ход доказательства...

На лестнице Винкельфрид прошел мимо Бётхера, но вдруг обернулся и сказал:

— Прошу вас не забыть до вашего отъезда позаботиться о том, чтобы протопили и у моих коллег.

— Я еще не собираюсь уезжать,— сказал Бётхер.

— Еще не собираетесь? — переспросил Винкельфрид. И добавил

так поспешно, что даже улыбка не успела соскользнуть с его лица: — Тем лучше. Ваша помощь крайне необходима нам. И надолго вы намерены остаться?

— Я и сам пока не знаю. Хочу немного помочь некоторым слушателям. Чтобы они действительно приобрели то, ради чего приехали сюда.

Винкельфрид нахмурил брови. Улыбка молодила его, даже когда лицо оставалось ледяным.

— Бог ты мой, да что тут помогать! — воскликнул он скорее весело, чем раздраженно.— Слушатель либо понимает и усваивает материал, либо не понимает и не усваивает. Тот, кто не понимает, отсеется сам. А если собственный здравый смысл не подскажет ему этого заблаговременно — отсев произойдет на экзамене.

Тихо, боясь закричать, Бётхер произнес:

— Они останутся здесь, будут учиться и выдержат экзамен.

Так же тихо и, возможно, по той же причине Винкельфрид сказал, впившись в него глазами:

— Вот как! Интересно, как же это они выдержат? Все, что им преподнесли на заочных курсах или в вечерних школах, одна болтовня! Пока что наш материал предельно прост. Любой гимназист пятого класса поймет его, если только богом не обижен. Но скоро речь пойдет о более серьезных вещах. И тот, кто не поспевает сейчас, вылетит.

— Вы швыряете людям обрывки знаний, как собаке кость! — сказал Бётхер.

— Вы полагаете? — спросил Винкельфрид.— Слушателю, у которого возникает подобное чувство, я рекомендовал бы немедленно покинуть семинар. Мой долг — изложить всю программу до конца.

— Ваш долг, Винкельфрид...— чтобы не ударить этого человека, Бётхер крепко сжал левой рукой правую. Сердце его бешено колотилось.

Он поднялся еще на две ступеньки, так что мог смотреть Винкельфриду прямо в лицо. Что же удивительного в этом лице? Что отличало его от других лиц? Оно нисколько не изменилось. Нисколько, несмотря на прошедшие годы. Ни страх, ни сомнения не наложили на него отпечатка. Ничто не оставило на нем следа.

Винкельфрид продолжал:

— Я взял на себя руководство семинаром, чтобы люди, предназначенные занять определенное место в жизни, могли занять его как можно скорей. Наш экзамен произведет естественный отбор. Тогда и выяснится, кто имеет право учиться в высшей школе, кто — нет. Вот так обстоит дело.

— Нет, не так,— сказал Бётхер. Они оказались теперь близко друг от друга, и каждый ясно читал отвращение на лице другого.— О таком отборе и речи быть не может. Слишком разными путями пришли сюда люди. А мы здесь для того, чтобы помогать им. И прежде всего тем, кто раньше не имел возможности учиться...

— Мысль ваша прекрасна, но, к сожалению, неосуществима. Возьмите, например, этих четырех горемык — ведь вы, вероятно, их имели в виду, когда говорили «прежде всего тем»,— они-то уж непременно отсеются. И если хотите знать, их пребывание здесь вообще бессмысленно.

— С какой стати такого слушателя, как Хельвиг, следует отсеять? У него богатый опыт, он нужен нам.

— К счастью, ваш Хельвиг уходит сам. На это у него все же хватило ума. Он уже подал заявление.

— Нет, он остается.

— Почему, собственно, он вдруг остается?

— Потому что я помогу и ему и другим,— как тихо ни произнес Бётхер эти слова, в ушах у него они гремели.

— Вы? — удивился Винкельфрид.— Каким образом? Разве вы что-нибудь понимаете в нашем деле? Неужели вы думаете, что им поможет, если кто-нибудь начнет их распекать, грозить им: не выполните, мол, план, не сдадите в этом году экзамена — увидите, что с вами будет?

Винкельфрид говорил сиплым голосом, сквозь зубы. Они пристально смотрели друг на друга.

Бётхер сказал:

— Я сам объясню им все сначала, объясню просто и понятно, и в конце концов они поймут. Они люди умные. А материал несложный.— И вдруг у него вырвалось то, что он все время старался скрыть:— Это моя специальность, так же как ваша.

— Гм,— только и произнес Винкельфрид. Открытие это погасило улыбку на его лице.

Из столовой вышел учитель Борхерт.

— Господин профессор, господин профессор, суп остынет!

Винкельфрид презрительно отмахнулся.

— Пусть стынет! — И тут же, спохватившись, тронул Бётхера за руку: — Пойдемте пообедаем.

Бётхер вздрогнул от его прикосновения, но сразу овладел собой.

В столовой Винкельфрид сидел на своем обычном месте. Несколько молодых слушателей весело и горячо рассказывали ему что-то. Бётхер сел на стул, который уже считал своим.

— Тебе когда уезжать? — спросил Хельвиг.

— Не беспокойся,— ответил Бётхер,— я останусь на несколько дней. Сегодня вечером я еще раз вам как следует все объясню.

Друзьям в Берлине он написал, что ему необходимо задержаться, отдых придется отложить. Монике же сообщил, что, возможно, им так и не удастся поехать в отпуск вдвоем. До приезда сюда он представить себе не мог жизнь без Моники — все перенесенные страдания исчезали, как только они были вместе. А теперь он уведомлял ее почти так же сухо, как свое управление в Берлине. «Не могу я отсюда уехать, не могу доверить людей этому Винкельфриду!» — думал он.

Со «своими» он занимался теперь каждый вечер до глубокой ночи. Домашние задания объяснял по нескольку раз кряду. Все четверо следили за каждым его словом напряженно, сосредоточенно. Порой Старик, тяжело вздыхая, поднимал свой прокуренный палец, чтобы задать очередной вопрос. А Хельвиг подолгу засиживался в классе, когда остальные уходили спать, и переписывал все начисто. Бётхер спрашивал:

— Ну как, усвоил?

Хельвиг радостно отвечал:

— Да, да, все усвоил.

Однажды, прежде чем лечь, Бётхер решил пройтись по осеннему парку. Он шел, глубоко вдыхая свежий воздух. Внезапно перед ним возник образ любимой женщины — она бежала впереди, оглядывалась, потом исчезла в лесу. Утренние лучи ложились на пожелтевшие листья так же косо и коварно, как вечерние. Каштаны в золотистом уборе, с каждым днем редевшие все больше, будто тянулись друг к другу через аллею. Казалось, будто шагаешь под мостом, и это чувство усиливалось оттого, что в аллее гудел ветер.

Кто-то вышел из замка. Бётхер остановился в нерешительности. Это был Винкельфрид. Он наклонился и поднял с земли каштан. А когда выпрямился, сразу увидел Бётхера. Чуть ли не сияя, он спросил:

— Тоже ранняя пташка, вроде меня?

— Нет,— ответил Бётхер,— вышел свежим воздухом подышать. Занимался с четырьмя слушателями до самой зари.

— Дорогой коллега,— обратился к нему Винкельфрид, и его улыбка выразила то, что обычно облекают в слова: удивление, согласие, отпор и даже некоторую издевку.— Зачем вам растрачивать попусту свои знания? Полагаю, что для формирования характера, характера слушателя нашего семинара, куда благотворней, морально благотворней, если он вовремя осознает: «В столь краткий срок мне не восполнить того, на что человек тратит всю свою юность». Если эти люди не научатся вовремя обуздывать свои желания, если их вдруг начинают убеждать — уж извините за прямоту,— будто они способны в мгновение ока постичь все, чего гимназисты добиваются напряженным многолетним трудом, то они либо станут шарлатанами, либо великое разочарование раздавит их.

Бётхер был переутомлен, измучен бессонной ночью. Он сказал:

— Так, так, Винкельфрид! А я думаю, что для характера благотворней, морально благотворней, если человек ищет средства и пути помочь тем, кто не имел возможности учиться в юности, и как можно скорей восполнить все, чего они были лишены. Вот такой, как Хельвиг...

Винкельфрид пожал плечами. Видно, ему хотелось побродить по парку одному, пошуршать опавшей листвой. Но что-то более сильное заставило его сказать:

— Да что это вы все время Хельвиг да Хельвиг? Ах да, вы ведь хотите сделать его директором одного из этих новых заводов, которые вы сейчас строите! У вас же несколько директоров сбежало. Вот вы и намереваетесь произвести Хельвига в начальники. Но почему, Бётхер, вы помешались именно на Хельвиге? Почему?

Бётхер устал, он напряженно хмурил лоб. Далеко, в самом конце золотистой аллеи мерцало что-то белое.

— Хельвиг умен,— ответил Бётхер.— Надежен. Умеет добиваться того, чего хочет. И доказывал это неоднократно.

— Будьте здоровы,— сказал Винкельфрид даже не сердито, а както равнодушно и быстро зашагал прочь. Скорее всего, он тут же забыл об этом разговоре. То и дело нагибаясь, он поднимал с земли спелые каштаны.

Бётхер подумал: «А вдруг у такого есть дети? Но почему бы им и не быть?»

Всю первую половину дня Бётхер спал. Потом потихоньку забрался на кухню к доброй экономке и попросил накормить его. Там и нашел его Борхерт, молодой долговязый учитель.

— Профессор искал вас по всему замку и в парке тоже. Очень просит подняться к нему,— сообщил он.

В комнате пахло дровами. Легкий дымок, серые стены, увядшие листья за окном — все располагало ко сну.

— Откровенность за откровенность, коллега,— начал Винкельфрид с полуулыбкой,— я немного сердит или, как бы это сказать, огорчен. Ваши поступки, Бётхер, безрассудны. Вот ваш любимец Хельвиг сдал задачу, не скрою, аккуратно переписанную. Но взгляните на тетрадь! Какой прок в том, чтобы в такой мере ему помогали? Вы решаете за него задачи, а он их только переписывает!

Бётхер сам чувствовал, что ответ его звучит чересчур по-ученически, когда он сказал:

— Я разъяснил ему только самую проблему, и он понял все.

Винкельфрид рассмеялся.

— Энгельхорн вызвал Хельвига к доске и попросил еще раз объяснить, в чем суть задачи. Разумеется, Хельвиг и двух слов связать не

мог. Предоставленный самому себе, стоя у доски, он еще раз доказал, что ни на что не способен.

— Вероятно, он оробел. Он же не привык к тому, чтобы его вызывали.

— Оробел? В его-то возрасте?

— Вот именно.

— Дорогой Бётхер,— сказал Винкельфрид,— если вы действительно имеете отношение к науке и преподаванию, в чем вы мне вчера признались, то зачем вам тратить здесь свои силы?

— Затем, что я имею некоторое отношение к тому, о чем вы говорите. И кое-чему могу научить других.

— Незадолго до вашего приезда Хельвиг сообщил нам, что намерен оставить семинар.

— Он изменил свое намерение,— возразил Бётхер, все еще стоя в дверях.

Винкельфрид поднялся. Он был на две головы выше Бётхера. Глядя поверх его головы, уже занятый другими мыслями, он сказал:

— Достойно сожаления.

— Достойно похвалы,— возразил Бётхер.

К удивлению Бётхера, Хельвига в классе не оказалось. Бётхер бросился в парк к тому месту, где впервые встретил его, однако там, у белой фигуры, застал Энгельхорна и Борхерта. Они спорили: Диана или нимфа? Борхерт, младший из них, окончательно решил:

— Это муза Мельпомена.

В конце концов Бётхер разыскал Хельвига в спальне. Тот уже успел сложить свои скромные пожитки. Тяжело дыша, он сказал:

— В шесть автобус отходит из деревни. Уезжаю я отсюда.

— Никуда ты не уедешь! Послушай...

— Да оставь ты меня в покое, Бётхер! Не могу я здесь больше. Да и не желаю еще раз выслушивать все, что мне сегодня сказали.

«Винкельфрид оскорбил его подозрением»,— понял Бётхер. Главное, чтобы автобус ушел без него. Он старался подобрать нужные слова. Но тут Хельвиг снова заговорил, уже не возбужденно, только очень мрачно. Порой у него начинали дрожать губы, и он умолкал.

— Я ведь и правда не знал. Как остался один у доски, все у меня вылетело из головы. Все доказательство. А Энгельхорн заглядывает в мою тетрадь и говорит: «Ай да Хельвиг! Превосходная работа! А теперь докажите теорему всему классу еще разок». Я было собрался начать— накануне вечером я так хорошо все понял и повторил ведь еще раз, а нынче утром перед всем классом ничего не помню. Прав этот Винкельфрид: не усвоил я, значит, ничего, иначе к утру не позабыл бы.

— А ты и не забыл! — воскликнул Бётхер.— Просто волновался очень. Это со всяким может случиться.

— Да погоди ты! — прервал его Хельвиг.— Это еще не все. Потом Энгельхорн подошел к Винкельфриду, показал ему мою тетрадь. А Винкельфрид мне и говорит: «Послушайте — и зарубите себе это на носу: вы задерживаете меня и всех остальных. Вам это и самому уже понятно. В противном случае вы на прошлой неделе не подали бы заявления. Вы как социалист должны понимать: нельзя из одного тщеславия становиться поперек дороги всем остальным».

— Сволочь! — воскликнул Бётхер.

Хельвиг так и уставился на него своими темно-серыми серьезными глазами.

— Нет, ты несправедлив к нему. Прав этот Винкельфрид. Нехороший он человек, но прав... Ты вот помочь мне хочешь, да все это ни к чему: не справлюсь я.

— А я знаю, что справишься, и те, что тебя сюда послали, тоже знают. Справишься! И я сюда приехал, чтобы вам помочь. Мы же обязательство дали. И справимся.

— Без меня,— устало произнес Хельвиг.

— Да брось ты, твой автобус давно ушел!

Снова Бётхер занимался со всеми четырьмя. От усталости они чуть не валились с ног. Старик ронял голову на руки и засыпал. Хельвиг ни с того ни с сего выбегал из класса. Возвращался он с мокрыми волосами — окунал голову в холодную воду. Учился он теперь с жадностью.

Иногда Бётхер заставал его рано утром в пустом классе. Холодный осенний воздух струился в окно, а Хельвиг стоял у доски, выписывал формулу за формулой, чертил. Весело размахивая мелом, он говорил что-то, обращаясь к пустым столам...

Однако занятия подвигались так быстро, что Хельвиг нередко снова сидел, уставившись пустыми, непонимающими глазами в пространство. Винкельфрид так и сыпал новыми формулами, условиями, доказательствами, а порой и намеками. Слушатели, на которых они были рассчитаны, настораживались. Что-то давно уже забытое всплывало на поверхность. Что-то с чем-то ассоциировалось, и они улыбались про себя.

Бётхер побывал и на лекции Винкельфрида. Тихо войдя, он сел за последний стол. Винкельфрид блистал. Он жонглировал импровизированными сравнениями, именами, понятиями, подбрасывая их своим любимчикам, как жонглер подбрасывает цветные мячи партнеру. Порой он задавал какой-нибудь вопрос и один из слушателей тотчас отвечал ему. А когда Винкельфрид спрашивал слабого ученика, который даже вопроса не понимал и ничего не мог ответить, он тут же указывал на кого-нибудь из своих.

Наконец он отвернулся от доски и заметил Бётхера, молча сидевшего на задней скамье. Во взгляде Винкельфрида сверкнуло торжество. Должно быть, ненависть уже захлестнула его. Он рявкнул:

— Вопросы?

Бётхер встал и попросил еще раз медленно повторить материал для тех, кто не успел усвоить его с первого раза.

Явно скучая, Винкельфрид повторил ход доказательства. Затем резко приказал:

— Хельвиг, повторите!

Хельвиг поднялся. Все смотрели на него. Желваки ходили у него ходуном. Гневным рывком Винкельфрид стер с доски чертежи и формулы, словно на минуту месть восторжествовала над обычной его сдержанностью. Он сказал:

— Быстрей! Подойдите сюда!

Хельвиг дернулся. И пробормотал:

— Не могу.

Винкельфрид вызвал одного из своих. И тот четко, с легкостью воспроизвел на доске и чертеж и формулу.

Несколько дней спустя Винкельфрид спросил:

— И долго вы намерены у нас еще гостить, коллега Бётхер?

— Гостить? Я думаю, мы все здесь гости.

Они стояли на лестничной площадке. Винкельфрид присел на подоконник. Бётхер любовался пожелтевшим парком за окном и думал: «И зачем такой человек здесь, в этом прекрасном мире?»

Неожиданно Винкельфрид спросил:

— А что, собственно, вы кончали, Бётхер? И где читали курс?

— В Дрездене.

— Удивительно! — воскликнул Винкельфрид, откинув голову и болтая ногами.— Неужели мы там с вами ни разу не встретились?

— Ничего удивительного,— возразил Бётхер.— Встретились там лишь наши имена, в мае 1933 года. На одном документе. Вы как раз только что приехали. И составили ходатайство: преподавателям в национал-социалистском государстве, мол, не подобает называть антигосударственные элементы коллегами.

Винкельфрид сидел спиной к окну, и Бётхер не видел, что именно отразилось на его лице. Скорей всего, ничего не отразилось. Лицо было гладким и равнодушным. Подумав с минуту, Винкельфрид сказал:

— Да. Смутно что-то такое припоминаю. Я ведь тогда противился как мог. Мне сказали, что Бётхер — я и понятия не имел, что именно вы носите это имя,— отчаянный смутьян. Меня предупреждали: «Винкельфрид, будьте осторожны. Если вы последуете его примеру, если не подпишете ходатайство, то скоро ни одного стоящего физика в Высшем техническом училище не останется. Да и вообще этому наваждению скоро придет конец». Так обстояли дела, и я противился до последнего. Не подпиши я тогда этой бумаги, ее подписал бы кто-нибудь другой.— Он говорил несколько торопливей, чем обычно.— Благодаря тому, что я остался, мне удалось потом сделать кое-что хорошее, на что не всякий бы пошел. В противном случае я сейчас был бы не у дел. А вы и есть тот самый Бётхер?

— Тот самый,— подтвердил Бётхер.

— Однако «наваждению» не так скоро пришел конец,— продолжал Винкельфрид серьезно.— Дорого оно обошлось. Чудовищно много крови стоило. Теперь необходимо все переделывать наново — города, школы, головы...

— Да,— согласился Бётхер,— ради этого мы и приехали сюда.

— Да,— сказал в свою очередь Винкельфрид,— ради этого я и взял на себя руководство семинаром. По окончании здесь занятий меня ждет профессура в Дрездене.— Он соскочил с подоконника и, к удивлению Бётхера, сказал: — От всей души рад приветствовать вас здесь живым и здоровым.

Глубоко задумавшись, Бётхер ходил по парку. Арка листвы над его головой стала совсем прозрачной. Земля была золотисто-желтой от опавших листьев. Открытие, с которым он, Бётхер, так долго медлил, ничуть не ошеломило этого человека. Должно быть, оно даже не проникло до глубины его души.

Однако на лестнице, снова повстречав Винкельфрида, Бётхер почувствовал, что тот недаром скрестил руки на груди — только бы не задеть его. Стало быть, некоторое действие открытие возымело.

В тот вечер к Бётхеру постучался Хельвиг.

— Нет, не могу я больше! Попробовал еще раз и убедился: зря я тут хлеб жру, зря время трачу. Пока повторяли, я кое-как поспевал, ты сам знаешь. А вот из нового материала ничего не могу понять.

— А должен! — гневно оборвал его Бётхер.— Должен, послушай ты меня! И я буду с тобой заниматься, пока ты всего не усвоишь.

Хельвиг с отчаянием в голосе проговорил:

— Винкельфрид сказал Борхерту: «Этот все еще здесь?» А Борхерт остановил меня в коридоре: «Можете поверить мне, в этом правда нет никакого смысла. Экзамена вам никогда не выдержать. Уезжайте-ка подобру-поздорову».

— Никуда ты не уедешь! — отрезал Бётхер.

На имя Бётхера в замок пришло официальное письмо. Ему советовали прервать командировку и возвратиться в Берлин. Присутствие профессора Винкельфрида гарантирует планомерную работу семинара. Несколько позднее Бётхеру написал его друг, начальник отдела: «Пора тебе ехать в отпуск, если, конечно, нет особых причин оставаться там дольше».

Когда все, кроме Бётхера и Хельвига, уже отправились спать, в класс тихо вошла экономка. Она принесла горячий кофе.

— Настоящий, крепкий,— сказала она. И, обернувшись в дверях, добавила: — Чтобы ты лучше все понимал, Хельвиг.

Через несколько дней — было еще совсем рано — Хельвиг зашел в комнату к Бётхеру. Тот вскочил сонный, ничего не понимая. Хельвиг сказал:

— Разбудил тебя, да? Ты не сердись. Надо было с тобой повидаться. Я тут кое-что понял. Вроде озарение на меня нашло. Не мог иначе — должен был с тобою поделиться. Видишь ли, дело в том, что сперва-то этот Винкельфрид своим любимчикам наболтал с три короба, а я ни слова понять не мог, только все думал: «Чего это они перемигиваются? Что им так нравится? Пространство, время — мне-то какое дело до этого?» И потом, когда они вместе сидели и все спорили и что-то делали с этой штуковиной — ну, с той, что вертится на земном шаре, я только плечами пожимал, думал: «К чему все это?» После ты нам, значит, объяснил, и я опять подумал: ну ладно, но к чему же все это? А потом я все еще раз обмозговал, раз, другой — и вдруг понял. Весело мне тут стало, вернее, радость ко мне пришла. И не только потому, что я понял, что к чему, а потому, что весь мир, оказывается, так устроен! Вот и надо было мне своей радостью с тобой поделиться.

Хельвиг смотрел в парк. На его строгом лице загорелась улыбка. Ушел он так же внезапно, как пришел. Бётхеру удалось снова заснуть...

Перед последней контрольной работой — после нее был назначен выпускной экзамен — Бётхер проводил Хельвига до дверей класса. Ему хотелось еще раз объяснить ему и то и другое, но он только сказал:

— Главное, не волнуйся!

Энгельхорн ответил Бётхеру, когда тот попросил его показать ему задачи:

— Зачем они вам? Вас ведь все равно не будет в классе.

— Покажи,— приказал Винкельфрид.— Его Хельвиг не ясновидец, да и сам он не волшебник.

И все же Бётхер не мог отделаться от ощущения, что сила его желания в какой-то мере передается Хельвигу.

После контрольной Хельвиг сказал:

— Довольно трудно было. Правда, не так страшно, как я думал.

Позднее выяснилось, что в работе Хельвига было несколько ошибок. Но плохой оценки он не получил. До спокойной уверенности в своих силах ему было еще далеко, однако об отъезде он больше не заговаривал.

Позднее, вечером, когда Бётхер, воспринимая все с болезненной остротой, объяснял своим ученикам очередной урок, в класс молча вошел Винкельфрид. Он сел за последний стол, точно так же как это делал Бётхер, заходя иногда к нему на лекции. Не шелохнувшись, он сидел, прямой как палка, и его длинная тень падала на столы. После короткого замешательства Бётхеру вновь удалось овладеть вниманием своих учеников. Он излагал материал медленно и как можно ясней. А законы и формулы пояснял на конкретных предметах и процессах. Полые цилиндры — это как бы молочные бидоны...

Винкельфрид пожал плечами. Несколько минут он, скучая, с явной досадой слушал объяснения. Потом тень его соскользнула со стола и шмыгнула за дверь.

На следующее утро он прогуливался по залитому осенним солнцем парку. Дважды прошел мимо Бётхера, как бы не узнавая его, и вдруг остановился прямо перед ним.

— Хорошо, вы вот вдалбливаете людям в голову то да се, но ведь к науке это не имеет никакого отношения. Наука начинается как раз там, где вы кончаете. И зачем вашим старикам непременно нужно выдержать этот экзамен, открывающий дверь в науку? Назначьте их сразу мастерами, директорами, всем чем хотите! Это не стоило бы им никаких усилий, и они были бы только рады...

Все дни перед выпускным экзаменом Бётхер трудился не покладая рук — то занимался со своей четверкой, то с каждым в отдельности. И не отступал, покуда каждый полностью не усваивал материал. В промежутках между занятиями он приказывал чересчур уставшим отправиться спать, отдохнуть хоть немного. Сам Бётхер, с тех пор как бежал из горящей тюрьмы и скрывался, прячась то тут, то там, не смея заснуть ни на минуту, еще не чувствовал такой усталости. И часто думал о том же, о чем думал в ту страшную неделю: только бы сердце не подвело! Но сердце, болезненно кольнув раз-другой, очевидно, решило — не надо подводить.

Как-то прошел сильный дождь. Желая подышать свежим воздухом, Бётхер прохаживался по сырому парку. В самом конце аллеи, устланной жухлой уже листвой, бледно и вовсе бессмысленно поблескивала Диана, или нимфа, или кто бы она ни была. Из лесу показался Винкельфрид. Он шел ровными, быстрыми шагами, лицо его под капюшоном казалось здоровым, бодрым и веселым. Он крикнул:

— А вы тоже, оказывается, не из пугливых — дурной погоды не боитесь!

У портала под навесом они еще раз остановились и поглядели в упор друг на друга.

Винкельфрид сказал:

— Интересно, чем прежние жители замка развлекались в такую погоду? Музыкой? Пасьянсом? Писали мемуары? Во всяком случае, я буду чрезвычайно рад, когда все это кончится. А ведь похоже, коллега Бётхер, что все четыре ваших сынка выдержат экзамен. Этот ваш Хельвиг основательно подтянулся. Но вы, Бётхер, скажу я вам, натаскивая его, должно быть, измучились больше, чем он.

Бётхер слишком устал, чтобы пускаться в словопрения. Он только заметил:

— Если он выдержит экзамен, он сохранит уверенность для всех экзаменов, которые ему предстоит выдержать в жизни.

— Именно поэтому я приветствовал бы, если бы он провалился,— сказал Винкельфрид.— Тогда он выкинул бы из головы высшую школу, она ему явно не по плечу. Я давно уже говорил вам это, еще в самом начале нашего знакомства.— И тоном человека, которому начинает докучать разговор, добавил: — Все это в конце концов обнаружится. Здесь мы ведь, так сказать, только закладываем фундамент.

— Да, да, именно фундамент! — воскликнул Бётхер с радостью, стряхнув с себя усталость. Несколько минут он еще постоял один под навесом. Бездумно поднял лист, совсем уже ломкий, и растер его между пальцами. Потом еще раз прошелся под оголенными деревьями, с которых падали капли.

Это был его последний разговор с Винкельфридом перед экзаменами. Для Бётхера оказалось неожиданностью, что его ученики даже не очень боялись. Больше всех волновался Старик. Хельвиг был спокоен. Он сказал Бётхеру:

— Сделаю, что смогу.— Он частенько просил Бётхера объяснить ему то одно, то другое, не замечая, что его учитель мечтает о сне, о том, чтобы побыть одному.

А Бётхер думал: «Хоть бы раз мне Мони написала». Он очень беспокоился, как бы с Хельвигом во время экзаменов не приключилось

того, что было в первые дни его приезда. Ведь тогда поддержки Бётхера хватало лишь на несколько часов. Хельвиг усваивал только самую суть, и очень скоро у него все вылетало из головы.

Едва только Бётхер входил теперь в комнату, как Винкельфрид сразу прерывал разговор с любимыми учениками или с преподавателем. Но стоило Бётхеру обернуться, и он натыкался на готовый пронзить его взгляд. Всякий раз Бётхеру так хотелось защититься от этого взгляда, что он насилу удерживал правую руку левой.

Наконец из города сообщили, что комиссия уже выехала, она будет присутствовать на экзаменах и заночует в замке. Бётхер обрадовался: значит, участь экзаменующихся будет зависеть уже не от одного Винкельфрида. Он направился к воротам в парк. К его удивлению, там собрались уже крестьяне из ближайшей деревни — женщины, дети. Все люди здесь, как и деревня, и парк, когда-то принадлежали владельцам замка. Оказывается, машина с приезжими несколько раз застревала на раскисшей дороге и водитель расспрашивал местных жителей, как проехать. Из автомобиля вышло трое мужчин, все в хороших темных костюмах. Неизвестно, чему соответствовал цвет их одежды — погоде или предстоящим экзаменам.

Жители деревни глазели на приезжих. Зельбдрит, заместитель Винкельфрида по хозяйственной части, обычно вовсе не такой уж прыткий, выскочил из замка навстречу членам комиссии с зонтом в руках.

В комиссии оказался молодой круглолицый человек, знакомый Бётхеру по Берлину. Он держал раскрытый зонт Зельбдрита над головой старшего по возрасту члена комиссии. При этом ему приходилось тянуть руку вверх — спутник был высокого роста. Третий член комиссии, незнакомый Бётхеру, без зонта, спешил к замку рядом с Зельбдритом.

Бётхер сказал своему знакомому:

— Во время экзамена не следует забывать, что кое-кому занятия дались нелегко. Им приходилось напряженно трудиться. Но думаю, они все же готовы к испытанию.

Вместо круглолицего молодого ответил высокий и тощий:

— Решают знания, и ничего больше. Остальное нас не касается.

Подняв голову, Бётхер посмотрел на него и увидел под зонтом продолговатый, словно застывший профиль.

Обрадовался он, увидев, что все четыре его ученика спокойно, не волнуясь, вошли в зал, где должны были сдавать экзамен.

В широкие окна лился осенний свет, но сейчас в нем не было ничего золотисто-желтого. День был серый, дождливый. Бётхер и сам не понимал, почему ему так важно напоследок окинуть взглядом этот зал. Вот так на перроне смотришь на детей или близких, прежде чем они уедут надолго. Впрочем, он только и мог, что бросить взгляд. По приказу профессора в зале разрешили остаться одному Зельбдриту — для наблюдения за порядком...

Винкельфрид пригласил всех экзаменовавшихся собраться в библиотеку. Здесь он заставил их немного подождать. Возбужденные, уверенные в успехе слушатели болтали и смеялись. Хельвиг шепнул Бётхеру: «Кажется, выгорело. И у остальных тоже». Наконец появился Винкельфрид — прямой, легкий, как всегда. За ним Борхерт и Энгельхорн. Последними в библиотеку вошли члены комиссии.

Как-то очень серьезно улыбаясь, Винкельфрид сказал:

— Рад сообщить присутствующим, что экзамены выдержали все.— И добавил:— Разумеется, не все одинаково хорошо.

На радостях Хельвиг бегал по аллее взад и вперед. Глаза его так и сверкали — он строил планы на будущее.

Бётхер, поднимаясь к себе, чтобы собраться в дорогу, еще раз столкнулся с Винкельфридом.

— Это вы, Бётхер, вы во всем виноваты,— с ожесточением произнес он.

— В чем именно?

— Да в том, что этот ваш Хельвиг теперь вообразил, будто он что-то собой представляет.

— А он и представляет.

Винкельфрид только пожал плечами.

Седой выдержал почти так же хорошо, как Хельвиг. Посредственно получили Старик и Рыжий.

Последний совместный ужин прошел очень весело. Пили за здоровье Винкельфрида. На другом конце стола Хельвиг тихо и смущенно благодарил Бётхера.

На следующее утро в дверь к Бётхеру постучал Зельбдрит и тут же принялся пространно извиняться за то, что письмо, адресованное Бётхеру, застряло в канцелярии. Бётхер взял в руки письмо, и вся тяжесть прошедших недель словно сгинула.

Мони писала, что, право, не так уж важно, увидятся ли они на несколько дней раньше или позже. Она подождет. Если Бётхер задерживается, значит, для этого есть достаточно веские причины.

Прошло тринадцать лет.

В одном из отраслевых журналов Хельвиг, теперь директор завода, наткнулся на подпись: Винкельфрид. И сразу вспомнил, как этот человек, имя которого выскользнуло у него из памяти, чуть не довел его до отчаяния перед первым экзаменом. За первым последовали многие другие, и все они были не легкими, но самым трудным был тот, первый. Еще немного — и он бросил бы все, не доучившись, оскорбленный и беспомощный. И вот тогда, в самую тяжелую минуту, его поддержал какой-то приезжий учитель. Он сразу понял, в каком отчаянном положении оказался Хельвиг, почувствовал и его жажду знаний, и способности, которые этот Винкельфрид попирал ногами. Как же звали того учителя? Днем и ночью он занимался с ними, помог преодолеть все препятствия и — так теперь представлялось Хельвигу — окончательно сразил Винкельфрида.

Карл Бётхер... И как только Хельвиг вспомнил это имя, ему неудержимо захотелось возможно скорей повидать учителя, рассказать, что сталось с Эрнстом Хельвигом благодаря его упорной и такой нужной поддержке...

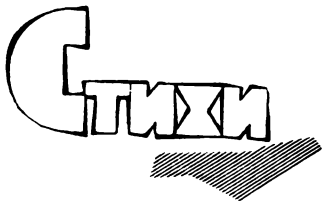
Вскоре он уже входил в квартиру в пригороде Берлина, где Бётхер жил до последнего своего дня. Гордая и печальная, слушала его темноглазая женщина — Мони, та самая, с которой Бётхер собирался тогда поехать в отпуск. Она сказала:

— Он ведь никогда не берег себя, до последнего вздоха. Всегда оставался дольше, чем ему велено было, в школах и семинарах, которые он проверял. Всегда и всюду находил кого-то, кто особенно нуждался в его помощи...

— Не мне одному он придал мужества. Он вдохнул его тысячам,— сказал Хельвиг.

Внимательно, чуть настороженно, не все еще понимая, слушал его маленький худой мальчонка.

# ДАШДОРЖИЙН НАЦАГДОРЖ




## *К 60-летию со дня рождения*

В 1966 году в культурной жизни монгольского народа отмечается большое событие — 60-летие со дня рождения Дашдоржийна Нацагдоржа (1906—1937). На протяжении всего года в литературной газете «Утга зохиол, урлаг» и журнале «Цог» публиковались новые материалы, связанные с жизнью и творчеством писателя, воспоминания современников о нем, архивные находки; 17 ноября, в день рождения Нацагдоржа, впервые присуждалась литературная премия его имени.

Первый сборник агитационных стихотворений Д. Нацагдоржа вышел в 1935 году, без имени автора. Появление его было связано с бурной ломкой патриархального кочевого уклада, с которым как можно быстрее стремилась покончить новая Монголия. В те же годы многие произведения, созданные Д. Нацагдоржем в жанрах гражданской, пейзажной, любовной лирики, его рассказы и пьесы печатались на страницах многочисленных в 30-х годах журналов или оставались в рукописных тетрадях, стенных газетах, а то и просто исполнялись мастерами художественного слова. Д. Нацагдорж, с пятнадцати лет связавший свою жизнь с Народной Революцией, верно служил ей своим талантом.

Наиболее полное издание произведений Д. Нацагдоржа было выпущено в Улан-Баторе в 1961 году монгольской Академией наук и Союзом писателей. В него вошли поэзия, проза, пьесы, переводы, принадлежащие Д. Нацагдоржу.

В поэзии Д. Нацагдоржа органично переплелись традиции старой письменной монгольской литературы и фольклора — это можно видеть и по нескольким публикуемым ниже стихотворениям. В них присутствуют чисто монгольские поэтические образы, как в стихотворении «Четыре времени года», в них есть своеобразные психологические мотивы, как в стихотворении «Первый снег».

Творчество Д. Нацагдоржа многогранно. У писателя много учеников, много последователей, вписывающих новую страницу в историю монгольской литературы, одним из основоположников которой его считают по праву.

# Четыре времени года

## Весна

На раздолье просторов монгольских год за годом, тысячекратно
животворные весны нисходят с высоты извечных небес.
Аромат вдыхая блаженный, расширяются души людские,
проступает в степях разнотравье — табунам и стадам благодать!

Приближается дальнее солнце, снег последний тает в ложбинах.
Отогрелась древняя почва, обновила силы опять.
Зацвели, зашумели деревья, расшалились шустрые дети,
а столетние деды как будто бремя старости сбросили с плеч.

Одинокому скотоводу, зимовавшему на отшибе,
сладко слышать голос приветный возвратившихся диких гусей.
Запевают в горах потоки, мчась стремительно по долине,
и согласно внизу им вторят голоса козлят и ягнят.

Воскресает сызнова сердце, пробуждается дремная память,
свежий, вешний ветер почуяв, полный нежности и тепла.
Украшенье пастбищ богатых — молодняк, бессчетный, как звезды,
а младенцы, спящие в зыбках,— украшенье родительских юрт.

## Лето

Несказанно прекрасны летом напоенные зноем и светом
склоны гор, поросшие лесом, и равнины страны Хангай!
Вот кукует кукушка в чаще так приветливо, так маняще...
В мире нет ничего желанней! В мире нет ничего милей!

Запах трав достигает неба, млеет марево в сизой дымке,
ржет протяжно скакун усталый, поспешая в родной табун,
лик земли цветы захлестнули пестрым ливнем, дождем лепестковым,
и любовь с победною силой расцветает в жарких сердцах.

Летом горы наши кудрявы, полноводны ясные реки.
Лучший летний праздник монголов — Состязание Трех Мужей.
Кони стелются над землею, а наездники-ребятишки
звонким гиком их подгоняют, оглашая разгон степной.

Конский топот, песни и клики повторяет мягкое эхо.
На бескрайних, свободных пространствах разновидный пасется скот.
Юрты пахнут хмельным кумысом, пахнут крепкой архой домашней —
то-то истинное веселье, то-то счастье царят везде!

## Осень

Солнце осени, желтое солнце, светит мне и тебе нещедро.
С каждым днем все ниже и ниже вместе с ним склоняемся мы.
В диких дебрях трубят олени и ревут сохатые лоси.
Поединком быков ревнивых развлекаются пастухи.

А когда в непостижном небе облака воспарят, словно перья,
за наукой, за мудрым знаньем вдаль потянется молодежь,
и в прозрачной реке притихшей отраженье луны унылой
тайным шепотом, еле слышным, о любви заведет рассказ.

Поседело раннее утро. На траве, словно жемчуг, иней.
Конь от стужи переступает, мелко вздрагивая порой.
Ныне встал хозяин с рассветом — время волчьей да лисьей травли.
Будут ждать домочадцы добычи у горящего очага.

Тихий ветер стебли колышет, чуть пошатывает деревья,
и нет-нет невольно взгрустнется стройным юношам и старикам,
а когда с ветвей почерневших осыпаются мертвые листья,
невеселые воспоминанья возникают в смутной душе.

## Зима

Обжигает вьюга дыханьем. Золотая земля оделась
в ледяную броню, в доспехи из бесценного серебра.
Зимней ночью, в небесной черни, звезды вспыхивают, словно искры.
Караванщик поет, и песня оглашает снежную степь.

Над хребтом клубятся туманы, а в долинах свет ослепляет.
Возвращается скот в кошары: дыбом шерсть, и осели на ней
блестки изморози лучистой. Скотоводы сбивают стадо,
зычно кличут, свистят, смеются — молодым не страшен мороз.

На вершинах крепчает стужа, но монголам холод в привычку.
Только щеки еще румяней, только ярче в глазах огоньки.
Размерцались на небе звезды, а внизу, по соседству — свечи:
там беседуют старые люди у приютного камелька.

Так четыре времени года дружат с водами и горами,
с красным солнцем, с белой луною — лето, осень, зима, весна.
Люди древних старцев хоронят, ожидают рожденья младенцев...
Вечно заняты мы по горло, ни минуты роздыху нет!

Перевод АРКАДИЯ ШТЕЙНБЕРГА

■ ■ ■

Ветку ивы над окном распахнутым
Вешние усыпали цветы...
Кто раскрыться даст цветам надежд моих?
Ты, любовь моя,
Только ты!

Солнце распростерло руки теплые
Со своей лучистой высоты...
Кто зажжет костер, в груди разложенный?
Ты, мечта моя,
Только ты!

Я с горы, над пастбищами дымными,
Ясно вижу дальние хребты...
Кто мне даст большие крылья радости?
Ты, краса моя,
Только ты!

Тонут в блеске, по небу расплеснутом,
То ли птицы, то ль мои мечты...
Кто окутал сердце мне сиянием?
Ты, весна моя,
Только ты!

Перевод ВАЛЕНТИНА КОРЧАГИНА

## *Первый снег*

Когда наступит первый зимний месяц
и станут дни тусклей и холоднее,
У стариков еще забот немало —
огонь разводят, юрты утепляют.

Когда опять над южною горою
сгустятся тучи, снег густой повалит,
У молодых сердца тревожно дрогнут —
тайком друг другу вести посылают.

Когда летящие седые хлопья
свет молодого месяца застелют,
У каждого в душе свои надежды
и тайные мечтанья оживают.

Когда по снежной пелене упругой
легонько чьи-то заскрипят подошвы,
Подобны тихой песне эти звуки,
во мгле ненастной радость пробуждают.

Все злей мороз, а юноша пылает,
взывает ночью к ветру ледяному.
Сверкают в черном небе шесть созвездий,
а в юртах каганцы едва мерцают.

Но тусклый луч от каганца скупого,
в грудь проникая, согревает сердце.
А сердце этот теплый луч украдкой
к дверям соседней юрты посылает.

Перевод СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВА

ЧАРЛЬЗ П. СНОУ

# Коридоры власти

РОМАН

Перевод с английского В. ЕФАНОВОЙ, В. МИРОНОВОЙ и Р. ОБЛОНСКОЙ под редакцией Н. ГАЛЬ

## Парламентский запрос

Газетные заголовки наутро после обеда в клубе рыботорговцев были просты, но приятно красноречивы:

«ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ — ПРОБЛЕМА ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ВАЖНОСТИ»; и дальше шрифтом помельче: *«Солдат ничем не заменишь. Энергичная речь министра»* (писала консервативная «Дейли телеграф»).

«БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО. *Мистер Р. Куэйф об опасностях, грозящих миру»* (умеренно-консервативная «Таймс»).

«РАСПРОСТРАНЕНИЕ АТОМНОГО ОРУЖИЯ. *Сколько стран будет владеть бомбой?»* («Манчестер гардиан», центр).

«НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ. *Быть первыми в атомном вооружении»* («Дейли экспресс», независимые консерваторы).

«НА ПОВОДУ У АМЕРИКИ» (коммунистическая «Дейли уоркер»).

Комментарии оказались доброжелательнее, чем я ожидал. Похоже было, что речь скоро забудется. Мы с Роджером просмотрели прессу, и оба почувствовали облегчение. Мне кажется, его, как и меня, немного отпустило.

На той же неделе я обнаружил в «Таймс», в разделе «С телеграфной ленты», среди всякой всячины маленькое незаметное сообщение:

*«Лос-Анжелес. Здесь сегодня выступал британский физик доктор Бродзинский. Он обрушился с нападками на новую линию в британской военной политике и заявил, что ее протаскивают пораженцы, сознательно льющие воду на мельницу Москвы».*

Я обозлился — обозлился куда сильнее, чем встревожился. Я был достаточно начеку — или достаточно приучен к осторожности — и позвонил в Вашингтон Дэвиду Рубину. Нет, сказал Рубин, в нью-йоркские и вашингтонские газеты никакие сообщения о речи Бродзинского не попадали. И, надо думать, уже не попадут. По его мнению, мы вполне можем забыть о Бродзинском. На месте Роджера он, Рубин, не стал бы волноваться. На Новый год он приедет, и мы потолкуем.

Это звучало успокоительно. Как видно, никто, кроме нас, не обратил

Окончание. Начало в № 11.

внимания на эту заметку. Среди вырезок, приходивших к нам в министерство, ее не оказалось. Я решил не тревожить Роджера и выбросил это из головы.

Две недели спустя, ясным, сияющим ноябрьским утром, я сидел в кабинете у Осбалдистона.

Коллингвуд вдоль и поперек исчиркал текст законопроекта, составленный Дугласом, и мы работали над новым вариантом. Дуглас был отлично настроен. Как всегда в подобных случаях, авторское самолюбие говорило в нем не больше, чем в любом из нас, когда кто-то выдвигает предложение сообща отправиться куда-нибудь на автобусе.

Вошла секретарша с грудой папок и положила их в корзинку «Для входящих». Привычным глазом Дуглас, как и я, тотчас заметил на одной папке зеленый ярлычок.

— Спасибо, Юнис,— сказал Дуглас.— Что-нибудь неприятное?

— Сверху лежит парламентский запрос, сэр Дуглас,— сказала секретарша.

За двадцать пять лет Дуглас был основательно выдрессирован. Парламентский запрос вызывал у него, совсем по Павлову, условный рефлекс: этим следует заняться в первую очередь. При виде запроса Дугласу, уравновешеннейшему из людей, слегка изменяло душевное равновесие.

Он раскрыл папку и развернул бумагу. Мне виден был вверх ногами печатный текст запроса и под ним другой листок с коротенькими заметками от руки. Похоже было, что это один из запросов, которые передаются из рук в руки, как ведра воды на деревенском пожаре, пока не дойдут до непременного секретаря.

Нахмурясь — лоб его перечеркнула глубокая складка,— Дуглас прочитал запрос. Перевернул страницу и молча стал изучать вторую бумагу.

— Мне это совсем не нравится,— сказал он резко, оскорбленно и перебросил мне папку через стол.

Запрос сделал молодой член парламента от какого-то курортного городка с южного побережья, уже обративший на себя внимание крайней реакционностью. Запрос гласил: «Удовлетворяет ли министра (следовало название министерства Роджера) то, как соблюдается охрана государственных тайн в его министерстве, особенно руководящим аппаратом?»

Выглядело это довольно безобидно, но подчиненные Дугласа, дотошные, как сыщики, выяснили, что этот самый член парламента выступил перед своими избирателями с речью, в которой ссылался на заявление Бродзинского в Лос-Анжелесе. На второй странице в папке были наклеены вырезки из местной английской газеты и из «Лос-Анжелес таймс».

Со странным чувством, с недоверием и вместе с ощущением чего-то уже знакомого, но давным-давно забытого, я принялся читать вырезки. Лекция Бродзинского в Калифорнийском университете в Лос-Анжелесе на тему «Наука и коммунистическая угроза»: опасность, опасность, опасность, проникновение, сознательные и бессознательные поблажки; в его стране (в Соединенном Королевстве) дела обстоят ничуть не лучше, а может быть, и хуже, чем в Соединенных Штатах; люди, занимающие высокое положение как в научном мире, так и вне его, предают дело обороны страны, саботаж наиболее плодотворных идей укрепления обороноспособности, политическая неблагонадежность, политическая неблагонадежность, политическая неблагонадежность.

— Да уж, не слишком это приятно,— сказал Дуглас еще прежде, чем я дочитал до конца.

— Просто сумасшествие какое-то.

— Вам-то хорошо известно, сколько бед могут натворить сумасшедшие.— Дуглас сказал это резко, но и сочувственно. Он знал историю моего первого брака, и нам нетрудно было говорить откровенно.

— Но может ли это всерьез повлиять...

— Вы слишком легкомысленно к этому относитесь,— отрывисто, сердито сказал он.

В чем, в чем, а в легкомыслии меня давно не упрекали. И я понял, что Дуглас берет все на себя. Он говорил властно и уверенно. Именно он, а не Роджер будет улаживать эту историю. Почему его так встревожил запрос? Похоже, что Бродзинский метит во Фрэнсиса Гетлифа, может быть, в меня, может быть, в Уолтера Льюка или даже самого Роджера. Если речь идет обо мне, это будет неприятно, но не более. Дуглас мне друг, и все же, касайся дело только меня, его тревога была бы неоправданна.

Нет, тут что-то другое. Может быть, его, как высокопоставленного чиновника, пугает, когда вдруг предаются гласности острые политические вопросы и в особенности когда их ставят сторонники крайних мер? Дуглас был дальнозорок и честолюбив. Как и все в Уайтхолле, он знал, что когда собаки дерутся, с них со всех клочья летят: тут можно быть безвинной жертвой или даже сторонним наблюдателем и все равно сколько-нибудь грязи да пристанет. Если разразится политический скандал, его приятели и шефы по казначейству будут только рады любому поводу придраться. Имя его будет запятнано. Это будет несправедливо, но кто-кто, а он не станет жаловаться на несправедливость. Его дело позаботиться, чтобы все обошлось без шума. А не сумеет — окажется вторым Гектором Роузом: карьера его оборвется, и не бывать ему тогда на самом верху.

И еще: при всем своем честолюбии он был человек весьма строгих правил. Произнести речь вроде той, что произнес Бродзинский, для него было так же немыслимо, как зарезать какую-нибудь старуху торговку ради ее жалкой выручки. Хоть сам он был консерватор, пожалуй, даже консервативнее своих коллег, он понимал, что этот парламентский запрос мог сделать только дурак и негодяй, и не постеснялся бы назвать вещи своими именами.

— Министр не должен сам отвечать на этот запрос,— сказал Дуглас.

— А так не будет хуже?

Но Дуглас не спрашивал моего совета. Роджер ведь оказался «отчасти под обстрелом». Значит, его следует оберечь. Совершенно ни к чему, чтобы на всех углах перешептывались, ставя под сомнение его «благонадежность». Нет, отвечать на запрос лучше всего товарищу министра Леверет-Смиту. Трудно представить себе человека благонадежнее.

Дуглас хотел этим сказать, что Леверет-Смит совершенно не способен самостоятельно мыслить, отличается важностью необыкновенной и пользуется неограниченным доверием своей партии как в парламенте, так и вне его. Верно заметил ехидный толстяк Монти Кейв: рано или поздно из него выйдет образцовый член Верховного суда.

Дуглас сейчас же пошел в кабинет к Роджеру и через минуту вернулся.

— Куэйф согласен,— сказал он. Уж наверно он выложил все начистоту, как перед этим мне, так что Роджер и не мог не согласиться.— Пойдемте. Вам, наверно, придется потолковать кое с кем из ученых.

В кабинете Роджера Дуглас уже успел набросать основные положения ответа. Когда мы явились к Леверет-Смиту — кабинет его был третий по коридору,— тон разговора у нас сразу стал солидным и торжественным.

— Господин товарищ министра, у нас к вам дело,— начал Дуглас.

Но тут нам пришлось набраться терпения. Леверет-Смит, грузный, с гладко зализанными волосами, похожий в своих очках на филина, церемонно поднялся нам навстречу. Он неторопливо прочел все замечания и соображения чиновников, через чьи руки последовательно проходил запрос, набросок ответа, составленный Дугласом, газетные вырезки и так же неторопливо своим гулким голосом начал задавать вопросы. Что у нас официально понимается под «политической неблагонадежностью»? Какие именно категории подлежат проверке на благонадежность? Все ли члены ученого комитета проверены на предмет допуска к совершенно секретным материалам и к информации по вопросам, «которые мы с вами не упоминаем вслух»? Все ли государственные служащие проверены? Каковы точные даты этой проверки?

Как и его коллеги, Дуглас предпочитал умалчивать о своих связях со службой безопасности. Не ссылаясь на документы, он отвечал по памяти — с точностью счетной машины, но не столь бесстрастно. Непременный секретарь не привык, чтобы товарищ министра и даже сам министр, если на то пошло, подвергал его подобному допросу. Что же до Леверет-Смита, то он был не только нестерпимо нуден и самоуверен, он еще и недолюбливал Роджера, не выносил грубоватых ученых вроде Уолтера Льюка, и ему было не по себе в обществе людей вроде меня или Фрэнсиса Гетлифа. И службу свою он не любил, рассматривал ее только как трамплин. Ведь тут приходилось иметь дело и с техникой, и с политикой, и с проблемами идеологии и нравственности, и с военными прогнозами — вся эта мешанина казалась ему чем-то отвратительным и недостойным, да еще вынуждала его сталкиваться с людьми, с которыми он предпочел бы никогда в жизни не иметь дела.

Вся жизнь его проходила в очень своеобразном и очень замкнутом кругу. Он отнюдь не был ни аристократом, как Сэмикинс и Кэро, ни крупным землевладельцем вроде Коллингвуда; в глазах изысканных друзей Дианы он был скучнейший буржуа. При этом он принадлежал к самому ортодоксальному слою средней буржуазии — казалось, ни в начальной школе в Кенсингтоне, ни в средней школе, ни дома в Винчестере, ни в консервативном клубе в Оксфорде его не коснулась ни одна неправоверная, еретическая мысль.

— Я не совсем понимаю, господин непременный секретарь, почему министру угодно, чтобы именно я отвечал на этот запрос.

Он изрек это после того, как битый час донимал нас вопросами. На лице у Дугласа выразилось нечто вроде «О господи, дай мне терпения!» — такое он позволял себе не часто.

— Министр не хочет, чтобы это стало предметом обсуждения,— сказал Дуглас. И прибавил со своей милой мальчишеской улыбкой: — Он полагает, что вас все выслушают с полным доверием. И тем самым этот вздор будет похоронен раз и навсегда.

Леверет-Смит наклонил массивную, тяжелую голову. Впервые за весь разговор его как будто удалось ублажить.

— Если министр действительно хочет, чтобы я взял на себя эту обязанность, я, разумеется, не могу отказаться,— сказал Леверет-Смит с видом знатной дамы, которую просят открыть благотворительный базар. Но он должен был оставить за собой последнее слово.— Если я действительно возьму на себя эту обязанность, господин непременный секретарь, я приму ваш набросок за основу. В таком случае мне придется просить вас попозже зайти ко мне, чтобы мы могли просмотреть его вместе.

Мы вышли; Дуглас хранил молчание. Может быть, в делах общественных обиды и неуместны, но, подумал я, если к тому времени, когда Дуглас возглавит казначейство, Леверет-Смит все еще будет занимать

нынешний пост, ему, пожалуй, придется пожалеть об этом разговоре. Однако, хоть разговор с Леверет-Смитом оказался делом непростым и отнял немало времени, цель была достигнута. Дуглас добился своего.

Запрос стоял в повестке дня в четверг. Утром Роджер попросил меня пойти в палату и посмотреть, как Леверет-Смит проведет свою роль. И попросил еще, словно между прочим, после этого заглянуть на полчасика к Элен.

День был сырой и холодный, улицы тонули в тумане, даже в палате общин было туманно. Человек пятьдесят расположились на скамьях, словно невыспавшиеся зрители на утреннем спектакле. Сразу после молитвы я прошел на место позади председателя. Наш запрос был не первым: шли бесконечные препирательства из-за отмены казни какому-то убийце, которого некий депутат от Уэлса упорно и с нежностью именовал Эрни.

А потом с задней скамьи на правительственной половине справа от меня поднялся тот, чьего выступления мы ждали,— молодой блондин, быстрый и напористый. Он заявил, что просит разрешения поставить вопрос номер двадцать два; он держался уверенно и угрожающе, голова закинута, подбородок вздернут; он словно старался оглушить нас своим громким голосом, многократно усиленным микрофонами.

Леверет-Смит тяжело, неторопливо поднялся, как будто все мышцы его одеревенели. Он не обернулся к молодому человеку, а уставился куда-то в пространство.

— Слушаю вас, сэр,— сказал он тоном, в котором звучало совершенное удовлетворение не только проверкой благонадежности, но и всей вселенной.

— Видел ли министр заявление, сделанное третьего ноября профессором Бродзинским и широко опубликованное в Соединенных Штатах? — спросил напористый блондин.

По залу раскатился уверенный ровный голос Леверет-Смита:

— Да, мой достопочтенный друг ознакомился с этим во всех отношениях ошибочным заявлением. Правительство ее величества в области обороны осуществляет курс, за который оно, правительство, полностью отвечает и который постоянно обсуждается здесь, в стенах парламента. Мой достопочтенный друг с благодарностью принимает услуги своих советников из числа ученых и членов иных комиссий. Нет надобности говорить, что эти люди, все до единого, отличаются безукоризненной честностью и величайшей преданностью национальным интересам. В установленном порядке все лица, имеющие доступ к секретным материалам, в том числе и министры ее величества, подвергаются строжайшей проверке благонадежности. Это относится и к каждому, с кем мой достопочтенный друг консультируется по каким-либо вопросам, так или иначе связанным с обороной страны.

В зале послышалось негромкое почтительное: «Правильно! Правильно!» Но напористый блондин продолжал стоять.

— Я хотел бы знать, все ли ученые советники были проверены в текущем году.

Леверет-Смит снова поднялся, вид у него был точно у огромного загнанного зверя. Я даже испугался, что он попросит отсрочки для ответа. Проходили долгие мгновения. Потом снова раздался его громкий, невозмутимый голос:

— Мой достопочтенный друг полагает, что нет надобности оглашать подробности прохождения проверки благонадежности.

Неплохо, подумал я. Именно это нам и нужно было. Снова: «Правильно! Правильно!» И снова неотвязный раздраженный голос:

— Не сообщит ли министр, когда именно проходили в последний раз проверку благонадежности некоторые члены этой ученой комиссии,

чьи имена я хотел бы назвать? Среди нас есть люди, которые не намерены пройти мимо заявления доктора Бродзинского...

По скамьям консерваторов прокатился гул неодобрения. Молодой блондин зашел слишком далеко.

На сей раз Леверет-Смиту не понадобилось столько времени на размышление. Глядя в пространство, он веско заявил:

— Ответ на этот дополнительный вопрос содержится в моем предыдущем ответе. Кроме того, этим вопросом здесь пытаются несправедливо бросить тень на достойных людей, которые, зачастую не щадя себя, оказывают неоценимые услуги отечеству.

Громкие возгласы: «Правильно! Правильно!» Эти возгласы решительно положили конец всяким дальнейшим вопросам. Палата перешла к очередному пункту повестки дня. Леверет-Смит сидел, расправив плечи, наслаждаясь сознанием отлично сделанного дела. Дуглас, сидевший рядом со мной, удовлетворенно усмехнулся и вышел. Затем начались дебаты. И вдруг появился Роджер. Должно быть, до него уже дошли какие-то слухи, потому что, проходя к своему месту на передней скамье, он приостановился возле Леверет-Смита и похлопал его по плечу. Леверет-Смит повернул голову и улыбнулся ему серьезной, удовлетворенной улыбкой.

Роджер развалился на своем месте и стал просматривать какие-то бумаги, словно в поезде. Тут выступил новый оратор, Роджер поднял глаза от бумаг, обернулся и перехватил мой взгляд. Он незаметно дал мне знак, чтобы я вышел и подождал его за дверью. Потом поднялся, шепнул что-то одному из министров и направился к выходу.

В кулуарах, где толпились случайные посетители, где переговаривались, сойдясь тесным кружком, озабоченные люди и покорно чего-то ждали одинокие личности, точь-в-точь как в зимний вечер на Центральном вокзале, Роджер подошел ко мне.

— Говорят, Леверет отлично справился,— сказал он.

— Лучше, чем справились бы вы.

Роджер невесело усмехнулся, выпятив нижнюю губу. Он хотел было что-то сказать, но тут я заметил Элен. Она, по-видимому, вышла с галереи для гостей и, проходя мимо нас, сдержанно улыбнулась мне, как человеку мало знакомому. Роджера она словно не заметила, так же, как и он ее. Я смотрел ей вслед, пока она не скрылась в дверях.

— Пошла домой,— сказал Роджер,— чуть погодя и нам можно двинуться. Я, пожалуй, пойду с вами.

Во дворе мутно светились сквозь туман фонари и огоньки такси. Мы пошли к такси, и Роджер вполголоса предложил, чтобы адрес шоферу дал я.

Щелкнула дверца лифта. Прозвенел звонок.

Элен открыла дверь, меня она ждала, но при виде Роджера вздохнула изумленно и радостно. Дверь затворилась за нами, и Роджер обнял ее. В этом объятии было и облегчение и доверие — так обнимаются любовники, которые хорошо знают, сколько наслаждения могут дать друг другу. А для нее, возможно, в этом объятии было и что-то большее. Они всегда встречались только в этих стенах, загнанные в угол необходимостью прятаться и скрываться, и она была счастлива хоть раз обнять его при свидетеле.

Наконец они уселись на диван, я — в кресло.

— Все сошло неплохо, правда? — спросила она, имея в виду то, что произошло сегодня в палате, но таким счастливым голосом, словно спрашивала совсем о другом.

У Роджера, как и у нее, блестели глаза. И когда он ответил «недурно», это тоже явно имело двойной смысл. Потом заговорили о деле. Элен хотела знать, может ли теперь этот запрос как-то повредить нам.

На это было нелегко ответить: вероятно, не повредит, если только не случится чего-нибудь посерьезнее. Элен нахмурилась. Она была женщина умная, но к политике приобщилась совсем недавно и еще плохо разбиралась в закулисной игре.

— Что ж,— сказала она,— во всяком случае с Бродзинским, надо думать, покончено. Это уже кое-что.

Нет, возразили мы, это еще не наверняка. Не следует недооценивать шизофреников. Я передразнил Роджера и немножко отплатил ему, припомнив его обхождение с Бродзинским. Сумасшедшие нередко остаются опасными и тогда, когда люди поразумнее складывают оружие. Никогда не старайтесь их задобрить. С сумасшедшими можно обращаться только одним способом — бить в морду. Если субъект одержим манией преследования, единственно разумный путь — дать ему почувствовать, что он не зря беспокоится.

Я болтал напропалую, напуская на себя свирепость, чтобы развеселить Элен. Она же сказала со свирепостью самой неподдельной:

— Убить его мало. Ей-богу, я рада бы убить его своими руками!

Он повредил Роджеру, по крайней мере, старался повредить, и этого было довольно.

— А вы не можете натравить на него кого-нибудь из ученых? — порывисто спросила она меня.

— Они и так от него не в восторге,— ответил я.

— Но какой от этого толк, черт возьми!

Роджер сказал, что ей не надо особенно волноваться из-за Бродзинского. Может, он еще и будет совать палки в колеса, но практически это неважно, он уже раскрыл свои карты. Не слишком остроумно было атаковать нас из Америки. Может быть, кого-нибудь там его речь и восстановила против нас, но эти люди все равно были бы нашими врагами. А у нас в Англии он подорвал доверие к себе даже у тех людей, которые охотно воспользовались бы им в своих целях.

— У нас еще будет вдоволь неприятностей,— сказал Роджер.— Что же до Бродзинского, то он, по-моему, будет только кипятиться без толку.

— И ты все ему спустишь?

— Если разумнее всего с ним не связываться, спущу.

И Роджер улыбнулся ей.

— Убить его мало! — снова воскликнула Элен.

Роджер крепче обхватил ее за плечи. В практических делах, пояснил он, месть — это роскошь, которую нельзя себе позволять. И что толку мстить?

Элен громко засмеялась:

— Говори только за себя. А по-моему, в мести очень даже есть толк!

Я все пытался ее развеселить, но это было не так-то легко. Она тревожилась за Роджера, тревожилась куда сильнее, чем мы оба в этот вечер, и, однако, была необычайно оживлена. И не потому лишь, что мы были здесь. Казалось, вот только что зарубцевалась какая-то рана.

Наконец я уловил, в чем дело. Эта атака никак не была связана с нею. Она подозревала, что те звонки по телефону исходили от кого-то из числа знакомых Роджера. Одно время она готова была винить в этом Бродзинского. Я предпринял кое-какие розыски, и они уже показали, что это весьма маловероятно. У Элен полегчало на душе. Ей невыносимо было думать, что именно она навлекла опасность на Роджера. Мне кажется, она охотно лишилась бы глаза, руки, миловидности, если бы могла этим уменьшить грозящую Роджеру опасность,— и, однако, такая вот беззаветная любовь тоже по-своему эгоистична: Элен

предпочла бы, чтобы опасность возросла, только бы не она сама была тому виной.

Я сказал ей, что сыщики пока не узнали ничего определенного. Теперь все ее телефонные разговоры прослушиваются.

— На твою долю выпало самое худшее,— сказал Роджер.— Ничего не поделаешь, надо справиться и с этим.— Он сказал это резко, твердо уверенный, что Элен поймет.

Она спросила меня, не может ли еще чем-то помочь. Неужели ей только и остается сидеть и ждать, стиснув зубы.

— Это очень нелегко, знаете,— сказала она.

— Да, знаю,— сказал Роджер.

Вскоре он посмотрел на часы и сказал, что через полчаса ему надо идти. По дороге домой я думал о них, наконец-то предоставленных друг другу.

## В сиянии люстр

Роджера незачем было предупреждать о сплетнях. Он сам их почуял, вернее — и в этом не было ничего сверхъестественного — ему без всяких слов говорило об этом выражение каждого знакомого лица, куда бы он ни пошел: в палату, в клуб, в любое учреждение, на Даунинг-стрит. В те ноябрьские дни все мы знали, что сплетни так и бурлят. Болтали и просто что попало — злобно, яростно, взахлеб, но были и сплетни с политической подоплекой.

Ни об Элен, ни о какой-либо другой женщине, насколько я слышал, пока не упоминали. Парламентский запрос, по-видимому, был прочно забыт. О Роджере болтали прежде всего потому, что он получил поддержку с самой неожиданной и наименее желательной для него стороны. Широкую известность получила его речь у рыботорговцев, на нее ссылались, ее обсуждали на все лады. Она была у всех на устах. Она приобрела особого рода популярность, ее повторяли как попугаи, не вникая в суть. В какие-нибудь две-три недели Роджер стал любимцем либерально мыслящей публики, она делала на него главную ставку или по крайней мере возлагала немалые надежды. Либерально мыслящая публика? Те, кто не принадлежит к этой категории, и уж во всяком случае марксисты, не принимают ее всерьез. Она, эта публика, может изъясняться не тем языком, что «Телеграф», коллеги лорда Лафкина или консерваторы-заднескамеечники, но если дойдет до драки, она окажется в том же стане. Очень может быть. Но на беду Роджера «Телеграф», коллеги лорда Лафкина и консерваторы-заднескамеечники смотрели на это иначе. Для них «Нью стейтсмен» и «Обсервер» были все равно что ленинская «Искра» самой революционной поры. Если уж Роджера восхваляют в этом лагере, за ним надо глядеть в оба.

Хвалы исходили и из другого лагеря, и это было еще опаснее. Роджера стали цитировать независимые из оппозиции — не присяжные ораторы, у которых были свои заботы и которые хотели бы свести этот спор на нет, но всякие разоруженцы, пацифисты, идеалисты. Это не была организованная группа, и насчитывалось их едва три десятка, но все они были мастера произносить речи и притом не знали никакого удержу. Прочитав одну из таких речей, в которых высказывалось одобрение Роджеру, я с горечью подумал: избави нас, боже, от друзей.

Роджер все это понимал. Со мной он об этом не говорил, не делился ни своими страхами, ни надеждами, ни планами. Однажды он заговорил об Элен, в другой раз, в баре клуба, передавая мне кружку пива, вдруг спросил:

— Вы верите в бога?

Ответ он знал заранее. Нет, сказал я, я человек неверующий.

— Странно,— сказал Роджер. Лицо у него стало озадаченное, простодушно-наивное.— Мне казалось, вы должны бы верить.

Он отхлебнул пива.

— Знаете, я не представляю, как без этого можно жить.

Он говорил очень искренне. И, однако, в глубине души у меня шевелилось подозрение: а может быть, человек поверяет тебе одну свою тайну, потому что хочет скрыть что-то другое. Если он не желает посвящать меня в свои дальнейшие планы, это неплохой способ.

До сих пор я отгонял подозрение, которое Гектор Роуз не высказывал вслух, но которое сквозило в его едких намеках. Роуза нисколько не заинтересовали бы цели Роджера, его стремления и вера. Для Роуза в каждом человеке важно было только одно — его действия; и часто, куда чаще, чем мне хотелось бы, он оказывался прав. Когда речь заходила о Роджере, он неизменно задавал один-единственный вопрос: как он поступит, когда настанет время действовать?

Роджер мне ничего не сказал. На следующей неделе он только раз дал о себе знать. Я получил приглашение на «холостяцкий ужин», который должен был состояться на Лорд Норт-стрит, на другой вечер после приема в Ланкастер-хауз.

На этом приеме Роджер несколько минут расхаживал взад и вперед по ковру в сиянии люстр, под руку с любезно улыбающимся премьер-министром. Впрочем, то же самое можно сказать и о других министрах и даже об Осбалдистоне и Роузе. У премьер-министра нашлось время для каждого, и он с каждым охотно расхаживал под руку в сиянии люстр и любезно улыбался. Я стоял на лестнице и думал: совсем такой же прием, с таким же распорядком, с теми же выражениями лиц мог иметь место и сто лет назад, разница была бы лишь в том, что тогда он, вероятно, состоялся бы в доме премьер-министра и что в наши дни (если я правильно припоминаю отчеты о политических раутах времен королевы Виктории) подают куда больше напитков.

Прием был устроен по случаю визита министра иностранных дел одной западной державы. Тут были политические деятели и государственные чиновники, те и другие с женами. Жены политиков были в более дорогих туалетах, чем жены чиновников, и вообще более ослепительны. Зато сами государственные чиновники были куда ослепительнее политических деятелей, так что чужеземец мог бы принять их за людей иной, улучшенной породы. Все они были во фраках, в орденах, медалях, лентах и перевязях, и Гектор Роуз, обычно серенький и неприметный, весь так и сверкал, разукрашенный столь великолепно, как никто другой в зале.

Зал был полон, и на лестнице тоже было полно народу. Маргарет разговаривала с Осбалдистонами. Я направился к ним, но меня перехватила Диана Скидмоур. Я выразил восхищение ее туалетом, ее драгоценностями — сапфирами чистейшей воды. Но она была бледна и, кажется, чем-то расстроена. Однако она умело притворялась оживленной, или, может быть, оживление было так же неотделимо от нее, как самые черты ее необычайно выразительного, подвижного лица. Она внимательно посмотрела на премьер-министра, который теперь прогуливался с Монти Кейвом.

— У него это недурно получается, правда? — сказала она. О премьер-министре она говорила тоном директора школы, с удовлетворением следящего за тем, как тринадцатилетний ученик выполняет гимнастические упражнения. Потом спросила: — А где Маргарет?

Я повел ее к жене. Хоть Диана и знала здесь куда больше народу, чем я, с Осбалдистонами она знакома не была. Она живо и с готовностью сказала, что рада будет с ними познакомиться. Но не прошли мы и нескольких шагов, как она вдруг остановилась:

— Нет, не хочу больше никаких новых знакомств. Хватит с меня.

Мне показалось, что я ослышался. Я уже видел однажды, как она потеряла самообладание за обедом у себя в Бассете. Но сейчас у нее в глазах блестели не слезы, а упрямство. Да, после того вечера в Бассете к ней вернулась обычная твердость. Тогда, во время разговора о семейной жизни, она почувствовала себя несчастной, а она не привыкла чувствовать себя несчастной и мириться с этим. Знакомая роль покорной ученицы, когда она, как восторженная девочка, внимала все новым наставникам и обращалась всякий раз в новую веру,— теперь ей всего этого было мало. И любовных приключений было бы мало. Ей нужна была какая-то прочная привязанность.

В просторной гостиной все лица казались веселыми. Веселей, чем на многих других сборищах, подумал я. Потом я увидел Кэро — она шла об руку с Роджером, непринужденно улыбаясь,— прекрасная пара, сразу привлекающая к себе внимание и привыкшая к нему. Были ли здесь еще люди, скрывающие такую же тайну, как Роджер? Уж конечно были. Если бы узнать все о каждом из присутствующих, открылось бы немало неожиданностей. Впрочем, пожалуй, не так уж много, как можно было бы предположить.

Так или иначе, почти все они были веселы и довольны. В этот вечер все, кажется, были особенно веселы и довольны, потому что каждый купался в сиянии, исходившем от соседа, даже премьер-министр, хотя сияние исходило именно от него.

Мы с Маргарет распрощались и ждали в холле, пока слуги одну за другой выкликали машины. Машина лорда Бриджуотера, машина мистера Леверет-Смита, машина бельгийского посла, машина сэра Гектора Роуза..

Когда я увидел, что за люди съехались к «холостяцкому ужину» на Лорд Норт-стрит, я подумал, что Роджер совершил тактическую ошибку. Тут были Монти Кейв, Леверет-Смит, Том Уиндем, а кроме того, Роуз с Осбалдистоном и... Фрэнсис Гетлиф. Такой подбор гостей объяснялся просто. Кейв — ближайший политический союзник Роджера, Леверет-Смит и Уиндем всегда должны быть в курсе событий. Мы, остальные, имели самое прямое отношение к планам Роджера. Но все, кроме Фрэнсиса, были накануне на приеме. На месте Роджера я подождал бы, пока в памяти потускнеет волшебное сияние того вечера для избранных; тогда их не так пугала бы возможность оказаться вне магического круга. За столом, кроме Кэро, были одни мужчины, и я задумался: чего ради Роджер все это затеял? Едва ли он станет откровенничать при Гекторе Роузе или Дугласе, да и при кое-ком из остальных. Они с Кэро, которая действовала как партнер, не раз прорепетировавший свою роль, казалось, поставили себе целью выяснить, кто что думает о событиях. Они не задавали наводящих вопросов, они просто сидели, слушали и, что называется, мотали на ус. Уж не решил ли Роджер отступить на заранее подготовленные позиции? В таком случае, пожалуй, не такая уж это тактическая ошибка.

Безусловно — это было ясно и понятно — он решил дать каждому из присутствующих возможность высказать свои сомнения. И не только решил дать возможность, но и подталкивал их на это.

После ужина Кэро не оставила нас одних. Она была наша соучастница и вместе со всеми принялась за портвейн.

Подвигая графин Гетлифу, сидевшему по левую руку от него, Роджер небрежно заметил, что всем присутствующим, конечно, хорошо известно, кто за них и кто против. Каждый должен это знать, принимая какое бы то ни было решение. Потом бесстрастным тоном ученого-исследователя, читающего лекцию где-нибудь в Гарварде, прибавил:

— Иногда я спрашиваю себя, насколько все мы свободны в выборе

решения? Я говорю о политических деятелях. Быть может, мы куда менее свободны, чем нам хочется думать.

За это время Гектор Роуз наверняка уже утвердился в том, что предполагал с самого начала: Роджер готовит себе лазейку для отступления. Но то ли из духа противоречия, то ли оттого, что любил порассуждать, он принял вызов.

— Разрешите вам почтительно заметить, господин министр, что наша свобода еще того меньше. Чем старше я становлюсь и чем больше решений государственной важности принимается при моем участии, тем больше я убеждаюсь, что старый граф Толстой был прав.

Том Уиндем поглядел на него ошеломленно, но и воинственно, как будто ждал, что Гектор, очевидно под влиянием русских, выскажет сейчас какую-нибудь ересь, подрывающую все основы. А Роуз продолжал:

— Наверно. было бы поучительно спросить себя, как бы это отразилось на решениях государственной важности, если бы все гости, присутствующие на вашем прелестном ужине, леди Кэролайн, были уничтожены одним махом? Или, хотя это, на мой взгляд, и маловероятно, если бы мы размахнулись пошире и уничтожили сразу все правительство ее величества и весь высший государственный аппарат? При всем моем к ним уважении, боюсь, что эффект будет равен нулю. Будут приняты те же решения, не считая ничтожных отклонений, и приняты они будут почти в те же сроки.

В разговор вступил Дуглас. Он бы и не прочь поспорить с Роузом, но они были коллеги и потому единомышленники. Им обоим было нежелательно, чтобы беседа вышла за рамки общих рассуждений, и Дуглас заговорил в том же тоне. Он не так уж верит в предопределение, сказал он. Может быть, и другие могут выполнять те же обязанности и принимать те же решения, но жить и действовать надо с таким ощущением, как будто тебя никто не заменит. Когда находишься в самой гуще, сказал Дуглас, хочешь не хочешь надо выбирать и решать. Но делая выбор, никто не верит в предопределение. Он оглядел сидевших за столом. На минуту маска бесстрастия слетела с него.

— Потому-то все мы и стремимся быть в самой гуще.

— Мы, дорогой мой Дуглас? — спросил Роуз.

— Я говорю не только за себя,— ответил Дуглас.

Монти Кейв, сидевший напротив меня, все время с интересом следил за Роджером. В своем мягком смокинге Монти казался еще коренастее и нескладнее, чем был на самом деле. Он заговорил спокойно, доверительно, и все взгляды обратились к нему.

— Вы, кажется, имели в виду... нечто другое? — спросил он Роджера.

— То есть?

— То есть.— Тут Монти не выдержал, и его толстая физиономия расплылась в ехидной усмешке.— По-моему, вы хотели сказать, что иной политический шаг сейчас может выглядеть безусловно ошибочным, а через десять лет окажется, что он был безусловно правилен. К несчастью, это верно. И все мы это знаем.

— И что же? — ровным голосом спросил Роджер.

— Может быть, я плохо вас понял, но, мне кажется, вы спрашивали нас, не таково ли отчасти и нынешнее положение дел.

— Разве из моих слов можно сделать такой вывод?

— И если положение обстоит действительно так, то не предпочтете ли вы пойти на попятный? — продолжал Монти.— Не захочется ли вам вести себя чуточку осторожнее?

— Вы и правда считаете, что он такой уж осторожный? — прервала его сидевшая на дальнем конце стола Кэро. Глаза ее сверкали, щеки залил яркий румянец. В гневе она была великолепна.

— Я вовсе не хочу сказать, что это ему легко и просто,— заметил Монти.

— Но вы хотите сказать, что он струсил. Неужели никто не понимает, что уже много месяцев он выбивается из сил? Может быть, он даже переоценил свои силы. Вопрос только, что же будет дальше.

— А что будет дальше? — спросил Монти.

Оба ощетинились. Каждый почувствовал в другом врага. Кэро не на шутку разозлилась. Она сражалась за Роджера и готова была ринуться в атаку. Она не раз уже видела, как предавали друг друга такие вот любезные сотрапезники. Она хотела во что бы то ни стало заручиться поддержкой Леверет-Смита и Тома Уиндема и пыталась доказать им, что Роджера толкают на крайности не слишком разумные люди.

Она была храбрая женщина и в гневе совершенно искренна. А насколько искренне нападал сейчас на Роджера Кейв? Уж не условились ли они об этом заранее? Роджеру это нападение было на руку, оно подкрепляло его тактику.

— Насколько я могу судить...— с чрезвычайной важностью начал Леверет-Смит.

— Да, Горэйс? — Кэро подалась к нему, пуская в ход все свои чары — любезность аристократки и обаяние хорошенькой женщины.

— Насколько я могу судить, не следует забывать, что в иных случаях тише едешь — дальше будешь. Я склонен думать, что мы двигались вперед, несколько обгоняя общественное мнение. Правда, нам и следует быть несколько впереди, иначе мы не сможем подобающим образом его возглавлять. Наша задача, как я понимаю, состоит в том, чтобы определить, насколько быстрее мы можем двигаться, ничем не рискуя.

— Вот именно,— заметил Монти. От него так и несло презрением.

А я подумал: напрасно он считает Леверет-Смита полным ничтожеством. Тот и в самом деле невыносим своим пристрастием к пошлым прописным истинам, но при этом, если уж он в чем-нибудь упрется, его не сдвинешь. Думая о том, что всем нам предстоит, я предпочел бы, чтобы он был большим ничтожеством и чтобы его легче было сдвинуть с места. Как бы Роджеру не пришлось дорого заплатить за то, что у него оказался такой негибкий и неуступчивый помощник.

Кэро продолжала очаровывать Леверет-Смита и Тома Уиндема. Это ей отлично удавалось. Она вполне понимала их сомнения, колебания, которые не могли не мучить их, заядлых консерваторов,— понимала еще и потому, что (хоть она не призналась бы в этом никому, кроме Роджера, а с той минуты, как он вступил на такой опасный путь, не призналась бы и ему) те же сомнения мучили и ее.

Том Уиндем со вздохом сказал, что лучше бы и в наше время решающей силой оставался военный флот.

— Конечно, я знаю, что это не так,— сказал он.— Но все-таки ребятам (он имел в виду военных, а заодно и своих приятелей по парламенту) нужно время, чтобы привыкнуть ко всем этим переменам.

Тут вмешался Фрэнсис Гетлиф; с холодноватой церемонностью, которая становилась для него все характернее, он извинился перед Уиндемом и Леверет-Смитом. Но став церемоннее, он стал в то же время и нетерпеливее.

— У нас мало времени. Что такое время в политике, вы и сами знаете. Но в науке оно идет раз в десять быстрее. Если вы станете слишком долго ждать, чтобы все пришли к единодушию, то, скорее всего, уже нечего будет ждать.

Роджер смотрел на него во все глаза. Гектор Роуз хмуро усмехнулся. Тут и я вставил свое слово.

Если нам и в самом деле придется туго (я намеренно подчеркивал, что ни в коей мере не отделяю себя от курса Роджера), у нас все-таки

остается еще выход. Мы пытались добиться своего, так сказать, за кулисами — в кулуарах, в разных комиссиях. Если эти пути закроются перед нами, мы выйдем на трибуну. До сих пор нашим единственным сколько-нибудь открытым выступлением была речь Куэйфа у рыботорговцев. Все мы знаем, почему. Наши проблемы — сугубо технические, по крайней мере мы их сделали таковыми; большую часть фактов приходится вуалировать ввиду их секретности. То же и с решениями, которые в нашей стране, как и во всех странах мира, приходится принимать горстке людей и держать в тайне. Таковы условия, в которые мы поставлены. Но может настать час, когда кому-то придется их нарушить. Быть может, этот час еще не настал. Но уже одно предположение, что он настал, может возыметь весьма неожиданные последствия, сказал я самым спокойным тоном.

Я заранее знал, что мои слова придутся слушателям не по вкусу. И не ошибся. Дугласа, который меня любил, они покоробили, и он предпочел бы о них поскорей забыть. Роузу, который меня отнюдь не любил, они подтверждали, что не зря он всегда считал меня человеком, не очень подходящим для моей работы. Даже Фрэнсису они не слишком понравились. Кейв же призадумался; из всех присутствующих только он и способен был спросить себя, а нет ли в самом деле в этой богатой и благополучной стране таких сил, на которые можно было бы опереться.

Леверет-Смит сказал:

— С такими предположениями я согласиться не могу.

Кэро нахмурилась. Дальнейшего обсуждения не последовало. Кто-то перевел разговор на другое, и только через несколько минут Роджер сказал:

— Все это не так-то легко и просто, знаете ли.

Это были его первые слова после перепалки с Кейвом. Он сидел во главе стола, полный сдержанной силы, сосредоточенный, и молча потягивал портвейн. Теперь он перешел в наступление. Он не скрывал тревоги, не притворялся. Он знал (и знал, что мы это знаем), что ему придется вести за собой всех, кто сидит сейчас за этим столом. Я слушал его и думал: никогда еще он так хорошо не играл свою роль. Играл? И да и нет. Может быть, и не все тут было заранее рассчитано, но без игры не обошлось. Кое-какие неясности были допущены с умыслом; а кое-что прозвучало двусмысленно помимо его воли.

Когда мы прощались, все были еще под впечатлением его слов. Видимо, он добился своего.

По дороге домой и потом наутро, несколько поостыв, я спрашивал себя: кто как истолковал слова Роджера? Слышишь ведь всегда то, что хочешь услышать,— это относится даже и к столь искушенным людям, как те, кто был вчера там. Попросить бы их написать отчет об этом вечере, и картина получилась бы презабавная.

Что до меня, сейчас я еще меньше мог предвидеть дальнейшие шаги Роджера, чем когда бы то ни было с тех пор, как Роуз впервые меня предостерег.

## Имя, которое почти ничего не значит

Как-то утром в декабре я получил некое сообщение. Его принес мой знакомый из службы безопасности. Мне не полагалось видеть эту бумагу, но я давно привык к их нелепым порядкам. Знакомый назвал имя, которое мне требовалось, а бумагу унес с собой.

Это было имя преследователя Элен. Услыхав его, я только и сказал: «Вот как?» Имя было самое обыкновенное, так могли бы звать,

скажем, нового привратника. Через пять минут я уже звонил Элен и сказал ей, что хочу не позже часу с ней увидеться.

— Что случилось? — Но она могла и не спрашивать.

По телефону я заставил ее дать мне одно обещание. Я ничего ей не смогу сообщить, сказал я, если она не даст мне такого обещания. Когда я сообщу ей то, что узнал, она не предпримет никаких шагов, ровным счетом никаких, без моего согласия.

— Придется обещать,— сказала она твердо, хоть и без особого удовольствия.

Она тут же назначила мне свидание в художественной галерее возле Берлингтонских садов. Здесь я и нашел ее, она сидела на единственном стуле посреди пустой комнаты. Стены были увешаны огромными яркими полотнами. Я шел к ней по безлюдной галерее, и мне подумалось, что со стороны мы выглядим как поклонники батальной живописи или как пожилой чиновник и моложавая изящно одетая женщина на первом свидании. Увидев меня, она вопросительно раскрыла темные встревоженные глаза.

— Ну что? — спросила она.

Я не стал тратить время зря.

— По-видимому, это Худ,— сказал я.

В первую минуту она не поверила своим ушам, не поверила, что это тот самый Худ, которого мы оба знали, краснощекий человек с добродушной физиономией мистера Пиквика, душа общества и любитель выпить, занимавший какой-то пост по коммерческой части, не из самых высоких, в фирме одного из соперников Лафкина. Я сказал Элен, что в последний раз видел этого Худа на дне рождения Лафкина — он так и таял от восторга при каждом слове Лафкина и громко хлопал ему, высоко поднимая руки, словно аплодировал какой-нибудь оперной диве.

— Я встречала его в библиотеке,— несколько раз кряду повторила Элен. Потом продолжала: — Но что он может иметь против меня? Я с ним и двумя словами не обменялась.

Она искала какой-то личный повод для обиды — быть может, она чем-то задела его, сама того не заметив, или не ответила на его внимание? — но не находила даже этого весьма слабого утешения.

— Я должна поговорить с ним начистоту! — воскликнула она.

— Ни в коем случае.

— Я должна.

— Вот почему я и взял с вас обещание час назад,— сказал я.

Она посмотрела на меня гневно, чуть ли не с ненавистью. Она жаждала действия, как наркотика. Вынужденное бездействие было нестерпимым.

Это грозит многими осложнениями, возразил я. Теперь, когда мы знаем, кто он такой, он уже не так опасен. Если это просто личная неприязнь, что маловероятно, повторил я, с этим Худом можно не считаться, это досадно, но не более того. Это можно стерпеть.

Ну, а если это не просто личная неприязнь? Действует ли он сам по себе? И, если нет, кто стоит за ним? На Элен вдруг нашло самое настоящее безумие. Ей чудился кто-то необычайно хитрый и умный, насылающий на них с Роджером целые вражеские армии: враги следят за ними, строят козни, сжимают кольцо, ловят каждый их шаг и каждое слово. Худ атакует их с одной стороны, Бродзинский — с другой. Но кто все это направляет?

Я не мог успокоить ее, убедить, что это неверно. Я и сам не понимал, что происходит. В этой пустой комнате, где с полотен кидались на нас ярко-красные пятна, мне и самому стало казаться, что я попал в сети преследователей.

Наконец Элен сказала:

— Если так будет продолжаться, не знаю, выдержу ли я.

На самом деле она опасалась, что силы изменят не ей, а Роджеру. «Не знаю, выдержит ли он» — вот что на самом деле означали ее слова, и это она не могла высказать вслух. Элен не могла признаться и в своих новых страхах, а ею владел страх, что она может его потерять. Обожая Роджера, она, однако, хорошо его знала. Она понимала, что преследования не сделают его более стойким, а заставят искать безопасности — среди коллег, в привычном убежище на Лорд Норт-стрит.

Не удержавшись, она сказала:

— Самое плохое, что мы сейчас врозь.

Это означало, что она не может быть с ним каждый день, каждый час.

— Когда он приходит, ему хорошо. И мне тоже.— Она сказала это как всегда просто и деловито, без лишних эмоций.— Но сейчас этого недостаточно. Говорю вам, я от всего могу отказаться,— сказала она еще.— Могу жить на задворках, на гроши... я на все готова... Лишь бы все время быть рядом с ним. Я согласна больше не спать с ним, если надо, лишь бы просто быть рядом с ним день и ночь, изо дня в день.

# Часть четвертая

# В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРА

## Панихида

Колокола церкви св. Маргариты в Вестминстере сумрачно звонили под хмурым, низким небом пасмурного полудня. Шел третий день рождества, парламент был распущен на каникулы, но премьер-министр и Коллингвуд в визитках и цилиндрах прошествовали по паперти и скрылись под сводами церкви. Появились и еще три министра, несколько членов палаты лордов из тех, что постарше, затем — Роджер и Монти Кейв.

Я сидел в церкви, где-то посредине. Энергичные холеные лица вокруг меня были серьезны, торжественны, но не скорбны. Для них это был просто обряд, обряд, которым они наслаждались, без него их жизнь потеряла бы долю очарования.

Панихиду служили по Томасу Бевилу, он умер перед самым рождеством восьмидесяти восьми лет от роду. В начале последней войны он занимал министерский пост, а я служил под его началом. То были мои первые шаги на поприще государственной службы, и я знал Бевила лучше, чем почти все, кто присутствовал сейчас на панихиде. Никто не назвал бы его великим человеком, сам он — меньше всего, и, однако, я многому у него научился. Он был политик в самом прямом смысле этого слова, прирожденный политик. Он знал, когда какие рычаги и кнопки нажимать, знал куда безошибочнее, чем кто-либо другой в правительстве. И, как почти все завзятые политики, оценивал трезво все, кроме своих собственных возможностей. В 1943 году, когда ему минуло семьдесят четыре, ему вежливо, но решительно дали отставку. Все, кроме него самого, понимали, что это конец. Но он все еще надеялся, что следующее консервативное правительство вновь его призовет. Он и в восемьдесят четыре года все еще допытывался у друзей, нет ли надежды снова получить портфель, если сменится премьер-министр. И когда ему говорили, что надежды нет, его кроткие голубые глаза начинали метать молнии.

Не могу сказать, чтобы я был особенно привязан к Томасу Бевилу. В давно прошедшие времена он был моим союзником, но нас связывали только дела. Он был добр ко мне, просто по природному благоразумию, как всегда бывал добр со всеми своими коллегами, если не было очень уж веских причин быть недобрым. Вот, в сущности, и все. Это был упрямый старый консерватор, патриот до мозга костей, и чем ближе я его узнавал, тем больше убеждался, что он черствый, равнодушный сноб. И все-таки сейчас я думал не об этом. Я стоял в церкви, слушал уверенные, привыкшие ораторствовать голоса и чувствовал себя посторонним — как был посторонним и он, потому что без него, как без любого из нас, когда настает урочный час, можно так легко обойтись.

Служба кончилась, и все — довольные, цветущие, с блаженным сознанием исполненного долга — высыпали наружу. Я не слыхал, чтобы кто-нибудь обмолвился хоть словом о покойнике. Премьер-министр, Коллингвуд и Роджер уселись в одну машину. Машина отъехала под внимательным взглядом Монти Кейва; он обернулся к Сэмикинсу, которого я во время панихиды не заметил, и сказал:

— После завтрака продолжим.

Он имел в виду заседание министерской комиссии, которое шло все утро и не кончилось. Мы уже знали, что это должно быть решающее заседание, и потому никто из советников — ни ученые, ни государственные служащие, кроме Дугласа,— не присутствовали. Умные, глубоко посаженные глазки Монти провожали машину, удалявшуюся по парламентской площади.

— Вовремя кончили, как по-вашему? — сказал он Сэмикинсу.

И отрывисто, словно против воли, спросил, не позавтракаем ли мы с ним. Он жил на Смит-сквер, я у него раньше не бывал; по дороге, в машине, Сэмикинс болтал без умолку, ничуть не смущаясь тем, что мы с Кейвом упорно молчим. Я спрашивал себя, почему Кейв нас позвал — от одиночества? А может быть, хотел или чувствовал себя обязанным что-то нам сказать?

Дом был высокий, узкий и казался нежилым — так гулко отдавались в тишине наши шаги. Я посмотрел в окно столовой; напротив под пасмурным зимним небом виднелись развалины церкви. Словно я выглянул в какой-то иной, средневековый мир. Но в столовой все было ярко, изысканно, на одной стене — первоклассный Сислей: тополя над озаренной солнцем водой, на другой — натюрморт Никола де Сталя: фрукты на белом блюде, пастель.

Я спросил Кейва еще про одну картину. Он ответил уклончиво: явно не знал имени художника. Он был начитаннее многих, но, как видно, ничего не смыслил в живописи. Словно жил в музее, который по своему вкусу устроила его жена.

Горничная подала груши авокадо, холодного цыпленка, язык, сыр. Кейв с жадностью набросился на еду. Сэмикинс ел меньше и не с таким наслаждением, зато завладел бутылкой «рейнвейна». Мы с Кейвом давно привыкли, как почти все чиновники среднего поколения, до вечера не пить.

— Вот это еда! — с жаром сказал Сэмикинс.— И какого черта мы тратим время на торжественные официальные завтраки!

Монти Кейв улыбнулся ему — пожалуй, ласково, пожалуй, он даже немножко завидовал пылкости и непосредственности, какими сам никогда не отличался; он заметил словно бы случайно, с полным ртом:

— Что ж, у нас было довольно примечательное утро.

Он сказал это не столько Сэмикинсу, сколько мне. Я знал, что он человек хитрый, неискренний и умнее всех нас. Я подозревал, что сказано это отнюдь не случайно. И я тоже решил выбирать слова:

— Ну и как оно прошло?

— Да вы сами знаете, как это обычно проходит.

Не то чтобы он хотел меня осадить, но я разозлился. Это было уже какое-то извращенное пристрастие к игре в прятки. Я посмотрел на него: жирный оплывший подбородок, высоко поднятые брови, глаза зоркие, злые, вызывающие — странный, почти пугающий взгляд на обрюзгшем лице толстяка.

— Старик Роджер в последнее время повадился отпускать шуточки на заседаниях,— сказал он.— И на заседаниях кабинета, и тут, в комиссии. Неплохие шуточки, должен признать, но едва ли их соль доходит до Реджи Коллингвуда.

Сэмикинс, по своему обыкновению, нахально засмеялся, но Кейв только покосился на меня и продолжал:

— Я иногда подумываю: разумно ли поступают политики, которые слишком много шутят? Как по-вашему? Я хочу сказать: иногда это выглядит так, словно на душе у них неспокойно, а они прикидываются чересчур уж беззаботными. Может так быть, как по-вашему?

— А по-вашему, у Роджера на душе неспокойно? — спросил я.

— Да нет, не думаю. Хоть убейте, не представляю, чего бы ему беспокоиться. А вы?

Тут даже у Сэмикинса, который слушал куда рассеяннее, чем я, лицо стало озадаченное.

Все мы знали, что Роджер сейчас на распутье, не так-то просто ему определить свою дальнейшую политическую линию. Кейв знал это не хуже других. И вдруг я подумал: а может быть, при своей необычайной страсти к недомолвкам и околичностям, он намекает на обстоятельства, не имеющие никакого отношения к политике. Неужели он и вправду подразумевал, что у Роджера есть какая-то другая забота, совсем иного свойства? Монти — человек от природы наблюдательный и подозрительный и, возможно, стал еще подозрительнее после своего несчастья. Может быть, он почуял, что еще одному семейному очагу грозит опасность?

— Да, я тоже не представляю, с чего бы Роджеру беспокоиться,— сказал я Кейву.— Разве что сегодня в комиссии дела шли хуже, чем вы говорите. И вы опасаетесь, что ему придется отступить... Да и вам тоже.

— Нет, нет,— поспешно возразил Кейв. Лицо его преобразила улыбка, которая словно появилась откуда-то изнутри, мимолетная, веселая, совсем мальчишеская.— Уверяю вас, все прошло гораздо легче, чем я ожидал. Разумеется, у этого законопроекта в конечном счете не так уж много острых углов, правда? Разве что кто-нибудь истолкует его так, что это придется не по вкусу Реджи Коллингвуду.

И, чуть помолчав, Кейв прибавил:

— Роджер был сегодня на редкость хорош. Иногда он и впрямь выглядит самым значительным человеком среди нас, вы понимаете, что я хочу сказать. Правда, у него вырвался один намек (он сказал это не слишком громко и сразу перешел на другое), что в определенных обстоятельствах он, пожалуй, не прочь обратиться с несколькими словами к широкой публике. Это, конечно, выглядело не так грубо, как угроза подать в отставку, сами понимаете.— Кейв снова улыбнулся.— Может быть, я и ошибаюсь, но у меня создалось впечатление, что кое-кто из наших коллег понял намек.

Глаза Кейва блеснули, и, понизив голос чуть не до шепота, он сказал мне:

— Насколько я припоминаю последнее сборище у Кэро, Роджер, видимо, позаимствовал эту хитрость у вас.

Было уже почти два часа. Через полчаса заседание должно возобновиться, скоро Кейву надо будет идти. Мы поднялись в гостиную —

тоже очень яркую, тоже увешанную картинами. Но прежде всего здесь бросалась в глаза большая фотография жены Кейва. Она выглядела гораздо красивее, чем в жизни,— правильные черты, лицо живое, энергичное. Неподходящая пара для Монти, совсем неподходящая, как догадался бы каждый, внимательно поглядев на это лицо. И все-таки Монти портрета не убирал. Должно быть, он смотрел на него каждый вечер, когда в одиночестве возвращался домой. С жалостью, с чувством неловкости я подумал, что, видно, горе не просто вошло в его жизнь, но заняло в ней главное место.

С беззастенчивостью, на которую я, да и никто из нас не отважился бы, Сэмикинс подошел к портрету и спросил:

— Вы получаете какие-нибудь вести от нее?

— Только через ее адвокатов.

— И что они говорят?

— А как по-вашему? — спросил Кейв.

Сэмикинс круто обернулся и сказал резко:

— Слушайте, чем скорее вы поймете, что счастливо отделались, тем будет лучше для вас. Хотя, наверно, вас это мало волнует. Но так будет лучше и для нее, а это, как ни печально, вас волнует. И так будет лучше для всех окружающих.

Он держался и разговаривал как полковой офицер, которому его рядовой поведал о своих семейных неурядицах. Почему-то было ничуть не похоже, что молодой повеса разговаривает с видным деятелем. И, слушая его, я не ощущал неловкости.

— Ничего, обойдется,— сказал Кейв мягко, кажется, даже с благодарностью и совершенно искренне, как Сэмикинс.

Немного погодя он распрощался и отправился на Грейт-Джордж-стрит. Думаю, он был искренен и тогда, когда сказал мне сочувственно и успокоительно:

— Не тревожьтесь из-за нынешнего заседания. Все идет, как задумано.— Но не удержался и напоследок то ли сострил, то ли съязвил, то ли загадал мне загадку: — Только кем задумано, вот вопрос!

## Оскорбление

В воскресенье, дня через два после панихиды, мы с Маргарет сидели дома. Дети, как всегда на рождество, ушли в гости, и мы отдыхали. Зазвонил телефон. Маргарет сняла трубку, и лицо у нее стало удивленное. Да, он дома, сказала она. По-видимому, ее собеседник хотел назначить мне где-то свидание; Маргарет, оберегая мой покой, сказала, что мы дома одни, так что, может быть, он зайдет к нам? После этого ей что-то долго объясняли. Наконец, она отложила трубку, подошла ко мне и сочувственно чертыхнулась.

— Это Гектор Роуз,— сказала она.

По телефону голос Роуза звучал еще холодней обычного:

— Мне крайне неприятно вас беспокоить, дорогой мой Льюис, я бы ни в коем случае не позволил себе этого, но у меня неотложное дело. Передайте мои извинения вашей супруге. Очень прошу меня извинить.

Когда с предварительными расшаркиваниями было покончено, выяснилось, что ему необходимо сегодня же со мной повидаться. Он просит меня пожаловать в «Атеней» в половине пятого, мы выпьем чаю. Мне очень не хотелось идти, однако он настаивал, твердо, решительно, отбросив все пустопорожние учтивости. Но как только мы условились

о встрече, опять пошли извинения и расшаркивания. День был разбит, настроение испорчено.

Маргарет, все еще сердитая, выговаривала мне, что я не отказался наотрез. Она не сомневалась, так же, как и я, что это приглашение каким-то образом связано с законопроектом Роджера. Однако мы слышали еще в пятницу вечером, что Кейв предсказал правильно и в министерской комиссии все прошло гладко.

— Что бы там ни было, а он мог бы подождать до завтрашнего утра.

Я оставил жену, вышел из уютного дома под холодный моросящий дождь и подумал, что она совершенно права.

Настроение мое ничуть не поднялось, когда такси остановилось у дверей клуба. Все окна были темные, на тротуаре, в сумраке и слякоти, стоял Гектор Роуз. Не успел я заплатить шоферу, как Роуз рассыпался в извинениях.

— Ужасно глупо с моей стороны, дорогой Льюис. Я бесконечно перед вами виноват. И с чего только я взял, что клуб сегодня открыт. Мне случалось всячески ошибаться, но я никак не думал, что способен на такой промах.

Извинения становились все изысканнее и в то же время все язвительней, как будто в душе Роуз считал виноватым меня.

В столь же изысканных выражениях он стал объяснять, что, быть может, последствия его непростительного легкомыслия не столь уж непоправимо тяжки. Поскольку «наш» клуб закрыт, должен быть открыт соответственно «главный», и мы, вероятно, без особых затруднений, сможем выпить там чаю. Мне все это было известно не хуже, чем ему. В полусотне шагов, на другом конце площади, за пеленой дождя, который уже начал мешаться со снегом, мутно светились огни «главного», как выразился Роуз,— Объединенного клуба. Мне хотелось поскорей покончить с церемониями и очутиться в тепле.

Мы очутились в тепле. Уселись в углу гостиной и заказали чай с горячими булочками. Роуз по случаю неприсутственного дня был одет почти по-домашнему — спортивная куртка, серые фланелевые брюки,— но никак не мог покончить с церемониями. Это было так на него не похоже, что я растерялся. Как правило, решив, что необходимые приличия соблюдены, он так круто переходил к делу, словно поворачивал выключатель. Держался он так неестественно, его любезность так мало выражала скрывавшийся за нею характер, что всегда трудно было понять его истинное настроение. И, однако, пока он описывал круги по лабиринтам светской учтивости, я с нарастающим беспокойством ощущал в нем какую-то внутреннюю тревогу.

Я человек терпеливый, но тут мне стало невтерпеж.

— В чем все-таки дело? — не выдержал я.

Он уставился на меня со странным выражением.

— Вероятно, случилось что-то, имеющее отношение к Роджеру Куэйфу,— сказал я.— Я не ошибаюсь?

— Не совсем так,— живо и озабоченно ответил Роуз.

Наконец-то он перешел к делу.

— Нет, насколько я знаю, тут все в порядке,— продолжал он.— Наши хозяева, видимо, собираются санкционировать этот законопроект, который я назвал бы необычайно разумным. На следующей неделе он будет рассматриваться на заседании кабинета. Это, разумеется, компромисс, но в нем есть ряд положительных пунктов. Будут ли наши хозяева отстаивать эти пункты, когда окажутся под перекрестным огнем, вопрос другой. Будет ли наш друг Куэйф отстаивать свой законопроект, когда на него накинутся всерьез? Признаться, мне это очень любопытно.

Это говорило второе «я» Роуза — деятельное, энергичное,— но он все еще зорко присматривался ко мне.

— Так что же? — сказал я.

— Я и в самом деле думаю, что с законопроектом все в порядке,— сказал Роуз; ему явно приятно было рассуждать со стороны, точно олимпийскому богу, который пока не решил, на чью сторону стать.— Думаю, вы можете на этот счет не волноваться.

— А о чем же мне следует волноваться?

И опять лицо у него стало какое-то странное. Оно было напряженное, властное и теперь, когда с него сошла насильственная улыбка, вызывало доверие.

— По правде говоря,— начал он,— мне пришлось провести некоторое время в обществе работников службы безопасности. Чересчур много времени, я бы сказал,— прибавил он резко, но тут же сдержал досаду и заговорил спокойно, отчетливо, старательно выбирая слова: — Я не хотел тревожить вас без необходимости. Помнится, несколько месяцев назад я говорил вам, что на меня с разных сторон оказывают нажим, которому я по мере сил стараюсь сопротивляться. Когда, бишь, это было?

У нас обоих была отличная, хорошо тренированная память. Я мог ему и не подсказывать, он сам знал, что это было в сентябре, когда он предупреждал меня, что «враги не дремлют». Мы оба могли бы сейчас кратко и точно изложить тот разговор на бумаге.

— Так вот, должен с огорчением признаться, что я не мог сопротивляться до бесконечности. Эта публика (Как там они себя именуют на своем мерзком жаргоне? Группами нажима?) готова действовать через нашу голову. У нас нет способа этому помешать. Некоторым нашим ученым (я имею в виду самых выдающихся ученых, наших советников по вопросам обороны, на которых — едва ли нужно напоминать — опирается наш друг Куэйф) предстоит заново пройти проверку благонадежности. Мне кажется, эта процедура будет именоваться — не слишком изящно —«двойная проверка».

Роуз продолжал разъяснять положение — властно, четко, педантично,— и в голосе его слышались досада и отвращение, отвращение ко мне, кажется, не меньшее, чем к «группам нажима». Немалое давление оказано с помощью Бродзинского, взявшегося за обработку своих знакомых — членов парламента. Иные люди пришли к этой точке зрения сами по себе. На иных оказал влияние Вашингтон — возможно, тут сыграли роль речи Бродзинского, или его американские друзья, или, может быть, то, как откликнулись за океаном на этот парламентский запрос.

— Мы могли бы противостоять нажиму каждой из этих пружинок в отдельности,— продолжал Роуз,— хотя, как вы, наверно, заметили, наши хозяева, если можно так выразиться, не всегда бывают по-кромвелевски независимы, когда им приходится иметь дело с «намеками» наших старших союзников. Но мы не можем противостоять им всем. Постарайтесь поверить мне на слово.

Наши глаза встретились — лица у нас обоих были непроницаемы. Роуз, как никто другой, рассыпался в извинениях, когда это было никому не нужно, и, как никто другой, терпеть не мог извиняться, когда извиниться очень даже следовало.

— Суть в том,— продолжал он,— что кое-кто из наших виднейших ученых, которые оказали государству немалые услуги, вынужден будет подвергнуться крайне унизительной процедуре. В противном случае он больше не будет допущен ни к какой серьезной работе.

— О ком именно речь?

— Есть двое или трое, которые для нас не так уж много значат. И затем — сэр Лоуренс Эстил.

Я не сдержал улыбки. Невесело усмехнулся и Роуз.

— Ну, знаете, по-моему, это довольно забавно,— сказал я.— Хотел бы я посмотреть, как ему об этом скажут.

— Мне думается, его включили в это число, чтобы все выглядело пристойнее,— сказал Роуз.

— А кто остальные?

— Один — Уолтер Льюк. Строго между нами, поскольку он главный ученый советник правительства, мне кажется, что это очень дурной знак.

Я выругался. Потом сказал:

— А все-таки, может, Уолтер и пойдет на это, он ведь толстокожий.

— Надеюсь,— Роуз помедлил.— Другой — ваш добрый старый друг Фрэнсис Гетлиф.

Я долго молчал. Потом сказал:

— Стыд и позор.

— Я с самого начала пытался дать вам понять, что я тоже отношусь к этому без восторга.

— Это не только позорно, но и грозит скандалом,— продолжал я.

— Это одна из причин, почему я вытащил вас сегодня из дому.

— Послушайте,— сказал я,— я прекрасно знаю Фрэнсиса. Знаю с юности. Он человек очень гордый. Сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь, чтобы он на это пошел.

— Скажите ему, что это необходимо.

— С какой стати ему соглашаться?

— Из чувства долга,— сказал Роуз.

— Он вообще нам помогал только из чувства долга. Если его к тому же еще станут оскорблять...

— Дорогой мой Льюис,— холодно и зло прервал Роуз,— очень многих из нас, людей, конечно, не столь выдающихся, как Гетлиф, но все же не последних в своем деле, так или иначе оскорбляют, когда наша карьера подходит к концу. Но это не значит, что мы можем позволить себе оставить свой пост.

Это был чуть ли не единственный случай, когда он пожаловался на свои невзгоды, да и то не прямо.

Я сказал:

— Фрэнсис хочет только одного: продолжать свои исследования и жить тихо и мирно.

— Не кажется ли вам, что если он поступит так, как ему хочется, то — я позволю себе воспользоваться вашим же выражением — и у него, и у всех нас останется еще меньше надежды жить тихо и мирно? Хватит глупостей! Все мы знаем, что политика Куэйфа опирается на знания и научные выводы не чьи-нибудь, а Гетлифа. С точки зрения военной — мы, кажется, все в этом согласны,— у нас нет лучшего научного авторитета. А раз так, он просто обязан переступить через свое самолюбие. И вы обязаны ему это растолковать. Если вы столь горячо поддерживаете политику Куэйфа, вы просто не можете этого не сделать.

Я подождал минуту, потом сказал как мог спокойнее:

— Я только сейчас понял, что и вы столь горячо поддерживаете эту политику.

Роуз не улыбнулся, даже глазом не моргнул, ничем не показал, что я попал в точку.

— Я — государственный служащий,— сказал он,— я веду игру по всем правилам.— И вдруг живо спросил: — Скажите, а эта проверка поставит Фрэнсиса Гетлифа в очень трудное положение?

— А как по-вашему, с ним будут достаточно разумно обращаться?

— Им разъяснят — может быть, даже они в какой-то мере и сами это понимают,— что он человек нужный.— И уже без всякой язвительности Роуз продолжал: — Он слывет крайне левым. Вам это известно?

— Разумеется, известно. В тридцатых годах он был радикалом, Что касается избранной им позиции, может быть, это и так, но в душе никакой он не радикал.

Роуз помолчал немного. Потом показал на портрет, писанный маслом, каких здесь, в гостиной, было множество: генерал времен королевы Виктории, точнее, войны с бурами — в бакенбардах, краснощекий, с глазами навыкате.

— Беда в том,— сказал Роуз,— что наши «старшие» союзники прилежно перечитали все речи Фрэнсиса Гетлифа, все до единой и воображают, будто никто из нас ничего о нем не знает. Но одно из многих преимуществ жизни в Англии — что мы все-таки немножко знаем друг друга. Согласны? Знаем, к примеру, и это довольно существенно, что Фрэнсис Гетлиф так же склонен изменить отечеству, как, скажем...— И Роуз без особого ударения, но самым своим саркастическим тоном прочитал подпись под портретом: — «Генерал-лейтенант сэр Джеймс Брюднел, баронет и кавалер ордена Бани...»

Настало напряженное молчание, потом Роуз сказал:

— Вам следует предупредить Гетлифа еще кое о чем. Признаться, я считаю это оскорбительным. Но по нынешним понятиям подобная проверка, видимо, требует так называемого «расследования» и в области сексуальных отношений.

Застигнутый врасплох, я ухмыльнулся.

— Напрасно будут стараться. Фрэнсис женился совсем молодым, и они с женой по сей день живут очень счастливо. А чего, собственно, эта публика доискивается?

— Я уже намекал им, что было бы не слишком тактично спрашивать об этом самого сэра Фрэнсиса Гетлифа. Но они, несомненно, переберут всех его знакомых и проверят, нет ли чего-нибудь такого, что может дать повод его шантажировать. Иначе говоря, насколько я понимаю, они хотят выяснить, нет ли у него любовниц или иных привязанностей. Как вам известно, существует престранная точка зрения, что гомосексуалист скорей всего может стать предателем. Хотелось бы мне, знаете ли, чтобы они сказали это господам Иксу и Игреку.

Впервые осторожнейший Роуз ничуть не заботился об осторожности. Он назвал одного из самых твердолобых министров и некоего высокопоставленного общественного деятеля.

«Хотелось бы мне,— эхом отозвался я,— чтобы кто-нибудь сказал Фрэнсису, что, когда выясняют, не гомосексуалист ли он, это и есть серьезная проверка благонадежности».

Забавная мысль. Но я сказал:

— Знаете, вряд ли он это стерпит.

— Обязан,— сказал непоколебимый Роуз.— Это невыносимо, но такова наша жизнь. Я вынужден просить вас сегодня же ему позвонить. Вы должны поговорить с ним, пока до него еще ничего не дошло.

Мы помолчали.

— Сделаю все, что только в моих силах,— пообещал я.

— Весьма признателен,— сказал Роуз.— Как я уже говорил, это только одна причина, почему мне непременно нужно было с вами сегодня побеседовать.

— А другая?

До сих пор я соображал туговато, но тут вдруг понял.

— Другая причина: боюсь, что через ту же процедуру придется пройти и вам.

Я даже вскрикнул. Меня охватило бешенство. Такая оплеуха!

— Мне очень жаль, Эллиот,— сказал Роуз.

Много лет он звал меня просто по имени. А сейчас, сообщив мне эту новость, он почувствовал себя совсем чужим, как в первый день нашего знакомства. В сущности, он всегда не слишком жаловал меня. За много лет у нас установились отношения доброго сотрудничества, какое-то уважение, какое-то доверие. Я доставлял ему немало хлопот, так как при своем независимом положении позволял себе вольности, о каких государственный служащий, озабоченный своей карьерой, и помыслить не может. Ему было не всегда легко переварить то, что я говорил и писал. Каждый раз ему приходилось одолевать себя — не по добродушию, но по обязанности. Теперь же настала минута, когда он не в силах был защитить меня, как, по его понятиям, следовало бы защищать коллегу. И именно поэтому я был ему неприятнее, чем когда-либо.

— Хоть это и малое утешение, но вас проверяют не по настоянию наших союзников,— сказал он сухо.— Они интересовались Гетлифом, но отнюдь не вами. Нет, у вас, видимо, есть враги здесь, в Англии. Как я понимаю, это для вас не такая уж неожиданность.

— Вы думаете, я стану это терпеть?

— Я вынужден сказать вам то же самое, что уже высказал в применении к Гетлифу.

Некоторое время мы молча сидели друг против друга, потом он сказал напряженно, холодно и враждебно:

— Я считаю своим долгом, насколько возможно, облегчить вам дело. Если вы не желаете подвергаться проверке, я постараюсь изобрести какой-нибудь предлог — в конце концов это не свыше сил человеческих,— и вопросами обороны займется кто-то другой, кем не так интересуется служба безопасности. Разумеется,— прибавил он, с усилием возвращаясь к обычной учтивости,— никто другой не будет для нас столь неоценимым помощником, дорогой мой Льюис.

— И вы серьезно думаете, что я могу согласиться на подобное предложение?

— Я делаю его с чистой совестью.

— Вы же знали, что я ни в коем случае не соглашусь.

Роуз разозлился не меньше моего.

— Неужели вы думаете, что я не отбивался от них месяцами?

— И все-таки они поставили на своем.

Теперь Роуз говорил с подчеркнутой беспристрастностью, с подчеркнутой рассудительностью:

— Повторяю, мне очень жаль, что так случилось. Да будет вам известно, что я отстаивал вас и Гетлифа чуть ли не всю осень. Но после вчерашнего разговора с ними у меня не осталось выбора. Повторяю также: я готов сделать все, что только во власти нашего ведомства, чтобы облегчить вам это испытание. На вашем месте я отнесся бы к этому так же, как и вы. Прошу вас, не думайте о звонке Гетлифу. С моей стороны было опрометчиво просить вас об этом, поскольку мне предстояло сообщить вам новость для вас еще более неприятную. Неприятную, кстати, и для меня. Нет надобности решать что-либо сегодня же. Дайте мне знать завтра, как вы предпочтете поступить.

Он говорил здраво и беспристрастно. Но я сидел напротив, и он видел во мне воплощенный укор. И ему хотелось только одного: чтобы я убрался с глаз долой. Что же до меня, то я даже не в силах был оценить его беспристрастие.

— Нет, выбора у меня нет,— сказал я грубо.— Можете сказать этим господам: пусть делают свое дело.

# Совет благоразумного человека

В тот вечер я выполнил свой долг и позвонил Фрэнсису в Кембридж. Я был зол на него, совсем как Роуз на меня, потому что вынужден был его уговаривать. Я был зол, потому что Фрэнсис упрям и неподатлив и уговорить его нелегко. Я был зол на Маргарет, потому что, как любящая жена и человек горячий и принципиальный, она говорила то, что хотел бы сказать я сам: что и Фрэнсису и мне надо подать в отставку, а там пусть делают, что хотят.

Но у меня было еще и другое чувство, которого я прежде не испытывал — во всяком случае, не испытывал очень давно, с ранней юности: жгучее, неотступное ощущение, что за мною наблюдают. Сняв трубку и назвав кембриджский номер Гетлифа, я напряженно ловил ухом звуки, едва доступные уху: может быть, нас подслушивают? Малейшее пощелкивание и позвякивание казалось мне оглушающим.

Так было и все последующие дни. Я вспомнил одного беженца, который много лет назад рассказывал мне, какой ценой дается изгнание. Приходится думать над каждым шагом, который на родине был таким же бессознательным, как сон. Теперь я понимал, что это значит. Я ловил себя на том, что, садясь в такси, оглядываюсь по сторонам. Даже в сумерках деревья парка выступали неестественно четко: казалось, я мог бы сосчитать на них каждый сучок. Фары встречного такси слепили, как маяки.

В начале недели позвонила Элен: утром пришло еще одно анонимное письмо, она и Роджер хотят со мной поговорить. И снова окружающий мир показался мне освещенным чересчур ярко. Мы уславливались о встрече, говорили и казались друг другу и самим себе очень рассудительными, но до рассудительности было далеко. Мы потеряли чувство реальности, как люди, загипнотизированные необходимостью блюсти тайну.

Под конец, как будто вновь вернулась молодость и бедность и некуда повести подружку, мы поодиночке зашли в кабачок на набережной. Когда я пришел, там было пусто, и я сел за столик в углу. Скоро ко мне присоединился Роджер. Я заметил, что, несмотря на все фотографии в газетах, никто за стойкой его не узнал. В дверях появилась Элен, я пошел ей навстречу, поздоровался и подвел к столику. Она строго, как незнакомому, улыбнулась Роджеру, но щеки ее пылали и глаза блестели, точно у маленькой девочки. Казалось, тревога и подозрения пошли ей на пользу, и силы бьют в ней ключом. Из нас троих наиболее угасшим и усталым выглядел Роджер. Но пока я читал новую анонимку, которую Элен достала из сумочки, он следил за мной таким же живым и настороженным взглядом, как и она.

Почерк был тот же, но слова теснее жались друг к другу. Письмо было угрожающее («у Вас осталось совсем немного времени, чтобы заставить его передумать») и — чего раньше не бывало — непристойное. Непристойность была своеобразная: как будто автор, задавшись сугубо практической целью, вдруг сбился с пути и уже не мог остановиться, точно одержимый, который выводит гадости на стене общественной уборной. Этот липкий бред тянулся и тянулся, и за ним так и виделся садист и маньяк с остекленевшими глазами.

Я больше не желал читать и бросил письмо на стол.

— Ну? — воскликнула Элен.

Роджер устало откинулся на стуле. Он, как и я, был смущен, и ему это было неприятно. С нарочитой небрежностью он сказал:

— Совершенно ясно одно. Он здорово нас не любит.

— Я этого не потерплю,— сказала Элен.

— Но что мы можем поделать? — примирительно спросил Роджер.

— Я намерена что-то делать.— Она взывала ко мне, нет, она решительно объявила мне это: — Вы согласны? Пора что-то делать!

В эту минуту я понял, что они впервые несогласны друг с другом. Вот почему они меня позвали. Элен хотела заручиться моей поддержкой, а Роджер — он рассудительно и осторожно объяснял сейчас, устало откинувшись на стуле, почему им надо и впредь сносить все это молча,— был уверен, что я не могу не стать на его сторону.

Он остерегал, но ничего не навязывал. Он говорил медленно, взвешивая каждое слово. Нет никаких оснований думать, что анонимщик осуществит свои угрозы. Не стоит обращать внимания. Сделаем вид, что нас это ничуть не трогает. Неприятно, но не более того.

— Легко тебе рассуждать,— сказала Элен.

Роджер поглядел на нее с удивлением. Никогда не следует предпринимать какие-либо шаги, если не знаешь, к чему это приведет, сказал он, не повышая голоса.

— Его можно заставить замолчать,— настаивала Элен.

— У нас нет в этом никакой уверенности.

— Мы можем обратиться в полицию,— резко сказала она.— Тебя оградят. Разве ты не знаешь, что за такие вещи полагается полгода тюрьмы?

— Да, конечно.— Роджер посмотрел на нее чуть сердито, как на бестолкового ребенка, который никак не решит простую задачку.— Но не то у меня положение, чтобы я мог выступать на суде в качестве свидетеля. Тут надо быть человеком, чье имя никому ничего не говорит. Ты должна понять. Для меня это невозможно.

Минуту Элен молчала.

— Да, конечно, для тебя это невозможно.

На мгновенье он накрыл ее руку своей.

Но она снова вспылила.

— Есть же другие пути! Как только я узнала, кто он такой, я поняла, что его можно остановить. Он струсит. Это уж мое дело, и я об этом позабочусь.

Глаза ее гневно расширились. Она в упор посмотрела на меня.

— Как по-вашему, Льюис?

Помедлив, я повернулся к Роджеру:

— Некоторый риск есть. Но я думаю, пора бы перейти в наступление.— Кажется, никогда в жизни я не говорил так убедительно.

Роджер рассуждал вполне разумно. Элен тоже бог разумом не обидел, но она была создана для действия, а когда не могла действовать, ясность суждений тотчас ей изменяла. Но мне и самому изменила ясность суждений по причинам более сложным, чем у Элен, и куда больше заслуживающим порицания. С годами я выучился терпению. Люди вроде Роджера потому и прислушивались ко мне, что считали меня человеком стойким, терпеливым; но это не было моим природным свойством, и не так уж оно легко мне давалось. От природы я был непосредствен даже сверх меры, порывист и податлив. Выдержка, которую приходилось постоянно проявлять на людях, вошла у меня в привычку, но в глубине затаилось мое истинное «я», и в минуту, когда терпение и самообладание изменяли мне, оно все еще, даже в таком солидном возрасте, могло вырваться наружу. Одна только Маргарет знала, что все эти дни, после памятного разговора с Роузом, я весь внутренне кипел. Как и Элен, в кабачок я вошел, одержимый жаждой действия. Но, в отличие от Элен, по мне этого не было видно. Жажда эта просачивалась сквозь пласты терпения, вбирала в себя всевозможные оговорки и ухищрения, продиктованные выдержкой, и выглядела совсем как мудрый, тщательно взвешенный совет осторожного и благоразумного человека.

— Да,— сказал я,— все мы под обстрелом. Есть большие преимущества в тактике пассивного сопротивления, в том, чтобы молча и невозмутимо принимать все наскоки противника. Он неминуемо встревожится, подозревая, что ты готовишь какой-то неожиданный встречный удар. Но нельзя же до бесконечности сидеть сложа руки. Не то противник перестанет тревожиться и вообразит, будто ты совсем безответный и все стерпишь. Вся соль в том — а это большое искусство,— чтобы молча выждать, выбрать удобную минуту и уж тогда ударить наверняка. Пожалуй, час настал или, во всяком случае, не далек. Этим нападением на Элен наш анонимщик сам подставляет себя под удар. Если он как-то связан с другими, чего мы и сейчас еще не знаем, им будет небезынтересно услышать, что на него нашли управу; словом, этим стоит заняться.

После очень слабого, чисто символического сопротивления Роджер сдался. Я и сам себе казался столь же рассудительным, как им обоим. И мы почти сразу заговорили уже не о том, следует ли что-то предпринимать, а о том, что именно предпринимать.

Позже, когда все уже было решено, я задумался: какую же ответственность я на себя взвалил. Быть может, сейчас я обманываю сам себя, но так ли уж много зависело от того, что я сказал в тот вечер? Конечно же, решающую роль сыграла упрямая воля Элен, вернее, ее настойчивое желание. На сей раз Роджеру угодно было покориться и предоставить ей поступить по-своему. Вопреки обыкновению, он был какой-то сонный, отсутствующий и явно готов был сидеть с таким отсутствующим видом до той минуты, пока не сможет заключить ее в объятия. Теперь я не мог не признать, что их любовь взаимна. Роджер тоже любил ее. Это не было просто мимолетное увлечение, какие нередки у людей нестарых и себялюбивых, как Роджер. Он восхищался Элен точно так же, как восхищался и собственной женой, и, как ни странно, почти по тем же причинам, ибо эти две женщины были не так уж несхожи, как казалось. В Элен была та же прямота, что и в Кэро, и то же чувство собственного достоинства: по-своему она не хуже знала жизнь, хотя была ею куда меньше избалована. Пожалуй, она была натурой более глубокой, лучше понимала жизнь и обладала большей жизненной силой. Мне кажется, Роджер считал, что как человек он ниже их обеих. Но с Элен его связывала еще и страсть, столь сильная, что, сидя с ними рядом, я чувствовал себя словно под током.

И еще одно. И мне, и Элен, и самому Роджеру изменила на этот раз ясность суждения. Он ее любил. Но, хоть это было вовсе не в его характере, чувствовал, что не имеет права ее любить. Не только и, пожалуй, не столько оттого, что он женат. Люди считали его жестким и целеустремленным политиком — и только. Это была правда. И, однако, я был твердо уверен, что у него есть надежда сохранить душевную чистоту. Он хотел — хотел, быть может, сильнее, чем умел высказать,— творить добро. И, странное дело: словно его влекло назад, в глубь веков, во времена первосвященников и пророков, он больше был бы уверен в своей чистоте душевной, в том, что и ему дано творить добро, если бы, как величайшие деятели истории, заплатил за это дорогой ценой. Все это несовременно и отдает суеверием, но, когда я смотрел на них обоих — на эту резкую, порывистую женщину, готовую жертвовать собой, и на сильного, непроницаемого мужчину,— мне назойливо вспоминалось предание о Самсоне и Далиле.

Роджер помалкивал, а мы с Элен обсуждали, что следует предпринять. Обратиться к частным сыщикам? Нет, это ни к чему. Потом меня осенило. Этот субъект служит у одного из соперников лорда Лафкина. Если бы Лафкин поговорил с председателем того концерна...

— Да разве такие вещи делаются? — вдруг встрепенулся Роджер.

— Отчего же,— сказал я,— один такой случай мне известен.

— Но это значит,— сказал Роджер,— что Лафкину придется рассказать все как есть.

— Не все, но почти все.

— Я против,— сказала Элен.

— Насколько вы ему верите? — спросил Роджер.

— Если вы доверитесь ему, он это оценит,— сказал я.

— А разве этого достаточно?

Я сказал, что Лафкин, хоть и сухарь сухарем, всегда был мне другом. И что безусловно в его интересах принять сторону Роджера. Я пошел к стойке взять еще чего-нибудь выпить и предоставил им это обсудить. И тут хозяйка обратилась ко мне по имени. Я бывал в этом кабачке не первый год. В том, что она обратилась ко мне, не было еще ничего страшного, но говорила она, многозначительно понизив голос.

— Я хочу вам показать одного человека,— сказала она.

На мгновение я струхнул. Огляделся по сторонам и вновь остро почувствовал, что за мной наблюдают. Народу было немного — и ни одного знакомого или подозрительного лица.

— Знаете, кто это? — почтительно прошептала она, показывая в другой конец стойки.

Там сидел на высоком табурете человек самой заурядной внешности, в синем костюме, ел холодную телятину и паштет и запивал виски.

— Не знаю,— сказал я.

— Это зять Ван Хейнигена,— в священном трепете прошептала хозяйка.

Можно было подумать, что это чистейшая тарабарщина или, напротив, что Ван Хейниген — некий видный деятель. Ничуть не бывало. Видные деятели были не по ее части. В этом кабачке Роджера никто не узнал, и, если бы назвать хозяйке его имя, она все равно не поняла бы, кто он такой. А вот кто такой Ван Хейниген, это было ей хорошо известно, и мне тоже. Это был уроженец Южной Африки, весьма почтенный, но с несчастливой судьбой. Лет пять назад он жил, помнится, в Хаммерсмите, и его убили ради какой-то ничтожной суммы, фунтов сто, не больше. В самом убийстве не было ничего необычного, но дальше уже пошло что-то дикое: Ван Хейнигена неумело разрубили на куски, каждый кусок завернули в оберточную бумагу, прибавив в каждый сверток для веса по кирпичу, и покидали эти свертки в Темзу в разных местах между Блекфрайерс и Путни. Очень странное преступление — из тех, какие (о чем, конечно, не подозревала хозяйка кабачка) иностранцы считают типичными для ее родного города, судьба, уготованная многим из нас, когда мы ощупью пробираемся по бесконечным улицам сквозь вечный лондонский туман. Предлагая мне поглядеть на ван-хейнигенского зятя, хозяйка полагала, что показывает мне нечто такое, на чем лежит печать великих сил.

Усмехаясь, я вернулся к столику. Элен видела, как я беседовал с хозяйкой, и поглядела на меня испуганно. Я покачал головой:

— Пустяки, нас это не касается.

К Лафкину они решили не обращаться. Решили действовать напрямик: написать несколько слов самому анонимщику; ничего не объясняя, Элен сообщит ему, что не желает получать от него больше ни строчки, впредь все письма будут ему возвращены непрочитанными. Вот и все. Тем самым Роджер останется в стороне, анонимщик же поймет, что Элен знает, кто он такой.

На том мы и порешили и еще посидели в веселом кабачке, где стало теперь многолюдно и хозяйка неутомимо хлопотала, хотя взгляд ее то и дело обращался к дальнему концу стойки, притягиваемый магнитом в синем костюме.

# Симптомы

Законопроект был наконец опубликован, хотя парламентские каникулы еще не кончились. Это не было просто приятным совпадением. Мы хотели, чтобы успело сложиться официальное мнение и чем определеннее, тем лучше. Нам это было на руку. Как только проект за № 8964 был опубликован, сторонники Роджера стали по разным признакам предсказывать дальнейший ход событий.

По газетам мало что можно было понять. Одна газета воскликнула: «Погубить нашу обороноспособность?» К нашему удивлению, этот крик не подхватили. Почти все комментарии обозревателей по вопросам обороны не были неожиданными, мы и сами могли бы их написать. В сущности, в известной мере так оно и было, поскольку два или три наиболее влиятельных обозревателя были учениками Фрэнсиса Гетлифа. Они знали все доводы не хуже его самого или Уолтера Льюка. Они отлично поняли законопроект, хотя, скажем прямо, он был составлен в туманнейших выражениях. Они считали, что рано или поздно решение все равно может быть только одно.

Опасность заключалась в том, что мы слушали исключительно самих себя. Это профессиональная болезнь такого рода политики: отгораживаешься каменной стеной от противников и тешишься отзвуками собственного голоса. Вот почему подлинные заправилы были настроены куда оптимистичнее нас, остальных. Даже Роджер, более трезвый, чем другие деятели, понимая, что наступает решительный час, понимая, что ему необходимо точно знать настроения рядовых членов парламента, едва мог заставить себя побывать в «Карлтоне» или «Уайтсе».

Кабинет министров пошел на компромисс и не возражал против законопроекта. Но Роджер понимал (косноязычные люди вроде Коллингвуда умеют порой выразиться чрезвычайно ясно), что и от него требуется строгое соблюдение условий компромисса. Если он нарушит равновесие, если начнет проводить свою политику в ущерб их интересам, ему не сдобровать. Премьер-министр и его друзья — отнюдь не простаки, но они привыкли прислушиваться к людям, рассуждающим проще, чем они сами. Если заднескамеечники в чем-то заподозрили Роджера, что ж, простые умы подчас недаром проникаются подозрениями. И тогда Роджера осудит собственная партия.

Что до меня — собирать слухи мне было так же мало приятно, как и Роджеру. Но в следующие две недели я навещал знакомых и бывал в клубах чаще, чем когда-либо с тех пор, как мы с Маргарет поженились. Я мало что заметил, а по тому, что заметил, трудно было о чем-либо судить. На дворе стоял январь; как-то холодным, ветреным вечером я шагал по Пэлл-Мэлл и думал, что в целом все идет хуже, чем я предполагал, но не намного хуже. Потом я зашел в клуб, в котором не состоял членом, но где должен был встретиться с коллегой по Уайтхоллу. Он возглавлял одно из ведомств, и, поговорив с ним несколько минут, я приободрился. Он говорил, что наши шансы не так уж плохи. Тут за колоннами мелькнул Дуглас Осбалдистон. Мой собеседник простился и ушел, а я остался перекинуться словом с Дугласом, надеясь, что это получится как бы между прочим. Он вышел на свет, и лицо его поразило меня. Казалось, он совершенно убит.

Я не успел ни о чем его спросить.

— Льюис, я в такой тревоге, я с ума схожу,— вырвалось у него.

Он сел рядом.

— Что случилось? — спросил я.

Он сказал одно только слово:

— Мэри.

Так звали его жену. Он добавил, что она, видимо, тяжко больна.

И словно плотина прорвалась: он стал описывать мне все признаки и симптомы, дотошно, чуть ли не с увлечением, как мог бы говорить сам больной о своей болезни.

Недели две назад — нет, поправился Дуглас, одержимый страстью к точности,— ровно одиннадцать дней назад она пожаловалась, что у нее двоится в глазах. Держала сигарету в вытянутой руке и увидела рядом вторую сигарету. Они расхохотались. Им было очень весело. Мэри никогда ничем не болела. Через неделю она пожаловалась, что у нее онемела левая рука. И тут они поглядели друг на друга со страхом. Она пошла к врачу. Тот не мог сказать ничего утешительного. Ровно двое суток назад она поднялась со стула, а ноги не слушаются.

— Теперь она ходит, как паралитик! — воскликнул Дуглас.

Сегодня утром ее отвезли в больницу. И тоже не сказали ничего утешительного. Раньше чем через несколько дней они не смогут определить, в чем дело. Хорошо хоть, что можно пустить в ход все свое влияние, найти крупнейших специалистов, привезти их к себе. В этот день Дуглас отбросил привычную скромность.

— Вам, наверно, ясно, чего мы боимся? — спросил он тихо.

— Нет.

Даже когда он назвал болезнь, меня ошеломило не столько название, как его лицо и голос.

— Рассеянный склероз,— сказал он и прибавил: — Вы, конечно, читали о болезни Барбеллиона.

И вдруг, непонятно почему, воспрянул духом.

— Но, может быть, это еще совсем не то,— сказал он бодро, словно должен был меня обнадежить.— Они пока не знают. И еще некоторое время не будут знать. Учтите, тут возможны и другие диагнозы, более или менее безопасные.

Он повеселел, словно поверил, что все уладится. Но настроение это могло в любую минуту измениться, мне не хотелось оставлять его в клубе, и я предложил отвезти его к нам,— Маргарет будет ему рада — или поехать к нему, в его опустевший дом. Он дружески улыбнулся, лицо у него было уже не такое серое. Нет, нет, напрасно я о нем беспокоюсь. Он вполне в форме, сегодня с ним ничего не случится.

Все, что он наговорил в этом приступе оптимизма, звучало до странности неискренне и не похоже на него, но когда я стал прощаться, он изо всех сил сжал мою руку.

...На четвертый день после моей встречи с Дугласом в клубе его секретарь утром позвонил моему. Не буду ли я так добр сейчас же прийти?

Едва я переступил порог, у меня не осталось никаких сомнений. Он стоял у окна. Кое-как поздоровался со мной и сказал:

— Вы ведь тоже о ней беспокоились, правда? — И почти выкрикнул: — Все очень плохо!

— Что же говорят врачи?

Нет, это не совсем то, что они предполагали, сказал Дуглас. Это не рассеянный склероз. Но от этого немногим легче, добавил он сдержанно, с горькой иронией. Ее недуг грозит последствиями столь же тяжкими, если не хуже. Это тоже заболевание центральной нервной системы, только более редкое. Никто не может в точности предсказать течение этой болезни. По всей вероятности, Мэри не проживет и пяти лет. И еще задолго до конца будет полностью парализована.

— Представляете, какой ужас знать это заранее? — В его голосе прорвалась жгучая, нескрываемая боль.— Знать такое о женщине, которую любил страстно, всем существом. Которую все еще любишь страстно, всем существом.

Я молча слушал.

Наконец он умолк, и я спросил, не могу ли я чем-то помочь.

— Никто ничем не поможет,— сказал он. И продолжал ровным голосом: — Простите, Льюис. Простите. Ей нужны друзья. У нее будет вдоволь досуга, чтобы видеться с друзьями. Она захочет видеть вас и Маргарет, конечно, захочет.

Помолчали. Потом он сказал:

— Ну, вот и все.

Он явно собирался с силами. Наконец напряженным голосом прибавил:

— Теперь я хотел бы поговорить о делах.

И протянул мне копию законопроекта, лежавшую на бюваре.

— Хочу знать ваше впечатление. Как его принимают?

— А как по-вашему?

— Я был занят другим. Так каково же ваше впечатление?

— Разве кто-нибудь ждал всеобщих дружных восторгов? — спросил я.

— Вы хотите сказать, что ничего такого не последовало?

— Есть и недовольные.

— Насколько я мог заметить, это еще очень мягко сказано,— отозвался Дуглас.

Страшное напряжение не отпускало его, но тут в нем проснулся искушенный политик. Его беспокоил не сам законопроект. Его беспокоило то истолкование, которое, как мы оба понимали, собирается дать ему Роджер и в соответствии с которым Роджер намерен действовать. Дугласу никогда не нравилась политика Роджера, для этого он по самой природе своей был слишком консервативен. До сих пор Роджеру в качестве министра удавалось гнуть свою линию только потому, что он действовал властно и решительно, а может быть, и потому, что Дуглас все-таки поддался обаянию его таланта. Но сейчас он не желал рисковать, поддерживая эту линию. Как раньше он не желал, чтобы его имя было причастно к скандалу, вызванному тем памятным запросом в парламенте, так сейчас он не желал оказаться причастным к провалу.

С той минуты, как он отстранил свою боль, свои мучительные мысли о жене, на первый план вырвалась эта, другая забота.

— Возможно, вы правы,— сказал я. Дуглас был слишком проницателен, чтобы стоило его дурачить.

— Незачем обманывать себя,— сказал он.— Да вы и не станете. Вполне вероятно, что нынешний курс нашего министра провалится.

— Насколько вероятно?

Мы в упор посмотрели друг на друга. Было не так-то легко заставить его высказаться определеннее. Я настаивал. Может быть, шансы равные? Так я втайне предполагал до этого разговора.

— Надеюсь, у него хватит благоразумия отступить, пока еще не поздно. Нам необходимо иметь в запасе какую-то другую программу.

— То есть?

— То есть пора подумать, что мы предложим взамен.

— Если об этом узнают, нам это сильно повредит,— сказал я.

— Ничего не узнают,— возразил Дуглас,— и надо заняться этим немедленно. У нас мало времени. Нужно взвесить разные возможности и сделать правильный выбор.

— В данном случае я никогда особенно не сомневался, что правильно, а что нет,— сказал я.

— Ваше счастье.— Он сказал это легко, непринужденно, и на мгновение я узнал прежнего Дугласа. А он продолжал говорить ясно, сосредоточенно.

О «правильном выборе» он сказал очень спокойно, это означало:

надо избрать такой курс, который при нынешних настроениях будет и разумен и практически осуществим. И предложил сегодня же набросать вчерне новый план действий — «так, на всякий случай».

Будучи человеком столь же строгих правил, как и Роуз, он предложил сегодня же точно и подробно изложить Роджеру, какие шаги он намерен предпринять.

Впрочем, в одном отношении он не походил на Роуза. Он не опускался до лицемерных любезностей и пустых церемоний. Ему и в голову не приходило прикидываться (как всегда прикидывался, а подчас ухитрялся и сам себя в этом убедить Роуз), будто он не в силах повлиять на ход событий. Ему и в голову не приходило уверять, будто его дело — всего лишь проводить политику «хозяев». Напротив, Дуглас нередко находил и нужным и приятным показать, что от него зависит немало.

Возвращаясь к себе в кабинет, я спрашивал себя, как-то пройдет сегодня его разговор с Роджером.

## Человек по имени Монтиз

Под вечер в тот же день я получил несколько строк от Гектора Роуза, не деловую записку, а личную, написанную от руки четким, красивым почерком, с обращением «Мой дорогой Льюис» и подписью «Всегда Ваш». Содержание было не столь приятное. Роуз, человек мужественный, работавший в том же коридоре, через несколько комнат от меня, не решился сказать мне это прямо в глаза:

«Не будете ли Вы так любезны зайти ко мне завтра в 10 часов утра. Я знаю, что это слишком ранний час и что я слишком поздно Вас предупреждаю, но наши друзья из... (следовало название отдела службы безопасности) по своему обыкновению несколько нетерпеливы. Они хотят с Вами побеседовать, что, как я полагаю, является заключительным шагом их обычной процедуры. Они просили на вторую половину дня пригласить для подобной же встречи сэра Ф. Гетлифа. Как я понимаю, Вы предпочли бы не приглашать Ф. Г. сами, и мы действуем согласно этому предположению. Не могу выразить, как мне неприятно, что Вас не предупредили заблаговременно, и я уже высказал кому следовало свое неудовольствие по этому поводу».

Вечером, изливая душу Маргарет, которая пришла в бешенство и этим несколько меня утешила, я уже не увидел в извинениях Роуза из-за неудобств назначенного часа ничего забавного. Я понял, что это еще один укол, еще один удар по самолюбию со стороны расследователей. Когда на другое утро ровно без пяти десять я вошел в кабинет Роуза, он был еще чем-то озабочен и так же мало заботился о церемониях, как и я.

— Видали вы такое? — сказал он без обычных своих многословных приветствий.

«Такое» — была передовая статья в одной из наиболее читаемых газет. Это была атака на наш законопроект под заголовком «Они хотят погубить нашу независимость».

И дальше газета спрашивала: уж не собираются ли «они» предать отечество? Не хотят ли, чтобы мы перестали быть великой державой?

— Боже милостивый! — вскричал Роуз.— Что они, с луны свалились? Да если бы можно было хоть что-то сделать, чтобы эта окаянная страна осталась великой державой, мы бы перевернули небо и землю, а кое-кто и жизни бы не пожалел — что они, не понимают?

Он был вне себя и клял всех и вся. Не помню, чтобы я до этого хоть раз слышал от него бранное слово, тем более такие пылкие речи.

— Эти безмозглые олухи воображают, что нам легко мириться с таким положением вещей! — неистовствовал он.

Затем мрачно посмотрел на меня.

— Да, наши хозяева не скоро расхлебают эту кашу. А теперь, пока не пришел Монтиз, я хочу вам кое-что объяснить.

Он вновь обрел невозмутимость автомата и свернул на привычную колею дипломатического этикета.

— Монтиз намерен сам заняться этим делом. Мы полагали, что это самое подходящее как для вас, так и для Гетлифа. Но были кое-какие разногласия относительно места встречи. Они считали, что ваш кабинет едва ли подходящее место для разговора с вами, поскольку это, так сказать, ваши собственные владения. Ну-с, а я не желал, чтобы они приглашали вас в свое заведение, и мы согласились на том, что Монтиз встретится с вами здесь. Надеюсь, дорогой мой Льюис, что в столь пренеприятных обстоятельствах это вам все-таки придется больше по вкусу.

Только это он себе и позволил. Более открыто выразить сочувствие и поддержку он не был способен. Я кивнул, с минуту мы молча смотрели друг на друга. Затем Роуз самым светским тоном сообщил, что скоро уйдет и освободит кабинет на весь день.

Через несколько минут его секретарь ввел Монтиза. На сей раз приветствия Роуза были длинны и многословны до крайности. Потом он обернулся ко мне:

— Вы, разумеется, знакомы?

Мы знакомы не были, хоть и встречались как-то на заседании в казначействе.

— О, в таком случае разрешите мне представить вас друг другу.

Мы обменялись рукопожатием. Монтиз был подвижной, крепко сбитый и как-то по-актерски красив: темные волосы, седеющие виски. Но держался он без малейшей театральности, ненавязчиво и почтительно. Он был самым младшим из нас троих, лет на десять моложе меня. Мы все трое обменялись какими-то незначащими словами, причем он вел себя как младший коллега, скромно, но уверенно. Роуз дирижировал этой болтовней минут пять, потом сказал:

— Если не возражаете, я оставлю вас вдвоем.

Дверь затворилась, и мы с Монтизом посмотрели друг на друга.

— Может быть, присядем,— сказал он.

Учтиво указав мне на кресло, он сел на место Роуза. Перед ним на столе стояли в вазе голубые гиацинты, срезанные только сегодня утром,— Роуз страстно любил цветы. Гиацинты пахли чересчур сильно и приторно, а потому не напоминали мне, как могли бы, обо всех деловых разговорах, которые я вел с Роузом вот уже почти двадцать лет. Их запах только раздражал меня, пока я сидел тут лицом к лицу с Монтизом.

Я не знал толком, какова его роль. Заправляет он этими делами? Или он — некая безымянная сила, действующая за спиной заправил? Или просто исполнитель? Я, кажется, знал; Роуз знал безусловно. Но все мы были помешаны на секретности, даже сами от себя пытались что-то скрывать, а потому никто никогда не обсуждал службу безопасности и существующую там иерархию.

— Вы сделали весьма достойную карьеру,— решительно и вместе с тем любезно заговорил Монтиз, обращаясь ко мне по всей форме.— Вы, конечно, поймете, что я должен задать вам некоторые вопросы касательно отдельных ее этапов.

Он не выложил на стол ни единой бумажки, тем более никаких папок. Следующие три часа он работал, полагаясь только на свою память. У него в кабинете уж наверняка лежало изрядно разбухшее досье.

Я быстро понял, что он беседовал не только с учеными и государственными служащими, с которыми я сотрудничал в годы войны и после, не только с моими старыми знакомцами по Кембриджу, в том числе с прежним главой колледжа и с Артуром Брауном, но и с персонажами из моего далекого прошлого — с неким ушедшим на покой адвокатом, с которым я не виделся добрых двадцать пять лет, и даже с отцом моей первой жены. Все сведения он хранил в голове и по мере надобности, как нельзя кстати, извлекал на свет божий. Этот прием известен любому крупному чиновнику, к нему не раз прибегали и Роуз, и Дуглас, и я сам. И все же это производило впечатление. Произвело бы впечатление и на меня, смотри я со стороны, как он умело разбирается в обстоятельствах чьей-то жизни. Но речь шла обо мне, и это минутами выводило меня из равновесия. И были такие обстоятельства моей жизни, подчас самые сокровенные, о которых он был осведомлен лучше и подробнее, чем я.

Моя ранняя юность, банкротство моего отца, бедность, время, когда я служил и готовился держать экзамен на адвоката,— он в точности знал все даты, все имена. Все это выглядело так просто и легко и совсем не походило на прожитую мною жизнь. Потом Монтиз спросил:

— Когда вы в молодости жили в... (он назвал городок, в котором я тогда жил), вы занимались политикой?

Речи на местных собраниях Независимой рабочей партии, все, что я говорил в студенческих аудиториях или вечером где-нибудь в кабачке,— все ему было известно.

— Вы тогда держались крайне левых убеждений?

Я был намерен говорить только правду. Но это оказалось не так просто. Мы говорили на разных языках. Я не вполне владел собой. Осторожно выбирая слова, но резче, чем мне хотелось бы, я сказал:

— Я верил в социализм. Я разделял все надежды, которые в ту пору носились в воздухе. Но я не был политиком в том смысле слова, как это понимают настоящие политические деятели. В том возрасте политика не стояла для меня на первом месте. У меня было слишком много иных честолюбивых устремлений.

При этих словах красивые глаза Монтиза просияли. Он улыбнулся мне не то чтобы весело, но по-приятельски. Я остался недоволен своим ответом. Меня еще никогда в жизни не допрашивали. Теперь я начал понимать, какой тут возможен нажим и какие искушения, и возненавидел все это. Я сказал ему чистую правду, и, однако, то, что я говорил, прозвучало так соглашательски.

— Ну конечно,— сказал Монтиз.— Молодым людям естественно интересоваться политикой. Я и сам интересовался в студенческие годы.

— Да?

— Так же как и вы, только я был в другом лагере. Я входил в правление Клуба консерваторов.

Он сказал это с наивно-довольным видом, как будто его признание должно было меня поразить, как будто он сообщил, что был когда-то главою кружка нигилистов. И тотчас вновь стал деловит, сосредоточен, готовый в любую минуту уличить меня во лжи.

Тридцатые годы: начало моей адвокатской деятельности, женитьба, приход Гитлера к власти, гражданская война в Испании.

— Вы решительно стояли за тех, кто был против националистов?

— В те дни мы называли это по-другому,— сказал я.

— Иными словами, вы выступали против генерала Франко?

— Разумеется,— ответил я.

— Но вы выступали против него весьма решительно и активно?

— Я делал то немногое, что давалось мне без труда. И часто жалел, что не делаю больше.

Он перечислил несколько общественных организаций, в работе которых я участвовал.

— Все правильно,— сказал я.

— В процессе этой деятельности вы постоянно общались с людьми крайних воззрений?

— Да.

— И вы были в очень близких отношениях с некоторыми из этих людей? — спросил он, вновь обращаясь ко мне официально, по всей форме.

— Я попросил бы вас выражаться более определенно.

— Я не хочу этим сказать, что вы были в то время или когда-либо ранее членом коммунистической партии...

— Если вы и хотели это сказать, это неверно,— ответил я.

— Допустим. Но вы были близки с некоторыми людьми, которые в этой партии состояли?

— Я хотел бы знать, с кем именно.

Он назвал четыре имени: Артур Маунтни, физик, еще двое ученых — Р. и Т.— и миссис Марч.

Я никогда не был близким другом Маунтни, сказал я. (Очень неприятно, когда приходится переходить к обороне.)

— Так или иначе, в тридцать девятом году он вышел из коммунистической партии,— с профессиональной уверенностью сказал Монтиз.

— И с Т. я тоже не был в дружбе,— сказал я.— А вот с Р. мы были друзьями. Во время войны мы постоянно встречались.

— А недавно, в октябре, вы с ним виделись?

— Я как раз собирался вам сказать, что последнее время мы видимся не часто. Но я очень к нему привязан. Он один из лучших людей, каких я знал в своей жизни.

— А миссис Марч?

— Мы с ее мужем дружили еще в молодости и до сих пор остаемся друзьями. С Энн я познакомился в доме ее отца двадцать с лишком лет назад. И теперь раза три-четыре в год они у нас обедают.

— Вы не отрицаете, что поддерживаете добрые отношения с миссис Марч?

— Разве похоже, что я это отрицал? — воскликнул я, взбешенный тем, что все это звучит как-то двусмысленно.

Он улыбнулся вежливой, ничего не выражающей улыбкой.

Я заставил себя успокоиться и попытался повернуть разговор по-своему.

— Пожалуй, пора мне внести некоторую ясность,— сказал я.

— Прошу вас.

— Прежде всего, хотя это, в сущности, к делу не относится, я не склонен отказываться от своих друзей. Мне бы это и в голову не пришло — все равно, будь они коммунисты или кто угодно еще. Энн Марч и Р.— в высшей степени достойные люди, но если бы и не так, все равно. Будь поле ваших розысков пошире, вы бы обнаружили, что среди моих знакомых есть и люди, весьма благонадежные политически, но весьма мало почтенные чуть ли не во всех других отношениях.

— Да, мне было очень интересно убедиться, сколь разнообразен круг ваших знакомств,— сказал он, ничуть не смутившись.

— Но не в этом суть, правда?

Он кивнул.

— Вас интересуют мои политические взгляды, не так ли? Почему же не спросить меня прямо? Хотя в двух словах на это не ответишь. Начать с того, что с годами я не слишком изменился. Разве что научился кое-чему. Я еще скажу об этом немного погодя. Как я уже говорил,

я никогда не отдавался политике, как отдаются ей настоящие политические деятели. Но она всегда меня занимала. Мне кажется, я понимаю, что такое власть. Я наблюдал различные ее проявления почти всю мою сознательную жизнь. А когда понимаешь, что такое власть, поневоле начинаешь относиться к ней с подозрением. Это одна из причин, почему я не вполне согласен с Энн Марч и Р. Еще в тридцатых годах мне представлялось очевидным, что централизация власти, имевшая место при Сталине, слишком опасна. Не могу сказать, чтобы меня это очень волновало. Но я относился к этому с недоверием. По правде говоря, сама по себе политическая механика меня не очень волнует, вот почему вы вполне могли бы из-за меня не беспокоиться. Я убежден, что в государственных делах нам следует вернуться к кодексу чести и порядочности. Ничего другого мы не можем себе позволить.

Он в упор смотрел на меня, но не говорил ни слова.

— Но я хочу быть с вами откровенным,— продолжал я.— Когда речь идет о чести и порядочности, я думаю, мы с вами можем найти общий язык. Когда речь заходит о чистой политике, мы почти наверняка общего языка не найдем. Как я уже сказал, меня мало волнует сама по себе политическая механика. Но людские чаяния, то, чего мы надеемся достичь посредством политики, волнуют меня глубоко. Мне казалось совершенно очевидным, что русская революция неизбежно приведет к серьезным злоупотреблениям властью. Я говорил об этом Энн Марч и еще кое-кому из друзей, и это им не слишком нравилось. Но дело не только в этом. Я всегда считал, что действие власти двоякое. При помощи власти в России делалось не только много плохого, но и много хорошего. Как только они поймут, какими бедами чревато злоупотребление властью, они смогут создать замечательный общественный строй. Сейчас я в это верю больше, чем когда-либо. Не знаю, как он будет выглядеть в сравнении с американским. Но до тех пор, пока сосуществуют эти два строя, мне кажется, человечество вправе надеяться, что сбудутся лучшие его чаяния.

Лицо Монтиза по-прежнему ничего не выражало. Несмотря на свою службу или, может быть, именно благодаря ей, он всегда видел в политике только некую силу, требующую секретных сведений. Этот человек отнюдь не был склонен к отвлеченным рассуждениям. Он кашлянул и сказал:

— Еще несколько вопросов, сэр. Перед самой войной ваша первая жена вручила одному коммунисту крупную сумму, так?

— Кому же это?

Он назвал имя, которое ничего мне не сказало.

— Вы уверены? — спросил я.

— Совершенно уверен.

Я понятия не имел об этом человеке.

— Если вы и правы,— сказал я,— она так поступила вовсе не по идейным соображениям.

На миг он заставил меня вернуться в прошлое. Снова я был молод, горько несчастлив, женат на женщине, из-за которой я не знал ни минуты покоя,— я еще способен был ревновать, но уже привык к тому, что она вечно ищет кого-то, кто согрел бы ей душу; я еще приходил в ужас, когда не знал, где она и с кем, отданный на милость всякого, кто мог сообщить мне хоть слово о ней; самый звук ее имени все еще приводил меня в трепет.

Мы помолчали. Потом он сказал с каким-то неуклюжим сочувствием:

— Я осведомлен о вашей трагедии. Мне незачем расспрашивать вас о ней.— И продолжал с внезапной резкостью: — Ну, а вы-то сами? Бывали вы на собраниях?..

И он назвал организацию, которую не в те времена, а позднее мы стали именовать «Фронт».

— Нет.

— Прошу вас, подумайте еще.

— Я уже сказал — нет,— повторил я.

— Это очень странно.

С самого начала он держался официально, не проявляя враждебности, но тут она прорвалась:

— У меня есть свидетельство человека, который помнит, что вы сидели рядом. Он в точности помнит, как вы тогда выглядели. Вы отодвинули стул, встали и произнесли речь.

— Говорю вам, тут нет ни слова правды.

— Мой свидетель — человек, достойный доверия.

— Кто же это?

— Вам следовало бы знать, что я не вправе называть источники, из которых черпаю свои сведения.

— Это не имеет ничего общего с правдой,— гневно и резко сказал я.— Должно быть, вам это сообщил один из ваших раскаявшихся коммунистов? Должно быть, большинство своих сведений вы получаете именно этим путем?

— Вы не имеете права задавать такие вопросы.

Кровь бросилась мне в лицо от безмерной злости и горечи. Помолчав, я сказал:

— Послушайте, вам надо быть поосторожнее с этими вашими источниками. В данном случае дело не так уж серьезно. Насколько я знаю, этот самый «Фронт», о котором вы говорите, был организацией вполне невинной. У меня было немало знакомых, связанных с организациями более крайними. Я вам это уже сказал и готов повторять снова и снова. Но как раз к этой группе я никогда не имел никакого отношения. Повторяю: я не бывал на их собраниях и никак не был с ними связан. Заявляю это со всей решительностью. Вам придется с этим примириться. Ваш осведомитель всю эту историю высосал из пальца. И повторяю: вам следует с осторожностью относиться к тому, что он вам нарассказал о других людях. Басня обо мне меня мало трогает, но другие его россказни могут повредить больше — людям более беспомощным.

Впервые я поколебал его уверенность. Не тем, что дал волю гневу, думал я после,— к этому он, наверно, уже привык. Скорее, тем, что оказалась под сомнением его профессиональная опытность. У него был немалый опыт, и он понимал, что ни я, ни любой другой серьезный человек не стал бы оспаривать столь конкретное показание, если бы не был твердо уверен в своей правоте.

— Я это проверю,— сказал он.

— Вероятно, вы доложите о нашей беседе Гектору Роузу? — спросил я.

— Совершенно верно.

— Я бы хотел, чтобы вы упомянули и об этой истории. И сказали бы, что делаете это по моей просьбе.

— Я бы сделал это при всех условиях.

Сейчас он говорил не как человек, который обязан допросить другого, но так, будто мы, два службиста, вместе работали над «трудным случаем».

— Очень любопытно,— сказал он, озадаченный и рассерженный.

Он продолжал задавать вопросы, но без прежнего напора, как человек, который рассеян на службе, потому что его одолевают личные заботы.

Что мне известно об атомной бомбе? Да, я знал о работе над ее созданием с самого начала. Да, я все время поддерживал знакомство

с физиками. Да, я знал Соубриджа, который выдал кое-какие секреты. Да, он учился в школе с моим братом. Но все эти вопросы Монтиз задавал без особого интереса: он знал, что в конечном счете именно из-за моего брата Соубридж потерпел крах.

Монтиз заговорил о том, как я поступал и что думал, когда была сброшена первая бомба,— теперь он снова был начеку.

— Я выступал открыто,— сказал я.— Вам достаточно прочесть то, что появлялось в печати. И еще кое-что вы найдете в отчетах.

— С этими материалами мы уже ознакомились,— ответил Монтиз.— Но все-таки я хотел бы услышать об этом от вас.

Не выступал ли я, как и многие ученые, против применения атомной бомбы? Безусловно, сказал я. Не встречался ли я с учеными непосредственно перед Хиросимой, чтобы выяснить, могут ли они это предотвратить? Безусловно, сказал я. Не значит ли это зайти дальше, чем положено государственному служащему?

— Государственным служащим случалось предпринимать и гораздо более действенные шаги,— сказал я.— Я не раз жалел, что сам так не поступил.

И пояснил. Пока была надежда помешать взрыву бомбы, мы использовали все рычаги, какие только могли нажать. В этом нет ничего неподобающего — разве что (не удержался я) не подобает возмущаться в душе применением каких бы то ни было бомб в какое бы то ни было время.

После Хиросимы мы оказались перед выбором. Либо подать в отставку и протестовать во всеуслышание, либо оставаться на своем месте и делать все, что только в наших силах. Большинство осталось, и я в том числе. Из каких побуждений? Было ли то чувство долга, дисциплинированность или даже приспособленчество? Быть может, мы заблуждались. Но, пожалуй, если бы мне опять пришлось выбирать, я поступил бы так же.

После этого допрос пошел более вяло. Мой второй брак. Не принадлежал ли мой тесть до войны, до моего знакомства с этой семьей, ко всякого рода «фронтам»? — вновь становясь озабоченным, спросил Монтиз. Я не знал. Может быть, и так. Он был старомодный интеллигент, либерал. Моя теперешняя служба — ничего интересного, хотя Монтиз и полюбопытствовал, когда я впервые познакомился с Роджером. Шел уже второй час. Вдруг он хлопнул ладонями по столу.

— На этом и остановимся.

Он вскочил, ловкий и проворный, и посмотрел на меня блестящими глазами. И сказал, не столь официально и не столь почтительно, как говорил вначале:

— Я верю всему, что вы мне сказали.

Пожал мне руку и быстро вышел, а я так и остался стоять посреди кабинета.

Все прошло гладко и пристойно. Монтиз был толковый и, наверно, даже приятный человек, и он всего лишь делал свое дело. Но потом весь этот январский день, сидя у себя в кабинете, я был чернее тучи. Не то чтобы я тревожился о последствиях. Чувство было более глубокое: будто услыхал, что у тебя больное сердце и, если хочешь выжить, надо жить с оглядкой. Я не дотронулся ни до одной бумаги и совсем не работал. Почти все время я смотрел в окно, словно обдумывал что-то, а на самом деле ни о чем я не думал. Позвонил Маргарет. Она одна понимала, что я не могу так просто от этого отмахнуться. Понимала, что я хоть и не молод, но все еще отчаянно самолюбив и мне нестерпимо давать кому бы то ни было отчет в своих поступках. По телефону я сказал ей, что все это в общем-то пустяки. Несколько часов мне задавал вопросы порядочный и разумный человек. В нашем нынешнем мире это

пустяки. Если живешь в разгар религиозных войн, будь готов к тому, что тебя могут пристрелить, или уж беги и прячься. Но перед Маргарет бесполезно было храбриться. Она меня видела насквозь. Я сказал, что когда Фрэнсиса наконец отпустят, я приведу его к нам обедать. Маргарет этого не ждала и встревожилась. Она уже пригласила Артура Плимптона, который снова в Лондоне,— пригласила отчасти для развлечения, отчасти ради сватовства.

— Я бы отменила приглашение, но понятия не имею, где он остановился. Может быть, попробовать связаться с ним через посольство?

— Не стоит,— возразил я.— В лучшем случае он может даже разрядить атмосферу.

— Да уж, я думаю, хороша будет атмосфера!

Нет, перед Маргарет храбриться не стоило, но перед Фрэнсисом это было небесполезно. Когда мы ехали ко мне домой по сверкающей огнями Пэлл-Мэлл, он ни словом не упомянул о моем допросе, хоть и знал о нем. Он считал, что я — человек более искушенный, не такой Дон-Кихот, как он. И это было верно. Он воображал, что случившееся для меня в порядке вещей.

О себе же он сказал:

— Очень жалею, что я на это пошел.

Он как-то притих. Когда мы пришли, Артур был уже в гостиной и учтиво с нами поздоровался. Потом сказал:

— Сэр Фрэнсис, у вас такой вид, как будто вам не мешает выпить.

Он взял на себя обязанности хозяина: усадил нас в кресла, налил виски. Я подумал, что он чувствует настроение Фрэнсиса лучше, чем почувствовал бы родной сын. Но от этого он не сделался Фрэнсису милее. Впрочем, в этот час Фрэнсис ставил Артуру в вину не только его личное обаяние, но и все грехи его отечества. Сидя в моей гостиной, молчаливый, изысканно вежливый, похожий на благородного идальго, Фрэнсис искал, на кого бы возложить вину за этот день.

При Артуре я не мог откровенно говорить с Фрэнсисом, не могла и вошедшая вскоре Маргарет. Она увидела, как он, обычно воздержаннейший из людей, наливает себе второй стакан лишь наполовину разбавленного виски; она терпеть не могла сложных подходов, она жаждала взять быка за рога. А тут пришлось беседовать о Кембридже, о колледже, о семействе. Пенелопа все еще в Америке — как она поживает? Очень хорошо, судя по последнему письму, сказал Фрэнсис,— кажется, впервые он говорил о своей любимице довольно равнодушным тоном.

— Я разговаривал с ней в воскресенье, сэр Фрэнсис,— невозмутимо сказал Артур, словно бы скромно напоминая, что следует засчитать еще очко в его пользу.

— Вот как,— отозвался Фрэнсис. В голосе его не было вопроса.

— Да, она звонила мне из Америки.

— Что же она сказала? — не стерпела Маргарет.

— Спрашивала, какой ресторан в Балтиморе самый лучший.— Артур отвечал учтиво, бесстрастно, и в глазах его тоже ничего нельзя было прочесть.

Маргарет сердито покраснела, но не сдавалась. А у него какие планы? Он собирается назад в Штаты? Да, сказал Артур, он уже избрал свою дорогу: его поприще — электронная промышленность. Он говорил о своей будущей фирме с устрашающей уверенностью. Он понимал в делах больше, чем Фрэнсис, Маргарет и я, вместе взятые.

— Значит, вы скоро вернетесь на родину? — спросила Маргарет.

— Это будет прекрасно,— сказал Артур. И вдруг с каким-то глуповатым видом прибавил: — Понятно, я не знаю, какие планы у Пэнни.

— Не знаете? — переспросила Маргарет.

— Надеюсь, она не намерена вернуться сюда?

Маргарет даже растерялась. На дерзком непроницаемом лице Артура сияли ослепительно искренние голубые глаза, но где-то в уголках губ дрожала затаенная усмешка.

Когда он ушел—из чистой благовоспитанности, потому что, прислушиваясь к разговору, уловил в воздухе то, что оставалось несказанным,— мне стало грустно. Я смотрел на Фрэнсиса и видел не старого друга, с которым вместе рос, но очень немолодого человека, ожесточившегося, утратившего душевную ясность и покой. Мы познакомились, когда он был юношей, как Артур. И тогда — так, по крайней мере, казалось мне в тот вечер — нам обоим приятно было быть молодыми и дерзкими.

— Фрэнсис,— сказала Маргарет,— ваше отношение к этому мальчику не слишком умно.

Фрэнсис выругался, как совсем не пристало почтенному профессору.

Помолчали.

— Кажется, от меня скоро не будет никакого толку,— словно бы с облегчением сказал Фрэнсис, доверчиво и ласково глядя на Маргарет.— Кажется, я уже дошел до точки.

— Этого не может быть,— сказала Маргарет.

— А по-моему, так,— сказал Фрэнсис. И обернулся ко мне: — Напрасно Льюис меня уговорил. Мне следовало махнуть на все рукой и уйти. Не надо было подвергать меня этому.

Мы заспорили. Голоса зазвучали враждебно. Фрэнсис во всем винил меня, и оба мы винили Роджера. Политики ничуть не заботятся о тех, кто для них только орудие, распаляясь говорил Фрэнсис. Пока от тебя есть польза — хорошо. А стал бесполезен — выбрасывают. Без сомнения, продолжал он с горечью, если даже дело примет плохой оборот, Роджер как-нибудь да выкрутится. Самым благородным образом он пойдет на попятный, и столь же благородным образом в грязь втопчут его советников.

— Никакая грязь к вам не пристанет,— сказала Маргарет.

Фрэнсис стал отвечать уже более трезво. Сейчас его еще не могут отстранить, сказал он,— по крайней мере так ему кажется. Никто не посмеет сказать, что он человек опасный. И, однако, когда все это кончится — победой ли, провалом ли,— им будет все-таки сподручнее обойтись без него. Пойдут разговоры, что он не вполне на месте. Можно подобрать людей понадежнее. Пока наш мир таков, как он есть, от людей требуется все большая и большая благонадежность. Нельзя позволять себе выделяться из толпы. Если ты хоть на волос отличаешься от других, никто не рискнет взять тебя на работу. Нужен только один талант — способность подпевать другим, она дороже всего. И потому его выставят за дверь.

Мы продолжали спорить.

— У тебя уж слишком тонкая кожа,— сказал я самым резким тоном.

Маргарет перевела взгляд с Фрэнсиса на меня. Она знала, что творилось весь день у меня на душе. И, наверно, думала, что, когда Фрэнсис уйдет, она скажет словечко-другое о том, что не у него одного слишком тонкая кожа.

## Гонимые — чисты

На другое утро мы с Маргарет доехали на такси до набережной и пошли в сад Темпл. Весь день нас донимали новостями, и я был сыт по горло. Роджера вызвал один из руководителей правительственной партии в парламенте. Иные из заднескамеечников, пользующихся в партии известным влиянием, волнуются, и их необходимо успокоить. Род-

жеру следует с ними встретиться. Два лидера оппозиции накануне вечером выступали в провинции с речами. Никто еще не может сказать, на чью сторону станет общественное мнение.

Да, думал я, с каким-то недоумением глядя на реку, на угрюмое лондонское небо, мы, кажется, близки к кризису. Как далеко это зашло? Быть может, через несколько месяцев некоторые учреждения в этой части Лондона переменят вывески. Быть может, еще и другие люди — те, чья жизнь проходит под этим угрюмым небом в зареве огней, — вступят в неравный бой. Так думают Роджер и остальные—приходится так думать, иначе еще трудней было бы делать свое дело.

Но эти другие люди не спешили откликнуться. Кое-кто отозвался, но не так уж много. Вероятно, они давали о себе знать в кулуарах — очень редко, когда им самим грозила прямая опасность. А когда им ничто не грозило, они, пожалуй, вовсе не давали о себе знать.

Потом мы направились к Стрэнду, здесь, точно церковь в воскресный вечер, пылал огнями главный зал доброго старого Адвокатского Подворья. Здесь должен был состояться концерт. В зданиях Подворья там и сям светились окна — яркие прямоугольники в густой тьме. Мы прошли мимо комнат, где я работал молодым. Маргарет сжала мой локоть. Ей казалось, что я затосковал по минувшим дням. Она ошибалась. Меня скорее взяла досада. Я, в сущности, не очень годился на роль адвоката и ни разу даже не подумал вернуться к прежней профессии. А меж тем, если бы я ею удовольствовался, мне жилось бы куда спокойнее. Я не оказался бы сейчас в самом сердце политических передряг.

По залу гуляли сквозняки. Стулья были сперва расставлены рядами, но потом беспорядочно сдвинулись, когда люди стали оборачиваться друг к другу и переговариваться; тут и там на спинках стульев белели программки, точно в церкви во время венчания. Хоть это как будто ни в чем и не сказывалось, но концерт был для избранных. Тут было несколько видных членов парламента от обеих партий, и лорд Лафкин со своим окружением, и Диана Скидмоур, которая явилась с Монти Кейвом. Они громко перекликались — разодетые дамы, мужчины во фраках,— и, глядя на них, никто бы не подумал, что они переживают какой-то кризис. И уж тем более никто бы не подумал, что кому-то из них, как и мне, создавшееся положение тягостно и обидно. Они держались так, будто ничего особенного не произошло,— когда участвуешь в политической жизни страны, привыкаешь и не к таким неприятностям! Перебрасывались шутками. Вели себя так, словно им всегда будут принадлежать первые места, а что до прочих смертных — что ж, о них напоминало ржавое зарево в небе над Лондоном.

О надвигающихся дебатах речи не было, только раздалось несколько злых шуточек в адрес Роджера. Сейчас всех живо интересовало — по крайней мере, этим заняты были Диана и ее друзья — одно назначение. Как ни странно, речь шла о назначении профессора истории в Реджиус-колледж. Диана уже несколько оправилась от недавнего приступа хандры. Поговаривали, что она твердо решила заставить Монти Кейва развестись с женой. Вновь обретя бодрость духа, Диана вновь стала и несносна. Все друзья должны были плясать под ее дудку, а она требовала, чтобы они не давали премьер-министру ни отдыха, ни срока. Пусть премьеру со всех сторон подсказывают имя ее кандидата. А ее кандидат был Томас Орбел.

Не то чтобы Диана так уж безошибочно судила о достоинствах ученых мужей. С таким же успехом она могла бы подыскать кандидата на пост епископа. Она относилась к ученым почтительно, словно к священным коровам, но, как бы они ни были священны, она все же принимала их не вполне всерьез. Не то чтобы она так уж глубоко интересовалась ученым миром. Но приятно было раздавать направо и налево

всевозможные должности, приятно было предсказывать, кто выйдет победителем. Это было одно из удовольствий избранного круга. Маргарет, выросшая в среде ученых, чувствовала себя неловко. Она была знакома с Орбелом и не хотела ему повредить. Но она была уверена, что он не справится с такой ролью.

— Это блестящий ум! — сказала Диана, ослепительная в белом платье, точно елочная игрушка.

По правде говоря, пыл Дианы, хвалебный дуэт ее друзей-министров, угрызения Маргарет — все это едва ли могло иметь последствия. Конечно, премьер-министр всех выслушает, и, конечно, он не даст себя провести. Ходатаям Орбела, пожалуй, будет сказано несколько обнадеживающих слов. И в то же самое время в личной канцелярии премьера какой-нибудь молодой человек с массивным подбородком, выученик Осбалдистона, с невозмутимым спокойствием будет подбирать отзывы действительно понимающих людей. Я догадывался, что у Тома Орбела так же мало надежды занять эту кафедру, как и возглавить орден иезуитов.

После концерта мы двинулись в библиотеку, к вину и сандвичам. И тут я снова увидел Диану — сверкая бриллиантами, она в стороне от всех несколько минут разговаривала с Кэро. Перед самым нашим уходом Кэро подошла и сообщила мне новость.

Диана разговаривала с Реджи Коллингвудом. Он сказал, что всем им придется действовать с оглядкой. Возможно, Роджеру придется несколько сбавить тон. Тогда они еще смогут его поддерживать.

Это звучало как дружеский совет, доверительный и в то же время брошенный мимоходом,— говоривший того и хотел. Но тут скрывался тонкий расчет. Эти слова были сказаны для того, чтобы они дошли до Роджера, а Кэро позаботилась о том, чтобы они дошли и до меня.

Концерт состоялся в четверг вечером. В субботу утром я сидел один у себя в гостиной — дети вернулись в школу, Маргарет уехала на весь день к отцу, который был теперь уже не только мнителен, но и по-настоящему болен,— как вдруг зазвонил телефон. Звонил Дэвид Рубин.

Само по себе это было не удивительно. Накануне я слышал, что он в очередной раз приехал в Англию как представитель Государственного департамента. Я думал, что мы встретимся с ним на заседании в субботу днем. Оказалось, что Дэвид и в самом деле там будет, и он любезно выразил свое удовольствие по этому поводу. Но, к моему удивлению, он настойчиво попросил, чтобы я устроил ему свидание с Роджером. По-видимому, он пытался условиться об этом накануне через секретариат Роджера и выслушал резкий отказ. Странно уже то, что кто-то посмел так решительно ему отказать, и вдвойне странно, что, получив отказ, он продолжал настаивать.

— Мне ведь не просто хочется повидать его. Мне нужно ему кое-что сказать.

— Догадываюсь,— сказал я.

Дэвид коротко, нехотя рассмеялся.

Наутро он улетает. Встреча должна состояться сегодня. Я сделал все, что мог. Начать с того, что Кэро не хотела соединить меня с Роджером. Когда наконец я ее уломал, Роджер поздоровался со мной так, словно я принес дурные вести. Известно ли мне, что с понедельника начинаются заседания парламента? Не забыл ли я, случаем, что он готовится к дебатам? Он никого не желал видеть. Я сказал (от напряжения мы заговорили какими-то сварливыми голосами), что он может позволить себе быть грубым со мной, хотя, не буду врать, мне это вовсе не по вкусу. Но быть грубым с Дэвидом Рубином неразумно.

Когда я, впервые в этом году, увидел днем Рубина, он не показался мне таким внушительным, как обычно. Это было в одной из ком-

нат Королевского общества в Берлингтон-хауз — Рубин сидел за столом между Фрэнсисом Гетлифом и еще одним ученым. По стенам тянулись полки с переплетенными комплектами газет и журналов, и воздух был затхлый, как в заброшенной библиотеке. Стояла полутьма. Глаза Рубина были в темных кольцах, как у лемура, он казался недовольным и подавленным. Когда я сказал, что нас ждут на Лорд Норт-стрит после обеда, он кивнул с видом человека, которому в этот день предстоит еще многое вытерпеть.

Ему предстояло вытерпеть это заседание. Теперь он стал близок к правительству и потому уже мало на что надеялся. Он был настроен здесь мрачнее всех. Это не было официальное заседание. Все присутствующие собрались здесь как частные лица, по крайней мере формально. Почти все они были ученые, связанные в прошлом или еще и сейчас с ядерными исследованиями. Они пытались найти какой-то способ обратиться непосредственно к своим советским коллегам. Здесь было несколько ученых с мировым именем, крупнейшие физики — Маунтни (председатель), сам Рубин и мой старый друг Констентайн. Были тут и правительственные советники, среди них Уолтер Льюк, который тоже непременно хотел в этом участвовать.

Всем трем правительствам было известно об этом заседании. Было приглашено несколько официальных лиц, в том числе и я. Мне вспомнились другие заседания в этих же комнатах, почти двадцать лет назад, когда ученые сказали нам, что атомная бомба может быть создана.

Дэвид Рубин сидел с усталым и скучающим видом. И вдруг встрепенулся. Чинный и строгий порядок заседания, продуманные фразы, беспристрастную доброжелательность ученых — все как ветром сдуло. Ибо дверь отворилась, и, к всеобщему изумлению, на пороге появился Бродзинский. Рослый и грузный, выпятив широкую грудь, он неожиданно легкой походкой подошел к столу. Вытаращил глаза на Артура Маунтни. И гулким голосом, не очень правильно выговаривая по-английски, сказал:

— Прошу извинить за опоздание, господин председатель.

Все, кто сидел за этим столом, знали об его выступлении в Америке и знали, что речи его сильно повредили Гетлифу и Льюку. Люди, подобные Маунтни, терпеть не могли и самого Бродзинского, и все, что он отстаивал. И самый его приход, и это небрежное извинение были в их глазах возмутительной и нелепой бесцеремонностью.

— Признаться, я не понимаю, зачем вы вообще сюда явились,— сказал Артур Маунтни. У него было длинное, изможденное лицо, жесткое и напряженное, он и в кругу друзей не склонен был деликатничать, а сейчас тем более.

— Я получил приглашение, господин председатель. Так же, как и мои коллеги, надо полагать.

Так оно, наверно, и было. Приглашения рассылались как крупным ученым-советникам, так и ученым — членам военных комиссий. Очевидно, имя Бродзинского осталось в старом списке.

— Это не значит, что вам следовало приходить.

— Прошу извинить, господин председатель. Надо ли понимать вас так, что сюда допущены лишь те, кто придерживается совершенно определенных взглядов?

— Не в этом дело, Бродзинский, и вы отлично это знаете,— резко прервал его Уолтер Льюк.— Вы черт знает что себе позволили, пользуясь тем, что находитесь вне пределов нашей досягаемости. По вашей милости у всех ученых, работающих в этой нашей треклятой области, выбита почва из-под ног.

— Никак не могу с вами согласиться, сэр Уолтер.

— Да бросьте, за кого вы нас принимаете?

Нет, это совсем не походило на благопристойные, чинные заседания под председательством Гектора Роуза.

Фрэнсис Гетлиф кашлянул и со своей поразительной старомодной застенчивостью обратился к Маунтни:

— Вероятно, мне следовало бы сказать несколько слов.

Маунтни кивнул.

— Доктор Бродзинский,— сказал Фрэнсис, не поднимая глаз,— если бы вы не явились сюда сегодня, я попросил бы вас зайти ко мне.

Фрэнсис говорил спокойно, в нем не чувствовалось ни мрачной холодности Маунтни, ни вызывающего презрения Уолтера Льюка. Ему пришлось сделать над собой усилие, тогда как они по самой природе своей с легкостью бросались в драку. И, однако, мы внимательнее всего слушали Фрэнсиса, и внимательней всех слушал Бродзинский.

Хотя никто не подумал, а может быть, и не пожелал предложить Бродзинскому сесть (была забыта даже обыкновенная вежливость), он сам нашел свободный стул. И прочно уселся, огромный и невозмутимый, как гора.

— Пора вам выслушать несколько слов о вашем поведении. Необходимо вам кое-что разъяснить. Это я и намерен сделать. И лучше сделать это теперь же. Вы должны понять, что ваши коллеги-ученые недовольны вами по двум причинам. Первая: то, как вы поступили с некоторыми из нас. В конечном счете это не столь важно, но и этого достаточно, чтобы мы предпочли не поддерживать с вами никаких отношений. Вы выступали против нас с обвинениями публично и, как я думаю, еще ряд обвинений выдвинули негласно — обвинения эти таковы, что следовало бы подать на вас в суд. Вы воспользовались тем, что мы не хотим судиться с коллегой. Вы заявили, что мы бесчестные люди, что мы исказили истину. Вы заявили, что мы предаем свое отечество.

— Разумеется, мои слова ложно поняты,— сказал Бродзинский.

— Отнюдь нет.

— Я всегда верил в ваши добрые намерения, сэр Фрэнсис,— сказал Бродзинский.— Но не жду того же от вас.

Он держался смело, уверенно, как человек чистый и несправедливо гонимый. Это было мужество человека, который даже и сейчас, в глубине души был убежден, что все должны признать его правоту. Он не знал ни внутренней борьбы, ни сожалений, ни угрызений совести — он был твердо уверен в своей правоте. И в то же время искал сочувствия, потому что его гонят и преследуют. Он громко взывал о сочувствии. Чем ясней все понимают, что он прав, тем сильней его преследуют. Да, наверно, он решил, что и тут тоже его преследуют, хоть и не прямо, но дают понять, что он стоит ниже всех этих гетлифов, что в нем не нуждаются.

— Я должен был высказать некоторые критические замечания,— продолжал Бродзинский.— Потому что вы — опасные люди. Я верю, что вы сами не осознаете, насколько вы опасны, тем не менее, конечно, я должен был высказать некоторые критические замечания. Вы меня, наверно, понимаете, доктор Рубин.

И он доверчиво и с надеждой повернулся к Дэвиду Рубину, который наскоро что-то записывал на листе бумаги. Рубин медленно поднял голову и непроницаемым взглядом посмотрел на Бродзинского.

— Ваше поведение недопустимо,— сказал он.

— Ничего другого я и не ждал от вас, доктор Рубин.

Это прозвучало так грубо и так горячо, что Рубин был озадачен. Быть может, Бродзинский вспомнил, что говорит с евреем.

— Вы сказали, что мы опасные люди,— вновь заговорил Фрэнсис Гетлиф.— Меня больше не интересуют ваши наветы. Они важны лишь

постольку, поскольку связаны с другим злом, в котором вы повинны. И это вторая причина нашего недовольства вами. Мы считаем, что вы нанесли тяжкий ущерб всем порядочным людям, где бы они ни жили. Если уж пользоваться словом «опасный», вы сейчас едва ли не самый опасный человек в мире. Вы совершили зло, извратив науку. Можно по-разному смотреть на положение с ядерным оружием. Но нельзя, не будучи лжецом, человеком безответственным, а то и похуже, говорить то, что говорили вы. Вы уверяли, что Соединенные Штаты и Англия могут уничтожить Россию, не понеся при этом почти никаких потерь. Большинство из нас сочло бы это заявление безнравственным, даже если бы оно было правдой. Но все мы знаем, что это неправда и, сколько мы можем предвидеть, никогда не будет правдой.

— Вот почему вы опасны,— сказал Бродзинский.— Вот почему я решил выступить против вас. Вы считаете себя людьми доброй воли. Но все, что вы делаете, приносит огромный вред. Даже когда вы собираетесь вот в таком тесном кругу, вы приносите огромный вред. Вот почему я пришел сюда, хоть я и нежеланный гость. Вы воображаете, что сумеете договориться с русскими. Ничего у вас не выйдет. Единственно разумный путь для нас всех — вооружаться, и как можно быстрее.

— И вы миритесь с возможностью войны? — спросил Артур Маунтни.

— Ну конечно,— ответил Бродзинский.— Как всякий разумный человек. Если уж война неизбежна, мы должны ее выиграть. Мы сохраним в живых достаточно народу. Мы быстро оправимся. Люди — существа очень выносливые.

— Так вот на что вы возлагаете ваши надежды,— ледяным тоном сказал Фрэнсис.

— Это неизбежно.

— И вас не возмущает мысль, что погибнет триста миллионов жизней?

— То, что неизбежно, меня не возмущает.

Глаза Бродзинского вспыхнули, он вновь был исполнен сознания, что чист перед богом и людьми.

— Вы не понимаете,— продолжал он.— Может случиться и такое, что еще хуже войны.

— Я вынужден допустить, что вы в здравом уме и отвечаете за свои действия,— сказал Фрэнсис.— А если так, разрешите сказать вам прямо: я не могу оставаться в одной комнате с вами.

У всех были каменные лица, все в упор смотрели на Бродзинского. Стало очень тихо. Он даже не пошевелился; преспокойно сидя на своем месте, он сказал:

— Мне кажется, меня сюда пригласили, господин председатель.

— Будет лучше для всех, если вы уйдете,— сказал Артур Маунтни.

С преувеличенной рассудительностью Бродзинский заявил:

— Но я могу предъявить пригласительное письмо, господин председатель.

— В таком случае мне придется закрыть собрание. И созвать другое, на которое вы приглашены не будете.

Когда позже Рубин вспоминал эти слова, они представлялись ему шедевром англосаксонской благопристойности.

Бродзинский поднялся — огромный, непоколебимый.

— Господин председатель,— сказал он,— весьма сожалею, что мои коллеги сочли возможным так со мной обойтись. Но ничего другого я и не ждал.

Сознание собственного достоинства ни на миг не изменило ему. И так, исполненный сознания собственного достоинства, рослый, могучий, он легкой походкой вышел из комнаты.

# Выбор

Несколько часов спустя мы с Дэвидом Рубином сели наскоро перекусить у него в номере перед тем, как отправиться к Роджеру. Номер был очень скромный в дешевой и добропорядочной гостинице в Кенсингтоне, и еда тоже была очень скромная. Рубин был вхож к правителям и одевался у лучших портных, но жил проще и непритязательнее мелкого служащего в посольстве. Он был беден, и у него никогда не было никаких денег, кроме академического жалованья и премий за ученые труды.

Он покорно сидел в холодном номере, жевал черствый сандвич и потягивал теплое разбавленное виски. Он рассказывал о своем сыне, который учится в Гарварде, и о своей матери, которая едва ли понимала, что такое Гарвард, у себя дома не говорила по-английски и с таким же неуемным честолюбием жаждала, чтобы сын вышел в люди, как жаждала этого моя мать для меня. Голос его звучал грустно. Все пришло к нему — головокружительная научная карьера, счастливый брак, любовь детей. Редкого человека чтили во всем мире, как его. И, однако, в иные минуты он словно бы оглядывался назад, пожимал плечами и думал, что в детстве он ожидал чего-то большего.

Мы оба говорили откровенно, без опаски, как случайные попутчики на корабле. Дэвид сидел очень элегантный — в превосходно сшитом костюме, в шелковой сорочке, в башмаках на заказ,— качал головой и смотрел на меня добрыми печальными глазами. Я вдруг подумал: а ведь он не объяснил мне, даже не намекнул, почему так добивался сегодня встречи с Роджером.

Мы приехали на Лорд Норт-стрит около половины десятого, Роджер и Кэро еще сидели в столовой. В этой самой столовой почти три года назад Роджер устроил Рубину форменный допрос. Как и в тот вечер, Рубин церемонно склонился над рукой Кэро, назвав ее «леди Кэролайн», церемонно поздоровался с Роджером. Как и в тот вечер, Роджер пустил по кругу графин.

Рубина усадили по правую руку от Кэро, он охотно пил портвейн, но не спешил начинать разговор. Кэро поглядела через стол на Роджера — он молча, нетерпеливо ждал. Но у Кэро выдержки хватало, она готова была без конца перебрасываться с Рубином звонкими и пустыми фразами. Все четверо ждали, когда же начнется настоящий разговор. Наконец Роджер не выдержал.

— Итак? — сказал он грубо, глядя на Рубина в упор.

— Да, господин министр? — словно бы удивленно отозвался Дэвид Рубин.

— Мне казалось, вы хотели мне что-то сказать.

— Вы располагаете временем? — загадочно спросил Рубин.

Роджер кивнул. Ко всеобщему изумлению, Рубин начал длинно, сложно и подробно излагать взаимосвязь между высшей математикой и атомной стратегией. Послушав минуту-другую, Роджер прервал его:

— Не знаю, что вас ко мне привело, но только не это.

Рубин посмотрел на него строго, ласково и огорченно. Внезапно он отбросил свои непостижимые ухищрения и стал прямолинеен до грубости.

— Я пришел сказать вам: бросайте это все, пока не поздно. Иначе сломите себе шею.

— Что бросать?

— Ваши нынешние планы, или замыслы, или как вы там это называете. Вам не на что надеяться.

— Вы так думаете? — спросил Роджер.

— Иначе зачем бы я пришел? — И тут Рубин снова заговорил

спокойно и рассудительно.— Выслушайте меня. Я не сразу решился вмешаться. Только потому, что мы вас уважаем...

— Мы слушаем,— сказала Кэро. Сказала не из вежливости, не затем, чтобы ободрить Рубина, но с неподдельным вниманием и интересом.

У Роджера и Рубина лица были непроницаемы. Стало тихо — слышно, как муха пролетит... Они до известной степени симпатизировали друг другу, но сейчас это было не в счет. Сейчас между ними стояло нечто более значительное, чем приязнь или неприязнь, даже чем доверие или недоверие. Оба остро ощущали значение минуты, значение назревающих событий.

— Прежде всего,— сказал Рубин,— позвольте мне объяснить мою позицию. Все, что вы собирались предпринять, весьма разумно. Все это правильно. Всякий, кто живет с открытыми глазами, понимает, что это правильно. Можно предвидеть, что в ближайшем будущем только две державы будут владеть атомным оружием. Это Америка и Россия. Ваша страна не может с ними тягаться. С точки зрения экономической и военной, чем раньше вы выйдете из игры, тем лучше... Это бесспорно.

— Вы уже говорили нам это здесь, в этой самой комнате, несколько лет назад,— сказал Роджер.

— Более того,— продолжал Рубин,— мы постараемся, чтобы вы вышли из игры. Наша мысль работает в том направлении, чтобы предельно ограничить круг держав, владеющих этим оружием. Иными словами, оно будет только в наших руках и в руках Советов. Это тоже правильно. Могу предсказать, что в самое ближайшее время на вас будет оказан некоторый нажим с нашей стороны.

— Вы говорите это в других выражениях и по несколько иным причинам,— заговорил Роджер, которого слова Рубина, казалось, и не возмутили, и не убедили,— но то же самое говорил и я и пытался претворить свои слова в дело.

— Это вам не удастся.— Голос Рубина стал жестким.— И вы должны бросить все это немедленно.

Наступило молчание. Потом Роджер спросил самым простодушным тоном:

— Почему?

Рубин пожал плечами, широко развел руками.

— Я ученый. Вы политик. И вы задаете мне такой вопрос.

— А все-таки я хотел бы услышать ответ.

— Неужели я должен вам объяснять, что могут быть действия совершенно правильные и, однако, совершенно неосуществимые? И вовсе не важно, что они правильные. Важно другое: как это делается, кем и, самое главное, когда.

— Как вы справедливо заметили, эти принципы мне знакомы. А теперь я хотел бы услышать, что именно вы знаете.

Рубин опустил глаза.

— Не то чтобы знаю, но подозреваю. Иностранец иной раз улавливает знаки, которым вы не придали бы особого значения. Мне кажется, вы плывете против течения. Ваши коллеги в этом не признаются, но если вы заплывете слишком далеко, они не смогут сохранить вам верность — так?.. С вашего позволения, они не такие уж дураки,— продолжал Рубин.— Они видели, что вам приходилось брать с бою каждый шаг. Каждая мелочь давалась вам на десять, на двадцать, порой на пятьдесят процентов труднее, чем вы рассчитывали. Вы знаете это лучше всех нас. И Льюис знает. (На мгновение я перехватил его взгляд из-под опущенных век — в нем светились Weltschmerz * и

---

* Мировая скорбь (*нем.*).

братское сочувствие.) Все давалось с непомерным трудом. На мой взгляд — и это справедливо едва ли не для всех человеческих начинаний,— если дело оказывается непосильно трудным, если принимаешься за него и так и сяк и все-таки оно не двигается с места, значит, пора ставить на нем крест. Это, безусловно, относится к любой отвлеченной теоретической задаче. Чем больше я вижу задач того характера, какие приходится решать вам, тем больше убеждаюсь, что это справедливо и для них. Ваши коллеги умеют сохранять самообладание. Но они привыкли иметь дело с миром вполне конкретных вещей и отношений. Подозреваю, что они будут вынуждены прийти к тем же мыслям.

— Вы так в этом уверены? — негромко и раздельно спросил его Роджер.

Рубин вскинул голову, потом снова опустил глаза.

— В Вашингтоне я разъяснил свою точку зрения всем, кого я там знаю. В конце концов они поймут, что мы с вами правы. Но время еще не пришло. Они не знают, в каком состоянии сейчас ваше оружие. И вот что я вам скажу. Они встревожены и не понимают, из каких побуждений вы хотите от него отказаться.

— И по-вашему, мы должны с этим считаться? — вспыхнув, с вызовом воскликнула Кэро.

— По-моему, было бы неразумно с вашей стороны не считаться с этим, леди Кэролайн. Я не поручусь, что они глубоко разобрались в существующем положении. Но в настоящее время их ничуть не занимает, что вы делаете, лишь бы вы не устранялись от «холодной войны». Это единственное, чего они боятся. Таково настроение. Вот с этим настроением кое-кто из них присматривается сейчас к вам.

— Наслушались Бродзинского? — сердито спросил я.

— Не в нем суть,— сказал Рубин.— Он в какой-то мере повредил вам, но корень тут глубже.

— Да,— сказал Роджер,— корень глубже.

— Рад, что вы это понимаете.— Рубин повернулся к Кэро.— Как я уже сказал, леди Кэролайн, с вашей стороны было бы неразумно с этим не считаться. В нашей стране есть люди, которые воспринимают это весьма болезненно. В самых разных слоях общества. В том числе на самом верху. Толика этого болезненного восприятия неминуемо перекинется и через океан. Может быть, это уже произошло.

— Я бы не удивился,— заметил Роджер.

— Конечно, это огорчительно, когда вынужден отказываться от взятых на себя обязательств,— сказал Рубин.— Но факты — вещь упрямая. Насколько я могу судить по обстановке здесь, в Англии, вам надо просто запастись хладнокровием и отложить все это лет на пять — на десять. Если только мои сведения сколько-нибудь верны, к тому времени вы достигнете вершины. И вы будете плыть по течению, а не против. А Вашингтон будет умолять вас сделать именно то, что вы не в силах сделать сейчас.— По губам Рубина скользнула едкая ироническая улыбка.— И вы единственный в этой стране, кто будет на это способен. Вы неоценимый человек. Не только для Британии, но для всех нас. Вот почему я сейчас вам докучаю. Мы не можем допустить, чтобы такой человек пропал зря. А я глубоко убежден, что, если вы сейчас не отступите хотя бы на шаг, вы пропадете ни за грош.

Минуту мы все молчали. Роджер посмотрел через стол на жену.

— Ты слышала, что он говорит? — спросил он.

— Ты ведь тоже слышал,— сказала Кэро. В ее тоне не оставалось и следа светского пустозвонства. Голос ее звучал одной только любовью и преданностью. Она говорила так, словно они остались наедине. Они обменялись всего несколькими словами, но этого было довольно. Род-

жер понимал ее мысли, понимал, что она думает и какой ответ хочет услышать. Их семейная жизнь уже дала трещину — по его вине, но они все еще понимали друг друга с полуслова. Ее желание было ясно и просто. Хоть Рубин этого и не знал, Кэро была на его стороне.

Все время, пока Роджер с боем добивался своего, она была ему верной союзницей. Однако втайне она не могла отказаться от национального высокомерия. Недаром она напустилась на Дэвида Рубина, когда он напомнил, что могущество Англии отошло в прошлое; так и сейчас она не могла примириться с тем, что дни величия Роджера остались позади.

И все-таки она стала сейчас на сторону Рубина, ибо Рубин сулил Роджеру что-то в будущем, давал ему надежду, а это была и ее надежда. Ей показалось бы нелепым жеманством, лицемерием и попросту чистоплюйством не добиваться, не желать, чтобы Роджер достиг вершины, самого высокого государственного поста. Если бы он этого не желал, зачем он тогда вообще занялся политикой, сказала бы она. Если бы она не желала этого для него, зачем тогда она стала его женой.

— Я согласен почти со всем, что вы говорили,— сказал Роджер Рубину.— Вы очень ясно высказались. Я вам чрезвычайно благодарен.— Он говорил мягко, рассудительно, почти смиренно. В эту минуту могло показаться, будто он готов к тому, чтобы его обратили в другую веру, а быть может, уже и обращен и спорит лишь самоуважения ради.— Знаете,— продолжал он с рассеянной улыбкой,— я и сам приходил к этим мыслям. Согласитесь, что это можно поставить мне в заслугу, не так ли?

Рубин улыбнулся.

— Конечно,— продолжал Роджер,— если хочешь в политике чего-то достичь, надо уметь ломиться в открытые двери. Если же вы непременно хотите ломиться в запертые двери, лучше выберите себе другую профессию. Вы именно это и хотели мне сказать, не так ли? Разумеется, вы правы. Я бы не удивился, если бы узнал, что в свое время и вы ломились в запертые двери. И потратили на это куда больше сил, чем я. Но, правда, вы не политик.

Может быть, это была и насмешка, не знаю. Если так, то ничуть не злая. Роджер говорил спокойно, мягко.

— Моя беда в том, что я не могу не думать, что сейчас положение несколько иное. Мне кажется, если мы не сделаем этот шаг сейчас, нам он никогда уже не удастся. А если и удастся, будет уже слишком поздно. Может быть, только этим и отличаются наши с вами позиции. А может быть, вы со мной и не согласитесь.

— Скажу вам честно: я и сам не знаю,— не сразу ответил Рубин.

— А по-вашему, все будет идти своим чередом и никто не в силах этому помешать?

— Не знаю.

— Почти все мы понимаем, каково положение. И никто из нас не может ничего изменить?

— Да много ли значит кто-то один, кто бы он ни был? И много ли сделаешь один?

— Вы мудрый человек,— сказал Роджер.

Наступило долгое молчание.

Потом Роджер вновь заговорил так свободно, почти задушевно, что странно было слышать его голос, голос привычного оратора.

— Вы говорите, все мы безнадежно увязли,— сказал он.— Весь мир. Позиция обоих лагерей определилась. И никто из нас ничего не может с этим поделать. Ведь именно это вы говорите, не так ли? Мы только и можем не отступать со своих позиций и смиренно признать, что мы, в сущности, бессильны и ничего не в состоянии сделать.

— Разве что в мелочах,— сказал Рубин.

— Ну, это немного,— Роджер дружески улыбнулся.— Вы очень мудрый человек.— Он снова чуть помолчал.— И все-таки, знаете ли, с этим очень трудно примириться. В таком случае вообще незачем стоять у власти. Сидеть и ждать, пока все подадут готовенькое, всякий может. Вряд ли я согласился бы вести такую жизнь, если бы только к этому и сводилась моя роль.

В голосе его прорвалась неподдельная страсть. Потом он вновь заговорил на удивление церемонно и учтиво:

— Я весьма признателен вам за ваш совет. Очень хотел бы иметь возможность ему последовать. Это многое мне облегчило бы.

Он посмотрел на Кэро и сказал так, словно они были одни:

— Хотел бы я иметь возможность поступить, как ты того желаешь.

Знай Кэро, что она сражается за свой семейный очаг, она, наверно, не стала бы так прямо показывать Роджеру, что не согласна с ним. Его так замучило сознание вины, что он рад был малейшей лазейке, малейшему предлогу, который позволил бы сказать себе: все равно так больше не может продолжаться. Но разве в самом деле не может? Он ведь знал, чего она хочет, всегда знал, с самого начала. Она бы не считала, что вполне честна перед Роджером, если бы стала притворяться. В этот вечер она не сказала ничего нового. Но, мне кажется, когда она повторила в присутствии Рубина то, что уже говорилось с глазу на глаз, Роджеру чуть полегчало, хотя он втайне и устыдился.

— Хотел бы,— повторил он.

Любопытно, когда Рубин понял, что Роджер намерен довести дело до конца? В какую минуту, при каком слове? Рубин был куда умней и проницательнее, но, когда в игру вступали чувства, Роджер оказывался для него слишком сильным противником.

И еще одно. В личной жизни Дэвид Рубин придерживался столь же возвышенных принципов, был столь же нравственно безупречен, как Фрэнсис Гетлиф. И, однако (весьма неприятная истина), бывают такие времена, времена крутые, переломные, когда людям с возвышенными принципами доверять нельзя,— а Роджеру, пожалуй, можно было доверять. Ибо в некоторых случаях, не часто, но и не так редко, как всем нам казалось, Роджер решал, что нравственно и что безнравственно, смотря по тому, полезно ли это для дела. Рубин в личной жизни был безупречнее очень многих; и, однако, он побоялся бы злобных выпадов, не решился бы поставить на карту свое доброе имя и свое будущее, а Роджер сейчас шел на это с открытыми глазами.

Любопытно, а когда я сам понял, что Роджер решил довести дело до конца? Пожалуй, эта мысль возникла у меня вскоре после того, как мы сблизились, и чем дальше, тем больше я в ней утверждался. И в то же время я не слишком полагался на верность своего суждения.

В час, когда он стоял на распутье, я, как и все, ничуть не был уверен, что он нам не изменит. Так что, пожалуй, я не понимал или, во всяком случае, не был уверен, что он пойдет до конца, пока не послушал его в этот вечер.

А когда это понял сам Роджер? Вероятно, он и сам не знал, а может, ему было и нелюбопытно. Нравственность диктовалась пользой дела, выбор — тоже, тем более выбор, от которого столь многое зависело. Даже сейчас он мог еще не знать, на каких условиях ему придется сделать выбор и какие побуждения тут окажутся решающими.

И опять я подумал: а какую роль играла тут его связь с Элен?

— Я не могу последовать вашему совету, Дэвид,— сказал Роджер. — Но я признаю, что вы очень точно оцениваете мои шансы. Вы считаете, что мне не сносить головы, верно? Я и сам так думаю. Я хотел бы, чтобы вы поняли: я на это иду.— И прибавил, блеснув недоброй

улыбкой: — Но и сейчас это еще не решено бесповоротно. Со мной еще не покончено.

До этой минуты во всем, что он говорил, была спокойная трезвость. А тут вдруг его настроение круто переменилось. Он исполнился надежды, той надежды, какая вспыхивает в роковые минуты, той надежды, которая в канун битвы согревает душу уверенностью, что ты уже вышел из нее победителем. Рубин смотрел на него с изумлением, почти с отчаянием, даже глаза у него как-то еще больше ввалились.

Он чувствовал — мы все это чувствовали,— что Роджер счастлив. И не только счастлив и полон надежд, но и совершенно спокоен.



# Часть пятая

# ПАРЛАМЕНТ ГОЛОСУЕТ

## Минутная слабость

Над Большим Беном золотой бусиной светился фонарь: после рождественских каникул снова заседал парламент. Был сезон приемов, и за неделю мы с женой успели побывать уже на трех: у Дианы на Саутстрит, у одного из членов парламента, на официальном рауте. И везде вокруг нас, точно статисты, изображающие на сцене войско, вертелись одни и те же люди, одни надменные лица сменялись другими столь же надменными лицами, и казалось, этому параду не будет конца. Министры со своими женами держались поближе к другим министрам с женами, словно магнетическая сила власти притягивала их друг к другу. Роджер и Кэро тоже были здесь и держались так же неприступно, как и остальные.

Пребывание на высоких постах бросается в голову, как алкоголь, это было верно не только в отношении Роджера, находившегося под ударом, но и в отношении целых слоев общества. Люди, держащие в руках власть, до последней минуты не верят, что могут ее потерять. А иногда, и потеряв, не могут в это поверить.

Всю ту и следующую неделю обстановка в министерстве Роджера напоминала военное время. Роджер сидел у себя в кабинете неизменно занятой, требуя из секретариата то одну бумагу, то другую; своими мыслями он, насколько я знал, не делился ни с кем — со мной во всяком случае.

Трепет восхищения и веры в успех расходился от его кабинета по всем коридорам, точно рябь по воде. Он передавался даже служащим среднего разряда, которые обычно думали лишь о том, как бы поскорее добраться до дома и поставить долгоиграющую пластинку. Что до ученых, они откровенно торжествовали победу. Уолтер Льюк, поверивший в Роджера с самого начала, остановил меня как-то в одном из мрачных, сырых коридоров казначейства и загремел, даже не подумав понизить голос:

— А ведь этот сукин сын поставит на своем, черт бы его подрал! Вот и выходит, что, если без устали твердить разумные вещи, в конце концов всех убедишь.

Когда я повторил слова Уолтера Гектору Роузу, он сухо, но нельзя сказать чтобы недружелюбно, улыбнулся и сказал:

— Sancta simplicitas.*

---

* Святая простота *(лат.)*.

В те дни я раза два разговаривал с Дугласом, но только затем, чтобы утешить и подбодрить его. Первоначальный диагноз подтвердился: у Мэри развивается паралич, ей не прожить и пяти лет. Он сидел за письменным столом и стоически работал над какими-то документами. Когда я заходил к нему, он говорил только о жене.

Наступил февраль, необычно теплый. Уайтхолл купался в продымленных солнечных лучах.

В конце месяца Роджер должен был выступить с речью о своем законопроекте. Пока что мы искали покоя в работе. И вдруг покой был нарушен. Притом совершенно неожиданным образом. Оптимисты были озадачены, еще больше были озадачены люди бывалые. На первый взгляд ничего особенного не произошло. Появилась записка — обыкновенная записка на обыкновенном листе бумаги. И в ней слова как будто вполне безобидные.

Оппозиция ставила вопрос о сокращении ассигнований военно-морскому флоту на десять фунтов стерлингов.*

Человеку, не знакомому с парламентской кухней, это могло показаться анахронизмом, если не прямой глупостью. Но мы почти все понимали, что за этим кроется нечто весьма серьезное. Чьих рук это дело? Очередной ход на политической шахматной доске? Нам что-то не верилось. Роджер даже не делал вида, что верит.

Самое большее, мы могли надеяться на сдержанное поведение оппозиции во время дебатов, когда парламент «соблаговолит заняться рассмотрением» законопроекта, и на то, что она не станет настаивать на голосовании. Надежда была вполне реальная. Среди лейбористов были люди, понимавшие, что Роджер — лучшее, на что они могут рассчитывать, что его политический курс всего ближе к их собственному. И если он потерпит поражение, его заменят кем-нибудь похуже. Они пытались охладить пыл своих «оголтелых». И вдруг этот внезапный крутой поворот! На Роджера обрушились, повели атаку еще до того, как он выступил с речью по поводу законопроекта. Ради этого они готовы были пожертвовать двумя днями из предоставленных им для обсуждения финансовых вопросов. Очевидно, они кое-что знали о намерениях Роджера. Очевидно, они еще много чего знали.

Мы с Роджером почти не виделись с того вечера, когда я был у них вместе с Рубином. Теперь он прислал за мной.

Когда я вошел в кабинет, он улыбнулся какой-то отчужденной улыбкой. Держался он спокойно, но как-то официально, словно боялся, перейдя на дружеский тон, потерять самообладание. Мы разговаривали, как компаньоны, которым уже не раз приходилось идти на риск и сейчас предстоит двойной риск — но не более того. Лицо у Роджера было жесткое, нетерпеливое, чересчур деловитое.

Что я об этом знаю? Не больше, чем он, а возможно, и меньше, сказал я.

— Что меньше — сомневаюсь,— сказал он. И вдруг его прорвало:— Что все это означает?

— Откуда мне знать?

— Уж наверно вы догадываетесь.

Я молча смотрел на него. Да, я догадывался. И я подозревал, что оба мы боимся одного и того же.

— Мы не дети,— сказал он.— Говорите!

И я повиновался. Я сказал, что, на мой взгляд, это классический пример братания за линией фронта. То есть, что кое-кто из его врагов, заднескамеечников его собственной партии, пошел на сговор со своими

---

* Дошедший до наших дней из старины способ выражать недоверие правительству. Цифра 10 фунтов стерлингов чисто условна, но неизменна. *(Прим. автора.)*

единомышленниками из рядов оппозиции. И заднескамеечники оппозиции нажали на руководство своей партии: пусть потребуют поставить вопрос на голосование. Кое-кто из членов правящей партии их поддержит — все будет зависеть от того, в какой мере. Словом, выбрали самый пристойный способ. Если Роджер произнесет речь, из которой будет ясно, что он готов пойти на компромисс, коллеги и партия от него не отступятся. Но если он начнет вольнодумствовать... что ж, если министр переходит границы в своем вольнодумстве, находятся способы его убрать, и этот способ наиболее безболезненный для партии, к которой он принадлежит.

— Да,— сказал Роджер,— скорее всего, вы правы. Наверно, так оно и есть. Но все это одни предположения. А нам надо знать наверняка.

Он хотел сказать, что нам надо не только знать, верны ли наши предположения, но и выяснить, кто наши враги. Он мог спокойно списать со счета одного-двух раскольников из своей партии, но если их тридцать-сорок (и особенно если среди них есть люди с весом), это значит конец всему.

Разве что он поступит, как поступили бы на его месте Коллингвуд и иже с ним: отопрется от всех своих недавних намерений. На миг это показалось очень соблазнительно. Но тут же он отогнал искушение. Он будет стоять на своем.

Он стал прикидывать, кто может быть за него, кто — против и откуда мы можем получить надежные сведения. Он сегодня же сам поговорит с руководителем правящей партии в парламенте и со своими сторонниками по партии. Беда в том, заметил он все еще холодно и деловито, что во всем подходе к этому есть что-то непорядочное. Он не получил ни одного письма, в котором выражалось бы несогласие с его политическим курсом, и никто не говорил с ним прямо. Ну а раз так, придется и нам прибегнуть к закулисным переговорам. Мои приятели из оппозиции могут кое-что знать, и журналисты тоже.

— Займитесь-ка этим,— бодро сказал Роджер, как будто самого его это почти не касалось и он только давал мне полезный совет.

В двух местах мне рассказали приблизительно одно и то же. В первом случае это был видный деятель оппозиции, знакомый мне еще по Кембриджу. Во втором — два парламентских репортера, с которыми меня познакомил в «Эль Вино» один журналист. На другой день я смог сообщить Роджеру кое-какие новости — не факты, но все же и не просто слухи.

Репортеры подтвердили, что наши догадки имеют под собой почву. Сговор между группой членов оппозиции и некоторыми консерваторами действительно состоялся (один репортер уверял даже, что знает, где они встречались). От оппозиции присутствовали главным образом представители крайне правого крыла лейбористской партии, но было там и несколько пацифистов, и сторонников разоружения. Я пытался выспросить, сколько консерваторов было на этой встрече и кто именно. Однако тут ответы становились расплывчатыми. Немного, сказал один из моих собеседников,— два-три, не больше. Из видных — никого. Один из них был молодой человек, сделавший в парламенте запрос насчет выступления Бродзинского. «Чокнутые»,— все время повторял мой знакомый, пока мы пили с ним в шумном баре: видимо, он считал, что этим все сказано.

Что ж, это еще не так плохо. Скорее даже утешительно: ведь можно было ждать худшего. Однако Роджер не успокоился. Мы не дети, сказал он мне накануне. Но одно дело подозревать предательство, хотя бы пустячное, и совсем другое — убедиться в справедливости своих подозрений. Он был зол на меня за то, что я принес ему такую весть. Злился и на себя.

— Вот не рассиживался я в барах, не выпивал с дураками! — восклицал он.— Не льстил их самолюбию! Чего-чего, а этого они не прощают.

В тот вечер он изменил себе. Вместе с Томом Уиндемом он отправился в курительную комнату парламента и провел там несколько часов, старательно прикидываясь душой общества. Я узнал об этом на следующий день от Тома Уиндема, который озадаченно прибавил:

— Никогда не видал, чтобы он вел себя так глупо.

Грузный, неуклюжий, как медведь, Роджер стоял посреди курительной, заискивающе кивал знакомым, тянул пиво кружку за кружкой, пытаясь играть ту единственную роль, которая ему начисто не давалась, пока, наконец, Том Уиндем его не увел.

Но уже назавтра хладнокровие вернулось к нему. Теперь он с полным самообладанием делал то, что следовало. Один из его сторонников созвал совещание комиссии по вопросам обороны, созданной независимыми членами парламента. Никто из присутствовавших не догадался бы, глядя на Роджера, что хотя бы на один вечер мужество могло ему изменить.

В кулуарах говорили, что Роджер «держит марку», что он в отличной «форме», что он опять «стал самим собой». Я увидел своего приятеля-журналиста, который нарочито беспечно разговаривал с каким-то элегантным, улыбающимся до ушей господином, только что вышедшим из зала, где шло совещание. И я снова повез его в «Эль Вино». Он был настроен так благодушно, с такой готовностью подбадривал меня, что я охотно его поил. Да, Роджер покорил их. «Это такой парень — его живьем не возьмешь!» — восклицал мой знакомец с профессиональным восхищением. Выпив еще стакан, он начал подсчитывать врагов Роджера. «Четыре-пять,— говорил он.— Во всяком случае, их можно пересчитать на пальцах одной руки. Жидкие людишки! Чокнутые!» Это словечко он повторял опять и опять, вероятно считая, что этим все определено и поставлено на свои места, но я таким ощущением похвастать не мог.

## Поездка в Кембридж

В следующее воскресенье во второй половине дня я ехал на такси по безлюдным уютным улицам Кембриджа, через Гаррет-Хостел-бридж, вдоль берега речушки к дому брата. Он и Фрэнсис Гетлиф уже ждали меня.

Мне очень не хватало Мартина в наших уайтхолловских баталиях. Он был решительнее Фрэнсиса, тверже и настойчивее, чем большинство из нас, и куда более искусный политик. Как ни странно, он оказался одним из тех немногих ученых, которые по моральным соображениям предпочли отстраниться от работы в атомном центре, пожертвовав ради этого блестящей карьерой. Он избрал гораздо более скромный удел — административный пост в одном из колледжей, и все говорило за то, что он так здесь и застрянет.

Его жена Айрин принесла чай. В молодости она была довольно сумасбродна и давала ему немало поводов для ревности. Но время сыграло с ней злую шутку. Теперь это была не женщина, а туша, хотя ее заливчатый смех звучал по-прежнему молодо и кокетливо. Она всегда была отлично настроена; из столкновения характеров в этом браке победителем вышел Мартин. Теперь для нее никого больше не существовало, и она тоже была вполне довольна жизнью.

За чаем, чтобы оттянуть минуту, когда придется перейти к делу, я спросил Фрэнсиса, пишет ли ему Пенелопа.

— Да вот как раз получил от нее письмо дня два назад,— ответил он.

— Чем она там занимается?

Лицо у него стало озадаченное.

— Я и сам хотел бы это знать.

Он обвел нас взглядом и, чуть поколебавшись, продолжал:

— Скажите, как бы вы это поняли?

Он достал из кармана конверт, надел очки и стал читать.

Я невольно подумал, что читает он так, будто письмо написано, скажем, по-этрусски — на языке, большинство слов которого до сих пор не расшифровано.

«Дорогой папочка!

Ты только, пожалуйста, не трепыхайся! У меня все преотлично, настроение преотличное. Работаю, как вол, и у нас с Артом все впорядке, никаких особых планов, но, может, летом он приедет со мной в Англию — еще сам не знает. Нечего тебе о нас беспокоиться — нам очень весело, ни о каких свадьбах никто и не думает, так что перестаньте меня выспрашивать. По-моему, вы с мамой просто помешались на сексе.

Я познакомилась с одним милым мальчиком, его зовут Брюстер (это имя, а не фамилия), он танцует так же плохо, как и я, это нас обоих вполне устраивает. У его папаши целых три ночных клуба в Рено, но Арту я про это не говорю! И вообще это все не всерьез, а так, от нечего делать. Если удастся наскрести деньжат, я, пожалуй, съезжу на несколько дней к родителям Арта. Не желаю, чтобы он всегда за меня платил. Пока кончаю! Мы остановились там, где стоянка запрещена. Брю говорит, что, если я не потороплюсь, ему пробьют права. Он уже злится (а мне-то что!) Надо ехать!

Крепко-крепко целую. *Пэнни*».

— Ну-с? — сказал Фрэнсис, снимая очки, и раздраженно прибавил, словно в этом и заключалось единственное прегрешение Пэнни: — Хоть бы она запомнила, что «в порядке» пишется раздельно.

Мы с Айрин и Мартином старались не смотреть друг на друга.

— Ну как поступают в таких случаях? — спросил Фрэнсис.— Существуют ли какие-нибудь меры пресечения?

— Перестаньте высылать ей деньги,— сказал Мартин, человек практический.

— Это верно,— нерешительно сказал Фрэнсис. И надолго умолк, потом сказал: — Только мне не хотелось бы этого делать.

— Вы уж слишком принимаете все это к сердцу,— воскликнула Айрин и звонко, весело рассмеялась.

— Почему вы так думаете? — обратился он к ней за утешением.

— В ее возрасте я могла бы написать точно такое письмо.

— Правда? — Фрэнсис внимательно посмотрел на нее. Она была добрая душа. Ей не хотелось, чтобы он огорчался. Но ее утешения прозвучали для него не слишком убедительно: не настолько примерна была ее юность, чтобы он мечтал о том же для своей дочери.

Когда Айрин ушла, я наконец заговорил о деле. Оно было несложно.

Куэйф висит на волоске. Нельзя пренебрегать ни малейшей возможностью помочь. Не могли бы они подбить нескольких ученых выступить в его поддержку — не всегдашних его сторонников, из числа тех, которые в свое время отказались работать с Бродзинским, а кого-нибудь из более нейтральных. Речь в палате лордов, открытое письмо в «Таймс», подписанное людьми с именем,— каждое такое выступление может перетянуть на нашу сторону несколько голосов.

Мы довольно долго сидели у пылающего камина, говорил главным образом Мартин. Хотя мы и словом не перекинулись наедине, я прекрасно понимал, что́ он думает. Он полагал, что, кроме счастливого случая, нам рассчитывать не на что. Он полагал, что компромиссное решение — это самое большее, на что может пойти в таком вопросе любое правительство. И что любое правительство вынуждено было бы отказаться от человека, который попытался бы пойти дальше. Но всего этого он мне не сказал. Он сказал лишь, что охотно поможет. Беда только в том, что он недостаточно видный ученый и его слово слишком мало весит. А научные верхи как-то растеряли то ли мужество, то ли решимость. Среди ученых его калибра очень многие готовы действовать, но корифеи, помимо своей работы, знать ничего не хотят.

— Я не знаю ни одного выдающегося ученого,— обратился он к Фрэнсису,— который рискнул бы сделать то, что сделали вы двадцать лет назад.

И не то чтобы ученым младшего поколения недоставало совести, или доброй воли, или даже мужества — во всем этом они не уступали старшим. Просто странным образом изменилось настроение, они не ощущали потребности вмешаться. Может быть, мир стал таков, что они перед ним пасуют? А, может быть, события приняли такой размах, что подавили людей?

Мы с Мартином не хотели с этим соглашаться. Фрэнсис, помолчав, сказал, что поступать, во всяком случае, надо так, как будто дело обстоит совсем иначе.

Он вдруг встряхнулся и заговорил уверенно и властно, словно помолодел на несколько лет: да, сказал он, по его мнению, я дал неплохой совет. Попытаться, во всяком случае, следует. Но Мартину действительно не стоит говорить с крупными учеными. Взять это на себя придется ему, Фрэнсису. Он сам с ними поговорит. Не надо только возлагать на эти разговоры больших надежд. Слишком широко пользовался он своим влиянием — теперь от этого влияния остались одни крохи.

## «Маленькая комнатка с газовой плиткой»

О том, что нас просят быть на обеде у лорда Лафкина, мы с Маргарет были извещены всего лишь за сутки — так же, как и остальные многочисленные его гости. Такое обыкновение приглашать гостей он завел еще лет тридцать назад, задолго до того, как достиг вершин успеха; так он поступал и в годы, когда был окружен всеобщей ненавистью,— и, однако, гости покорно являлись.

И в этот февральский вечер, через несколько дней после моей поездки в Кембридж, все мы послушно собрались в гостиной Лафкина на Сент-Джеймс-корт. Комнату никак нельзя было назвать веселой. На стенах, по желанию Лафкина обшитых темной панелью,— ни одной картины, за исключением его собственного портрета. Правда, отправляясь сюда, никто и не рассчитывал весело провести время. Хозяин он был прескверный. И все-таки сейчас среди гостей были два-три министра, лорд-канцлер, президент Королевского общества, один из магнатов тяжелой промышленности.

Лафкин стоял посреди гостиной.

Ни к кому в отдельности не обращаясь, он сообщил, что расширил свои апартаменты за счет соседней квартиры. Он приказал распахнуть двери, и нашим взорам открылась анфилада темных, мрачных комнат.

— Я решил, что нам это пригодится,— заявил он.

В своих вкусах Лафкин был весьма неприхотлив. На себя тратил мало; фирма, по всей вероятности, приносила ему огромный доход, но он был щепетильно честен, не прибегал ни к каким махинациям при уплате подоходных налогов, и нажитое им состояние своими размерами не поражало. В то же время он словно в отместку требовал, чтобы фирма окружала его той самой роскошью, которая, в сущности, была ему вовсе не по вкусу. Эти апартаменты и так были слишком велики для него, но он заставил увеличить их вдвое. Фирма должна была оплачивать обеды, которые он обставлял с королевской пышностью. В его распоряжении находился не один автомобиль, а целых шесть.

Но Лафкин был великий лицемер.

— Я, конечно, не считаю себя хозяином этой квартиры,— говорил он своим неизменно поучительным тоном.

Стоявшие рядом гости, как зачарованные, глубокомысленно кивали головами.

— Я считаю, что эта квартира принадлежит не мне, а фирме. Об этом я уже не раз говорил нашим служащим. Этой квартирой должны пользоваться все сотрудники.

Будь я наедине с Лафкином, которого знал дольше, чем остальные гости, я бы не отказал себе в удовольствии и попросил его разъяснить, что означает сия загадочная фраза. Как бы он поступил, если бы кто-нибудь из его служащих поймал его на слове и попробовал занять квартиру на конец недели?

— Что до меня,— ораторствовал Лафкин,— то мои потребности более чем скромны. С меня хватило бы маленькой комнатки с газовой плиткой.

И, что самое абсурдное, это была сущая правда.

Сам Лафкин, может, и предпочел бы ограничиться несколькими ломтиками поджаренного хлеба, но обед, который нас ждал, никак нельзя было назвать скромным. Над головами нависли ослепительно сверкавшие люстры. Стол был загроможден цветами. Строго по ранжиру расставлены игравшие гранями бокалы.

Лафкин сидел во главе стола и с видом случайного зрителя следил за ходом хорошо продуманной трапезы. Нас уже обнесли жарким, и тут он наконец обратился ко всему столу. Гость-магнат как раз завел разговор о Роджере Куэйфе и его законопроекте. Министры слушали внимательно и бесстрастно, я тоже. И вдруг Лафкин, который почти не притронулся к фазану и сидел с отсутствующим видом, положил вилку и нож и перебил его.

— О чем это вы? — громко, отчетливо спросил он.

— Я говорю, что в предвидении далеко идущих последствий некоторые акции уже начали падать.

— Много они там в Сити понимают! — сказал Лафкин с нескрываемым пренебрежением.

— Опасаются, что Куэйф угробит авиационную промышленность.

— Вздор! — сухо оборвал Лафкин.

Наши взгляды встретились. Даже Лафкин обычно не бывал так груб, если у него не было на то причины. Я и раньше подозревал, что сегодняшний обед далеко не так случаен, как могло показаться.

— Пустые разговоры!

Он замолчал, по-видимому, считая, что вопрос исчерпан. Но потом все же снизошел до объяснения:

— Что бы ни случилось, Куэйф ли будет сидеть на этом месте или кто другой или на следующих выборах вас вообще прокатят,— он язвительно улыбнулся министрам,— и на смену вам придут господа лейбористы, все равно у нас в стране хватит места от силы для двух авиационных фирм. И то одна из них вернее всего окажется лишней.

— Вы, видимо, полагаете,— не сдержался другой промышленник,— что единственная не лишняя фирма — ваша?

Кто-кто, а Лафкин нисколько не боялся быть пристрастным, не мучился угрызениями совести, оттого что сам-то обеспечен крупным контрактом и ему ничто не грозит, и его ничуть не тревожил вопрос, совпадают ли его личные интересы с государственными.

— Любая стоящая фирма,— ответил он,— должна использовать все свои возможности к борьбе. Моя готова.

Это прозвучало многозначительно. И опять Лафкин, хоть и не смотрел ни на кого в отдельности, перехватил мой взгляд.

— Не стану скрывать,— продолжал он,— я всецело за Куэйфа. Надеюсь, вы позаботитесь,— он обратился к министрам,— чтобы эти господа (так Лафкин всегда именовал тех, к кому относился неодобрительно) не совали ему палки в колеса. Правда, на этом месте еще никто никогда не работал как следует. Да при ваших порядках это и невозможно. Но Куэйф пока что единственный, кто не показал себя полнейшей бездарностью. Не худо бы вам об этом помнить.

Высказав эту, необычайно щедрую для него, похвалу, Лафкин умолк. Обед продолжался.

Дамы покинули нас, Маргарет через плечо посмотрела на меня горестным взглядом жертвы. Бывали случаи, когда Лафкин задерживал мужчин в столовой за портвейном часа на два, а несчастные дамы ждали.

Но сегодня Лафкин предложил раза два наполнить рюмки, а затем сказал тоном, не допускающим возражений:

— Глупый это обычай, что после обеда дамы уходят. Анахронизм какой-то.

Когда министры, магнат, лорд-канцлер, президент Королевского общества и другие гости были уже на пути в гостиную, Лафкин окликнул резко:

— Минутку, Льюис. На два слова.

Я сел напротив него. Он отодвинул вазу с цветами и уставился на меня. И начал без предисловий:

— Слыхали, что я сказал насчет Куэйфа?

— Я очень вам благодарен,— ответил я.

— При чем тут благодарность? Простой здравый смысл.

С годами вовсе не легче становилось иметь с ним дело.

— Мне хотелось бы передать ему ваши слова,— сказал я,— моральная поддержка ему сейчас не помешает.

— А от вас это и требуется.

— Отлично!

— Я никогда не говорю о человеке в разных местах по-разному.

Как и в прочих случаях, Лафкин говорил про себя всегда только правду.

Он впился в меня глазами.

— Но не в том суть,— сказал он.

— То есть?

— Я не потому их всех отослал.

На минуту он замолчал, словно бы выжидая и обдумывая. Затем усталым тоном человека, которому надоело повторять, что дважды два четыре, он произнес:

— Куэйф — болван!

Я не ответил. Я сидел, глядя на него в упор, не выказывая особого интереса. Лафкин улыбнулся тонкой улыбкой сообщника.

— Должен вам сказать, что я знаю про эту его даму,— продолжал он.— Он болван. Его нравственность меня мало трогает. Но когда человек хочет добиться чего-то серьезного, ему нечего путаться с бабами.

Лафкин никогда не упускал случая прочесть нотацию. Однако сейчас голос его звучал не так бесстрастно, как всегда. Я по-прежнему сидел молча, с каменным лицом.

Он снова улыбнулся.

— У меня есть сведения,— сказал он,— что этот Худ собирается открыть глаза жене Куэйфа. И родственникам Смита. Не сегодня-завтра. Весьма кстати, что и говорить.

На этот раз я действительно был ошеломлен. И не сумел этого скрыть. Как ни привык я за долгие годы к приемам Лафкина, сейчас он застал меня врасплох. Я знал, что он завел нечто вроде собственной разведки — отчасти в интересах дела, отчасти из любопытства,— подчиненные наряду с деловой информацией поставляют ему и сплетни. Но прозвучало это как откровение. Наверно, в эту минуту я был похож на какую-нибудь свою тетушку, впервые попавшую на спиритический сеанс. Лафкин победоносно усмехнулся.

Позднее я понял, что ничего загадочного тут не было. В конце концов фирма, где служил Худ, была родственна фирме Лафкина. Между ними была постоянная связь, что-то вроде взаимной слежки, и приятельские отношения среди служащих всех рангов. Почему бы Худу и не иметь собутыльника, а то и закадычного друга среди служащих Лафкина?

— Это похоже на правду,— сказал Лафкин.

— Возможно,— сказал я.

— Чтобы выполнить то, что он задумал, Куэйфу нужны все его силы,— сказал Лафкин.— Не знаю, как примет такую новость его жена, да и знать не хочу. Но когда дерешься не на жизнь, а на смерть, не годится, чтобы над головой висела еще и такая угроза.

Он был надежный союзник. Ему было выгодно, чтобы Роджер вышел победителем. Но при этом в голосе его сквозила несвойственная ему симпатия, даже дружеское участие.

Поручение, данное мне, было предельно ясно. Я должен предупредить Роджера и затем всячески его оберегать. На этом наше совещание окончилось, и Лафкин поднялся, чтобы идти к гостям. Тут я спросил про Худа. Не является ли он орудием в чьих-то руках? Не стоит ли кто-нибудь за его спиной?

— Я не верю в случайности,— сказал Лафкин.

— Но сам-то он что — одержимый?

— Его психология меня не интересует,— ответил Лафкин,— и его побуждения тоже. Единственное, что меня интересует,— это увидеть его в очереди за бесплатным питанием.

Мы молча прошли в гостиную. Пока хозяина не было, гости немного повеселели. Но он быстро приглушил веселье, разделив нас на группы по трое, да так, что уже нельзя было перейти из одной в другую.

Казалось бы, обеды у Лафкина должны были заканчиваться рано. Ничуть не бывало: разве что Лафкин сам решал, что гостям пора расходиться. Было уже половина двенадцатого, когда начали наконец прощаться и мне удалось перекинуться словом с Маргарет. Я сказал ей, о чем предупредил меня Лафкин.

Она подняла на меня глаза и только спросила:

— Тебе надо ехать к Роджеру?

Пожалуй, я предпочел бы отложить это до завтра. Маргарет знала, что я устал. Но она знала также, что, отложив этот разговор до завтра, я изведусь еще больше.

— Может, лучше съездить к нему сейчас? — сказала она.

Она осталась ждать с Лафкином, а я пошел звонить на Лорд Нортстрит. Услышав голос Роджера, я сразу начал:

— Со мной говорил Лафкин. Мне надо кое-что вам передать.

— Слушаю.

— Могу я приехать к вам?

— Нет, только не ко мне. Встретимся где-нибудь еще.

Час был поздний, клубы, конечно, уже закрывались, никакого ресторана поблизости мы не помнили; спеша закончить разговор, я сказал, что буду ждать его у вокзала Виктории и выезжаю сейчас же.

Я сказал Лафкину, что еду к Роджеру, и он одобрительно кивнул, как будто я действовал по его подсказке.

— Я распоряжусь, чтобы вам подали машину,— сказал он,— и вашей очаровательной жене тоже.

Два автомобиля и два шофера ждали нас на улице. Моя машина остановилась под вокзальными часами, но я не вошел в зал ожидания, где все кассы давно закрылись и было пусто, как на кладбище, а остался стоять на тротуаре, где тоже было безлюдно, только спешили по домам последние носильщики.

На блестевшую лужами привокзальную площадь с Виктория-стрит выехало такси. Роджер, тяжело ступая, подошел ко мне.

— Здесь негде приткнуться,— сказал я. И вдруг вспомнил, как несколько месяцев назад у крыльца темного «Атенея» меня ждал Гектор Роуз.

Я сказал, что знаю неподалеку паршивенькое кафе. Но мы оба не двинулись с места.

Вдруг Роджер мягко проговорил:

— Кажется, вы не скажете мне ничего нового. По-моему, я уже все знаю.

— О господи! — со злостью сказал я.— Только этого нам не хватало.

Я был зол не на Худа, а на Роджера. И не сдержал раздражения: слишком многое было поставлено на карту, слишком значительна наша цель, слишком много сил я положил ради него — и все понапрасну. Он болезненно сморщился, словно признавая за мной право выйти из себя.

— Мне очень жаль, что я на всех навлек неприятности,— сказал он.

Мне и раньше приходилось слышать, как, попав в переделку, люди говорят вот такие слова, вялые, ненужные, бесцветные. Но я только еще больше обозлился. Роджер посмотрел на меня.

— Ничего,— сказал он.— Мы еще поборемся.

Не я старался подбодрить и утешить его, а он меня.

Под моросящим дождем мы в молчании пересекли вокзальную площадь. К тому времени, как мы уселись за столик в тускло освещенном кафе, я уже взял себя в руки.

Мы пили жидкий чай, от которого во рту оставался металлический привкус. Роджер начал:

— Так скверно все получилось...

И вдруг объявил мне напрямик, что, пока не определится исход борьбы, Кэро «и виду не подаст». Она будет со смехом отмахиваться от сплетен, которые, если верить сведениям Лафкина, теперь вспыхнут в кругу родных и близких Смита. Если понадобится, Кэро готова опровергнуть их хоть перед самим Коллингвудом.

Опасность оказалась в другом. Очень многие, в том числе почти все завсегдатаи Лорд Норт-стрит и друзья Дианы Скидмоур, сочли бы, что Кэро, да и Роджер тоже, не должны придавать этой истории особого значения. Да, Элен поступила дурно — жене не следует изменять больному мужу. И Роджер тоже хорош!

Но... бывают вещи и похуже. Как-никак вся жизнь Кэро протекала в высшем свете. Ее друзья и ее родные отнюдь не являли собой примера добродетели. У Кэро и у самой до замужества были любовники.

Как и весь ее круг, она гордилась своими трезвыми взглядами и своей терпимостью. Все они старательно замазывали любые скандалы и были снисходительны даже к таким прегрешениям плоти, по сравнению с которыми простая измена — пусть даже с отягчающими вину обстоятельствами, как в случае Элен и Роджера,— выглядела весьма добропорядочно.

Однако стоило Кэро прочитать анонимное письмо, как все эти соображения были забыты. Куда девались просвещенные взгляды и рассудительность? Слепая ярость заслонила все. Ссора разгорелась не из-за того, что Роджер губит свою карьеру, не из-за того, что безнравственно брать в любовницы жену коллеги, не из-за любви и не из-за страсти — Кэро неистовствовала из-за другого: Роджер принадлежит ей. Они муж и жена. Она его не отпустит.

Та же ярость овладела и Роджером. Он почувствовал себя связанным, рабом. Он вышел из дому, не зная, куда податься, как быть...

Насколько я мог судить, они не пришли ни к какому решению. Вернее, решений было два, и одно противоречило другому. Кэро поставила ультиматум: как только парламентский кризис останется позади — победит ли Роджер или проиграет,— ему придется сделать выбор. Она согласна терпеть еще несколько недель, от силы — несколько месяцев. А потом пусть он сам заботится о своей карьере. Или «эта особа» — или она. И в то же время Кэро повторяла, что развода ему не даст.

— Просто не знаю,— сказал он.

Вид у него был беззащитный и озадаченный. Он был меньше всего похож на человека, который стоит на пороге серьезнейшего испытания.

Мы снова молча принялись за чай с металлическим привкусом. Потом Роджер проговорил:

— Я еще днем сказал ей об этом (он имел в виду Элен). И обещал позвонить перед сном. Она, наверно, ждет.

Волоча ноги, словно они налились свинцом, он пошел за стойку искать телефон. Вернувшись, он сказал вяло:

— Она хочет, чтобы я приехал. И просит привезти вас.

В первую минуту я подумал, что он шутит.

— Она просит,— повторил Роджер. И тут мне показалось, что я понял: самолюбия у Элен не меньше, чем у Кэро, а в иных отношениях даже и побольше. Она тоже хотела сказать свое слово.

Дождь перестал, и мы пешком прошли на Эбери-стрит. Было уже около двух. Элен открыла нам двери и поздоровалась со строгим выражением лица, которое я успел уже забыть, но которое живо напомнило мне тот раз, когда я был у нее впервые. Когда мы вошли в ее нарядную маленькую гостиную, она поцеловала Роджера. Но этот поцелуй был только приветствием, а не тем страстным, горячим поцелуем, которым они обменивались прежде — поцелуем счастливых любовников, которые тянутся друг к другу, с радостью предвкушая близость.

Она предложила нам выпить. Роджер попросил виски, я тоже. Я уговаривал выпить и ее. Обычно она пила охотно. Но, по-видимому, она была из тех, кто, попав в беду, не желает прибегать ни к какому утешению.

— Это чудовищно! — воскликнула она.

Роджер повторил ей то, что уже рассказал мне. Она вся обратилась в слух. Он не сказал ей почти ничего нового — все это она уже слышала по телефону. Когда он повторил, что жена «не подаст виду», пока не минует кризис, Элен презрительно вставила:

— А что ей остается?

Лицо у Роджера стало оскорбленное и сердитое. Они сидели друг против друга, разделенные низким столиком. Элен неестественно рассмеялась.

— Ведь самое важное — чтобы ты победил. Не может же она взять и все испортить!

Он не ответил. Лицо у него стало безмерно усталое, измученное, какое-то опустошенное, словно он потерял интерес ко всему на свете, и ему хотелось только остаться одному, потушить свет, уткнуться в подушку и уснуть.

И почти сразу же она воскликнула:

— Извини! Я не должна была так говорить.

— Не мне тебя останавливать.

— Это подло с моей стороны.

Подло по отношению к нему — вот что она хотела сказать, а вовсе не к Кэро; однако чувства, которые она испытывала к Кэро, были отнюдь не просты. Веселая, храбрая Элен, казалось бы, умела владеть собой, но так же, как и Кэро, способна была на неистовые порывы. Не раз я думал, что если бы они встретились в ту ночь, еще неизвестно, чем кончилась бы эта встреча.

Она откинулась на спинку кресла и сказала:

— Я все время этого боялась.

— Думаешь, я не видел? — отозвался Роджер.

Наступило долгое молчание. Наконец Элен повернулась ко мне и сказала резко и твердо:

— Я готова порвать с ним.

— Слишком поздно,— сказал Роджер.

— Почему? — Она смотрела ему прямо в глаза.— Ты ведь мне веришь? Хоть это-то у меня осталось?

— Верю.

— Так вот, я говорю серьезно.

— Слишком поздно. Бывали минуты, когда я, может, и согласился бы. Но не сейчас!

Оба говорили вполне искренне. Он — с жестокостью любовника, которого не привязывает к женщине ничто, кроме страсти: когда нет ни детей, ни общих друзей, ни совместной светской жизни — ничего, что могло бы служить утешением и опорой. А в ней говорило одиночество, жадная потребность в его любви — и еще, бесспорно, ее собственный кодекс чести.

Их взгляды снова встретились, потом они отвели глаза. В эту минуту их соединяла не любовь, не желание, даже не простая привязанность — просто они прекрасно понимали друг друга.

Решительно, деловито, словно все остальное было не важно, она сказала:

— Что ж, вам, наверно, нужно обсудить, как тебе держаться в четверг утром.

Она говорила о заседании кабинета, на котором, вероятно, хотя бы мимоходом упомянут о предстоящих дебатах по законопроекту Роджера. Когда-то она завидовала Кэро, которая до тонкости разбиралась в политике. Теперь она и сама этому выучилась. Кому можно доверять? Не мог бы Роджер попытаться «прощупать» своих коллег до заседания? Не мог бы я выведать что-нибудь в Уайтхолле? Кому можно доверять? И — что еще важнее — кому доверять нельзя?

Мы разговаривали часа два. Мы перебрали всех, одного за другим: Коллингвуд, Монти Кейв, премьер-министр, другие члены кабинета, парламентский секретарь Роджера, Леверет-Смит. Мне вспомнилось, как двадцать лет назад в Кембридже мы вели подсчет голосов перед выборами главы колледжа. Да, похоже. Только ставки на этот раз выше, а возможный проигрыш (так по крайней мере думал я в ту ночь) — значительно серьезнее.

# Политическая арифметика

Где бы ни появлялся Роджер в дни перед дебатами — в парламенте ли, в казначействе, на Даунинг-стрит,— всюду его встречали внимательные взгляды, в которых не было ни враждебности, ни дружелюбия, а просто любопытство — любопытство людей, почуявших чужую беду.

Роджер с честью выдерживал эти взгляды. Все сходились на том, что он мужественный человек, сильный и телом и духом. Это была правда. И все же в те дни он не мог заставить себя читать по утрам домыслы и пророчества политических обозревателей. Он внимательно выслушивал доклады о том, что пишут газеты, но сам читать их не решался. Массивный, спокойный, он проходил по коридорам, приветливо здоровался и разговаривал с людьми, которые были у него на подозрении, однако у него не хватало духа вызвать на откровенность кого-либо из своих ближайших сторонников. Вот и сейчас он сидел за столом у себя в кабинете и холодно смотрел на меня, словно ему вдруг изменил дар речи или он забыл, о чем хотел со мной говорить.

Я не сразу понял, что ему надо. Оказалось, он хотел бы знать, как настроены ...его собственный секретарь Леверет-Смит и Том Уиндем.

Такого рода поручения мне совсем не улыбались. Я растерял все свое хладнокровие. Мне вовсе не хотелось узнавать дурные вести. И не хотелось передавать их. Нетрудно понять, почему в роковые минуты вожди бывают так плохо осведомлены.

Собственно, ничего особенно интересного я не узнал — во всяком случае, ничего такого, что могло бы усилить нашу тревогу. Том Уиндем был, как всегда, воплощенное благодушие и преданность. Для Роджера он оказался просто находкой. Он по-прежнему пользовался известным влиянием среди блестящих молодых офицеров запаса из заднескамеечников. Они могли не доверять Роджеру, но не Тому Уиндему. И Уиндем ни минуты не сомневался в том, что дело кончится ко всеобщему удовольствию. По всей видимости, он даже не понимал, из-за чего все эти волнения. Пока мы с ним сидели в баре и он угощал меня, я ненадолго совсем успокоился и преисполнился к нему нежности. И только когда я вышел на улицу, в февральские сумерки, мне стала ясна печальная истина, что хоть Том и добряк, но глуп как пробка! Он просто не понимал, что делается на политической шахматной доске, и тем более не умел предвидеть хотя бы ближайших два хода.

На другое утро — оставалось всего пять дней до обсуждения вопроса, поставленного оппозицией,— у меня состоялся разговор с Леверет-Смитом, и протекал он далеко не так гладко.

Леверет-Смит произнес нечто вроде официальной речи. Он был напыщен, упрям и сыпал общими фразами. Произнося передо мной эту речь, он отнюдь не проникался симпатией к своему слушателю. Но все же обнаружил гораздо больше здравого смысла, чем я в нем предполагал. То, что министру предстоит тягчайшее испытание, ни для кого не секрет. Если бы спросили совета его, Леверет-Смита, он посоветовал бы festina lente *. Впрочем, он и советовал это неоднократно, о чем, возможно, я помню. Предложение, которое неизбежно вызовет бурю протестов, если его сделать преждевременно, может быть принято с восторгом, когда время для этого приспеет. Но как бы то ни было, жребий брошен — министр теперь уже не передумает, и нам остается забыть свои сомнения и по мере сил содействовать благоприятному исходу.

Шесть человек воздержатся наверняка, продолжал Леверет-Смит, переходя вдруг к политической арифметике. Шесть — это терпимо. При

* Медленно поспешать (*лат.*).

двадцати воздержавшихся Роджер окажется под угрозой, если только он не обеспечил себе поддержку ядра партии. Если их будет тридцать пять — ему, вне всякого сомнения, придется подать в отставку.

— А вам? — спокойно, без тени враждебности спросил я.

— Полагаю,— ответил Леверет-Смит официальным тоном, но тоже без всякой враждебности,— что этого вопроса можно было бы не задавать. Разве что его задал бы сам министр. Не будь он так перегружен делами, он и сам понял бы, что если бы я не был согласен со своим министром, я давно заявил бы об этом открыто и, естественно, подал бы в отставку. Раз я этого не сделал, должно быть понятно без слов, что если произойдет худшее и министру придется уйти — хотя я все еще надеюсь, что этого не случится,— я из принципа уйду вместе с ним.

Какой сухарь! — подумал я. Но, конечно, человек порядочный.

Докладывая Роджеру в тот день о результатах своих переговоров, я мог не подслащать пилюли. Он слушал меня сумрачно, но, когда я пересказал ему напыщенную тираду Леверет-Смита, громко расхохотался. Правда, смех его прозвучал невесело. Роджер был настроен подозрительно, а в такие минуты всякое проявление человеческих добродетелей или хотя бы простой порядочности кажется и неожиданным и непереносимым.

Подозрения совсем одолели его, он разрабатывал планы контрударов совсем как врач при виде рентгеновского снимка собственных легких. Он даже не сказал мне, что на другой день вечером Кэро приглашает меня к ним, я узнал об этом только от Маргарет, когда вернулся домой.

Приглашение было получено не по телефону. Кэро сама без предупреждения заехала к нам.

— Очевидно, ей просто необходимо было с кем-то поделиться,— сокрушенно сказала Маргарет,— а со своими приятельницами ей, наверно, не хотелось говорить, вот она и выбрала меня.

«Вы, наверно, уже знаете»,— начала Кэро и разразилась потоком свирепых обвинений; она была наполовину искренна, наполовину актерствовала и пересыпала свою речь грубейшей бранью, которой набралась в конюшнях Ньюмаркета. Она кляла не столько Элен — хотя без этого не обошлось,— сколько саму жизнь. Понемногу ярость ее улеглась. С глазами, полными отчаяния, но без слез, она сказала: «Я не знаю, как я останусь одна, я этого не перенесу. Просто не перенесу».

— Она в самом деле его любит,— сказала Маргарет.— Она говорит, что и представить себе не может, что не услышит больше, как он отпирает своим ключом дверь, предлагает разделить с ним перед сном последний стакан виски с содовой. И, правда, я не знаю, как она это перенесет.

## Час торжества

Шел уже одиннадцатый час, когда мы вышли из такси на Лорд Норт-стрит. Нас приглашали не на обед, а просто поужинать, после того как окончится заседание в парламенте. Дверь распахнулась перед кем-то из гостей. На улицу вырвался сноп света и высветил струи дождя.

Рука Маргарет дрогнула в моей руке. Когда мы впервые переступили порог этого дома, он казался завидно счастливым. А теперь над ним нависла угроза — и не одна, и кое-кто из нас, поднимавшихся в этот вечер по ступеням крыльца, знал это не хуже Роджера и Кэро.

Кэро встретила нас в дверях ярко освещенной гостиной, сверкая глазами, сверкая драгоценностями, великолепием обнаженных плеч.

Голос ее звучал вполне естественно. Она обняла Маргарет — может быть, чуть крепче, чем обычно,— и коснулась губами моей щеки. Я понимал, что эта пустая светская любезность предназначается для чужих глаз. Кэро никогда особенно не любила меня, теперь же, если бы она не решила выполнить свой долг до конца, она с удовольствием выставила бы меня за дверь раз и навсегда. Она или узнала от кого-то, или сама догадалась, что я был посвящен в историю с Элен. При всем своем великодушии и беспечности она обид не прощала. А такую обиду она, уж конечно, не простит никогда.

Часы пробили половину одиннадцатого. В гостиной уже собралось несколько человек, в том числе Диана Скидмоур.

— Они еще не вернулись,— сказала Кэро, как всегда громко и небрежно, словно это было самое обыкновенное заседание; «они» означало — члены парламента.

— Бедненькие, им сегодня достается. Роджер как с утра ушел в министерство, так я его и не видела. А вы кого-нибудь из них видели, Диана?

— Только мельком,— ответила Диана с улыбкой столь же сияющей и загадочной, как украшавшие ее изумруды.

— Кажется, Монти Кейв выступает сегодня с большой речью,— продолжала Кэро.

— Нужно же и ему поговорить,— заметила Диана.

Кэро сказала Диане, что Монти должен приехать. «Вы и сами это знаете»,— слышалось в ее тоне.

— А премьер-министр будет? — спросила Диана.

— Мне не удалось заполучить его,— вызывающе ответила Кэро и прибавила, словно желая показать, что последнее слово должно остаться за ней:— Реджи Коллингвуд обещал заглянуть. Если они кончат не слишком поздно.

Неизвестно, дошла ли уже новость до Дианы, но ясно было, что Кэро старается в последний раз сослужить службу Роджеру. До окончания дебатов все влияние, которым она располагала, все ее связи будут в распоряжении Роджера. Она добивалась для него победы с той же настойчивостью, как если бы их брак по-прежнему оставался счастливым.

И все же верила ли она всерьез, что может его потерять? Не похоже, чтобы она примирилась с этой мыслью, думал я, слушая ее. Или она надеялась, что, одержав победу, упрочив опять свое положение, он вынужден будет с ней остаться? На ее условиях? Неужели, если перед ним откроется будущее, столь же блестящее, как в минувшем году, он решится поставить его под удар или окончательно им пожертвовать?

Странно было бы, если бы временами у нее не возникало такой надежды, даже если в душе она прекрасно сознавала неизбежность разрыва. Сам я затруднился бы сказать, напрасны эти надежды или нет.

Не знал я также, насколько она верит в его победу. Она полна боевого задора. И, конечно, будет драться до последней минуты. Она пыталась выведать что-нибудь утешительное у Дианы, но не добилась ничего. И смысл молчания Дианы, конечно, был для Кэро так же ясен, как и для нас с Маргарет. Однако это вовсе не означало, что Диана поставила на Роджере крест. Просто она понимала, что он находится в крайне трудном положении, и предпочитала выждать. Может быть, она не хотела ставить в неловкое положение своих ближайших друзей из числа политических деятелей — Коллингвуда, например: может, он уже успел намекнуть ей насчет надвигающегося скандала?

Beau monde * не знает жалости, сказала мне как-то под веселую руку Кэро. Стань он сегодня жалостливым, завтра он перестанет быть beau monde'ом. Он сравнительно добродушен, пока тебя не постигла настоящая беда, а тогда тебя сразу бросят на произвол судьбы.

Да так ли уж лучше другие круги, думал я. Попав в беду и оказавшись в центре внимания, можно ли ждать, что кто-то подымется на твою защиту? Во всех кругах, которые я хорошо знал, люди — будь то государственные деятели, профессора, промышленные магнаты, ученые — жались друг к другу из чувства самозащиты. Но если кто-то один оказывался под ударом, ему мало чем могли помочь.

Автомобиль у подъезда. На лестнице тяжелые шаги. Вошел Роджер — один.

На миг я испугался, что гости Кэро подвели ее и не явятся, что благородный жест ее сделан впустую и нам предстоит ужин столь же бесцельный, как прием, устроенный представителями эмиграции из Прибалтийских республик.

И тут в дверях появились Кейв и Коллингвуд, и я ощутил такое безмерное облегчение, что даже ни с того ни с сего радостно улыбнулся Диане.

— Дай-ка Монти виски,— громко, весело закричал Роджер.— Какую он сегодня речь произнес — неслыханную!

— Подождите, то ли он еще скажет.— В устах Коллингвуда это прозвучало как высшая похвала. Так отозвался бы Демосфен о своем ученике, который совсем еще недавно не умел связать двух слов.

— Налей ему виски,— повторил Роджер.

Он стоял рядом с женой. Оба сияли здоровьем, улыбками, искренней радостью — олицетворение безоблачно счастливой пары, наслаждающейся своим успехом, а заодно и успехом друга. Многие ли из гостей так о них думают? — спрашивал я себя. Многое ли о них уже известно?

Мы спустились в столовую и сели за стол, я нервничал и терялся в догадках. И не только я. Атмосфера была напряженная. Если слухи о жене племянника и дошли до Коллингвуда, он не подавал виду. Он был невозмутим. Натянутость чувствовалась в светской выдержке Дианы, дерзком мужестве Кэро — ведь все, сидевшие за столом, знали, что ничего еще не решено, и ждали, не станет ли этот веселый вечер началом чьего-то «ниспровержения», как говорили в старину.

Кейв поднял свой бокал к пламени свечи и внимательно смотрел на вино круглыми сумрачными проницательными глазами. Он подался вперед, складки тройного подбородка легли ему на грудь. Он хладнокровно принимал высокомерные и не слишком внятные комплименты Коллингвуда и дружеские, но чем дальше, тем все более принужденные — Роджера. Кейв метнул взгляд на одного, потом на другого, глаза его на толстом лице клоуна поблескивали настороженно. Диана осыпала его лестью — она говорила отрывисто, назидательно, словно досадуя, что он сам не знает себе цену.

В его сегодняшнем успехе в парламенте все было ясно и однозначно. Никакого отношения к политике Роджера и к предстоящим прениям он не имел. Просто Кейв, произнеся речь в парламенте по какому-то не слишком важному вопросу, удачно защитил точку зрения правительства. За стенами палаты общин вряд ли кто-нибудь обратит внимание на эту речь и, даже обратив, тут же о ней забудет. Но на парламентской бирже акции Кейва резко подскочили. В обычное время этим бы все и кончилось. И вполне естественно, что Роджер испытывал чувства, которые испытывает каждый человек, когда его коллега и прия-

* Высший свет *(франц.)*.

тель, соперник и союзник одерживает блистательную профессиональную победу.

Но, слушая их, мы — остальные — понимали, что все это значительно сложнее. Выступление Кейва имело необычный успех, это ясно, а вот что произошло на заседании кабинета, состоявшемся несколькими часами раньше, было совсем не ясно. Само собой разумеется, ни Коллингвуд, ни остальные никогда не стали бы рассказывать в обществе, что было на заседании кабинета. Но и Кэро и Диана, которые отнюдь не отличались ни сверхдогадливостью, ни сверхчуткостью, привыкли схватывать на лету любые знаки и приметы. Они понимали, что вопрос о предстоящих прениях по законопроекту, уж конечно, поднимался во время утреннего заседания. И, уж конечно, кабинет министров предпринимает какие-то шаги. Кэро что-то спросила Коллингвуда о голосовании в будущий вторник,— спросила небрежно, словно речь шла о скачках и шансах фаворита.

— Естественно, мы уже думали об этом,— ответил он. И прибавил назидательно: — Хоть у нас и без того дел хватает. Вы же понимаете, мы не можем слишком долго останавливаться на каком-то одном вопросе.

Он снизошел до разъяснения. Все, что нужно сделать, делается. Всем сторонникам правительства предложено присутствовать на заседании. Обрабатывают нескольких инакомыслящих.

Разговоры за столом прекратились. Все внимательно слушали. Все понимали официальный язык: правительство не собирается идти на попятный. На партию было оказано максимальное давление. Нажимать больше они не могли.

С другой стороны, думал я, прислушиваясь к резковатому, уверенному голосу Коллингвуда,— что еще им оставалось делать? Они зашли слишком далеко и теперь волей-неволей должны прибегнуть к своим испытанным методам. Но что все-таки произошло сегодня утром — это по-прежнему оставалось загадкой.

Вполне возможно, что Коллингвуд и другие министры при всем желании не смогли бы ничего рассказать нам. И не потому, что обязаны хранить тайну, и не по каким-то личным соображениям — в сущности, рассказывать было нечего, так уж издавна была построена работа кабинета.

До нас и прежде доходили слухи, что Лентон, когда хочет, прекрасно ведет заседания. Куда чаще своих предшественников на посту премьера он предоставлял министрам право самим вносить на рассмотрение разные вопросы: поощрял свободный обмен мнениями, даже устраивал в конце неофициальное голосование. Но так бывало не всегда.

Лентон был искусный и ненавязчивый руководитель. Редкий премьер-министр умел так держаться в тени. Но при этом он жестко проводил свою политическую линию и отлично знал, как велика власть, сосредоточенная в руках премьера. Эта власть неизмеримо возросла с тех пор, как политикой занялся Коллингвуд. Премьер — первый среди равных, благоговейно твердят англичане. Может быть, и так, но у этого первого было куда больше возможностей, чем у всех прочих равных.

Дело было не в божественном ореоле власти и таланте. И даже не в личном обаянии. Премьер-министр внушал почтительный страх, но этот страх имел под собой вполне реальную основу. Премьер распределял должности. Он мог любого уволить и любому дать назначение. Этим занимался даже такой скромный человек, как Лентон. Все мы, высшие чиновники, входившие когда-либо в состав правительственных комиссий и видевшие то одного, то другого премьера в окружении его коллег, замечали, что все они побаиваются своего премьера, кто бы он ни был.

Если он не желал, чтобы кабинет принимал какое-то решение, настаивать на этом решении мог лишь человек недюжинной смелости. А люди, достигшие высоких постов, редко бывают недюжинно смелыми. Лентон, человек очень деловой, в совершенстве овладел искусством переливать из пустого в порожнее, чтобы затем так и оставить вопрос висящим в воздухе. В этом есть что-то нечистоплотное? Велика важность! Обычный тактический прием, при помощи которого добиваешься своего.

Вероятно, что-то в этом роде произошло и сегодня. За исключением Коллингвуда, никто из нас не знал, как относится премьер к Роджеру и к его планам. Я с некоторых пор догадывался, что он находит его курс вполне разумным, но считает нецелесообразным слишком на нем настаивать. Если Роджер сумел бы расположить к себе или как-то обойти правое крыло своей партии, это было бы совсем неплохо для правительства. Это, вероятно, помогло бы победить на следующих выборах. Но если политика Роджера вызовет слишком сильную оппозицию, если он превысит свои полномочия и станет ратовать только за ту часть законопроекта, которую составил Гетлиф, то выручать его незачем. Без Роджера можно обойтись. Очень может быть, что премьер вовсе не горевал бы, если бы ему пришлось обойтись без Роджера. Ибо на примере этого подкупающе скромного человека можно было убедиться, что у скромности есть и оборотная сторона. Наверно, ему было не так уж приятно видеть среди членов своего кабинета человека, куда более одаренного и притом несколькими годами моложе его самого.

Думаю, что и на заседании кабинета и при разговоре с глазу на глаз сказано было очень немного. Возможно, премьер-министр был откровенен с Коллингвудом, да и то вряд ли. Такого рода политическая игра — пожалуй, игра самая жестокая — ведется обычно без слов.

Сейчас Коллингвуд сидел, гордо выпрямившись, по правую руку от Кэро и не проявлял ни малейшего смущения или хотя бы неприязни — чувства достаточно естественного в отношении тех, кому делаешь гадость. Прочесть что-либо в его холодных голубых глазах было невозможно. Свой скудный запас любезности он, точно скупо отсчитанные чаевые, отдавал Монти Кейву. Кейв был героем дня, Кейв мог теперь рассчитывать на скорое продвижение. Однако частицу своей любезности Коллингвуд вполне обдуманно уделил и Роджеру. Трудно было поверить, что Коллингвуд питает к нему враждебные чувства. Так свободно и открыто мог вести себя только человек, который считал, что Роджер может еще уцелеть, и до известной степени был бы этому рад.

Так же открыто ответил он, когда Кэро стала допытываться, кто будет выступать в прениях. Роджеру будет предоставлено заключительное слово. Откроет прения военно-морской министр.

— Я считаю, что этого вполне достаточно,— сказал Коллингвуд.

Для Кэро, для меня (Диана, может быть, уже знала) это было первое за весь вечер суровое предостережение. Военно-морской министр не обладал настоящим весом, похоже было, что ни один из министров кабинета не придет Роджеру на помощь.

— А вы выступите, Реджи? — спросила Кэро: когда речь шла о Роджере, от нее не так-то просто было отделаться.

— Это не совсем по моей части,— продолжал Коллингвуд таким тоном, словно косноязычие следовало почитать крупной добродетелью.

И обратившись через весь стол к Роджеру, прибавил самодовольно:

— Но кое-что я сделал. Кое-что я для вас уже сделал, знаете ли.

Роджер кивнул. И вдруг я — да и не только я — заметил, что Роджер в упор смотрит на Монти Кейва. От его напускной веселости, спокойствия, доброжелательства не осталось и следа. Роджер смотрел на Кейва пытливо, напряженно: в его взгляде не было приязни, не было и решительной враждебности — просто ничем не прикрытая тревога.

Мы все тоже посмотрели на Кейва, но он как будто и не заметил этого. Все уже кончили есть, только он отрезал себе еще кусочек сыра. Он выпятил губы — ребячьи губы толстяка и обжоры. И поднял глаза — неожиданно жесткие глаза на этом мягком пухлом лице.

На мгновение мужество изменило даже Кэро. Наступила тишина. Потом громким, недрогнувшим голосом она спросила:

— А вы, Монти, выступите?

— Премьер-министр не просил меня выступать,— ответил Кейв. Это означало, что он не мог бы выступить, даже если бы и хотел. Но когда он произнес эти слова, в его спокойном, мелодичном голосе прозвучала какая-то нотка, резанувшая слух.

Кэро не удержалась и спросила еще:

— И вы больше ничего не можете сделать для Роджера?

— Ничего не могу придумать. Разве что вы подскажете?

— Но как же мы тогда справимся? — воскликнула она.

И вдруг мне стало совершенно ясно, что этот вопрос уже задавался раньше. Когда? Сегодня на заседании кабинета? Легко было представить себе это заседание и Лентона, чья ровная, рассчитанно приветливая речь журчит и журчит, не давая всплыть существу вопроса, словно и нет никакого вопроса, словно и не зависит от него ни политический курс, ни чья-то карьера. Легко было представить себе, как молча слушает все это Кейв. Он-то лучше всех понимал, что Роджер нуждается не просто в его одобрении, но в его поддержке. Вот он сидит — блестящий оратор, непобедимый в прениях, надежда своей партии, возможно, будущий ее лидер. Все ждут, что он скажет. Он знает, как много от этого зависит.

— Как же мы справимся, Монти?

— Боюсь, что это всецело зависит от Роджера. Придется ему самому отдуваться,— через весь стол сказал он Кэро своим мягким выразительным голосом, с тщательно рассчитанными интонациями.

Итак, вот оно. Все эти годы Кейв скрывал свои истинные чувства к Роджеру. У них были мелкие политические разногласия, но в главном он должен был разделять взгляды Роджера. Он знал, что делает, когда выискивал поводы для мелких разногласий. Он не простил Роджеру его поведения во время Суэцкого кризиса. Кроме того, и это было гораздо важнее, он видел в Роджере соперника — соперника, с которым лет через десять неминуемо столкнется в борьбе за первое место. Если сейчас выждать в сторонке, с этим соперником, пожалуй, будет покончено.

Впрочем, на сей раз соображения карьеры, скорее всего, не стояли на первом месте. Кейв мог скрывать от других, что мучительно завидует Роджеру, но от себя этого не скроешь. В разгар событий он дал волю зависти. Он завидовал в первую очередь успеху Роджера у женщин. Завидовал тому, что женщины не бросают Роджера. Завидовал его браку. Он смотрел на Роджера и с горечью думал о своей робости перед женщинами, о своих неудачах и разочарованиях. Когда он отвечал Кэро, в его мягком голосе слышалась затаенная жестокость.

Кэро поняла, что настаивать нет смысла. Вскоре гости стали расходиться, хотя было всего половина первого. Но даже тут, прощаясь с ними, Роджер сохранил самообладание. Он мог подозревать (сейчас он был способен заподозрить все, что угодно), что именно Кейв был тайным вдохновителем внезапного нападения на него. Но упреки, гнев, презрение — все это было для него сейчас непозволительной роскошью. Он знал, что Кейв ничем не обнаружит враждебности. На людях он будет держаться как собрат. Роджер еще раз поздравил его с сегодняшним успехом. И Коллингвуд потрепал его по плечу.

От подъезда отъезжали машины. В гостиной мы с Маргарет тоже

поднялись. Теперь, когда мы остались одни, Роджер посмотрел на жену и сказал с какой-то жесткой откровенностью:

— Что ж, хуже, пожалуй, быть не могло, как по-твоему?

— Да, могло бы быть лучше! — горько и искренне ответила Кэро.

На лестнице послышались торопливые неверные шаги. В комнату с развязным приветствием ввалился Сэмикинс. В отличие от всех, кто ужинал сегодня у Куэйфов, он был в смокинге, с алой гвоздикой в петлице. Он сильно выпил — глаза его горели отчаянным, вызывающим весельем.

— Ты опоздал,— сказала Кэро.

— Я ненадолго! — крикнул он.— Дай-ка чего-нибудь выпить.

— Хватит с тебя на сегодня.

— Почем ты знаешь, чего мне хватит, чего нет?

В голосе его звучало ликование человека, который не только выпил, но и побывал в чьей-то постели. Он расхохотался в лицо сестре и продолжал самоуверенно:

— Мне надо поговорить с твоим мужем.

— Я здесь.— Роджер, не вставая с дивана, слегка подался вперед.

— А ведь верно!

Сэмикинс снова потребовал виски. На этот раз Кэро налила ему и велела сесть.

— А зачем? Вот возьму и не сяду!

Он отхлебнул виски и уставился на Роджера.

— Не пойдет! — объявил он громогласно.

— Что не пойдет?

— Ты на мой голос не рассчитывай! У меня твои шашни поперек горла стоят.

На мгновение нам с Маргарет показалось: сейчас он обрушится на Роджера за то, что тот разбил семью. Но он не мог еще знать об этом. Да если бы и знал, вряд ли это очень его расстроило бы — слишком усердно сестра оберегала его, слишком он был занят собой.

Кэро поднялась. Она схватила его за руку и сказала с жаром:

— Нет, нет! Ты не оставишь его сейчас!

Сэмикинс отмахнулся от нее. И крикнул Роджеру:

— И воздерживаться я не стану. Это скучно. Я подам голос против тебя!

Роджер не поднял глаз. Только прищелкнул пальцами. И немного погодя сказал задумчиво ровным, усталым голосом:

— Удачно ты выбрал минуту, чтоб предать меня.

Отчаянное веселье погасло в лице Сэмикинса. Несколько тише и вежливее он сказал:

— Очень сожалею, если не вовремя.— И вдруг глаза у него снова вспыхнули: — «Предать»? Мне это слово не нравится.

— Вот как? — безо всякого выражения отозвался Роджер.

— Ты лучше посмотри на себя! Сам-то ты кого предаешь?

— Может, ты мне скажешь?

— Неумышленно, конечно, это я понимаю. Но куда ты хочешь завести нашу проклятую страну? Конечно, у тебя свои соображения — у кого их нет? За большими дядями нам не угнаться, ясное дело. Но надо ж, чтоб и мы могли хоть кого-то разнести в клочья. Хоть себя на худой конец... А то нас будет шантажировать всякий, кому не лень. Нас скинут со счета окончательно!

Роджер медленно поднял голову, но не сказал ни слова.

— Ты не прав! — орал Сэмикинс.— Говорят тебе, не прав! Все это проще простого. Война — это всегда просто. А ты чего-то умничаешь. Твое дело думать об одном: чтобы нас не скинули со счета. Жаль, что у тебя не было под рукой кого-нибудь вроде меня, я-то не умничаю, я бы

тебя вовремя одернул! А вот ты умничаешь, твое дело смотреть, чтобы нас не скинули со счета...

— Ты, кажется, воображаешь, что ты единственный патриот на всю страну? — хрипло, с угрозой сказал Роджер.

Все испытания этого дня он выдержал с честью, но сейчас, потрясенный, растерянный, вдруг пришел в ярость. И не потому, что отступничество Сэмикинса что-то серьезно меняло. Сэмикинс принадлежал к числу «оголтелых», на него давным-давно махнули рукой, как на человека безответственного, для которого политика — забава. Если бы он подал голос против своего зятя, это вызвало бы лишь заметку в светской рубрике — не более того. Не политическое отступничество так больно задело Роджера, а измена — измена близкого человека, к которому он питал теплые, отеческие чувства. И еще пьяное, бессвязное объяснение этой измене. С самого начала Роджера мучили сожаления, даже чувство вины, естественные в человеке, которому постоянно приходится принимать серьезные решения и который не может при этом руководствоваться общепринятыми истинами. Ему, который так тосковал по былому величию, было особенно грустно думать о том ушедшем времени, когда, приумножая могущество своей страны, ты тем самым ограждал ее от всех опасностей. Он и думал вот такими старомодными словами. Чего бы он не дал, только бы родиться в те времена, когда, повинуясь рассудку, не приходилось идти наперекор душевным устремлениям!

— От тебя только и требуется не зевать и помнить азбучные истины! — кричал Сэмикинс.

Роджер поднялся. Он казался огромным.

— А другим не надо помнить об азбучных истинах?

— Они решают все дело,— сказал Сэмикинс.

— Значит, по-твоему, наша судьба тревожит тебя одного?

— Надеюсь, что и вас она заботит.

Голос Сэмикинса прозвучал уже не так уверенно и громко. Теперь крикнул Роджер:

— Убирайся вон!

Он показал такие чудеса выдержки, что эта прорвавшаяся вдруг наружу ярость поразила нас и даже не так поразила, как испугала. Хриплый бешеный крик оглушил нас. Роджер, нагнув голову, медленно двинулся на Сэмикинса.

Я тоже встал, не зная, как предотвратить драку. Сэмикинс был рослый и крепкий, но Роджер был тяжелее килограммов на тридцать и куда сильнее его. Неуклюже, по-медвежьи он сгреб Сэмикинса и отшвырнул. Сэмикинс отлетел к стене и медленно сполз на пол, как пальто, соскользнувшее с вешалки. Минуту-другую он сидел, свесив голову, как будто забыл, где он и кто его окружает. Потом с легкостью гимнаста одним прыжком вскочил на ноги и встал прямо, почти не шатаясь, вытаращив глаза. Кэро бросилась между ним и Роджером. Она повисла на руке брата.

— Ради бога, уходи.

— Ты хочешь, чтобы я ушел? — спросил он тоном оскорбленного достоинства.

— Ты должен уйти.

Высоко подняв голову, Сэмикинс пошел к двери. На пороге он задержался и громко сказал сестре:

— Думаю, что нам надо будет увидеться...

— Вон из моего дома! — загремел Роджер.

Кэро не ответила брату. Она подошла к Роджеру; стоя плечом к плечу, как дружная супружеская чета, они прислушивались к затихавшим на лестнице неверным шагам Сэмикинса.

# Стычка в коридоре

На следующий день, зайдя в кабинет к Роджеру, я увидел его спокойным и невозмутимым — передо мной сидел человек, чуждый страстей, казалось, вчерашняя вспышка была лишь плодом воображения и о ней даже вспоминать неудобно. Однако я заметил, что у него снова стала дергаться щека Сухо, почти неприязненно он спросил, есть ли что-нибудь в сегодняшних газетах.

— Очень немного,— ответил я.

— Хорошо!

Он сразу успокоился. Успокоился даже чересчур легко, совсем как ревнивый любовник, лихорадочно ухватившийся за чье-то случайное слово, которое показалось ему утешительным.

— В одной газете есть заметка о том, что состоялась встреча нескольких заднескамеечников и кое-кого из ученых, причем, видимо, ученые под конец переругались,— вот, кажется, и все,— сказал я.

И тотчас — опять-таки как ревнивец, чье душевное равновесие нарушено,— он стал допытываться о подробностях. Кто там мог быть? Где это было? Газета, в которой появилась заметка, принадлежала к числу самых реакционных — это был вражеский лагерь. Мы знали, кто именно из членов парламента снабжает ее сведениями. Но ведь этот человек — насквозь продажный, хотя и приятный в обращении,— прислал Роджеру письмо, заверяя, что поддержит его. Неужели он в последнюю минуту переметнулся? Я покачал головой. Нет, на него в данном случае, безусловно, можно положиться. Просто он не прочь заработать малую толику в газете.

— Недалеко то время, когда мы будем выгонять таких субъектов из парламента,— сказал Роджер с облегчением и в то же время со злостью.

— Ну, а ученые,— сказал я.— Кто все-таки мог там быть?

Роджера это не интересовало. Сейчас его интересовало только одно: настроение членов парламента. Он все снова и снова, как одержимый, перебирал имена своих коллег, прикидывая, кто из них мог быть на этой встрече и можно ли рассчитывать на их голоса.

Вернувшись в свой кабинет, я погрузился в невеселые думы. В какую-то минуту позвонил Маргарет, спросил, нет ли новостей, хотя сам не знал, каких, собственно, новостей жду.

В дверь постучали. Вошел Гектор Роуз; с тех пор, как мы работали вместе, он, кажется, всего лишь второй раз пожаловал ко мне без предупреждения.

— Прошу прощения, дорогой Льюис. Извините меня за вторжение. Извините, что помешал...

— Мешать-то особенно нечему,— сказал я.

— Вы всегда так завалены работой...— Он кинул взгляд на чистый стол, на корзинку «Для входящих», в которой громоздились папки, и его губы тронула ледяная усмешка.— Как бы то ни было, дорогой Льюис, прошу прощения, что нарушил ваши чрезвычайно плодотворные раздумья.

Поизвинявшись еще немного, он сел. Взглянул на меня белесыми глазами и объявил:

— Считаю своим долгом сообщить вам, что вчера вечером я имел своеобразное удовольствие познакомиться с вашим приятелем доктором Бродзинским.

— Где же?

— Как ни странно, в компании некоторых знакомых нам политических деятелей.

Мне сразу вспомнилась заметка в газете, и я сказал:

— Так и вы там были?

— Откуда вы знаете?

Я назвал газету.

Роуз вежливо улыбнулся и заметил:

— Я как-то не испытываю потребности читать эти ведомости.

— Но вы были там?

— Именно это я и пытаюсь довести до вашего сведения, дорогой мой Льюис.

— А каким образом вы получили приглашение?

Он снова вежливо улыбнулся.

— Я посчитал своим долгом его получить.

Тут он отбросил высокопарный слог и язвительно и точно рассказал мне, как было дело. Бродзинский, делая последнюю попытку подстрекнуть недовольных политикой Роджера, решил использовать свои связи среди высокопоставленных тори. Но вместо того, чтобы снова обрушиться прямо на Роджера, он предпочел окольный путь и повел атаку на Уолтера Льюка. Он шепнул кое-кому из крайне правых, уцелевших в правительстве вдохновителей Суэцкого кризиса, что это Льюк ввел в заблуждение Роджера своими советами. И те пригласили Бродзинского на обед. На тот же обед, решив по недомыслию, что этого требует вежливость, они пригласили и Уолтера Льюка. А также Гектора Роуза, который, правда, сам позаботился о приглашении.

— Не мог же я отдать на растерзание нашего превосходного Льюка,— сказал он.— И потом я решил, что мне не мешает послушать, о чем пойдет речь. Я имею некоторое влияние на лорда А.

Между Бродзинским и Льюком вспыхнула бурная ссора. Лорд Норт-стрит была накануне вечером не единственным местом, где люди, занимающие видное положение в обществе, пустили в ход кулаки.

— Ну и любят же друг друга эти двое ученых,— сказал Роуз. И прибавил: — Если бы Льюк захотел, он вполне мог бы привлечь Бродзинского к судебной ответственности за клевету.— Бесстрастным тоном он привел несколько примеров.

— Кто же поверит такому вздору?

— Дорогой мой Льюис, как будто вы не знаете, что можно кого угодно обвинить в чем угодно, буквально в чем угодно, и большинство наших друзей с легкостью этому поверит.— Он продолжал: — Да, кстати, раз уж мы коснулись этого вопроса, поговорите при случае с нашим коллегой и, по всей вероятности, будущим главой — Дугласом Осбалдистоном. Очень похоже, что Бродзинский пытался и ему влить в ухо этот яд.

До сих пор только раз, один-единственный раз Роуз нарушил неписаный закон, по которому личные отношения — всегда запретная тема, и выдал мне свои истинные чувства к Дугласу. Сейчас он был сдержаннее, не позволил себе прямых выпадов, даже когда я сказал, что какого бы мнения он ни был о Дугласе, Дуглас — человек честный и порядочный.

— Нисколько не сомневаюсь, что наш коллега ведет себя вполне корректно,— сказал Роуз с полупоклоном.— Как я понимаю, он даже отказался принять Бродзинского. Трудно представить себе поведение более корректное. У нашего коллеги есть все качества, необходимые образцовому слуге государства. И все же я бы вам посоветовал поговорить с ним. Он, пожалуй, слишком уж верит, что самое главное — не ссориться. Когда все утрясется, он может решить, что благоразумнее и безопаснее приблизить Бродзинского, чем отстранить. Я же лично считал бы, что не следует заходить так далеко в стремлении не ссориться. Наш коллега, пожалуй, слишком высокого мнения о здравом смысле тех, кто принадлежит к «нашему Лондону».

Мы посмотрели друг другу в глаза. На сей раз мы были союзниками. Роуз сказал:

— Между прочим, по-видимому, одно обстоятельство перестало быть секретом для кого бы то ни было.

— А именно?

— Что он не на все сто процентов доволен политическим курсом своего начальства, или, может, следует сказать: конечными целями своего начальства в области политики.— Роуз всегда избегал ставить точки над «i».

В это утро он, как и я, был поглощен предстоящим во вторник голосованием. И сейчас он одного за другим перебрал членов парламента, присутствовавших на вчерашнем обеде, прикидывая, чего от них ждать. Их было двенадцать. Все, кроме одного, крайне правые, а значит, по всей вероятности, враги Роджера. Из них трое будут голосовать за него — в том числе лорд А. (Роуз, как выразился бы он сам, вел себя чрезвычайно корректно: в его словах не было и тени намека на то, что он, официальное лицо, быть может, повлиял на кого-то в этом смысле.) Что касается остальных, то девять воздержатся безусловно. «Становится неуютно!» — заметил Роуз, но тут же оборвал себя и снова занялся подсчетом голосов. Непременно будут и еще воздержавшиеся...

Не вдаваясь в подробности, я сказал ему, что Сэмикинс намерен голосовать против.

Роуз прищелкнул языком. Он посмотрел на меня, как судья, готовый объявить приговор. Потом покачал головой и сдержанно сказал:

— Полагаю, вы не замедлите все сообщить вашему другу Куэйфу. Я имею в виду сведения, которые мне удалось собрать. Вы понимаете, конечно, что сделать это нужно очень осторожно, и боюсь, вам не следует ссылаться на источник. Но он должен знать, кто воздержится. Полагаю, вы можете назвать имена.

— А что это ему даст?

— Не вполне вас понимаю.

— Неужели вы думаете, что он может перетянуть кого-то из них на свою сторону?

— Нет, не думаю,— сказал Роуз.

— В таком случае ему остается только произнести свою речь. А это выйдет тем лучше, чем больше надежды у него останется.

— Разрешите мне с вами не согласиться. Дорогой мой Льюис, я полагаю, ему следует знать, на кого можно рассчитывать, а на кого нельзя.

— А я повторяю, что ничего это ему не даст,— твердил я упрямо.

— Вы берете на себя тяжкую ответственность,— удивленно и неодобрительно глядя на меня, сказал Роуз.— Будь я на его месте, я предпочел бы заранее знать все до мельчайших подробностей — пусть даже самых неприятных.

Я в свою очередь сердито уставился на него.

— Нисколько в этом не сомневаюсь.

Иногда я спрашивал себя, представляет ли себе Роуз, человек весьма закаленный и с поистине железными нервами, каково это — жить на глазах у публики, и сумел ли бы он выдержать такую жизнь.

Он встал.

— Что ж, вот пока и все дурные новости,— мрачно пошутил он наподобие вестника из греческой трагедии; сказал, что больше мы, по-видимому, сделать ничего не можем, и стал рассыпаться в своих обычных благодарностях и извинениях.

Как только он ушел, я взглянул на часы. Без двадцати двенадцать. На этот раз я не стал размышлять и мешкать. Через комнату секретарей я вышел в коридор и быстрыми шагами направился в казначейство

к Освалдистону. Я сворачивал из коридора в коридор, обходя три стороны здания-квадрата, построенного весьма неэкономично, с пустым двором-колодцем внутри, но, против обыкновения, не думал о причудах архитектуры прошлого века. Я собирался выйти на последнюю прямую, которая вела к кабинету Дугласа, когда он сам появился из-за угла. Он шел, весь устремясь вперед, держа в руке папку с какими-то бумагами.

— А я к вам,— сказал я.

— У меня совещание,— ответил Дуглас.

Он не старался уклониться от разговора со мной. Но возвращаться в кабинет у него не было времени. Мы стояли в коридоре и разговаривали вполголоса. Время от времени распахивалась то одна, то другая дверь; служащие торопливо проходили мимо, искоса поглядывая на начальство. Некоторые из них, без сомнения, знали, что мы с Дугласом — близкие друзья. Наверно, они думали, что мы в последнюю минуту перед совещанием улаживаем какой-то вопрос или же небрежно и в то же время дотошно, как умеют лишь высшие чиновники, что-то обсуждаем, желая сэкономить время и избежать межведомственной переписки.

Это было не совсем так. Во время разговора я всматривался в Дугласа со смешанным чувством симпатии, жалости и безотчетной злобы. Он сильно переменился за время болезни жены — собственно, менялся он буквально на глазах. В чертах его появилась особая горечь, какую замечаешь в лицах, все еще не по годам моложавых и, однако, уже отмеченных печатью старости.

Несколько раз, когда и клуб и опустевший дом становились ему невыносимы, Дуглас оставался ночевать у нас. Однажды в минуту откровенности он поведал нам с горечью, что непрестанно думает о жене, о том, как она лежит прикованная к постели, без движения, а вот он свободен и здоров.

Но сейчас все это вылетело у меня из головы.

— Что вам известно о последнем выпаде против Куэйфа? — сказал я.

— О чем это вы?

— Вы отдаете себе отчет, что они нападают на каждого, кто хоть как-то с ним связан? Теперь жертвой стал Уолтер Льюк...

— Войны без жертв не бывает,— ответил Дуглас.

— Но вы не станете отрицать, что этих людей вы пригреваете и ободряете,— сказал я зло.

— Да вы о чем?

Его лицо вдруг окаменело. Он был взбешен именно потому, что раньше наедине мы часто бывали откровенны друг с другом.

— О том, что ни для кого не секрет, что вы несогласны с Куэйфом.

— Ерунда.

— Кому вы это говорите?!

— Вам! И вы должны верить! — сказал Дуглас.

— Чему я должен верить?

— Вот что,— сказал он.— Вы всегда считали, что у вас есть право на собственное мнение. Не такое уж собственное, кстати сказать. Такое же право есть и у меня. Я никогда этого не скрывал. И никогда не вводил мистера Куэйфа в заблуждение на этот счет. Я считаю, что он не прав, и он о моем мнении прекрасно осведомлен. Но кроме него об этом знаете только вы, да еще два-три человека, которым я полностью доверяю.

— Знают и другие.

— И вы считаете, что ответственность за это несу я?

— Все зависит от того, как вы понимаете ответственность.

Он весь побагровел.

— Давайте не будем горячиться,— сказал он.— Если мой министр одержит победу, я сделаю все, чтобы быть ему полезным. Это означает, что я буду проводить политику, в целесообразность которой не верю. Что ж, мне не впервой. Я постараюсь, чтобы его политический курс действительно оправдал себя. Без ложной скромности скажу, что могу сделать это не хуже других.

Все это было совершенно справедливо.

— Но, по-вашему, он не может победить? — сказал я.

— А по-вашему?

Его взгляд стал острым, оценивающим. Можно было подумать, что мы обсуждаем условия перемирия, нащупываем, каких можно добиться уступок.

— Во всяком случае, вы постарались затруднить ему победу,— снова не удержался я.

— Я делал именно то, о чем вам уже говорил. Не больше и не меньше.

— Вы неплохо умеете подпевать, куда лучше многих из нас.

— Не понимаю.

— Ну как же! Вы избрали именно тот курс, которого от вас ждали очень многие весьма влиятельные люди,— так? Почти все они отнюдь не желают, чтобы Роджер Куэйф добился своего,— так?

С какой-то непонятной отрешенностью он ответил:

— Может быть, и так.

— Если он потерпит поражение, это ведь будет вам на руку — не так ли? Разве это не будет поставлено вам в заслугу? Не облегчит вам дальнейшую карьеру?

Он посмотрел на меня пустыми глазами. Потом сказал вполне дружелюбно:

— Вот только одно... Вы же знаете, я с самого начала придерживался такого мнения. Разве вы не верите в мою искренность?

Я вынужден был сказать, что, разумеется, верю.

И тут же снова раскричался, забыв, что когда-то Кейв бросил то же обвинение Роджеру:

— Но при всем том, что вы там делали или не делали, вы, уж конечно, понимали, что вашей-то карьере это не повредит,— так?

Я был до того разъярен, что просто не поверил своим глазам, когда он улыбнулся в ответ — улыбнулся если не дружески, то во всяком случае искренне.

— Ну знаете, Льюис, если бы нас беспокоили еще и эти соображения, мы бы вообще никогда ничего не делали.

Он взглянул на часы и прибавил озабоченно:

— Из-за вас я, кажется, немного опаздываю.

И зашагал по коридору быстро, но без спешки, весь устремясь вперед, с бумагами в руке.

## В парламентской ложе

Среди дня в кабинет вошла моя стенографистка и вручила мне письмо с пометкой «срочное». Очевидно, кто-то сам его принес, предположила она. Почерк на конверте был женский, незнакомый. Я взглянул на подпись — «Элен».

«Вы, конечно, будете на прениях завтра и во вторник,— прочел я.— Мне туда нельзя. Я даже не смогу поговорить с ним по телефону, пока все не кончится. Поэтому я прошу Вас — держите меня

в курсе дела. Надеюсь, что Вы мне скажете всю правду, какова бы она ни была. Оба эти вечера я буду дома одна. Пожалуйста, что бы там ни было, позвоните мне».

Вечером в театре, куда мы с Маргарет поехали, чтобы отвлечься немного от тревожных мыслей, я невольно подумал об Элен. Роджер дома отделывал окончательно свою речь. Кэро была с ним. Элен приходилось хуже всех. Каково-то ей сейчас, сказал я Маргарет,— сидит там одна и ничего о нем не знает. Прежде она боялась, что потеряет его, если его карьера будет загублена. Теперь, когда шантажист открыл карты и Кэро поставила свои условия, Элен должна бояться как раз обратного. И все равно я уверен, что она от всей души желает ему успеха.

— Не такая уж она хорошая, как ты воображаешь,— возразила Маргарет.

— Но старается быть хорошей,— сказал я.

Маргарет встречалась с Элен только в обществе и то давно, когда еще был здоров ее муж. Она гораздо лучше, чем я, знала Кэро, нежнее к ней относилась, старалась ее подбодрить и утешить. Но сейчас, когда мы стояли в фойе Хеймаркетского театра, старательно не замечая знакомых, потому что не хотелось ни с кем говорить, Маргарет вдруг спросила, неужели для Элен иного выхода действительно нет: либо Роджер побежден — и они вместе, либо он победит — и тогда разрыв? Я сказал, что вряд ли они сами отдают себе в этом отчет. Но это похоже на правду? Я не ответил.

— Если в этом есть хоть крупица правды,— сказала Маргарет,— я счастлива, что судьба никогда не ставила меня перед таким выбором.

Настал понедельник — и тянулся бесконечно, совсем как бывало в юности, когда ждешь результатов экзаменов. Гектор Роуз с обычными своими любезностями передал мне через секретаря, что завтра вечером во время заключительных дебатов он будет в ложе. Больше в то утро я ни от кого не имел никаких вестей.

Я не знал, звонить ли Роджеру. Сам я терпеть не могу, когда мне желают удачи, и решил, что он, наверно, тоже предпочел бы, чтобы его оставили в покое. Я не хотел идти завтракать в клуб, так как рисковал встретиться там с Дугласом или еще с кем-то из людей, причастных к делу. Притворяться, будто я пишу или читаю, мне надоело. И когда все отправились завтракать, я, как бывало в молодости, вышел в залитый солнцем Сент-Джеймсский парк и принялся бездумно бродить по дорожкам, с жадностью вдыхая первые запахи весны.

После завтрака я снова сидел в своем кабинете, и большая стрелка часов неторопливо сметала минуты. Наконец-то двадцать пять минут пятого. Рановато, но я все-таки решил, что пойду.

Главное фойе гудело как пчелиный улей, члены парламента встречались здесь со своими избирателями и знакомыми либо шли вместе выпить чаю. Когда я вошел в ложу государственных чиновников, в зале было не больше ста человек. Выглядело пока все довольно обыденно. Первым выступал представитель оппозиции, он говорил как человек, намеревающийся прочесть длиннейшую лекцию. Говорил скучновато, но весьма самоуверенно и не сказал ничего нового. Стандартная речь — безвредная, но и бесполезная. На время нервное раздражение мое немного улеглось.

Роджер сидел на передней скамье, откинувшись на спинку, подперев подбородок переплетенными пальцами рук. Том Уиндем с прилежным видом сидел позади него. На передней скамье сидели еще три министра — среди них Коллингвуд. На пустых скамьях кое-где виднелись одинокие фигуры; далеко не все слушали оратора. Можно было

подумать, что это заседают отцы города где-нибудь в провинции, по долгу службы собравшиеся обсудить такой, скажем, животрепещущий вопрос, как просьба местного театра о субсидии.

В нашей ложе я застал Дугласа и еще двоих знакомых по Уайтхоллу. Дуглас писал какую-то записку и дружески улыбнулся мне. Все это были люди опытные, сиживали на таких дебатах много раз и знали, что до главного еще далеко. Это было только начало, столь же мало волнующее, как первый час провинциальных состязаний в крикет, как завязка салонной комедии.

Не дожидаясь окончания вступительной речи, я отправился на галерею. Там рядышком сидели Кэро и Маргарет. Они собирались пойти на Лорд Норт-стрит перекусить; зная, что до конца заседания я все равно не смогу проглотить ни куска, они не стали звать меня с собой. «Приходите попозже за Маргарет»,— шепнула Кэро. Теперь, когда все мы были заодно, связанные одной веревочкой, она решила отложить враждебные чувства до другого раза. Она смотрела на меня широко раскрытыми смелыми глазами — совсем такими же, как у ее брата, когда он вел азартную игру. Минутами начинало казаться, что она, хоть и тревожится, но получает от происходящего известное удовольствие.

Заняв свое место рядом с Дугласом, я стал слушать военно-морского министра, первым отвечавшего на запрос. Он был стандартно-профессионален — по рассказам я ожидал худшего. Он говорил почти те же слова, что и представитель оппозиции. Слушая его гладкие, пустые фразы, я невольно подумал, что наблюдатель откуда-нибудь из Монголии вряд ли понял бы, в чем несогласны эти два оратора. «Сдерживающее начало» — вот выражение, которое оба они употребляли особенно часто. Военно-морского министра занимал вопрос «потенциального сокращения» — не немедленного сокращения, а именно «сокращения потенциального, если мы можем быть уверены, что оно окажет благотворное влияние на других». Он говорил также о «щите и мече», об «ударной силе», о «неиспользованных возможностях». Это был какой-то своеобразный абстрактный язык, словно созданный для того, чтобы лишить слова их смысла.

Я слушал эти речи и последующие, нимало не интересуясь ни мыслями ораторов, ни даже их доводами. Все это нам приходилось выслушивать уже не первый год. И хотя я слушал сосредоточенно, минутами самозабвенно, занимало меня одно: за что будет голосовать этот оратор завтра? Вот и все! Но и ради этого стоило сидеть здесь часами. Зал постепенно заполнился; потом, когда настало обеденное время, снова заметно опустел. До девяти часов никаких неожиданностей не было. Какой-то рядовой лейборист высказал взгляды, мало чем отличавшиеся от взглядов Фрэнсиса Гетлифа или моих. Мы уже знали, что, когда дойдет до голосования, среди лейбористов будет немало воздержавшихся; сколько именно, трудно было сказать,— во всяком случае, больше, чем хотелось бы. И, хотя это означало, что они поддерживают курс Роджера, позволить себе такую поддержку он просто не мог*. Один из лидеров лейбористской партии высказал взгляды, которые показались бы реакционными даже члену архиправой группировки, возглавляемой лордом А., или какому-нибудь американскому генералу. Сам лорд А. произнес речь в стиле дельфийского оракула, в которой высказал недоверие к политике правительства и твердое намерение подать за эту политику свой голос. Еще один крайне правый, на ком мы уже давно поставили крест, последовал его примеру .

---

* Поддержка крайне левых лейбористов насторожила бы и отпугнула кое-кого из крайне правых и умеренных консерваторов. *(Прим. автора.)*

К удивлению окружавших меня государственных чиновников, начало дебатов почти не накалило атмосферу. Обсуждаемый вопрос был чрезвычайно важен. Уже не первую неделю вокруг него, как и вокруг самого Роджера, бушевали страсти,— это знали все. Ждали бурных выпадов, но их не было.

И вот ровно в девять часов слово было предоставлено члену парламента от избирательного округа одного из графств. Когда он поднялся, я поудобнее устроился в кресле, не испытывая никаких опасений. Это был некто Трэффорд, я немного знал его. Человек не богатый, он жил на доходы с небольшого предприятия, доставшегося ему по наследству. К крайне правым он не принадлежал и был не слишком умен. В парламенте выступал редко, предпочитая докучать вопросами,— словом, был из тех, кого едва ли могли пригласить в Бассет. Мне он представлялся человеком тупым, ограниченным, лишенным собственного мнения.

Он встал, широкоплечий, с обветренным лицом. И сразу ринулся в атаку. В атаку злобную, неистовую. Он — верный сторонник правительства и проводимой им политики и надеется остаться таковым, заявил Трэффорд. Но эту политику и этого министра поддерживать он не может. Это политика авантюриста! Как иначе назвать такого человека? Какие у него заслуги? Какие достижения? Присматривался, выжидал, преследовал свои корыстные цели, только и думал, как бы поскорее выдвинуться! Он толкает страну на путь авантюр. Чего ради? Кто дал ему на это право? Почему мы должны ему доверять? Доверять! (Голос Трэффорда дрожал от ярости.) «Кое-кто из нас невольно сравнивает его с человеком, которому мы действительно могли доверять,— с достопочтенным членом парламента от Южного Брайтона. Как бы мы хотели, чтобы достопочтенный член парламента от Южного Брайтона был сегодня на его месте и напомнил нам о наших принципах! Но, видимо, этот человек пал жертвой своих высоких идеалов».

Когда он выкрикнул «Южный Брайтон», я попытался вспомнить, кто же представляет этот избирательный округ в парламенте. Шепотом спросил Дугласа и услышал в ответ: «Дж. С. Смит».

Значит, вот до чего дошло! Трэффорд продолжал сыпать оскорблениями, но не выдвигал никаких прямых обвинений. Понять его намеки могли лишь те, кто и так уже все знал, но его ненависть явственно ощущали все. Кто был этот Трэффорд — один из сподвижников Смита? Возможно. В какой мере он и иже с ним были связаны с Худом? Был ли Худ орудием в их руках?

У меня давно были подозрения на этот счет. Я не верил, что Худ просто человек душевно неуравновешенный и что он действовал по собственному почину. Вернее, может быть, он и не обладал душевным равновесием или утратил его, увлекшись травлей. Но за его спиной уж наверняка стояли люди холодные и трезвые. Мне говорили, что он фанатически предан авиационной фирме, в которой служит,— предан страстно и самозабвенно, как бывает с теми, кто, не достигнув жизненных высот, тем больше боготворит сильных мира сего. И, конечно, нашлись ловкачи, которые сообразили, что его можно использовать.

Да, за его спиной, безусловно, стояли люди холодные и трезвые. И, по всей вероятности, деловые. Может быть, они и были связаны со сподвижниками Смита, но едва ли эти сподвижники причастны к анонимкам, едва ли к ним причастен даже этот человек, который брызжет сейчас ядовитой слюной в зале парламента.

Авантюристы опасны, говорил он. Они умеют втереться в доверие к окружающим, завоевать их расположение; они могут быть умны. Но они несут гибель любому правительству, любой стране. Пора бы нынешнему правительству взяться за ум и вспомнить, в чем его сила и

слава,— тогда Трэффорд, его друзья, вся страна вновь его несомненно поддержат!

Он говорил недолго. Дважды его громкими криками заставляли замолчать, но даже сторонники Роджера растерялись, словно Трэффорд на время парализовал их ядом своей ненависти. Роджер слушал с непроницаемым, замкнутым лицом.

Мне еще не приходилось быть свидетелем подобной истерики в парламенте. Большой ли вред она принесла? Кое-кто — в том числе Коллингвуд — конечно, понял намек на Смита. Удар нанесли те, с чьей стороны это было менее всего желательно — почтенные, умеренные консерваторы. Может, Трэффорд переусердствовал в своей злобе и отпугнул от себя людей? Кажется, только на это и оставалось надеяться. Когда двое из членов парламента, присутствовавших на обеде, о котором мне говорил Гектор Роуз, встали, чтобы заявить о своем несогласии с политикой правительства, оба были подчеркнуто корректны и сдержанны, а один даже с похвалой отозвался о Роджере.

Заседание окончилось, но я чувствовал, что не способен разобраться в положении. Под выкрики полицейского «Машина такого-то...» я позвонил Элен, сам не зная, что ей сказать. Услышал ее быстрое взволнованное «да?» и сказал, что все сошло так, как мы ожидали, за исключением... (Снова: «Да?»)... за исключением одного злобного выпада. Как он повлияет на дальнейший ход событий, сказать трудно, продолжал я. Цель была — нанести смертельный удар. Но, возможно, все ограничится еще одним воздержавшимся. «Вы ничего от меня не скрываете?» — спросила Элен. Пришлось сказать, что был сделан намек на ее мужа. Вряд ли многие это поняли. До меня донесся прерывистый вздох. Это сильно отразится на дальнейшем? Не перетянет ли чашу весов? Голос зазвенел. Я ответил совершенно откровенно, что этого сейчас никто сказать не может, сам же я предпочитаю верить, что это ничего не изменит. И прибавил довольно бессмысленно: «Постарайтесь уснуть».

По искрящейся инеем ночной улице я торопливо зашагал к Лорд Норт-стрит. Еще на лестнице я услышал смех. Войдя в гостиную, я просто глазам не поверил, мне даже захотелось плюнуть трижды через левое плечо — там сидели Кэро, Маргарет и Роджер, все настроенные чрезвычайно весело. Меня ждала тарелка с сандвичами — все знали, что я целый день не ел.

— Ну, что вы там сделали с Трэффордом? — спросил Роджер, словно хотел рассеять мою неловкость.

— Вы что-нибудь понимаете? — воскликнул я.

— На что он надеется? — громко сказала Кэро с искренним убийственным презрением. Без сомнения, ей был известен каждый ядовитый намек, но она смеялась, словно говоря: «И это все, что они могли придумать?»

— Вы слышали какие-нибудь отклики?

— Никаких! — Роджер говорил с подчеркнутым возбуждением, с той веселостью, которая иной раз прорывается наружу в критические минуты.— Знаете, я просто не представляю, зачем он это сделал. А вы?

Я не знал, что ответить.

— Ну что ж, если никто не подскажет, какие тут могли быть мотивы, мне, пожалуй, придется поверить, что он действительно говорил то, что думал.

В голосе Роджера не слышалось никакой натянутости, никакой неприязни. Он смеялся, как человек, которому легко и беззаботно среди друзей. Он выпил совсем немного, был исполнен решимости и готов к завтрашнему бою. Он надеялся от души, чего с ним уже давно не бывало.

# Значение цифр

На другое утро я проснулся рано и лежал, слушая, как в передней с глухим стуком падают на пол газеты. Они не подтвердили моих страхов и не оправдали надежд. «Таймс» явно старалась приуменьшить значение обсуждаемого вопроса: выступлению Трэффорда было уделено всего лишь две строчки и то не на первой странице. «Телеграф» отвел дебатам больше места и снабдил отчеты более смелыми заголовками,— человек, умеющий читать газеты, сразу определил бы, что этот печатный орган настроен против Роджера. Но и тут выпад Трэффорда постарались замять. «Экспресс» возмущался речью главного лейбористского оратора. Мы с Маргарет сели завтракать по-прежнему подавленные и растерянные. Сейчас, при трезвом свете дня, ей было совестно за вчерашнее неуместное веселье.

Я спрашивал себя: как сейчас Роджер? Ему, наверно, тоже тошно. Пыталась ли Кэро его утешить так, как Маргарет меня? Она понимала лучше меня, что и самый скверный день когда-нибудь да кончится.

Шли часы без всяких происшествий, но легче от этого не стало, и вот наконец снова пробила половина пятого — мне пора было в парламент. Зазвонил телефон. Я услышал голос одного из приятелей Сэмикинса: он только что из палаты лордов — минут десять назад старик Гилби заявил, что хочет принять участие в прениях.

Лорд Гилби был очень болен. Вот уже год, как он не выступал в парламенте; доктора удивлялись, что он вообще еще жив. Но не выступить в тот день он просто не счел возможным, хотя и сознавал, что это, по всей вероятности, будет его последнее выступление. Ради этого он приехал в палату лордов. Вопрос, по поводу которого он решил высказаться, представлял весьма ограниченный интерес: некий пэр, получивший титул за заслуги в области науки, требовал данных относительно постановки технического образования в стране. Гилби с трудом поднялся, белый как мел, и горячо поддержал требование пэра. Он ничего не понимает в техническом образовании, но если оно помогает стране сохранить свое могущество — давайте его сюда! Да что там техническое образование! Он готов ратовать хоть за черную магию, если знающие люди — вот как этот милорд — докажут, что она необходима, чтобы наша страна могла сохранить и упрочить свою мощь. Он будет твердить это до своего смертного часа, который уже не за горами.

Он говорил минут пять: старый солдат давал бой авантюристам — тем, кто мнит себя умнее всех и только вредит и себе, и всем нам. На высоких постах авантюристы! Карьеристы! Не спускайте с них глаз, милорды, умоляю вас! Он для того и приехал, чтобы высказать эту мольбу, и если сегодняшнее выступление будет стоить ему жизни — пусть!

Это была откровенная месть. Может быть, он и не доживет до лета, но его ненависть к Роджеру, уж наверно, умрет только вместе с ним. Обычно смерть героя представляешь себе несколько иначе; а, впрочем, может быть, именно готовность к такому концу и делает его героем, подумал я.

Я с облегчением вернулся в палату общин, с облегчением подсел не к Дугласу, а к Гектору Роузу. В тот вечер мне было приятней общество единомышленника, с которым меня не связывали дружеские отношения, чем друга, оказавшегося в противном лагере. Роуз сидел, скрестив руки на груди, и наметанным бесстрастным взглядом наблюдал происходящее. После того как с перерывами в полчаса с враждебными речами выступили три консерватора, которых он назвал мне в прошлый раз, он спокойно уронил: «Действуют согласно плану». Но, слушая прения, даже Роуз не мог прийти ни к какому выводу. Тон ора-

торов из обоих лагерей становился все резче. Все места на скамьях были заняты, забиты были даже проходы. Время от времени слышались отголоски речи Трэффорда; раздавались слова: «игрок», «авантюрист», «риск», «капитуляция», но выкрикивали их люди, которых мы и так давно скинули со счета. Несколько ораторов закончили свои выступления, так и не уточнив, за что же они намерены голосовать. Когда один из бывших министров лейбористского правительства завел длинную речь на тему о стратегии, Роуз тихо сказал:

— Ну, этот проговорит минут сорок, можно пойти поесть.

Мы быстро пересекли двор и вошли в уайтхолловский бар. Там Роуз, который обычно был весьма разборчив в еде, с аппетитом съел толстый кусок сыра и крутое яйцо, не без удовольствия наблюдая, как я следую его примеру.

— Вот и подкрепились,— сказал он.

Только теперь мы заговорили о прениях. Я произнес одно лишь слово: «Итак?»

— Не знаю, дорогой мой Льюис. Просто не знаю.

— Есть хоть какая-то надежда?

Роуз вынул из кармана обыкновенную записную книжку в жестком переплете — такие я не раз видел у него в руках во время совещаний — и стал заносить в нее цифры. Максимальное правительственное большинство — 315 человек. Эту цифру он выписал не задумываясь, как кибернетическая машина. Руководители парламентских фракций выяснили, что отсутствуют по болезни и другим причинам — 8. Остается — 307 голосов. Роуз продолжал не задумываясь: кабинет в нерешимости, министр явно отклоняется от общепринятых норм, чье-то отступничество в последнюю минуту может сыграть роковую роль. Получи он 290 голосов, и все будет в порядке. Значит, 17 воздержавшихся — это допустимо.

Если будет меньше 280, Роджеру грозит серьезная опасность.

Если будет меньше 270 — всему конец!

Роуз продолжал свои подсчеты — это занятие, очевидно, действовало на него успокоительно. Он не думал, что голоса оппозиции могут иметь значение, но продолжал выводить красивым четким почерком: максимум — 230, отсутствуют — 12, воздержатся, возможно,— 25.

Значительный перевес не так уж обязателен. Роджер может уцелеть, если получит от своей партии 290 голосов — с отклонением на 10 голосов в ту или другую сторону. Любой понимающий человек сказал бы, что цифра 290 будет сегодня решающей.

Роуз посмотрел на меня очень довольный, словно мастерски решил задачу. Несмотря на точившее меня беспокойство, я вдруг подумал, как трудно было бы объяснить значение этих цифр тому, кто не искушен в парламентской механике такого рода. Цифры были невыразительны, разница между ними ничтожна. А между тем от них зависела по меньшей мере одна карьера и еще очень многое.

Когда мы вернулись на свои места, бывший министр только что кончил. Речи продолжались, зал заполнился до отказа. Все громче становились и взрывы смеха и возмущенные возгласы, но чаще царила напряженная тишина. Напряженная и тревожная. Все взгляды были устремлены на Роджера, который неподвижно сидел на передней скамье, подперев рукой подбородок. Последние вялые выкрики: «Правильно, правильно!» — после того, как угомонился наконец последний оратор оппозиции. Снова тишина. И затем голос председателя: «Мистер Куэйф!»

Наконец-то! Роджер поднялся — грузный, неповоротливый, но движения его были свободными и непринужденными. Он был крупнее всех

сидевших на передних скамьях. И снова, как когда-то при первой встрече, своей неуклюжестью, мощью, размерами он напомнил мне Пьера Безухова. За его спиной раздались дружные аплодисменты его сторонников. Он был спокоен, неестественно спокоен — такое спокойствие в человеке, стоящем на пороге самого важного испытания в жизни, даже пугало. Он начал в насмешливом тоне. Ему брошено множество обвинений, сказал он. Поскольку некоторые из них взаимно исключают друг друга, очевидно, не все они обоснованы. Конечно, мудрецы советуют: если хочешь знать о себе правду, послушай, что говорят о тебе враги! Великолепно! Но это правило применимо не только к нему. Оно применимо ко всем и каждому. Даже, как ни странно, к другим достопочтенным членам парламента, не только достопочтенным, но и доблестным членам парламента, которые столь неохотно взяли на себя труд набросать его портрет как общественного деятеля. Он назвал имена четырех крайне правых консерваторов. О Трэффорде он не упомянул ни словом, ни намеком. Что ж, вероятно, было бы неплохо, если бы мы все стали прислушиваться к мнению врагов — быть может, мы стали бы от этого лучше. И весь мир тоже. И, уж наверно, это заставило бы нас понять, что нет среди нас человека без греха.

Он сказал это беззлобно. Зал смеялся. Раза два он съязвил. И вдруг оказалось, что он вовсе не так уж похож на Безухова, что речь его точна, резка и сурова. Среди его сторонников то и дело слышались возгласы одобрения, и все же мне было не по себе. Не слишком ли легковесно он начал? Не слишком ли отклоняется в сторону? Я взглянул на Гектора Роуза. Тот едва заметно покачал головой. Лучшая речь с начала прений, говорили на парламентских скамьях и на галереях. Дойдя до сути дела, он заговорил языком нашего времени — языком второй половины XX века. Никакого пафоса, никаких выспренних выражений, столь излюбленных парламентскими ораторами. Можно было подумать, что целое поколение отделяет его от политических деятелей обеих партий, выступавших здесь до него. Это говорил человек, привыкший к радиостудиям, к телевизионным аппаратам, к тому, что мы живем в век машин. Без всякой декламации, своим обычным голосом говорил он о войне, об оружии, о том, как важно обеспечить мир. Так будут говорить все парламентарии лет через десять — утверждали потом политические обозреватели.

Но ничего этого я не заметил. Я думал: неужели сейчас он даст себе волю? Раза два казалось, что он вот-вот прорвет сеть сложных доводов и коснется чего-то гораздо более глубокого. Поможет ли это ему? Все мы дети своего времени, своего класса и приучены считать, что к решению таких вопросов существует только один раз и навсегда установленный подход. (Да полно, решаем ли мы их? Может, просто обстоятельства припирают нас к стенке?) Способен ли кто-либо что-то здесь изменить? Существуют ли силы, которые Роджер, или кто-нибудь другой в этом зале, или вообще кто бы то ни было мог пробудить к действию?

Но если он и хотел затронуть более глубокие пласты, то быстро отказался от этой мысли. Он говорил, не выходя из рамок повестки дня. И все же не прошло и десяти минут, как я понял, что он и не думает идти на попятный, что минуты слабости, сомнений, уловок остались позади. Он говорил то, что часто скрывал, но во что всегда верил. Теперь, когда дошло до дела, он ясно и четко излагал мысли, под которыми безусловно подписались бы Гетлиф и его коллеги. Только он говорил все это куда сильней и убедительнее, чем могли бы сказать они. Он говорил веско, как человек, который способен взять власть в свои руки. И только под конец, уже поздней ночью, он заговорил иначе — негромко, почти задушевно.

— Послушайте,— сказал он,— задачи, которые мы пытаемся решить, чрезвычайно сложны. Так сложны, что в большинстве наши соотечественники — люди, которые, в общем, не глупее нас с вами,— даже отдаленно их не понимают. Не понимают просто потому, что не осведомлены о них, потому что никто и никогда не ставил их перед необходимостью такие задачи решать. Не знаю, многие ли из нас, здесь присутствующих, в состоянии понять, во что превратилась наша планета с тех пор, как жизнь наша проходит под знаком атомной бомбы. Думаю, таких очень немного, а то и вовсе нет. Но я уверен, что подавляющее большинство людей, которые, я повторяю, ничуть не глупее нас с вами, не имеют об этом ни малейшего понятия. Мы пытаемся решать за них. Мы много, очень много берем на себя. Об этом нельзя забывать.

Я слушал с восхищением, с тревогой, с какой-то тревожной радостью. Сейчас, когда настала решающая минута, уж не жалел ли я, что он не пошел на компромисс? Ведь теперь коллеги могут со спокойной совестью от него избавиться: когда шла торговля вокруг законопроекта, никто не давал согласия на подобные речи. Оставалась лишь одна надежда — что он увлечет и убедит парламент.

— За последние два дня здесь не раз повторяли, что я склонен рисковать. Позвольте мне сказать вам вот что: любое решение — всегда риск. В наше время, принимая любое важное решение, мы серьезно рискуем. Но риск риску рознь. Жить бездумно, по старинке, как будто в нашем мире ничего не изменилось, тоже значит рисковать. Я убежден, я глубоко убежден, что если наша страна и все другие страны будут и дальше создавать эти бомбы и испытывать их, как будто это просто военные суда, то очень скоро случится самое худшее. Случится, возможно, не по чьей-то вине, а просто потому, что все мы люди, все мы способны ошибаться, терять власть над собой, стать жертвой несчастного стечения обстоятельств... И если это случится, наши потомки (если только у нас будут потомки) проклянут нас. И будут правы!

Наша страна больше не может быть сверхмощной державой. О чем я очень сожалею. Впрочем, в наши дни, когда на первый план выдвинулась наука, понятие «сверхмощная держава», вероятно, утратило смысл. Как бы то ни было, мы такой державой быть не можем. Но я уверен, мы можем помочь: добрым примером, здравым смыслом, дельными советами и разумными действиями мы можем помочь перетянуть чашу весов, когда они начнут колебаться, когда встанет выбор: светлое будущее или мрачное, а вернее — светлое будущее или никакого. Просто отойти в сторону мы не можем. Будущее колеблется на весах. Как ни мало мы можем на него повлиять, что-то сделать мы можем.

Вот почему я готов пойти на риск. В сущности этот риск невелик и может привести к добру, тогда как другой риск огромен и ведет к самым пагубным последствиям. Еще не поздно выбирать. Вот и все!

Роджер сел, нахмуренный, глубоко засунув руки в карманы. Долгую минуту в зале стояла тишина. Потом за его спиной раздались аплодисменты. Дружные ли? Не растерянные ли? С задних скамей оппозиции донеслось несколько одобрительных выкриков. Ритуал вступил в свои права. Зазвонили звонки в кулуарах. Я увидел, как Сэмикинс, сидевший в компании приятелей, вскочил и, высоко вскинув голову, с вызывающим видом направился к выходу, чтобы подать свой голос против. На правительственных скамьях человек шесть остались сидеть, скрестив руки на груди, демонстрируя твердое намерение воздержаться от голосования. Но это еще ничего нам не говорило. Менее откровенные могли покинуть зал, но не зайти в вестибюль и тем самым не подать голос.

Члены парламента стали возвращаться в зал. Некоторые разговаривали между собой, но в общем было не слишком шумно. Возбужден-

ные люди тесным кольцом обступили кресло председателя. Ему еще не успели передать результат подсчетов, а в зале уже водворилось молчание. Подавленное молчание. Председатель провозгласил:

— Со скамей оппозиции «за» * — 186 голосов. (Среди лейбористов оказалось больше воздержавшихся, чем предполагал Роуз.)

И снова.

— Со скамей правящей партии «против» — 271.

Роуз взглянул на меня с холодным сочувствием и сухо сказал:

— Весьма сожалею, неудача.

Сидевшие в зале не так быстро осознали значение этих цифр. Председатель гулким басом повторил их и объявил, что высказавшиеся «против» в большинстве.

Не прошло и полминуты, как оппозиция начала скандировать: «В отставку! В отставку!»

Правительственные скамьи постепенно пустели. Премьер-министр, Коллингвуд, Монти Кейв покидали зал парламента вместе; они прошли совсем близко от нашей ложи. Им что-то кричали вслед, но яростные выкрики «в отставку!» были обращены к Роджеру. Он сидел, откинувшись назад, положив руку на спинку скамьи, и словно бы небрежно разговаривал с военно-морским министром и с Леверет-Смитом.

— В отставку! В отставку!

Вопли все нарастали. В какую-то минуту Роджер небрежно махнул рукой, совсем как теннисист на Уимблдонском корте, в ответ на рев толпы.

Выждав немного, он встал. И даже не повернул головы в сторону задних скамей. «В отставку! В отставку!» — гремело в зале. Роджер, массивный, огромный, медленно удалялся по проходу. У барьера он повернулся и отвесил поклон председателю. Потом пошел дальше. Его уже не было видно, а вдогонку ему все еще неслись крики.



## «Вы тут ни при чем»

Утро следующего дня: вопросы, крупные заголовки в газетах, противоречивые слухи в Уайтхолле. За окнами — ясное и прозрачное февральское небо. У меня в кабинете видавший виды телефон, с пожелтевшим от времени шнуром, звонил не переставая. Нет, сообщили мне, до сих пор никаких заявлений от Роджера в секретариат премьер-министра не поступало.

Передавали, будто Коллингвуд сказал: «Его песенка спета!» Говорили также, что он зла против Роджера не держит и отзывается о нем очень спокойно. Только много позже я узнал, что еще до вчерашнего заседания Коллингвуду донесли о связи Роджера с женой его племянника. Он выслушал это сообщение без всякого интереса и сказал: «Не вижу, какое это может иметь отношение к делу». Как выяснилось, к племяннику он был совершенно равнодушен. Таким образом, опасения оказались необоснованными.

Ходили упорные слухи, что несколько сторонников Роджера были у премьер-министра. Они добивались, чтобы премьер-министр принял Роджера и поговорил с ним. Роджер еще не подавал прошения об отставке. Новый слух: Роджер пошел на попятный. Он не подаст в отставку. Он сделает заявление, что в своей речи упорно подчеркивал одну часть законопроекта в ущерб всему остальному. Он признает, что допустил ошибку, и искренне готов пойти на компромисс. Отныне он будет

* Имеются в виду голоса, поданные за выдвинутое оппозицией предложение, направленное против Роджера. *(Прим. автора.)*

честно проводить политику компромисса или же согласен занять более скромный пост.

Сам он мне не звонил. Вероятно, он сейчас, как бывает со всеми нами, когда худшие опасения уже сбылись, минутами тешил себя надеждой, почти верил, что на самом деле все хорошо. Так бывает после неудачной операции, когда лежишь в больнице и минутами тебе грезятся блаженные сны, будто ты снова здоров.

Искушения, конечно, одолевали его. Он ничем не отличался от большинства тех, кто вкусил власти — большой или маленькой. Разумеется, ему не хотелось выпускать ее из рук, и он будет цепляться за нее до самого конца. Если бы он ушел сейчас — замкнутый в себе, несгибаемый,— это было бы прекрасно, как раз в его стиле. Но он слишком хорошо знал, как делается политика, и понимал, что, уйдя, он может больше не вернуться. Будет очень горько оказаться в роли провинившегося школьника, согласиться, чтобы им помыкали, угодить на несколько лет в какое-нибудь третьестепенное министерство. Но, пожалуй, это был единственный способ в конце концов победить. Только пойдут ли они на это? Он, конечно, дорого бы дал, чтобы послушать, что о нем сейчас говорят. Со стороны безусловно виднее, есть у него какие-то шансы или нет. Кто знает, может, премьер-министр сочтет, что разумнее от него избавиться. Кое-кто из коллег, возможно, и пожалеет о нем, но это не в счет. Если они решат дать ему еще раз попытать счастья, то уж никак не из сочувствия и даже не из уважения к его достоинствам. С какой стати будут они его поддерживать? Если они это и сделают, то только потому, что он все еще силен. Должно быть, сейчас они взвешивают, велико ли его влияние. Что безопаснее: изгнать его или оставить?

Во второй половине дня я должен был присутствовать на ведомственном совещании под председательством Роуза. Мы с ним сегодня еще не виделись, и сейчас он поздоровался со мной подчеркнуто любезно, будто с человеком, с которым не встречался уже несколько месяцев, хотя это полезное знакомство. Никто из сидевших за столом не подумал бы, что накануне мы допоздна сидели бок о бок, одинаково озабоченные и встревоженные. Он вел заседание педантично, искусно, совсем как почти двадцать лет назад, когда я впервые увидел его, тогдашнего моего начальника, в этой роли. Через год ему исполнится шестьдесят, и он проведет в этой комнате свое последнее заседание. Он будет верен себе до последнего дня. Вопрос, который мы обсуждали сегодня, никого не интересовал — неизбежные текущие дела.

Не успел я вернуться к себе в кабинет, как вошла моя стенографистка.

— Вас ждет дама,— сказала она и прибавила извиняющимся тоном, но не без любопытства: — Боюсь, что она чем-то очень расстроена.

Я спросил, кто это.

— Она сказала, что ее зовут миссис Смит.

Когда ночью я сообщил Элен по телефону о результатах голосования, она ахнула. Прежде чем она бросила трубку, я услышал всхлипывания.

Сейчас она села в кресло и посмотрела на меня широко раскрытыми, воспаленными глазами, жалкими и надменными.

— Что же он будет делать? — спросила Элен.

Я покачал головой.

— Мне он ничего не говорил.

— А я даже не могла с ним увидеться.

Ей, как никогда, нужно было сочувствие, но, конечно, она не приняла бы его.

Сухо, как только мог, я сказал:

— Да, нехорошо! Но что поделаешь.

— Я не должна его видеть, пока он не примет какое-то решение. Вы ведь понимаете?

— Думаю, что да.

— Я не должна никак влиять на него. Даже пробовать не должна.— Она отрывисто, иронически, почти весело засмеялась и прибавила: — А могла бы я, как по-вашему?

Мне и прежде приходилось видеть ее в трудные минуты. Сейчас ей было трудно, как никогда. Однако именно сейчас я смог представить себе, какой она бывала наедине с Роджером. Дать ей волю — и она затмила бы очень многих своей жизнерадостностью и веселостью.

— Скажите мне.— Она пытливо смотрела мне в глаза.— Что для него лучше?

— О чем вы говорите?

— Вы сами понимаете.

Она стала нетерпеливо объяснять. Она словно прочитала мои утренние мысли. До встречи с Роджером она совсем не разбиралась в политике. Теперь, вооруженная инстинктом, любовью, пониманием, она прекрасно видела все возможные ходы, все соблазны, все распутья. Чутье подсказывало ей то же, что и мне, с одной лишь разницей: она была уверена, что если Роджер решит уступить, ему пойдут навстречу.

— Что для него лучше?

— Если бы я и знал, должен ли я говорить это вам? — сказал я.

— Но ведь вы, кажется, считаетесь его другом? — вспылила она.

На этот раз мне нетрудно было найти более безобидный ответ.

— К счастью,— я иронически улыбнулся ей,— я действительно не знаю, что лучше.

— Но вам-то кажется, что вы знаете...

— Если забыть на минуту о вас, мне кажется, что, пожалуй,— не наверняка, но, пожалуй, ему разумнее было бы остаться... если, конечно, он сумеет.

— Почему?

— Если он отойдет от политики, у него будет ощущение, что он загубил свою жизнь — вам не кажется?

— Но ведь ему придется унижаться перед ними, пресмыкаться!..

Краска залила ее лицо. Она ненавидела «их» всеми силами души.

— Да, вы правы.

— А вы знаете, что он ведь очень гордый?

Я внимательно посмотрел на нее.

— Неужели он еще не научился прятать свою гордость в карман?

— А этому можно научиться? Может, вы не поверите, но и у меня есть гордость.

Она говорила свободно, уже не стараясь скромно держаться в тени, не заботясь о правилах хорошего тона. Все обуревавшие ее чувства отражались у нее на лице.

— Есть,— сказал я.— Я знаю.

— Если он все бросит и придет ко мне, простит ли он меня потом?

Теперь ее мучил новый страх — не тот, в котором она призналась мне когда-то у себя дома, но выросший на той же почве. Тогда она боялась, что, потерпев неудачу, он будет винить ее и она станет ему в тягость. Теперь не это ее страшило. Она понимала: что бы ни случилось, она будет ему нужна. Но червь сомнения продолжал точить ее.

— Вы тут ни при чем,— сказал я.— Если бы за всю жизнь он ни разу не увлекся ни одной женщиной, он был бы сегодня в том же положении.

— Вы уверены?

Я ответил без колебания:

— Совершенно уверен.

Я почти верил тому, что говорил. Не сиди она рядом со мной, обиженная и недоверчивая, способная распознать малейшую тень сомнения в моем голосе, я, может, и не ответил бы столь решительно. Оглядываясь назад, я убедился, что у Роджера было гораздо меньше шансов добиться одобрения своего политического курса, чем нам казалось в разгар борьбы. Трудно поверить, чтобы личные обстоятельства, вроде романа с Элен, могли как-то повлиять на исход этой борьбы. И все же... все же на Роджера их роман повлиял безусловно: если бы не это, быть может, он действовал бы несколько по-другому.

— Совершенно уверен,— повторил я.

— А он когда-нибудь этому поверит?

Я ответил не сразу.

— А он поверит? — повторила она.

Она думала о Роджере, о том, как он придет к ней, женится на ней, об их скромной жизни после роскоши, окружавшей его в доме Кэро, о крушении блестящих надежд, копании в прошлом, возможных упреках... Несколько минут Элен сидела молча. Элен, всегда скромная, даже незаметная, сейчас была очень хороша, ее красил гнев и, пожалуй, еще страстное нетерпение, стремление действовать, действовать во что бы то ни стало, пусть даже если это погубит ее самое и все ее надежды.

— Я вот думаю: надо с этим покончить,— сказала она.— Сегодня же!

— А вы сможете?

Она посмотрела на меня в упор, глаза ее снова стали жалкими и высокомерными. Она спросила:

— Что же он все-таки будет делать?

## Продуманное письмо

Посадив Элен в такси, я занялся делами. За окном уже стемнело, служащие разошлись по домам, было очень тихо. Зазвонил внутренний телефон. Не могу ли я перед уходом зайти к Роджеру?

Я зашагал по лабиринту безлюдных в этот час коридоров. Кое-где из приоткрытых дверей падал свет — все это были кабинеты задержавшегося на работе начальства. Дуглас еще не ушел, но я не заглянул к нему, не пожелал доброго вечера. Я прошел прямо к Роджеру. Под конусом света от настольной лампы ярко белел лист бумаги, матово светился бювар. Роджер встал — на фоне окна он казался огромным. Впервые за годы нашего знакомства он пожал мне руку.

— Ну так как? — сказал он.

Я даже растерялся, увидев его таким энергичным и бодрым. Так бывает, когда мысленно подготовишься к какому-то разговору, а он вдруг с самого начала примет не тот оборот. Я неловко пробормотал, что мне очень жаль, что все так вышло...

— Бросьте! — сказал он. Посмотрел на меня внимательно и сурово. Щелкнул пальцами и повторил: — Ну так как?

На миг мне показалось: он ждет, чтобы я взял на себя инициативу. Может быть, он хочет обсудить со мной возможность сделки с коллегами? Но это мне только почудилось. Он продолжал:

— Пора мне продумать все это заново с самого начала, как по-вашему?

Он был весел тем особым весельем, которое часто сопутствует провалу, когда знаешь, что можно больше ни перед кем не притворяться.

Он ясно понимал свое положение — ни в чем другом ясности не было. Мне казалось, что я хорошо его знаю. Элен знала его лучше. Но

сегодня он сам видел себя совсем не таким, каким видели его мы. Куда девались его изворотливость, его двуличность — либо в этот день он их отбросил, либо наперекор им заглянул себе в душу глубоко, до самого дна. Сегодня было совсем не то, что в тот вечер, когда Дэвид Рубин упрашивал его отступить, а он, искусно лавируя, не отвечал ни да, ни нет.

Глядя на меня из-за настольной лампы, он начал говорить. Прежде всего, как нечто само собой разумеющееся, к чему незачем больше возвращаться, он сказал, что должен выйти в отставку. Это вопрос решенный. Он вне игры. И его замыслы перечеркнуты.

Тут он не выдержал:

— Но не навсегда! Ненадолго! Кто-нибудь этого добьется. Может быть, я еще и сам добьюсь.

Я ожидал чего угодно, но только не этого. Он говорил о своем будущем с бесстрастием стороннего наблюдателя. Он ни разу не упомянул ни о жене, ни об Элен, словно исключая из нашего разговора все свои личные заботы, все, в чем повинен только он и за что он один в ответе. Сказал лишь, как о чем-то, что от него никак не зависит и вполне естественно в его положении, что отныне ему придется рассчитывать только на себя — у него больше нет никакого веса, ни влиятельных друзей, ни даже средств. Придется начинать с начала.

— Будет нелегко,— сказал он.— Трудней, чем когда я делал первые шаги.

Он посмотрел на меня открыто и насмешливо.

— По-вашему, мне надеяться не на что?

Умение щадить чужие чувства, дружеские отношения, связывавшие нас,— все отступило на задний план. Я ответил:

— Пожалуй, что так.

— Кто-нибудь этого добьется. Нам нужно только время и удача. Ну и еще кое-какие новые веяния. Но кто-нибудь этого обязательно добьется.

Он говорил о политической кухне свободно и беспристрастно, совсем как в те времена, когда был на гребне волны, когда премьер-министр и Коллингвуд усиленно ему покровительствовали. Интересно, справился бы кто-нибудь другой лучше, чем он? Можно ли было избежать ошибок, которые допустил он? А как насчет тех, которые допустил я? Что если бы мы не так бездарно повели себя с Бродзинским? Много ли вообще значит отдельная личность? Уж наверное, меньше, чем каждому хочется думать. Разве только в том случае, когда, как говорится, петли смазаны, но надо еще толкнуть дверь, чтобы она распахнулась. А иначе никакая личность ничего не сделает — только нашумит зря.

Роджер не ждал от меня утешений. Его даже не интересовало мое мнение. В этой тихой комнате он говорил будто сам с собой. Если зайдешь слишком далеко, тебе крышка, сказал он. Но если стоять на месте, кому ты вообще нужен!

Он сказал: всякая попытка ценна. Даже если она не удалась. Все равно положение хоть немного, да изменится. Он сказал (я вспомнил вечер, когда он сказал мне это впервые): первая задача — добиться власти. Вторая — использовать ее с толком. И еще он сказал: кто-нибудь непременно сделает то, что пытался сделать я. Не знаю только, удастся ли это мне.

Он говорил просто, почти наивно. Со стороны трудно было предположить в нем такую искренность и простоту. Копаться в себе, как это делают другие, он не любил. Он поддавался многим соблазнам, не чужд был страстей, но подобным себялюбием не страдал. И все же кое-чего для себя он хотел. Когда он говорил, что хочет добиться власти и

«использовать ее с толком», это значило: ему нужно оправдание, нужна уверенность в том, что он живет ненапрасно. И еще ему нужно было оправдание в более глубоком, извечном смысле этого слова. Нужно было какое-то подобие веры, веры, требующей действия. Он долго нащупывал и наконец нашел то, что искал. Несмотря на свою черствость, на сделки с совестью, а может быть, в какой-то мере благодаря им, он свято верил в правоту своего дела. Окружающие могли подозревать его в неискренности, но сам он твердо знал, что уж в этом, и только в этом, он искренен.

Ирония судьбы заключалась в том, что, будь наши подозрения справедливы, он как политический деятель преуспел бы гораздо больше. Пожалуй, даже он принес бы больше пользы, насколько это было возможно в те годы.

Было уже около восьми. И вдруг Роджера словно подменили. Он уперся одной ногой в стол и сказал деловитым тоном:

— Вот, прочитайте-ка.

Все это время перед ним на столе лежало какое-то письмо. Обращение «Глубокоуважаемый господин премьер-министр!» было написано от руки его крупным, размашистым почерком, дальше следовал машинописный текст. Это было продуманное письмо. Никаких признаков обиды или затаенной злобы. Для Роджера было большой честью работать вместе с господином премьер-министром, говорилось в письме. Он очень сожалеет, что его политический курс вызвал столько разногласий и что он уделял неправомерное, по мнению его коллег, внимание отдельным моментам, отчего дальнейшее пребывание его в правительстве стало обременительным. Он продолжает верить в правильность своего курса. Он не может убедить себя в том, что этот курс ошибочен. И, поскольку он не может искренне изменить свой образ мыслей, ему остается только один выход. Он уверен, что господин премьер-министр отнесется к его решению с пониманием и сочувствием. Он надеется, что в будущем сможет быть полезным премьер-министру и правительству в качестве рядового члена парламента.

Здесь машинописный текст кончался. Дальше, на середине третьей страницы, твердым почерком Роджера было написано: «Преданный Вам Роджер Куэйф».

Не успел я поднять глаза, как он спросил:

— Сойдет?

— Очень хорошо,— сказал я.

— Ее, конечно, примут. (Он имел в виду отставку.)

— Примут,— подтвердил я.

— С поспешностью несколько излишней.

Мы посмотрели друг на друга.

— Что ж,— сказал он.— Давайте я при вас его и отошлю.

Красная курьерская сумка стояла на столе рядом с телефонами. Роджер достал из кармана брюк связку ключей и отпер ее. Отпер торжественно, явно наслаждаясь этим правом, которое дается лишь избранным. Мало кто на моей памяти так упивался тем, что имеет в своем распоряжении курьерскую сумку и владеет ключом от нее. Даже сейчас, даже в такую минуту он наслаждался этим правом избранных — вещественным признаком высокого поста.

Он аккуратно вложил письмо в сумку и снова запер ее. Нажал кнопку звонка, и на пороге вырос его личный секретарь.

— Пожалуйста, распорядитесь, чтобы это отослали премьер-министру,— сухо, деловито сказал Роджер.

Дверь затворилась. Роджер улыбнулся.

— Я ведь мог и передумать,— сказал он.— Это было бы весьма некстати.

В голосе его звучала усталость, лицо погасло. Ему потребовалось сделать над собой усилие, чтобы снова заговорить.

— Мне очень жаль,— сказал он,— что по моей вине кое у кого из наших друзей будут неприятности.

Он пытался говорить тепло, по-дружески, но ему это больше не удавалось. Он сделал над собой еще одно усилие:

— Я очень сожалею, что навредил вам.

— Пустяки!

— Я очень сожалею.

Больше никаких усилий делать над собой он не желал. Он откинулся на спинку кресла, с нетерпением дожидаясь минуты, когда останется в кабинете один. Уже в дверях я услышал:

— Я на некоторое время исчезну. Уеду из Лондона.

## И еще один выбор

Что до меня, мой выбор был ясен. Мы с Маргарет единодушно порешили о нем за полчаса, а потом вознаградили себя стаканом виски. У обоих было такое чувство, какое бывает накануне отпуска, когда чемоданы уже упакованы, наклейки на них наклеены, такси заказано на девять утра, пароход ждет — впереди отдых и солнце.

Я выждал три дня. За это время было объявлено об отставке Роджера, стало известно имя его преемника. Газеты, Уайтхолл, клубы освоились с новостью так быстро, словно все это произошло уже несколько месяцев назад. Я выждал три дня, а затем попросил Гектора Роуза принять меня.

Часы показывали четверть одиннадцатого. В парке за окном туман почти рассеялся. На столе у Роуза стояла ваза с гиацинтами, и их аромат напоминал о других важных разговорах, о тягостных совместных завтраках в далеком прошлом.

Я сразу приступил к делу:

— Считаю, что мне пора уходить.

Светской позы Роуза как не бывало, он весь обратился в слух.

— То есть...

— То есть больше от меня здесь пользы не будет.

— На мой взгляд,— возразил Роуз,— это явное преувеличение.

— Вы не хуже моего знаете, что крах Куэйфа отразился и на мне.

— К несчастью,— ответил Роуз, скрестив руки на груди,— до известной степени это справедливо.

— Это справедливо без оговорок...

— И все же, я полагаю, вам не следует воспринимать это столь трагически.

— А я и не воспринимаю это трагически,— сказал я,— просто объясняю: ведь по долгу службы мне приходится встречаться с людьми, которых мы с вами хорошо знаем. С их точки зрения, я сделал ставку не на ту лошадь. Причем совершенно откровенно. Конечно, никто не упрекнул бы меня за откровенность, если бы лошадь выиграла скачку.

Роуз улыбнулся ледяной улыбкой.

— Все очень просто,— продолжал я.— Больше я уже не гожусь для переговоров с этими людьми. Значит, мне пора уходить.

Наступило долгое молчание. Роуз размышлял, без всякого выражения глядя на меня бесцветными, немигающими глазами. Наконец он заговорил без запинок, но тщательно взвешивая каждое слово:

— У вас всегда была склонность, если мне будет позволено так выразиться, к несколько излишне упрощенному взгляду на вещи. Будь вы

человеком, посвятившим себя работе в государственном аппарате, иные ваши поступки можно было бы назвать, скажем, ну, необычными. В особенности это относится к злополучной истории с Куэйфом. Осмелюсь напомнить вам, однако, что на протяжении вашей весьма ценной деятельности бывали и совсем иные примеры. Мне кажется, вы должны признать, что работа в государственном аппарате не столь пуста и мелочна, как любят доказывать некоторые наши критики. Мы готовы мириться с обстоятельствами, которые кое-кому могли показаться до некоторой степени стеснительными. Мы пришли к заключению, что несколько необычные вольности, которые вы себе позволяли, были нам только на пользу. Откровенно говоря, у нас сложилось мнение, что ваше присутствие здесь нам несравненно более выгодно, чем ваше отсутствие. Я не хотел бы это подчеркивать, но мы постарались выразить вам свою признательность единственным доступным нам способом.

Он намекал на список лиц, представленных к награждению.

— Знаю,— сказал я.— С вашей стороны это очень великодушно.

Роуз наклонил голову. Затем продолжал все так же педантично:

— Я понимаю также, что в свете недавних событий в ваших, да и в наших интересах будет разумнее освободить вас от некоторых поручений, включая, возможно, и некоторые из тех, которые вы безусловно выполнили бы с присущим вам блеском. Но я полагаю, что это вовсе не так уж важно sub specie aeternitatis*. Несколько видоизменить ваши обязанности, вероятно, вполне в пределах возможностей. А мы по-прежнему сможем пользоваться вашими неоценимыми услугами в тех областях, где они по-прежнему нам необходимы. И где — как вы, конечно, понимаете, хотя сейчас и не время для комплиментов,— нам было бы пока весьма затруднительно от них отказаться.

Он говорил благожелательно и, пожалуй, справедливо. И при этом самым обычным тоном, как все истекшие двадцать лет нашей совместной работы. Через несколько месяцев он и сам покинет Уайтхолл, который так и не воздал ему должное, во всяком случае, не дал того, чего он столь страстно желал. Если после моего ухода и будет чувствоваться, что меня не хватает, это очень скоро будет уже не его забота. И все же он до сих пор говорил «мы», заботясь о нуждах аппарата на годы вперед. Он ничем не показал, что какое-то время мы были не только коллегами, но и союзниками. С этим было покончено.

Я поблагодарил его и, помолчав, сказал:

— Нет. Все это не меняет дела. Я намерен уйти.

— Почему?

— Есть важные и неотложные дела, в которых я хочу принять участие. Я думал, что мы сможем добиться своего вот так, втихомолку. Но сейчас вижу, что это невозможно. Или, во всяком случае, сам я больше ничего втихомолку делать не собираюсь. Мне необходимо вновь стать частным лицом.

— Такая ли уж частная будет эта деятельность, дорогой мой Льюис? — Роуз внимательно следил за мной.— Насколько я понимаю, материальная сторона для вас роли не играет?

Я подтвердил, что не играет. Да он и так это знал. В нем, по-видимому, все-таки шевельнулась зависть к тому, что мне в этом смысле повезло. Сам он учился в лучших учебных заведениях, но денег у него не было. В будущем он мог рассчитывать только на свою пенсию.

— Вы твердо решили уйти?

— Да.

— Я хотел бы попросить вас взвесить одно обстоятельство. Если вы уйдете сейчас, это не останется незамеченным. Вы очень на виду.

---

* По сравнению с вечностью *(лат.)*.

Найдутся злопыхатели, которые обязательно сделают из этого определенные выводы. Станут даже намекать, что ваш уход как-то связан с недавними разногласиями в парламенте. И не так-то легко будет доказать несостоятельность этих толков. Это поставит нас в довольно затруднительное положение. Я не сомневаюсь, что вы, когда сочтете нужным, пожелаете откровенно высказать свое мнение по этому вопросу. Но я хотел бы заметить, что у вас есть перед нами известные обязательства и для приличия вам следует выждать. Вы немало лет проработали здесь. С вашей стороны было бы не совсем корректно ставить нас в неловкое положение столь демонстративным уходом.

Я не ответил, Роуз продолжал:

— Я хотел бы заметить также, что какая-то тень в этом случае безусловно ляжет и на вас. По всей вероятности, вас это мало трогает. Вас интересует другое. Я понимаю. И все же вы честно послужили государству. Обидно было бы под конец все испортить. По-моему, никогда не следует бросать работу с недобрым чувством. Надо ли, чтобы в душе оставался неприятный осадок?

Не знаю, насколько его слова были продиктованы заботой обо мне. Тон его был еще холоднее, чем обычно, и от этого слова звучали не то презрительно, не то неестественно. Но он настаивал.

— На сколько я должен задержаться? — спросил я.

— Скажем, до конца года. Или это слишком обременительно?

Я сказал, что согласен. Роуз принял мое согласие по-деловому, не благодаря. И только когда я уже направился к дверям, он рассыпался в благодарностях — не за то, что я пошел ему навстречу или принял его совет, нет, всего лишь за то, что я взял на себя труд прийти к нему, сделав несколько десятков шагов по коридору.



## Ночное небо над Лондоном

Теплым летним вечером через полтора года после отставки Роджера мы с Маргарет приехали на Саут-стрит на прием, устроенный Дианой. Не могу сказать, чтобы это приглашение навело нас на раздумья о прошлом. Прием как прием — очередное действо в вечной светской толчее. Дети были в школе, нас ничто не связывало, было так приятно ехать в тихих синих сумерках по огибающей парк аллее.

Наверху в гостиной слышался звон стекла и гул голосов — гости пили, не забывая при этом окидывать острым взглядом каждого вновь прибывшего. В каждом движении чувствовалось довольство, приятное сознание того, что они находятся внутри магического круга — словно пассажиры, танцующие на палубе океанского парохода, когда внизу плещет море. Все то же, подумал я. Для большинства присутствующих жизнь всегда была такова, и они воображают, что она всегда такой и останется.

Как обычно на приемах у Дианы, было интересно наблюдать, кто сейчас в чести. Коллингвуд стоял у камина — неизменный, самодовольный, бессловесный. Некоторое время с ним беседовал Монти Кейв, который этой весной получил повышение. Кейв сильно опередил своих соперников, Диана ради него пустила в ход все свое влияние, его прочили в лорд-канцлеры. Знакомые продолжали гадать, выйдет Диана за него замуж или нет, но она, обычно вовсе не склонная медлить и колебаться, сейчас, несмотря на свое решение покончить с одиночеством, все еще мешкала. Когда дело шло о борьбе за власть, она была достаточно тверда, но для второго замужества твердости ей явно не хватало. Она все еще была способна мечтать о любви. Брак ради брака ее не устраивал.

Приехал Лентон, побыл недолго, но нашел время, чтобы побеседовать с хозяйкой. Хоть обязанности премьер-министра и отнимали у него много времени, все же людей, считавших его посредственностью, он мог кое-чему научить. Например: никогда не наживать себе врагов без крайней надобности, а главное — никогда не наживать себе врагов, пренебрегая людьми. Прежде чем уйти, он, все такой же любезный и несколько свиноподобный, успел одарить милой улыбкой каждого своего сторонника. Я заметил, как он шепнул что-то Осбалдистону, которого я прежде у Дианы не встречал и который в прежние годы, когда еще была здорова его жена и отношения у нас были более дружеские, поддразнивал нас с Маргарет из-за наших великосветских знакомств.

Диана шагает в ногу с веком, думал я. Прежде она не удостаивала своим вниманием высших государственных чиновников, а теперь у нее в гостях помимо Дугласа был и еще один казначейский служащий того же ранга. Дуглас, как и следовало ожидать, вернулся в казначейство — причем на один из высших постов, специально для него созданный. Он добился всего, о чем когда-то мечтал вышедший ныне в отставку Гектор Роуз. Маргарет продолжала навещать в больнице его жену, и сам он нередко обедал у нас и теперь, после моего ухода из Уайтхолла. Однако трещина в наших отношениях так и не затянулась. Дуглас пытался исправить дело: холодность не была обоюдной, в ней был повинен я.

Из толпы гостей меня окликнул Сэмикинс. Он искал себе компаньона, чтобы закончить вечер у Пратта. «Не везет мне! Уже шестой отказ!» — объявил он во все горло, и хохот его, развеселый, но не слишком уместный, загремел почти как Роландов рог в долине Ронсеваля. В эту минуту появилась Кэро — ослепительно красивая, с виду веселая и беззаботная. Она похлопала брата по плечу, сказала что-то приветливое Маргарет. Но тут кто-то ее окликнул, и она с живостью повернулась к нему. Больше в тот вечер ни ко мне, ни к Маргарет она не подходила.

Кто-то сжал мне локоть. Это был лорд Лафкин. Многозначительно скрипучим голосом он сказал мне: «Кстати, насчет Худа». Хотя это и прозвучало многозначительно, но в первое мгновение я ничего не понял. Ничего. Вокруг бурлил людской водоворот. А та история все продолжалась. Я начисто забыл об этом человеке. А вот Лафкин не забыл.

— Теперь он у меня не выкрутится,— сказал он.

Лафкин не успокоился, пока не отомстил. Любой другой человек, занимающий такое положение, давно махнул бы рукой. Казалось невероятным, чтобы знаменитый промышленный магнат тратил свою энергию — и не день, не два, а недели и месяцы,— чтобы добиться увольнения из чужой фирмы служащего средней руки. И однако, именно это он и сделал. Он полагал, что это вовсе не месть, а справедливое возмездие. Он говорил об этом без всякого торжества, даже без особого удовольствия. Просто он считал, что должен был так поступить, и долг свой выполнил. Это в порядке вещей.

В разгар приема, окруженный выхоленными, преуспевающими людьми, я впервые за весь вечер вспомнил Роджера. Его тут не было. Его никогда не пригласили бы. А если бы и пригласили, вряд ли он приехал бы. Маргарет не раз звала их с Элен к нам, но они пришли всего лишь однажды. При встречах он держался, как всегда, дружелюбно и непринужденно, но в то же время упорно избегал людей, с которыми был близок в период своего расцвета, и старался избегать мест, где тогда бывал, словно они вызывали у него острую неприязнь.

Он по-прежнему оставался членом парламента. Но теперь, после того как были окончательно оформлены разводы и он женился на Элен, его избирательный округ отказался выдвинуть его кандидатом на следующих выборах. Впрочем, он не отчаивался. Они с Элен вели скромный образ жизни, окружавшая их обстановка очень мало напоминала рос-

кошь Лорд Норт-стрит. Роджер состоял членом правления нескольких компаний — туда заботливо, хоть и не слишком деликатно пристроил его Лафкин; этим его доходы и ограничивались. Что же касается их семейной жизни, мы слишком редко с ними встречались, чтобы судить о ней, и все же Маргарет, относившаяся к этому браку с предубеждением, в конце концов согласилась, что он, видимо, прочный и счастливый.

Элен она по-прежнему недолюбливала. Отчасти потому, что симпатизировала Кэро, а отчасти — думал я, внутренне усмехаясь,— потому, что кое в чем они с Элен были не так уж несхожи. Обе — энергичные, обе способны на бурные чувства и на самопожертвование, хотя Элен недоставало легкости и беспечности, от природы свойственных Маргарет.

— Она из тех, для кого существует одна-единственная привязанность,— со снисходительной усмешкой сказала мне как-то Маргарет,— на всех прочих ее уже не хватает. Это как-то не по мне. Ну, а ему это нравится — и это, надо полагать, главное.

Оставив Лафкина в жаркой, ярко освещенной гостиной, я вышел на балкон в поисках Маргарет. Она была там с Фрэнсисом Гетлифом и еще с кем-то; я отвел ее в сторону. Поглощенный новостью, которую сообщил мне Лафкин, я совсем забыл, где я нахожусь. Казалось, на меня вдруг нахлынуло давнее горе — а может, радость? И мне просто необходимо было поделиться с нею. Маргарет внимательно слушала, не сводя с меня глаз, потом перевела взгляд на сверкающую огнями гостиную. Гораздо быстрее, чем я, она поняла, что я говорил ей не о Лафкине и не о Худе, но о поражении, которое потерпел Роджер и мы вместе с ним. Я говорил о том, что все мы пытались сделать и не сумели.

— Да,— сказала Маргарет,— нам нужна победа.

Она не падала духом. Она посмотрела в сторону гостиной. Все то же, подумала она, как думал я немного раньше.

— Хоть какая-то победа нам нужна,— повторила она. Она не сдавалась и мне тоже не позволяла сдаться.

К нам подошел Фрэнсис Гетлиф. На мгновение мы с Маргарет неловко замолчали. Можно было подумать, что мы сплетничали о нем, злословили на его счет. Фрэнсис больше не был с нами. Он сдался. И не потому, что переменил свои взгляды, просто вступить в борьбу еще раз он был не в силах. Он безвыездно жил теперь в Кембридже и с головой ушел в исследовательскую работу. Уже и сегодня он успел с поистине юношеским волнением рассказать нам о какой-то своей новой идее.

Вместе пережить поражение, думал я, так же пагубно для дружбы, как оказаться в разных лагерях. Мы с Фрэнсисом были дружны тридцать лет. И, однако, какая-то доля простоты и непосредственности не могла не уйти из наших с ним отношений, как ушла она и из наших отношений с Дугласом. Небольшая потеря, если принять во внимание борьбу, которую мы выдержали,— а все же потеря.

Втроем мы поговорили немного о колледже и о Кембридже. Прошли в конец балкона. Над садом, над крышами светилось рыжее ночное небо Лондона — рассеянное отражение жизней, наполняющих огромный город. Мы заговорили о наших детях, заговорили оживленней, с особенной нежностью старых друзей, обраставших семьями на глазах друг у друга. Воспоминание о недавней борьбе и даже о том, из-за чего шла борьба, понемногу померкло. Приятно было поговорить о наших детях. Единственной загадкой для нас в тот вечер оставалась Пенелопа. И она и Артур Плимптон были в Соединенных Штатах, и оба обрели семейное счастье — но только не друг с другом. Фрэнсис усмехнулся своей мрачноватой усмешкой и заметил, что в дураках, как видно, оказался он.

Под ярким от ночных огней лондонским небом мы говорили о наших детях и об их будущем. Говорили так, словно их будущее светло и надежно и мы всегда будем радоваться, глядя на них.

РАДОВАН ЗОГОВИЧ

# Из новой книги

С сербохорватского

## *Эти сны, эти сны, Доминика*

Эти сны, эти сны, Доминика,— обезумеешь и проснешься,
а сон продолжается: торчит из тебя, как пика, как штык, он.
Будто ствол с топором, в тебя всаженным, в землю ты вросся,
сам гневясь на себя,— что ж застыл, не кричал ты криком!

Вновь и вновь подытоживаешь себя: отупевший, отшибленный
от годин своих в этой коре, в этой мялке коварно-глухой ты
как глина сырая.
И возвращается сон. Каждый раз он наводит на мину.
И гибну я.
Разрываюсь на клочья. Теряю тебя и теряю.

Теряю тебя и теряю и вновь нахожу, похищаю, теряю
еще тяжелей и глуше,
а проснусь — и болит, и болит. Ну и пусть, хорошо,
что болеть еще может!
Ведь любовь не исчезла, а с юностью только укрылась
поглубже
в корни. С юностью в снах там живет она все же.

О, премудрость деревьев! Когда у дороги деревья ввивают
ветвь в ветвь, вилу в вилу,
так до старости выстоять могут, нерасторжимы.
А зимой их зеленая кровь превращается в сон, спускается в жилы,
тот же сон видят корни, сплетаясь,— хотя б до тех пор, пока живы.

Тот же самый. Те же воспоминания земли и лета,
и сами такие же, как когда-то,
хоть сосульки, седины древесные, сверху на них наплывают.
Это — сон о весне. И весна возвращается, хоть листвой
и не столь уж богата.
Но ведь капают звезды порой и с сосулек ночами — бывает!

Не исчезла! Любовь эта, с юностью в вечном союзе,
лишь укрылась поглубже, живет она юности снами.
Сны и сны, Доминика! Разбуженный болью от боли,
сжимаешься в узел
и не спишь и доволен тому, что хоть боли сознание с нами.

Перевод ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА

# *Баллада о рудокопе*

В средневековой Сербии рудокопов-бунтовщиков спускали в шахту вниз головой на веревке, которую затем перерезали.

*Иречек. История сербов, II.*

Солнце — последнее. Туча — последняя. Запах сырого шлака.
Руки — связали. Ноги — связали. Веревкой скрутили его.
Рядом с кисетом за пояс воткнули кайло. И — бросили в шахту.
Лампу — на лоб! Бросили в шахту. Вниз головой.

Вал завертелся. Но вверх или вниз его тащат — не знает.
Длинная сука-веревка — зубами в его позвонки.
Злобная сука-веревка ноги шахтера кусает.
Жилу за жилою тащит она из ноги.

Падает, падает, падает он без конца и возврата.
Руки — связали. Ноги — связали. Дали лампу с кайлом.
Падает в шахту. Ее он ваял, как ваятель.
Вниз головой. Туда, где он ползал кротом.

Стены колодца сужаются постепенно.
Ближе к ребрам и бедрам. Сжимают их обручем.
Кровь заполняет голову. Кровь распирает вены.
Горит, пылает, минирует. На взрыв шахтер обречен.

Словно струна, натянулась веревка. А нож — уже режет.
Темя нацелено — в дно. В камень холодного дна.
Кровь заливает глаза, уши. Грохот и скрежет.
Кровь — в голове. Скоро хлынет она.

Падает в камень — он был его каменотесом.
Падает в землю — ее землекопом он был.
Лампа — на лбу. Кайло на боку. Веревка шуршит по откосам.
Падает в шахту. Ее до девятого пота он рыл.

Кровью до глаз, до ушей переполненный, вниз он несется.
Теменем — в дно. Головою — в родимый забой.
Лампа вломится в лоб, кайло врубится в сердце.
Кровь захлестает осколки руды и зубов.

И — тишина. А внизу, в глубине, среди щебня и пыли
Кровь застывает, густеет, твердеет, как сталь.
Чтоб рудокопы когда-нибудь в этой же шахте отрыли
Вросшие в темень руды звезду и кристалл.

Перевод БОРИСА СЛУЦКОГО

# *Еще о любви*

Любили ли мы? Ведь о любви так редко мы говорили,
и любовь не была для нас водопада пьянящим гулом,
когда ты не видишь, как мчит на тебя конница в облаке пыли,
когда забываешь о смерти под наставленным на тебя пистолетным дулом.

Любили ли мы? Ведь важнее всего для нас оставалось дело,
воззвания и листовки лирикой были нашей,
а походная песня пулей вонзалась в тело
после ночной работы, после ночного марша.

Была ли это любовь, когда, застыв на пороге,
ты рвал непослушный ворот и сердце стучало глухо
и когда наедине с собою ты заготавливал монологи,
а с нею увидевшись, мямлил односложно и сухо;

была ли это любовь, когда твои нервы и жилы
сливались в тугой, набухающий пульсом ком,
и мысли летели к ней, и сердце зарю сторожило,
чтоб поскорей отправиться из Печи в Гусинье пешком;

была ли это любовь, когда надзиратель, бывало,
со словами «Мисюсь прислала» швырнет передачу в камеру,
и ты уже счастлив и сыт, и солнце тебе воссияло,
и ты уже сам — чудотворец, как Иисус в Галилейской Кане;

была ли это любовь, когда, стук каблучков заслышав,
ты, затаившись, выглядывал — она шла, тобою полна,
и становился пулеметною лентой Млечный Путь над ночною крышей,
и от приветственного салюта вздрагивала луна;

была ли это любовь, когда, от голода обессилев,
горстку жареного ячменя ты для нее берег
и когда страшнее, чем раны, дожди тебя изводили —
ведь она где-то мокла в колонне, а над тобой висел потолок;

была ли это любовь, когда и облачко над тобою,
и сосны, что ходят по проволоке над бездной, презревши смерть,—
когда все, что тебя так радовало, сразу становится болью,
потому что нет ее рядом, чтоб вместе на это смотреть;

была ли любовь, когда казалось: луна напрасно
не спеша золотит к полуночи Па́штровские хребты,
и напрасно плещется море, и зря в небесах так ясно,
потому что нет ее рядом — и в мире нет красоты;

была ли любовь, когда, весь во власти чувства большого,
перестаешь замечать у девушек стройность стана, разлет бровей,
а потом, спустившись на землю, все замечаешь снова —
и от этого она, единственная, в тысячу раз нужней;

любовь ли это, когда ты с ней под руку шел несмело,
и улица стлалась рекою, и вокруг закаты пылали,
и луна над самой над лодкой кульком с конфетти висела,
и серебрилась вода... Так все же она была ли —

любовь? Была ли она? Ведь о любви так мало мы говорили,
и для нас полюбить не значило — окунуться в хмельные потемки,
окунуться, кануть, забыть про полицию конную в облаке пыли...
Так была ли это любовь? Скажите-ка вы, потомки.

Перевод Мориса ВАКСМАХЕРА

# *К определению понятия авангардизма*

...один, и все-таки не одинок.

*Кампанелла*

Сидят табунами. Из бара в кафе идут табунами.
И жалуются, что они одиноки. Много и томно.
Почти до истерики жалуются. Почти до стенаний.
Так жалуются, что сами заплакать готовы.

Дерутся между собою. Но драка — сближает.
А после драки подлизываются и унижаются,
бахвалятся, умствуют, «мировые» проблемы решают.
И снова — одни. И снова привычно жалуются.

Встречают несвежих, прожорливых, лживых гостей.
С продажными женами их по углам утешаются.
Мечтают о чем-то и бредят. И ждут новостей.
И снова — одни. И на одиночество жалуются.

К чужому богатству на брюхе ползут с отвагой.
Весь мир проклиная, в коньячных бутылках ворочаются.
С бутылкой в обнимку! Бутылка в постели и в ванной...
И снова — одни. И жалуются на одиночество.

К подругам своим — неразлучным, неверным подругам
идут в услуженье,— заранье готовы на многое.
Меняют любовниц. Гаремы дарят друг другу.
Чтоб только не знать одиночества. Не быть одинокими...

Но они одиноки. Как ведра, которых не видно.
Как ведра, упавшие в старый колодец с прогнившей клетью.
Они — как покойник, запеленутый в мешковину,
о котором ничего не знает никто на свете.

Они одиноки, хотя суматохой тесной
перепутаны волосы их и отдавлены ноги.
Глаза их — как будто бинокль, перевернутый с детства.
Их души пусты. Сердца — холодны. Они одиноки...

Да и как не быть одиноким человеку с безлюдной душою —
если люди живые для тебя не магнитное поле?!
Если ты сердца не слышишь, мечтою не дышишь большою,
Если ты не изведал настоящего горя и боли?

Чтобы не быть одиноким, нужно каждым ливнем ужасным
вместе с пшеничным посевом, как оспой, болеть года,
переболеть, как тифом, каждою засухой!
Человек — пока человек он — не одинок никогда!

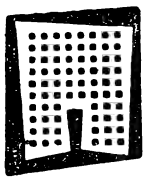
Перевод РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО

ГЕНРИХ БЁЛЬ

# Чем кончилась одна командировка

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого НАТАЛИИ МАН и С. ФРИДЛЯНД



Прежде чем отправиться домой обедать, Штольфус предложил прокурору и защитнику пройти с ним на второй этаж, где в коридоре и устроил своего рода «пятиминутку» для обсуждения регламента опроса оставшихся девяти свидетелей. Как полагают прокурор и защитник, спросил он, если быстрее опрашивать свидетелей и более не ставить им прямо не относящихся к делу вопросов, можно ли будет еще сегодня покончить со всей этой процедурой или же лучше сейчас отпустить престарелых патера Кольба и вдову Лейфен, назначив им явиться завтра? Немного подумав, адвокат сказал, что ему лично для опроса ефрейтора, фельдфебеля, старухи Лейфен и патера понадобится не больше десяти минут на каждого, что касается обер-лейтенанта, которому предстоит давать показания по самой, так сказать, сути дела, то на него уйдет не менее получаса, зато на Грэйна и Кирфеля II он кладет не более чем по двадцать минут, так как они, собственно, даже и не свидетели, а, скорее, эксперты. Итак, опрос свидетелей защиты, по его мнению, может быть окончен уже сегодня, речь же свою он произнесет, видимо, только завтра; сказать, много ли времени уйдет на свидетельницу Вермельскирхен, вызванную противной стороной, он, конечно, не может. Прокурор, здесь уже казавшийся не таким разбитным и энергичным, как в зале суда, а, скорее, благодушным, отвечал, что на вдову Вермельскирхен ему вполне достаточно и десяти минут, а вот не согласится ли его уважаемый коллега несколько сократить опрос обер-лейтенанта, так как показания последнего приведут к излишней политизации дела, которое по существу уже можно считать законченным, на что адвокат немедленно отвечал, что не он, а его почтенный коллега склонен политизировать дело, «моральный вес которого не превышает значение дел о браконьерстве и контрабанде», и тут же вспомнил, что на послеобеденное время вызвал еще одного свидетеля, антиквара Мотрика из близлежащего большого города, а также эксперта-искусствоведа, профессора Бюрена. «Ну ладно,— с нетерпением в голосе сказал председательствующий,— не будем никого отсылать домой, но, если позволите, пойдем навстречу нашим престарелым свидетелям и в первую

Окончание. Начало в № 11.

очередь займемся ими». Оба юриста, люди еще молодые, помогли ему надеть пальто, висевшее в коридоре на старомодном крючке, на который старшеклассники некогда вешали свои шапки,— каждый придерживал один рукав, чтобы старику удобнее было в него облечься; адвокат повесил на опустевший крючок судейскую мантию.

Свидетели и зрители в точном соответствии со своим социальным положением разошлись по ресторациям Бирглара. Покуда председательствующий проводил краткое совещание с представителями сторон, жена защитника свела знакомство с женой прокурора Кугль-Эггера и предложила ей вместе пойти в «Дурские террасы». Застенчивая Кугль-Эггер родилась в Биргларе и не только сочувствовала желанию мужа перевестись в ее родной город, но и всячески его поощряла из-за своего старого дяди, некоего Шорфа, наследницей которого она являлась, очень хотевшего, чтобы «его любимица» жила поблизости. Госпоже Гермес были известны тайные причины перевода Кугль-Эггера, не удивила ее и застенчивость, с которой Марлиз Грабель — девичья фамилия госпожи Кугль-Эггер — вновь делала первые шаги по родной земле. Она и говорила-то теперь на баварском диалекте, тихим голосом рассказывая о маленьком баварском городке там, далеко за лесами, на языке господина Гермеса называвшемся «эта дыра восточнее Нюрнберга». Супруга адвоката энергично и в открытую атаковала Кугль-Эггершу, пройдя шагов пятьдесят окончательно закогтила ее, а сделав еще с десяток, уже знала, что Кугль-Эггер тоже католик (в Баварии, как ей смутно мерещилось, имелись и протестантские прослойки), и затем с чисто рейнской словоохотливостью принялась рассказывать о своих планах относительно бала в день св. Николая в Объединении католической интеллигенции, на котором она решила устроить «внезапное вторжение новейших веяний», то есть прежде всего поход против бальных танцев «доброго старого времени». Кроме того, она собирается организовать «откровенное обсуждение сексуальных проблем, включая противозачаточные средства». Еще не дойдя до «Дурских террас», а на дорогу туда требовалось не более пяти минут, она уже точно знала метраж хузкирхенской квартиры Кугль-Эггеров, в которую они въехали только вчера, знала, что им, «само собой разумеется», попался самый дорогой маляр в округе, что домохозяин берет с них очень высокую плату, но зато — и это, конечно, немаловажно — они оказались в приходе милейшего патера, лучшего, пожалуй, нигде не сыщешь. И конечно же — эта тема возникла сама собой, когда Кугль-Эггерша заметила, как трудно придется ее детям с их баварским выговором,— они обе подробно обсудили преимущества и недостатки монашек-воспитательниц в детских садах. Кугль-Эггерша, поменьше ростом и помоложе жены адвоката, позднее призналась мужу, что «с одной стороны, ее как будто и околпачили, а с другой — она и сама была подхвачена той быстротою», с какой ее втаскивали в жизнь католической интеллигенции. Они пришли в «Дурские террасы», и сразу же им бросился в глаза Бергнольте, удивительно по-старомодному орудовавший ложкой, расправляясь с шоколадным парфе. Да, заметила госпожа Гермес, много еще затхлых углов в Биргларе нуждается в хорошем сквозняке, впрочем, и «некоторые католические браки» не мешало бы как следует проветрить.

Кугль-Эггерша немного успокоилась, когда ее спутница заказала два мартини со льдом, она опасалась более крепкого напитка, хотя и отметила, что пугающая напористость госпожи Гермес находится в странном противоречии с ее округлым и бесхитростным лицом типичной блондинки, в котором она при всем желании не могла обнаружить и следа злонравия. С облегчением констатировала она и то, что мартини не было

использовано для навязчиво-скоропалительного брудершафта. Адвокатша удовольствовалась обращением на «вы» и тогда, когда подняла свой бокал «за ваш приезд на родину», покуда Кугль-Эггерша, держа перед глазами меню и, собственно, его не читая, размышляла, уж не сидит ли с ней за столиком та крикливая белокурая девчонка, которая училась в четвертом классе, когда она еще ходила во второй, бойкая вечно хохочущая толстушка, в памяти у нее почему-то оставшаяся, как «постоянно жующая яблоко». Ее отец — как же его звали? — на широкую ногу и, кажется, не совсем легально торговал удобрениями, углем и посевным материалом. Ну, да, впрочем, не позднее чем через четверть часа все выяснится.

Скоро в зале появилась группа, которую адвокатша, кстати довольно громко, охарактеризовала как «либерально-прогрессивную»: д-р Грэйн, госпожа Шорф-Крейдель и протоколист Ауссем. Легкий кивок дамы, подчеркнуто почтительные поклоны мужчин, усевшихся за соседний с Бергнольте столик,— видно, их тоже тянуло полюбоваться глинистыми водами Дура, хотя госпожа Гермес уже успела сказать своей спутнице, что это не река, а каша, перебежавшая из кастрюли.

Хохоча над только что отпущенной соленой шуткой, в ресторан вошли Кугль-Эггер и Гермес. Гермес представился Кугль-Эггерше как «один из ее дальних-предальних родственников» через бабушку с материнской стороны, урожденную Халь из Обер-Бирглара, которая приходилась теткой ее дяде Шорфу, кстати, через него же она состоит в родстве еще и с дамой вон за тем столиком, которая скоро — Гермес захихикал не без злорадства — обнимет, может быть, даже и горячо обнимет «свою дорогую кузину Марго», это уже зависит от того, как ей удастся поладить с сей элегантной дамой, временами в приступах хандры мучающейся угрызениями совести, которые она афиширует довольно фальшиво и неуклюже. Гермес вряд ли уступал своей жене в словоохотливости, и его речевой поток представлялся Кугль-Эггерше «прямо-таки французским». Надо признаться, продолжал Гермес, что у него начисто пропал вкус к отечественной кухне, но тем не менее он может от души порекомендовать рейнское кисло-сладкое жаркое, впрочем, все, что здесь подают, отличного качества, хозяйка, госпожа Шмитц, умеет даже из такого примитивного блюда, как картофельные оладьи, или, по-здешнему, тертые лепешки, более того, из дурацкой местной похлебки сделать подлинный деликатес (Гермес попал впросак со своим предсказанием — сегодня в первый, но не в последний раз госпожа Шмитц чуть ли не все перепортила, так сильно потрясло ее естество, ее мораль и ее душу признание дочки Евы, что она отдалась молодому Грулю и понесла от него, сознание же, что первый ее внук был зачат в тюрьме, и вовсе повергло ее в ужас; а Гермес в глазах Кугль-Эггерши навеки остался лжепророком и, что он воспринял еще болезненнее,— никудышным знатоком кулинарного искусства). Зато ей сейчас удалось, наконец, вставить словечко в его любезную и непрерывную речь, заметив, что не так-то легко вкусно приготовить местную похлебку, а тертые лепешки, пожалуй, еще сложнее: из сентиментальной любви к отечественным лакомствам она пыталась их жарить в «той дыре восточнее Нюрнберга», но у нее ничего не вышло. Ей бы очень хотелось знать — Кугль-Эггерша сунулась в образовавшуюся брешь,— действительно ли так велик интерес Гермеса к необычному делу Грулей, как это кажется, ведь она жена человека, состоящего на государственной службе и отнюдь не помышляющего о свободной профессии адвоката, однако... Но Гермес уже заполнил брешь и принялся рассказывать о традициях своей семьи: как его предок Гермес — трудно сейчас на него нанизать все «пра», ему причитающиеся,— сажал вместе с другими дерево свободы в Биргларе, Наполеона он, ко-

нечно, ненавидел, но еще больше пруссаков, которые не принесли с собой ничего, кроме жандармов, законов и налогов.

Тем временем адвокатша — «не могу себе в этом отказать» — заговорила с Кугль-Эггером о его промашке с Зейферт и предрекла ему такую же неудачу с Вермельскирхен. Кугль-Эггер рассмеялся, признал себя побежденным в случае с Зейферт и добавил, что не перестает удивляться не тому, что эта особа держится за такой городишко, как Бирглар, а тому, что она умудряется в нем продержаться хотя бы в финансовом отношении, тогда как дамам ее профессии и их потенциальной клиентуре близлежащий большой город предоставляет богатейшие и к тому же анонимные возможности. Госпожа Гермес на это заметила, что из истории права ему, верно, знакома граница действия гильотины — она совпадает с границей распространения борделей, которая, в свою очередь, является и границей определенной конфессии, а граница действия гильотины, то есть с историко-правовой точки зрения граница действия кодекса Наполеона, моложе, чем старая граница «любовных утех»; по одну сторону этой границы больше процветает художественно-ремесленное, по другую — эмоционально-варварское начало. Но в данный момент ей кажется более важным — он, возможно, будет считать, что она действует в интересах подзащитных своего мужа, но это не так,— чтобы он избавил себя от конфуза с Вермельскирхен и задавал бы ей вопросы, относящиеся только к делу Груля, а не к его, Груля, личности. Когда Кугль-Эггер спросил: «А что, Вермельскирхен тоже «из тех», адвокатша воскликнула: «Нет, она, конечно, не из тех, Вермельскирхен не шлюха, она грешница, триста лет назад ее сожгли бы на костре, как ведьму», в ней и правда есть что-то непостижимое, ее сад иной раз стоит в полном цвету, когда время цветения давно отошло. Хотя она себя и считает женщиной просвещенной, но даже для нее Вермельскирхен окружена какой-то тайной, в этой вдовице словно воскрес древнекельтский культ матроны. Но она ведь даже не хорошенькая, вставил Кугль-Эггер; его собеседница рассмеялась и заметила, что в наши дни из сотни женщин и девушек девяносто три уж обязательно хорошенькие; но здесь речь не о миловидности, пусть-ка он, прокурор, всмотрится в глаза и руки вдовы Вермельскирхен, тогда он поймет, что такое богиня; нет, перебила она себя, с аппетитом уплетая свой спаржевый суп, эту свидетельницу лучше оставить в покое, Груль-старший, конечно, был с ней в связи, но какой прок господину Кугль-Эггеру, если это и обнаружится?

Госпоже Шорф-Крейдель тревожная заботливость юного стажера Ауссема о крохотной ранке у нее на шее в конце концов стала казаться несколько навязчивой и, как она выразилась позднее, «почти эротической» (он вскакивал с места, подходил к ней, сочувственно покачивая головой, разглядывал малюсенький красный пузырик, который уже и болеть-то перестал), так что она сочла за благо перевести разговор на дело Грулей, «загадочное дело», как она о нем отозвалась. Да, согласился Ауссем, загадочно-бессмысленное, будь на то его воля, он бы ввел для таких дел — когда обвиняемые во всем признаются и судебного разбирательства, собственно, не требуется — особые «скоростные» суды. Вдобавок то, что они сделали, является не криминальным, а разве что антиобщественным поступком, который ему лично представляется куда более опасным, чем поступок «чисто криминальный». Грэйн заявил, что он, конечно, не может предвосхитить свои показания, но «этот Груль» — человек, перед которым он готов преклоняться, ибо он почти невероятно умен. Ауссем сказал, что не понимает, почему никто, даже Хольвег, не прислал репортера для отчета об этом своеобразном процессе, который он лично рассматривает только как прощальный вечер в честь достой-

ного Штольфуса и не менее достойного Кирфеля. «По существу, это узкосудейский праздник»,— добавил он, потом нервно вскочил и, многозначительно прищелкивая языком, стал опять рассматривать красное, величиной с булавочную головку пятнышко на хорошенькой шейке Шорф-Крейдель; это пятнышко, сказал он далее, для нее и для всех ее поклонников будет служить вечным напоминанием о процессе Грулей. Группа чиновников и секретарш из окружного управления, посменно приходивших обедать в «Дурские террасы», принесла с собой шумное оживление и заставила сидевших за столиками говорить приглушенными голосами. Бергнольте за чашкой кофе размышлял, являются ли чаевые как статья расхода субъективным или объективным понятием. Конечно же, думал он, объективным, но вот какие существуют предписания на этот счет — ему неизвестно; с чисто абстрактной точки зрения, его интересует вопрос, может ли государство санкционировать «щедрые» чаевые, наверно, это, вздохнув, подумал он, вопрос ранга, и президент должен давать на чай больше, чем чиновник судебного ведомства: в таких мелочах, видимо, еще сказывается устарелое понятие милости, которое неизбежно сопрягается с властью, попросту говоря,— чем человек могущественнее, тем больше он способен быть милостивым и щедрым.

Фельдфебель Белау тщетно пытался проникнуть в заведение Зейферт, которое он обнаружил в переулке под вывеской «Красный фонарик». После того как он долго барабанил в двери и яростно нажимал на кнопку звонка, в первом этаже открылось окно и какой-то ражий парень, без стеснения выставивший напоказ грудь, поросшую черными волосами, пригрозил подать на него в суд за нарушение общественного спокойствия, если он немедленно не уберется отсюда; по голосу этого парня можно было сразу сказать, что он иностранец—американец, скорее всего; откуда-то из глубины дома отчетливо донесся голос Зейферт, говорившей «об этом поганце солдафоне». Белау признал себя побежденным и отправился в менее подозрительный и более дешевый трактир, куда, как он заметил, вошел и ефрейтор Куттке. Это заведение называлось «Пивная кружка», обедами, в точном смысле этого слова, там не кормили, зато подавали простую сытную и быстро приготовляемую пищу: густой суп-гуляш, картофельный салат, сосиски, бульон и говяжьи котлеты; тамошнюю публику — шоферов и рабочих — развлекала музыка и игральные автоматы, удовольствия, на которые в «Дурских террасах» рассчитывать не приходилось. Белау застал ефрейтора у стойки в оживленном разговоре с двумя шоферами грузовиков, которым тот в равной мере импонировал и внушал недоверие своим слишком точным знанием всего, что касалось марок машин, тормозного пути, системы смазки, грузоподъемности и сроков прохождения технического осмотра.

После ряда поражений, которые фельдфебель потерпел от ефрейтора сегодня утром, он не желал подставлять себя под удар еще и в обед, а потому уселся на высоком табурете у противоположного края стойки, заказал три пирожка с луком и неожиданно, как для себя самого, так и для хозяина, мигом распознавшего в нем любителя пива,— бокал вина. Его сосед у стойки, коммивояжер средних лет и довольно меланхолической наружности, одной рукой скучливо вертевший стакан с пивом, а другой скорбно поглаживавший свою лысину, спросил, каково сейчас на военной службе, так ли, как в его, коммивояжера, времена; не долго думая фельдфебель отвечал: «Наверно, точно так же»,— и сразу же заговорил на свою любимую тему — неодинаковое денежное довольствие в войсках НАТО; это всем кровь портит, особенно когда дело касается женщин; придешь куда-нибудь, а там уже ами лежит в постели, к счастью, эти ами обычно женатые и высоконравственные, впрочем, бед-

нягам французам и бельгийцам еще хуже приходится, чем немцам. На вопрос коммивояжера, как оплачиваются голландцы и датчане, Белау отвечал, что не знает, а знает только, что самые разнесчастные ребята — это итальянцы, но ведь их, насколько ему известно, никто и не равняет с этими парнями, которые в отличие от нас, немцев, и бедняг бельгийцев и французов швыряются долларами направо и налево.

Патер Кольб раздумывал, нельзя ли ему напроситься на обед и чашечку крепкого кофе к своему бургларскому коллеге; теоретически он ответил на свой вопрос немедленным «можно», но уже несколько минут спустя решил отступить от этого положения: недавно назначенный сюда священник, которого он только однажды видел на конференции настоятелей и нашел довольно симпатичным, был, как ему «шепнули наверху», уполномочен в ближайшее время произвести проверку «недоразумения» с колокольными деньгами и визит патера Кольба мог бы истолковать как просьбу о снисхождении, что, в свою очередь, привело бы к унизительным для него, патера, последствиям. Посему он присоединился к обеим своим прихожанкам, которые устремились в кафе, известное только местным жителям или, вернее, небольшому числу посвященных, а именно: к булочнику Фрону, где в задней комнате, собственно, гостиной Фрона, было устроено нечто вроде кафе; там подавали отлично сваренный кофе, вкусные пирожные и, по желанию посетителя, превосходную густую похлебку или тарелку супа с куском шпика, а не то и мелко нарезанной копченой колбасой. Помимо всего прочего Кольба влекла туда возможность обстоятельно и конфиденциально, не то что в свидетельской комнате, побеседовать с вдовой Вермельскирхен, которой ему очень хотелось внушить, что ни он, ни какой-либо другой любитель ночных прогулок по деревне за нею не шпионил. Он давно уже раскаивался и упрекал себя в том, что поспешил рассказать женщинам о своих ночных прогулках, на самом деле он гулял совсем не так часто, может быть, раз или два, самое большее три раза в месяц, когда бессонница уж очень мучила его, а читать или молиться уже не было сил. Однажды часа в три или четыре утра он видел некоего мужчину, выходившего из дома вдовы Вермельскирхен, и даже узнал его, но не только никому не назвал его имени, а и себе запретил о нем *думать,* но так как ему нередко приходилось иметь дело с этим человеком, то он поневоле думал о его тайной ночной авантюре.

Булочная Фрона находилась вдали от модернизованной главной улицы Бирглара, в довольно грязной и еще совсем по-деревенски выглядевшей части города. Кольб предвидел — для этого ему отнюдь не нужно было обладать пророческим даром,— что Фроны пригласят вдову Лейфен на кухню к семейному столу, тогда как вдове Вермельскирхен из-за ее дурной репутации эта честь не будет оказана, что же касается его, то они сочтут, что для патера такое приглашение недостаточно почетно, и тоже не позовут на кухню. Расчет его оправдался только отчасти: Лейфеншу тотчас же увели на кухню, он с Вермельскирхен вошли в кафе, но там уже сидели двое гостей: чета Шольвен из Кирескирхена, приезжавшая к нотариусу по делу о продаже земельного участка; супруги немедленно завязали разговор с Вермельскирхен, славившейся своим умением продавать недвижимость. Она приумножала свои доходы, по частям продавая унаследованные участки и в подходящий момент снова скупая более выгодные, ей и в этом пункте приписывали «шестое чувство». Патер принял предложение подсесть к этим троим за большой стол, накрытый плюшевой скатертью; супница с остатками овощного супа напомнила ему, что он голоден. Шольвены и Вермельскирхен на местном диалекте обменивались мнениями касательно цен на участки

в Кирескирхене, где Шольвены, перестав заниматься сельским хозяйством, построили себе «бунгало». Огромный черный кошелек супругов лежал открытый на столе, явно свидетельствуя о том, что они собираются уходить.

Обер-лейтенант Хеймюлер заглянул было в «Пивную кружку», но не ощутил ни малейшего желания обмениваться со своими подчиненными полупьяными интимностями или, еще того хуже, выслушивать замаскированные колкости этого полуинтеллигента ефрейтора Куттке. Потому он неторопливо двинулся дальше по главной улице, миновал оба довольно больших новомодных кафе, которые кишмя кишели гимназистами, подмастерьями, а также учениками ремесленных и сельскохозяйственных училищ, и после долгих колебаний приземлился в «Дурских террасах», где за всеми столиками шли оживленные разговоры, так что он почувствовал себя не только несчастным, но непризнанным, почти что чужаком и вздохнул с облегчением, отыскав свободный столик. Оживленный, перемежавшийся взрывами смеха разговор за соседним столиком, где супруги Гермес и супруги Кугль-Эггеры старались веселыми шутками скрасить себе неудачный обед; тихая, но весьма доверительная беседа между госпожой Шорф-Крейдель, д-ром Грэйном и стажером Ауссемом, даже сибаритская поза Бергнольте, который раскошелился на сигару (он питал тщетную надежду, что хозяин и для него достанет самую лучшую из-под стойки),— все это он воспринимал как происки врагов, хотя никто из присутствующих не высказывал и не таил злобных мыслей. Ему казалось, что чиновники окружного управления, которые сейчас встали из-за стола и заигрывали с двумя молодыми девицами, видимо, секретаршами, с презрением смотрят на него, обер-лейтенанта. Он поднялся и снял со стенда одну из центральных газет.

*Домой пошли обедать*:

Хорн, которому жена подала оладьи, жаренные на свином сале, салат и лимонный крем; пообедав, за чашкой кофе он еще обсудил с ней проблему «совместного обучения в период наступления половой зрелости». На эту тему госпожа Хорн, бывшая учительница средней школы, собиралась сделать доклад в Социалистическом рабочем кружке по вопросам воспитания. О денежных штрафах, на него наложенных, Хорн благоразумно умолчал. Грета Хорн, седовласая стройная дама с очень темными глазами, обозвала всех призванных участвовать в деле Грулей, не сделав исключения и для своего супруга, «недоумками», не понимающими, какие откроются возможности, если по-умному устроить паблисити этому делу. «Ты только представь себе,— спокойно сказала она,— что все солдаты станут сжигать свои машины и самолеты. Но эти балбесы социал-демократы, эти жуликоватые святоши, они же обуржуазились больше, чем сами буржуа. Хорн, привыкший к таким и даже более хлестким высказываниям, покачал головой и заметил, что его только одно интересует — по возможности скорее вытащить Груля из тюрьмы; она возразила, что год или два тюрьмы для Груля невелика беда, он и в тюрьме найдет себе работу, потому что «жены тюремных начальников», надо полагать, не менее охочи до стильной мебели, чем другие «дамочки». Вот от женщин ему в тюрьме, хочешь не хочешь, придется отказаться, только и всего, добавила она, как бы подводя итог разговора, с улыбкой, чудо как приятно тронувшей ее строгий рот.

Уже потому, что жена приготовила на обед его любимое блюдо — фаршированный перец,— судебный исполнитель понял: сейчас она опять

будет просить за кого-нибудь из его клиентов, и как в воду глядел. Принеся ему десерт — кофейный крем со сливками,— она призналась, что у нее побывала госпожа Шёфлер и просила ее походатайствовать перед ним об отсрочке продажи с торгов ее малолитражки; за два, самое большее три дня она сумеет все это уладить, а он ведь и сам знает, сказала госпожа Шёфлер, как трудно выцарапать «из когтей этих гиен» уже назначенную к продаже вещь. Халь, к удивлению жены по-прежнему пребывавший в благодушном настроении, отвечал, что он ничем ей помочь не может, сам не попав в крупную неприятность: эта Шёфлер уже не раз достаточно неблаговидным образом срывала им продажу секвестрированного имущества, однажды даже заранее вынула лампы из уже описанного радиоприемника и за бесценок продала их старьевщику в близлежащем большом городе — на вырученные деньги можно было разве что выпить чашку кофе с пирожным; нет, нет и нет, денек еще он может подождать, но не больше, пусть так и скажет этой Шёфлер.

Свидетель Кирфель II, старший финансовый инспектор, личность еще более популярная в Биргларе, чем его отец, полицмейстер, застал свою жену в растрепанных чувствах, хорошо еще, что ее успели несколько успокоить их дочь Биргит и сын Франк, взявшие на себя заботу об обеде: они не дали пригореть вермишели, спасли соус из консервированного мяса, паприки и зеленого горошка от превращения в «гнусное месиво» и, «чтобы немножко подсластить горестную ситуацию», подали на десерт миндальное пирожное и кофе. Чувства госпожи Кирфель, которую почти все характеризовали как «роскошную» женщину, пришли в расстройство в половине одиннадцатого утра, когда один молодой художник доставил свои творения в квартиру Кирфелей. Кирфель, из-за своего податливого характера состоявший председателем чуть ли не всех биргларских кружков, в том числе и Кружка поощрения художников Биргларского округа, после долгих переговоров и домогательств получил от вышестоящей инстанции разрешение устраивать в маленьком вестибюле финансового управления художественные выставки. На последнем заседании выставочного комитета (на котором госпожа Гермес снова зарекомендовала себя как смелая, изничтожающая все табу модернистка) решено было начать с индивидуальных выставок: каждые две недели художникам, намеченным жюри, давалась возможность демонстрировать свои произведения налогоплательщикам, вынужденным являться в финансовое управление; очередность устанавливалась жеребьевкой, и номер первый выпал художнику Терфелю, дальнему родственнику полицмейстера, который в одинаковой мере и гордился своим родичем, и чувствовал отвращение к его картинам. Молодой художник Терфель время от времени «заставлял говорить о себе» прессу близлежащего большого города, да и центральная печать раз-другой упомянула его имя. Поначалу он намеревался отклонить предложение выставочного комитета, в каковом усмотрел «попытку пригвоздить меня к этому захолустью», но потом критик Кернель (учитель рисования в биргларской гимназии, а следовательно, бывший учитель Терфеля и отечески благожелательный друг) убедил его, что отклонять такое предложение не следует, в конце концов у людей в Биргларском округе глаза такие же, как у всех; короче говоря, Терфель (его картины позднее были названы в «Рейнише рундшау» «пачкотней на половую тему», в «Рейнишес таглат», где Кернель под псевдонимом Оптикус подвизался в качестве художественного критика,— «отважно сексуальными признаниями», и в «Дуртальботе» Хольвегом, который сам писал критические статьи по искусству,— «обнадеживающе безнадежными»), итак,

Терфель с помощью своего приятеля около одиннадцати часов утра доставил к госпоже Кирфель свои картины (шесть штук, отобранных жюри, причем четыре из них размером три метра на три) и водворил их в и без того тесной гостиной кирфелевской квартиры, где он, к вящей своей досаде, обнаружил еще одну картину — своего коллеги Шорфа, которого называл не иначе, как «халтурщиком от абстракционизма». Госпоже Кирфель внушал страх не столько возможный скандал, сколько сами картины; она и своим детям наказала остерегаться их; вернувшись из школы, они застали мать за несколько необычным занятием — она завешивала простыней «самую омерзительную» из шести картин. Это было одно из больших полотен (три метра на три), на котором с помощью ржаво-красной, лиловой и коричневой, как мастика, краски был расплывчато, но не настолько, чтобы его нельзя было рассмотреть, изображен голый молодой человек, который на грудях распростертой у его ног обнаженной дамы, смахивающих на газовые горелки — из них даже рвалось желтовато-синее пламя,— жарил яичницу-глазунью; картина называлась «Завтрак вдвоем». Почти все другие полотна, тоже с преобладанием ржаво-красных тонов, воспроизводили любовные утехи юных парочек: весь цикл носил название «Таинство брака». Кирфель, немного успокоив жену и санкционировав завешивание картин простынями, за обедом, который он ел без внимания, вдруг испугался своей собственной храбрости. Больше всего его страшил (как он считал, довольно справедливый) гнев налогоплательщиков, которые, явившись в финансовое управление не по своей воле и также не по своей воле натолкнувшись на это искусство, усмотрят в нем злоупотребление их налоговыми отчислениями. Часто, заходя туда по утрам, чтобы попросить занести в свои карточки данные об уменьшении доходов, они, вдобавок, будут возмущены и как родители будущих налогоплательщиков. (Он был очень удивлен, хотя и не разочарован, вопреки утверждениям редких его недоброжелателей, тем, что никакого скандала не вышло; только один юнец, впоследствии опознанный как внук булочника Фрона, прикрепил к картине «Завтрак вдвоем» записочку следующего содержания: «Наверно, она полным-полна природного газа, что сильно уменьшает расходы на газ»). Молодой художник Терфель был уязвлен, что в Биргларе скандал не состоялся, как это случилось даже в близлежащем большом городе. Кирфель, пообещав жене сегодня же препроводить картины «безусловно занавешенными» в свой служебный кабинет, где должно было состояться заседание жюри, пожелавшего еще раз «получше вглядеться» в творения Терфеля, несколько ее успокоил, так что она, под хихиканье детей, даже съела свой обед. На расспросы касательно процесса Грулей Кирфель отвечал, что ничего не знает: им, свидетелям, не дают даже «краем уха» послушать, что делается в зале суда.

В кухне судебного пристава Шроера, выполнявшего также обязанности швейцара и тюремного надзирателя, сидели: сам Шроер, его жена Лиза, судебный пристав Штерк и старик Кирфель, с удовольствием поедая свиные котлеты с салатом и картошкой, мужчины без пиджаков, пододвинув к себе бутылки с пивом. Штерку, который совсем уж было собрался выложить принесенные с собой бутерброды и отвинтить крышку термоса, жена Шроера довольно энергично предложила «отставить это тонкое обхождение» и сесть со всеми за стол, она все равно на него рассчитывала, а если он видит что-нибудь обидное в приглашении пообедать, то она ничего не имеет против, если и он отплатит ей тем же при первом же ее приезде в близлежащий большой город. Когда Штерк спросил, не послать ли в таком случае его бутерброды и «очень хороший кофе» в камеру обвиняемым, да он и сам мог бы им отнести, у

них ведь день как-никак выдался тяжелый, то в ответ все присутствующие разразились хохотом. Кирфель, настроенный весьма благодушно, так как он считал, что своими показаниями не нанес особого урона ни своей чести, ни чести обоих Грулей, посоветовал Штерку вступить в ряды бундесвера, потом отправиться в командировку, сжечь машину, угодить в тюрьму, но сначала, разумеется, обзавестись сыном, которому удастся покорить сердце красивейшей девушки Бирглара, и к тому же дочери хозяина ресторана Шмитца и его жены, пользующейся славой лучшей поварихи всего округа. Штерку пришлась по вкусу стряпня госпожи Шроер, но намеков он не понял, и посему, когда раздался звонок, его попросили открыть дверь и провести молодую особу, которую он за нею увидит, к подследственным заключенным, согласно предписанию, предварительно осмотрев содержимое судков — тогда, заверили его, ему все станет ясно. Штерк так и сделал. Шроерша, воспользовавшись его отсутствием, спросила Кирфеля, как у него обстоит с сыном, ведь сегодня ему предоставлялась наилучшая возможность встретиться с ним в свидетельской комнате и отпраздновать примирение, а он вместо этого «с меланхолическим видом сидел у нее на кухне и дожидался, пока его вызовут». Кирфель, сначала вытерев рот большущим носовым платком и поглядывая на шоколадный пудинг, который хозяйка тем временем поставила на стол, зловеще отвечал, что сын — это его крест и крестом останется, у него в доме все такое парадное, что он даже ходить к сыну не решается. Для него, старого жандарма, который в первые годы своей службы, случалось, играл в скат с им же арестованными бродягами, все это уж больно быстро сделалось. И предательства он тоже забыть не в состоянии. Этими словами он намекал на прошлое, все еще его мучившее. Кирфель отдал сына в гимназию, желая, чтобы он сделался священником; тот, правда, сдал экзамен на аттестат зрелости (Кирфель сказал «экзамент») и даже в течение двух семестров изучал богословие, но потом втюрился в «первую попавшуюся расфуфыренную и размалеванную куклу», и вот этого (то есть куклы, «роскошной» госпожи Кирфель) «я ему вовек не прощу».

За пудингом Шроер и его жена Лиза, укоризненно глядя на Кирфеля, уговаривали его наконец образумиться, сколько уж лет прошло, но он отвечал, что годы и разум тут ни при чем, решительно ни при чем. Шроеры не нашлись, что на это ответить, к тому же в этот момент в комнату вернулся Штерк, ни слова не говоря, опустился на свое место, покачивая головой, съел все, что было у него на тарелке, и уже тогда, под пристальными взглядами супругов Шроер и Кирфеля, заметил, что, по его мнению, это уж, пожалуй, слишком: одна сигара худобедно полторы марки стоит, а кушанья — нет, ему таких деликатесов и не надо: Шроерша энергично на него взглянула, и он тотчас же поправился: «таких дорогих вещей», но сразу, даже заикаясь с испугу, взял обратно и эти слова, просто он имел в виду, что очень уж господская это была жратва, но по глазам Шроерши понял, что снова дал маху, то есть низвел ее угощение до пролетарской жратвы, и проговорил: «Бог ты мой, вы же понимаете, что я хочу сказать, женщине, которая так готовит, как вы, обижаться, право же, не приходится». Тем самым он кое-как примирил с собою хозяйку дома, ему положили пудинга и пододвинули чашку кофе, о котором он позднее отозвался: «Светленький, как будто его помыли».

Агнес Халь в своем просторном старинном доме предавалась довольно разнообразным занятиям; когда она вернулась из суда, на ее нежном лице уже не были написаны насмешка и строптивость, скорее, горестное торжество; не снимая пальто и шляпы, она села за рояль

и начала играть сонату Бетховена; Агнес не подозревала, никогда ни от кого не слышала и так до конца своих дней и не узнала, что она играет прекрасно: но вдруг она сделала то, что привело бы в ужас каждого любителя музыки: после второй части оборвала игру, закурила сигарету и заиграла снова — точно, даже немного жестко, при открытых окнах, надеясь, что звуки музыки донесутся до суда, хотя играла она не для «него», а для другого, о котором, кроме нее, никто не знал и о котором ни один дурак на свете никогда не узнает; она сделала перерыв и после третьей части, встала, закурила еще одну сигарету и опять села за рояль; не первый это был и не второй, а третий, ей в ту пору было уже под сорок (она улыбнулась оттого, что четверку, следующую за цифрой сорок, для себя перевела словечком «под»), что делать — война, катастрофа,— сейчас она в смятении думала об этом процессе и о Груле, который всегда нравился ей и теперь тоже. Она даст ему денег, чтобы заплатить за машину, с которой он расправился так, как следует расправляться со всеми военными машинами, а именно: сжег ее; она захлопнула крышку рояля, засмеялась и решила попозже вечерком снова пойти в суд, чтобы не огорчать еще больше доброго старого Алоиса. А этому Гермесу она скажет, что хочет оплатить сожженную машину, а также налоговую задолженность Груля и, пожалуй, еще одну машину и вторую... ах, если бы он сжег их все — эта идея показалась ей великолепной.

Она сняла пальто и шляпу, не подходя к зеркалу, ибо знала и так, что еще очень красива; в кухне вылила на сковородку два яйца, сбрызнула их мадерой и чуть-чуть уксусом, посыпала перцем, сверху положила кучку шампиньонов, к сожалению, из консервной банки, зажгла газ, поставила воду для кофе и, покуда яйца медленно набухали на сковородке, очистила себе яблоко: ничего, ничего, ничего не останется, только горсточка пепла, крохотная горсточка праха — столько, сколько вмещает ее маленькая солонка. В тостере что-то щелкнуло — значит, тосты готовы, она вынула их левой рукой, правой в это время помешивая яйца, затем левой же налила воду в кофеварку и пошарила в ящике — там, кажется, лежат помадки, вот одна, другая, нет, больше не надо, она хочет остаться стройной и прекрасной для всех дураков на белом свете, которые превыше всего ставят законы, писаные и неписаные, мирские и церковные. Смех ее звучал звонко, когда она с яичницей, с кофе, с помадками, двумя тостами и маслом в прехорошенькой масленке перешла в музыкальную комнату, где был накрыт стол, очень нарядно, с подсвечником и красным вином в графине. Агнес зажгла свечу, рядом положила изящную маленькую сигару, которую ей выбрал Шмитц; тоже дурак, знает толк разве что в табаке и ничего не понимает в единственно истинном, в том, что зовется любовью. Яичница удалась, вернее, почти удалась, уксусу многовато, наверно, попала целая капля, а то и две, зато тосты хороши, коричневатые, как осенний лист, и кофе, и помадки, и изящная сигара из страны господина Кастро,— все хорошо, даже свеча хороша. Убрав со стола, она предалась самому странному из своих занятий: изменила текст завещания. Нет, не эта придурковатая Мария, так скоро отцветшая, не этот свихнувшийся милый старый Алоис и не монахиня, которая верит в сына человеческого и любит его, все они уже очень стары и достаточно обеспечены — Груль станет наследником ее состояния при *одном-единственном* условии: раз в год он должен сжигать машину, это обойдется ему не так уж и дорого — в половину процентов с капитала. И хорошо бы, он ежегодно зажигал эту маленькую свечку, чтобы отслужить по ней огненную мессу, а если захочет, мог бы еще спеть — это, как же оно называется — моление по всем святым: св. Агнес, св. Цецилии, св. Катарине; она засмеялась, вспомнила рассказ Кирфеля о том, как они пели оба, отец и сын. Небесно-голубыми

чернилами, с изящной сигарой господина Кастро во рту, она стала неторопливо писать: «Настоящим завещаю все мое имущество, движимое и недвижимое *Иоганну*-Генриху-Георгу Грулю, проживающему в Хузкирхене, округ Бирглар...» Это выглядело красиво: небесно-голубые слова, нанесенные ее четким, энергичным почерком на белый лист бумаги; удивительно и примечательно, сколько силы скрыто в одной солонке, в спичечном коробке праха, сколько злости, красоты и элегантности — и сколько от того, что зовется любовью. Всякий год пылающий факел, огненная месса во славу св. Агнес, покровительницы обрученных.

Погруженный в задумчивость, с потухшей сигарой во рту, Штольфус отправился домой, предварительно попросив секретаршу сообщить его жене, что он скоро придет. Много, много раз проходил он этой дорогой через маленький городской парк, мимо памятника павшим воинам, который вызывал столько споров, а потом две или три сотни метров вдоль Дура по направлению к небольшому старомодному дому девяностых годов, унаследованному его женой, столько раз проходил, что он очнулся, лишь вешая в передней свое пальто и шляпу и ставя свою трость в подставку для зонтиков, но по-настоящему пришел в себя, лишь крикнув «Мария!»; это было имя его жены, и в это время она по большей части находилась наверху, прибирала постели или, по собственному ее выражению, «копалась» в ящиках своего письменного стола. Копуша было ее ироническое прозвище в Биргларе; она считалась нерадивой хозяйкой, но хорошей кулинаркой и страстно любила вязать. Результаты ее неутомимых трудов Штольфус носил на руках и на ногах, носил их на плечах в виде пуловера; даже в служебном кабинете у него лежала подушка в наволочке, связанной ее руками. В детской консультации тоже всегда были заготовлены впрок распашонки и чепчики для малышей, которые врачиха и медсестра распределяли среди молодых матерей; госпожа Штольфус предоставляла им самим решать, какая мать больше нуждается, но и ненуждающиеся матери тоже получали в подарок распашонки и ползунки.

О ней, Марии Штольфус, урожденной Хольвег, говорили, что она не поспевает за временем, подразумевая при этом как время, показываемое часами, так и время историческое, это должно было означать, что *теперь* она не такая, как *прежде,* но и не демократка, хотя ее прозвище не только Копуша, но и Миролюбивая Мария. Теперь она охотно подписывала самые различные воззвания, преимущественно обскурантистские. Об ее рассеянности ходили самые невероятные слухи: так, например, не только «стало известно», но и было подтверждено клятвенными заверениями слесаря Дульбера, что Штольфус, стремясь уберечь папки с делами, каковые ему иной раз приходилось изучать дома, от опасности быть куда-нибудь «закопанными», заказал себе стальной шкаф, «самый настоящий сейф»; один ключ он всегда держал при себе, а запасной передал приставу Шроеру.

В доме Штольфуса случались происшествия, которые «Рейнишес тагблат» определяла как мало сказать «*почти* скандалезные»,— например, исчезновение некоторых документов по делу Бетге, предпринявшего, к счастью неудавшуюся, попытку ограбления Биргларского народного банка. Документы эти вынырнули (в буквальном смысле слова) на свет божий за пятнадцать минут до начала процесса. Знал об этом только Хольвег, преданный и молчаливый племянник Марии Штольфус, «газетчик», знал и никогда не проговорился о том, что его, Хольвега, и судебного пристава Шроера внезапно и одновременно осенила гениальная идея обыскать свалку между Кирескирхеном и Дульбенвейлером, где

среди недавно свезенного мусора, к вящему удивлению Хольвега, и были без «особого труда идентифицированы» документы по делу Бетге, а заодно найден бумажник Штольфуса и в нем восемьдесят пять марок наличности, разные бумаги и конспект ведения процесса Бетге. Тот же Хольвег — иной раз даже ценою горьких компромиссов, как-то: обещания отказаться от резких нападок на Христианско-демократический союз и Социал-демократическую партию Германии — склонял своих коллег-газетчиков отнестись к его тетушке поснисходительнее, что ему и удавалось, тем более что у нее имелись покровители «наверху», Грельбер например. Случалось, говорили в Биргларе, что она в девять часов утра начинала застилать постели, а просыпалась, когда было двенадцать, «как спящая красавица от своего заколдованного сна», все с тою же простыней в руках, которую она сняла в девять, чтобы стряхнуть или переменить.

К удивлению Штольфуса, на его зов она сегодня вышла из кухни в фартуке небесно-голубого цвета с розовыми бантиками, «немножко не по возрасту», как он всегда думал, но никогда не говорил. В воздухе запахло «чем это — уткой или индейкой?», но уж без сомнения — рисом и яблочным компотом; она поцеловала его в щеку и радостно-взволнованная проговорила:

— *Он* прибыл.

— Кто? — с испугом переспросил Штольфус.

— Бог ты мой,— дружелюбно рассмеялась она,— не Грельбер, как ты боялся, а приказ об отставке. Через месяц тебя торжественно проводят на пенсию, и, помяни мое слово, ты еще получишь от них крест, уж не знаю. на грудь или на шею. Что же ты не радуешься?

— Нет, почему же,— вяло отвечал он, поцеловал ее руку и провел ею по своей щеке,— мне только хотелось бы быть в отставке уже вчера.

— Ты не вправе был этого желать, что ж тогда сталось бы с Грулем? Нужен оправдательный приговор, при возмещении убытков, я же всегда говорила. Ты только представь себе, что он попался бы в руки какого-нибудь образцового демократа. Я стою за оправдание.

— Ты же знаешь, что это невозможно.

Он прошел в столовую, налил из графина две рюмочки шерри, протянул ей одну и с мягкой улыбкой сказал:

— Твое здоровье.

— Благодарю,— ответила она,— кстати, пять минут назад звонил Грельбер. Он держится моего мнения.

— Твоего мнения?

— Да,— подтвердила Мария, допила свою рюмку и сняла фартук.— По-моему, он навязал тебе процесс Грулей, потому что ты любишь выносить оправдательные приговоры и он это знает. Прощальный подарок! Учти это, и пусть они будут оправданы!

— Оставь, пожалуйста,— строго остановил он жену,— ты же знаешь, какая лиса этот Грельбер. Об оправдательном приговоре и думать нечего. А что еще хотелось ему узнать?

— Есть ли в зале суда представители прессы.

— И что ты ему сказала?

— Что нет ни одного.

— Откуда ты это знаешь?

— Я несколько раз говорила по телефону с госпожой Шроер. Грельбер звонил мне с самого утра.

— Он что же, не один раз звонил?

— Да. Госпожа Шроер мне сказала, что, хоть глаза прогляди, там ни одного газетчика не увидишь, да и вообще ни одного человека с карандашом в руке — это, по-видимому, успокоило Грельбера. Но скажи,

зачем тебе понадобилось так жестоко обходиться с Агнес? Пошли ей цветы.

— Ах, перестань, эта Агнес сумасшедшая. Она мне устроила пренеприятную сцену.

— Послушайся меня, пошли ей цветы и напиши на записке: «Прости! Всегда твой Алоис».

— Оставь, говорю я тебе.

— В свете того, что мне еще рассказала госпожа Шроер, выходка Агнес — сущие пустяки.

— Не будем об этом говорить,— устало сказал он, налил себе еще шерри и, держа графин в руке, вопросительно на нее посмотрел, она покачала головой.

— Хорошо, тогда и я тебе ничего не скажу.

— Это касается суда?

— Косвенно.

— А, черт, в таком случае говори!

— По-моему, лучше, если ты будешь это знать. Можно вовремя принять меры.

— Это что-то *очень* плохое, *очень* неприятное, да?

— Нет, скорее, комическое и *немного* досадное.

Ее широкое лицо под некогда белокурыми, а теперь седыми волосами, все еще прелестное и по-детски наивное, подергивалось от сдержанного смеха; она провела рукой по его лысой голове, обрамленной полоской редких седых волос, и тихо сказала:

— Эта особа — как же ее зовут? — Ева, кажется, из ресторации «Дурские террасы», которая каждый день носит им самые лучшие обеды,— она хихикнула,— не без гордости рассказывает направо и налево, что она «отдалась ему и от него понесла», цитирую слово в слово.

— Вот дьявольщина,— вырвалось у Штольфуса,— надеюсь, она хотя бы совершеннолетняя?

— С недавних пор. Очаровательная девчушка.

— Но ведь она всего каких-нибудь шесть недель носит им обед.

— Как раз тот срок, какой в этих случаях требуется, чтобы сделать первые горделивые предположения, как правило, они подтверждаются в дальнейшем.

— Надеюсь, это был младший?

— Да.

— Месяца полтора или два назад они с разрешения Грельбера получили отпуск на похороны его тестя, старика Лейфена. Надо заставить ее признаться, что именно тогда это случилось.

— Попробуй-ка заставь ее.

— А ты сама не хочешь попытаться?

— Попытаться-то я хочу, но удачливый любовник сделал бы это лучше меня.

— Что ж, он разумный молодой человек.

— И вкус у него — ей-богу, позавидуешь: более хорошенькой девчушки я здесь не видывала.

— Ах, эту обязанность Гермес снимет с меня. А вообще, закажи-ка по телефону цветы для Агнес.

— По телефону? Ты же отлично знаешь, что телефон у нас самый надежный источник информации: в «Пивной кружке» наверняка уже знают, что «мужской голос» говорил со мной о мере наказания, вернее, об оправдательном приговоре.

Они ели молча суп и второе (он был приятно удивлен, что это все-таки оказалась утка); он ел мало, она много. Вот уже сорок лет они молча ели суп и второе, он мало, она много; он выговорил себе эти двадцать минут молчания, будучи еще совсем молодым прокурором.

И сейчас этот перерыв был ему необходим, чтобы сосредоточиться и обдумать дальнейший ход судебного разбирательства. Покуда она ходила на кухню за кофе и десертом, он быстро набросал на клочке бумаги: Хорн? или патер К., старуха Л., Вермельск.? трое солд., Грэ., Кир., Ха., потом перенумеровал эти сокращения, так что Грэ., Кир., Ха. оказались впереди солдат.

Этим ее яблочным штруделем с ванильно-сливочной подливкой он никогда не мог вдоволь наесться, а о хорошенький мейссенский кофейник вот уже тридцать лет любил греть застывшие руки, прежде чем накапать себе в рюмочку сердечные капли; и вот уже сорок лет смотрел он на это некогда миловидное цветущее лицо, теперь побледневшее и раздавшееся вширь, сорок лет сидел он с нею за большим столом из темного орехового дерева, рассчитанным на множество детей, «по крайней мере на шестерых». Но вместо этого преждевременные роды, дети, не оставляющие даже утешительного земного следа — могилы, уголка, куда можно было бы прийти, бесследно сгинувшие в гинекологических клиниках; счета от врачей, «гормональные препараты», нахмуренные лица знаменитостей, покуда не исчезла и ежемесячная надежда, покуда она в сорок лет не вернулась к бескровному статусу десятилетней, и он перестал приходить к ней и тревожить ее своей мужественностью.

Она была болтлива и забывчива, он снова обратился в мальчика, но уже не мучился тем, чем мучаются мальчики. Даже на кладбищах не осталось земного следа, и все же оба они, вот уже сорок лет за обедом, когда он ел мало, она много, смотрели на пустующие стулья, словно ожидая, что сейчас начнутся ссоры, плач, привередничанье, зависть из-за мнимолучшего куска, и так никогда и не подумали о том, чтобы приобрести столовый стол поменьше. Гости в их доме бывали редко, а стулья нерожденных детей все стояли вокруг стола, даже спустя двадцать лет, когда она снова сделалась маленькой девочкой; или чудо, свершившееся с Сарой, свершится и с ней, хотя у нее давно «прекратилось»? Редкие ее попытки посадить на пустующие стулья выдуманных, выношенных ее материнско истерической фантазией детей, сердиться на дочь Монику за неумеренный аппетит и заставлять сына Конрада есть побольше, он в корне пресекал, окликая ее, точно сомнамбулу, сухим трезвым голосом, каким зачитывал решения суда. Иногда, очень редко, не более двух, может быть, трех раз за сорок лет, она пыталась ставить приборы для этих выдуманных, выношенных ее фантазией детей, но он всякий раз собственноручно собирал тарелки и стаканы и швырял их в мусорное ведро на кухне, не грубо, не злобно, а так, словно это было самым обыкновенным делом, словно он убирал папки со своего стола, и она не плакала, не кричала, только кивала головой и вздыхала, как будто выслушивая справедливый приговор. Только одно обещание он ей дал еще до женитьбы и сдержал его: *никогда* не способствовать вынесению смертного приговора.

В других местах, где она бывала одна и где ее не знали, она не стесняясь рассказывала о покойной дочери и сыне, павшем на войне. Он один только раз узнал об этом в маленьком пансионе среди баварских лесов, куда ему пришлось срочно выехать, так как ее с вывихом ноги отправили в больницу. За завтраком хозяйка пансиона принялась расспрашивать его о погибшем сыне Конраде, который учился на медицинском факультете и умер вблизи от города, называющегося Воронеж; из чужих уст и когда ее не было поблизости это звучало хорошо, даже правдоподобно. Белокурый и самоотверженный молодой человек заразился сыпным тифом в госпитале и скончался на руках своей возлюбленной молоденькой русской девушки: почему бы и не могло так быть? Почему бы ему и ей не взять себе в сыновья белокурого самоотверженного юношу, всеми давно позабытого, от которого не осталось даже гор-

сточки праха? По-видимому, когда его не было с ней, она населяла эту землю покойными дочерью и сыном, а потом опять давала ей обезлюдеть. А то, что произошло с фрейлейн Моникой, такой молоденькой, это же еще трагичнее; только подумать, что потерпел аварию самолет, на котором она летела «туда» к жениху, все уже приготовившему к свадьбе, а, кстати, что подразумевалось под словом «туда»? Уж не Америка ли? А если Америка, то какая — Северная, Южная или Центральная? Центральная, отвечал он, ложечкой помешивая кофе; жених ждал ее в Мехико. Нет, он был не немец, а француз и учился там в университете. В Мехико? Француз? Конечно, она не хочет быть навязчивой, да, собственно, ее это и не касается, но... не был ли он коммунистом?

Не надо обижаться на этот вопрос, она-то считает, что коммунисты тоже люди, но судьба этой молодой девушки пробудила в ней искреннее участие, после того как ее мать подробно ей обо всем рассказала, к тому же она где-то прочла, что в Мексике все «очень левые». Да, подтвердил Штольфус, он был коммунистом, этот француз по имени Берто, едва не ставший его зятем; Берто так и не женился, остался верен памяти Моники, погибшей где-то западнее Ирландии. Игра пришлась ему по душе — оттого, что не они вдвоем играли, а еще оттого, что от нее не тянулась нить к тем студенистым существам, что сгинули в клиниках городка в горах, городка в Вестфалии и близлежащего большого города. Один только раз узнал он об этой игре, один раз принял в ней участие на полчаса, за завтраком, перед тем как ехать в больницу, чтобы в больничной машине доставить ее домой. Это было единственным ее желанием: если уж умирать, то там, где она жила ребенком, умирать на попечении монахинь, веривших в «сына пресвятой девы». Одна из них была ее единственной еще оставшейся в живых школьной подругой, кроме Агнес, конечно, но общаться с Агнес ей «увы, увы» было запрещено; «обе,— говорила она, подразумевая монахиню и Агнес,— принесли бы тебе детей. Посмотри на их кожу: пигмент, гормоны, на их глаза, а мои все хуже видят и все больше выцветают; я буду стареть и стареть, и глаза у меня в один злосчастный день станут белесыми, как яичный белок». Да, глаза у нее постепенно белели, выцветали, как синева на английских почтовых марках. А что касается детей от этой Ирмгард и его кузины Агнес — нет, нет; может, так оно и лучше — без детей.

Право же, чудо что такое этот ее свежий хрустящий штрудель с яблоками и как умело она сдобрила его изюмом и корицей, а соус из сливок с ванилью, густой, точно каша, пожалуй, и того лучше; в благодарность он дотронулся до ее руки, которой она помешивала для него кофе.

— Скажи, ты слышала что-нибудь про happening?

— Да,— ствечала она.

Он поднял глаза и строго взглянул на нее.

— Правда? Прошу тебя, говори серьезно.

— Конечно, правда, я вполне серьезна. Разве ты иногда не читаешь центральные газеты? Этот happening — новая художественная форма, новый способ самовыражения; взяли да и расшибли что-нибудь на куски с согласия того, кому эта вещь принадлежит, а нет, так и без оного.

Он отложил вилку и поднял руки — заклинающий жест, которого она боялась, ибо этим жестом, что, правда, случалось очень редко, он призывал в суде свидетелей и подсудимых говорить правду, чистую правду, одну только правду.

— Клянусь тебе, это так, они выделывают удивительные штуки, сшибают паровозами автомобили, взрывают мостовые, брызгают куриной кровью на стены, расколошмачивают молотком ценные часы...

— И что-нибудь сжигают?

— Об этом я пока не читала, но почему бы и не сжигать, если можно разбивать часы на мелкие кусочки и вырывать у кукол глаза и руки?..

— Да,— сказал он,— почему бы и не сжигать, в крайнем случае даже не спрашивая разрешения владельца; почему не передать дела, требующего по меньшей мере разбирательства с судебными заседателями, в мои гуманные руки, назначить прокурором приезжего человека, а протоколистом кого-нибудь, кто еще верит в правосудие, хотя и не слишком, ну, скажем, желторотого Ауссема, еще так недавно являвшегося к нам с самодельным фонариком в день св. Мартина? Почему бы нет? Почему? — Попросив еще кофе, он протянул ей чашку и расхохотался от души и так громко, как позволяла ему сигара (та самая, которую он закурил еще утром).

Она огорчилась, что он не спешит объяснить ей, что̀ его так рассмешило, он ведь даже поперхнулся сигарным дымом, но Штольфус тут же сказал:

— Ты подумай только о своих центральных газетах: сожгли машину, спели по ней литанию и при этом постукивали трубкой о трубку, ритмично — не понимаешь, почему я смеюсь? Почему Грельбер не желает огласки, а Кугль-Эггер не должен понимать, к чему это восходит?

— Ах,— воскликнула она, взяла помадку из серебряной вазочки и налила себе кофе.— Теперь-то я поняла, какие они хитрецы, хотя это скорее попахивает поп-артом.

Это он любил: когда она закуривала и пускала дым, как десятилетняя девочка, которая хочет казаться порочной, белая сигарета в зубах была ей удивительно к лицу. Сорок лет, а он так и не пробудил в ней жизни, не оставил земного следа, даже воспоминания хотя бы об одном насилии, когда он еще приходил к ней со своей мужественностью; очень, очень постаревшие дети. Он снова дотронулся до ее руки.

— Давно я не ел ничего более вкусного.— Он опять засмеялся, вспомнив о своей записке: Грэ., Кир., трое солд., п. К. Разве этот набросок не смахивал на поп-арт?

Он редко возвращался в суд так бодро и с таким легким сердцем. Не без шика надел он пальто и шляпу, взял трость, поцеловал бледное круглое лицо под некогда белокурыми волосами, все еще подергивающееся от смеха. Даже Бирглар казался ему сегодня менее душным и тесным, право же, Дур, пусть глинистый и ленивый, красиво вился по их городку, приятно идти вдоль него, а вот и холм, откуда открывается широкий вид, памятник павшим воинам, о котором столько спорили, св Непомук на мосту, северные городские ворота, южные городские ворота, место постоянных заторов движения и аварий, красивы даже ставни на здании ратуши, крашенные белым и красным; почему бы не жить и не умереть в Биргларе?

«Нет, роз не надо,— сказал он в цветочном магазине,— и астр тоже. Цветов любви не надо, так же как и цветов смерти...— Да, да, вот этот прелестный осенний букет — адрес фрейлейн Халь вам ведь известен?»

Единственным удачным блюдом в тот день оказалось шоколадное парфе, которое в утешение и в извинение подавалось даже тем, кто его не заказывал, приготовленное накануне в количестве, значительно превосходящем возможный спрос на него, руками той, которая до такой степени смутила сердце и душу матери гордым своим признанием, что «лучшей стряпухе округа» не удался даже ее коронный номер — кисло-сладкое жаркое. Подавал парфе сам хозяин, меланхолически, хотя и не безутешно приносивший извинения за незадавшийся обед: «Тут, видите

ли, причины эмоциональные, их быстро не объяснишь». Сегодня он брал со всех меньшую плату, чем указанная в меню, даже с Бергнольте, который был ему противен. И был очень недоволен, когда один и тот же мужской голос заставил его на протяжении нескольких минут вызывать к телефону сначала Кугль-Эггера, потом Бергнольте, причем в первый раз этот же голос осведомился, имеется ли в ресторане телефонная будка с достаточной звукоизоляцией; оба говорили подолгу, минут по пять-шесть, а то и больше; первый вышел из будки если не в смятении, то уж во всяком случае взволнованный, второй — удовлетворенно улыбаясь.

Небольшая задержка произошла, когда около 14.45 — все уже собирались уходить — неожиданно появился Хольвег, только что принявший ванну, хорошо настроенный, кивнул Гермесу и Кугль-Эггеру, издали поклонился дамам и подошел к столику, за которым сидели Грэйн, госпожа Шорф-Крейдель и Ауссем, посоветовавшие ему заказать глазунью со шпиком или омлет, все остальное сегодня никуда не годится, даже салат. Шорф-Крейдельша, Грэйн, Хольвег и Ауссем, одинаково преданные либеральной оппозиции, договаривались, не слишком громко, о мероприятии, назначенном на завтрашний вечер, заодно высказывая надежду, что эта Гермес на него не явится и не будет своими бойкими прогрессивными вопросами «снимать пенки либерализма для католиков Бирглярского округа». «Вот была бы нам радость,— шепотом произнесла Шорф-Крейдель,— если бы эту бой-бабу отлучили от церкви». Тут же она приветливо кивнула госпоже Гермес, под руку с Кугль-Эггершей покидавшей «Дурские террасы», и пообещала еще сегодня съездить в близлежащий большой город, чтобы предупредить докладчиков о возможных коварных вопросах упомянутой дамы.

Доклад на тему «Мировые продовольственные ресурсы — контроль над рождаемостью — государственное благосостояние» должен был делать очень молодой депутат — обстоятельство, которым, конечно, не преминет воспользоваться госпожа Гермес, или Противозачаточная Эльза, как ее вот уже несколько месяцев называли в Бирглярe. Хольвег заявил, что от своей газеты явится самолично и в передовой, которую он напишет, «честное слово, не уделит и полстрочки этой самой Эльзе». Затем вскользь спросил, как идет процесс Грулей, на что Грэйн отвечал, что в свидетельской комнате было довольно весело, а Шорф-Крейдель с сожалением заметила, что Зейферт, единственную, кто мог внести хоть некоторое разнообразие «в эту скучищу», поспешили удалить. Она еще рассказала, как Груль, вдруг закуривший трубку, можно сказать, подпалил ее, но «так искренне извинился, очаровательный человек, ты же его знаешь». Хольвег засмеялся и сказал, что этот «чисто местный штришок» премило перекликается с темой «О курении в зале суда», тут вмешался Ауссем и спросил, нельзя ли ему под псевдонимом «Юстус» написать небольшую статейку «О бессмысленности сожжения автомобилей и бессмысленности известных процессуальных процедур», но Хольвег вдруг разозлился, сделался сух и прошептал, что «наши друзья» настоятельно просили ничего не писать о процессе, ему тоже придется отказаться от «местного штришка», так как курение в зале суда, да еще «если курильщик — подсудимый» — это недозволенное действие, уж слишком бросающееся в глаза.

По пути в суд Гермес спросил Кугль-Эггера, почему тот не ставит под сомнение компетентность данного суда и не выдвигает хотя бы такого минимального требования, как назначение суда с судебными заседателями, на что Кугль-Эггер с улыбкой заметил, что не станет возражать,

если защитник, протестуя против этого, «что и говорить», странного правового казуса, потащит обоих Грулей в судебную палату Преля, чтобы вместо шести месяцев (адвокат немедленно его исправил: «четырех») исхлопотать для своих подзащитных два года, хотя он и не верит в успех такого протеста, поскольку в обвинительном акте говорится всего лишь о «нанесении материального ущерба и нарушении общественного спокойствия»; он пожал плечами, зловеще усмехнулся и добавил: а это на весах правосудия весит не больше, чем контрабанда и браконьерство, правда, здесь речь может идти еще о кощунстве и богохульстве, так как петь литанию в данном случае было по меньшей мере непристойно. Где нет жалобщика — а он, прокурор, жалобы не поддерживает,— нет и судьи. Гермес же волен, если ему этого хочется, требовать более высокой меры наказания!

Между тем вконец запуганная Кугль-Эггерша, которой ни шоколадное парфе, ни превосходный кофе не могли возместить испорченный обед, почувствовала нечто вроде облегчения, когда они наконец вошли в зал суда, ибо это помещение служило гарантией, что госпожа Гермес, по крайней мере в ближайшие два-три часа, будет молчать. Бедняжку давно уже разбирала тоска по «этой дыре восточнее Нюрнберга», родина совсем не по-родственному обошлась с нею, а точка зрения этой Гермес на важнейшие вопросы современности была ей уже досконально известна и успела прискучить. К тому же за истекшее время ей удалось выяснить, что это действительно была та «вечно жующая яблоко» и очень подвижная белокурая девочка, которую в ту давнюю пору пришлось поспешно и надолго упрятать в интернат, в общем-то скорее симпатичная, не злая, только утомительно назойливая, а в ее звонком смехе всегда слышались слезы. Бывала ли она в Израиле, еще успела спросить Кугль-Эггершу госпожа Гермес, когда вошел суд; отвечать той уже не пришлось, она только отрицательно помотала головой, в ответ на что адвокатша с помощью жестов успела еще дать ей понять, что она обязательно *должна* туда съездить, этого просто *нельзя* не повидать.

Обер-лейтенант решил заприходовать первую половину дня как весьма несчастливую, надеясь, правда, что его показания во второй хоть частично рассеют то подавленное состояние, в которое он впал от того, что ничего ему не удавалось и все оборачивалось против него: разговор с патером, попытка призвать к такту и благопристойности своих подчиненных, а теперь еще этот испорченный обед — ни удешевленная цена, ни шоколадное парфе на третье в должной мере его не утешили; поначалу он был склонен и в испорченном обеде усматривать проявление антипатии «как личной, так и идеологической» к нему и к институции, любезной его сердцу, но когда хозяин принес свои извинения и после шоколадного парфе подал еще бесплатно чашечку кофе, «чтобы до некоторой степени восстановить репутацию своего заведения, пошатнувшуюся от неожиданных душевных потрясений», он заглянул в его глаза, по-собачьи коричневатые, с где-то глубоко гнездившейся хитрецой, заподозрил насмешку, таковой не обнаружил, несколько успокоился, закурил и дочитал до конца передовую центральной газеты.

В кафе Фрона, еще до того, как старуха Лейфен пришла из кухни и объявила, что пора возвращаться в суд, и после того, как Шольвены наконец-то кончили держать совет с Вермельскирхен, последняя посвятила патера в исключительно драматическую историю своей жизни и наряду с этой исповедью, длившейся добрых двадцать пять минут, про-

читала испуганному старику чуть ли не полный курс философии любви. Она вышла, вернее, была выдана замуж за унтер-офицера Вермельскирхена совсем еще девочкой — шестнадцать лет, веселая, молоденькая, жадная до жизни и до любви. Он, конечно, сначала обвенчался с нею «в церкви, все как положено», а потом уже ее совратил, но ничего не было путного в том, что он с нею проделывал, она замирала от страха — до чего только страсть не доводит мужчину. Два года прожила она с этим Вермельскирхеном, парнем лукавым и ленивым, в два раза старше ее, ему тогда уже тридцать два стукнуло, и успела убедиться: мужчина — да, но не солдат, не земледелец, только мужчина, и в такой мере, в таких проявлениях, что у нее глаза от слез не просыхали. В последние месяцы войны его забрали из Бирглара, где он пристроился на автобазе, и через два дня его не стало; эту скорбную весть ей принес его товарищ, но не только эту, он знал еще — и немедля поставил ее об этом в известность,— какая у нее кожа, какие руки; он знал ее тело не хуже, чем муж, который из смерти, через него, своего товарища, вновь овладел ею; «низкое предательство», с этого все и пошло: она как будто и не вдова, а по-прежнему жена Вермельскирхена, он все еще обладает ею, он, «давно запаханный в землю» где-то в Хюртгенвальде, без могилы, без креста, не оставивший даже следа на земле. Да, он жив, и не надо ей объяснять, что мертвые не мертвы, только временами она все-таки думает: лучше бы они были мертвы по-настоящему, а впрочем, ее благочестивые родители ведь перед алтарем отдали ее этому Вермельскирхену; и как же патер не может понять, что *он* иногда «овладевает ею», этот парень, предавший ее, раздаривший своим приятелям все, даже родимое пятнышко у нее на спине. Суп и кофе остыли, так что им пришлось долго и растерянно оправдываться перед госпожой Фрон, которая вошла в комнату вместе со вдовой Лейфен, что, впрочем, было излишне: булочница сразу поняла — здесь происходило нечто чрезвычайное. «Сидел там,— рассказывала она позднее,— и держал в своих руках ее до ужаса прекрасную руку, как влюбленный в кинозале, и ни он, ни она даже не притронулись к супу и кофе».

На втором этаже, где они трое снова встретились, чтобы надеть свои мантии, Штольфус объявил прокурору и защитнику, что намерен еще сегодня закончить разбирательство, и потому предлагает им уже сейчас обдумать свои заключительные речи и сделать необходимые заметки. Он полагает, что с показаниями свидетелей и экспертов — профессора Бюрена и антиквара Мотрика,— а также с повторным допросом Грулей можно будет покончить еще до 18.30 и уже затем сделать перерыв, можно, впрочем, объявить краткий перерыв еще и до этого. Кугль-Эггера этот план, видимо, вполне устраивал, Гермеса — не особенно; разумеется, он согласен с таким уплотненным расписанием, сказал Гермес, но беспокоится, сумеют ли его подзащитные без ущерба для здоровья выдержать «столь сильное напряжение»; этот аргумент привел лишь к тому, что Штольфус улыбнулся любезно, а Кугль-Эггер — насмешливо; Гермесу, в свою очередь, осталось лишь кисло улыбнуться на учтивую просьбу Штольфуса не прибегать к таким трюкам, как обмороки или приступы слабости у подсудимых. Если Гермес действительно опасается подобных последствий, не без легкой угрозы в голосе сказал Штольфус, уже спускаясь по лестнице, то на этот случай имеется доктор Хюльфен, которого всегда можно вызвать из больницы св. Марии, благо она находится в каких-нибудь двух минутах ходьбы от суда. Кстати сказать, первую помощь может подать и госпожа Шроер. Гермес, втихомолку надеявшийся посвятить в юридические странности этого процесса школьную подругу своей жены, которая, случалось, писала отчеты

для центральных газет и в Бирглар должна была прибыть лишь поздно вечером — на следующее утро он хотел всеми правдами и неправдами провести ее в зал суда,— почувствовал, что его околпачили, и не слегка, а довольно основательно; посему он стал размышлять о возможных поводах для пересмотра дела.

## 3

Из дюжины слушателей утреннего заседания к вечернему осталось только трое: госпожа Гермес, госпожа Кугль-Эггер и Бергнольте, все еще не решивший, точно ли обед в «лучшем», как ему сказали, ресторане города был настолько плох или это впечатление следует приписать «патологическому состоянию его вкусовых нервов». Он даже представить себе не мог, чтобы Грельбер, чье гурманство было настолько общеизвестно, что его даже приглашали как эксперта-любителя разбирать случаи нарушения «закона о пищевых продуктах», рекомендуя ему этот ресторан, сладострастно причмокнул шутки ради. Бергнольте задумчиво сел на прежнее место, сперва с удовлетворением, а потом чуть ли не с прискорбием констатировав, что ряды слушателей заметно поредели.

На вечернем заседании отсутствовали: супруга специалиста по социологии коммуникаций господина Хейзера, так как ей нужно было приготовить мужу реферат по проблемам использования светофоров, а для этого требовалось подытожить статистические отчеты, вставить несколько лозунгов и упорядочить ход изложения; далее, отсутствовали: Агнес Халь по вполне понятной причине, шурин Груля, мясник Лейфен из Хузкирхена, так как ему предстояло забить для назначенной на завтра свадьбы свинью и теленка; далее, двое коллег Груля-старшего, которые очень бы хотели послушать выступление экономического эксперта, но не могли ухлопать на это весь день, а потому обратились к Грулю через посредство судебного пристава Шроера с просьбой при первом же удобном случае сообщить им все, что было интересного в этой речи; далее, госпожа Шорф-Крейдель по причине, тоже известной читателю, и, наконец, три пенсионера, которые положили себе за правило лишь до обеда уподобляться «студентам-криминалистам», а после обеда, укрывшись в тихой задней комнате трактира «Пивная кружка», готовиться к предстоящему турниру игроков в скат, организованному комитетом «Радость для наших престарелых сограждан» в соседнем окружном центре Воллерсховен и намеченному на ближайшее воскресенье; все три старика, из которых один был крестьянин, другой — учитель в отставке, а третий — ремесленник без малого восьмидесяти лет, независимо друг от друга сочли дело Грулей «несколько странным», но не заслуживающим особого внимания, поскольку оно им и без того было известно.

К прежним слушателям прибавилось двое новых: товарищ молодого Груля по военной службе фермер Хуппенах из Кирескирхена — ему все равно надо было зайти в окружную сберегательную кассу похлопотать насчет кредита — и господин по имени Лейбен, окружной старшина на пенсии и дальний родственник Штольфуса. Поначалу Бергнольте заподозрил и Хуппенаха и старого Лейбена в принадлежности к стану журналистов, но, бегло изучив их внешность и выражение лиц, отверг это подозрение.

Явные перемены к лучшему в настроении председательствующего и в настроении обоих подсудимых были достойны куда большей аудитории; оба Груля, еще утром казавшиеся спокойными и сдержанными, сейчас излучали такую радость, что даже защитник, несколько сникший, воспрянул духом. Неудачный обед не испортил настроения прокурору: он без долгих раздумий заказал себе на второй десерт знаменитое яич-

ное суфле, собственноручно изготовляемое Шмитцем; Грули, как баловни судьбы, оказались единственными клиентами «Дурских террас», не пострадавшими от душевного смятения прославленной поварихи. Сообщение, столь пагубно отразившееся на качестве приготовляемых блюд, было сделано молодой особой лишь тогда, когда единственно удавшиеся в этот день телячьи шницели для обоих Грулей уже лежали в судке. Порадовал Груля-старшего и на редкость ароматный кофе, и одна из тех сигар, которыми Шмитц баловал его раз в год по обещанию: нежнейшая смесь табаков неслыханной чистоты.

Сообщение Евы Шмитц о том, что она ждет ребенка, повергло обоих Грулей в состояние, близкое к эйфории, они по очереди отплясали один с невестой, другой с невесткой веселый танец и несколько раз ее переспрашивали, не ошиблась ли она.

Прокурор, приятно взволнованный тем обстоятельством, что его коллеге Гермесу не удалась задуманная инсценировка, после перерыва вызвал первым Груля-старшего и шутливо спросил его, не ошибся ли он, когда сказал, что не имеет судимости, хотя и приходил в столкновение с законом — с налоговым законом. Груль повторил, что судимости не имеет, другое дело — бесчисленные исполнительные листы. Но прокурор ласково перебил его, заметив, что речь идет не об этом, а о загадочном факте, который поразил его, когда он перелистывал дело: как могло случиться, что Груль, призванный только в сороковом году, к концу сорок второго уже стал фельдфебелем, а к концу сорок третьего, непонятно почему, снова сделался рядовым солдатом. Ах вот что, весело воскликнул Груль, да это проще простого, его разжаловали летом сорок третьего, только и всего. Ах вот что, воскликнул прокурор не менее весело, не хотите ли вы сказать, будто всех солдат ни с того ни с сего подвергают разжалованию. Нет, почему же, сказал Груль уже не просто весело, а почти с ликованием в голосе. Его судил трибунал и приговорил к восьми месяцам тюрьмы, а отсидел он шесть в какой-то крепости.

Здесь вмешался защитник и спросил председательствующего, допустимо ли в таком случае говорить про судимость, на это прокурор ответил, что он пока не называл судимостью приговор военного трибунала, председательствующий же спокойно разъяснил защитнику, что здесь важно только одно — за какой проступок Груля судил военный трибунал. Прокурор с улыбкой спросил Груля-старшего, хочет ли тот давать показания по этому поводу. Не посоветовавшись с защитником, Груль утвердительно кивнул и сказал, что хочет. На это прокурор: «Тогда расскажите мне, что там у вас произошло».

Груль рассказал, что уже во время строевой подготовки его неоднократно отзывали на столярные работы, либо прямо в квартирах офицеров и унтер-офицеров, либо в батальонной мастерской, потом его полк выступил во Францию, когда там кончилась война. (Прокурор перебивает его вопросом: «Вы имеете в виду боевые действия во Франции?» Ответ Груля: «Я имею в виду войну».) Сперва они стояли в Руане, потом в Париже; на него всюду был спрос, и по этой причине он поднимался все выше и выше, под конец он даже работал на одного полковника — «сплошной Людовик Шестнадцатый», жена полковника была просто помешана на Людовике, а потом для него конфисковали маленькую мастерскую в районе Пасси, совсем маленькую, но в ней было решительно все, что нужно краснодеревцу; по утрам он уходил туда работать, позднее он там и ночевал, а еще позднее подружился с коллегой, которому раньше принадлежала мастерская, и добился у полковника разрешения допустить этого француза к работе; звали его Эрибо, они по сей день с ним дружат. Сейчас Эрибо содержит антиквар-

ную лавку, и дела у него идут неплохо,— мысль открыть такую лавку возникла еще во время войны, когда они работали вместе. Эрибо хороший, можно сказать, отличный столяр, главным образом мебельщик, но стильной мебели раньше не делал, делать стильную мебель он научился у него, Груля. А научившись, стал работать «себе в карман», полковник ни о чем не догадывался, а Груль и не собирался ему докладывать, сколько времени уходит на ту или иную поделку; к примеру, на маленький комод, с которым дома можно было бы управиться за неделю, а то и за три дня, он испрашивал два месяца.

И вот однажды он сказал полковнику, что дома он запросто выгонял четыреста-пятьсот марок в месяц и что содержание, положенное рядовому солдату, это не деньги при такой работе. Полковник в ответ рассмеялся и быстренько произвел его в ефрейторы, потом в унтер-офицеры, а там и в фельдфебели. Между тем в мастерской у Эрибо стал по вечерам собираться народ, мужчины, иногда женщины, приносившие с собой вино и сигареты; Эрибо его всякий раз отсылал на том основании, что им, да и ему тоже, лучше будет, если он никогда не узнает, о чем здесь говорят; на двери мастерской прикрепляли вывеску: «Немецкий вермахт» или что-то в этом духе. Когда его отсылали, он уходил то в кино, то на танцы и по просьбе Эрибо возвращался домой за полночь.

На ехидно кроткий вопрос прокурора, не казались ли ему, Грулю, подозрительными эти сборища, Груль отвечал: ничего не казались, хотя он, разумеется, понимал, что эти люди собираются у Эрибо не затем, чтобы обсудить текст верноподданнического адреса на имя Гитлера. Как-никак была война, и он, Груль, не имел оснований думать, что французы от нее в восторге, а Эрибо помогал ему и полковнику раздобывать мебель, он знал многих краснодеревцев, антикваров, да и вообще знакомых у него было хоть пруд пруди. На мебель были установлены закупочные цены в переводе на масло, кофе, сигареты «и такие высокие, что даже соседям кое-что перепадало»; за все платили маслом, кофе, сигаретами, вдобавок он, Груль, много разъезжал, ездил в Руан, Амьен, потом даже в Орлеан и всякий раз прихватывал посылочки для друзей Эрибо: масло, кофе и тому подобное, пока Эрибо однажды не спросил его, не возьмется ли он доставить посылочку с маслом, наперед зная, что в ней нет ни масла, ни кофе, ни сигарет.

За это время они очень сблизились, он жил в семье у Эрибо, там и столовался, и жена Эрибо и маленькая дочка очень тепло к нему отнеслись, когда умерла его жена. Короче, он попросил Эрибо сказать ему, что в этой посылке, а тот ответил: «Ничего дурного, сплошь бумага, но то, что на ней напечатано, вряд ли придется по вкусу твоему полковнику». Ну что ж, он отвез эту посылочку, а потом и еще возил. Но тут один солдат из комендатуры, куда он являлся получать содержание и продовольственные карточки, посоветовал ему быть поосторожнее: за мастерской установлена слежка. Тогда и он посоветовал своему другу Эрибо быть поосторожнее. Эрибо немедленно исчез со всей семьей, а его, Груля, через два дня арестовали; он признался, что возил посылки, но не признался, что ему было известно их содержимое. После судебного разбирательства рухнула вся «мебельная фирма», оказалось, что шум поднялся именно из-за нее, полковника тоже понизили в чине.

На вопрос, счел ли он это наказание справедливым и испытывал ли он угрызения совести, Груль ответил: нет, никаких угрызений совести он не испытывал, а что касается наказания, то справедливость — слишком высокое слово, неприменимое ни к войне, ни к ее последствиям. Ах так, значит слова «справедливый» и «справедливость» кажутся ему неприменимыми и по сей день? Да, ответил Груль, «и по сей день, очень даже кажутся». Но он ведь говорил суду, что не занимается политикой,

как же он мог стать на сторону этих людей? Именно потому, что не интересовался политикой, а людей этих любил, «только вам этого не понять». Прокурор рассердился и заявил протест в связи со вторичной попыткой Груля судить о его, прокурора, умственных способностях, в остальном же он больше вопросов не имеет; взгляды подсудимого ему сейчас абсолютно ясны, если сопоставить их со взглядами Хорна — и того ясней; и еще он, прокурор, отмечает, что подсудимый находит «естественными» вещи самые невероятные, для него все подряд «естественно». Председательствующий сделал Грулю замечание за его реплику «вам этого не понять» и, несколько поутратив доброе расположение духа, ибо драгоценное время утекало между пальцев, позволил и защитнику задать Грулю следующий вопрос: «Что делал Груль в военной тюрьме и после освобождения из тюрьмы?» Груль устало и очень равнодушно ответил: «Реставрировал мебель, после тюрьмы — в Амстердаме». На вопрос защитника, принимал ли он хоть когда-нибудь участие в боевых действиях, Груль ответил: «Нет, я сражался лишь на мебельном фронте, главным образом на фронтах Людовика Шестнадцатого, Директории и Империи».

Прокурор попросил сделать подсудимому замечание за неуместное выражение «мебельный фронт», в котором он, прокурор, усматривает неуважение к памяти погибших в последнюю войну, в том числе и к памяти своего отца, павшего отнюдь *не* на мебельном фронте. Председательствующий спросил Груля, что тот может возразить на это справедливое замечание, и Груль по его требованию обстоятельно разъяснил прокурору, что у него и в мыслях не было оскорблять память погибших, что у него в семье тоже погибли брат, дядя, зять и, кроме того, его лучший друг, фермер Вермельскирхен из Дульбенвейлера, но он, Груль, сражался исключительно на мебельном фронте и много раз беседовал о своей деятельности с братьями, с шурином Генрихом Лейфеном, а его покойный друг Вермельскирхен, летчик унтер-офицер, имевший много наград, даже не раз ему говорил: «Удерживай свои позиции на мебельном фронте!» — стало быть, выражение это пошло не от него, Груля, а от неоднократно награжденного унтер-офицера, павшего в бою. И потому он не считает нужным брать свои слова обратно.

Показания почти восьмидесятилетнего патера Кольба из Хузкирхена вылились в своего рода дружескую беседу, порою они напоминали богословский семинар для народных учителей, слегка приправленный сельским балагурством, но, к успокоению председательствующего и к великому огорчению госпожи Кугль-Эггер и Эльзы Гермес, почти не содержали в себе того, что прославило патера далеко за пределами Бирглара,— его «пламенной и бесстрашной оригинальности», которая хоть и проявлялась в ряде его высказываний, но отнюдь не проявлялась в манере держать себя. Бергнольте, единственный из присутствующих, кто раньше не знал патера (Кугль-Эггеры во время первого, официального визита в Хузкирхен уже имели возможность познакомиться с образчиками его темперамента), вечером в беседе с Грельбером охарактеризовал его как «первостатейного оригинала — вы, конечно, понимаете, что я имею в виду».

Штольфус со сдержанной любезностью, в которой даже самый злонамеренный человек не усмотрел бы ничего оскорбительного, предложил Кольбу стул, но тот отказался от поблажки с любезной сдержанностью, в которой не было ничего оскорбительного.

Патер сказал, что не знал Груля-старшего в первые годы жизни, но помнит его с десятилетнего возраста — поскольку Иоганн частенько наведывался из Дульбенвейлера в Хузкирхен к своей тетке Вермельскир-

хен, а ближе он узнал его, когда Грулю исполнилось шестнадцать лет и он «начал встречаться с Элизабет Лейфен, своей будущей женой». Он, патер Кольб, всегда считал Груля человеком работящим, отзывчивым и положительным, немножко тихоней — но тут, возможно, сказались тяжелые впечатления детства. Когда прокурор спросил, какие это впечатления, Кольб ответил, что не хочет касаться этой темы, ибо подобные разговоры легко дают повод к кривотолкам. Когда прокурор, не решившийся настаивать на ответе, спросил его о религиозных устоях Груля, Кольб, уже начав проявлять свой прославленный темперамент, заявил голосом более громким, чем прежде, что здесь он стоит перед *светским* судом, а светскому суду не пристало задавать подобные вопросы; кстати сказать, он и церковному суду на такой вопрос не ответил бы и вообще никогда не отвечал. Председательствующий разъяснил ему, что он имеет право не отвечать на вопросы прокурора, но сейчас речь идет о том, чтобы получить представление о характере Груля, и, поскольку достопочтенный господин Кольб является как-никак священнослужителем, адресованный ему вопрос о характере подсудимого вполне уместен. Кольб столь же любезно отверг наличие взаимосвязи между характером и вероисповеданием, а затем, снова несколько возвысив голос, обратился к прокурору и заявил, что оспаривает само наличие взаимосвязи между вероисповеданием и порядочностью. Сказать он может только одно: Груль *всегда* был порядочным человеком; он никогда не позволял себе непочтительно или кощунственно отзываться о религии; что до светской стороны дела, то Груль немало порадел для своего прихода при восстановлении и реставрации сильно пострадавшей церкви; к тому же он нежно любит детей и «в тяжелые годы» собственноручно вырезал из дерева превосходные игрушки для ребятишек, которые и мечтать не смели о рождественских подарках.

Здесь Груль-старший движением руки попросил слова и, получив таковое, сказал, что, хоть его об этом и не спрашивают, он считает своим долгом сообщить, что к религии относится равнодушно, и так уже давным-давно, с тех пор, как перед свадьбой ходил слушать проповеди достопочтенного господина патера, то есть примерно двадцать пять лет назад, не меньше. После этого патер сказал, что Грулю, быть может, и недостает веры, но он, патер, считал и будет считать Груля одним из немногих истинных христиан в своем приходе. Когда прокурор очень любезно, можно даже сказать, ласково и с улыбкой заявил, что ему странно слышать такие речи из уст священнослужителя и он позволит себе — «уж вы меня извините» — усомниться в том, что сей тезис правомочен и неуязвим с богословской точки зрения, да и где это слыхано, чтобы патер не скорбел при виде подобного равнодушия, патер отвечал так же любезно, можно сказать, ласково и тоже с улыбкой, что он, патер, скорбит при виде очень даже многого в этом мире, но не ждет в своих скорбях помощи от государства. Что же до теологической правомочности или неуязвимости его утверждений, то господин прокурор, вероятно, «слишком многого понабрался в католических кружках». Председательствующий позволил себе пошутить и спросил прокурора, не желает ли тот затребовать богословскую экспертизу, чтобы разобраться в религиозных убеждениях Груля; прокурор залился краской, протоколист Ауссем хмыкнул и вечером того же дня рассказывал своим товарищам по партии: «у них чуть не дошло до скандала». Далее защитник спросил у патера, правда ли, что он однажды застал в церкви Груля, курившего трубку. Да, ответил патер, один раз, даже два раза он заставал Груля в церкви с трубкой; Груль — наверно, он обещал это своей покойной жене — частенько приходит посидеть в церкви, когда там нет службы, и действительно, он заставал его с трубкой: Груль сидел на одной из последних скамей и курил; сперва он, патер, испугался и даже

рассердился, это показалось ему святотатством, позднее же, когда он вгляделся в выражение лица Груля, окликнул его и даже пожурил немного, он прочитал на этом лице выражение «почти целомудренного благочестия». «Он совершенно ушел в себя и явно витал мыслями где-то далеко, и знаете,— добавил патер,— это может понять лишь тот, кто курит трубку, я, к примеру: трубка становится как бы частью твоего тела, я и сам себя поймал однажды на том, что вошел в ризницу с горящей трубкой, и заметил это только тогда, когда начал уже натягивать через голову облачение, и трубка застряла в узкой горловине, и не случись при этом служки и не будь горловина такой узкой, я, может, и взошел бы на амвон с трубкой во рту».

Суд, подсудимые и публика по-разному восприняли это признание: госпожа Кугль-Эггер впоследствии сказала, что ушам своим не поверила. Эльза Гермес сочла это «потрясающим». Бергнольте вечером доложил Грельберу: «По-моему, у него не все дома»; председательствующий, защитник и подсудимые улыбнулись, прокурор вечером сказал своей жене, что его охватил «неподдельный ужас», молодой Хуппенах захохотал во все горло, а старый Лейбен покачал головой и впоследствии говорил, что «тут уж патер хватил через край».

На вопрос защитника, что он может сказать о Георге Груле, патер с улыбкой обернулся к Грулю-младшему и ответил, что уж его-то он действительно знает со дня рождения, ведь Георг родился в Хузкирхене, и он крестил его на дому по желанию матери, которая уже была при смерти, затем Георг учился в хузкирхенской школе. Короче, он хорошо его знает: Георг, скорее, вышел в мать, чем в отца, «только характер у него необузданный»; а вообще парень он работящий, добропорядочный, с отцом жил душа в душу; сперва его еще воспитывала бабушка, а после войны, когда Георгу было года три,— один отец. Изменился Георг, только когда ушел служить в бундесвер. Добавьте к этому, что его отец именно тогда окончательно запутался в долгах, но прежде всего «скука, невыносимая скука военной службы» тяжело поразила доброго и здорового мальчика, прежде очень жизнерадостного и прилежного, она изменила его, сделала «злым, я бы даже сказал,— злобным». Прокурор любезно, но твердо прервал патера и сказал, что если человек, который из-за прохождения службы в столь демократической институции, какою является бундесвер, стал злым и даже злобным — а это при более близком знакомстве с мировоззрением и жизненным путем Груля-старшего и со всей его вскрытой здесь жизненной философией отнюдь не кажется удивительным...— повторяю, если человек из-за военной службы стал злым и даже злобным, значит, он имеет к злобности особое предрасположение. Отсюда и вопрос к уважаемому господину патеру: в чем, собственно, выразилась злобность молодого Груля?

Патер не менее любезно, но твердо опроверг прокурорский тезис относительно предрасположенности ко злу, якобы необходимой для того, чтобы молодой человек озлобился из-за военной службы. Для молодого человека, сказал патер, нет ничего пагубней соприкосновения и знакомства с грандиозной организацией, смысл которой сводится к производству абсурдных никчемностей, другими словами — к полной, почти абсолютной бессмыслице. Таково его мнение по данному вопросу. Вообще же, наверно, и он, патер, предрасположен к злобности, ибо в 1906 году он служил в артиллерии вольноопределяющимся и близкое знакомство с военной жизнью чуть не ввергло его «в полный нигилизм». Что же касается основного вопроса господина прокурора — в чем выражалась злобность молодого Груля,— то надо сказать следующее: он никогда не отличался благочестием, но был мальчиком верующим, преданным церкви и вдруг начал презрительно отзываться о ней. Виной тому его начальник, который явно был не в меру ревностным католиком. Молодой Груль

сказал ему, патеру, будто он, патер, даже представления не имеет о том, что «творится на свете»; Груль слушал только его, патера, проповеди, только у него учился закону божию, а теперь он предлагает ему, патеру, учредить новую независимую хузкирхенскую католическую церковь. Злобность молодого Груля проявилась в чуть ли не богохульных рисунках и скульптурах. А однажды он и вовсе прикрепил записку к деревянной скульптуре св. Анны с Марией и младенцем; они совместно с отцом реставрировали ее и в субботу вечером по поручению какого-то там торговца художественными изделиями сдали госпоже Шорф-Крейдель. В этой записке стояла дословная цитата из «Гёца фон Берлихингена», а скреплена она была подписью «Ваша богоматерь».

С тончайшей иронией прокурор заметил, что выражение «не в меру ревностный католик» в устах достопочтенного господина патера да еще применительно к офицеру бундесвера представляется ему по меньшей мере странным, равно как и мнение господина патера об институции, возникшей на демократической основе и призванной защищать те ценности, в сохранении коих прежде всего заинтересована церковь; вдобавок взгляды господина патера на данный предмет расходятся, как ни странно, с учением церкви, и поэтому он, прокурор, склонен расценивать высказывание господина патера как проявление пусть симпатичного, но более чем оригинального образа мыслей, и прежде всего он никак не может согласиться с конечным выводом господина патера: армия — как школа нигилизма, хотя всем известно, что именно армия призвана воспитывать молодежь в духе порядка и дисциплины.

Патер, забыв попросить слова, любезно, даже сердечно обратился к прокурору и сказал, что его, патера, высказывания никоим образом нельзя рассматривать как проявление пусть симпатичного, но весьма оригинального образа мыслей, что они неуязвимы с богословской точки зрения; а то, что господин прокурор именует учением церкви, продиктовано необходимостью ладить с мирскими властями, и это никакое не богословие, а обычное приспособленчество. Он, например, в свое время советовал молодому Грулю уклониться от военной службы, а Груль ему ответил, что человек может это сделать только по велению совести, его же совесть в данном случае не играет никакой роли, его совесть, если можно так выразиться, вообще не имеет касательства к военной службе, а имеют касательство лишь его разум и воображение. Тут ему, патеру, пришлось согласиться, что в словах молодого человека заложена глубокая истина, ведь он и сам не очень высокого мнения о совести, которую можно повернуть и так, и эдак, о совести, которая с одинаковой легкостью обращается то в губку, то в камень, тогда как разум и воображение суть высокие, божественные дары, коими господь наделяет человека. Посему он ничем не мог утешить молодого Груля, ибо понял сам, как нелепо обращаются нынче с этими божественными дарами — разумом и воображением. Не следует также упускать из виду, в сколь тягостном положении оказался молодой Груль, вынужденный наблюдать со стороны, как его отец все больше и больше запутывается в долгах, ему же в это время за мизерную плату приходилось отделывать бары для офицерских и унтер-офицерских казино; но всего тяжелее была для него эта командировка, о которой он... Тут председательствующий учтиво попросил патера воздержаться от высказываний по этому вопросу, поскольку они намерены обсуждать его при закрытых дверях и допросят в качестве свидетеля бывшего начальника молодого Груля. Тогда старик патер хлопнул себя по лбу и воскликнул: «Да, да, конечно, конечно, как же это я упустил из виду! Да будь я немного моложе, этот начальник за неделю превратил бы меня в атеиста»,— после чего добавил, что, по его мнению, не следует делать тайну из этой командировки, если уж о ней знает вся их деревня.

Председательствующий разъяснил ему, какая разница существует между двумя положениями: вообще знает вся их деревня или узнала из-за несоблюдения тайны,— а прокурора сердито спросил, намерен ли тот заявлять протест по поводу разглашения тайны или считает возможным при открытых дверях обсуждать командировку, которая безусловно является служебной и тем самым секретной. «Ибо если мы,— продолжал он,— подвергнем эту командировку публичному разбирательству, она станет тем, чем никогда бы не стала, хотя бы о ней говорили три или четыре деревни,— она станет документом, то есть достоянием гласности, вот что в корне отличает судебное разбирательство от сплетен и слухов, безразлично, справедливы они или нет». А потому он не хотел бы сейчас касаться командировки молодого Груля. Тут сидевший в зале Хуппенах залился таким громким и продолжительным смехом, что председательствующий уже после того, как Шроер смерил Хуппенаха очень пристальным взглядом, был вынужден сделать ему строгое предупреждение и пригрозил удалить его из зала.

Хуппенах сменил смех на усмешку, которая была квалифицирована прокурором как наглая и свидетельствующая о неуважении к властям. Председательствующий же сказал, что хотя и он, в свою очередь, находит усмешку Хуппенаха «малопочтительной», но для экономии времени предпочитает не подвергать скрупулезному разбору и моральной оценке усмешки присутствующих в зале. На вопрос, что он может добавить к высказываниям господина патера, молодой Груль спокойным голосом и все так же бодро ответил, что он благодарен господину патеру за точную характеристику своего душевного состояния и склада ума, избавившую его от необходимости самому говорить о себе, что он, кстати, не сумел бы сделать так сжато и точно. Ему нечего прибавить к высказываниям патера, патер, который действительно знает его с колыбели и которого он глубоко чтит, сказал все так хорошо, как ему бы в жизни не сказать. Патера с благодарностью отпустили. Перед уходом он чрезвычайно погрешил против норм поведения в зале суда, ибо обнял молодого Груля и пожелал ему вновь обрести смысл жизни подле доброй и красивой женщины, а Груль заверил патера, что это уже совершилось. Замечание председательствующего по поводу недозволенных в суде объятий прозвучало очень нежно, словно не замечание, а извинение.

Затем Штольфус объявил короткий перерыв и обратился с просьбой к прокурору и защитнику, чтобы каждый из них отказался по крайней мере от одного свидетеля; дело ему представляется совершенно ясным, так нельзя ли исключить из числа свидетелей хотя бы обеих дам — вдову Лейфен и вдову Вермельскирхен. После краткого размышления прокурор и защитник согласились удовлетворить его просьбу, и патер смог отправиться домой с обеими своими прихожанками, испытывавшими как облегчение, так и разочарование. Госпожа Кугль-Эггер, воспользовавшись перерывом, покинула зал суда, так как утром вызвала к себе на новую квартиру маляра, чтобы договориться с ним относительно покраски стенных шкафов в кухне. В тоске по утерянной сельской простоте этой «дыры восточнее Нюрнберга» она решила идти пешком и вспомнила по дороге, как она еще совсем маленькой девочкой, чтобы срезать путь, ходила задами кладбища через негустой кустарник, а потом вдоль Дура. Идя этой дорогой, она столкнулась с патером и обеими дамами из Хузкирхена, была опознана как Марлиз Грабель и слегка покраснела, оттого что в ее ответе на это сердечное приветствие явственно проступал баварский диалект; патер шутя обозвал ее «изменницей родины» и посоветовал на все столярные работы, которые потребуются в новой квартире, приглашать не Груля, а старого Хорна, ибо Груль окончательно погиб для столярных поделок.

Очередной свидетель Грэйн указал свою профессию: дипломированный экономист, имеет ученую степень, возраст — тридцать два года, а на вопрос председательствующего, случалось ли ему уже выступать при аналогичных обстоятельствах в качестве эксперта, ответил утвердительно: да, случалось. Густые белокурые волосы и симпатичное лицо Грэйна делали его похожим скорее на молодого врача, обаятельного и преуспевающего; длительное ожидание в комнате для свидетелей, в особенности же нудный разговор с обер-лейтенантом на философские темы несколько утомил его и вывел из терпения, а потому на требование председателя коротко объяснить экономическое положение Груля-старшего он с чуть презрительным высокомерием специалиста ответил, что ежели от него требуют связного изложения, то он заранее не может сказать, будет ли его речь краткой или пространной, существуют, правда, устоявшиеся формулировки, но дело Груля как бы пребывает в «ледниковом периоде народного хозяйства», так что он попросил бы... Конечно, конечно, сказал председательствующий, говоря «коротко», он имел в виду «по возможности коротко», а отнюдь не искажение смысла в угоду краткости.

Язык у Грэйна был хорошо, даже очень хорошо подвешен, он на память приводил всевозможные цифры, но при этом смотрел не на председательствующего, не на подсудимых и даже не на зрителей, а на некий невидимый пюпитр или на анатомический стол, где терпеливо дожидался вторжения его искусных рук подопытный кролик; жесты, которыми он подчеркивал особо значительные места, были отрывисты и резки, но ничего грубого в них не было. Грэйн сообщил, что с согласия Груля-старшего он изучил все его бухгалтерские книги, а также налоговые декларации и, предваряя последующие выводы, может сказать, что Груль — поскольку речь идет о его финансовом упадке — есть жертва беспощадного, немилосердного — тут он обернулся к Грулю и развел руками с видом любезным и как бы виноватым,— но, «как я нахожу и даже объясняю в своих лекциях», неизбежного процесса, кстати, отнюдь не нового, ибо он уже неоднократно имел место в истории экономики, к примеру, при переходе от средневекового цехового строя к промышленному строю нового времени и позднее в девятнадцатом веке, короче говоря, объективно этот процесс не остановишь, народная экономика среди всех финансируемых музеев еще не завела ни одного для поддержки анахроничных ремесел. Так выглядит данный вопрос в хозяйственно-историческом аспекте. Аспект моральный он даже не хотел бы здесь затрагивать — в современной экономике моральных аспектов вообще не существует, иначе говоря, это — состояние войны, и налоговое управление тоже находится в состоянии войны с налогоплательщиком, причем финансовое законодательство время от времени выбрасывает параграф-приманку, «как бросают рукавицу волку, бегущему за санями,— не для того, чтобы отвлечь волка,— с улыбкой пояснил Грэйн,— а для того, чтобы тем вернее поймать его».

Итак, даже с моральной точки зрения, Груля не в чем упрекнуть: он допустил всего лишь одну ошибку — позволил себя изловить, но эта ошибка не носит морального характера. Существует философия права, но не существует философии налога; финансовое законодательство щадит наиболее молочных коров и не забивает их раньше времени; если применить это сравнение к Грулю, можно сказать: коров грулевской породы осталось сейчас так мало, что закон о налогах не видит смысла оберегать их от убоя, а в случае необходимости и от преждевременного убоя. Если выразить это в цифрах, доступных для профанов, дело будет выглядеть примерно так: на предприятиях подобного типа слишком малы издержки производства, там почти не нужны машины и требуется совсем немного материала, доход в таком предприятии приносят главным образом руки, талант и художественное чутье, подобная расстановка сил, как

ее ни рассматривай, с субъективной ли, с объективной ли точки зрения, приводит к абсурднейшим балансовым итогам; когда Груль еще работал вместе с сыном, его оборотный капитал составлял в год ни много ни мало сорок пять тысяч марок; издержек же он мог в этом году указать всего четыре тысячи, иными словами, он получил сорок одну тысячу чистого дохода, отсюда подоходного налога тринадцать тысяч, да церковного — тысяча триста, да налог с оборота — почти тысяча семьсот, вместе с обязательным страхованием это составит более пятидесяти процентов от всего дохода, или, выражаясь популярно, из каждой заработанной марки в карман Груля попадало всего сорок пять, а бывали годы, когда всего лишь тридцать пфеннигов, Груль же к этому времени, опять-таки выражаясь популярно, успевал истратить, как свои «честно заработанные деньги», от семидесяти до семидесяти пяти пфеннигов на марку. Грэйн полагает, что он достаточно подробно охарактеризовал экономическое положение Груля, и только просит, чтобы ему позволили привести еще одно сравнение: сорока тысяч марок прибыли часто не имеют даже средние предприятия с оборотным капиталом в один миллион, а здесь ее добилась мастерская, в которой работало «всего два талантливых и трудолюбивых человека»; он приводит эти сравнительные цифры лишь для того, чтобы «наглядно изобразить», сколь «абсурдно с субъективной точки зрения», с объективной же сколь безжалостно и немилосердно, хотя это и диктуется необходимостью, обращаются народная экономика и налоговое законодательство с такими анахроничными предприятиями, которые не могут следовать великому закону: непрерывно увеличивать расходы на персонал, то есть, иначе говоря, увеличивать издержки производства.

Дело Груля, субъективно абсурдное и, по мнению народа, несправедливое, можно сопоставить с судьбой художника, когда тот — «я позволю себе оперировать общепринятыми, а не статистически стабильными ценностями»,— затратив на картину каких-нибудь двести или триста марок, продает ее за двадцать — тридцать тысяч, а то и дороже. У Груля даже не было телефона, он не должен был платить за квартиру, издержки его производства складывались лишь из минимальных расходов на материал, потребный для работы, ему даже на «угощение» тратиться не приходилось, уж если кто кого и угощал, так не Груль, а Груля — его клиентура и торговцы художественными изделиями, потому что не он искал клиентуру, а клиентура искала его и его работу. Еще несколько слов, сказал Грэйн, и он закончит свое выступление. Ему хотелось бы под конец прояснить то, что может показаться непонятным профану: каким образом у Груля накопилась недоимка в тридцать тысяч марок, сумма поистине невероятная, а если приплюсовать к ней судебные издержки и пени, то и все шестьдесят тысяч. Только за последние пять лет обороты Груля составили сто пятьдесят тысяч марок, чистая прибыль — сто тридцать тысяч, но если отсюда вычесть половину на налоги и прочие поборы, а из оставшейся суммы вычесть половину, «неосмотрительно истраченную Грулем на собственные нужды», то эта грандиозная сумма не покажется такой уж необъяснимой.

В последней части своего выступления, особенно четкой и внятной, Грэйн часто бросал на Груля взгляд, в котором странным образом мешалось сострадание и восхищение. В заключение Грэйн сказал, что современная налоговая политика редко вспоминает о налоговой морали; это понятие, правда, всплывает время от времени, но в основе своей оно смехотворно и, как он, Грэйн, полагает, даже недопустимо; налоговая политика сводится к тому, чтобы увеличить меру издержек, которые, если рассматривать их с этической точки зрения, неизбежно покажутся абсурдными, и, если бы ему, Грэйну, было предоставлено право судить о виновности или невиновности Груля — он имеет в виду налоговый воп-

рос, а не тот проступок, который является предметом сегодняшнего разбирательства,— то он сказал бы так: с человеческой точки зрения — абсолютно невиновен, с этической, точнее, с абстрактно этической—поведение Груля также ничуть не предосудительно, однако экономический процесс безжалостен и немилосерден, а финансовое законодательство не может позволить себе роскошь содержать на дотации «анахроничное сословие придворных шутов» и потому рассматривает чистую прибыль как чистую прибыль, и только. «Я не судья! — сказал Грэйн, при его моложавой стройности он выглядел на редкость симпатичным и умным человеком.— Я не судья,— он поднял палец, не угрожая, а, скорее, указуя на Груля,— не судья, не священник и не чиновник министерства финансов, я всего лишь экономист-теоретик. Как человек, я при всем желании не могу не испытывать уважения к подсудимому; я удивляюсь, как ему удалось продержаться в такой запутанной ситуации более десяти лет, не запутавшись еще больше, но как теоретик, я останавливаюсь перед этим фактом, как... ну, как остановился бы врач перед безнадежным раковым больным, который по всем расчетам должен был умереть пять лет назад». На вопрос прокурора, может ли свидетель уже не как начинающий, а как достаточно сложившийся теоретик отрицать понятие налоговой морали, Грэйн довольно резко ответил, что, разумеется, этот термин до сих пор не вышел из употребления, но лично он даже в своих лекциях, за которые ему платит государство, всегда говорит то же самое, что сказал здесь, то есть категорически отвергает понятие морали в науке о налогах. Поскольку дальнейших вопросов не последовало, свидетелю разрешили удалиться.

Во время небольшого перерыва, который образовался сам собой, покуда вызывали очередного свидетеля — судебного исполнителя Губерта Халя, четвертый из четверых еще остававшихся слушателей, старшина Лейбен, на цыпочках покинул зал: выкладки Грэйна надоели ему до тошноты, а от последующих свидетелей он также не ожидал ничего интересного. Хуппенах хоть зевал во весь рот, но остался в зале, так как все еще не уразумел, что при опросе обер-лейтенанта и фельдфебеля его все равно выставят за дверь.

Халь, судебный исполнитель шестидесяти лет от роду, чьи густые темные волосы вечно стояли дыбом, потому что он то и дело их ерошил, произвел, как позднее сообщил Грельберу Бергнольте, единственный из присутствующих не знакомый с Халем ранее, двойственное впечатление, «я бы даже сказал, не двойственное, а прямо-таки подозрительное: вид у него был довольно неопрятный, растрепанный, словом — не внушающий доверия». На вопрос защитника, в состоянии ли он раздельно охарактеризовать свои человеческие и служебные взаимоотношения с обвиняемым, Халь ответил с наглым спокойствием, что изучил эту разновидность шизофрении досконально, ибо с большинством «клиентов» состоит и в тех и в других отношениях. Что до стороны человеческой, он, «само собой», очень хорошо знал Груля, они великолепно понимали друг друга, нередко сиживали вместе за кружкой пива, причем, как правило, угощал он, так как на содержимое карманов Груля был наложен арест и ему, Халю, было неловко в пивной ревизовать кошелек Груля или его бумажник, а если понадобится, то и содержимое карманов. «Бог ты мой! — воскликнул Халь.— Мы ведь тоже люди»,— и как раз потому, что он тоже человек, Халь при всякой встрече платил за пиво и вино Груля. На просьбу защитника точно определить, что значит наложение ареста на содержимое карманов, так как это определение здесь неизбежно будет фигурировать, Халь зачитал соответствующие параграфы из памятки

для судебных исполнителей, которую, видимо, всегда держал при себе: «Судебный исполнитель обязан обыскать платье и карманы должника, на это не требуется особой судебной санкции. Обыск лиц женского пола судебный исполнитель осуществляет с помощью надежного лица женского же пола». Эта инструкция, продолжал Халь, которого явно приободрила тишина в затаившем дыхание зале, имеет свое правовое обоснование в параграфах 758 и 759 гражданского процессуального кодекса, каковые гласят: «Параграф 758, пункт первый: Судебный исполнитель обязан провести обыск квартиры и вещей должника, пока и поскольку это необходимо для того, чтобы выполнить решение суда. Пункт второй: Он обязан настаивать на вскрытии или взломе закрытых дверей дома, дверей комнаты, а также шкафов и прочих предметов обстановки. Пункт третий: Если ему оказывают сопротивление, он обязан применить силу, для каковой цели может прибегать к содействию органов полиции. Параграф 759: Если при исполнении решения суда исполнителю оказывается сопротивление или если во время исполнения оного в квартире должника не присутствует сам должник, либо кто-нибудь из членов его семьи, либо совершеннолетняя прислуга, судебному исполнителю надлежит привлечь в качестве понятых двух совершеннолетних посторонних лиц или же одного муниципального чиновника или полицейского».

Пораженный мертвой тишиной, которая установилась в зале при зачтении столь знакомого ему текста, и воспользовавшись тем, что Штольфус его не перебивает и не задает ему вопросов, Халь продолжал рассказывать плаксивым голосом, причем пафос его речи только усиливал эту плаксивость, «господам присутствующим», как часто ему приходилось в хорошо известных суду заведениях конфисковать содержимое карманов «у дам определенной профессии»; эта акция преимущественно сводится к тому, чтобы, улучив момент, сорвать туфли с обыскиваемой дамы, «ибо, как правило, они хранят свою наличность именно в туфлях», быстро вытряхнуть содержимое таковых в заранее приготовленный кулек и как можно скорей покинуть заведение, прежде чем о случившемся известят хозяина. При так называемых «карманных конфискациях», продолжал Халь, ему обычно помогает некая Шурц, пятнадцать лет прослужившая надзирательницей в женской тюрьме и знакомая со всеми уловками, включая тайники в нижнем белье, и к тому же обладающая незаурядной физической силой. С этой особой у него вечно происходят стычки, ибо она — за это ее, собственно, и уволили из тюрьмы — имеет «склонность наносить телесные повреждения», и это тоже хорошо известно суду. Вообще же, продолжал Халь, «карманные конфискации» — премерзкое занятие, и он не скрывает, что по возможности старается от них уклоняться, но есть кредиторы, которые считают его своим персональным агентом и настаивают на своем праве.

Что до человеческой стороны дела — теперь Халь говорил уже усталым, почти равнодушным голосом,— то любой человек в городе и в округе Бирглар, а его, Халя, клиентура куда обширнее, чем этого хотелось бы некоторым пророкам экономического чуда, любой знает, что он вовсе не изверг, а просто судебный исполнитель, руководствующийся решениями суда, хотя порой и прибегающий к содействию полиции, однако тот же Груль никогда на него не обижался. Груль подтвердил это выкриком с места: «Верно, Губерт, я на тебя никогда не обижался», за что и получил замечание от Штольфуса. Тут речь не о состоянии войны, а об отношении между охотниками и дичью, причем охотник должен прибегать к таким же уловкам, как и дичь, но у дичи положение более выгодное, если только ей хватает смекалки, ибо она не связана никакими законами и предписаниями, тогда как он, Халь, то есть охотник, находится под неусыпным контролем и должен держать ухо востро. В ответ на еще более резкое требование Штольфуса говорить только по существу дела и

не «злоупотреблять весьма спорными метафорами», Халь, как впоследствии рассказывал Грельберу Бергнольте, извлек из кармана «неслыханно грязную, чудовищно смятую и уж во всяком случае не внушающую доверия записку» и зачитал по ней некоторые данные.

Из-за одних только пени, не считая издержек по описи, напоминаний и прочих почтово-телеграфных расходов, задолженность в 300 марок через семь лет возрастет до 552 марок, а через десять — до 660, то есть значительно больше, чем в два раза. Когда речь идет о более крупных суммах — что в ряде случаев имело место, у Груля,— к примеру, о сумме в 10 000, то таковая за десять лет возрастает до 22 000 марок. А если прибавить к этому штрафы за подачу неверных сведений, что тоже в ряде случаев имело место у Груля, ибо он не только не платил налогов, но и старался всеми правдами и неправдами уклониться от их уплаты,— тогда, ну, тогда, конечно... Халь испустил протяжный, очень протяжный вздох, этим вздохом, по позднейшему утверждению того же Бергнольте, «пропах весь заяя». Особую категорию начислений составляют издержки по описи имущества и по напоминаниям, продолжал Халь. Размер их зависит от того, как часто высылаются напоминания и как часто производится опись. Существуют такие вздорные заимодавцы, которые, отлично зная, что с данного должника «нечего взять», тем не менее пытаются получить санкцию на все новые и новые описи, чем бессмысленно увеличивают размер долга; нагляднее всего это можно наблюдать на малых суммах, ибо минимальный расход по описи составляет одну марку, по напоминанию — восемьдесят пфеннигов, добавьте к этому почтово-телеграфные расходы и вы увидите, что за несколько лет долг в пятнадцать марок играючи вырастет в два-три-четыре раза. Возьмем, к примеру, случай с вдовой Шмельдера, муж ее, как известно, был кельнером и пользовался очень дурной славой,— так вот эта самая вдова... Председательствующий перебил его и попросил вернуться к делу Груля и говорить о «вменяемом в вину Грулю отказе от выполнения судебных решений», но на это Халь отвечал, что здесь нельзя говорить об отказе от выполнения в чистом виде, ибо Груль действует гораздо искуснее: он последнее время брал плату только натурой, каковая с трудом поддается конфискации, будучи же конфискована, доставляет судебному исполнителю одни лишь неприятности: так, например, Груль взял с одной крестьянской семьи двадцать килограммов масла за реставрацию буфета и восемнадцать из них сдал ему, Халю, при конфискации, он же, Халь, как дурак, на это согласился, а ночью ударила гроза, все масло «раз — и прогоркло» и не просто упало в цене, но вообще потеряло всякую цену, а Груль еще пригрозил подать на него в суд за «халатное хранение конфискованных ценностей», аналогичный случай произошел и с окороком ветчины.

И еще один аналогичный факт: Груль по заказу нынешнего арендатора «Дурских террас», хозяина ресторана Шмитца выполнил очень трудоемкую тонкую работу, точнее говоря, соорудил для зала ресторана высокоценную с художественной точки зрения мебель и панели, неизменно вызывающие восхищение всех посетителей, словом, заново отделал весь ресторан и стал утверждать, что это его подарок Шмитцу, старому другу, но этот номер не прошел — человек в положении Груля не имеет права делать такие дорогие подарки; тогда Груль по-иному договорился со Шмитцем: он будет в течение двух лет ежедневно у него обедать на сумму в десять марок, что приблизительно равняется стоимости выполненной работы. Но из этой затеи тоже ничего не получилось, ибо человек, у которого наложен арест на имущество, подпадает под действие закона о прожиточном минимуме, а прожиточный минимум отнюдь не предусматривает обедов стоимостью в десять марок; Груль и тут не растерялся и выговорил для себя и своего сына «трехразовое питание: завтрак, обед

и ужин в течение двух лет». Шмитц проставил цену, не превышающую прожиточного минимума, но кормит их значительно лучше и даже посылает им обеды в тюремную камеру, что хорошо известно суду. Вдобавок Груль сократил фиктивный счет Шмитца еще на одну четверть, но и это, конечно, ему не поможет: найдутся понимающие люди, которые сумеют по достоинству оценить работу Груля, это не так сложно, как кажется. Однако, несмотря на все уловки и увертки Груля, *по-человечески* он, Халь, отлично с ним ладил: «Ведь и вам, господин доктор Штольфус, не доставило бы радости, если бы заяц на охоте подсунулся прямо под ваше ружье и ждал, когда вы его пристрелите».

Председательствующий еще раз сделал ему замечание за неуместное использование охотничьих терминов, которые «применительно к людям, а тем более к законодательным мероприятиям представляются ему весьма и весьма неуместными», после чего спросил, не имеют ли защитник и прокурор вопросов к свидетелю; прокурор более или менее внятно буркнул, что «сказанное вполне его удовлетворяет», а потом уже совсем невнятно пробормотал что-то о болоте и коррупции.

Неожиданный инцидент произошел при допросе следующего свидетеля, старшего финансового инспектора Кирфеля, сообщившего, что его возраст — пятьдесят пять лет. Кирфель — кроткий, миролюбивый человек,— так же как и Халь, приготовился доказывать то, в чем, судя по его внешности, никто и не сомневался, а именно: он «не изверг». Всему округу было известно, что Кирфель любитель не только живописи, но и изящной словесности, что он — образец человеколюбия и незлобивости, ходили даже слухи, хоть он и старался их опровергнуть, что он давал деньги из своего кармана иностранным рабочим, безнадежно запутавшимся в платежах по рассрочке, к тому же этим рабочим нередко грозила опись имущества за неуплату подоходного налога с приработка; давая деньги, он, конечно, не рассчитывал, что их когда-либо вернут. И надо же, чтобы Кирфеля, чье прозвище Добрый Ганс ни один человек еще не произнес с оттенком иронии, чтобы именно его после первых же слов Штольфус, спокойно пропустивший мимо ушей великое множество не идущих к делу отступлений, перебил с несвойственной ему резкостью, можно сказать, закричал на него тоном недопустимым, с точки зрения всех присутствующих, включая прокурора. Дело в том, что Кирфель начал свою речь словами: «Мы только выполняем свой долг». «Долг? — закричал Штольфус.— Долг? В конце концов все выполняют свой долг. Мне здесь не декларации нужны, а конкретные сведения!» Но тут, ко всеобщему удивлению, Кирфель обозлился и тоже закричал: «И я руководствуюсь законами, и я провожу их в жизнь. А вообще-то,— вдруг добавил он уже слабым голосом,— вообще-то говоря, я и сам знаю, что не кончал университета» и... потерял сознание. Штольфус надтреснутым голосом принес свои извинения всем присутствующим, включая Кирфеля, и объявил перерыв, а Шроер побежал за своей женой, отлично знавшей, что надо делать в подобных случаях.

Шроер и Груль-старший — последний, не спросив разрешения, впрочем, даже прокурор не сказал ему ни слова — перенесли Кирфеля на кухню, где госпожа Шроер привела его в чувство с помощью компрессов из винного уксуса, прикладываемых к груди и к ногам. Штольфус решил было воспользоваться случаем и затянуться сигарой, но устыдился: он высоко ценил Кирфеля и был немало напуган его неожиданным взрывом, а посему поспешил на кухню, где госпожа Шроер, покуда ее муж и Груль успокаивали Кирфеля, быстро вытащила пирог из духовки и проверила его готовность с помощью шпильки. Штольфус еще раз извинился перед Кирфелем и уже в вестибюле перекинулся несколькими сло-

вами с Гермесом и Кугль-Эггером, после чего оба изъявили согласие не вызывать более Кирфеля как свидетеля. Кирфель пользовался безраздельной симпатией всех жителей округа, независимо от их политических и религиозных воззрений, такой популярности не снискал даже его отец, полицмейстер, и вообще ни один человек в Биргларе.

Когда стрелка часов подошла к половине пятого, заседание возобновилось, и председательствующий заявил, что по ходатайству господина прокурора, который считает, что разглашение служебных тайн угрожает безопасности государства, он вынужден просить публику очистить зал; сейчас начнется допрос свидетелей — бывших начальников и бывших сослуживцев молодого Груля по армии. Собственно, этот призыв относился лишь к госпоже Гермес и молодому Хуппенаху. Госпожа Гермес не слишком огорчилась, ибо давно уже испытывала потребность в чашке кофе и в задушевной беседе со своей приятельницей, женой почтенного профессора; эта дама тоже была в числе заговорщиков, намеревавшихся с помощью всевозможных модернизмов взорвать католические студенческие союзы, и тоже принимала активное участие в подготовке бала в день св. Николая. По-настоящему огорчен был только молодой Хуппенах, что он и выразил в восклицании: «Вот те раз!» Уж очень ему хотелось поглядеть, как опростоволосятся обер-лейтенант Хеймюлер и фельдфебель Белау. Яростно протестуя — впрочем, этих протестов никто не слышал,— молодой Хуппенах покинул зал. Едва госпожа Гермес и Хуппенах вышли из зала, Штольфус заявил, что третий из присутствующих, Бергнольте, не может быть причислен к публике, поскольку он лицо должностное и находится здесь по делам службы. Ни защитник, ни прокурор против присутствия Бергнольте не возражали.

Первый из военных свидетелей, ефрейтор Куттке, вошел в зал с багровым лицом: после того как из комнаты для свидетелей вызвали последнего гражданского свидетеля, то есть инспектора Кирфеля, между обер-лейтенантом, фельдфебелем и Куттке вспыхнул жаркий диспут, в ходе которого последний громогласно, но, впрочем, довольно-таки унылым голосом принялся защищать свою так называемую «сексуальную свободу». Умственные завихрения Куттке неожиданнейшим образом заставили фельдфебеля встать на сторону обер-лейтенанта; выражение «сексуальная свобода» привело его в ярость, лично он формулировал эту проблему иначе: «Все, что ниже пояса, министру обороны не подчиняется», но обер-лейтенант оспаривал его формулировку на том основании, что бундесверу нужен *весь* человек, с головы до пят, а не отдельные его части. Куттке же утверждал, что, как солдат бундесвера, он *не* только *не* (это двойное отрицание и стяжало ему впоследствии славу мыслящего человека) вступает в противоречие с христианской моралью, но что сама эта мораль, столь рьяно защищаемая господином обер-лейтенантом, уже две тысячи лет безропотно мирится с борделями, а он, Куттке, положил себе за правило обращаться с потаскухой, как с потаскухой (в ходе диспута выяснилось, что он уже договорился с Зейферт на следующую субботу). Вот почему он вошел в зал с багровым лицом, а поскольку он воспламенился душой и телом, у него ко всему еще запотели очки и ему пришлось надеть их, не протерев, так что при входе в зал он споткнулся, хотя, впрочем, и успел выпрямиться, затем занял свое место.

Вечером, в разговоре с Грельбером, Бергнольте заметил, что Куттке отнюдь не производит впечатления образцового солдата, и это побудило Грельбера, в свою очередь, связаться по телефону с командиром части, где служил Куттке, майором Трёгером, и спросить, зачем они бе-

рут типов, вроде этого Куттке, на что Трёгер ответил: «Мы берем, что дают, выбирать нам не из чего».

Куттке, низкорослый, хилый, субтильный, походил скорее на расторопного провизора, не довольного тем, что ему приходится торговать патентованными средствами. Куттке назвал свой возраст — двадцать пять лет, свою профессию — военный, звание — ефрейтор. На вопрос Штольфуса, сколько он прослужил в армии, последовал ответ: «Четыре года». Как же это он не дослужился до более высокого звания? Он дослужился до унтер-офицера, но был разжалован в связи с одной неприятной историей, узкобундесверовского значения; на вопрос, что это за история, Куттке попросил позволения коротко охарактеризовать ее как «историю узкобундесверовского значения, в которой замешана женщина и лица различных воинских званий», больше он ничего добавить не может. Когда Штольфус еще спросил его, почему он пошел в бундесвер, Куттке отвечал, что сдал экзамены на аттестат зрелости, начал изучать социологию, но потом, прикинув возможности заработка в рядах бундесвера и учтя не слишком изнурительный темп работы, решил прослужить по меньшей мере двенадцать лет; в тридцать три года он демобилизуется, получив кругленькую сумму — а можно и самому подкопить за это время,— и откроет тотализатор.

Штольфус, непонятно почему, не перебивал его, во время последующего изложения несколько раз качнул головой, несколько раз сказал «гм, гм» и «так, так» и продолжал слушать, не замечая ни отчаянных жестов Бергнольте, который сидел позади свидетеля, ни прокурорского постукивания карандашом по столу. Ему хотелось бы, разъяснял Куттке, популяризировать в Федеративной Республике идею собачьего тотализатора, ибо в связи «с неуклонной автоматизацией производства и неизбежным при этом сокращением рабочего дня» «федеративный житель», как выразился Куттке, «нуждается в новых стимуляторах»; идея старого тотализатора и лото давно себя исчерпала, да и вообще, по его мнению, игра с цифрами недостаточно насыщена магией, не говоря уже о мистике, а потому он считает необходимым занять мысли «федеративного жителя» чем-то другим. Куттке, снова «став самим собой», казался теперь толковым, но несколько заучившимся гимназистом, которого поймали за недозволенным занятием. Прежде чем его наконец прервал председательствующий, он успел сообщить суду, что пребывание в рядах бундесвера содержит как раз ту дозу концентрированной скуки, к которой тяготеет его душа, а если прибавить к скуке почти ничегонеделание, жалованье и кругленькое выходное пособие — это его вполне устраивает; он высчитал, что, помимо жалованья, обмундирования, квартиры, питания, отпуска и прочего, каждый день просто так, за здорово живешь, приносит ему десять марок выходного пособия. Он даже питает надежду, продолжал Куттке, что известное психологическое предубеждение, возникшее в связи с причиной его разжалования, рано или поздно исчезнет и тогда он, как и было задумано, начнет свою офицерскую карьеру, сможет рассчитывать на заслуженное продвижение, а поскольку он в дальнейшем намерен жениться и верит, что бог «благословит его детьми», то, отслужив двенадцать лет, он выйдет в отставку тридцатитрехлетним женатым капитаном с двумя детьми и при выходе «положит в карман» почти восемьдесят одну тысячу пособия; в таком случае его дополнительный ежедневный доход возрастет до восемнадцати-девятнадцати марок, а пособие, как таковое, принесет ему ренту в пятьсот марок ежемесячно; отец у него банковский служащий, так что он, Куттке, может рассчитывать на предельно выгодное помещение капитала, а когда человеку тридцать два года, он еще совсем не стар и может начать новую жизнь с такой жировой прокладоч-

кой, какую не нагуляешь на любой другой службе. Кроме того, он собственным умом дошел, что скука и ничегонеделание — лучшие, разумеется, за исключением некоторых препаратов, эротические стимуляторы, а эротические, они же сексуальные, впечатления весьма его занимают. Женщина, заявил Куттке,— это континент наслаждений еще недостаточно исследованный в странах западной цивилизации, другими словами — угнетенный, другим словами — недооцененный.

Тут Штольфус его прервал и попросил хотя бы вкратце рассказать, какого он мнения о Груле, которого, без сомнения, узнал в одном из обвиняемых. Куттке обернулся к Грулю-младшему, поглядел на него так, будто только сейчас его увидел, хлопнул себя рукой по лбу, будто только сейчас понял, зачем его сюда пригласили, после чего воскликнул: «Ну еще бы, Георг, старина!» — и, обратясь к председателю, сообщил, что Груль был «товарищ хоть куда», да жаль, не любил участвовать в беседах на сексуальные темы, наверно, «из-за сугубо католического воспитания», которое он, Куттке, считает абсолютно неправильным, он, правда, сам получил не лучшее воспитание, но только сугубо протестантское, ханжества в нем тоже хоть отбавляй, но все-таки... Здесь Штольфус вторично его прервал уже более резким тоном и предложил давать показания по существу; ну что ж, сказал Куттке, он может еще раз повторить: Груль был очень хорошим товарищем, но относился к этому «делу» слишком всерьез, эмоционально «страдал» от него. На вопрос, про какое дело он говорит, Куттке, получивший еще одно замечание за неуместную развязность, пояснил: разумеется, про эту тягомотину. Страдание в данной ситуации — категория бессмысленная, но Груль, представьте, *страдал* из-за этой «тетралогии абсурда», то есть бессмысленности, бесплодности, скуки и лености,— всего того, в чем лично он, Куттке, видит *единственный смысл* существования армии. Тут Штольфус обозлился и даже прикрикнул на свидетеля, что пора наконец перейти к делу и не докучать суду своей доморощенной философией. Куттке щелкнул каблуками — не настолько демонстративно, чтобы это можно было принять за оскорбление суда, но достаточно молодцевато — и уже совсем другим голосом отрапортовал: «Отличный товарищ. Надежен. Готов на любой бесчестный поступок. Приносил кофе, делил хлеб, масло и колбасу тоже, всегда был исполнен альтруизма — другими словами, братских чувств. Страдал от бессмысленности, в чем не было никакой нужды, ибо, если взять ничто плюс ничто, плюс ничто, все равно ничто и получится».

Защитник, обвиняемые и даже протоколист Ауссем, переставший по кивку председателя заносить в протокол высказывания Куттке, слушали его, затаив дыхание. Бергнольте, который сидел позади защитника и обвиняемых, так что видеть его могли только Штольфус, Кугль-Эггер и Ауссем, сперва просто качал головой, потом вдруг отчаянно замахал руками, призывая Штольфуса прервать допрос, но Штольфус игнорировал его сигнализацию, равно как и постукивание — под конец уже неприлично громкое постукивание прокурорского карандаша. Тут Кугль-Эггеру, чье громкое покашливание, скорее, смахивало на подавленное проклятие, удалось перебить Куттке и медоточивым голосом вставить вопрос, не страдает ли свидетель каким-нибудь заболеванием — имеется в виду нервное заболевание. Куттке обернулся к нему и с видом, который Ауссем вечером того же дня в доверительной беседе охарактеризовал как безмятежный, ответил, что у него хроническая неврастения, чем, надо думать, страдает и сам господин прокурор. (Свидетелю сделали замечание еще раньше, чем прокурор успел об этом попросить.) А теперь он, Куттке, позволит себе высказать гипотезу, что у его «бывшего товарища» Груля нервного заболевания нет и

не было и что именно поэтому он и «страдал». Но одно он хочет подчеркнуть, и это «одно» засвидетельствовано рядом врачей, светил и несветил: невменяемым его, Куттке, не признали, а это всего важней, поскольку он подал заявку на открытие тотализатора, чего нет, того нет, ну а разница между...

Здесь Штольфус сжалился наконец над Бергнольте, так как бедняга начал в тоске ломать руки, и прервал Куттке, заявив, что больше вопросов к нему не имеет. Тогда Гермес спросил свидетеля, что послужило причиной той командировки, которая и является предметом данного разбирательства. Куттке вдруг сделался необычайно конкретен. Он сказал, что сам «подсиропил» Грулю эту командировку, потому что хорошо к нему относился. Он, Куттке,— в этом и заключаются обязанности унтер-офицера — своего рода бухгалтер по транспортной документации в армейском автомотопарке, и не просто бухгалтер, а ответственный за боевую готовность всех транспортных средств, что может подтвердить и его непосредственный начальник, фельдфебель Белау. В число его обязанностей входит также своевременная подготовка транспортных средств к инспекторским осмотрам, другими словами — к очередной инспекции спидометры должны показывать требуемый километраж. Но из-за этого, продолжал Куттке, говоривший теперь размеренно, спокойно, четко и обращавшийся исключительно к защитнику, из-за этого порой случаются всякие неувязки, ибо некоторые машины поступают в распоряжение части позже, чем было запланировано, другими словами, позже, чем было обещано, а осмотр производится в точные сроки, и если его прозеваешь, неизвестно, когда он будет назначен снова; поэтому нам приходится «выгонять машины на шоссе и накручивать километры».

Понимают ли господа присутствующие, что он хочет сказать? Здесь Куттке с неслыханной элегантностью повернулся всем торсом одновременно к Штольфусу, Кугль-Эггеру и Гермесу. Все трое недоумевающе переглянулись, и Штольфус, который не раз во всеуслышание заявлял, что ничего не смыслит в автомобилях, пожал плечами. Хорошо, сказал Куттке, и его вздох вполне можно было истолковать, как сострадательный, попробую пояснить на конкретном примере: случается, что машина, на которой еле-еле наездили тысячу километров, не далее чем через неделю должна предстать перед инспектором, как прошедшая не менее пяти тысяч километров. Вот и приходится сажать кого-нибудь в эту колымагу, чтобы он нагнал недостающие километры. Такую работу, сказал Куттке, он чаще всего поручал Грулю, потому что Груль лихо водит машину и вдобавок очень скучал, так как ему с утра до вечера приходилось торчать в столярке, заново полируя мебелишку для офицерских кисочек и унтер-офицерских кобыл. Штольфус спросил Куттке, может ли тот в случае надобности клятвенно подтвердить, что говорит правду относительно характера командировки, это чрезвычайно важно для правильной оценки поступка, совершенного Грулем. Куттке ответил, что он всегда говорит: «Смазку, чистую смазку и ничего кроме смазки», но прежде, чем председатель успел сделать ему замечание, прежде даже, чем смысл этой чудовищной обмолвки дошел до слушателей, Куттке исправил свою ошибку и принес извинения: он просто оговорился, он отлично знает, как звучит клятва, он хотел сказать: «Правду, чистую правду и ничего, кроме правды»,—только его, пояснил Куттке с неподдельным, почти детским смущением, всю жизнь сбивали с толку звуковые ассоциации и поэтому он роковым образом всегда путал правду и смазку, у него и в школе из-за этого бывали неприятности, на уроках родного языка, но, по счастью, учитель... здесь Штольфус прервал его и, даже не спросив согласия прокурора и защитника, разрешил ему удалиться. Прокурор и защитник постфактум выра-

зили свое согласие. Свидетелю Куттке, который, уходя, кивнул Грулю-младшему и крикнул «салют», предложили немного задержаться в свидетельской комнате — на случай, если суд сочтет нужным его вторично вызвать. Штольфус объявил получасовой перерыв и добавил, что и после перерыва публика в зал допущена не будет.

Агнес Халь получила цветы около половины четвертого; она покраснела от радости, щедро дала на чай девушке, которая их принесла, и лишь тогда вспомнила про дыру, прожженную в ее новом шелковом платье терракотового цвета; дыра была величиной с пуговицу для мужской сорочки, и, растянув ткань на коленях, Агнес рассматривала ее даже с некоторой нежностью — ни дать ни взять цветочек с черной каймой. Выкурив за составлением завещания вторую сигарету, Агнес безудержно отдалась во власть тех сил, которые в среде специалистов именуются «эмоциями»; для того чтобы завещать Грулю все движимое и недвижимое имущество, понадобилось лишь несколько слов; трудней оказалось сформулировать единственное условие: «ежегодно 21 января в день св. Агнес сжигать джип, принадлежащий бундесверу, желательно на том месте, которое называется в народе Куперово дерево, служа огненную литургию в память неизвестного солдата, который два дня был моим возлюбленным и пал во второй мировой войне». Поскольку Хали, Хольвеги и все эти Шорфы наверняка будут оспаривать законность завещания, придется ей получить свидетельство у психиатра, удостоверяющее, что в момент составления такового она находилась в твердом уме и здравой памяти. Она несколько раз зачеркивала трудную фразу, после слова «бундесверу» вставила «или преемственной организации», в половине пятого собрала все записи и вышла из дому, так и не переменив платья. Агнес побывала на почтамте, в цветочном магазине, на кладбище, у фамильного склепа Халей, где покоились и родители Штольфуса.

Эту гробницу из черного мрамора охраняли два гигантских бронзовых ангела в благородных позах. Она обошла вокруг церкви, двинулась по главной улице, вошла в телефонную будку, вызвала такси, приехавшее ровно через две минуты, наказала шоферу, молодому человеку, видимо, не из здешних, свезти ее к Куперову дереву и объяснила ему, как туда ехать; поездка заняла примерно три минуты; у Куперова дерева она вышла из машины, велела шоферу подождать и, кстати, развернуться; был теплый и — что редкость в октябре — ясный день; она окинула взглядом проселок, увидела камень, на котором, должно быть, сидели оба Груля, окинула взглядом ровные поля репы — ее уже убирали,— вернулась к такси и велела отвезти себя к зданию суда. Поля с обильной зеленой ботвой, голубовато-серое небо над ними — красно-черное пламя хоть раз в году оживит это томительное однообразие.

Она вошла как раз в ту минуту, когда Шроер, согласно предписанию, закрывал изнутри двери зала, сквозь застекленную створку он кивком и пожатием плеч выразил свое сожаление, затем быстрым движением большого пальца показал ей на свою квартиру. Между супругами Шроер и Халь существовали близкие, даже дружеские отношения, ибо Агнес Халь — хоть и не каждый день, но по крайней мере три-четыре раза в неделю — присутствовала на судебных заседаниях, а в перерывах или когда публику просили удалиться из зала нередко сиживала на кухне за чашкой кофе и развлекалась беседой с госпожой Шроер. Сегодня ей пришлось для начала выразить свой восторг по поводу на редкость удачного пирога, в каковой госпожа Шроер, чтобы лишний раз доказать свое кондитерское искусство, вторично воткнула шпильку и без малейшего следа «липучки» — как она это называла — извлекла ее обратно. Госпожа Шроер подробно рассказала Агнес о горестях старшего Кирфеля и обмороке младшего; обе женщины, закурив сига-

реты, потолковали немного о том, что лучше употреблять в таких случаях — камфару или уксус; госпожа Шроер придерживалась мнения, что это зависит от «типа больного», прежде всего — от его кожи; так, например, она никогда не рискнула бы натирать камфарой кожу младшего Кирфеля, то есть кожу рыжеволосого человека, хотя волосы у него с годами и потемнели: это может вызвать крапивницу; но вот ее кожу — и она с восхищением взглянула на Агнес Халь — она, без сомнения, натерла бы камфарным маслом; заметив дыру на платье Агнес, она сказала, что это бог знает что такое и она будет рада, когда Грулей заберут отсюда, из-за них происходит слишком много конфликтов. Должно быть, Агнес уже известно о последних событиях, и когда та ответила, что пока еще нет, госпожа Шроер посвятила ее в тайну беременности Евы Шмитц; чуть не плача, умоляла она Агнес пустить в ход все свое «немалое влияние» на Грулей, чтобы не выплыло на свет, что *это* произошло в тюрьме, иначе ее муж погиб, и Штольфус тоже, да и ее самое могут засудить за сводничество при отягчающих обстоятельствах; Халь пообещала — и при этом ласково положила руку на плечо госпожи Шроер — сделать все, от нее зависящее, чтобы уладить эту историю; она переговорит с Гермесом, впрочем, у нее и без того есть к нему разговор.

Искусно вернув беседу в русло «случаи обмороков во время судебных заседаний», она подивилась обширным познаниям госпожи Шроер, особы рыжеволосой, с ярко-синими глазами, луковично-желтой кожей и толстыми ногами, за что биргларцы и наградили ее прозвищем Валек. Госпожа Шроер уверяла, что в случае надобности не побоится даже сделать укол, ведь, когда публику удаляют из зала, как раз и происходят самые невероятные инциденты, случаются, конечно, и заурядные истерические припадки, но их она лечит просто — пощечинами, тем не менее доктор Хюльфен даже показал ей, как в случае надобности сделать вливание, хотя бы и внутривенное.

На вопрос, как чувствует себя в данную минуту Кирфель-младший, она отвечала, что он чувствует себя лучше, но пойти сегодня на службу не сможет. Обе женщины подробно обсудили достоинства семьи Кирфель, безупречные репутации отца и сына, поговорили об «обворожительной жене младшего Кирфеля» и о том, что было бы недопустимым расточительством, можно сказать «позором», если бы младший Кирфель стал священником. Тут их беседу прервал Шроер, пришедший сообщить о перерыве. Когда он вешал над очагом ключи от камер и решеток, вид у него был торжественный, а выправка почти военная; он налил себе кофе и поставил на стол чашку без блюдца, жена немедленно призвала его к порядку и заодно упрекнула в легкомыслии: уж слишком он легко относится к беременности Евы, да и вообще — в голосе госпожи Шроер зазвучали металлические нотки — он ко всему относится слишком легкомысленно, что и сказалось на его медленном, просто черепашьем, продвижении по службе. Момент показался Халь наиболее подходящим для того, чтобы откланяться: она побаивалась острого язычка госпожи Шроер, ибо та, входя в азарт, не скупилась на самые интимные намеки. Агнес условилась со Шроером, что он ей позвонит, как только в зал снова допустят публику, а она надеется, что это произойдет еще до речей защитника и прокурора. Выходя из здания суда, она успела увидеть, как Штольфус с Ауссемом поднимаются на второй этаж. Ей удалось поймать Гермеса, прежде чем тот вошел в одно из двух новомодных биргларских кафе на главной улице. Она с огорчением про себя отметила, что еще ни разу не побывала ни в одном из них. То кафе, куда они вошли с Гермесом и оглядывались в поисках свободного столика, было огромных размеров, но переполнено несмотря на ранний час, причем не школьниками, а крестьянками из окрестных деревень, уплетавшими пирожные; Халь, нигде не бывавшая и вообще

редко выходившая из дому, не без удивления отметила, что их тяжелая стать, знакомая ей со времен молодости, со времен танцулек и крестных ходов, осталась такой, как прежде. Она последовала за Гермесом, который бережно взял ее под руку, растерянно заказала шоколад и достала из сумки наброски завещания. С неудовольствием, так как он собирался во время перерыва подготовиться к речи, Гермес выслушал Агнес Халь — он называл ее «тетей» — и все прикидывал, в который же это раз она показывает ему очередной вариант завещания — в одиннадцатый или в двенадцатый.

Бергнольте решил совершить небольшую прогулку, сперва он шел быстрым шагом, так как боялся, что не успеет за полчаса обойти по намеченному плану старый центр Бирглара, затем он пошел медленнее, когда понял, что старый центр города, а именно: церковь, кладбище, западные и восточные городские ворота, средневековую ратушу, в которой разместился ныне штаб бундесвера, он уже обошел, другими словами — осмотрел за двенадцать минут; правда, оставался еще прелестный маленький мост через Дур с реставрированной статуей св. Непомука — не совсем обычным, на его взгляд, для данной местности мостовым украшением, черные стрелки, указывавшие на римские термы, не сбили его с пути, но, поскольку оставалось еще добрых пятнадцать минут, а желания завести разговор со Штольфусом и Кугль-Эггером у него не было, он внял зову красных стрелок, посуливших ему «госпитальную церковь XVII века», отыскал эту церковь быстрее, чем предполагал, вошел в нее и, к своему удивлению, заметил, что несмотря на двадцатилетний перерыв почти автоматически совершает положенный ритуал: он окунул руку в святую воду, осенил себя крестным знамением, мимолетно преклонил колена перед алтарем, постарался ступать бесшумным шагом, ибо заметил двух женщин, молящихся перед скорбящей богоматерью; из достопримечательностей — ничего, кроме старинной, окованной железом кружки для бедных да вполне современного голого алтаря.

Когда медленным шагом — у него оставалось почти семь минут — Бергнольте возвращался в суд, по тому же мосту, мимо той же статуи Непомука, которая отчего-то, он не мог бы объяснить, отчего именно, казалась здесь неуместной, он решил гораздо энергичнее возражать жене, сегодня утром за завтраком выразившей желание, чтобы их перевели в «какое-нибудь укромное гнездышко вроде Бирглара». Больше всего его отталкивали грязные немощеные улицы, начинавшиеся сразу же за старым центром. Ну, конечно, есть здесь несколько патрицианских домов, красивых и старинных, и, конечно, он сумеет настоять — если уж даст свое согласие на перевод,— чтобы его, как преемника Штольфуса, сразу же назначили председателем суда, и все же... и все же его сюда не тянет. После того, как он еще раз посетил один из пресловутых судебных туалетов и снова вышел на школьный двор, он нос к носу столкнулся с обер-лейтенантом Хеймюлером, который в самом мрачном расположении духа прохаживался под деревьями. Бергнольте ему представился, назвал свое имя и занятие — «инспектирующий чиновник судебного ведомства», покачав головой, заговорил о Куттке и заодно постарался выяснить, чего следует ожидать от показаний фельдфебеля. Обер-лейтенант поверил, что доброжелательство Бергнольте вполне искренне, и, признательный за доброе отношение, со вздохом сказал, что у Куттке бывают нелепейшие завихрения, согласился, что Куттке «в общем невозможный тип», сумел за несколько оставшихся минут развить свою любимую теорию об «элите чистоты», заставив Бергнольте удивленно вскинуть брови. А потом успел еще спросить, долго ли ему придется ждать, пока его вызовут, он, конечно, как и все солдаты, приучен ждать, но все-

таки... Бергнольте его успокоил, заверив, что после перерыва он будет вызван минут через двадцать самое большее.

После перерыва, еще не входя в зал заседаний, Штольфус сумел уговорить Гермеса не вызывать в качестве свидетеля некоего Мотрика, антиквара. Ведь в способностях Груля и без того никто не сомневается, так пусть Гермес — здесь Штольфус понизил голос и не без горечи улыбнулся — оставит всякую надежду затянуть ход процесса более чем на один день, ибо это не имеет никакого смысла. Поджог, саботаж, сказал он уже в дверях, меньше чем четырьмя-пятью годами его подзащитные не отделаются. Неужели ему, Гермесу, так уж нужно устраивать рекламу Грулям? Гермес смиренно отказался от свидетеля Мотрика, который, не желая входить в эту «занюханную комнату для свидетелей», ждал в коридоре. Когда Гермес извинился за то, что они зря его побеспокоили, Мотрик, длинноволосый и не очень молодой человек в верблюжьем пальто и замшевых перчатках, воскликнул: «Вот паразиты!» — так что стало ясно — это слово не из его повседневного лексикона. Даже когда он шел к машине, зеленому «ситроену», ему все равно не удалось придать своим шагам то «безграничное презрение», которое он хотел ранее выразить в крепком слове: уж слишком он походил на человека, который тщетно старается выглядеть суровым и непреклонным.

Следующих двоих свидетелей — обер-лейтенанта Хеймюлера и фельдфебеля Белау — допрашивали по отдельности; но допрос, против ожидания, прошел гладко, без каких бы то ни было сенсаций. Белау, вызванный сразу после перерыва, был корректно одет и корректно держался, он сообщил свой возраст — двадцать семь лет, занятие — военный, звание — фельдфебель; в точных выражениях подтвердил высказывания Куттке: да, он, Белау, ведает транспортными средствами части, да, Куттке его непосредственный подчиненный и выполняет точно те же обязанности; подробное объяснение разницы между званием и должностью, которое казалось Белау необходимым в свете того факта, что ефрейтор Куттке выполняет одинаковые с ним обязанности, было вежливо отвергнуто Штольфусом, поскольку «эта разница всем понятна». На вопрос защитника Белау подтвердил «накручивание километров», которое лично он назвал «подгонка спидометра», и, не дожидаясь вопроса, добавил, что хотя Куттке, возможно, и «показался несколько странным», но в отношении службы на него грех пожаловаться, и если их часть считается образцовой по состоянию автомотопарка и неоднократно отмечалась в приказах, то здесь немалая заслуга принадлежит Куттке.

Такая объективность Белау вызвала одобрительные кивки Бергнольте и Ауссема. На вопрос, часто ли в моторизованной части «подгоняют спидометр», Белау отвечал: два-три раза в год. На вопрос прокурора о Груле-младшем Белау ответил, что ревностным служакой его, конечно, не назовешь, но таких в бундесвере вообще почти не встретишь, во всяком случае смутьяном он не был, скорее был всегда угрюмо-равнодушным, несколько раз он опаздывал из отпуска, за что на него и налагались взыскания, но ведь преступлением это не назовешь, это, так сказать, в порядке вещей. Белау, который держался здесь совершенно иначе, чем в комнате для свидетелей и в пивных, оставил по себе хорошее впечатление. Он был деловит, корректен, без излишней молодцеватости; его предупредили, что в случае надобности он будет вызван вторично.

После того как Белау ушел и в зал пригласили обер-лейтенанта Хеймюлера, защитник д-р Гермес в самой любезной форме опроте-

стовал удаление публики, он подчеркнул, что удалили фактически только его жену, которая, будучи его правой рукой, как юрист по образованию, и без того в курсе всех судебных дел и, разумеется, знает, что такое профессиональная тайна, да еще молодого фермера Хуппенаха, который точно так же в курсе всех дел, поскольку он в одно время и в одной части с Грулем отбывал воинскую повинность; но главное — и тут он с ироническим видом указал на пустующие места в зале — главное, здесь шла речь о предметах, составляющих не столько военную, сколько административную тайну, а это как раз и может привлечь интерес публики, ибо тут дело не в разглашении стратегической или тактической тайны, а в разоблачении абсурдности администрирования вхолостую. Хотя Хеймюлер уже вошел в зал и скромно дожидался, когда к нему обратятся, Штольфус обстоятельно разъяснил защитнику, что явления, квалифицированные им, защитником, как «абсурдность администрирования вхолостую», как раз еще и не созрели для гласности: государство имеет право — и он, Штольфус, по представлению прокурора воспользуется этим правом — не посвящать посторонних в неизбежную порой работу на холостом ходу, поскольку таковая отнюдь не выражает сути дела, а является всего лишь привходящей печальной необходимостью. Во всяком случае, он не может удовлетворить требование господина защитника допустить публику в зал заседаний. Затем он предложил обер-лейтенанту Хеймюлеру пройти вперед, извинился перед ним за непредвиденную задержку, так как мотивы, вызвавшие ее, обнаружились уже после вызова свидетеля. Хеймюлер указал свой возраст — двадцать три года, занятие — военный, звание — обер-лейтенант войск связи; не дожидаясь вопроса, он сверх того указал и свое вероисповедание — римско-католическое.

Это дополнительное сообщение, сделанное чрезвычайно энергичным голосом, вызвало среди присутствующих законоведов некоторую растерянность, они переглянулись, и председательствующий быстрым шепотом предложил протоколисту Ауссему вычеркнуть из протокола эти лишние сведения. Ауссем позднее говорил, что голос Хеймюлера, когда тот заявил о своей принадлежности к римской церкви, звучал «как хлопанье знамени на сильном ветру». Обер-лейтенант, во время своего выступления неоднократно бросавший почти трагические взгляды на молодого Груля, по сути подтвердил все, что было сказано Белау о свойствах Груля как солдата, хотя и в других выражениях. Он признал его «на редкость одаренным», а на вопрос защитника, в какой области, уточнил: «одаренным солдатом». Тут Груль-младший громко рассмеялся, но вместо замечания ему пришлось выслушать пространное разъяснение обер-лейтенанта, который напомнил, как он, Груль, помогал ему, обер-лейтенанту, во время маневров разрабатывать и вычерчивать схемы расположения точек связи, после чего Груль, ни у кого не спросясь (за что он позднее получил замечание), вмешался и заявил, что все это — абстрактные забавы, не лишенные своеобразной, можно даже сказать, художественной привлекательности. Ведь в конечном счете искусство — таково его философское убеждение — и заключается в умении разделять единое ничто на множество упорядоченных ничтожностей, а составление и вычерчивание планов имеет свою графическую привлекательность.

Увидев, что семи еще нет, следовательно, заседание можно будет закончить к восьми, и почувствовав даже некоторую гордость от того, что заседание несмотря на все неожиданные и порой досадные срывы протекало по заранее намеченному плану, Штольфус набрался терпения и прервал молодого Груля лишь тогда, когда тот и сам уже заканчивал свои объяснения. Обер-лейтенант продолжал давать оценку молодому Грулю, назвал его «солдатом толковым, исполнительным, но

злостно равнодушным»; вел себя Груль в общем и целом неплохо, правда, несколько раз, «а точнее, довольно часто, еще точнее — пять раз», опаздывал из отпуска, «из них три раза — на довольно значительный срок», за что и понес заслуженное наказание. На вопрос защитника, кем был Груль в день «происшествия» — солдатом или штатским,— Хеймюлер отвечал, что в «момент совершения проступка» Груль был де-факто солдатом, де-юре — штатским, и бундесвер — он еще раз снесся со своим начальником и получил от него вторичное тому подтверждение — не выступает здесь в качестве потерпевшего, а следовательно, не собирается наказывать Груля по военным законам. Уже впоследствии выяснилось, что из-за ошибки в расчетах — а такие ошибки неизбежны — Грулю, который в это время уже подлежал увольнению из рядов бундесвера, полагался дополнительный отпуск, чтобы он мог навестить отца, больного тяжелой формой бронхита, но ему по ошибке оформили эти четыре дня как очередной отпуск, следовательно, де-факто к «моменту совершения проступка» Груль уже был штатским.

А не намереваются ли представители бундесвера, спросил защитник, обвинить Груля в незаконном ношении формы и в незаконном использовании армейской машины — ибо юридически Груль повинен в этих двух проступках, и для выяснения правового момента здесь необходимо, пусть даже чисто формальное, разбирательство. Обер-лейтенант не уловил иронии в словах защитника и объяснил подробно, серьезно и корректно, что Груль не отвечает за эти два действительно совершенных им проступка, во всяком случае вины Груля здесь нет, и он, обер-лейтенант, ничего не слышал о том, чтобы против Груля было возбуждено новое дело. На вопрос защитника о некоторых обстоятельствах, по поводу которых Куттке и Белау уже высказались почти одинаково, обстоятельствах, касающихся пресловутых командировок и накручивания километров, Хеймюлер отвечал утвердительно: да, такие командировки практиковались, потому что гораздо неприятнее передвинуть срок очередного осмотра, чем «нагнать нужный километраж». Защитник: «Можно поспорить о том, в какой степени уместно выражение «очередной» для подобного осмотра»; очередным — он сам автомобилист и в этих делах знает толк — бывает такой осмотр, когда машина естественным путем, то есть нормально наезжает потребное для периодического техосмотра количество километров; а этот метод представляется ему — с вашего разрешения — абсолютно бессмысленным. Тут прокурор заявил категорический протест против рассмотрения не идущих к делу аспектов и казуистических вывертов со словом «очередной»: в такой организации, какой является бундесвер, превыше всего стоит аспект мобильности и боевой готовности, и потому явная бессмыслица — судить о которой не подобает неспециалисту — оборачивается порой высоким смыслом. Такие случаи известны в любой организации, включая «судейскую».

На вопрос о некоторых деталях вышеупомянутой поездки Хеймюлер отвечал: да, Куттке и Белау предложили ему кандидатуру Груля, и он отправил Груля в пятидневную испытательную поездку одного, что хотя и не вполне соответствовало инструкции, не только не было запрещено, но даже поощрялось на деле. Как выяснилось впоследствии, Груль ехал по шоссе лишь из Дюрена до Лимбурга, затем он свернул к Рейну, направился по берегу Рейна домой и уже в шесть часов вечера был у отца, где и оставался вплоть до совершения проступка.

Прокурор спросил Груля-младшего, что тот может сказать по поводу запротоколированных показаний, которые утверждают, что он загнал джип в пустой сарай и оставил его там на четыре дня, сам же все это время жил дома и помогал отцу в работе. Груль подтвердил верность показаний вдовы Лейфен и вдовы Вермельскирхен до мельчайших деталей, то же сделал и его отец; на вопрос защитника, подлежит ли Груль

наказанию за уклонение от предписанного маршрута, Хеймюлер отвечал, что подлежать он, конечно, подлежит, вообще же на такие дела принято смотреть сквозь пальцы, а кроме того, задание у Груля было только одно — нагнать на спидометре нужную цифру, а в вопросе, куда ехать, ему хоть и не безоговорочно, но практически предоставлялась полная свобода действий; впоследствии судебная экспертиза, ознакомившись с вещественными доказательствами, то есть с остовом машины, установила, что на спидометре была цифра 4992. Этой цифры Груль добился таким путем: поставил задний мост на козлы и пустил мотор, а выхлопные газы выводил наружу через шланг; звук работающего мотора, хотя и видоизмененный непривычными акустическими условиями, то есть охапками сена и соломы, подтверждается как свидетельницей Лейфен, так и живущей по соседству свидетельницей Вермельскирхен.

Тот факт, что раньше на суде об этих подробностях не говорилось, председательствующий объяснил необходимостью соблюдать военную тайну. Идея поднять задний мост принадлежит Грулю-старшему, который в 1938—1939 годах на сооружении так называемого Западного вала ознакомился с этим способом и даже был одним из его исполнителей; начало свое этот способ берет в практике недобросовестных владельцев транспортных контор, которые в свое время таким образом взвинчивали километровые тарифы. Груль-старший и Груль-младший подтвердили и это, причем последний показал, что сознательно нагонял на спидометре цифру 4992, что цифра 4992 есть элемент композиции, а значение ее откроется в речи господина защитника. На вопрос о характере ефрейтора Куттке и достоверности показаний последнего обер-лейтенант отвечал, что хотя это может показаться неправдоподобным, однако ефрейтор Куттке выполняет все задания с предельной четкостью, почти педантично, что руководимое обер-лейтенантом подразделение неоднократно бывало отмечено в приказе за образцовое состояние автомотопарка и это— заслуга Куттке, а если рассматривать Куттке как личность — ну, тут уважаемые господа, вероятно, и сами все поняли. Хеймюлер пожал плечами не столько раздраженно, сколько с искренним прискорбием и добавил, что лично ему видятся совсем другие принципы отбора солдат-кадровиков, но Куттке является солдатом по праву или, точнее, по закону, и тут уж к нему не придерешься. Ему, обер-лейтенанту, видится армия чистоты, армия добропорядочности, но здесь, пожалуй, не место излагать свою философию идеального воинства, председательствующий утвердительно кивнул, после чего взглянул на защитника и на прокурора — оба заявили, что обер-лейтенант Хеймюлер как свидетель им больше не нужен. Председательствующий поблагодарил молодого офицера и просил его передать своим подчиненным, что они тоже могут быть свободны.

Штольфус пригласил Кугль-Эггера и Гермеса для короткого совещания к своему столу и, даже не понизив голоса, спросил у них, что они предпочитают — объявить сейчас короткий перерыв или без перерыва приступить к допросу последнего свидетеля, профессора Бюрена, а потом объявить большой перерыв минут на тридцать-сорок, прежде чем приступить к заключительному акту: последнее слово подсудимых, речь защитника и оглашение приговора. Гермес заметил, что речь профессора может занять немало времени, а Кугль-Эггер недовольным голосом заявил, что вообще считает излишним допрос профессора-искусствоведа. После кратких переговоров со своими подзащитными (Груль-старший выразил мнение, что ужин им все равно подадут холодный, да и вино за это время не прокиснет) Гермес изъявил согласие безотлагательно заслушать свидетеля Бюрена. Штольфус подозвал Шроера и спросил, не может ли его жена, как уже не раз бывало, наскоро соорудить легкую закуску и сварить кофе, чтобы они могли подкрепить свои

силы. Шроер отвечал, что жена его будто сердцем чуяла, какой сегодня предстоит «марш-бросок», и потому в любую минуту готова выдать кофе, за пивом тоже дело не станет, имеются «даже сосиски и уж наверняка бутерброды, бульон, картофельный салат и — если я точно информирован — гуляш, правда, из консервной банки, и еще крутые яйца». Затем Шроер спросил Штольфуса, который только одобрительно кивал головой, слушая это сообщение, можно ли вновь допустить в зал публику, другими словами, можно ли отпереть дверь. «Разве публика ждет?» — спросил Штольфус. А как же, отвечал Шроер. Фрейлейн Халь «очень интересуется исходом дела». Ни Кугль-Эггер, ни Гермес против открытия дверей не возражали. Даже Бергнольте, первый раз за все время дав понять, что его присутствие носит отчасти служебный характер, утвердительно кивнул.

Шроер открыл дверь, вошла Агнес и скромно села в последнем из четырех рядов. Она переоделась, теперь на ней была юбка из темно-зеленого твида и светло-зеленый жакет свободного покроя, отделанный по вороту и манжетам узкими полосками шиншиллы. Впоследствии шел спор о том, кивнул ли ей Штольфус или же это спорное движение головой означало лишь «углубление» в дела, протоколист Ауссем утверждал, что в этом движении наличествовали элементы того и другого: он не может считать его «просто углублением» — оно выглядело недостаточно привычным, недостаточно автоматическим, но он не может и считать его просто кивком — оно выглядело недостаточно выразительным. Во всяком случае — и это он может сказать с уверенностью, ибо неоднократно наблюдал, как Штольфус углубляется в дела,— это не было и не могло быть «просто углублением». Шроер высказался позднее в том смысле, что это был кивок и только кивок,— он, слава богу, изучил все движения головы Штольфуса, а Гермес категорически отрицал «наличие каких бы то ни было элементов кивка». Агнес Халь, единственное лицо, которому, помимо вышеупомянутых господ, могло быть интересно это спорное движение, истолковала его исключительно как кивок, про себя еще снабдив его эпитетом «дружеский».

Выступление Бюрена в слабо освещенном зале суда было достойно не только более широкой, но самой широкой аудитории. Впоследствии между Ауссемом, преданным литературе, и Гермесом, равнодушным к подобным тонкостям, даже возник спор по поводу одной детали в описании бюреновской речи, причем Гермес энергично возражал против определения бюреновской речи, данного Ауссемом, который усмотрел в ней рассчитанную небрежность, тогда как Гермес утверждал, что понятие «небрежность» совершенно исключает «рассчитанность». На это Ауссем, в свою очередь, возражал, что «небрежность» как раз и нуждается в «рассчитанности», а «рассчитанность» в «небрежности», подтверждением чему служит понятие «эффектность», «эффектность» совмещает в себе и небрежность, и рассчитанность, и если он не охарактеризовал выступление Бюрена как эффектное, то потому лишь, что это понятие представляется ему слишком затасканным, но все равно он остается при своем мнении: выступление Бюрена отличалось рассчитанной небрежностью. Никто из присутствующих, кроме Гермеса, которому уже приходилось несколько раз встречаться с Бюреном по данному делу, услышав, как вызывают «профессора», не ожидал увидеть ничего подобного. Даже оба Груля впервые за все заседание проявили признаки любопытства.

На Бюрене была горохового цвета куртка, а так как Гермес сказал ему, что ради такого случая следует надеть галстук, он завязал под горлом на гороховой же рубахе толстый золотой шнур из тех, которыми обвязывают коробки с рождественскими подарками. Брюки на нем были салатного цвета, туфли из редких кожаных ремешков, почти сандалии, зато его темные волосы были причесаны и подстрижены самым

добропорядочным образом, и еще он был гладко выбрит и не носил бороды, а его здоровое смуглое лицо с «ласковыми собачьими глазами», по выражению Агнес Халь, лучилось добродушием. Хриплым голосом он сообщил о себе следующее: тридцать четыре года, женат, семеро детей, не состоит с обвиняемыми ни в родстве, ни в свойстве. По требованию защитника рассказал, что изучал разбираемое здесь «происшествие», более того, ознакомился со всеми показаниями, включая самые для него главные — показания коммивояжера Эрбеля. Впоследствии он узнал от господина защитника, что наиболее для него важные детали этого показания, занесенные в протокол, были позднее подтверждены служащими полиции в ходе сегодняшнего заседания. В показаниях Эрбеля описаны чрезвычайно любопытные элементы, так вот нельзя ли ему задать подсудимым один вопрос.

Штольфус сказал: «Да, пожалуйста»,— и Бюрен, чье лицо никогда не утрачивало сияющего выражения, спросил у молодого Груля, как ему удалось создать тот музыкальный шум, который Эрбель обозначил как «смахивающий на барабан или на трещотку и даже красивый».

Груль-младший пошептался сперва с Гермесом, потом встал и ответил, что не может выдать свою тайну, ибо в ней содержится один из немногих элементов стиля, который он намерен развивать и совершенствовать. В этой области у него далеко идущие планы, он уже присматривался на свалке к большим котлам «размером с паровозные», чтобы дать концерт, как только у него будет на то время и возможность. Описанный и инкриминируемый ему как «нанесение материального ущерба» проступок — это всего лишь «первый удавшийся эксперимент», и он, Груль, намерен его продолжить. На просьбу Штольфуса довериться присутствующим — а также сидящей в зале фрейлейн Халь — как лицам, обязанным хранить тайну, и ответить на вопрос «господина профессора», Груль отвечал, что «свидетель Бюрен», без сомнения, замышляет плагиат, как это частенько случается с людьми искусства. Но и этот выпад не омрачил жизнерадостности господина Бюрена, он согласился, что его любопытство не совсем бескорыстно, однако дал понять Грулю, что он, Бюрен, придерживается в искусстве совершенно иного направления и торжественно обещает подсудимому не разглашать его тайны за пределами судебного зала.

Груль-младший еще раз пошептался с защитником, и тот попросил Штольфуса разрешить занести высказывания Груля-младшего в протокол и таким образом «оставить в деле своего рода авторское свидетельство». Штольфус, находясь в чрезвычайно добром расположении духа, предложил Ауссему занести слова Груля-младшего в протокол. И тогда Груль-младший, чья мрачная подозрительность вновь сменилась радостным возбуждением, показал, что эти звуки он производил с помощью солодовых леденцов, а также сливочных карамелек, причем леденцы шли на низкие тона, карамельки — на высокие. Он, значит, опорожнил обе канистры в машину, просверлил каждую в нескольких местах, завинтил крышки, после чего пламя — целый столб пламени — и создало нужный ему звуковой эффект; прежние попытки с фруктовой карамелью и атласными подушечками, уложенными в большую консервную банку, не дали никакого эффекта — конфеты растаяли и превратились в кашу, вместо того чтобы «творить музыку». Еще раньше он экспериментировал с козьим пометом и обломками сахарных щипцов — тоже безрезультатно. Прокурор, не только потеряв терпение, но и заметно помрачнев, поскольку — как он признавался впоследствии — «начал раскаиваться, что позволил рейнским лисам навязать себе этот процесс», спросил Бюрена, кто он, ординарный профессор или экстраординарный. Бюрен, у которого вырвалось поистине идиотское хихиканье, спокойно отвечал, что он не то и не другое, что он университетский профессор в близлежа-

щем большом городе и приказ о его назначении на эту должность подписан премьер-министром; конечно, он не имеет этого приказа при себе, но «дома он, ей-богу, где-нибудь валяется», и право на пенсию у него тоже есть, и — тут Бюрен еще раз хихикнул,— хотя его обошли на последних ректорских выборах, зато для следующих у него «есть все шансы». Его скульптуры, добавил Бюрен, стоят — одну минуточку, сейчас я вспомню, где они «выставлены», и он, бубня себе под нос, досчитал по пальцам до семи — «в семи музеях, из них три — за границей. Как видите, я и в самом деле состою на государственной службе», с безоблачной улыбкой обратился Бюрен к прокурору.

Прокурор, даже не пытаясь скрыть свое раздражение, спросил у председательствующего, нельзя ли ему узнать, если не у него, то у достоуважаемого коллеги Гермеса, с какой целью был вызван в качестве свидетеля профессор Бюрен. Гермес ответил: профессор Бюрен вызван сюда засвидетельствовать, что «деяние» — Гермес искусно выделил голосом кавычки,— деяние, уже поименованное здесь «происшествием», следует на самом деле рассматривать как художественное творчество. Штольфус кивком подтвердил слова защитника, а Бергнольте, на которого Кугль-Эггер, воздев руки к небу, бросил молящий взор, подло ушел в кусты, другими словами — опустил глаза и притворился, что делает пометки в своем блокноте. Только тут, «только в эту минуту» Кугль-Эггер понял то, в чем он вечером признался жене: его «продали и предали».

На просьбу Гермеса дать точное определение того нового направления в искусстве или, может быть, новой его разновидности, которая известна во всем мире под названием happening, Бюрен ответил, что лично он придерживается добрых старых традиций беспредметной скульптуры и выражает себя именно в такого рода искусстве. Он — это явно адресовалось прокурору, правда, с любезно-иронической интонацией — получил две премии и, следовательно, не является представителем школы happening, хотя и занимался этим искусством, которое декларировало себя как антиискусство. Если только он правильно информирован — а кто в наши дни правильно информирован? — это попытка создать спасительный беспорядок, не образное, а безóбразное творчество, можно даже сказать, искажающее, но искажающее в направлении, предопределенном художником, другими словами — творцом, и потому творящее из безóбразности новые образы. Если судить с этой точки зрения, то происшествие, легшее в основу данного разбирательства, «является, без сомнения, художественным творчеством, незаурядным, ибо в нем наличествуют пять измерений — архитектурное, скульптурное, литературное и музыкальное, да, да, в нем содержится ярко выраженный музыкальный элемент и наконец элементы танца, которые, по его мнению, состояли в ритмичном постукивании трубкой о трубку. Лишь одно — и здесь Бюрен неодобрительно сдвинул брови,— лишь одно ему мешает — выражение «согреться», употребленное одним из обвиняемых. Это, на его взгляд, пусть и не очень значительно, но все-таки заметно ограничивает рамки искусства, уж как вы хотите, а произведения искусства создаются не для того, чтобы подле них согреваться, и еще один факт его смущает — что речь идет о новой, почти не бывшей в употреблении машине. То, что речь вообще идет о машине и вдобавок годной к употреблению, ему вполне понятно, ибо бензин — машина — пожар — взрыв выступают здесь как элементы современной техники, художественно скомпонованные с почти гениальным размахом.

Здесь прокурор прервал его, хотя и не с прежней яростью, однако дрожащим от необходимости сдерживаться голосом и спросил Бюрена, является ли его оценка субъективно снисходительной или хотя бы наполовину объективной. Бюрен же с неизменной улыбкой отвечал, что

оба эти выражения суть термины художественной критики, которые для данного направления искусства неприемлемы. А нельзя ли было, спросил далее прокурор, избрать какой-нибудь другой инструмент, зачем им обязательно понадобилась машина. Тут Бюрен зловеще улыбнулся: каждый художник сам выбирает себе материал, никто не может переубедить или разубедить его, и если художник считает, что ему нужна машина и только новая машина, значит это должна быть новая машина и больше никаких. А принято ли, продолжал прокурор, чья глубокогорестная интонация вновь сменилась бодрой, принято ли, чтобы художник воровал материал для своего художественного творчества — «художественного творчества» он произнес с нескрываемой насмешкой. Бюрен отпарировал и этот выпад все с той же рассчитанной небрежностью, которую Ауссем позднее охарактеризовал как феноменальную. Бюрен сказал: потребность творить — это такая могучая страсть, что каждый художник в любую минуту готов украсть нужный ему материал. Пикассо, например, продолжал он, нередко отыскивал материал в мусорных кучах, а один раз даже сам бундесвер в течение нескольких минут участвовал в создании аналогичного произведения искусства силами своих реактивных истребителей. К этому, пожалуй, нечего добавить, одно он знает твердо — речь идет о выдающемся произведении искусства, и даже не о пяти измерениях, а о содружестве пяти муз. Конечно, мы должны стремиться к девяти музам, но соединить в одном творении пять — тоже «совсем не плохо», а поскольку в этом творчестве участвовала и религиозная литература, представленная молением всем святым, он, пожалуй, не побоялся бы сказать, что это вполне христианское произведение, ибо содержит как-никак призыв к святым.

А теперь, спросил Бюрен с очаровательным смирением, нельзя ли ему уйти, у него сегодня — неловко даже говорить, прямо «черт знает, как неловко»,— но у него сегодня свидание с господином премьер-министром, которого он, правда, предупредил, что задержится по очень важному делу, но слишком задерживаться, сами понимаете, неудобно. Прокурор сказал, что больше у него вопросов нет, что он оставит при себе свое мнение, но намерен пригласить другого эксперта, ибо при всем желании не может считать Бюрена экспертом, а разве лишь свидетелем. Гермес попросил разрешения задать еще только один вопрос: он вкратце напомнил Бюрену, как Груль-младший выпросил у коммивояжера Эрбеля из его товаров пробный флакон экстракта для ванн. Впоследствии подзащитный сообщил ему, что использовал полученный флакон как дополнительное средство художественного воплощения, отсюда вопрос к господину свидетелю: нельзя ли «изрядную дозу» экстракта, который, как известно, дает желто-зеленую или синюю пену, рассматривать как элемент живописи, другими словами, как шестое измерение — живописное, или как присутствие шестой музы. Бюрен отвечал утвердительно и назвал идею подлить экстракта в огонь мудрым усилением эффекта. После чего выслушал благодарность председательствующего и с разрешения последнего удалился на рандеву с господином премьер-министром.

## 4

После ухода Бюрена произошла ужасная сцена, которую Ауссем даже не занес в протокол. Не адресуясь непосредственно ни к Штольфусу, ни к Бергнольте и совершенно пренебрегая нормами поведения, прокурор вдруг завопил, что намерен отказаться от участия в этом процессе, что его гнусно «подвели» и подвел не столько коллега Гермес, чья

прямая обязанность всеми правдами и неправдами стараться представить своих подзащитных в наиболее выгодном свете, сколько — тут он заклинающе простер длани и возвел очи горе, как бы моля о помощи господа бога или на худой конец богиню правосудия,— «сколько в другой, более высокой инстанции, толкнувшей меня на безответственность, противную моей натуре. Я слагаю с себя обязанности!» Здесь Кугль-Эггер, вполне еще моложавый и весьма упитанный мужчина, с непроизвольным испугом схватился за сердце. Это побудило Шроера молниеносно подскочить к прокурору и не только в нарушение всех правил обратиться к подсудимому Грулю-старшему на «ты», но и в нарушение порядка выпустить его из зала: «А ну-ка, сгоняй за Лизой!» Действительно, Кугль-Эггер почти безвольно позволил Шроеру отвести себя на кухню. Его чуть тронутое синевой лицо, лицо человека, который любит поесть и не презирает пиво, не выказало ни малейшего неудовольствия, когда Груль-младший, хотя его никто не звал, бросился на подмогу Шроеру и вслед за отцом — опять-таки в нарушение порядка — покинул зал, чтобы проводить Кугль-Эггера на кухню к Шроеру. Там госпожа Шроер уже держала наготове испытанное камфарное масло (она пусть инстинктивно, но справедливо оценила дерматологические данные прокурора и впоследствии в беседе с Агнес Халь заявила: «Ну и кожа, как у лошади»), решительным движением расстегнула прокурорский пиджак, закатала рубашку и начала своими сильными и красивыми руками массировать «область сердца».

А тем временем Бергнольте помчался к Штольфусу, поднялся вместе с ним — Штольфус даже забыл объявить перерыв — на второй этаж в кабинет и уже схватил телефонную трубку, когда Штольфус высказал мнение, что при всех обстоятельствах, прежде чем ставить в известность Грельбера, надо привлечь к этому разговору Кугль-Эггера, каким бы ни было его душевное и телесное состояние. На лице Бергнольте отразилось чувство, которое можно было бы определить как «неприкрытый страх». Он шепотом спросил Штольфуса — хотя шептать совсем и не требовалось, их при всем желании никто не мог подслушать,— нельзя ли в случае надобности обратиться к находящемуся в отпуске прокурору Германсу, так как известно, что Германс проводит свой отпуск в Биргларе, и попросить его заполнить создавшуюся брешь. Штольфус, раскуривший к этому времени сигару и, судя по всему, не только не огорченный неприятным инцидентом, но даже, можно сказать, довольный, высказал опасение, как бы такая поспешность не встревожила прессу. Бергнольте, беспокойно закурив сигарету, сказал — все еще шепотом,— что «разбирательство необходимо закончить сегодня, хотя бы и в три часа ночи». Затем он оставил Штольфуса одного, и тот, воспользовавшись случаем, позвонил жене и предупредил, что навряд ли вернется домой до полуночи, но пусть она не беспокоится. Жена рассказала, что еще раз звонил Грельбер и с неизменной учтивостью сообщил ей, что Штольфуса ждет высокая награда, «не исключено даже, что на шею». Тем временем Кугль-Эггер с помощью сильных и красивых рук госпожи Шроер и не без помощи рюмки коньяку, которую расторопно подсунул ему обвиняемый Груль-старший, снова пришел в себя и оказался в состоянии подняться по лестнице и провести долгий телефонный разговор из своего кабинета.

В зале суда Гермес беседовал с Агнес Халь, молодым Ауссемом и с подоспевшим к тому времени из шроеровской кухни молодым Грулем по поводу предстоящей свадьбы последнего с красавицей Евой; Груль-младший сказал, что намерен стать самостоятельным, возглавить отцовское дело, а отца взять к себе на службу, положив ему жалованье «в

пределах прожиточного минимума». Халь в присутствии своего поверенного сообщила ему, что готова возместить нанесенный ими материальный ущерб, получила от него в награду поцелуй и приглашение на свадьбу. Приглашение получили также Гермес и Ауссем, с которыми Груль был на «ты», как с товарищами по футбольному клубу «Бирглярские сине-желтые», где Груль был защитником, а Ауссем — левым полузащитником. Ауссем признался Грулю, Гермесу и Агнес Халь, как он сожалеет о том, что в качестве протоколиста подлежит закону о сохранении тайны, и еще он заметил, что молодой Груль преотлично мог с помощью всяких уловок уклониться от воинской повинности, есть вполне доступные способы.

В кухне у Шроеров Груль-старший и Шроер, воспользовавшись случаем, «пропустили по одной» и при этом узнали от взволнованной госпожи Шроер, что сегодня холодный ужин Грулям принесла не Ева, а старый Шмитц собственной персоной, который не слишком дружелюбно говорил о том, как «опозорили его дочь», и даже грозился подать жалобу за сводничество на тюремное начальство. До какой степени недружелюбно воспринял он эту новость, можно судить по качеству ужина, состоявшего лишь из бутербродов с маргарином и ливерной колбасой и бутылки минеральной воды. Мужчины посмеялись над волнением фрау Шроер, заверили ее, что со Шмитцем они справятся в два счета; ни один отец, ни одна мать не смогут легко отнестись к «подобным событиям», волнение Шмитца вполне естественно, вообще же «это случилось» не здесь — что нетрудно доказать,— а после похорон старого Лейфена. Пусть она не волнуется, у Шмитца нет ни малейших оснований разыгрывать из себя праведника. Вот для его жены Гертруды это действительно тяжелый удар, вот ей бы надо все объяснить и даже перед ней извиниться, а у Питера кожа толстая, так что завтра утром может забрать свой маргарин обратно. Но тут Бергнольте нарушил их беседу и от имени Штольфуса сообщил Шроеру, что объявлен перерыв на полчаса и что господин председательствующий желает у себя наверху слегка подкрепиться бульоном, крутым яйцом и салатом. Это сообщение исторгло у госпожи Шроер реплику, что крутые яйца неподходящая пища для мужчин за пятьдесят, при этом она бросила взгляд на Бергнольте и пришла к заключению, что в его возрасте еще можно питаться крутыми яйцами без вреда для здоровья.

Бергнольте, которому, как он поздно ночью докладывал Грельберу, «вся эта атмосфера показалась престранной», тоже попросил дать ему крутое яйцо, чашку бульона и кусок хлеба с маслом. Его проводили в гостиную Шроеров, где уже был накрыт стол для него, Агнес Халь, молодого Ауссема и Гермеса. Груль-младший и Груль-старший были тем временем, согласно закону, препровождены в камеры. Но даже в подчеркнутой воинственности шагов судебного пристава Шроера, даже в звяканье ключей Бергнольте учуял «именно ту коррупцию, которую мы, господин Грельбер, тщетно пытаемся выкорчевать». При появлении Бергнольте три его сотрапезника — Гермес, Халь и Ауссем — на некоторое время лишились рейнской словоохотливости, что придало им вид не совсем естественный, особенно странно выглядел Гермес, человек молодой, веселый и болтливый. Наконец он не выдержал и спросил свою тетушку Агнес, как поживают ее индейки, такие ли они упитанные, как в прошлом году, и не собирается ли она вновь пожертвовать два особенно крупных экземпляра на бал студентов-католиков для лотереи. Тут и Ауссем не вытерпел и с напускным смирением просил «не забыть, ради бога, и про либералов», которые дают бал в день св. Варвары. На это Халь отвечала, что даже коммунистам, если бы они надумали давать

бал, к примеру, в день св. Фомы, она, если бы ее попросили, подарила бы парочку отборных индеек. Эта шутка разрядила несколько напряженную атмосферу, царившую за несколько маловатым столом шроеровской гостиной, и вызвала всеобщий смех, к которому с кислым видом присоединился Бергнольте, что, впрочем, не помешало ему впоследствии назвать эту шутку Халь «чрезмерной».

Тем временем на кухне госпожа Шроер подсушила ломоть белого хлеба для Кугль-Эггера, приготовила ему «тонкий, как паутинка, омлет», отсоветовала мужу угощать Кугль-Эггера пивом, равно как и бульоном, и порекомендовала отнести вместо этих напитков стакан воды, «хорошенько сдобренной коньяком».

Если бы Ауссем был уполномочен заносить в протокол атмосферу, в которой продолжалось и было закончено заседание, он не нашел бы иного определения, кроме «вялая», а то и «утомленная». Особенно пугающей была торжественность Кугль-Эггера. По мановению руки Штольфуса он поднялся с места и сказал непривычно тихим, почти смиренным голосом, что берет обратно свои слова, сказанные перед самым перерывом, и признает, что пал жертвой мимолетного настроения, не достойного чиновника на таком посту, как его пост, но тем не менее вполне понятного. С согласия господина председательствующего он готов снова приступить к исполнению своих обязанностей и снова возложить на себя всю полноту ответственности, с ними сопряженной. Все присутствующие, даже Бергнольте, были растроганы при виде такого смирения прокурора, и эта растроганность предопределила дальнейший ход заседания.

С особенным тактом держались обвиняемые, которым, по предложению Штольфуса, было предоставлено последнее слово. Груль-старший — он выступал первым — во время своей речи обращался почти исключительно к прокурору, причем так настойчиво, что Штольфус вынужден был отеческим кивком и соответствующим жестом предложить обвиняемому адресовать свою речь ему, председательствующему. Груль-старший заявил, что должен — чтобы не вводить в заблуждение присутствующих здесь господ и дам — повторить сказанное в самом начале: ему все равно, какой будет приговор, а давал он показания только потому, что в «это дело» оказалось замешано слишком много людей, которых он лично знает и ценит. По поводу самого дела он может сказать лишь следующее: он не художник, и никакого честолюбия в этой области у него нет, ему дано только чувствовать искусство, а не создавать художественные ценности, но у своего сына он обнаружил несомненное дарование и изъявил готовность участвовать в его творческом замысле, он в самом прямом, самом точном значении слова—соучастник, но слово «соучастник» применимо лишь к его участию в создании произведения искусства, а не к участию в преступном деянии, коль скоро оно будет признано таковым. В деянии его ответственность больше, хотя бы потому, что он старший, и потому, что именно он привнес в игру экономическую точку зрения, объяснив своему сыну, когда они вместе обсуждали план и «режиссуру постановки», что стоимость такой машины едва ли составляет четверть той суммы, которую он выплатил за последние годы в виде налогов, и всего лишь одну пятую той суммы, которую ему предстоит еще выплатить. Вообще же, сказал далее Груль-старший, можно бы скостить с суммы налогов стоимость материала, подобно тому как у художника вычитают из налога стоимость холста, красок, подрамника и прочего. Он, Груль, признает себя виновным в том смысле, что «подстрекнул сына сделать этот, пожалуй, насильственный заем у бундесвера». Он хочет, чтобы его правильно поняли, почему перед лицом суда и в ожидании приговора он не просит ни об оправдании, ни о справедливой каре, а говорит «будь, что будет», как говорят про за-

страшную погоду. Ни у защитника, ни у прокурора вопросов к Груль-старшему не оказалось.

Груль-младший тоже держался сдержанно и невозмутимо, «не без снобизма», как впоследствии поддела его Агнес Халь. Он заявил, что его равнодушие носит иной характер, чем равнодушие отца; его равнодушие касается, скорее, стоимости машины. В таких поездках, о которых здесь было уже переговорено, он за год побывал четыре раза, накрутил почти двадцать тысяч километров, другими словами: «полкругосветки». Почти три тысячи литров бензина и соответственное количество масла он «ухлопал» преимущественно на шоссе Дюрен—Франкфурт, разъезжая туда и обратно. Он был свидетелем бессмысленной траты времени, материалов, сил, терпения и в других областях военной жизни. И наконец сам он, единственно для того, чтобы отмахать эти двадцать тысяч километров, двадцать пять дней гонял по дорогам «только затем, чтобы щелкал спидометр». Как столяра, его заставляли делать работу, от которой «с души воротит». Несколько месяцев он проработал над стойкой бара сперва для офицерского, а потом для унтер-офицерского казино. Это была со стороны начальства «наглость, и вдобавок плохо оплаченная». Штольфус прервал его и с неожиданной резкостью попросил не излагать неуместную здесь философию военной службы, а говорить по существу дела.

Груль-младший принес свои извинения, затем сказал, что он художник, а произведение искусства, если для такового надо испрашивать дозволения государственных властей или начальства, как это до сих пор имело место со всеми happenings, перестает, с его точки зрения, быть произведением искусства. Выбор материала и места для произведения— это тот неизбежный риск, на который охотно идет любой художник. Он сам задумал это происшествие, сам подобрал для него материал, хотел бы добавить только одно: израсходованный бензин, литров около восьмидесяти, он оплатил из своего кармана, ему показалось «глупее глупого» гонять из-за такой ерунды в казарму, чтобы заправиться на военной колонке, которая обязана его обслуживать. Он согласен только с одним: «объект, то есть машина, и в самом деле был великоват». Не исключено, что такого же результата можно было достичь с меньшим объектом. Ему мыслится взять только канистры, а в центре соорудить ружейную пирамиду — он уже справлялся через своего приятеля и посредника насчет винтовок, которые можно будет сжечь под «перестук конфет», а из уцелевших металлических частей он сварил бы скульптурную группу. Но Штольфус опять его прервал замечанием, что это к делу не относится. Затем он спросил Груля-младшего, ясно ли ему следующее обстоятельство, которое, без сомнения, ясно его отцу, а именно: в незаконном присвоении столь дорогостоящего материала уже наличествует состав преступления.

Груль-младший отвечал утвердительно, за материал — теперь он вправе сделать такое заявление,— за материал он уплатит по первому же требованию, а в дальнейшем он, конечно, будет создавать произведения искусства, материал для которых сам выберет, сам доставит и сам за него заплатит. Поскольку ни защитник, ни прокурор не имели к обвиняемому никаких вопросов, Кугль-Эггера попросили приступить к заключительной речи. На вопрос, не нужен ли ему для подготовки небольшой перерыв, Кугль-Эггер сказал: нет, не нужен, потом он встал, надел судейскую шапочку и начал говорить. К нему вернулось не только прежнее спокойствие, но и прежнее самообладание; он говорил неторопливо, почти весело, не заглядывая в конспект, при этом вперял взор не в обвиняемых, не в председательствующего, а поверх его головы, в некую точку на стене, с самого утра привлекавшую его внимание: там, на давно выцветшей и, как говорилось в ряде заявлений, «ниже всякой

критики» окрашенной стене все еще можно было — если вглядеться попристальней — различить то место, где в свое время, когда этот дом занимала школа, висело распятие. Как утверждал впоследствии тот же Кугль-Эггер, он смог даже разглядеть «ту самую перекладину, которая наподобие семафора наискось поднималась вверх вправо и, по всей вероятности, служила ранее перекладиной креста».

Кугль-Эггер говорил тихо, не то чтобы смиренно, а, скорее, кротко и сказал он вот что: ему кажется, что здесь уделено слишком много времени прославлению обвиняемого Груля-старшего как «редкого специалиста», а равно и его экономическому положению, защита же и вовсе постаралась изобразить Груля мучеником, пострадавшим от руки общества. Прошедший здесь парад — иначе и не назовешь — свидетелей защиты достиг, применительно к нему, Кугль-Эггеру, цели прямо противоположной, ибо ему думается, что людей, столь достойных, следует судить строже, чем людей менее достойных. Он, Кугль-Эггер, разделяет чувства полицмейстера Кирфеля: слишком откровенное признание повергает его в ужас. Он считает доказанными все пункты обвинения, а-кто: нанесение материального ущерба и нарушение общественного спокойствия. Оба эти пункта подтверждаются признанием самих обвиняемых. На его взгляд, здесь слишком много говорилось о холостом ходе бундесвера, тогда как этот холостой ход присущ любой жизненной или хозяйственной сфере. Все еще не спуская глаз со следов распятия на стене, Кугль-Эггер — как он вечером рассказывал жене — обнаружил там четкий отпечаток перекладины, что вызвало на его губах улыбку, ложно истолкованную собравшимися. С этой кроткой и даже, можно сказать, прекрасной улыбкой он продолжал утверждать, что здесь слишком много говорилось об искусстве, об образности и безóбразности и он уверен, что в показаниях свидетеля Бюрена, которого он лично склонен считать экспертом, будет вскрыто множество противоречий, если дело — а этого не миновать — будет передано на вторичное рассмотрение. Лично он не может в своей речи учитывать это якобы принципиальное противоречие между искусством и обществом, равно как не может реагировать на сделанный вызов. Искусство для него есть понятие слишком субъективное, слишком случайное, и говорить о нем следует «не здесь, а в сферах более высоких». Он требует — и Кугль-Эггер снова улыбнулся тому месту, где когда-то висело распятие,— как представитель государства, устои какового под самый корень подсечены поступком обвиняемого, он требует следующей меры наказания: для Иоганна-Генриха-Георга Груля — двух лет, для Георга Груля — двух с половиной лет тюремного заключения, без зачета срока предварительного заключения — поскольку таковое являлось откровенным фарсом,— а также полного возмещения убытков. С той же улыбкой он взглянул на подсудимых, которые бестрепетно выслушали его слова, тогда как даже Бергнольте, сидевший за ними, вздрогнул, услышав требование прокурора.

Штольфус, улыбаясь, дослушал Кугль-Эггера, предоставил слово Гермесу и с привычной учтивостью сказал: «Очень вас прошу, дорогой коллега, быть по возможности кратким».

Гермес, чья заключительная речь была впоследствии расценена собравшимися юристами, и прежде всего Бергнольте, как на редкость удачная и сжатая, встал, с улыбкой обвел взглядом зал, дольше всех задержав его на своей тетке Агнес Халь, выражение лица которой было впоследствии охарактеризовано Шроером как «тихо светящееся изнутри». Затем он сказал, что тоже прекрасно понимает исключительность как проступка, так и дела, сейчас заслушанного, и от души сожалеет, что общественность «из-за ловких манипуляций газетчиков почти ничего не узнает о том, что здесь сегодня происходит». Однако же он

будет краток: его подзащитные чистосердечно во всем признались, они не чинили препятствий следствию, они признали, что зашли, быть может, слишком далеко, они не только готовы возместить убытки, но убытки уже возмещены благодаря великодушию одной нашей согражданки, всеми нами уважаемой и любимой, которая вручила ему, адвокату, чек на соответствующую сумму. Данное дело для него, защитника, настолько ясно, что он даже испытывает некоторую досаду, так как предпочитает более запутанные случаи, этот же так прост, что уязвляет его профессиональное достоинство.

Экономист-теоретик д-р Грэйн, продолжал далее Гермес, уже говорил здесь, что современный экономический процесс безжалостен и немилосерден, этот постулат, целиком применимый к финансовому положению Груля, подтвержден, следовательно, ученым специалистом. Не мелькнула ли — и тут Гермес с *искренней* любезностью взглянул на своего коллегу Кугль-Эггера и с *почтительной* любезностью — на председательствующего д-ра Штольфуса,— не мелькнула ли у его уважаемых коллег мысль, что оба подсудимых, создавая свое, как это официально засвидетельствовано профессором, произведение искусства, стремились выразить именно эту безжалостность и немилосердность. Он, Гермес, прекрасно понимает, что каждый волен по-своему толковать произведения искусства, но лично он выдвигает именно это толкование. В конце концов безжалостность нового направления в искусстве, известного под названием happening, была официально признана одной более чем респектабельной центральной газетой, чья репутация стоит выше подозрений, более того, даже в бундестаге однажды шла речь об участии бундесвера в такого рода творчестве. Он, Гермес, не намерен опровергать неопровержимое и потому не отрицает обоих пунктов обвинения: нанесение материального ущерба и нарушение общественного спокойствия. Но не соприсутствуют ли оба эти фактора в *любом* проявлении искусства, в силу самой природы такового. Ибо, если руководствоваться враждебной искусству теорией, всякое произведение искусства есть нанесение материального ущерба, поскольку оно видоизменяет материал, преображает, а порою и разрушает его.

Он сознает, продолжал Гермес, взглядом показав Штольфусу, что речь его близится к концу, он сознает, что государство не может так просто с этим согласиться. Но, быть может, сегодняшнее разбирательство, если оно завершится вынесением оправдательного приговора обоим обвиняемым, в какой-то мере будет содействовать перемене в отношении государства и общественности к искусству, неизменно содержащему в себе, как мы это установили, оба пункта обвинения. Да, он настаивает на оправдательном приговоре и настаивает также, чтобы судебные издержки были отнесены за счет государства. Он должен коснуться еще одного пункта, сказал Гермес, сев было на место, после чего поднялся и добавил: в связи с требованием бундесвера о возмещении убытков возникает еще один вопрос, о разрешении которого он и ходатайствует перед судом: если бундесвер получит возмещение убытков, то не следует ли из этого, что он обязан выдать Грулям материал, затраченный на произведение искусства, то есть остов автомашины, поскольку таковой ими уже оплачен. В противном случае он оставляет за собой по данному пункту свободу действий.

Во время краткого перерыва, объявленного Штольфусом ради того, чтобы соблюсти форму и поддержать достоинство суда и его традиции, ибо он считал, что перед вынесением приговора необходим хотя бы символический перерыв, никто, кроме Бергнольте, не покинул зала. Во время этого перерыва оба Груля без стеснения шушукались с Агнес Халь, а Гермес — с Кугль-Эггером, причем последний с улыбкой говорил, какая хитрюга эта Шроер, он сейчас только разобрался, что воду, которую он

выпил, она сдобрила не только коньяком, но под видом коньяка еще и валерьянкой. Вообще же он намерен основательно продумать все дело, дав себе несколько дней сроку, решить, не лучше ли ему отказаться от той тактики, которую, как, без сомнения, известно Гермесу, «ему присоветовали в более высокой инстанции», и заявить протест.

Только Ауссем не покидал своего места и возился с протоколом, наводя на него, как он признался позднее, «некоторый литературный глянец». Бергнольте отлучился, но ненадолго, чтобы своевременно рассчитаться с фрау Шроер у нее на кухне и поспеть на последний поезд, которым в ноль часов тридцать минут он намеревался отбыть в близлежащий большой город. Неожиданно для себя он застал на кухне у Шроеров двух дам — госпожу Гермес и госпожу Кугль-Эггер, первая из них при его появлении прижала палец к губам, затем с удовольствием отхлебнула бульон из чашки, вторая, сначала встревожившись, а потом успокоившись, слушала госпожу Шроер, рассказывавшую о сердечном приступе ее мужа и о принятых мерах, причем госпожа Шроер высказала мысль, что это уж «чересчур» — заставить прокурора выступать против Грулей, связав его предварительно по рукам и ногам. Внезапное появление Бергнольте не вызвало ни у одной из дам проявления дружеских чувств: госпожа Гермес не только прижала палец к губам, но вдобавок наморщила лоб и спросила госпожу Шроер — отнюдь не шепотом,— слышала ли та «стук в дверь», на что и получила отрицательный ответ. Госпожа Кугль-Эггер, и без того уже раздосадованная беседой с маляром, который, как ей казалось, хотел с наглой самоуверенностью полуинтеллигента навязать ей «свои колеры», и вдобавок извещенная через госпожу Гермес, мужа госпожи Гермес и своего собственного, что Бергнольте прислан сюда в качестве соглядатая, невольно воскликнула: «Ой!» — словно увидев мышь. И наконец сама Шроер, точно знавшая и звание Бергнольте, и цель его приезда, ограничилась весьма нелюбезным «что вам угодно?».

Бергнольте же, не желавший, как он выразился впоследствии, «уронить себя перед этим бабьем», ограничился вопросом о стоимости «недавно принятой им пищи». И госпожа Шроер, уже извещенная судебным приставом Штерком, что этот господин, «вполне возможно», будет у нас вместо Штольфуса, использовала редкую возможность с самого начала «показать, кто здесь хозяин». Она ответила не слишком любезно, что за все про все с него причитается семьдесят пфеннигов. Бергнольте это показалось «подозрительным, как и все в Бирграре». Неправильно истолковав ехидно сложенные бантиком губы Шроер, губы, отнюдь не лишенные взрывной эротической силы, подозревая в ее ответе «пусть даже ничтожную, но все-таки попытку подкупа» и не догадываясь, что подобные угощения из любезности лучше всего оплачиваются, даже не оплачиваются, а вознаграждаются коробкой конфет или — пусть с опозданием — букетиком цветов, он весьма суровым голосом потребовал, чтобы ему сообщили «истинную и точную» цену угощения. Госпожа Шроер бросила взгляд на обеих дам, которые зажимали рот рукой, чтобы не прыснуть, и, приняв довольно изящную позу, сообщила Бергнольте, что крутому яйцу красная цена — двадцать пять пфеннигов, что бульон, который она, как правило, готовит в больших количествах, тоже стоит не больше двадцати пяти, а двадцать пфеннигов за ломоть хлеба с маслом — это, если хорошенько вдуматься, многовато, итого, «с господина чиновника» причитается шестьдесят пфеннигов; вообще же она просит учесть, что у нее не трактир и что она угощает приходящих к ней «из любезности».

Покуда она последовательно, с кротким, подчеркнутым и наконец горьким смирением подсчитывала стоимость закуски, взгляд ее перебегал с Бергнольте на госпожу Гермес, а с нее на госпожу Кугль-Эггер

и обратно, потом снова на Бергнольте, принимая разные выражения в зависимости от того, на кого она смотрела. Бергнольте, поколебавшись, как он рассказывал позднее, между «почтительностью и возмущением», избрал почтительность; в последнюю минуту он спохватился, что давать чаевые, к чему его влекло неодолимо, даже на данной стадии переговоров было бы «неуместней неуместного», он достал кошелек, выглядя при этом, если верить характеристике, которую дала госпожа Шроер в беседе с Грулями и мужем, «будто обмаранный», выложил монеты на кухонный стол и был, как он сам признавался впоследствии, «рад радешенек», что не надо получать сдачу.

Когда он, вконец смешавшись от смущения и забыв даже попрощаться с супругами своих коллег, покинул кухню, у него не было ни малейших сомнений, что сейчас за его спиной раздастся взрыв смеха. Он подождал, прислушался — но напрасно,— затем поспешил в зал, услышав шарканье ног и грохот отодвигаемых стульев, и ни на минуту не заподозрил, что госпожа Гермес, снова приложившая палец к губам, едва за ним закрылась дверь, как раз в эту минуту позволила обеим дамам рассмеяться.

Несколько дней спустя, диктуя на машинку секретарше Штольфуса стенограмму приговора и речь председательствующего, Ауссем, по его собственному признанию, опять невольно вытер глаза — не слезы, нет, нет, но «сами понимаете, что-то вроде». Когда явился Штольфус, была уже почти полночь, и Бергнольте, прибывший секунда в секунду, назвал себя, как он позднее признался жене, «гнусным неисправимым педантом»; поскольку он то и дело смотрел на часы и все думал «о проклятом последнем поезде» и с «болью душевной» — о непомерных расходах на такси, которые тяжким бременем лягут на плечи государства: «ты ведь меня знаешь, я был и есть служака и горжусь этим». Но едва Штольфус заговорил, даже Бергнольте забыл про часы, не говоря уже об Агнес, которая после первых же слов председательствующего вся обратилась в слух.

Свою речь Штольфус начал без судейской шапочки; он посмотрел на Агнес, на Грулей, на Гермеса, на Ауссема и Кугль-Эггера и снова на Агнес, которой он теперь кивал уже без всякого сомнения, потом он улыбнулся, ибо в зал вошли дамы — госпожа Гермес и госпожа Кугль-Эггер,— вошли на цыпочках, как люди, опоздавшие к началу церковной службы и не желающие мешать проповеднику. Без головного убора Штольфус говорил больше о личном: вот, мол, скоро он снимет с себя мантию, сегодняшнее разбирательство, как ему сообщили, не предположительно, а уже наверняка будет для него последним, последним его публичным выступлением, и он от души сожалеет, что в этом зале не присутствуют все жители Бирглара, которых ему приходилось на своем веку осуждать или оправдывать. Получилась бы изрядная цифра, собралась бы «немалая толпа». Не все, конечно, но большинство из этой толпы были на самом деле очень приятные люди, чуть запутавшиеся, порою озлобленные, но в основном — он причисляет сюда даже Хепперле, совершившего преступление против нравственности,— «очень приятные люди». Однако сегодняшний процесс — и он видит в этом особую благосклонность судьбы — самый приятный из всех: и обвиняемые, и свидетели, словом, решительно все — здесь, по мнению Агнес Халь, крылся намек на Зейферт,— и обвинитель, и защитник, и публика, а прежде всего сидящая в этом зале высокочтимая дама, которая присутствовала не почти на всех, а именно на всех открытых заседаниях под его председательствованием. Его чрезвычайно огорчает случай со старшим финансовым инспектором Кирфелем, он признает себя виновным в этом инциденте и

хотел бы еще раз перед ним извиниться. Из-за сложности разбираемого дела — тут он, к своему великому сожалению, расходится с коллегой Гермесом — у него просто не выдержали нервы. Что до самого дела — он все еще говорил без шапочки,— теперь ему ясно, что вынесенный им приговор не может быть окончательным, ибо само дело находится вне компетенции председательствующего, и не только председательствующего, но самых высоких инстанций. Случай с Грулями произошел «буквально в точке пересечения, на перекрестке, так сказать», а он не тот человек, который при данных обстоятельствах может вынести компетентный приговор. Да, он произносит приговор, *и, с его точки зрения,* это окончательный приговор, но понравится ли он в другой, более высокой инстанции? Этого он не знает, на это — да позволено ему будет сказать — он даже не надеется, ибо то, к чему он постоянно стремился и чего, вероятно, не всегда достигал как судья — то есть *справедливости,*— он на сей раз достиг меньше, чем во всех предыдущих процессах: *справиться* с этим проступком, этим происшествием, этим делом, этой затеей — он попросил бы господина Ауссема не заключать в кавычки ни одно из этих слов,— *справиться* с «таким делом» он не может. Как защитник, так и обвинитель — и тут он надел шапочку — вполне его убедили, однако он, считая доказанным нанесение материального ущерба, не считает доказанным нарушение общественного спокойствия.

Убедили его и обвиняемые, они прямодушно позволили занести в протокол то, с чем он согласен как судья: в этом деле нет и не может быть справедливости, и они на нее не рассчитывают. Самый факт, что он, судья, признает здесь свою полную несостоятельность, самый факт, что в качестве последнего дела ему предложили дело, убедительно доказывающее полную несостоятельность человеческого суда,— это для него лучший прощальный подарок той богини с завязанными глазами, которая являлась ему, Штольфусу, во множестве обличий, порою — блудницей, изредка — сбившейся с пути женщиной, ни разу — святою, но чаще всего — истерзанным стонущим существом, которое обретало голос лишь благодаря ему, судье, и было в одно и то же время животным, человеком и лишь самую, самую малость богиней. Он приговаривает обвиняемых к полному возмещению убытков, он обязывает бундесвер выдать обвиняемым на руки материал, затраченный на произведение искусства, ибо не только показания профессора Бюрена убедили его, что речь идет именно о таковом. Но если подобный способ «создавать произведения искусства или насыщенные искусством мгновения» распространится, это приведет к самым разрушительным последствиям, так как может выродиться в халтурное эпигонство, в ремесленничество, к которому нередко приводит чрезмерная популяризация. А потому он вынужден — и делает это без колебаний и раздумий — приговорить обвиняемых к шести неделям тюремного заключения, каковой срок они уже отбыли в предварительном заключении. Обвиняемые наверняка не обидятся на него, если он — тут Штольфус снова снял шапочку,— если он, который годится одному из них в отцы, другому в дедушки, даст им такой совет: им надо стать независимыми от государства, не давая ему возможности — он имеет в виду налоговые недоимки Груля-старшего — ограничивать свою свободу, а когда они выплатят свой долг, им надлежит запастись лисьей хитростью, потому что даже ученый, считающийся высококомпетентным специалистом, подтвердил здесь безжалостность и немилосердность экономического процесса, а в безжалостное и немилосердное общество нельзя вступать без оружия.

Было уже двадцать минут первого — хотя позднее по настоянию Штольфуса в протоколе было указано 23.46, ибо он не хотел «отягощать новый день» этим делом,— когда Штольфус с прежней энергией в голосе попросил обвиняемых встать и сказать, согласны ли они с пригово-

ром. Оба коротко и почти безмолвно взглядами посовещались с Гермесом, своим защитником, тот утвердительно кивнул, после чего они оба встали и заявили, что с приговором согласны. Штольфус поспешно покинул зал. Мало сказать, что он был растроган меньше, чем другие, он вообще не был растроган, когда наверху, в слабо освещенном коридоре вешал на крючок свою мантию; потом он провел рукой по гладкому черепу, протер усталые глаза, чуть подался вперед, чтобы снять с вешалки шляпу, и улыбнулся, завидев, как Бергнольте мчится через темный двор.

## 5

Внизу в зале суда усталость и растроганность в течение нескольких минут уравновешивали друг друга, но усталость все же перевесила: слезы растроганности остались невыплаканными, зевота подавила вздохи. Даже Грули, отец и сын, обессилели, внезапно ощутив, какой головокружительный темп был заложен в процедуре, поначалу казавшейся им вялым и монотонным повторением давно известных показаний. Словцо Шроерши «марш-бросок» ранее представлялось им неуместным, сейчас они поняли, с какой быстротой вершился суд. Краткий срок предварительного заключения они теперь тоже воспринимали как бесконечно долгий, а внезапно обретенную свободу, по выражению Груля-старшего,— «как удар молота». Возвращаться этой же ночью в Хузкирхен, в свой нетопленый и неприбранный дом им очень не хотелось, а просить у госпожи Шмитц пристанища в «Дурских террасах» в такой поздний час они считали неудобным, тем более что качество ужина, отпущенного им господином Шмитцем, явно означало открытие военных действий. Желание Грулей тотчас же вернуться в свои камеры встретило неожиданно резкий отпор Шроера: «Тюрьма как-никак учреждение государственное, у нас, черт подери, не гостиница», вдобавок Грулю следовало бы сообразить, что не стоит привлекать внимание общественности к биргларскому «тюремному раю» и что ему, Шроеру, будет очень даже не с руки красоваться в качестве комического персонажа на «страничках юмора» юридической печати. Но поскольку Штольфус уже ушел и вызывать его к телефону никто не решался, а Кугль-Эггер объявил себя «окончательно выдохшимся» и не способным ни на какие решения, тем более в таком щекотливом вопросе (единственное его желание — это два литра пива и сорок восемь часов сна), Гермес же заявил, что глупо претендовать на гостеприимство суда, вынесшего столь мягкий приговор, Грулям осталось только принять робкое предложение Агнес Халь переночевать в ее доме, к тому же она посулила им суп из бычьих хвостов, спаржу — «к сожалению, из консервной банки» — и итальянский салат, готовить который Агнес была великая мастерица; пива она, конечно, им предложить не может, но бутылка хорошего вина у нее найдется, и еще она считает, что «пора уже обсудить» следующий happening, в котором она готова принять посильное музыкальное участие. Она читала, что старые рояли самый подходящий инструмент для подобных мероприятий, так вот нельзя ли *новую* машину и *старый* рояль — у нее в подвале, кстати, имеется целых два... Но тут ее ловко прервал Гермес, считавший обсуждение таких планов «в присутствии прокурора уж несколько чрезмерным; взял свою тетку за плечо и выдворил из здания суда, а вслед за нею и Грулей. Лиза Шроер, которой к часу ночи, как она объясняла позднее, «стало уже невтерпеж», объявила, что прибыло такси за Кугль-Эггерами, они вышли вместе с обоими Гермесами, так что в здании суда остался один Ауссем, еще дописывавший «мелким бисером», как выразилась Шроерша, протокол сегодняшнего заседания.

Единственной, сохранившей бодрость, была госпожа Гермес, она приятно провела послеобеденное время за чашкой кофе со своей приятельницей в беседах на тему, доказывавшую, что ее справедливо прозвали Противозачаточной Эльзой, потом вздремнула часок-другой и пешком, мимо Куперова дерева, отправилась в Хузкирхен, где как раз вовремя поспела на квартиру Кугль-Эггеров, чтобы оказать поддержку Марлиз в ее дискуссии с маляром, по мнению обеих дам, не в меру образованным и зазнавшимся парнем. Это ей вполне удалось, так как она понимала, что́ он лопочет на местном диалекте, «о который можно язык сломать»; за его дерзости она расплатилась с ним той же монетой, то есть, в свою очередь, надерзила ему на местном диалекте. Сейчас Гермес, бледный и сразу постаревший на несколько лет, под руку с женой плелся к дому по тихим улицам спящего Бирглара, но нашел в себе силы решительно запротестовать, когда она, «словно бабочка на огонь», ринулась к единственному освещенному окну в городе — это была типография «Дуртальботе»,— намереваясь туда ворваться и «наконец вправить им мозги». Способность Гермеса к сопротивлению вконец истощилась, однако ему удалось пробудить сострадание в своей энергичной супруге, хотя для нее отказ от ночного объяснения с Хольвегом был, видимо, пешуточной жертвой.

Бергнольте добрался до первого пригородного вокзала близлежащего большого города еще до того, как Шроерша заперла наконец дверь за Ауссемом и вместе с мужем села подкрепиться, причем, ни минуты не колеблясь и не испытывая угрызений совести, подала на стол бутерброды с маргарином и ливерной колбасой, оставленные Грулями: она-де так устала, что «на ногах не стоит». Согласно приказу явиться «хоть в три часа ночи» Бергнольте поспешил к ближайшей стоянке такси и поехал в тихое предместье, там — его это несколько успокоило,— в вилле Грельбера, еще горел свет; весь вечер Бергнольте мучила мысль, что он настойчивыми звонками разбудит президента, а это, несмотря на приказ, было бы ему в высшей степени неприятно. Но у Грельбера не только горел свет, он, видимо, дожидался, когда зашуршит гравий под колесами подъехавшей машины; не успел Бергнольте рассчитаться с угрюмым шофером, который пробормотал что-то вроде «после часа ночи на чай больше дают», в ответ на просьбу Бергнольте с явной неохотой оторвал квитанцию и с прямо-таки «вызывающей дерзостью», как позднее рассказывал Бергнольте, протянул ему таковую,— так вот, не успел он покончить с этими неизбежными задержками, как Грельбер не только появился у двери, не только широко распахнул ее, но сбежал вниз по ступенькам, отечески потрепал его по плечу и, когда они вошли в дом, спросил: «Ну, что, превосходный обед, а? В этих медвежьих углах еще встречаются настоящие стряпухи, верно я говорю?» Бергнольте погрешил против правды и против собственных вкусовых ощущений, воскликнув: «Да, обед великолепный, я бы даже сказал — эпохальный!»

Войдя в кабинет, где свежий сигарный дым говорил о мужественности в настоящем, а застоявшийся — о былой мужественности, где огромная стоячая лампа под зеленым шелковым абажуром «распространяла вокруг себя блеклое достоинство», как позднее выразился Бергнольте, а полки, заставленные книгами, свидетельствовали о солидной учености, Грельбер, чья доброта была не только написана на его лице, но признавалась всеми его студентами и подчиненными, не считая нескольких смутьянов, сказал, что «сегодня в виде исключения открывает доступ сигарете в сии священные покои», но при этом даже не предложил Бергнольте снять пальто. Он засмеялся, когда Бергнольте рассказал ему о нервном припадке прокурора и о мере наказания, которую тот

потребовал, улыбнулся, услышав о приговоре, вынесенном Штольфусом, и записал себе имена: Кольб, Бюрен, Куттке. Самая манера, с какой он время от времени прерывал отчет Бергнольте, когда тот вместо того, чтобы кратко охарактеризовать поименованных лиц, вдавался в чересчур пространные спекулятивные рассуждения о государстве и праве, была такой же любезной и добродушной, как и жест, которым он дал понять собеседнику, что разговор окончен, и без «дальнейшей канители» — впрочем, Бергнольте был к этому привычен — *собственноручно* снял трубку, набрал номер, *самолично* заказал для него такси и пожелал ему «вполне, вполне заслуженного ночного отдыха». Бергнольте высоко оценил деликатность Грельбера, в *такой* день не заговорившего о должности, не только обещанной ему, Бергнольте, но, можно сказать, за ним уже закрепленной. Зная, что он там никого не разбудит, так как его сообщение будет записано на автоматически включающийся магнитофон, Грельбер сначала убедился, что Бергнольте уехал, потом набрал номер того депутата, которого вчера вечером встретил выходящим из театра вместе с Хольвегом. Он продиктовал на пленку меру наказания, имена: Куттке, майор Трёгер и полковник фон Греблоте, затем произнес еще несколько отчетливо артикулированных фраз, прося депутата получить у министра по делам вероисповеданий, хоть и не товарища по партии, но его, депутата, доброго приятеля, как можно более подробные сведения о некоем профессоре Бюрене. Он положил трубку, несколько мгновений сомневался, стоит ли по такому поводу среди ночи беспокоить прелата, с которым, впрочем, был достаточно близок, чтобы в экстренных случаях будить его по ночам. Потом, уже с телефонной трубкой в руке, вспомнил, что, по словам Бергнольте, показания патера Кольба слышали только *два* посторонних слушателя, и отложил разговор до утра (когда около одиннадцати он и вправду позвонил прелату, тот первым делом спросил, сколько человек присутствовало в это время, и, услышав цифру два, названную Грельбером, весело расхохотался, не по возрасту весело, он даже поперхнулся так, что у него сделался приступ удушья, и вынужден был прервать разговор, не успев сказать Грельберу, что патеру Кольбу случалось по воскресеньям высказывать эти «странные воззрения» двум, а то и трем сотням слушателей из числа своей паствы).

Протоколист Ауссем последним вышел из здания суда, отвергнув предложение Шроерши — она хорошо к нему относилась и, приходясь ему родственницей по матери, требовала, чтобы он во «внеслужебное время» называл ее тетей,— поужинать вместе с нею и ее мужем шмитцевскими бутербродами; он пересек бывший школьный двор и пошел к мосту через Дур. Ауссем, смывший с себя усталость холодной водой, пребывал в настроении почти эйфорическом и растроганном из-за прощальной речи старика Штольфуса: ему необходимо было отвести душу, и почему-то он решил, что в этот час скорей всего встретит кого-нибудь, если свернет вправо от статуи св. Непомука к дому Агнес Халь, но, к вящему его удивлению, дом был погружен в темноту, а в воротах—этому он уже меньше удивился — стояли обнявшись Ева Шмитц и молодой Груль, в позе «почти скульптурной», как он выразился позднее. Ауссем быстро повернул в другую сторону, уже в настроении менее приподнятом: его не только терзала ревность, но и печалило то, что для него был закрыт доступ в заведение Зейферт, так как она грозилась, если он не заплатит своих долгов, сообщить его отцу, сапожнику Ауссему, о «шикарной привычке сынка угощать шампанским всех встречных и поперечных». В своем размягченном и почти лирическом настроении он не надеялся склонить бойкую на язык Зейферт к предоставлению ему дальнейшего кредита и был уже близок «к резиньяции», то есть к смиренной готовности вернуться домой, где запах кожи доставлял ему «хоть и не всегда, но достаточно часто больше неприятностей, чем постоянная

меланхолия рано овдовевшего отца». Но тут он заметил — «и я впервые понял, сколько радости и надежды таит в себе выражение «свет во тьме» — свет в окне типографии «Дуртальботе», пошел на него, открыл незапертую дверь, застал своего товарища по партии Хольвега в ожесточенном споре с «близко стоящим» к той же партии Брезелем, причем, как он рассказывал позднее, впервые заметил, «какое глупое выражение может вдруг приобрести симпатичное и красивое лицо Хольвега». Ослабив узел галстука и засучив рукава, с пивной кружкой в руке, Хольвег опять уже сидел за наборной машиной (кстати сказать, наборщик «Дуртальботе» считал его работу «бессмысленной и начисто излишней», так как ему приходилось заново все набирать после его пачкотни, а платы за этот свой труд он не получал, так как никто не должен был знать, а Хольвег и подавно, что его, Хольвега, ночные и предрассветные забавы все равно идут псу под хвост) и препирался с рассерженным Брезелем из-за словечка «пухлый», которым тот не воспользовался при описании лица Шевена; он, Хольвег, встретил прилагательное «пухлый», примененное к губам детоубийцы Шевена, тремя разными репортерами в двух ежедневных центральных газетах и в одном центральном еженедельнике, почему же, спрашивается, именно Брезель пренебрег этим словом?

Потому, отвечал Брезель, уже не скрывая своей раздраженности и презрения к недоумку Хольвегу, потому что губы у Шевена нисколько не пухлые, даже «не толстые», а просто губы «без особых примет», он назвал бы их «нормальными», если б выражение «нормальные губы» не представлялось ему смехотворным; выходит, заметил Хольвег, в котором сквозь облик «рабочего человека», впрочем, всегда казавшийся Ауссему «достаточно искусственным», внезапно проглянул «хозяин», выходит, что все другие репортеры люди слепые, глупые или предубежденные, а он, господин Вольфганг Брезель, «единственно зрячий» и ему одному открыта истина о губах Шевена. Нет, сказал Брезель, он не единственно зрячий, никакая истина ему не открыта, да ее и нельзя открыть, потому что губы у Шевена не пухлые, во всяком случае — хоть он и смотрел на Шевена восемь часов подряд—в тот день они пухлыми не были! «Ага!»— воскликнул Хольвег уже менее высокомерно и предложил Ауссему достать себе из ящика бутылку пива, теперь Брезель пошел на попятный и уже пользуется оборотом «не были».

Фото Шевена, добытое из архива, на котором детоубийца был изображен небритым и с сигаретой во рту, Брезель, как доказательство пухлости губ, решительно отверг. Более того, он сунул себе в рот сигарету так, чтобы она торчала кверху, и наглядно показал, что даже его, Брезеля, губы — отнюдь не пухлые,— если в них зажата сигарета, приобретают «известную пухлость»; эта фотография, единственная, которой располагали репортеры до начала процесса, и побудила их прибегнуть к выражению «пухлые», но он, Брезель, решительно отказывается вставить это выражение в свой отчет; вообще же дело Шевена «примечательно неинтересно», и он предлагает с завтрашнего, нет, с сегодняшнего дня — сейчас ведь уже половина второго, и он устал как собака — помещать отчеты какого-нибудь агентства, «хотя бы и с пухлыми губами, но я никогда не напишу, что у него пухлые губы». Ауссем, впервые до конца осознавший глупость Хольвега, втайне надеялся, что тот пригласит его в заведение Зейферт, открытое до четырех часов утра, и когда Хольвег избрал его арбитром в споре с Брезелем, уже поддался было искушению поддержать первого, по опыту зная, что заработает таким образом два виски с содовой. Позднее, вспоминая, как все это происходило, он, во всем любя точность, пытался уяснить себе, не потому ли он взял сторону Брезеля, что перспектива провести остаток ночи в компании Хольвега вдруг показалась ему «невероятно скучной и утомительной», но потом решил, что действовал не под влиянием настроения, а из привержен-

ности к истине. Ссылаясь на свой, уже довольно значительный, опыт, он сказал, что даже «высокоинтеллигентные» свидетели в большинстве случаев руководствуются не доводами собственного разума, не своими зрительными и слуховыми впечатлениями, а предрассудками; единственный действительно надежный и точный свидетель из всех, с какими он сталкивался, это полицмейстер Кирфель, и Кирфель никогда бы не назвал губы Шевена «пухлыми», если бы не считал их таковыми, даже прочти он в десятке местных и центральных газет, что они пухлые. И вообще Кирфель...

Но тут Хольвег прервал его не менее раздраженно, чем днем, в «Дурских террасах», что уже и тогда обидело Ауссема, заявив, что он по горло сыт этим «копанием в вонючих провинциальных помойках», *ему* надо работать. Ладно, он готов поступиться словечком «пухлый», ибо уважает *свободу*, даже если она оборачивается против его убеждений, но имена: Кирфель, Халь, снова Кирфель и снова Халь,— их он уже слышать не в состоянии. Когда же Ауссем спросил, а в состоянии ли он еще слышать имя Груль, Хольвег, что с ним редко случалось, прямо-таки огрызнулся: *он* не чиновник, которому каждое первое число подносят жалованье, *ему* надо работать. Брезель поспешил ретироваться, предоставив Ауссему еще несколько минут слушать «шарманку» Хольвега: такие газеты, как «Дуртальботе», должны-де оставаться свободными и независимыми, чтобы стоять на страже свободы и демократии, и он не для удовольствия собственноручно набирает свою газету... Ауссем скорей от усталости, снова овладевшей им после бутылки пива, чем из вежливости, еще несколько минут слушал неожиданно агрессивный монолог Хольвега, потом распрощался и пошел домой. Запах кожи уже давно его не страшил, он даже хотел его почувствовать.

С. ЛАРИН

# СВЯЗЬ ВРЕМЕН

## Заметки о польском рассказе

Передо мной два тома польских новелл, которые появились один за другим в «Библиотеке повшехной» под редакцией и с предисловием критика Р. Матушевского.

Это своего рода антология современного рассказа, и по ней можно ухватить основной круг проблем, волнующих польских писателей (проблемы эти, конечно, являются общими для всей польской прозы), познакомиться с целым рядом известных рассказчиков, с разнообразием их творческих индивидуальностей. Можно уловить эволюцию этого жанра, уходящего последнее время от бытописательства и тяготеющего к обобщенному отображению действительности, к усилению интеллектуального авторского начала.

Уже сам факт, что одно из наиболее массовых польских изданий, каким является «Библиотека повшехна», отвело два тома на нынешнюю отечественную новеллистику, говорит о популярности этого жанра в современной польской литературе. На это указывала покойная М. Домбровская, которая заметила как-то, что «...перед войной новеллистический сборник ждала на книжном рынке судьба Золушки, а ныне наоборот — книга рассказов расходится почти мгновенно».

Явление это объясняется рядом причин. Сказывается, несомненно, и общая тенденция современной прозы к сжатости, лапидарности, к тому, что Л. Леонов недавно назвал «повышением грузоподъемности фразы». Отсюда и повышенный интерес к рассказу, как малому и емкому жанру.

Рассказы писателей, представленные в сборниках «Современная польская новелла» и «Польские рассказы» (1960—1965), посвящены непохожим друг на друга человеческим судьбам, подчас исполненным большой напряженности и трагизма. Собранные вместе, они в своей совокупности дают читателю и как бы образ страны в целом на протяжении последних десятилетий, насыщенных бурными, значительными событиями.

Если, как отмечал в одной из своих статей известный польский критик А. Киёвский, гитлеровская «оккупация, тотальное наступление фашизма — первое историческое событие, пережитое польским народом *вместе и одновременно со всей* Европой,— привели к тому, что польская проза перешагнула через несколько этапов в своем развитии», то к этому следует только добавить, что этот «скачок» осуществлен был прежде всего в новеллистике, где шли в послевоенную пору наиболее интенсивные искания.

Польские прозаики, оказавшись перед необходимостью осмыслить трагический опыт «эпохи печей» (как назвал период фашистского господства в Польше А. Рудницкий), в поисках «речи точной и нагой», естественно, обратились к рассказу, который пережил как бы свое второе рождение. Многие литераторы словно впервые открыли для себя возможности этого жанра. Тот же А. Рудницкий признавался впоследствии, что создание рассказов о времени оккупации представлялось ему сперва почти кощунством. Только широкое эпическое полотно, считал он, способно донести всю правду об этих днях. Позднее, однако, сделавшись вопреки собственной теории по преимуществу новеллистом, чьи произведения о черных днях фашистского нашествия получили широкую известность и признание, писатель понял несостоятельность своих опасений. Он увидел, что рассказ, «выдержавший испытание временем... способен стать в один ряд с самым выдающимся романом».

В такой ряд с лучшими романами об оккупации следует поставить, несомненно,

рассказы Т. Боровского (который по непонятным причинам отсутствует в антологии), с их суровым, временами даже жестоким в своей обнаженной искренности реализмом. Они были как бы своеобразным камертоном для послевоенной польской прозы, задав ей беспокойную, высоконапряженную ноту. От этих его рассказов, о которых Е. Анджеевский сказал, что они «останутся до тех пор, покуда будет существовать польская литература», и ведет свою родословную современная польская новеллистика.

Боровский, совсем еще юношей прошедший через ад гитлеровских концлагерей и потому, быть может, с особенной остротой переживший весь трагизм и безысходность человеческого существования в этих гигантских комбинатах смерти, с поразительной силой показал всю «опрокинутость» нормальных людских отношений. Фашистский режим как система расчеловечивания человека, беспощадного вытравления всего лучшего и высокого в нем — вот ведущая идея его «освенцимского цикла». Недаром Боровский, говоря об одной из книг, не удовлетворившей его поверхностностью авторского анализа причин и следствий, породивших лагерь смерти Освенцим, подчеркивал: «Только выявление самой социологической механики работы лагеря дало бы возможность сказать долю правды о разных формах фашизма и в Польше и в Европе».

В его новеллах есть нечто общее — интонация, с какой герой-рассказчик, абориген лагеря, ведет свое повествование. Рассказ «У нас в Аушвице» *, например,— как бы письмо такого узника к своим родным и близким. Автор письма уже настолько свыкся с лагерными порядками, что не в состоянии отделить себя от Освенцима. Подчас кажется даже, что ни о какой иной жизни, кроме подневольного прозябания за колючей проволокой, он и понятия не имеет: границы мира сузились для него до пределов лагерного барака. Он уже не замечает ни того, как вооруженные эсэсовцы гонят к месту экзекуции толпы женщин и детей, ни сложенных штабелями трупов у топок освенцимских крематориев. Персонаж другой новеллы Боровского увлеченно живописует футбольный матч в Освенциме, лишь мимоходом упоминая, что, покуда он гонял мяч по полю, мимо него по направлению к газовым камерам прошли новые тысячи людей, только что доставленные в лагерь, прошли и не вернулись.

Равнодушная интонация здесь — своеобразный художественный прием, с помощью которого Боровскому удается показать происходившее в лагере изнутри, через призму чувств человека, притерпевшегося ко всему. Но именно эта спокойная невозмутимость и сообщает неожиданную взрывчатую силу рассказам Боровского. Почти физически ощущаешь крайнюю степень вырождения и одичания, до которой доведен этот человек, если в сознании его столь чудовищным образом сместились, сдвинулись все нормальные понятия. Невольный свидетель фашистских злодеяний, рассказчик своим повествованием, сам не сознавая того, выносит тяжкое и суровое обвинение — не отдельным, наиболее «отличившимся» освенцимским изуверам, но всей системе, породившей подобные фабрики смерти.

Пожалуй, именно у Боровского послевоенная польская проза взяла эту особую сдержанность повествовательной манеры, начисто лишенной броскости, эффектных развернутых описаний, но вместе с тем сообщающей внутренний драматизм характерам, всему действию. Кроме того, современный польский рассказ отличает еще одна специфическая черта. В нем остро ощутимо движение времени, нерасторжимая, почти осязаемая связь дня нынешнего с днем минувшим. Той полосой жизни все время как бы проверяется сегодняшнее, настоящее.

Очень типичен в этом смысле рассказ Г. Хо́луя «Круг». Западногерманский продюсер Эрвин Кёниг, прибывший в Польшу для совместной постановки польско-немецкого фильма, жаждет увидеть кого-либо из бывших обитателей Варшавского гетто. Таким оказывается старик портной по фамилии Шуцман, вместе с двумя внуками чудом уцелевший при ликвидации гетто нацистами.

Встреча заезжего гостя со стариком Шуцманом и составляет основу этого тонкого и горького рассказа. Казалось бы, беседа немца из ФРГ, подчеркивающего свое неприятие нацизма, несколько сблизит этих двух людей, поможет им лучше понять друг друга. Но достаточно приглядеться к тому, как бесцеремонно вваливается Кёниг в тесную квартирку варшавского портного, прислушаться к смыслу его вопросов, которыми он засыпает Шуцмана, поминутно же перебивая последнего («его интересовала чисто материальная сторона дела: сама механика жизни, а вовсе не страдания и переживания людей»), чтобы понять: Кёниг, в сущности, абсолютно равнодушен к тем несчастьям и утратам, в которых повинны гитлеровцы. Он придерживается той точки зрения, что не стоит бередить старые раны. И делает он это вовсе не из ложно понимаемой гуманности. «Что за смысл столь неотступно возвращаться к старым историям, в которых окончательно не ясно, на чьей стороне правда, а кто — преступник...»

Своеобразная смесь панибратства и нагловатости во всем его поведении становится особенно вызывающей, почти оскорбительной, когда вконец разошедшийся Кёниг, желая на свой лад развеселить хозяина и его внуков, сует им шоколад, хватает всех троих за руки, образуя нечто вроде хоровода и подбадривая их словами немецкой команды. «Кёниг крикнул: «Links»,— и маленький хоровод закружился сперва медленно, потом все быстрее, в такт его окрикам. Я понял, что голос Эрвина гипнотизирует Шуцманов, что его «los», «links», «schneller» звучат для портного как приказ».

* Немецкое наименование Освенцима.

Мрачный призрак прошлого снова как бы встает перед Шуцманом, заслоняя все остальное. Старика начинает бить нервная дрожь, дети, замерев, со страхом взирают на происходящее, а иноземный гость раздражен: он не в состоянии понять, почему в Польше люди никак не могут избавиться от своих оккупационных комплексов.

Отзывчивость на человеческое горе, боль и утраты — на все, что, подобно глубокой ране, не зарубцевалось, не изгладилось из памяти людей,— свидетельство глубокого демократизма польской литературы. Внимание ее к событиям периода оккупации вовсе не показатель слабой заинтересованности художников сегодняшней проблематикой. Современность понимается писателями широко и нередко вбирает в себя и недавнее, столь живое еще прошлое, когда завязывались сложные узлы многих нынешних человеческих судеб и конфликтов. В таких случаях обращение к минувшим дням, а подчас и параллельный монтаж двух временных планов сообщают характерам протяженность и объемность.

Именно так построен рассказ К. Брандыса «Как быть любимой», полный сложных коллизий, рассказ, который вводит читателя в круг серьезных проблем, характерных для современной польской прозы: здесь и реминисценции времен оккупации, и отзвук послевоенных трагедий и бед, и раздумья художника о сегодняшних человеческих заботах, конфликтах.

Героиня рассказа, памятная многим по одноименному фильму В. Хаса, не так давно демонстрировавшемуся на наших экранах,— популярная актриса Польского радио; «Наша пани Фелиция» — так любовно называют ее в письмах к ней многие радиослушатели, страстные поклонники воскресных спектаклей «Обеды супругов Конопка», в которых она исполняет роль заботливой, преданной супруги, хозяйки дома.

Воспоминания актрисы о пережитом в годы войны, воспоминания, нахлынувшие на нее в самолете Варшава—Париж, наслаиваются на ее случайные дорожные впечатления, разговоры с попутчиками. Все это и составляет основу рассказа. Сложная повествовательная форма, с быстрой, чисто кинематографической сменой кадров: горькие раздумья стареющей женщины над своей незадавшейся жизнью проходят как бы под аккомпанемент идиллического «радиообеда» с ее же участием в качестве «пани Фелиции». Сама усложненная форма повествования — отражение реальных сложностей, неожиданных, крутых драматических поворотов в судьбе этой женщины.

Не о такого рода славе она мечтала. Когда-то она собиралась сыграть Офелию, но война разрушила эти планы. В оккупированной Варшаве гораздо трагичнее было играть на подмостках театра «для немцев». Но актриса сознательно пошла на это: у себя на квартире она прятала человека, которого разыскивало гестапо. Она привязалась к нему, полюбила его. Казалось, жизнь обрела, наконец, для нее высокий смысл. Сознание, что она помогает тем, кто борется с оккупантами, с риском для собственной жизни скрывая одного из бойцов Сопротивления, поддерживало ее в самых трудных жизненных испытаниях. Впоследствии, однако, выяснилось, что человек, которого она прятала от гестапо, лишь по недоразумению считался борцом антифашистского фронта. Ее жертва и риск — все оказалось ненужным и напрасным. В трудные послевоенные годы ей пришлось испытать и другое: недоверие, подозрительность окружающих — ведь все считали, что она сотрудничала с фашистами.

Польский критик Я. Прегер, говоря както о поколении писателей, переживших оккупацию, заметила, что они «обладают способностью более глубокого проникновения в жизнь», ибо им удается «осмыслить нынешнюю действительность сквозь призму своих былых трагических переживаний». Такое «глубокое проникновение в жизнь» свойственно и К. Брандысу, когда он анализирует судьбу и характер незаурядной своей героини.

Это рассказ об актрисе, которая, несмотря на все жизненные невзгоды, сохранила веру в людей, любовь к ним, желание служить им своим искусством. Именно эти душевные качества и позволяют ей раздвинуть рамки своего сценического амплуа, пробиться прямо к сердцам людей, ощутить их ответную волну, вернувшую ей утраченное душевное равновесие. В одноименном сценарии, сделанном К. Брандысом после рассказа, есть фраза, которая как бы проясняет авторскую идею. Репортер, берущий интервью у «пани Фелиции» на борту самолета, спрашивает ее, что передать читателям и телезрителям. «Напишите,— отвечает она,— что они очень нужны мне. Что я не сумела бы уже жить без них».

Разумеется, я обеднил бы представление о современной польской прозе и, в частности, о польской новелле, если бы говорил лишь об одной тенденции, одной стилистической манере. Наряду с усложненной формой повествования, как бы нарочито разорванной, прерывистой, той, что характерна для рассказа К. Брандыса, в антологии немало ярких и сочных жанровых вещей, зарисовок, затрагивающих самые разнообразные проблемы нынешней повседневной действительности.

Однако и эти, на первый взгляд, легкие эскизы, вроде маленькой сценки Я. Ивашкевича «Белка» или короткой — на две странички — новеллы Б. Чешко «Подсолнух», отличает пристальное внимание их авторов к человеку, размышление над его судьбами, над смыслом человеческой жизни. Грустные раздумья персонажа из рассказа Я. Ивашкевича о старости, о приближающейся смерти словно бы отступают вдруг на задний план, отходят в тень: герой, еще сам того не замечая, с интересом

---

С. ЛАРИН
**СВЯЗЬ ВРЕМЕН**

принимается наблюдать за проделками маленького лесного зверька, и это незаметно пробудившееся в нем любопытство к окружающему невольно возвращает его, казалось бы уже совершенно отрешенного от всего происходящего вокруг, обратно, к людям, в «мир тревог и битв».

Столь же «проходной» эпизод в «Подсолнухе» Б. Чешко приобретает под пером писателя известный символический смысл. Во всяком случае, незначительное, казалось бы, воспоминание героя рассказа о варшавском мальчонке времен оккупации, который, несмотря ни на что, заботливо выхаживает подсолнух на городском пустыре,— для него важный жизненный стимул, поддерживавший героя в трудные минуты

Разные участки жизни, непохожие друг на друга жизненные проблемы, встающие перед писателями, строго индивидуальные, неповторимые судьбы людей — все это подсказывает новеллистам и весьма различные творческие приемы, выбор той или иной стилистической манеры. Например, Т. Новак, известный поэт, прекрасный знаток деревенского быта, предпочитает жанр лирических миниатюр в прозе. В одной из них — «Пора созревания» — перед читателем открывается светлый, поэтический, еще ничем не затуманенный мир крестьянского юноши, едва вступающего в жизнь, которая и неодолимо влечет его, но вместе с тем и настораживает, пугает своей неизведанностью.

По контрасту с мягкой лиричностью Т. Новака манера В. Дымного может показаться нарочито огрубленной, «заземленной». Герои его рассказа «Худой и другие» — молодые парни из очень пестрой, непрочно сбитой строительной бригады, возводящей мост. Все они — народ анархически своевольный, еще не прошедший настоящей трудовой выучки. Тем убедительнее, рельефнее показан в рассказе постепенный и сложный процесс духовного становления этих людей, роста их общественного сознания, товарищеского отношения друг к другу.

Легко и непринужденно написан рассказ Т. Ружевича «Терпимость». Случайная соседка рассказчика за столиком вагона-ресторана произвела на него самое невыгодное впечатление: его раздражает ее прожорливость, неуемная говорливость. Но он вынужден прислушиваться к ее болтовне, ее сетованиям на злодейку-судьбу. Неприметно, однако, внешняя непривлекательность этой женщины как бы растворяется, бледнеет, становясь почти незаметной. Нам открывается иное в ее характере. В нелегкой, затянувшейся тяжбе героини с представителями церкви, о которой она повествует, мы невольно оказываемся на ее стороне. Ее стремление похоронить старуху мать на католическом кладбище так по-человечески понятно и свято! В этом видишь отнюдь не проявление религиозной обрядности (покойница была неверующей, из-за этого и возникли все сложности), но простое желание дочери отдать умершей последний долг Необъяснимой и дикой, исполненной фанатизма представляется как раз нетерпимость церковников, которые грубо надругались над трупом и наотрез отказали убитой горем женщине в праве на предание земле близкого человека. По мере знакомства с героиней у читателя происходит как бы постепенное переосмысление заголовка рассказа, который воспринимается как протест против церковников, постижение его главной мысли: терпимость, человечность и доброта — вот что должно лежать в основе взаимоотношений между людьми.

Выше говорилось, что в нынешних польских рассказах постоянно ощущаешь время, его движение. У Т. Ружевича, правда, это проявляется как бы отраженно, но вместе с тем по-своему весьма существенно. Не трудно заметить по характеру героини, ее поведению, насколько значительные перемены в сознании людей совершились за годы существования Народной Польши, если эта женщина, задавленная жизнью, не избавившаяся еще от многих предрассудков, осмелилась открыто воевать с церковью. Подобное невозможно было бы и представить прежде. В сегодняшней Польше этой женщине знакомо чувство хозяина своей судьбы, сознание собственной силы. Это и придает ей смелость, наполняет решимостью добиться правды, справедливости.

Отпечаток времени ощущается и в ровном и быстром ритме Ружевича-рассказчика. Сегодняшний взгляд на мир проявляется уже в самом выборе предмета, когда художник начинает говорить о тревожащих и волнующих его проблемах, не ища специально возвышенных и достойных объектов для этого, а выхватывая их прямо из сутолоки дня, из гущи жизни. Даже в том, как невзначай завязывается и так же ненароком, естественно (когда собеседница автора сходит на очередной станции) обрывается рассказ—без громких, эффектных фраз,— есть верная примета нынешнего времени, не терпящего ничего лишнего, необязательного

Одно из достоинств рассказа — способность отражать большое в малом, в частном, единичном явлении схватить значительное, характерное для времени, для эпохи, дать широкую панораму современной польской действительности. Вместе с тем при чтении многих вещей все время чувствуешь, как за обликом нынешнего дня проступает силуэт недавнего прошлого, как память героев этих произведений неотступно возвращает их к конфликтам и трагедиям оккупации. Примечательно, что и молодые новеллисты (их произведения составляют основу второго тома) тоже обращаются к подобной тематике. Это отнюдь не дань литературной моде. Слишком дорого стоило польскому народу фашистское нашествие, чтобы можно было легко сбросить все пережитое со счетов.

К сознанию, что между этим прошлым и настоящим существует нерасторжимая

связь и что каждый человек, являясь в какой-то мере непосредственным участником и творцом истории, в ответе перед ней, перед своим временем, и подводят читателя авторы многих рассказов-ретроспекций.

В напряженном психологическом этюде Вл. Терлецкого «Эксгумация» перед читателем как бы возникают видения тягостного ночного кошмара: неясные очертания человеческих фигур, плывущих в предрассветном тумане, глухой стук лопат, долетающий со дна глубокого рва, где происходит эксгумирование останков тех, кто был расстрелян здесь гитлеровцами в годы войны в одной из массовых «акций». И все это перекрывается возбужденным, переходящим почти на крик, на вопль бесконечным монологом человека, выдавшего в те дни из трусости, из жажды стяжательства своего сына, который тогда помогал жертвам фашистского террора.

Самооправдание труса оборачивается в читательских глазах его неумолимым саморазоблачением, потому что писателю удается психологически точно «совместить» полярные в своем несоответствии вещи — жалкие, суетные увертки этого человека и трагический итог его предательства, безмолвный, но многозначительный...

Некоторые польские критики увидели у молодых писателей, «не хлебнувших» оккупации, но обращающихся к тем дням в своем творчестве, только своеобразную тягу к экзотике, к острым, напряженным коллизиям. Конечно, в каких-то случаях это так. Но объяснять лишь этим ясно наметившуюся тенденцию в молодой польской прозе последних лет было бы неверно. Здесь есть другие, более серьезные причины. В то время, как для писателей старшего и среднего поколений период оккупации — часть их собственного жизненного опыта, для начинающих — это, скорее, приобщение к тому, что сделалось своего рода традицией в польской послевоенной литературе. В этом сказалось и желание прозаиков, начинающих путь в искусстве, закрепить свое литературное родство, свои кровные связи с эпохой. А эта черта примечательна для понимания той идейной эволюции, которую проделала вся молодая польская проза за последние десять лет.

Ведь некоторым шумным литературным дебютам лет восемь — десять назад свойствен был демонстративный, полемический отказ от проблем, продолжавших в ту пору живо волновать польскую литературу, проблем, возникших в связи с войной, с оккупацией, отход от общественно значимых вопросов современности. Дебютанты нередко уходили в мир отвлеченных абстракций, литературной забавы, игры, мистификации. Отпечаток этого заметен на первом сборнике рассказов Вл. Терлецкого «Путешествие на вершину ночи», на прозаическом томике Ст. Гроховяка «Плакальщицы» и ряде других книг.

Бывало и так, что молодой автор внешне не порывал связей своего героя с действительностью, а как будто наоборот — фиксировал проблемы, которые имели место на самом деле. Однако при всей «полновесности» подобных персонажей, запечатленных подчас даже с натуралистическими излишествами, их связь с современностью оставалась весьма условной или же они и прямо выставляли напоказ свою отъединенность, обособленность от общества, кичились своим индивидуализмом. Именно таков, к примеру, герой большого и очень талантливо написанного рассказа И. Ирединьского «День лжеца» — молодой бездельник, который скуки ради зло и жестоко обманывает и мистифицирует своих друзей и знакомых. Его «шутки» и «проказы» в конце концов становятся причиной гибели доверчивой и наивной девушки, всерьез отнесшейся к его очередному «экспромту».

Однако эти тенденции оказались недолговечными, преходящими. Молодая проза, в том числе новеллистика, все плодотворнее, глубже осваивает современную тематику. Примечателен в этом смысле путь, проделанный молодым прозаиком А. Брыхтом, который тоже начинал весьма несамостоятельным и подражательным сборником рассказов «Сухие травы». Пройдя хорошую школу очеркизма, он неуклонно растет от книги к книге: определяется его собственная творческая индивидуальность, своя главная тема. В последних рассказах Брыхта отчетливее, чем в произведениях ряда других молодых авторов, слышится голос писателя, чутко реагирующего на тревоги, волнения своего времени. Такова его отличная новелла «Экскурсия Аушвиц — Биркенау», напечатанная два года назад в журнале «Твурчость». Главный герой «Экскурсии» — фигура, типичная для произведений молодых прозаиков: он сверстник автора и к тому же, подобно ему,— начинающий писатель. Только в отличие от рассказчика он аполитичен, настороженно относится ко всему, что способно нарушить его душевный покой, осложнить жизнь. Устремления героя, несмотря на принадлежность к среде творческой интеллигенции, это, скорее, идеалы человека, мещански ограниченного. Они на редкость незатейливы. Он мечтает сделать карьеру в литературе. «Карьера,— рассуждает герой наедине с собой,— каждому она представляется по-разному. Для меня — это, чтобы не было забот о том, удастся ли завтра пообедать, это — три костюма, несколько пар хорошей обуви, поездка за границу, мотороллер, позднее, возможно, машина-малолитражка, вот, пожалуй, и все...»

Совершенно неожиданно этот человек с двумя своими приятелями приезжает в Освенцим, давно уже превращенный в музей жертв фашизма. На территории бывшего концлагеря кинематографисты крутят какой-то фильм. Как бы воочию перед ними оживает мрачное прошлое: опять звучит немецкая команда, слышится лай собак, людей в полосатой одежде узников изби-

вают охранники. Обстановка такова, что невольно заставляет всех троих, оторвавшись от мирских дел, вспомнить о судьбе тех, кто погиб здесь, чей прах в виде метрового слоя пепла густо покрывает окрестность, принуждает размышлять о природе фашизма, об опасности, которую он представляет для человечества.

Однако главный герой никак не желает оказаться во власти этих дум, он отгораживается от всего, что может вывести его из состояния его общественной, гражданской отмобилизованности. И все-таки он вынужден, в конце концов, сдать свои с таким упорством отстаиваемые позиции.

Брыхт подчеркнуто отстранен, сдержан, словно бы не собираясь и не желая фиксировать те изменения, что происходят в сознании персонажа. Его герой по своему складу вовсе не расположен к душевным излияниям. Он не признается, к примеру, как потрясен был видом огромной копны женских волос за стеклом музейной витрины, насколько тяжко было ему осознать, что это — единственное напоминание о многих тысячах женщин, которым некогда обрили головы, перед тем как отправить в газовые камеры. Но потом, словно вне всякой связи с этим эпизодом, герой рассказа оговорится вдруг, находясь наедине со своей милой, что даже любовь его к этой девушке сделалась совсем иной. Какой? Он и сам затрудняется это объяснить. Однако связь обоих эпизодов очевидна: «груз» освенцимских переживаний оставляет тяжелый след в душе героя. К прежней беззаботности юного чувства уже не может быть возврата. Он и сам понимает неотвратимость совершившихся в нем внутренних перемен. На вопрос своей возлюбленной, что с ним произошло, он отвечает: «Ничего. Просто моя жизнь перестала меня удовлетворять».

Несколько лет назад критик А. Киёвский, размышляя над судьбами первого послевоенного поколения писателей, вошедших в литературу в 1945—1946 гг., назвал имена Т. Боровского и Т. Ружевича в качестве двух подлинных новаторов, чей вклад в литературу дает творческий капитал только теперь — двадцать лет спустя. При этом он заметил, что А. Брыхт «стоит гораздо ближе к Боровскому, чем кто-либо из непосредственных ровесников автора «Дня на Хармензах» *.

Нынешний рассказ Брыхта подтверждает это пророчество проницательного критика. Брыхт начинает свою «Экскурсию Аушвиц—Биркенау» даже чисто географически из того самого пункта, что и автор рассказа «У нас в Аушвице». Не просто начинает. Брыхт продолжает развитие той темы, которую так и не сумел или не успел завершить сам Боровский, который и после освобождения не в состоянии был вырваться в своих помыслах за пределы символического круга, как бы обведенного колючей проволокой лагерного заграждения.

Но если Боровский, по верному замечанию Ю. Юзовского в его «Польском дневнике», не исчерпал своего таланта, вложив весь его в свои освенцимские новеллы, а «пожертвовал им, сделав то, что могли бы сделать другие», то, думается, что Брыхт — один из этих «других».

Герою его рассказа, в отличие от персонажей Боровского, под силу разорвать этот гнетущий и давящий круг. Да, жизнь продолжается. Но и герой Брыхта уже не тот. Он не сломлен, но сделался мудрее, старше, постигнув и осознав во время своей «экскурсии» смысл того, что Эйнштейн определил понятием «надличное». Герой осознал свою кровную связь, нерасторжимость с судьбой человеческого коллектива, общества, с его прошлым, настоящим, будущим. И это свидетельство его наступившей духовной зрелости, возмужания...

Герой рассказа Брыхта очень симптоматичен для нынешней молодой польской прозы, симптоматичен и сам путь его идейного роста, в чем-то созвучный исканиям этой новой творческой смены, которая все увереннее входит в литературу. Молодому отряду литераторов под силу решать уже более сложные творческие задачи, брать на свои плечи все большую нагрузку, шире раздвигать горизонты.

И новеллистика, как жанр наиболее оперативный и мобильный в литературе, привлекая к себе все новые силы, идет впереди, чутко и внимательно прислушиваясь к голосу современника, следя за его поисками и устремлениями.

---

* Название одного из рассказов Т. Боровского.

А. ПУЗИКОВ

# ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

## О новых книгах французских писателей

В литературной республике Франции всегда оживленно. И в этом году, и в прошлом, и в позапрошлом появлялись книги, о которых много писалось во французской и зарубежной прессе. Некоторые из них отмечены литературными премиями, другие — большим читательским спросом, третьи — сенсационной новизной. Не завоевав прочного места в литературе, представители так называемого «нового романа» отступили перед писателями группы журнала «Тель кель». Слово «авангард» не перестало быть модным, но оно непрестанно наполняется новым содержанием. Молодые писатели иногда искренне стремятся обновить литературу «отцов», иногда же попросту используют конъюнктуру книжного рынка, понимая, что посредственному таланту трудно утвердить себя в мнении читателей, не выдавая свои творения за сверхпоследнее слово в искусстве. Ни французского, ни зарубежного читателя не удивляют эти псевдопоиски; они были, есть и наверное будут. Во Франции нашего века их было уже пятьсот, тысяча — этих школ, школок, групп, направлений. Они возникают так же быстро, как грибы в теплую слякотную погоду, и в сущности бесполезны, ибо не в состоянии удовлетворить духовные запросы нации. Нет нужды говорить и о том, что за всем этим кроются сложные общественные процессы. Бегство от действительности, бегство от правды, попрание социальной роли литературы, субъективизм и растерянность — все это возникает тогда, когда исчезает ясное представление об общественных связях, о роли человека в суматошной и противоречивой жизни середины нашего века.

Но если отвлечься от литературных опытов Филиппа Соллерса и Жана Риккарду, то мы увидим во французской литературе сегодняшнего дня содержательные, полные глубокого смысла искания. Как это всегда бывает в большой литературе, события недавнего прошлого, потрясения времен войны резко обострили историческое сознание писателей, заставили их обратиться к вопросам человеческой совести и общественного долга.

Вороша былое, многие современные писатели Франции делают это для того, чтобы получше разобраться в сегодняшних проблемах. Весьма полезное занятие! Несколько лет назад Жан-Пьер Шаброль написал роман «Божьи безумцы», роман о тех, кто восстал против абсолютизма, против религиозных и сословных преследований. Двести с лишним лет прошло с тех пор, но события, описанные в романе, невольно напоминают другое, недавнее варварство — кошмар нацистского насилия. С восхищением следит читатель, как поднимается маленький народ севенских гор против своих угнетателей. И слово «Сопротивление» будит в нем совсем близкие воспоминания. Недавнее прошлое — начало тридцатых годов нашего века — встречает нас в новом романе Жана-Пьера Шаброля «Мятежные», говорящем о шахтерской, рабочей Франции, о пролетарской солидарности и революционных традициях, живущих в ее народе.

Сегодняшний и вчерашний день встает со страниц романа Армана Лану «Когда море отступает». Герой романа Абель Леклерк, участник высадки союзных войск в Нормандии, вновь посещает места былых сражений. Настоящее он видит через прошлое, и в сердце его появляется тревога: мир чре-

ват новыми войнами. Это помогает ему стать потенциальным бойцом против потенциального фашизма.

О прошлом повествует, в сущности, и Жан-Поль Сартр в автобиографической книге «Слова»; он говорит о духовном созревании ребенка с недетски развитым разумом, подготовляющего себя к познанию сложных закономерностей нашего мира.

История учит! Она учит разбираться в лабиринте нынешних политических событий, в локальных вспышках войны, в извечном споре прогресса с реакцией.

Эти же причины заставляют многих писателей задумываться над местом художника в жизни. Не простая любознательность понудила Вюрмсера трудиться двадцать лет над книгой о Бальзаке. Книга вся пронизана мыслями о современности. О Бальзаке создал роман-биографию Андре Моруа. Арман Лану издал книгу о Золя и работает над книгой о Мопассане, Сартр пишет труд о Флобере. Так уж получалось у великих писателей-реалистов, что они не только говорили правду о своем времени, но и думали о будущем, о лучшем будущем и по мере сил помогали ему рождаться.

Уроки прошлого никогда не проходили даром для человечества. Но извлекать их дано не каждому. Только тот, кто идет в ногу с историей, кто опирается на передовые идеи времени и сам активно участвует в формировании нового, в состоянии постигнуть глубину исторических процессов, объективно взглянуть на прошлое и заставить его служить настоящему. Скептицизм и агностицизм в оценке прошлого — это вместе с тем и позиция в отношении к современности, позиция предательская, ибо она исключает веру в идеалы и борьбу за лучшее будущее. О таком взгляде на историю некоего историка Режиса Лаланда, во всем разуверившегося и превратившего науку в игру, рассказала недавно Эльза Триоле в своем романе-памфлете «Великое никогда».

■

Среди книг последнего времени несомненно наибольшее внимание читателей и критиков привлек роман Арагона «Гибель всерьез». Чем же? Оригинальностью формы? Лирическим пафосом? Смелостью суждений об искусстве? И тем, и другим, и третьим. Произведение Арагона емко по своему содержанию и удивительно по своей конструкции.

«Роман ли это?» — неоднократно спрашивает Арагон в ходе повествования. И в самом деле, книга явно не укладывается в привычные для романа рамки. Отчасти это трактат об искусстве, отчасти трактат о ревности, отчасти это лирическая исповедь и вместе с тем экскурс в бурную историю XX века. И все же это — роман, потому что судьбы героев даны в развитии, в драматических коллизиях, имеющих отправную сюжетную точку и свое завершение в финале. Но прежде всего это исповедь — лирически взволнованная исповедь, самообнажение. Она так же откровенна и беспощадна, как «Исповедь» Руссо, а может быть, еще беспощаднее, потому что понятия добра и зла, порока и добродетели приобрели в наше время более сложный и противоречивый смысл.

Герой романа — наш современник. Он ощущает на себе груз ответственности и перед обществом, и перед любимой, и перед самим собой. В разных жизненных ситуациях он меняет свое лицо, потому что человеческий характер — не стоячее болото, он — само движение. Только другие могут не заметить этого. А для себя? Сам-то он знает, что в нем уживается два, а то и три человека, которые ведут незаметную для стороннего глаза борьбу друг с другом. Так возникает в романе тема двойника — поэтическая метафора, распространившаяся на все произведение. Читатель не удивляется такому повороту событий: за фантастикой стоит реальная жизнь, и прав Андре Вюрмсер, когда он говорит, что мы уже встречали у Арагона эту мысль о двойнике, хотя в обличии вполне реальном. Вот как рассуждает Жозеф Кенель — финансист из романа «Богатые кварталы»: в одном и том же человеке живет два разных существа — один функционирует в обществе, другой — ничего не видит вокруг себя, питает отвращение ко всему, находится в противоречии с самим собой.

В новом романе Арагона есть глава, названная «Карнавал». Это новелла, извлеченная из красного портфеля Антуана Знаменитого. Антуан и его возлюбленная Фужер слушают Шумана в исполнении Рихтера, и в этом же зале присутствуют Арагон и Эльза. Антуану вспоминается его юность, его любовь к музыкантше Беттине. В те годы он служил в полку и его имя было — Пьер Удри. Там встретился он с поэтом А. (Арагон). Но Арагон, Антуан и Удри одно и то же лицо. Так же как Эльза — это Ингебор, Фужер и Беттина одновременно. Музыка Шумана как бы оправдывает двойное и тройное существование героев. Великий музыкант одним из первых обратился к образу двойника и музыкально выразил свою мысль в «Карнавале» — в Эусебии и Флористане.

Тема двойника рождается в искусстве не случайно, а из мысли о сложности и многоликости жизни и может, конечно, преломляться по-разному. В отличие от Шамиссо с его знаменитой повестью о Петере Шлемиле, потерявшем свою тень, и других своих великих предшественников, Арагон не заставляет нас доискиваться скрытого смысла метафоры. Здесь все ясно и просто. Надо только принять условия игры, предложенной читателю автором. Как появился рядом с героем романа Альфредом его двойник Антуан Знаменитый? Произошло это в дни молодости Фужер и Альфреда. Фужер придумала игру в Антуана. Она сочинила его и полюбила больше реального Альфреда. Здесь еще нет ничего от фантастики. Фантастика появляется лишь тогда, когда сам Альфред поверил в существование Антуана

и, взволнованный пением Фужер, «забыл себя», потерял свой облик.

Первые страницы романа переносят нас в эпоху Народного фронта. В маленьком парижском ресторанчике сидят Антуан и Ингебор, которую Антуан ласкательно зовет Фужер, что в русском переводе означает папоротник. В потолок ресторанного зала вделано венецианское зеркало. (Первая глава называется «Венецианское зеркало»). Напрасно Антуан всматривается в него. Он не может найти там своего отражения, он видит только других. Так сразу Арагон вводит нас в атмосферу фантастического, хотя обстановка, в которой пребывает Антуан, подчеркнуто реальна и время, и люди, и окружающие вещи выписаны со скрупулезной точностью. О своем положении человека, потерявшего отражение в зеркале, Антуан говорит как о чем-то обычном — такое может случиться с каждым. «Человек, потерявший свой облик,— это скандал»,— говорит Антуан. Он не знает, как выглядит сейчас, потому что не видит очертаний своего тела, рук, не видит себя. С течением времени он изменился для других, но сам о себе не может составить никакого представления. Единственно, что он ощущает,— это возраст, который заставляет его ограничиваться в желаниях. И он живет, привыкнув к своему состоянию, не думая об этом, за исключением тех случаев, когда прикасается к себе — к щекам, ушам. «Я, вероятно, очень стар»,— думает Антуан в такие мгновения.

Не спеша, со многими подробностями рассказывает Арагон необычную историю своего героя, приучая читателя к изобретенной им игре. Постепенно мы знакомимся с героями романа и их двойниками.

Антуан Знаменитый известный писатель. Как-то корреспондент радио или телевидения спросил его, давно ли он стал реалистом, ибо раньше он был «совсем наоборот». Антуан ответил, что в этом помог ему голос Фужер. Уже здесь мы начинаем догадываться, что речь идет о самом Арагоне, который то сливает себя с героями романа, то противостоит им. Затем следует портрет Ингебор, рассказ о ее жизни. Читатель узнает ее настоящее имя, ее семейную историю, подробности ее артистической карьеры. Но главное впереди. Интрига завязывается лишь тогда, когда мы узнаем о существовании двойника Антуана — Альфреда. Фужер любит Антуана, человека, которому оказывают почести, встреч с которым ищут корреспонденты,— одним словом, Антуана Знаменитого. Альфред — это другая сторона Антуана. Альфред — просто человек, меньше всего заботящийся о славе, простой и скромный партийный работник, покидающий Фужер, чтобы присутствовать на собраниях партийной ячейки. И Антуан, и Альфред вместе составляют автора — Арагона, который пишет всю эту историю, очень похожую на исповедь. Альфред ревнует к Антуану. Он хочет, чтобы Фужер любила его как человека, а не как знаменитого писателя. Антуан помеха в этой любви. И вот готов сюжет романа. Ревность приводит Альфреда к мысли убить своего двойника Антуана. Это можно сделать тогда, когда Антуан на минуту вновь увидит себя в зеркале. Покушение Альфреда на Антуана кончается тем, чем оно и должно кончиться в реальной жизни: метя в Антуана, Альфред ранит себя.

Фужер также принимает участие в этой игре, ибо она и Ингебор, и Фужер («Папоротник»), и «Шепот», и Эльза. Это обусловлено тем, что она и знаменитая певица, и просто женщина — любовница Антуана, и мечта, к которой стремятся Альфред и Антуан. Все это и сложно, и просто и в конце концов может быть изложено на нескольких страницах. Чем же тогда заполнен пространный роман Арагона, который содержит одиннадцать глав и 421 страницу?

В первой главе автор знакомит нас с основными персонажами и той необычной историей, которая приключилась с Антуаном. Вторая глава — рассуждение о ревности — органически продолжает первую и является своеобразной завязкой в развитии сюжета. Две последующие главы как бы повторяют построение двух первых, а далее — трактат об искусстве, о правах и обязанностях романиста, затем вставная новелла, которая органически врастает в сюжет, еще глава об искусстве и еще одна вставная новелла, извлеченная из красного портфеля Антуана, и наконец новелла «Эдип» и глава «Разбитое зеркало», в которых наступает развязка и которые помогают читателю осмыслить происшедшие события — автор подводит итог своей исповеди. Есть ли во всем этом логика и последовательность? Да, есть, но особая, своевольная логика художника.

На клапане суперобложки книги, вышедшей в издательстве Галлимар, мы можем прочесть резюме Арагона о романе:

«История человека, потерявшего свой облик?.. Пожалуй, но между нами говоря, совместима ли история человека, потерявшего свой облик, с реализмом? В общем, Антуан становится реалистом в день, когда он услышал пение Ингебор д'Ушер, которую он втайне называет Фужер. В пении, в этом непрерывном творческом акте, он черпает веру в *существование других людей*. «И мог ли я,— говорит он,— открыв для себя столь необычайный факт, как существование других людей, не измениться до основания, не переродиться полностью?»

А может быть, это скорее книга о ревности? «Отелло или что-то в этом роде...»— замечает однажды Антуан. Но в книге не всегда говорит сам Антуан. Здесь есть еще автор и некий Альфред. Разумеется, Фужер любит Антуана. «То есть,— говорит Альфред,— Фужер любит некую идею, то представление, какое она обо мне составила, назвав Антуаном...» Альфред скажет о ней: «Когда она поет, я чертовски люблю ее душу». Но автор задаст себе вопрос: *что же, в конце концов, составляет сюжет моей*

---

**А. ПУЗИКОВ**

**ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ**

*книги?.. Человек, который потерял свой облик, жизнь Антуана Знаменитого и Ингебор д'Ушер, пенис, реализм или ревность?* Это может быть также и роман о многоликости человека, роман о художественном творчестве или роман о романисте. Выбирайте, что вам угодно.

Роман охватывает события XX века, обе войны, Народный фронт, смерть Горького и сегодняшний день: вы можете поворачивать реальный мир как угодно — все равно он останется реальным миром. И говорит ли Антуан, говорит ли сам автор или Альфред — надо верить словам, которые этот последний обращает к Фужер: *«Все, что я пишу,— это письмо, одно нескончаемое письмо к тебе».* Отно бесконечно длинное любовное послание, чем бы оно ни было по форме — романом или включенной в это послание и независимой от него историей, которая протекает в Дании, в Венеции или переносит нас с концерта Рихтера, играющего в 1963 году при свете свечей «Карнавал» Шумана, в 1918 год, на берег Рейна, если только мы не попадем по дороге в настоящую «черную серию» с царем Эдипом, проживающим на улице Мучеников... Но скажите, откуда название романа — «Гибель всерьез»?.. Кажется, автор позволил себе заимствовать заголовок из стихотворения Пастернака в переводе Эльзы Триоле:

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

В конечном итоге, может быть, это и есть сюжет романа? Что? Старость, смерть? Мой бог, как вы меня утомили! Почему бы вам не спросить еще, кто такая Фужер?»

Итак, это несколько капризное и туманное предисловие автора мало что объясняет читателю, хотя в нем и перечислены основные мотивы романа. Может быть, ключ к роману в его названии («La mise à mort» — дословно «Предание смерти», последний удар матадора)? В стихотворении Б. Пастернака речь идет о жертвенной роли поэта, о том, что искусство требует от него полной самоотдачи и что оно может принести ему гибель, и о том, что старость требует полной честности от художника — тут есть над чем задуматься. Однако нет сомнений, что, объясняя свой роман, Арагон продолжает игру. За этой заметкой, как и за многими пояснениями Арагона, которые мы находим в тексте романа, мы можем увидеть лукавую улыбку писателя: читайте, вникайте в смысл, расшифровывайте, догадывайтесь, что хотел сказать автор, а я посмотрю и немного посмеюсь над вами. Все равно как в детской игре «холодно-горячо».

Проявим трезвость и примем условия игры Арагона наполовину — не будем рваться в «догадливые» читатели и ограничимся лишь тем, что лежит на поверхности и что не скрывает от нас писатель.

Большое место заняли в романе вопросы искусства, вопросы реализма. Писатель против узких схем и формул. Он не скрывает от нас своего раздражения против тех, кто может его упрекнуть в отступлении от реалистического творчества: «Между нами говоря, совместима ли история человека, потерявшего свой облик, с реализмом?.. Проще изменить определение реализма, чтобы расширить его берега». Это говорит Антуан Знаменитый, но мы знаем, что это говорит и Арагон. Многоплановый его роман, где перепутано время, где прошлое соседствует с настоящим, где фантастика уживается с реальностью, должен противостоять догматическим понятиям о реализме. Реализм без берегов? Да, Арагон склонен поддержать эту формулу, хотя и к ней он относится не без иронии. С кем же спорит Арагон? Этот вопрос остается без ответа. Наше понимание реализма вполне позволяет нам причислить к реалистическим произведениям «Шагреневую кожу» Бальзака и «Петера Шлемиля» Шамиссо. Фантастика и лиризм никогда не были помехой реалистическому творчеству. Нужно ли менять старые понятия, так удачно сформулированные Арагоном в его прежних статьях о реализме?

Другое его рассуждение касается романа как игры. В главе пятой, которая называется «Отступление на тему о романе как зеркале», Арагон обосновывает принцип художественной «игры» ссылкой на Кэролла и его «Алису в стране чудес». «Сделаем вид»,— говорит Алиса, и она оказывается по ту сторону зеркала, «сделаем вид» — и она заставляет котенка отвечать на вопрос, умеет ли тот играть в шахматы. С этого начинается поэзия, искусство. Художнику стоит только вообразить, «сделать вид» — и нереальное становится реальным. Реализм ли это? — спрашивает Арагон и отвечает утвердительно, ибо правдивое изображение действительности, внутренних переживаний героя допускает любое поэтическое своеволие. И против этого невозможно спорить. Но является ли универсальным правилом для писателя-реалиста «игра» Алисы? Только ли «игрой» было неповторимое художественное воплощение действительности в произведениях Бальзака или Толстого?

Но вернемся к произведению Арагона. Оно не похоже на роман из цикла «Реальный мир», не похоже и на «Страстную неделю», но в нем много от поэзии Арагона. Замысел романа продиктовал его необычную форму, и надо сказать, что все здесь на месте, все органично и слитно. И произошло это не потому, что писатель обновил формулу реализма, не потому, что вспомнил Кэролла и его «Алису». Нет! Своеобразие романа рождено его героями.

Герой романа пытается взглянуть на настоящее с разных точек зрения, через призму своего сложного жизненного опыта. Этот опыт прожитого, продуманного, прочувствованного многогранен, потому что это опыт искателя, мечтателя и вместе с тем опыт человека действия, который не оставался в тени грозных исторических событий, а выходил на передовую, боролся, страдал, погибал и вновь обретал жизнь. Это опыт мыслителя, поэта, политика, влюбленного, опыт человека нашего времени — не заурядного обывателя, а талантливого художни-

ка,— опыт человека, вобравшего в себя духовные ценности прошлого и настоящего, чье сердце обнажено для страданий и радостей, для любви и ненависти. Надо суметь встать вровень с ним, хотя бы на короткое время, пока читаешь роман, чтобы разобраться в сложных мыслях и чувствах героя, приобщиться к миру его сложных ассоциаций.

Он отличается от обывателя, как рука Паганини отличается от руки первобытного человека. Он упражнял свой мозг долгими часами чтения, запоминания, узнавания, как упражняет свое тело гимнаст. Он изощрял свою мысль мыслями других, его чувства обострились. Но он вовсе не сверхчеловек. Он уязвим как раз в самом человеческом — в любви, в отношениях с людьми. Вот почему этот герой — этот Альфред, Антуан, Арагон — мыслит не только конкретными понятиями окружающей нас жизни, но опирается в своих суждениях на огромный опыт, накопленный человечеством.

Сложен мир героя, и потому сложен роман, его необычная композиция, сместившиеся представления о времени и пространстве, его необычная форма, включающая в себя философские этюды, живые сцены жизни, пространные послания, внутренние монологи.

«Гибель всерьез» — это и роман о прошлом, о протекшем времени. Вместе с Арагоном читатель перелистывает страницы вчерашней истории, вспоминает крупнейшие события эпохи. Однако они отодвинуты как бы на задний план. Писатель говорит о прошедших событиях, как о чем-то само собой разумеющемся, не требующем пояснений. «Это было в дни Народного фронта». Это было в дни Мюнхена: «Я был человеком, чей рассудок помутился»,—это было тогда-то... и писатель лишь констатирует события, но не комментирует их. «С нами сидел Миша»... и читатель должен сам догадаться, что речь идет о Михаиле Кольцове.

Так поступает иногда поэт, когда он создает лирическое стихотворение. Все события преломились через его «я», переплелись с личным, интимным, и это составляет главную его заботу. Есть поэма «150 000 000» и есть поэма «Про это». «Гибель всерьез» — лирическое стихотворение, «одно нескончаемое письмо к тебе». Подробности исторических событий вы можете почерпнуть из других книг. В этом произведении вы увидите лишь то, как они формировали душу героя, как влияли на его чувства, на его отношения с любимой.

И все же это отвлечение от истории начинает вызывать протест. Скрупулезен анализ чувств, но чересчур уж небрежны штрихи художника, когда он касается истории, как это, например, случилось в эпизоде с похоронами М. Горького.

В 1936 году Антуан Знаменитый посещает Москву и присутствует на похоронах буревестника пролетарской революции. Трагическое это событие связывается в романе с началом необоснованных репрессий, с культом личности Сталина. Многотысячная толпа заполнила Красную площадь, а на трибуне стоят овеянные легендарной славой герои, которым суждено скоро исчезнуть. Антуан чувствует какое-то странное отношение к себе. Он принят в Москве не так, как раньше... Совсем недавно Антуан заметил в парижском кафе двух молодчиков, которые наблюдали за его беседой с Михаилом Кольцовым, и вот теперь на площади, а позднее в автобусе он вновь замечает их. Антуан чувствует себя одиноким, он вспоминает какие-то детали, мелкие частности. Все это заставляет Антуана забыть об основном, о главном. А главное заключается в том, что здесь, на Красной площади, бесконечно опечаленный народ трудовой Москвы прощался со своим удивительным писателем, другом Ленина, прощался и давал клятву быть верным идеалам горьковского гуманизма, идеалам революции и социализма. На Красной площади стояли тысячи и тысячи людей, которые ровно через пять лет (похороны Горького состоялись 22 июня) начнут героическое сопротивление фашизму и, жертвуя своими жизнями, спасут Европу и весь мир от фашистского кошмара. Этого Антуан не увидел. И если «Гибель всерьез» — роман «памяти», и если Антуан в какой-то мере и Арагон, то этот эпизод не может не огорчить нас, ибо мы знаем и другую память писателя — память коммуниста и революционера.

В наше время любая историческая деталь необычайно весома. Она может многое прояснить, но и многое затемнить, исказить.

■

«Надо подойти к этому произведению, поднявшись к его концу. Это вам не помешает вернуться к началу и оказаться вновь в курсе событий той или иной главы, той или иной страницы. Так никогда не читают, но так можно перечитывать, чтобы познакомиться со всем произведением».

Это советует Пьер Гамарра в журнале «Эроп», в рецензии на книгу Арагона. Что ж, последуем совету Гамарра и заглянем на последние страницы романа. Это самые трудные страницы, хотя именно здесь автор поясняет смысл происшедшего и происходящего. Они трудны, потому что написаны в сюрреалистской манере, потому что одна мысль здесь рождает другую, одна ассоциация сменяется другой, и нелегко привести их в порядок и уловить главное.

Оставим в стороне рассуждения о человеке, который решился на убийство. Когда Альфред решил убить Антуана, он не мог уже остановиться: «Невозможно самого себя схватить во время падения». Оставим в стороне юридические и другие доводы, которые приводит автор в защиту Альфреда. Остановимся на том, что самим нам кажется главным. Кто из них прав — Альфред или Антуан или, вернее, какая часть души раздвоенного героя заслуживает нашей симпатии? «Я был Антуаном — Антуан был мною,— говорит Альфред.— И я не знаю, кто из нас двоих порок и кто добродетель.

---

А. ПУЗИКОВ
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В рассматриваемой игре все происходило иначе и все сводилось к одному: быть или не быть любимым Фужер. Это и есть мораль, которая стоит любой другой морали». Поскольку Альфред и Антуан одно и то же лицо — как можно отделить пороки одного от добродетелей другого или наоборот? Как и в каждом человеке, они существуют одновременно, Фужер любила в Альфреде Антуана, и отказ Альфреда от Антуана означал бы разрыв с Фужер. Если соединить эти две половинки человека в одну, то перед нами окажется некое третье лицо — человек из реального мира, герой романа, наш современник со всеми противоречиями его сложной души. И вот, приблизительно, вытекающая из этого мораль: не ищите в жизни положительного героя в банальном смысле этого слова. Человек — это комплекс хорошего и дурного. «Разум бога всегда проявляется в действиях дьявола»,— говорит Альфред и, вспоминая Шекспира, добавляет: «Душа добра во зле».

Является ли это оправданием зла? Нет, Арагон делает совсем другой и, может быть, неожиданный вывод. Он просто отказывается от мысли создать положительного героя.

«Я остался без положительного героя. Заметьте: речь уже не о том, что нет русла, бережков, берегов... но о том, что нет положительного героя; вот так штука! А главное, невозможно совсем отказаться от мысли, что если Антуан не существует, то именно потому, что он положительный герой, и даже больше: доказательством того, что он не существует, служит тот факт, что, если бы он существовал, он был бы положительным героем...

Потому что эта книга — роман в духе реализма. Современного реализма. Со своими трудностями, своими противоречиями, своими проблемами. А вам и невдомек? Да, разумеется, это книга о ревности. В какой-то мере и о множественности человеческой личности. Согласен. Но главное, главное. По крайней мере здесь, на этой странице. Роман в духе реализма».

Все это говорится в несколько иронически-шутливом тоне. Нет русла, нет берегов, нет бережков и нет положительного героя. Реализм ли это? Да, реализм, отвечает Арагон, реализм особый, современный, со всеми его противоречиями.

Арагон атакует догматизм в вопросах эстетики. Делает он это остроумно, а порою зло. На глазах у читателя он поворачивает действие романа от фантастики к реальному, после долгих, трудных стилистически фраз переходит к точному и ясному языку. Он и здесь продолжает «игру», посмеиваясь над правоверными приверженцами раз и навсегда установившихся шаблонов.

«Я вдруг остался без положительного героя и чувствую себя так, будто стою на людях, мягко говоря, не совсем одетый. И это как раз в тот момент, когда я прилагаю все усилия, чтобы повернуть мое повествование в другую сторону от того неправдоподобия, в которое оно начало ударяться; когда мне, казалось, удастся ввести его в рамки — как бишь его? — в русло, словом, в берега традиционного реализма, и теперь это реализм как реализм, стандартное платье,— надел и пошел».

Задумаемся на минуту. Положительный герой: разве он возникает по одной лишь прихоти автора? В жизни существуют положительные начала, которые находят свое выражение в действиях и поступках людей. Художник, поставивший перед собой цель воссоздать жизнь во всем ее многообразии и сложности, непременно обратится и к этим положительным началам, и к тем, кто является их носителями. Положительный герой нашего времени — это не сусальное чудо, не ангел во плоти, не святой из апокрифа. Он не нуждается в особой метке, чтобы кто-то невзначай не перепутал его с «другими». Вопрос о положительном герое решает не литература, а жизнь, а в жизни мы видим множество героических форм, в каких положительный идеал проявляет себя сегодня — и во Франции, и во всем остальном мире.

Мы сочувствуем стремлению отделить подлинное реалистическое творчество от подделок под реализм, от того тусклого, плоского «серийного реализма», который не имеет ничего общего с подлинным реализмом. Но релятивизм и скептицизм — не лучшие средства борьбы с догматизмом.

Морально-эстетическая проблема (добро и зло) свелась в романе к проблеме чисто эстетической, к спору о путях современного искусства, к спору о реализме. Но обе эти проблемы нераздельны, как нераздельны этика и эстетика, нравственные вопросы и искусство. И мы невольно испытываем разочарование.

Ведь нам многое понравилось в этом романе: сложный мир героя, поднявшегося в своем духовном развитии до неких вершин культуры; его трепещущая душа, открытая для большой любви, и сама любовь, сопряженная с творчеством. Нам понравилась лирическая стихия произведения и эта великолепная проза, столь близкая к поэзии. Нас поразили необыкновенные познания автора, меткость его суждений об искусстве, о произведениях, известных всем и почти никому не известных. Мы радуемся любовному вниманию писателя к нашей отечественной литературе, из которой он черпает слова и образы, помогающие ему раскрывать внутренний мир героев (в текст романа вкраплены, без перевода на французский, дорогие нам строки Пушкина). Рассуждения автора и его двойников поражают нас необычайной гибкостью мысли, хотя и не во всем можно с ними согласиться. Так, читая Беркли, поражаешься головокружительной логике философа, гибкости доводов, которыми он пользуется для доказательства своих не приемлемых для нас идей.

И все же... неужели конечная цель автора — эксперимент, попытка доказать существование реализма без берегов, без положительного героя? Неужели все свелось к полемике о современном искусстве, к вопросу о модернизированном реализме? Если бы

это было так, то нас ожидало бы большое разочарование. Виртуозная техника может поразить наше воображение, но не взволновать душу.

От конца возвращаемся к началу романа, как советует Гамарра, и вновь перелистываем его страницы. Роман снова и снова волнует нас чистотой и человечностью, искренностью чувств, лирической глубиной.

И все же! Не слишком ли много страниц посвящено сведению счетов с не очень выясненными литературными противниками? Роман до краев наполнен мыслями, рассуждениями, реминисценциями. Чаще всего читатель воспринимает это как должное, ибо художник нашел для всего этого неповторимую своеобразную форму. Но порою нам все-таки становится как-то не по себе в атмосфере интеллектуализма, и, как свежий воздух, мы вдыхаем эпизоды и сцены, выхваченные из живой действительности. И сколько плотского очарования обнаруживаем мы в них и как талантливо выписаны они художником. Мы замедляем чтение, чтобы насладиться мастерски использованной деталью, меткой черточкой, в которой выражен весь человек или окружающая его обстановка.

■

Критика во Франции увидела в романе Арагона ростки нового реализма, возникающего по велению времени. Новаторство всегда шло рядом с традициями. Но даже закостеневший догматик от литературы согласится, что любой смелый шаг в художественном развитии человечества сопровождался ломкой старого, традиционного. Когда-то не было Шекспира, и никто не знал, каким он будет, хотя можно было предполагать, что в многовековом поступательном движении человечества он непременно явится. Современники Тредьяковского не знали, каким будет Пушкин, хотя и верили, что он придет. Явись Шекспир двумя веками раньше — его не поняли бы, а Пушкина едва ли оценили бы по достоинству его литературные предки. Мы не знаем, каким он будет — новый Шекспир двадцать первого века. Но мы знаем, что в его произведениях будет отражена жизнь, что будет он великим гражданином, как были его предтечи, что написанное им будет читаться не маленьким кругом людей, а миллионами, а по счету на поколения — миллиардами и поможет им жить и понять жизнь.

И как же все это отнести к роману «Гибель всерьез»? Ответим словами Арагона: «Как вы меня утомили!».

Да простят мне читатели (и Арагон) эту невольную шутку. Начиная писать заметки о новых книгах французских писателей, о праздниках и буднях современной французской литературы, я невольно нарушил пропорции и говорил больше всего о романе Арагона. И это нетрудно объяснить, ибо с автором «Гибели всерьез» нашего читателя связывает большая и давняя дружба.

АНКЕТА
Иностранной литературы

# РЕАЛИЗМ СЕГОДНЯ

Журнал «Иностранная литература» стремится следить за многочисленными спорами и дискуссиями вокруг проблем творчества. Мы направили ряду писателей и критиков разных стран приглашения ответить на вопрос:

*Ваше понимание реализма и какие, по вашему мнению, новые черты свойственны реализму сегодня?*

Ниже мы публикуем часть полученных ответов. Публикация будет завершена в одном из первых номеров следующего года.

## КОБО АБЭ (ЯПОНИЯ)

## РЕАЛИЗМ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРЕДЕЛАХ

Когда речь идет о реализме, имеется в виду, конечно, определенный метод, но отнюдь не критерий ценности.

Следовательно, само содержание понятия «реализм» разнообразно и меняется в зависимости от эпохи и общественного устройства. Вспомним о течениях, противостоявших реализму, и мы убедимся в этом со всей очевидностью. Например, было время, когда реализму противостоял романтизм, потом наступила эпоха, когда реализму противопоставляли искусство для искусства или же модернизм. Бывали ситуации, когда противоречащим понятию реализма мог стать натурализм или же дидактизм.

Таким образом, в зависимости от эпохи и особенностей ее литературы вполне мыслима даже такая ситуация, когда в реализме вовсе не ощущается нужды. Следовательно, реализм как метод вовсе не является каким-то абсолютом в литературе.

Тем не менее, несмотря на все, сказанное выше, я утверждаю, что считаю себя сторонником реализма. Я считаю, что в наше время реализм по-прежнему эффективен. Однако это должен быть подлинно современный реализм, реализм со строго очерченными пределами, в полной мере постигший явления, противостоящие реализму, и сознательно бросающий им вызов. Считать же, что реализм сам по себе некий ангел-хранитель творчества писателя, пожалуй, не что иное, как одно из проявлений идеализма, утверждающего приоритет метода над действительностью.

Если говорить о явлениях, противостоящих понятию реализма, то для меня сейчас таковым является в первую очередь именно подобное обожествление реализма «вообще». Подобная позиция напоминает мне нечто вроде примитивного, эмпирического, наивного представления о пространстве, которое существовало до определения пространства Эвклидом. Диалектика как метод, понимая ограниченность человеческого знания, позволяет расширить пределы познания и глубже постичь действи-

тельность. В области литературы мыслить диалектически это не значит стремиться отобразить действительность во всей ее совокупности, но, на первый взгляд ограничивая себя определенным кругом явлений, прийти в результате творческого процесса к открытиям, которые на деле обогащают наше познание действительности.

Ни одна эпоха не нуждалась столь настоятельно в диалектическом знании действительности, как наше время. Окружающий мир требует, чтобы человек познавал его обобщенно. В такую эпоху было бы недопустимой самонадеянностью придавать ограниченному сознанию обобщающий характер. Писателю скорее пристало участвовать в схватке с окружающим его миром — этой главной задаче, стоящей перед нынешним человечеством,— на правах рядового бойца, полностью проникнувшись пониманием ограниченности каждой из форм познания. Некоторые сокрушаются о раздробленности современной литературы, но я верю, что эффективность, действенность литературы становится, напротив, более несомненной, когда писатель ограничивает себя избранной им «литературной действительностью». Под «литературной действительностью» я понимаю тот конкретный мир, который создает автор в своем произведении, будь то «Гулливер» Свифта, «Нос» Гоголя или «Война и мир» Толстого. Золя заблуждался, стремясь воссоздать действительность во всех ее проявлениях в своих романах. Современные сторонники «сверхреализма» недооценивают литературу, по существу своему это — не более чем консервативный оппортунизм, пренебрежительно относящийся и к своей эпохе, и к человеку.

Если чуть сгустить краски, можно, пожалуй, сказать, что даже эстетская литература с ее колоритом пессимизма и безнадежности, при условии, конечно, что она сознательно бросает вызов подобному обожествлению реализма «вообще», является на деле более эффективным реализмом, чем произведения подобных «сверхреалистов». Если писатель сознательно ограничивается в своих произведениях «литературной действительностью», это ни в коем случае не означает бегства от действительности или чего-нибудь в этом роде. Напротив, по-моему, такая позиция обладает большими возможностями и свидетельствует о решимости писателя участвовать в окружающей его жизни.



МИХАЙ БЕНЮК (РУМЫНИЯ)

## МУЖЕСТВЕННЫЙ РЕАЛИЗМ

Из всех существовавших на протяжении веков литературных направлений реализм оказался наиболее жизнеспособным, продуктивным — как до, так и после возникновения в XIX веке реалистического течения в искусстве Франции. Узаконивание термина «реализм» было не чем иным, как крещением давно родившегося ребенка, возможно даже незаконнорожденного, но крепкого и жизнестойкого. Источник жизнеспособности реализма — в самой действительности, в его стремлении идти в ногу со временем, а порою и обгонять его. Дух времени, вбирающий в себя эволюцию человеческого разума и поступательное движение общества, неотвратимые столкновения классов и социальных категорий, прогресс науки и мышления, развитие экономики и человеческих отношений накладывают отпечаток на реалистическое искусство, обусловливают его особенности. Критика прошлого и предугадывание пути или путей к будущему составляет существенные черты реализма.

Художники-реалисты не сжигают корабли, высаживаясь на новый берег. Они обеими ногами прочно опираются на существующую действительность.

Изобразительные средства принадлежат и эпохе, и автору. Сервантес и Шекспир — оба реалисты, но художественные приемы у них иные, чем, скажем, у Толстого или Чехова. Есть, однако, у этих писателей и нечто общее: все они выносят приговор своему времени, эпохе, в которой живут. Все они осуждают или оправдывают, ищут справедливости, взвешивая ее на сверхчувствительных весах души художника. Если справедливости нет, она должна прийти. Тот, кто защищает справедливость, делает это во имя человечности, гуманизма, определяющих сущность искусства.

Этот гуманизм — гуманизм не одного человека, а единения людей — мы найдем и у Хемингуэя в «Иметь и не иметь» и у Шолохова в «Тихом Доне». Средства выражения могут варьироваться разными художниками, но гуманистический смысл их произведений бесспорен и потому всегда находит отклик у читателя.

Реализм не герметичен, не изолирован от мира и людей, он связан с жизнью, людьми, их проблемами.

Горький бесспорно является не только одним из величайших реалистов нашего века, он выдвинул свое гуманистическое кредо, источник которого — вера в борьбу

рабочего класса, в социалистическую революцию. Этим он придал новое звучание реализму, который по праву был назван социалистическим.

Наступил новый этап в историческом развитии реализма, и возросли его потенциальные возможности. Социалистические революции происходят в разных странах и при всем их различии приводят к созданию новой действительности, возникновению новых противоречий — в плане национальном, а в мировом масштабе продолжают изменять соотношение между социализмом и капитализмом, порождают ранее не существовавшие проблемы и конфликты.

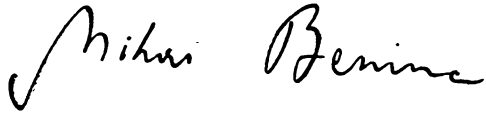
Художник, который признает во имя будущего примат идей социалистической революции и высказывает свое социально-историческое кредо, подобен первооткрывателю, стоящему на грани новых эпох. А это требует творческого воображения, новых художественных средств для показа новой действительности, ответственности художника не только перед самим собой, но и перед людьми (если он хочет, чтобы люди верили его творчеству).

Какими должны стать новые художественные формы, чтобы быть полнокровными и убедительными? Прежде всего они должны соответствовать духу времени, отметающему все, что стоит на пути истинного прогресса,— косность, привилегии в ущерб интересам человеческого коллектива. Эти формы должны соответствовать динамическому развитию реальности с ее многообразными проявлениями, небывалому прогрессу человечества — эпохе социалистических революций, освобождения народов от гнета империализма, мирного использования атомной энергии, освоения космических пространств. И все это, как и коренной вопрос: «война или мир?» — находит отклик в сердцах людей, этом главном источнике вдохновения художника. Пафос современных строек, великие или драматические потрясения в мире, людские радости и желания не чужды художнику.

Сложная современная действительность зачастую толкает художника на путь сомнений, ставит его перед такими понятиями, как «отчуждение» (что это — мода, лицемерие, неумение заглядывать в будущее?). Для художественного воплощения современной действительности недостаточны уже ни символы вроде призрака, явившегося Гамлету, ни сражения с ветряными мельницами, ни даже бальзаковское или флоберовское скрупулезное описание действительности — в социально-историческом и психологическом плане. Сегодня само изображение реальности нередко становится призрачным. Именно поэтому так необходима тесная связь с жизнью. При сегодняшней сложности проблем писатель, чтобы не утратить чувства реальности, должен был бы чаще вспоминать о лесе из «Освобожденного Иерусалима» Тассо, населенном страшными чудовищами: достаточно смело приблизиться к этому лесу, как чудовища исчезают и вырисовываются деревья. Сегодня нужен мужественный реализм, а он невозможен без веры в историческую судьбу человека, без смелого воплощения в жизнь революционных идей.

Однако не существует рецептов, как стать реалистом или как быть мужественным. Истинный реализм редко увенчивается Нобелевской премией и часто доставляет неприятности автору.

Созвучие духу времени, верность высоким идеалам, моральная ответственность писателя — все это дает возможность создавать непреходящие ценности.



## ИРЖИ ГАЕК (ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

# ХАРАКТЕР И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОГО РЕАЛИЗМА

Когда я говорю о характере и перспективах современного реализма, я имею в виду реализм современной социалистической литературы и искусства. Его существенные особенности нельзя искать, по моему мнению, ни в сфере изобразительных средств или вообще художественной техники, ни в эстетических категориях. Его отличает от противоположных тенденций в искусстве прежде всего концепция действительности. Реализму, который является методом наиболее выдающихся мастеров социалистических литератур, присуще прежде всего убеждение в познаваемости действительности, в способности человека изменять ее. Это определение, сформулированное в свое время Брехтом, является основой любой характеристики современного реализма. Оно кладет также ясные границы между реализмом XIX века и реализмом современной социалистической литературы. Итак, реализм — это определенная концепция действительности. Но каковы же все-таки конкретные признаки этой концеп-

ции? Окажутся ли достаточными традиционные, постоянно употреблявшиеся до сих пор понятия или само развитие действительности и опыт современной литературы заставит нас дополнить их, расширить и найти новые определения?

Я полагаю, что старая, «ортодоксальная» концепция действительности, которая связана с некогда новаторскими трудами Георга Лукача и его последователей, сегодня уже представляется недостаточной и неполной: она ограничивает поле зрения литературы областью событий, человеческого поведения (потому что внутренний мир якобы сам по себе недоступен художественному изображению), рассматривает человека только в его обычных общественных связях и не обращает достаточно внимания на человека, на субъект истории, подчеркивая его детерминированность данными социальными условиями. Против этой концепции, которая выражается прежде всего в требовании изображать «тотальность эпохи», развитие социалистической литературы выдвинуло сегодня требование «тотальности человека» — наиболее полного воплощения всех сфер его опыта, всех проявлений человеческой активности. Но, конечно, изображение «тотальности человека» возможно только в перспективе его общественного бытия. Это — решающее условие для понимания всех взаимосвязей той многоплановой, противоречивой и по внешности не взаимосвязанной, разорванной действительности, в которой живет современный человек, в которой он должен ориентироваться и на которую он хочет воздействовать.

«Законной» действительностью для реализма не может быть лишь то, что мы видим, что подчиняется строгим критериям разума, та действительность, из которой заботливо устранено все «слишком субъективное», «только инстинктивное» и подсознательное. Реализм современной литературы (во всяком случае в тех ее направлениях, которые я считаю наиболее перспективными) не может и не хочет исключать из понятия действительности никаких проявлений человека. А отличает его от противоположных направлений именно та перспектива, о которой я уже говорил. Смысл этой перспективы заключен в вопросе: как человек, творя историю, пересоздает самого себя? От нереалистических направлений, таким образом, реализм отличается не широтой понимания действительности, а оценкой ее значения для человека.

Реализм социалистической литературы нашего времени очень большое значение придает человеческой активности, пониманию человека как существа, которое создает общественную действительность. В противовес идеалистическому абстрагированию человека и метафизически застывшему образу действительности в нереалистических направлениях особенно важной задачей современного реализма становится изображение общественной действительности как результата и предмета человеческой активности. Задача заключается в том, чтобы современная реалистическая литература понимала слово «действительность» в его прямой этимологической зависимости от слова «действие». Ее призванием становится более чем когда-либо борьба за расширение области человеческих деяний и творчества, за обогащение чувственной, психической, эмоциональной, интеллектуальной и этической активности человека, за создание богатого и многообразного мира человеческих ценностей.

Но отправным пунктом литературы всегда является тот исторический момент, в который она создается. Иначе ей грозит спекулятивная абстрактность и неисторичность. Вопрос о том, как человек делает историю и как он благодаря этому становится человеком, всегда звучит и так: что ему мешает в данный исторический момент полностью реализовать свои возможности в сфере общественной и в сфере личной? Литература социалистических стран несет в себе, таким образом, критику действительности с точки зрения основных условий полного осуществления человеческих возможностей. Реалистическая литература подвергает сомнению так называемые общепринятые представления о действительности, ниспровергает фальшивые мифы, развенчивает самообман фальшивого сознания. В этих важных ее функциях я вижу не разрушение, а очень ценное в общественном смысле обновление представлений о действительности. Главное для литературы с этой точки зрения — критическая оценка того, насколько реализуются основные человеческие ценности, которые составляют содержание социалистического гуманизма.

Эта задача иногда низводится до своего рода убогого морализирования, бесплодного проповедничества и обличительства, что соответствует мещанским, а отнюдь не марксистским представлениям о критическом духе. Литература, изучающая подлинное состояние человеческих ценностей, должна сама иметь представление об этих ценностях. И если эти представления ограничиваются тем, что, скажем, люди должны честно работать, заботиться о семье, не обманывать и не обворовывать ближних, то необходимо подчеркнуть, что, хотя против этих добродетелей нельзя ничего возразить, их пропаганда далеко еще не исчерпывает этического содержания литературы.

Ее этические интересы лежат в другой сфере: цель литературы — пробуждать сознание исторической ответственности в самом широком смысле, побуждать личность к постоянному бунту против всего, что превращает людей в беспомощных марионеток судьбы или истории. При этом та система ценностей, которая составляет содержание социалистического гуманизма, не ограничивается только этическими категориями. Она гораздо богаче и охватывает все формы и возможности чувственного, эмоционального, интеллектуального и творческого самоосуществления человека. Ко всей этой

широкой сфере обращается современное реалистическое искусство, выражая ее и помогая ее формированию.

Не знаю, удовлетворю ли я своим ответом организаторов «круглого стола» журнала «Иностранная литература». В современной ситуации, когда реализм в искусстве, с одной стороны, сводится противниками к художественной отсталости и консерватизму, а некоторые его сторонники видят в нем до сих пор некий узаконенный и неизменный набор художественных средств, я считаю необходимым охарактеризовать сегодняшний реализм прежде всего с точки зрения его отношения к реальности. Реализм, который понимает действительность как нечто раз навсегда данное, который не исследует и не открывает нового, а конструирует его образ из нескольких стандартных лозунгов,— такой реализм мы тоже видели, но он принадлежит прошлому, он ушел безвозвратно. Это был самый глубокий упадок реализма, его попрание. Тот реализм, который воплощают в современной социалистической литературе самые значительные художники, характеризует прежде всего именно определенная концепция действительности. На ней я и сосредоточил свое внимание, пытаясь постичь не только то, в чем современный реализм продолжает весь исторический опыт развития социалистической литературы, но и то новое, что приносит сегодняшний этап развития, что сегодня расширяет наши горизонты.

Jiří Hájek

## ЛУИС ЭНРИКЕ ДЕЛАНО (ЧИЛИ)

Безусловно, реализм второй половины XX века иной, чем великий реализм XIX века, реализм Бальзака, Диккенса и Достоевского. В то время человек сталкивался с другими по своей природе проблемами и воплощал их в другой форме. Современный этап мирового развития, характеризующийся переходом к социализму, требует от людей коллективных действий, и человек, чувствующий себя членом коллектива, частицей масс, которые сплоченными рядами идут завоевывать будущее, воспринимает окружающий мир иначе, чем человек вне коллектива. Я не утверждаю, что меняется коренным образом внутренний облик человека, но нельзя отрицать, что коллективное сознание влияет на психологию человека и во всяком случае отражается на его поведении в обществе.

Со времени мастеров реалистической школы XIX века в мире и в литературе произошли такие изменения, которые не могли не повлиять на методы современных писателей-реалистов, не внести новые черты в современный реализм. Можно ли сегодня писать так, как писали сто лет назад, забывая о Марксе и коренной революции, которую произвело его учение в сознании людей? Забывая о Фрейде и Павлове, о громадных сдвигах в науке и технике, об освоении космоса, об успешной борьбе народов против колониализма и о том, что империализм сегодня делает свои последние безнадежные шаги?

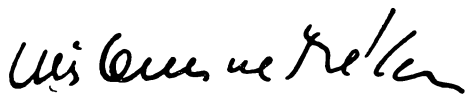
Есть еще и другой фактор, который, на мой взгляд, меняет лицо современного реализма,— необычайная усложненность нашей сегодняшней жизни. Мы живем в дни, когда человек не может чувствовать себя изолированным от общества, когда его существование всецело зависит от событий, происходящих в мире. Так или иначе, люди стали членами одной семьи, и всех их связывают общие интересы. В прошлом веке Англия, не поднимая шума, вторглась в Индию, и Америка ничего не знала об этом. Сегодня, благодаря фантастическому развитию науки и техники, мы знаем о событиях, происходящих в мире, в тот самый момент, когда они происходят. Мы их видим, слышим, переживаем. Три минуты спустя после варварского налета американских бомбардировщиков на Вьетнам мы узнаем об этом и негодуем вместе с вьетнамцами, а через три минуты после начала землетрясения или разрушительного циклона в любом отдаленном уголке земного шара посылаем выражения солидарности потерпевшим.

Все это приводит к тому, что человеческая психика обусловлена бесконечным множеством факторов. Возможно ли отразить этот сложнейший внутренний мир современных людей в его общности и своеобразии, показать действительность во всем многообразии ее проявлений при помощи средств, выработанных писателями прошлого, путем последовательного хронологического повествования? Другими словами, можно ли выразить хаос в картине спокойной и гармоничной, поглаженной и без морщин?

Именно поэтому, вероятно, современный реализм требует новых способов выражения: параллельно развивающихся тем, различных планов повествования, смешения времен, настоящего и прошлого, «потока сознания», внутреннего монолога и

многих форм, на первый взгляд усложненных, а на самом деле способствующих более точной передаче картины современного мира. В этих условиях, я думаю, подобные поиски новых форм не только допустимы, но и необходимы. Художники же, которым новые формы нужны исключительно для выражения собственной оригинальности, неизбежно впадают в бесплодный формализм.

Реализму писателей Латинской Америки присущи свои особые качества, потому что латиноамериканские писатели живут на земле, где с исключительной остротой стоят проблемы жизни и смерти, где ни на минуту не прекращается борьба людей за право на надежду, на встречу с самими собой, наконец за право на существование. Я думаю, что наш долг — сделать эту землю достойной того, чтобы на ней жил человек.





ПАМЕЛА ХЭНСФОРД ДЖОНСОН (АНГЛИЯ)

## ЧТО ТАКОЕ РЕАЛИЗМ?

Реализм в литературе — это постижение человека в его отношениях с обществом и общества в его отношениях с людьми. Сейчас все чаще пытаются «выломиться», жить так, словно на земле нет других людей, уподобиться благородному — или отнюдь не благородному — дикарю; а ведь мир ныне таков, что в нем нет посторонних. Писатели часто прибегают к солипсизму: «Действительность — это я, и ничто другое не действительно. Но и я не убежден в том, что я действительно существую».

Все дело в том, что «выломиться» из общества невозможно; думать иначе — не более чем бесплодная фантазия. Мы сталкиваемся с обществом повсюду — когда покупаем одежду, когда едим, когда платим налоги. Во всем этом участвуют и тысячи других мужчин и женщин, и они вполне действительны, даже если мы не знаем, как их зовут.

Как-то в Нью-Йорке я присутствовала на выступлении молодого и несомненно талантливого критика, который горько скорбел по поводу отчуждения человека, его полного одиночества и духовного разрыва с себе подобными. В тот же вечер мне нужно было лететь обратно в Англию, и в самолете я все время думала о молодом летчике, на котором лежала обязанность благополучно доставить эту грохочущую набитую людьми стальную машину через океан, о конструкторах, рассчитавших этот самолет, о собравших его инженерах и рабочих. И еще я думала, что сейчас все пассажиры подвергаются одинаковой опасности — летать мне приходится порядочно, но все же я каждый раз немного боюсь — и что своим благополучным перелетом мы будем обязаны сотням других людей.

Я не хочу тем самым сказать, что нам не следует внимательнейшим образом изучать произведения писателей, которые, как Кафка, ощутили беспредельное одиночество человека. В известном смысле ситуации Кафки вымышлены — он пишет об одиноком и преследуемом человеке, хотя за его судьбой угадывается реально существующее общество, которое вынудило этого человека мыслить так, как он мыслит, и прилагать все силы к тому, чтобы вырваться из общества. Герои «Процесса» и «Замка» ощущают социальную реальность чрезвычайно остро, но оба они считают, что способны игнорировать ее.

Если понимать реализм узко, у таких писателей-реалистов XIX века, как Диккенс, Достоевский, Бальзак, можно найти много совершенно нереалистического. У Диккенса характерам присущи крайности, к тому же он злоупотреблял символами, или, как он говорил, «знаками». Бальзак, на которого повлиял Вальтер Скотт, подчас чересчур увлекался романтикой, чего не позволит себе ни один современный писатель, достаточно вспомнить нелепое, да еще и несамостоятельное продолжение «Тридцатилетней женщины», этой великолепной реалистической повести, где мастерски выписан психологический портрет героини. Достоевский наделял реальность образами фантазии, точнее сказать, ночного кошмара, причем в такой степени, что иногда трудно установить, где кончается одно и начинается другое.

Среди крупнейших романистов прошлого столетия лишь немногие были реалистами в том смысле, как мы понимаем это слово: Толстой, Джордж Элиот, Троллоп. Я не могу включить сюда Джейн Остин, которая еще стоит одной ногой в XVIII веке: ее романы реалистичны лишь с виду, на самом же деле в них все совершается по воле автора. В них написано о том, что должно было бы произойти, а не о том, что происходит на самом деле.

По умению воспроизводить взаимоотношения между человеком и обществом крупнейшим романистом XX века следует назвать Марселя Пруста. Правда, горизонт его был неширок, он вращался исключительно в среде высшей буржуазии и аристократии, а в рабочих видел не более чем обслуживающий класс. Но зато с какой силой изобразил он свой социальный микрокосм! Его рассказ о том, как чахнущая феодальная аристократия вытесняется энергичной и жадной до власти буржуазией,— это чуть ли не марксистское произведение по своему характеру. Первым из реалистов он поднял реализм на новую высоту, поставив ему на службу новую технику: он использовал символы не самоцельно, а для выделения самой главной из своих многочисленных тем, иными словами, для познания человека, который может казаться себе одиночкой, но на деле испытывает со всех сторон могучее воздействие общества.

Даже его герой — праздный богач (не нужно путать этого Марселя с трудолюбивым Марселем Прустом, который, таясь ото всех, просидел годы над своей книгой, пока не сделал ее шедевром), несмотря на свои деньги и свою психосоматическую болезнь, не способен отгородиться от общества, как не может вырваться птица из когтей ястреба.

«Новые реалисты», которые стремятся обойтись без символов и романтики, обычно хотят покончить и с поэзией — не поэзией слов, но поэзией ситуаций. А Толстой, величайший реалист всех времен, владел этой поэзией превосходно, так же как Чехов. В наши дни многие романисты выбросили за борт великое оружие реалистического романа — авторский комментарий: они дают персонажам безграничные возможности высказаться, но те, к сожалению, нередко оказываются неразговорчивы, как волы.

Возьмите ранние романы английского писателя Уильяма Купера «Сцены из провинциальной жизни» и «Испытания Альберта Вудса». Он сумел в них обогатить реализм поэтичностью стиля и иронией, которая является формой авторского комментария. Но в современном реалистическом романе ирония иссякает, ибо она становится удручающе серьезной.

В наши дни реалисту следует избегать какой бы то ни было общности с «натуралистическим» романом 20—30-х годов нашего века, потому что этот роман лишь немногим отличается от репортажа, где утрачены принципы отбора материала и обеднены характеры, а диалог настолько убог, что сегодня не нужно было бы его придумывать — достаточно воспользоваться магнитофоном. Когда в произведении не чувствуется индивидуальности художника и его собственных идей, не может быть речи о настоящем реализме; искусство в таких случаях подменяется заурядной журналистикой.

Pamela Hansford Johnson

## ЮЛИАН КАВАЛЕЦ (ПОЛЬША)

Я не критик и не литературовед. Я писатель и хочу ответить на вопросы как писатель. Поэтому я буду в основном опираться на личный опыт и на собственную литературную практику. Я считаю себя сторонником реализма в литературе, поскольку в писательской работе стараюсь правдиво показать среду, которая меня, как писателя, интересует, а именно: сказать правду о жизни современной польской деревни; при этом я стараюсь, чтобы эта правдивая картина жизни служила на благо человека.

Из этого можно сделать вывод, что реализм требует от своих сторонников особо острого ощущения правды. Однако это не означает, что писатель-реалист должен фотографировать жизнь, создавать ее копию, как фотограф — снимок. Реализм в литературе — это художественное направление, и оно не должно мириться с вольным примитивным копированием или фотографированием окружающего нас мира. А если уж согласиться с термином «фотографирование», то под ним следует понимать проникновение в глубинную суть жизни, которого нельзя достичь с помощью одних глаз, ушей, пальцев, без усилия мысли, но только с большой затратой творческого воображения, волнения, с трудными раздумьями.

Волнение, которое сопутствует восприятию окружающего мира, часто помогает нам передать яркие картины жизни; творческое воображение необходимо в процессе формирования литературного вымысла для того, чтобы из нагромождения событий и явлений сделать разумный отбор и показать наиболее существенные и затем придать им синтетические, типичные для целого формы. Синтез, в свою очередь, требует сгущения, резкого очерчивания — такого, однако, чтобы в единстве не затерялось многообразие, и тем самым правда не затушевывалась и не деформировалась.

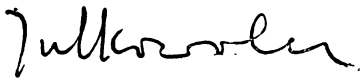
Я считаю себя сторонником реализма в литературе и поэтому стараюсь, чтобы мой литературный вымысел зарождался на земле, а не на небесах, чтобы он имел реальную основу в конкретной жизни.

Я считаю, что в этом случае вымысел должен выполнять служебную роль по отношению к действительности. Речь идет о том, чтобы не утратить ее суть.

Соответственно форма должна служить содержанию. В этом случае она может стать сильным помощником.

Я уже говорил, что моя литературная тема — современная польская деревня, ее общественные и экономические проблемы, перемены в ней, ее достижения и ее драмы. Меня прежде всего интересует человек. Каким образом политические, материальные и экономические преобразования откладываются в его сознании, в его психике, как выглядит его внутреннее продвижение вперед, внутренний прогресс, внутренняя правда, насколько глубок его оптимизм, в чем его драма и где путь к победе?

Если бы я должен был говорить о развитии, расширении и завоевании новых территорий для реализма в литературе, то мне хотелось бы призвать к походу в глубь человека, к созданию «внутричеловеческой» реалистической повести, а также к усилению значения психологических образов в литературных произведениях в целом.





## АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР (КУБА)

Есть ли смысл говорить о реализме в единственном числе? Ведь получается, что речь идет об одном единственно возможном реализме, в то время как известно, что существует столько видов реализма, сколько их создало вековое стремление писателей и художников раскрыть, показать и воплотить реальность. Кроме того, и само понятие реальности менялось во времени. Реальность в представлении крестьянина эпохи Гесиода не имеет ничего общего с реальностью эпохи космонавтов XX века. Во времена светильников и домашних амфор почти что не было места абстракциям, сегодня же мы живем в мире, населенном абстракциями: счетными машинами, электронными мозгами, атомами (образующими самые что ни на есть абстрактные конструкции), орбитами, небесными геометриями, чудесами кибернетики, межпланетными ракетами и т. д. Все это заполнило мир новыми формами, совершенно немыслимыми сто лет назад. Разве воплощение яркого своеобразия этих новых форм современными художниками нельзя назвать реализмом? Но мне скажут: остаются неизменными человек, пейзаж, природа... Действительно, внешняя оболочка человека не изменилась. Но его внутренний мир? Разве есть что-нибудь общее между советским человеком и, например, героями Мольера? Крупным буржуа, героем романов Марселя Пруста, и благородным рыцарем Сервантеса? Разве не выразил Франц Кафка реальность, которая отнюдь не из-за своей метафоричности еще более шатка и неустойчива, чем реальность Достоевского, хотя, если присмотреться, в этих двух реальностях много общего?.. А если бы мы взялись писать натюрморты на мотивы современной кухни? Повторили бы мы изобилие картин фламандских мастеров или было бы честнее изобразить еду современного человека, включая консервы, на фоне холодильников и других электрических приборов? Считаете ли вы, что это можно было бы сделать с помощью реалистической техники старых мастеров? Может быть, в данном случае следовало бы обратиться в поисках реализма к метафорическому смещению тем?

Уже очень много было сказано о формализме. Но будьте осторожны с формализмом! Здесь есть своя опасность!.. Реализм в литературе и живописи сегодня не может быть таким, каким он был вчера и тем более в тридцатые годы. Называйте реализмом все, что хотите. Это неважно. Ценен тот реализм, услугами какой бы новой техники он ни пользовался, который выражает современного человека, хотя бы и в абстрактных формах, которых очень много. Это, безусловно, не легкая задача. Писать романы по канонам старых мастеров гораздо спокойнее и менее рискованно. Но истинными свидетелями нашей эпохи останутся те, кто сумеет выразить суть современного человека в формах, наиболее соответствующих духу и стилю нашего времени.

## ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ (США)

Я думаю, что реализм в литературе — разумеется, в художественной литературе — не сводится к истинности факта и точности фотографии. Даже когда нам в подробностях рассказывают о том или ином событии или ряде событий, это еще не реализм. Для меня сущность реализма в том, чтобы изобразить вымышленные ситуации и вымышленных людей настолько правдоподобно, что читателю они покажутся более правдоподобными, чем действительные ситуации и люди.

В искусстве реалист лишь тот, кто обладает умением, даже талантом отбрасывать излишние детали, чтобы с наибольшей страстностью передать главную мысль своего произведения.

Многие американские писатели наших дней забыли о том, что в искусстве требуется не громоздить, а отбирать. Это все равно что описывать один за другим всевозможные виды кастрюль, нимало не заботясь, для чего они нужны и что можно в них приготовить. Конкуренция вынуждает этих писателей искать особые пути к успеху, и вот они прибегают к такого рода извращению реализма, шокируя читателя отталкивающими подробностями.

Я считаю, что изображение и истолкование действительной жизни — это непременное условие настоящей литературы.

## КАЙ ЛАЙТИНЕН (ФИНЛЯНДИЯ)

1. Слово «реализм» определяют и понимают в разных странах несколько различно. Всюду, пожалуй, считают, представителями реализма Толстого и Бальзака — как писатели, они продолжают жить и в наши дни, их читают. Реализм их произведений — это большое и значительное искусство. Впрочем, в Финляндии слово «реализм» издавна в почете, так как литература на финском языке родилась и развивалась в XIX столетии под знаком реализма, отличительными чертами классической финской прозы являются именно реализм и юмор. У нас много примеров этого сочетания — от Алексиса Киви до Вяйне Линна.

2. Если слово «реализм» допускает различные толкования, то «современный реализм» — и подавно. Французский «новый роман» содержит множество реалистических элементов, вплоть до фотографически точного воспроизведения окружающей нас видимой реальности, но его все же, насколько я знаю, не считают реализмом, точно так же, как, скажем, и пьесы американца Олби, в которых тоже в значительной степени присутствуют элементы реальности. Далее, существуют писатели, которые используют в своих произведениях так называемые «цитаты реальности» и включают в свой текст подлинный документальный материал, или деловые бумаги, или подлинные реплики подлинных людей. И это тоже нельзя называть реализмом, что не дает нам права, однако, закрывать глаза на то, что такой стиль существует.

В нынешнем мире невозможно оградиться от влияния других литератур или художественных течений, поскольку сведения о них постоянно доносятся до нас, во всяком случае, через печать, радио, телевидение. Названные мною черты современной литературы более известны в западном мире, чем в Советском Союзе, но я все же полагаю, что они уж одним своим существованием так или иначе оказывают свое воздействие повсеместно. Они, эти новые черты, возможно, не являются «современным реализмом» — или, может быть, мы условимся считать их таковыми? — но они во всяком случае оказывают свое влияние на литературу, хотя бы она создавалась на принципах самого традиционного реализма. Итак, я полагаю, что «современный реализм» каким-то образом расширяется в направлении вышеназванных явлений; в особенности растет, очевидно, значение прямого использования документа. Другое направление, в котором, как мне кажется, развивался реализм, это фантазия: тому множество прекрасных примеров дает хотя бы новая польская литература. Третьим направлением может оказаться стилизация, вроде той, например, которую использует Брехт в своих пьесах.

Разумеется, импульсы могут прийти и откуда-то с другой стороны; предсказывать будущий ход развития литературы — дело трудное и неблагодарное. Я не думаю, чтобы писатель, принимаясь за работу, рассуждал так: «Вот сейчас я напишу роман в духе современного реализма» или же: «Напишу-ка я пьесу, которая расширит область реализма!» Скорей всего, он просто решает написать роман или пьесу и старается высказать все, что у него для этого накопилось, добиваясь, по возможности,

самобытности и действенности. Большинство значительных экспериментов в области формы возникает, мне думается, из внутренних предпосылок, а не из стремления к оригинальности или теоретических выкладок. Иначе говоря: литература развивается и изменяется изнутри, усилиями самих писателей. Появление новых черт в литературе вообще и в современном реализме в частности зависит прежде всего от писателей и от результатов их труда.

АРМАН ЛАНУ (ФРАНЦИЯ)

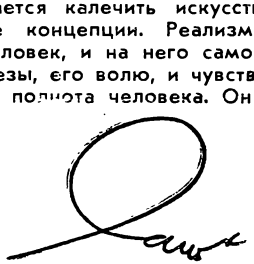
## РЕАЛИЗМ — ЭТО САМ ЧЕЛОВЕК

Еще раз задуматься о понятии реализма — дело немаловажное. Уже сам по себе факт, что появилась потребность выяснить содержание этого термина, косвенно говорит о том, что реализм не есть непреложная данность, статья закона, аксиома или табу. Этот факт говорит о том, что может существовать несколько различных пониманий реальности и реализма.

Реализм — это сумма средств, которые позволяют художнику сделать достоянием других людей созданный им для себя образ реальной действительности. Следовательно, реализм находится в непосредственной зависимости от реального. Реальное — это то, что существует; следует тщательно отличать его от материального. Поэтические переживания, восхищение, любовь, дружба, мечты, даже бредовые видения больного мозга являются фактами реальной действительности. Я не знаю, существует ли бог. Но я не имею права пренебрегать тем фактом, что некоторые люди верят в бога, как не имею права не учитывать и того факта, что другие люди — атеисты. Эта вера и это безверие составляют часть реальной действительности в той же мере, что и камень, растение, орудие труда. Реальная действительность подразумевает не только все аспекты измеримой, очевидной действительности, к которой ее иногда хотят свести, но также и все аспекты действительности более расплывчатой, нематериальной — словом, она состоит из материального, расширенного за счет всех феноменов человеческого «я». Например, я не говорю, что все символические истории Кафки или Мишо — это реальная действительность, но я с уверенностью говорю: само то обстоятельство, что эти истории могли быть выдуманы, написаны и что-то значат для определенного числа людей, говорит — за этим стоит действительность пусть другого порядка, но такая же реальная, как завиток спирали. Иными словами, воображаемое, нематериальное вполне может составлять часть реального.

Именно эту расширенную реальность и выражают различные виды реализма. Почему мы употребляем множественное число? Потому что человек, между прочим, является естественным инструментом, который измеряет, подвергает испытанию и объясняет реальность, к коей сам он принадлежит. Поэтому мы обнаружим множество оттенков реализма, соответственно особенностям людей, его выражающих: их складу, образованию, культуре, их вкусам, их личной восприимчивости. Пусть Бальзак, Толстой и Стендаль описывают одно и то же сражение — произведения их будут различаться в той мере, в которой они являются именно Толстым, Бальзаком, Стендалем. Они создадут реальности столь же разные, как их реализм. Абсолютная реальность будет не чем иным, как суммой реального и того, что видят за ним художники и все другие люди.

Реализм не может претендовать на полный охват реальной действительности, но он расширяется, выходя за рамки, поставленные ему предшествующим развитием литературы и искусства; его подлинная цель — гуманизм. Такой реализм в отличие от псевдореалистических поделок не указывает путь к бегству от жизни, не дает алиби для очистки совести, не таит отказа разделить с людьми их судьбу. Он признает замечательное многообразие человека, он отказывается калечить искусство, к чему неизбежно приводят слишком узкие схематичные концепции. Реализм — это весь человек, он смотрит на мир, в котором живет человек, и на него самого, вовне и внутри, включает в себя и его свершения, и его грезы, его волю, и чувствования. Полнота реализма измеряется той же меркой, что и полнота человека. Он — гуманизм. Он — сам человек.



ВЯЙНЕ ЛИННА (ФИНЛЯНДИЯ)

# О СТАРОМ И НОВОМ РЕАЛИЗМЕ

Понятие реализма, именно в связи с романом, можно сказать, совершило полный круг эволюции. Первоначальный наивный реалист не принимал во внимание ни самого себя, ни самого процесса восприятия. Он видел реальность как нечто безусловное и объективное, что и все другие люди должны воспринимать непременно так же, как он. Такое относительное понятие, как «правда», для старого реалиста в основном соединялось с реальностью. Конечно, классический реалист признавал, что на восприятие влияют и субъективные «склонности», но верил все же в свою относительную объективность.

В области «нового романа», который тоже причисляет себя к реализму, мы видим нечто обратное. Писатель сам находится в мире конкретной реальности, но объектом его внимания оказывается в первую очередь самый процесс восприятия. Я не берусь дать здесь исчерпывающую характеристику того, что вообще включает в себя новый реализм, так как это вопрос слишком сложный, дающий простор для различных произвольных толкований. Но если взять для примера некоторых представителей нового французского романа, то тут мы можем увидеть это особенно ясно. Для них существенно лишь человеческое сознание, содержание которого находится в непрерывном движении, причем элементы воспоминаний все время смешиваются с настоящей действительностью и с образами фантазии. Границы воображаемого неясно различимы и подвижны. Наиболее ярким примером этого, по крайней мере из книг, прочитанных мною, может служить «Поездка во Фландрию» Клода Симона. Если брать шире, сюда же можно отнести и всю технику «потока сознания» со всеми ее различными вариациями и производными. Существенно, что реальность не является чем-то точно определенным и неизменным, а обусловлена вечно движущимися картинами воображения. Причем самый материал восприятия автор стремится подать как можно более реально и точно, достигая часто удивительных результатов.

Старый реалистический роман и драма имели прочную основу в категориях времени, места и причинности. Конечно, это непосредственно связано с теми рационалистическими тенденциями, которые за последние триста лет доминировали в европейском сознании. Показательно, что многие ученые, представители наук об обществе и человеке, обращались нередко к классическому роману, находя в нем свидетельства, равноценные данным непосредственного исследования. Столь верные и конкретные картины жизни, стало быть, создавали старые писатели-романисты, что они и по сей день, несмотря на все происшедшие в мире перемены, являют нам образцы подлинной правды, способной выдержать строгую научную критику.

Новый реализм не признает существования такой объективной правды. Реальность для него лишь субъективное поле зрения индивидуума, и она рисуется ему абсурдной. Она безумна, бессмысленна для него не только потому, что не соответствует какой-либо системе этических норм, она вообще лишена для него внутренней логики, с точки зрения соразмерности частей и целого.

Лично я склонен считать, что оба эти фактора глубоко связаны между собой. Я уверен, что указанная несоразмерность частей и целого есть следствие ощущения бессмысленности существования, вызванного распадом системы этических норм. Для нового реализма комментирование считается одной из серьезнейших ошибок в технике и в подходе писателя к материалу. Новый реализм стремится быть как можно более нейтральным и в этом видит основу своей объективности, несмотря на то, что создаваемая им картина мира есть лишь субъективное поле зрения индивидуума.

Вообще-то говоря, абсурдное не было чуждо и старому реализму. Ибо что же такое вся старая драма и роман, как не вереница безумных судеб? Безумен был еще и Дон Кихот, так же как и Раскольников, и Анна Каренина, и мадам Бовари. Я бы даже сказал, что человеческая судьба становится произведением искусства именно в силу того, что в ней появляется эта черта безумия. Но в старом реализме даже самая безумная человеческая судьба была всегда как-то причинно обоснована. Она скатывалась к безумию путем, который можно было понять и объяснить разумно. В основном сказывалось несоответствие стремлений и возможностей их осуществления. Характер и стремления человека сталкивались с окружающей действительностью, и, как я уже сказал, в этом всегда была какая-то причинная зависимость и логика. И точно так же здесь всегда с большой силой проявлялись этические категории. Писатель так или иначе высказывал свои симпатии и антипатии. Но даже если он и старался избежать этого, то читатель имел полную возможность сделать это сам. От рационального понимания причинных связей он всегда мог перейти к моральной оценке, руководствуясь своим собственным морально-этическим кодексом. Несмотря

на все старания Флобера оставаться объективным, мы почти неизбежно морализируем о судьбе мадам Бовари.

В новой литературе строжайше запрещается всякое комментирование. Как я уже сказал, это относится и к комментарию слова, и к комментарию чувства, но прежде всего здесь исключается морально-этическая точка зрения. В самом деле, иначе ведь и не может быть. Ибо если мир безумен, то как можно определить, где добро и где зло? Однако в действительности эти утверждения и установки остаются лишь теорией. Хотя новая литература и стремится стать по ту сторону добра и зла, это ей не удается. Мысль пытается унестись, но чувство не в состоянии следовать за нею. Изображение мира современной литературой вызывает чаще всего тягостное, болезненное чувство. И пусть даже боль остается неназванной и неопределенной, но ощущается она во всяком случае как зло. Несколько парадоксально новую картину мира можно было бы определить так: это мир не добрый и не злой, но все же злой. И уже одно это показывает, какого рода эмоциональный опыт лежит в основе современного мироощущения нового реализма. Как бы ни был безумен наш мир, мы все равно будем воспринимать его как множество позитивных возможностей, если только мы сумеем правильно ориентироваться и обладаем достаточными организационными способностями. Но если мы плохо ориентируемся в окружающем и видимая картина мира нам неясна, то именно из-за этой неясности нашего восприятия мир будет казаться нам страшным и подавляющим, непомерно огромным для наших сил и возможностей.

Жизнеощущение современной модернистской литературы — это протест европейской души, обгоревшей в гигантских печах двух мировых войн. Человечество со своими войнами, лагерями уничтожения и разгулом убийств нанесло столь сокрушительные удары по собственным же позитивным нормам, что вера в них кажется самоослеплением. Европейская литература имела самые глубокие и прочные гуманистические тенденции, именно поэтому она переживает потрясение так болезненно. Можно быть какого угодно мнения о ее пессимизме и нигилизме, но воздадим ей во всяком случае то признание, которого заслуживает чуткая, все взвешивающая человеческая совесть.

Старый реализм ставил на путях человеческих как позитивные, так и негативные дорожные знаки. В новом реализме мы видим лишь знаки, запрещающие движение. Но и они нужны, ибо если нам не могут указать хорошую дорогу, то мы будем благодарны тому, кто постарался свернуть нас с пути, ведущего в пропасть.

В чисто художественном смысле значение нового реализма сравнивают с лабораторными опытами. Сумеет ли современный роман оставить непреходящий след в искусстве романа? Это все еще спорный вопрос. Я лично верю, что сумеет. Экспериментируя, он открывает такие новые возможности, которые, наверно, обогатят будущее искусство романа, хоть мы и не представляем себе сейчас этого будущего. То же относится и к драматургии. Искусству романа, правда, уже выносили смертные приговоры, но я не верю, что они когда-либо будут приведены в исполнение. Роман сформировался как определенный литературный жанр и с той поры живет и здравствует вот уже три столетия, чем убедительно доказывается его жизнеспособность.

Хотя новый реализм всячески стремится разбавить образность, напуская зыбкий мистический сумрак, однако образный материал здесь часто бывает настолько реален, очищен и откристаллизован, что и старый классический реализм далеко не всегда достигал такой силы и ясности письма. Идет ли речь о вещественной реальности или о явлениях психики, они воспринимаются часто с потрясающей конкретностью. Это мы видели еще у Кафки. Ведь его мир сновидений сплошь состоит из такого реального и ясноощутимого жизненного материала, что не все люди умеют так ярко видеть даже наяву.

Мне кажется, значение «нового романа» для будущего искусства романа состоит скорей всего именно в этом. Я не думаю, чтобы форма, как таковая, могла сохраниться и вытеснить классическую. Ведь в форме романа всегда отражено авторское представление о мире, а нынешнее мироощущение едва ли может сохраниться надолго. Оно уйдет, как ушли прежние представления о мире. Ведь и сам мир не стоит на месте. Но какие-то технические приемы «нового романа», конечно, могут быть использованы романом будущего. Можно поставить в пример также самодисциплину представителей «нового романа», добивающихся сдержанности, собранности; хотя, если очень к этому стремиться, можно дойти до ремесленного автоматизма. Надо же человеку иногда вздохнуть полной грудью. Если, например, без конца урезывать эмоции, то это ведь надоест и наступит обратная реакция — бычье мычание.

Несмотря на общий пессимизм новой литературы, ее лучшие произведения дают нам высокое наслаждение встречи с подлинно прекрасным. Это, конечно, значительные достижения искусства. И значение их тем более велико, что искусство-то исходило из мрачного представления о человеке как о существе злом, порочном и бессильном.

Все эти соображения, разумеется, не исчерпывают вопроса о новом реализме, так же как и о старом. Литература за последние десятилетия колоссально разрослась, стала настолько многосторонней, что термины и родовые определения, восходящие

в основном еще к прошлому веку, уже не в состоянии объяснить всех ее нынешних оттенков. И все же правда и реальность и поныне являются столь вескими доказательствами подлинной художественности, что под флагом реализма выступают в наши дни самые различные литературные направления, высказываются самые различные взгляды, поскольку реализм пользуется большим авторитетом и влиянием в силу того, что он дает правдивую картину действительности. Какой бы ни была в каждый данный момент реальная человеческая жизнь, каждый серьезный писатель верит, по крайней мере подсознательно, что именно создаваемая им картина отражает действительность наилучшим образом.

Думаю, такая установка просто необходима для творческого процесса. Она активизирует и дает выход тем психическим силам, которые создают художественную форму и в этом находят разрядку. Реальность и действительность мира новой литературы, ограниченного субъективным полем зрения, обосновывают тем, что это единственный мир, о котором человек имеет прямые и достоверные сведения. Старый же реализм часто упрекают в том, что он пытался выступать в роли всезнающего организатора действительности и изображал вещи, истинный характер которых ему не мог быть известен. Такое утверждение довольно странно, ибо для чего же тогда писателю воображение. Ведь с помощью воображения человек в конце концов овладевает действительностью, подчиняет ее себе, поскольку иначе мир всегда был бы ограничен для нас тем, что конкретно находится у нас перед глазами. Воображение, конечно,— сомнительное и ненадежное средство раскрытия действительности, но другого нам не дано. Сомнительность и ненадежность воображения составляют главнейшую проблему как старого, так и нового реализма. Но до тех пор, пока мы пользуемся понятием реализма для обозначения того или иного художественного направления, главной сущностью последнего должно быть именно раскрытие и воссоздание реальности. Если не признавать этой основной цели, то надо заменить и название. Не всякое искусство реалистично. Но реализм не может топтаться на месте. В меняющемся мире и он должен меняться, если хочет быть достойным своего имени. Верность реальной действительности состоит в том, чтобы замечать все происходящие в ней изменения. Новый реализм является отнюдь не лишним напоминанием об этой простой истине. Кроме того, его роль в развитии художественной техники и профессионального мастерства значительная, а это область, в которой мы никогда не будем слишком хороши.

## АЛАН МАРШАЛЛ (АВСТРАЛИЯ)

Я всегда был противником людей, вешающих ярлыки на литературу. Кем только не называли меня за мою писательскую жизнь — реалистом, сюрреалистом, социалистическим реалистом, натуралистом, романтиком, поборником потока сознания, авангардистом-экспериментатором... Испокон веку повторяется одно и то же: писатель сочиняет книгу, а критик выискивает подобающую этикетку, считая, что раз этикетка найдена, говорить о писателе больше нечего — все его последующие книги все равно будут подходить под этот разряд.

Я отказываюсь подчиниться диктатуре ярлыков. Моя задача — писать правду, воплощая ее в живых людях. Можно описать кучу фактов, но это не та правда, какую я ищу,— ведь факты часто прикрывают правду.

Сочиняя «Дон Кихота», Сервантес думал не о фактах, а о правде. Ему никто не навязывал ярлыков — слишком велик его талант.

Таким талантом обладал и Бальзак. Некоторые его страницы — это чистой воды романтизм. Его сентиментальность подчас просто отвратительна. Но в конечном счете он всегда создает живые образы живых людей.

Писателем может стать только тот, кто любит людей, верит в них, думает о их будущем и не стремится их принизить. Таким писателем был Горький.

Но писателю неизменно предстает не одна, а несколько истин, и нужны немалые усилия, чтобы сохранить чувство их соразмерности. Когда одна истина выпячивается за счет других, когда жестокость, например, или секс расписываются так, что жизнь оказывается сведенной только к ним, книга воспринимается как принижение человека и оказывается лживой.

Мне думается, что новый тип реализма, заявляющий о себе в последние годы, страдает ограниченностью, потому что изображает не все аспекты жизни. Он слишком односторонен, часто это не реализм, а романтизм наизнанку, и мне он чужд.

Бывают писатели, которых жажда быстрого успеха толкает на изображение низменных сторон жизни, причем в таких масштабах, что в их книгах не найти ничего другого. Но представьте себе врача, который заявил бы, что все человеческое тело — сплошной гнойник.

Я считаю, что реалисту недостаточно острого зрения — нужна еще страстность души.

АНДРЕ МОРУА (ФРАНЦИЯ)

# ИСКУССТВО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Что такое действительность? Первый ответ, который приходит на ум: действительность это — предметы и живые существа, обнаруживаемые нами с помощью чувств. Является ли объектом искусства закрепление этой чувственной реальности в форме картины или романа? Против подобного понимания легко выдвинуть возражения.

Прежде всего, действительность, воспринимаемая нами,— бесконечна. Из окна я вижу деревья, отягощенные плодами. Сотни деревьев, миллионы плодов. Моя роль художника не может состоять в том, чтоб нарисовать каждую ветвь, каждое яблоко. К тому же за пределами видимого мною простирается целая вселенная, которой я не вижу. И она тоже — часть действительности. Двигаясь, я могу обнаружить лишь ничтожную ее часть. Объять реальный мир во всей его полноте я не смогу никогда. Романист, подобный Бальзаку, создает две тысячи персонажей, но в реальном мире их — миллионы, миллиарды. Художник должен *выбирать*.

Возражение второе: чувственная реальность не исчерпывает реальности: это — видимый мир. Я вижу предметы: мой рабочий стол, лампу. Физик скажет: «Нет никакого стола. Есть атомы, состоящие из ядра, электронов, которые отделены друг от друга огромными пустотами». Я вижу в соседней комнате мою секретаршу, лицо, тело. «То, что вы видите,— скажет биолог,— только внешний облик. В действительности это тело — механизм, бесконечно более сложный, чем самый сложный завод. Человеческий мозг превосходит в тысячу, в десятки тысяч раз самую совершенную электронную думающую машину». Мне кажется, что я знаю характеры реальных людей, которые меня окружают. «Вы их не знаете,— скажет психоаналитик,— их поступки обусловлены не осознанными мыслями, выраженными в словах, которыми они с вами обмениваются, а подсознанием, время от времени освобождающимся от того, что в нем подавлено, вытеснено». Так где же действительность?

Возражение третье: реальность не может быть сведена к чувственной и внешней стороне жизни. Наша внутренняя жизнь, наши мысли — часть реальности. Решения, которые мы принимаем в действительной жизни, направляемы нашими идеями. Если художник полагает, что жизнь рабочих и крестьян имеет большее значение, чем жизнь интеллигенции, его внимание будет обращено главным образом на рабочих и крестьян. Более того, мысль художника *преображает* внешний мир. Благодаря Толстому появились толстовцы. Изображение любви французскими писателями XVII века воздействовало на склад этого чувства во Франции, точно так же как эротизм романов XX века породил определенный характер эротизма в реальной жизни. После того как Гете создал Вертера, реальные молодые люди стали кончать жизнь самоубийством. Таким образом художник отчасти *творит* действительность. Он делает видимым то, что до него было невидимо. Итак, еще раз, где же действительность?

Доказательством того, сколь трудно художникам ответить на этот вопрос, может служить уже одно то, что, поколение за поколением, *все* писатели считают себя в большей мере (но по-иному) реалистами, чем их предшественники. Во Франции романтики (Виктор Гюго, Мюссе) восстали против классиков, ставя им в вину употребление абстрактного словаря, утратившего всякую связь с реальностью. Но двадцать лет спустя другая школа, более реалистическая (Флобер, Мопассан), разоблачила ирреализм романтиков. А потом явились натуралисты (Золя и его ученики), полагавшие, что они приблизились к реальности, так как смелее рисуют мрачные или отталкивающие стороны жизни.

Ухватил ли натурализм наконец действительность? Те, кто пришел ему на смену, в этом далеко не убеждены. Пруст показал, что «реальные» чувства людей совсем не похожи на классические чувства, а «реальное» время не подчиняется тем же законам, что время часовщиков. Джойс и его последователи из школы «нового романа»

думали, что открыли новую реальность — реальность повседневного. Такие романисты, как Толстой или Бальзак, выбирали для повествования интересные «истории», особые моменты. Создатели «нового романа» (Роб-Грийе, Натали Саррот) кичатся тем, что *не выбирают*. Они записывают самые банальные фразы, выводят на сцену совершенно незначительных людей. На их взгляд, это и есть действительность. «В жизни,— говорят они,— очень редко случаются интересные истории. Жизнь — банальна». Нужно рисовать повседневность, рисовать в полном беспорядке, потому что реальность — беспорядочна. Великий современный роман — это боль, деформированная памятью, отброшенная в неопределенное время, в пустоту.

История французского реализма повторяется в той или иной форме в других странах. В Англии на смену крепкой школе традиционного романа (Беннет, Уэллс, Голсуорси и даже Форстер) пришла Вирджиния Вульф, попытавшаяся растворить время и людей в светлом тумане. Сейчас акглийский «новый роман» напоминает французский «новый роман», итальянский «новый роман» (Моравиа, Пьовене, Буццатти). В СССР социалистический реализм на протяжении определенного периода отбирал в действительности предпочтительно социальные сюжеты. У меня складывается впечатление, что сейчас советские писатели ближе к традиционному роману, чем западные. Читая сообщение о ленинградской встрече писателей, я был поражен выступлением Леонова. Он сказал примерно следующее: Бальзак не задавался подобными техническими проблемами; полными пригоршнями черпал он пищу для своего гения. Великим романистам некогда терять время: они делают открытия, они творят и умирают от усталости.

Мне очень близка подобная точка зрения. К чему все это сводится в итоге? Какова роль искусства в жизни? Почему с тех пор, как люди существуют, мыслят, они рисуют, слагают стихи, эпопеи, романы? Чтобы воспроизводить действительность? Это было бы в высшей степени странно. Зачем создавать Наташу Ростову, если существует реальная Наташа? Нет, художник несет людям мир, более понятный, чем мир реальный. Реальный мир слишком сложен, слишком изменчив, чтоб он мог быть понятым. Художник вносит в него порядок. Сложна ли Наташа «Войны и мира»? Да, конечно, но все же в гораздо меньшей степени, чем живая женщина. Кроме того, *она перед нами*, закреплена в романе, как Джоконда закреплена на холсте. Мы можем созерцать их, вернуться к ним снова, если испытываем в этом потребность. Искусство предлагает человеческому духу то, в чем действительность ему всегда отказывает: единство жизни и стабильность. Искусство — это действительность, упорядоченная художником, несущая на себе печать его темперамента, которая проявляется в стиле.

Античный философ Аристотель говорил, что искусство — очищение страстей. Это остается верным и сегодня. Предлагая нам упорядоченный мир, в котором мы не должны ни брать на себя ответственность, ни принимать решения, искусство позволяет нам в полной безопасности испытывать страсти, в реальной жизни равносильные для нас пытке. Читатель обращается к роману в надежде найти в нем нечто, что сделает самое жизнь приемлемее и понятней. Это не значит, что романист должен защищать определенную доктрину, определенную мораль. Когда я рисую конокрада, говорил Чехов, некоторые хотели бы услышать от меня, что красть лошадей дурно, но это уже дело не мое, а правосудия. Большое произведение искусства рождает большие чувства, но делает это самим своим существованием, без моральных поучений.

Естественно, что для того, чтобы читатели или зрители ощутили счастье от созерцания в произведении искусства некой действительности, поддающейся пониманию, нужно, чтобы произведение искусства создавало у них иллюзию близости к действительности. Роман, в который мы совершенно не верим, не дает нам никакого эстетического наслаждения. Вот почему необходимо, чтобы романист был до известной степени реалистом. Во всяком случае, он должен создать ощущение «достоверности». Однако требования читателя меняются по мере развития знаний. После Фрейда и Пруста он не примет описания чувств, которое вполне удовлетворило бы читателя 1890 года. Или, точнее, он не примет такого описания в современном романе, так как инстинктивно он делает скидку на время и читает «Анну Каренину» или «Красное и черное», не ставя этим шедеврам в упрек, что они не принимают во внимание форму психологии, возникшую позднее.

Когда я говорю, что произведение искусства *должно быть очищением страстей*, это вовсе не означает, что эстетическое чувство рождается только тогда, когда все конфликты оказываются преодоленными и читатель оказывается подведенным к приятию предлагаемой ему художником действительности. Напротив, и протест может стать составной частью эстетических впечатлений. Стендаль — бунтарь: Жюльен Сорель восстает против общества своей эпохи. Толстой — бунтарь: ни Левин, ни Безухов не приемлют морали своего класса. Читатель разделяет их чувства, но его эмоции — эмоции здоровые, а не болезненные: а) потому что действительность романа удалена от него, б) потому что тягостные чувства вмонтированы в огромный, многообразный мир, содержащий также элементы счастья и в своей совокупности приемлемый для человека.

Может ли быть предметом произведения искусства некая действительность, которая полностью чудовищна? Да, это доказывают некоторые гравюры Гойи, некоторые ситуации романов Достоевского. И, однако, самые тягостные романы Достоевского оставляют место какой-то надежде. Даже полное отвращение ко всему может содержать в себе прекрасное, благодаря своей форме, как это бывает в поэзии. Поэт воспевает свое отчаяние, и сама его песня — уже надежда. Поль Валери издевался над строками Мюссе:

Слова отчаянья прекрасней всех других,
И стих из слез живых — порой бессмертный стих.

«Живые слезы — не поэзия»,— говорил Валери, и он был прав. Порядок, ритм спасают произведение искусства. Если бы оно было совершенно беспорядочно, оно не было бы произведением искусства.

Отдельную проблему представляет творчество художника, намеренно изображающего ирреальное, фантастическое. Никто не верит в реальность «Носа» Гоголя, «Пиковой дамы» Пушкина, рассказов Эдгара По, и тем не менее это — произведения искусства. Я полагаю, что здесь замешано чувство, древнее, как само человечество: вкус к чудесному. Некогда он породил богов. Сейчас он находит пищу либо в повестях о невероятном, отвечающих каким-то смутным потребностям, либо в научной фантастике, проецирующей в будущее (как некогда делал это Жюль Верн) возможные последствия развития науки. Следует заметить, что фантастическая повесть, чтоб быть хорошо сделанной, нуждается в изрядной дозе реализма. Чем невероятней рассказ, тем необходимее, чтоб правдивые детали закрепляли его в действительности, так как удовольствие читателя возникает от того, что он одновременно верит и не верит.

Когда критик говорит о реализме, кажется, что он убежден в существовании абсолютной реальности. Достаточно исследовать эту реальность — и мир будет нарисован во всей полноте. На деле все обстоит совсем иначе. Действительность Толстого отличается от действительности Достоевского, действительность Бальзака — от действительности Пруста. Мы имеем право констатировать лишь одно: есть писатели, настолько ослепленные абстрактным словарем, системами, что они не видят уже никакой действительности, даже своей собственной. Это уже не художники, а болтливые теоретики. Такие люди нуждаются в том, чтоб их призвали к реальности. Реализм полезен, как реакция против картин (и романов), которые ничего не рисуют. Художник должен подниматься над реальным миром, а не над небытием.

## АЗИЗ НЕСИН (ТУРЦИЯ)

Разве писатель, прежде чем создавать свое произведение, изучает литературные течения и школы, выбирает понравившуюся и, придерживаясь ее установлений, берется за работу? Нет, так никогда не бывает.

Правда, есть писатели, которые создали направление, создали литературную школу. Но и они, работая над первыми произведениями, понятия не имели об этом. Лишь впоследствии, размышляя над сделанным, они выработали законы своей школы, вывели смысл направления. Ни один писатель, принимаясь за работу, не говорит себе: «Я должен создать реалистическое произведение». Правда, иногда случается, что писатели приступают к работе с подобной заранее заданной целью, но среди них мы не видим авторов хороших книг.

Создание писателем реалистического произведения, на мой взгляд, зависит прежде всего от того, насколько реалистично его представление о жизни, насколько уважительно относится он к действительности. Если писатель по складу своего мышления не реалист, то его попытка, следуя моде, создать реалистическое произведение окончится ничем или же его произведение будет деланным, фальшивым. Если же писатель — реалист по своему образу мыслей, то есть если он все стороны жизни оценивает как реалист, то и его произведение волей-неволей будет произведением реалистическим. То же самое я думаю о произведениях социалистического реализма. Чтобы создать произведения социалистического реализма, сам автор должен быть последовательным социалистом.

Прочитав мои первые рассказы, старый турецкий писатель Ибрагим Алаэддин сказал, что они «реалистичны, как романы Золя». Мне его слова очень понравились. Но не потому, что мои рассказы оказались реалистическими, а потому, что меня сравнили с таким большим писателем, как Золя. Кроме кратких сведений, почерпнутых из школьных учебников, я ничего не знал тогда о реализме.

Потом я стал писать рассказы для журнала «Ени Адам» («Новый человек»). Хозяин журнала примерно из каждых пяти рассказов четыре возвращал обратно: это, мол, социалистические рассказы. Я безуспешно пытался переубедить хозяина, говоря, что ничего не знаю о социализме, и это было в самом деле так.

Как же получилось, что, ничего не зная о реализме, я писал реалистические рассказы и, ничего не зная о социализме,— рассказы социалистические? На этот вопрос я смог ответить спустя многие годы, после того как опубликовал много книг и немало думал о своей работе. Я видел мир, как реалист и социалист, ибо прожитая мною жизнь сделала меня реалистом и социалистом.

Несколько месяцев назад в Стамбуле во время встречи с турецкими литераторами большой советский романист Константин Симонов ответил на множество заданных ему вопросов. Среди них были и вопросы о социалистическом реализме. Его ответы были для нас очень важны. Между прочим, он сказал:

— Когда я пишу роман, я не кладу перед собой труды по теории социалистического реализма и не сверяюсь с ними. Я просто пишу роман.

Среди писателей есть и такие, которые пишут согласно определенной эстетической теории. Но из-под их пера чаще всего выходят произведения неискренние, неубедительные, вымученные. Между тем первейшая особенность реалистического произведения — убедительность и искренность. Произведения, подогнанные под один определенный шаблон, вызвали резкое неприятие у нового поколения литераторов.

В прошлом году, во время поездки по социалистическим странам, я познакомился с некоторыми молодыми писателями. Кое-кто из них обратился к фантастике. Поскольку я сам пишу фантастические произведения, я заинтересовался работой этих моих друзей. Попытался понять, отчего они избрали этот путь в литературе. На мой взгляд, фантастика — один из способов углубления и обогащения реализма в литературе.

Я думаю, что, если писатель не стремится к правде и по своему мироощущению не реалист, вряд ли он может создать ценное реалистическое произведение. Но если он реалист и серьезно исследует действительность, то, каким бы путем он ни шел, каким бы методом ни пользовался, написанная им вещь будет реалистичной. Важно лишь главное — чтобы писатель был реалистом в жизни.

На встрече писателей Азии и Африки в Баку уважаемый молодой поэт Евтушенко сказал мне:

— По-моему, настоящее произведение искусства сначала разрушает, взрывает человека, а потом сызнова воссоздает его. Есть произведения, которые ограничиваются разрушением или пытаются создавать, не разрушая. Вряд ли это великие произведения искусства.

Я согласен с этими словами Евтушенко.

Мы должны избегать обманчивых и ограниченных определений. Я предпочитаю не определять, а объяснять какое-либо понятие. Что касается реализма, то я объясняю его так: произведение, которое изменяет человека в сторону добра и совершенства,— реалистическое произведение. Чтобы изменить человека, нужно сломать старого человека и на его месте помочь возродиться новому. С этой точки зрения реалистические произведения несут в себе сначала разрушительную силу, а потом уже созидательные силы.

В юморе, в сатире эти разрушительные и созидательные силы видны еще отчетливей. Некоторые сатирические произведения бросают человека, ограничившись разрушением, и ввергают его в пессимизм и безнадежность.

Брехт, потрясая человека, возвращает его к самому себе.

Шолохов изменяет человека, разрушая его и воссоздавая вновь.

Есть, однако, произведения, которые изображают только плохие стороны человека, но в результате приближают его к добру. Способы и средства создания таких произведений совершенно различны.

Говоря о реализме, я меньше всего имею в виду способы и средства изображения, а прежде всего — результаты. Результат этот, повторяю,— приближение человека к добру и совершенству. Какими бы средствами, путями и способами это ни достигалось, чтобы писатель мог прийти к такому результату, он прежде всего сам должен питать уважение к правде, знать действительность, быть реалистом.

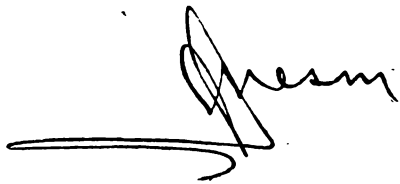
Я не отрицаю ценности и нереалистических произведений, если даже это произведения только разрушающие... Лишь бы они были произведениями действительно большого, высокого искусства.

В одной из социалистических стран я познакомился с критиком, который не признавал Беккета, Ионеско, Адамова, Кафку. И был удивлен, почему я ценю этих писателей. Но ведь эти писатели дали литературе новые средства и новый материал. И писатели-реалисты, даже если им не нравится их искусство, если даже они борются с ним, должны использовать те новые средства и тот новый материал, который ими добыт, и уже делают это.

В некоторых своих пьесах — я всегда буду утверждать, что это пьесы реалистические и в них я также остаюсь реалистом,— я использую абстракцию и символику. Не использую, как новые средства реалистического изображения, как новый способ выражения для обогащения реализма.

Ноль — самое абстрактное из понятий, созданных человеческим разумом. Но человек извлек эту абстракцию из реальности для того, чтобы лучше ее понимать.

Критики относят произведения по средствам, которыми они созданы, и методам к натурализму, критическому реализму, социалистическому реализму и прочим «измам». Для школьных учебников такое определение, быть может, и необходимо. Но я нахожу, что куда верней определять, является ли произведение реалистическим или нет, по достигнутому писателем результату. И убежден, что если писатель — а с него и надо начинать отсчет — сам является реалистом и питает глубокое уважение к истине, то и результат, который можно будет извлечь из его произведения, будет реалистическим.





## ЗОФЬЯ ПОСМЫШ (ПОЛЬША)

Недавно я прочла интервью с Михаилом Шолоховым. На вопрос, что он считает самым существенным в методе социалистического реализма, автор «Тихого Дона» ответил: «Если быть кратким, то самое существенное — это честность».

Именно это заявление писателя произвело на меня наиболее сильное впечатление: оно открывало перспективы для дальнейших размышлений не только о социалистическом реализме, но и о любом другом реализме (с эпитетом или без такового), а также о творчестве вообще.

Какой же честности требует писатель от самого себя и от других писателей? Думаю, что писательская честность определяется двумя взаимосвязанными моментами: отношением к форме и содержанию произведения и позицией, взглядами самого писателя. В числе своих любимых авторов Шолохов назвал Льва Толстого, Чехова, Гоголя... Но Бальзак, Золя, Диккенс, Драйзер тоже честно описывали мир, в котором они жили. Можно было бы обратиться к более ранним примерам, начать с Гомера, затем упомянуть имена Гёте, Байрона, Пушкина, Мицкевича, дойти до Манна, Хемингуэя, Фолкнера. В таком контексте формулировка Шолохова становится еще определеннее: под социалистическим реализмом можно было бы понимать реализм писателя, который, придерживаясь социалистических идей, честно выражает взгляд на мир в своих произведениях. Творчество самого Шолохова целиком охватывается этим определением, а «Тихий Дон» — самый яркий, подтверждающий его пример.

Все это представляется относительно ясным. Но в то же время честность — понятие субъективное. Иногда наших врагов трудно было бы упрекнуть в том, что они действуют вопреки собственной совести. Поэтому меня — и, как я вижу, не только меня — в особенности интересует то, в чем состоит различие произведений писателей со сходными, близкими взглядами. Почему описываемая ими действительность имеет различные — иногда контрастные — оттенки, окраску? Который из представляемых ими реализмов — наиболее реалистический, настоящий? Или они воплощают оттенки честности? Здесь, разумеется, трудно ограничиться понятиями, почерпнутыми из арсенала живописи, но тем не менее не подлежит сомнению, что можно всякий раз по-новому давать интерпретацию одной и той же идеи, а также находить иной способ ее воплощения в жизнь. Такова одна сторона писательской честности. Вторая — это отражение внешнего мира, его процессов, конфликтов. Можно по-новому подойти, заметить что-то иное и — что в искусстве не менее важно — по-иному описать и представить все это. Так происходит не только потому, что у авторов разные темпераменты, наклонности, вкусы, разные жизненные пути, не только потому, что они живут в разные эпохи и в разных странах, на разных континентах. Почему же так происходит? Ведь мы во всех случаях говорим о реализме.

Таков исходный пункт дискуссии, которая будет продолжаться до тех пор, пока человек, художник будет стремиться решить свои нелегкие задачи, то есть всегда. Определение Шолохова, по моему мнению, потому так интересно, что не закрывает перспектив, но, наоборот, открывает их. И оно мне столь близко потому — прошу простить мне этот сугубо личный момент,— что я именно так понимаю свою писательскую задачу. Я начала с журналистики, репортажа, училась уважать действительность. Литература, которая пытается обманывать читателя, создавая картину фальсифицированного, тенденциозно перекроенного, сконструированного из полуправд мира, недостойна называться литературой. Когда говорят о литературе, нельзя

обходить молчанием вопрос об этике, как и вопрос о позиции писателя, который должен чего-то хотеть, к чему-то стремиться, если окружающая действительность ему не безразлична и если он уважает своих читателей.

Но помимо этого первого и основного условия остается не менее важная проблема изобразительных средств писателя, того, что входит в понятие ремесла. Как случается, что один автор завоевывает читателей, а другой терпит фиаско? Одного считают интересным и современным, а другого — старым брюзгой? У одного есть творческая индивидуальность, а другой — эпигон? Писателю не может быть безразлично, как случается, что определенные изобразительные средства устаревают, надоедают читателям и утомляют их. И когда появляется такая опасность?

Если даже оставить в стороне так называемые литературные «новинки», изменяющуюся моду и нажим так называемой среды, писатель все же не может отгородиться от этих, по сути дела, близких ему проблем. Мир развивается, рвется вперед, современная жизнь по сравнению с прошлым имеет иной ритм, иной темп. Новые достижения науки, психологии, искусства, изменившиеся условия быта — все это приводит к тому, что современный человек не может думать и чувствовать так, как его предки; иные вещи оказывают на него впечатление, его интересуют, волнуют, захватывают. К нему следует подходить по-иному и обращаться к нему следует иначе. Проблемы формы, изобразительных средств, ремесла преломляются через естественное стремление автора к писательскому успеху, к завоеванию наиболее широкого круга читателей. И невозможно отделить проблему реализма, современных его черт от проблем формы. Но в то же время совершенно невозможно отмахнуться от этих проблем. (Существуют писатели, которые пишут так, словно адресуют свои произведения только писателям, людям своего круга; ввиду исключительного характера своего творчества они обрекают себя на то, что имеют дело с ограниченным числом читателей.) Нашего известного критика Кароля Иржиковского доведенная до абсурда переоценка формы произведения всегда выводила из равновесия. Он уверял, что в любом случае, на любом примере берется доказать, что источник недостатков формы заключен в содержании. Решающим всегда является то, что писатель хочет сказать.

Новые черты реализма — это, по-моему, новое видение действительности, умение усмотреть в ней то, чего до сих пор не видели или, скорее, что невозможно было увидеть; это обострение нашей впечатлительности, расширение наших знаний о мире, это стремление не отстать от его развития и наконец (мечта каждого писателя, которая осуществляется лишь в редких случаях) обнаружение новых путей этого развития, их предвидение. Это уже вопрос не только таланта, мастерства писателя, его творческих достижений, но также его интеллекта, знаний, исследовательских, познавательных способностей, добросовестности в труде, добросовестности вообще, писательской совести. Сегодняшний писатель должен много знать, знать добросовестно, уметь применить эти знания, не дать им придавить себя. И среди множества путей найти свой путь. Может ли кто-либо из писателей сегодня с уверенностью утверждать, что его путь — единственно правильный? Раньше у писателей, без сомнения, жизнь была легче.

Мы говорим о нашем понимании реализма, о новых его особенностях, но как бы все это определить более точно? Можно ли сегодня, когда мир вокруг, как никогда раньше, непрерывно изменяется, приобретает иные формы, которые постоянно преображаются, когда динамические силы развития не позволяют ничему окрепнуть, стабилизироваться, делать окончательные выводы? Я лично побоялась бы выносить какой-либо приговор, а тем более — быть пророком.

Определение «новые черты» приводит к конкретным выводам. Новые — значит наиболее созвучные духу времени. Дух времени... Во имя него было совершено слишком много злоупотреблений, слишком часто он служил орудием шантажа, чтобы сейчас к этому понятию можно было относиться с безразличием. Точно придерживаясь избранной темы, я должна признаться, что не в состоянии определить, который из двух основных методов в писательском творчестве — создание объективной или субъективной картины действительности — наиболее плодотворен в литературном смысле, наиболее современен, познавательно наиболее ценен, поскольку и на одном, и на другом пути достигнуты выдающиеся успехи. Путь Достоевского (некоторые критики, особенно на Западе, считают его отцом современной мировой литературы) или Толстого, Жеромского или Пруса, Фолкнера или Хемингуэя? Какое из течений, по существу, ближе к реализму, к его новому обличью? А может быть, это два обличия одного, более широко понимаемого реализма? А может, новые пути в литературе прокладываются ее интеллектуализмом, как считают некоторые критики? Итак, «Доктор Фаустус» Томаса Манна? А может быть, литература на грани репортажа, литература вещественная, литература протокола, «объективной» записи, называемая «литературой факта», которая имеет в киноискусстве соответствующую форму — «синема веритэ»? И здесь на память приходит книга Трумэна Капоте «Обыкновенное убийство».* Ответ осложняется тем, что даже одни и те же авторы пишут по-разному, прибегают к различным приемам.

* Опубликована в «Иностранной литературе» №№ 2—4, 1966.

Упомянутый Трумэн Капоте прежде был известен как автор поэтизированных произведений. В Польше Вильгельм Мах, например, написал две книги, которые резко отличаются одна от другой: отточенный по форме роман «Горы на Черном море» и популярную повесть «Агнешка, дочь Колумба». Очень разные по стилю книги есть и у Казимежа Брандыса и у Ежи Анджеевского. Существует много писателей, которые продолжают искать наиболее подходящую, новую форму для содержания, которое они стремятся донести до читателя. А если уж говорить о польской литературе вообще, то одновременно в разных манерах создают свои произведения Я. Парандовский, С. Дыгат, Е. Шанявский (прозаик), А. Рудницкий, К. Брандыс, Е. Анджеевский. Кого из них можно было бы упрекнуть в том, что он плетется в хвосте, что его творчество не доходит до читателей?

Подводя итоги, следует сказать, что время для окончательных оценок, для авторитетного определения того, что действительно является новым, что таит в себе зародыши будущего развития, еще не наступило. Я более склонна придерживаться мнения, что мы живем в период большой творческой свободы, когда отсутствует обязательная модель формы, в период, когда различные писательские индивидуальности, различные способы видения мира встречают понимание. Лишь бы результаты были хорошими, лишь бы в произведениях писателя мы смогли найти полезные для себя и новые познавательные и эстетические ценности. И я вовсе не удивляюсь, что существует немало писателей, которые ищут вдохновения и способов освежить форму не в творчестве авангарда, но в произведениях давних, старых мастеров. Примеров этого можно найти множество — и именно среди наиболее современных и знаменитых писателей. Те, старые мастера, добились немалого — их читают и чтут по сей день. Они продолжают быть наиболее близкими и нужными современному человеку. И зачастую они так удивительно мало стареют! Сколько лет назад Гоголь написал «Нос»? А «Мертвые души»?

Внутренний монолог, ломка традиционной временной конструкции — и что там еще? А ведь все это средства из арсенала современных литературных «приемов»! Пусть эти средства служат писателям, если еще могут служить, лишь бы они не заслоняли цели! А вот выдержит ли натиск времени «новый роман», который программно отказывается от создания образа героя, сможет ли он закрепиться в сознании, в памяти читателей? Не стоит заранее строить прогнозы. Время — самый справедливый судья. Лично я придерживаюсь мнения, что расплывчатый, размазанный, исчезающий образ героя в некоторых новейших произведениях означает отход от запросов читателя. И особенно это не удовлетворяет тех читателей — а их не так уж мало,— которые хотят иметь дело не только с печатным текстом, но с самим человеком, в существование которого они поверят, в судьбе которого они найдут что-то общее со своей судьбой, а может быть — путем общения с этим героем — каждый из них найдет, откроет самого себя?

Писатель, которому удастся начать диалог со своим читателем, со своей эпохой, с тем, что в ней наиболее ценно, прогрессивно и гуманно, по всей вероятности, находится в русле самого глубокого течения действительности — реалистического течения. А реализму, который понимается именно так, невозможно отказать в наличии новых, обогащающих человека самых больших ценностей.

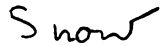
Zofia Posmysz

## ЧАРЛЬЗ ПЕРСИ СНОУ (АНГЛИЯ)

В основном я согласен с Памелой Хэнсфорд Джонсон. Однако мне кажется, что следует уделить больше внимания явлению, которое я мог бы назвать разрушением личности и которое стало характерной чертой «модернистской» литературы; возможно, оно обусловлено технократическим характером современного общества. Зачатки этого можно, по-моему, обнаружить уже у Достоевского. Я ценю его очень высоко; но перечитывая его сейчас, я более остро, чем в молодости, ощущаю таящуюся здесь опасность для искусства. Такое же чувство возникает у меня и при чтении Пруста.

Я считаю, что пока никто еще не нашел всестороннего определения современного реализма. Я говорю это как убежденный реалист. Недавно я прочел чрезвычайно интересную статью Владимира Щербины о закономерностях в развитии литературы. В общем и целом я с ним согласен, но все же мне кажется, что историко-культурная ситуация на Западе, а возможно, и в СССР несколько сложнее, чем он думает.

Один советский писатель говорил мне: «Вот наше кредо — писать, как умеем, и пусть те, кто придет после нас, напишут лучше». Очень верная мысль. Быть может, в близком будущем писателям-реалистам станет легче добиваться той основательности и насыщенности, какая характерна для великих реалистических произведений, созданных на более ранних ступенях общественного развития.



ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ (БОЛГАРИЯ)

# НОВЫЕ ЧЕРТЫ РЕАЛИЗМА

Вопросы реализма интересовали писателей во все времена, особенно они вызывают интерес в наши дни, когда ведутся ожесточенные дискуссии о его месте, о его роли в литературе. На таком количестве международных встреч, форумов, конференций за «круглым столом» ставится задача выяснить характер, цели и дальнейшее развитие реалистического искусства, что, мне кажется, ни один писатель не может уйти от этих споров. Очевидно, нельзя дать единственное и точное определение понятия «реализм», потому что, кроме общепринятых о нем представлений, каждый писатель имеет в той или иной мере свой взгляд на реализм. Одни считают реализм фактором общественного развития, революционного изменения мира, другие связывают его с партийностью, третьи полагают, что он «безбрежен».

В годы фашизма, в двадцатые и тридцатые годы в Болгарии мы называли социалистический реализм «художественным» не только потому, что хотели избежать конфликтов с полицией, но и потому, что это определение нам казалось более близким его «сердцевине», его внутренней эстетической природе. Позднее цензура запретила и определение «художественный», как синоним «социалистического».

Вот почему меня заинтересовал вопрос: «Какие, по Вашему мнению, новые черты свойственны реализму сегодня?»

Мы, например, не можем себе представить, что в шестидесятые годы прошлого века, в период расцвета реалистического романа и поэзии такие писатели, как Тургенев, Толстой, Достоевский, Салтыков-Щедрин и другие корифеи великой русской литературы, испытывали потребность в обсуждении проблем реалистической литературы или сущности реализма как метода на форумах и конференциях, хотя по самым различным поводам в той или иной форме высказывали свое мнение о характере искусства и о его социальной функции, о назначении поэзии, о целях и задачах художественного творчества, о форме и содержании произведений.

То же самое можно сказать о французских, английских и американских писателях того времени — их интерес к проблемам искусства, а, следовательно, и к реализму не является тайной, они демонстрировали это по различным поводам. В сущности, сегодня мы повторяем те же споры в новой исторической обстановке, в совершенно отличных общественных условиях. Вопросы поставлены самой жизнью, развитием нашей современности, но мы не можем сказать, что они не существовали прежде. Мы не должны сердиться на то, что нам приходится снова и снова уделять внимание этим вопросам, интересоваться ими, потому что это животрепещущие проблемы нашей сегодняшней жизни. А какой истинный творец может находиться вне своего времени?

Нам предстоит чествование Великой Октябрьской революции — ее пятидесятилетия, срок этот достаточен, чтобы завоевания Октября могли стать «плоть от плоти и кровь от крови» не только отдельного художника, но и всего народа, войти, так сказать, в ткань идейной и духовной жизни людей, и само время решило кое-какие устаревшие догматические споры.

В том, что писатель, если он имеет определенное мировоззрение (в данном случае марксистско-ленинское), может учиться у художников античного мира (Софокл), у художников Возрождения (Шекспир, Сервантес), у художников революционного XVIII века, а также, конечно, и XIX века,— в этом нет ничего плохого. Он изучал все это — всю лучшую литературу человечества — еще по школьной программе. Метод и стиль сочетаются в его голове и взаимно контролируют друг друга: перед ним раскрытая книга жизни — почему не выбрать то, что ему по вкусу, и не создать нечто отличное от уже созданного, нечто более новое? Никакой опасности согрешить против идеологии нет: она его спутница.

Среди громадных пластов литературной халтуры новое появляется робко, с застенчивой улыбкой — как бы боясь радоваться миру. Поэтому новое надо открывать, и в самом открытии нового — радость. Это значит, что горизонт впереди расширяется.

Как ни парадоксально, по моему мнению, против идеологии грешат те, кто хочет удержать старое, прошлое, потому что и идеология развивается параллельно развитию жизни, ее новых форм и задач. Она побеждает консерватизм, разбивая все преграды посредственности.

Все-таки каково же это «новое», эти «новые черты» в развитии реализма, как они обнаружили себя? Здесь мне помогут некоторые примеры из современной болгарской литературы. Не всегда критика бывает достаточно прозорлива: она привыкла к гладкой поверхности с плоскими линиями. Между тем как просто: надо взбежать на холм — и перед тобой откроется новый пейзаж, новая панорама.

Прежде всего я имею в виду рассказ Йордана Радичкова «Жаркий полдень», которая, как мне кажется, оправдывает мою мысль о «новых чертах» в реалистическом творчестве. Ее сюжет весьма, так сказать, «элементарен», но именно поэтому привлекает читателей своей гуманистической идеей. В том, что деревенский мальчик, купаясь со своими приятелями в реке, под железнодорожным мостом, чуть не утонул, когда его ручонка застряла меж камней мостового свода, в этом нет ничего удивительного и необыкновенного. Но то, что это явится причиной остановки пассажирского поезда у места «катастрофы», что начатые на этой территории военные маневры вынуждены будут прекратиться и даже генерал прибудет спасать мальчика, что пассажиры, покинувшие поезд, примут участие в спасении — все это так увлекает читателя, что он полностью находится во власти правдивых реалистических подробностей и описаний событий и их, на первый взгляд, «естественного» и «нормального» хода, потому что речь идет о человеческой жизни, о русой голове, которая появляется над водой с криком о помощи.

Какая огромная разница в отношении к человеку в рассказе Радичкова и в том, что происходит, например, во Вьетнаме, где в современном аду низвергаются все «гуманные» принципы лживой цивилизации!

Я писал уже о романе Камена Калчева «Двое в новом городе» и считаю, что многие реалистические нюансы в изображении героя, обстановки, в передаче художественного напряжения и в упрощенном психологическом подходе писателя к вещам несут в себе немало нового по сравнению с огромным литературным балластом, который ротационные машины каждый сезон накапливают, а читатели даже не удостаивают взглядом.

Это не может относиться, тем не менее, к двум произведениям, которые были опубликованы в этом году в журнале «Септември»: «Пути в никуда» Богомила Райнова и «Звезды над нами» Павла Вежинова. Меня особенно радует, что Вежинов продолжает и здесь развивать лучшие стороны своего творчества; и здесь тема служит раскрытию человеческих судеб, с быстрой сменой событий и многообразием чувств; все эти качества были характерны для творчества Вежинова и раньше, но здесь они сконцентрированы и более тесно связаны с жизнью. Фашистская тюрьма и принудительные работы, истощенные арестанты и заключенный смертник — по ошибке другой человек повешен вместо него, но он каждый день ждет, что придут тюремщики и его уведут... Пятнадцать человек решают освободиться от охраны и уйти в леса. Роман раскрывает события и отношения, драматические и правдоподобные, в той реалистической манере, которая и раньше была характерна для творчества писателя, например, в повести «В поле», и его реализм действительно может быть назван «художественным», не переставая быть социалистическим.

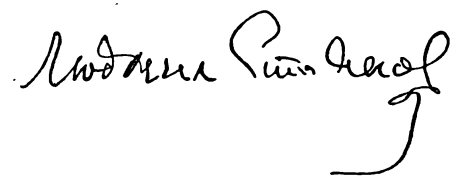
Другой характер носит повесть Богомила Райнова. Мы до сих пор его знали по рассказам сборника «Человек на углу», которые были навеяны зарубежными впечатлениями — как «Отель Юнгфрау», «Между шестью и восемью часами вечера» и другие — и принесли ему славу мастера рассказа. Критики упрекали: «Все-таки это чужая жизнь... Пусть попробует себя на родной почве». В «Путях в никуда» Райнов раскрывает настроения и состояние человека, находящегося на больничной койке. Кошмары и галлюцинации, но в то же время и картины реальной действительности, сцены больничной обстановки и состояние человека, отчаянно и героически борющегося со смертью... Вместе с тем у читателя остается впечатление, что за всем, что привиделось в бреду и полусознательном состоянии, стоит реальная действительность, раскрытая со своеобразной точки зрения.

Можно было бы назвать и другие произведения, в которых пробиваются некоторые «новые черты» реализма, но, по моему мнению, уже названные мною дают полную картину того уровня, которого достигла болгарская проза.

В этих «новых чертах» реализма бесспорно отзывается голос нашей эпохи, глубоко противоречивой, но в то же время предельно ясной в тенденциях развития — развития, раскрытого марксистско-ленинской философией.

Этот «голос» с особой силой звучит в литературе и искусстве. Спор идет о характере реализма, о праве на существование различных направлений — абстракционизма, авангардизма и многих других, в которых, однако, имеют место перепевы далекого прошлого с некоторыми аналогиями из нашего времени. Для нас все-таки должно быть ясно, что «безбрежное» бесперспективно, что оно может объединить

все и не достичь ничего. Реализм без берегов означает амальгаму, в которой утрачен ясный образ искусства и отображеннсе в нем лицо человека и его душа, утрачен образ реальности, краски и аромэт реальных чувств в угоду абстрактного и ирреального мира бессмысленности, во имя отрицания разума.



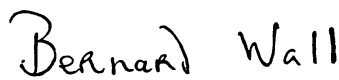
## БЕРНАРД УОЛЛ (АНГЛИЯ)

Я убежден, что благодаря ошеломляющим достижениям науки мир стал уже и наше мировосприятие, наш «реализм» — ибо для меня это понятия однозначные — соответственно изменились.

Но говоря о реализме, вы, скорее всего, имеете в виду нечто иное. Если вас интересует мое мнение о социалистическом реализме в романе, не ищите у меня поддержки, поскольку мне кажется, что этот метод ведет к ограниченному и пристрастному изображению реальности. В этом вопросе я целиком согласен с Альбертом Моравиа, статьи которого я переводил на английский язык.

Что же такое реализм? Я думаю, ответ на этот вопрос полностью определяется миропониманием писателя, тем, как он воспринимает изменения, претерпеваемые человечеством во вселенной 1966 года. «Условия человеческого существования» трактуются каждым по-своему, и в этом смысле все великие писатели были и остаются реалистами, если они говорят правду, только правду и ничего, кроме правды,— какой они ее видят. Реалистами были и Шекспир, и Достоевский, и Гомер, и Данте Алигьери. На фоне этой великой, всемирной панорамы современные «литературные школы» утрачивают для меня интерес. Мне кажется, что молодые французские писатели (Роб-Грийе и другие) обратились к «новому роману» лишь потому, что избранная ими форма помогла им наиболее достоверно и ощутимо передать свое понимание реальности. Среди англичан одним из крупнейших реалистов был, с моей точки зрения, Джойс. Но столь же примечательный реалист и Т. С. Элиот. Возможно, вы не согласитесь с их видением реальности: Джойс воспринимал ее как трагикомедию биологического вида «человек», Элиот пытался ее постичь сквозь призму христианской мистики.

Могут ли в наше время возникнуть новые направления в литературе? Способна ли она выразить те изменения, которые век техники внес в самое человеческое существование, которые мы ощущаем все острее год от года и даже день ото дня и которые, по-моему, являются для будущего куда более значительным фактором, чем — приношу свои извинения — любая революция чисто социального порядка? Если говорить о моем собственном миропонимании, то здесь Достоевский и Элиот ближе мне, чем кто-либо другой из названных мною писателей. Только мне кажется, что существование лишилось бы смысла, если бы идеи Достоевского и Элиота нельзя было выразить в понятиях научного и всеобщего прогресса рода человеческого; альтернатива «единение или гибель» — неизбежна. Впрочем, я уже забрался из литературы в философию.



## СИД ЧАПЛИН (АНГЛИЯ)

# РАССКАЗ КУЗНЕЦА

Среди писателей, внушивших мне мысль о литературе, был Чосер, первый из великих английских реалистов. В школе я упивался зачитанным до дыр «детским» изданием «Кентерберийских рассказов» и горько сожалел о том, что не было кузнеца среди двадцати девяти, пустившихся в путь из харчевни «Табард».

Сожалел я потому, что кузнецом был мой дед, и мне страшно хотелось, чтобы и он оказался в этой компании. Я так и видел, как он поглаживает усы да потягивает добрый эль, повторяя после каждого глотка: «Зерно храни, а шелуху откинь»,— уж очень нравилась мне эта присказка.

Потом и я пошел работать в кузницу, а тот кузнец, что грезился мне в детстве, тоже вырос, и с ним не сравнились бы ни дед мой, ни я сам, потому что он был всем кузнецам кузнец. Отблески огня в печи играли у него на лице, а он глядел, не отрываясь, на железо и изредка бросал словечко-другое. Движением кисти он смахивал окалину с наковальни и, швырнув на нее раскаленный брусок, со звоном пробовал молот, перед тем как нанести первый удар.

Мало-помалу этот кузнец совсем завладел моим умом, и я понял, что думает он не о себе, а о железе, которое кует. Я увидел тогда, что мой кузнец стал вроде родного брата всех других кузнецов,— ведь ни один человек не поймет себя самого, пока не посмотрится в зеркало, называемое реализмом.

Работа в кузнице подсказала мне, о чем писать и как писать. Кузнец знает: прежде чем станешь мастером, надо побыть слугой железа, научиться уважать характер материала — без этого никогда с ним не сладишь. Есть люди, о которых говорят: «Тверд, как сталь»; кузнечный мастер — сам частица металла, лежащего на наковальне.

Взгляните, как работает кузнец. Вот он хлопочет над железом, поминутно вытаскивает его из печи, переворачивая то тем, то другим боком, кладет его на наковальню, пробует молот, наносит удар — и весь он в этом ударе. Он помнит: еще не придумали печи, что выплавляла бы неотличимые друг от друга бруски и болванки, и нужно учитывать зернистость и состав металла, нужно многое знать, иметь большой опыт и хорошую интуицию, прежде чем металл подчинится его воле. Я часто удивлялся злости, просыпающейся в мастере, когда он берется за работу; самый добродушный кузнец в два счета отошьет какого-нибудь досужего зеваку, пусть тот только сунется. Потом я понял, что это не злость,— просто человек в эту минуту остается сам по себе, он один на один с работой, и никто не может сделать ее за него, даже такой же кузнец, как и он; главный мастер и тот никогда не вмешивается в чужое дело.

Знаю, уже появились машины, выполняющие такую работу. Но в детстве, разглядывая сваленные на полу кузницы цепи и трубы, я безошибочно угадывал руку разных мастеров. Конечно, металлическим изделиям однообразие не так уж вредит; но в литературе индивидуальность — это главное. Особенно если она не мешает рисовать правдивую картину жизни.

Чтобы раскусить характер моего кузнеца и написать его, мне пришлось изучить многих мастеров, да и вообще много самых разных людей. Я постиг, что кующий железо перековывается сам под действием причин социальных и психологических. Писатели — те же кузнецы: они накрепко спаяны с наковальней и как мастера, и просто как люди. Можно написать об одном человеке, и в его судьбе раскроется вся жизнь. Меня всегда тянуло к неразговорчивым и к тем, кто складно говорит, но плохо пишет. Такие люди редко бывают одиноки. Они держатся друг за друга, и рассказ кузнеца непременно приводит рассказчика к той истине, что человек — не остров, что каждый человек — это часть континента, частица общего. Эту великую истину изрек не всевышний. Ее открыл простой смертный Джон Донн.

Я успел уже порядочно написать, прежде чем убедился, что я реалист, во всяком случае, сторонник этого метода; реализм пришел ко мне так же естественно, как яблоки появляются на яблоне. Я пишу не по формуле, и особенности моих книг объясняются просто моим личным складом. Мне хотелось бы показать своим читателям все дерево, но я буду счастлив, если помогу им разглядеть хотя бы изгиб корня или листок на ветке — лишь бы дерево не засыхало.

Заглянуть в себя бывает полезно. Джон Донн пристально изучал себя и с королевской щедростью делился тем, что узнавал. Оккультные увлечения Бальзака ничуть не обесценили произведений этого великого чернорабочего от литературы. Монтень использовал десятки маловразумительных сочинений, о которых ныне никто не помнит, а они помогли ему полнее нарисовать собственный портрет и картину своей эпохи. Мой коллега Стэн Барстоу как-то заметил, что посредственные писатели нужны хотя бы потому, что без них не было бы писателей первоклассных. Лишись мы книг великих мастеров реализма, нам пришлось бы изучать эпоху по недостаточно широким и плохо написанным произведениям и мы составили бы о ней только приблизительное и смутное представление, ибо лишь прикосновение мастера дарует картине жизнь.

После ночной смены в кузнице, когда огонь печи боролся с темнотой и выхватывал из нее наковальню, я открывал широкие въездные ворота и терялся в потоке света и безграничности пространства. В литературе я могу лишь чуточку приоткрыть двери; великие мастера реализма способны распахивать их настежь. Миру, в котором сталкиваются блеск и нищета, в котором все ужасающе сложно, они смотрят прямо в лицо. Вот чему должны мы научиться у них, ибо того требует наше время.

Sid Chaplin

## ЭВА ШТРИТТМАТТЕР, ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР (ГДР)

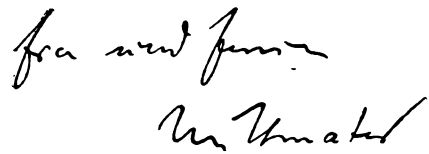
У литературоведов другие представления о реализме, чем у писателей. Для первых важны категории, определения. Писателю нет дела до определений, для него важна его мечта.

В счастливые минуты ему кажется, будто он снова нашел что-то давно потерянное, будто он снова знает, что такое искусство, а чем оно должно быть, он чувствует всегда. Ему становится легко, он проникается симпатией ко всему миру, он не стесняется, а считает важным показывать свои чувства, мысли, наблюдения. Он не спрашивает: «Чего хотят от меня?». Он спрашивает: «Чего хочу я?» Удивительно, но именно такая позиция связывает его с окружающими людьми.

Писатель принадлежит своей эпохе, она его сформировала, и в его сочинениях должна содержаться доля правды об этой эпохе, если они хотя бы частично отражают действительность,— а это хорошо известно ему самому. Так возникает интенсивность изображения, которая захватывает читателя, вызывает у него такое чувство, будто он знает то, что изображает писатель, и сопереживает это. У читателя пробуждается желание искать незнакомо-знакомое: как правдиво, как похоже — настоящая жизнь! (Хотя искусство всегда нечто иное, нежели жизнь.)

С другой стороны: сколько есть псевдореализма (и сколько псевдопоэзии); нагромождается реквизит «всамделишной» жизни, все, казалось бы, соответствует, а на деле — все неправда. Недостает волшебства, приводящего все в движение. Многие писатели похожи на того ученика чародея, который знает все инструменты учителя, но не умеет ими управлять. Мертвая бумага, никакого звука, никакого излучения... И в наше время должен существовать писатель — как личность. И теперь, как прежде, писатель, а не кто другой обращается к читателям, о нем они думают, на него надеются.

Изменились образ жизни людей и общественные формации, многие вещи, многие события влияют на отдельного человека и на мир в целом, изменяют наше мышление, чувства, поступки, манеру говорить. И поэтому не удивительно, что воззрения художника и его манера выражать себя меняются так же, как у всех остальных людей. Мы научились рассматривать все явления в их взаимосвязи и спрашивать себя: «Что кроется за тем или этим?» Искусство не может пренебрегать возможностью познать мир. Оно должно усовершенствовать свои средства, должно найти свою собственную диалектику. Никакие социологические или политические экскурсы не могут его спасти, не могут дать ему алиби перед судом эпохи. Нынешний художник, на наш взгляд, должен быть диалектиком «инстинктивно». Это определяет его смех, его плач, его гнев; это влияет на его мышление и его язык.



НАШИ ГОСТИ

# НОВОЕ В РУМЫНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В редакции побывали гости из Румынии — поэтесса Ана Бландиана, прозаики Штефан Бэнулеску и Бен Корлачу, критик Матей Кэлинеску.

Румынские писатели посетили Ленинград, Армению, Узбекистан. Они обещали, вернувшись на родину, написать о своих впечатлениях (и действительно Бен Корлачу опубликовал в еженедельнике «Газета литерарэ» интересные заметки об их путешествии «Октябрь — Разлив»).

Гостям задают вопрос за вопросом: что интересного появилось в румынской литературе? Какие в ней происходят процессы? Что характерного обнаружилось в последнее время в прозе и в поэзии?

Первой отвечает Ана Бландиана. Она — студентка филологического факультета Клужского университета. Дебютировала в 1964 году книжкой стихов «Первое лицо множественного числа». Рассказывая о поэзии своего поколения, Ана Бландиана говорит:

— Мне было бы трудно сейчас назвать имена молодых, определив, кто из них более талантлив и почему я так считаю, то есть дать полный иерархический список. Среди талантливых молодых поэтов Никита Стэнеску, Григоре Хаджиу, Чезар Балтаг, К. Бузня и другие.

По мнению Аны Бландианы, сейчас наблюдается «настоящее, начавшееся с Николае Лабиша, возрождение румынской поэзии», интересной как по проблематике, так и по современным средствам выражения.

Дополняя друг друга, гости говорят поочередно. Получается своеобразное интервью на тему: «Румынская литература глазами поэта, критика и прозаиков».

Ана Бландиана

Бен Корлачу

Штефан Бэнулеску

Матей Кэлинеску

Прозаик Бен Корлачу, у которого незадолго до приезда в СССР вышел новый роман «Барит», подчеркивает, что «современная румынская литература входит в ансамбль мировой литературы». Он называет имена молодых румынских прозаиков, творчество которых особенно высоко ценит,— Николае Вели, Фэнуша Нягу.

Критик Матей Кэлинеску, автор книг «Титан и гений поэзии Эминеску» и «Литературные аспекты», останавливается на проблеме литературной техники.

— Писатели отнюдь не отвергают реалистических способов и средств выражения, но они вместе с тем понимают, что сейчас нельзя писать так, как 50—60 лет назад,— объясняет М. Кэлинеску.— Наши прозаики осуществляют интереснейшие творческие поиски, нередко очень плодотворные.

В качестве примера критик приводит «символическую прозу» Николае Вели, который, «органично сочетая реализм с символикой, достигает в лучших своих новеллах особой выразительности и подлинного литературного мастерства».

М. Кэлинеску рассказывает также о сборнике новелл «Зима мужественных», авторы которых — находящийся у нас в гостях Штефан Бэнулеску.

Критик обнаруживает сходство некоторых новелл Ш. Бэнулеску с французским «новым романом». Но подчеркивает, что «речь идет совсем не о подражании, а об оригинальном открытии».

По мнению Кэлинеску, румынского прозаика от представителей «нового романа» отличает то, что он «исходит из опыта реалистической прозы, связанной с фольклором».

— Отличает его от французского «нового романа» и нечто другое — своеобразное чувство земли, связь с землей, которые также идут от традиции реалистической литературы,— добавляет Кэлинеску.

Отмечая разнообразие индивидуальностей в румынской литературе, критик называет новые имена — Николае Бребана, автора романа «Франциска», очеркиста Юлиана Някшу.

Коснувшись поэзии и проблемы стихотворных переводов, М. Кэлинеску делится собственным опытом: он недавно составил антологию новой румынской поэзии, которая выходит в Англии в издательстве «Пингвин», в ней будут опубликованы параллельно оригиналы на румынском языке и их английский прозаический перевод.

Тут в разговор вступает Ш. Бэнулеску.

— То, что Матей Кэлинеску сравнил мои новеллы с французским «новым романом», удивило меня, чтобы не сказать больше... Впрочем, при выходе в свет моей книги один уважаемый коллега (Николае Веля) тоже, кажется, говорил о том, что я в какой-то мере похож на Роб-Грийе. Я читал Роб-Грийе — две его книги — и признаюсь, не заметил сходства... Перечитав Роб-Грийе вновь, я попытался понять, в чем же я «провинился»... И, пожалуй, понял, что имел в виду мой коллега: тут дело не в прямом сходстве, а в чем-то другом, может быть,

в том литературном общении, в том «общем разговоре», в котором принимают участие и писатели нашей страны.

Штефан Бэнулеску рассказывает о расширении контактов румынских писателей с писателями разных стран.

— В тот момент, когда мы сидим здесь, за этим столом, по крайней мере три или четыре делегации находятся в других странах — в Бельгии, Франции, Италии... Программа культурного обмена очень велика.

Бэнулеску замечает, что он впервые в Советском Союзе и что «тесный контакт с советскими людьми и советскими писателями доставил ему большое удовольствие».

В заключение румынские гости делятся своими творческими планами. Штефан Бэнулеску работает сейчас над романом «Анонимное поколение», который должен появиться в будущем году.

— Больше о своих планах я ничего не могу сказать,— замечает писатель,— так как, работая над романом, многое хочу уяснить для себя самого.

Ана Бландиана выпускает новый сборник стихов «Переходный возраст». Бен Корлачу, по его словам, «морально еще не освободился от романа» (речь идет о «Барите»), поэтому ему «трудно говорить о своих ближайших планах». Во всяком случае, он предполагает сдать в издательство сборник стихов (свою литературную деятельность Б. Корлачу начинал как поэт, вплоть до настоящего времени продолжал писать стихи, но не печатал их). Матей Кэлинеску сообщил, что на основе своих лекций в бухарестском университете, где он читает курс мировой литературы, пишет книгу, в которой пытается дать определение ряду наиболее употребительных литературоведческих понятий, начиная с классицизма.

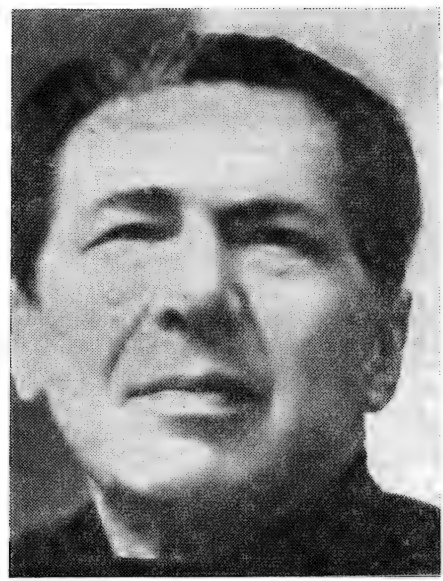
И, конечно, в плане у всех — дальнейшее расширение творческих контактов, широкое общение с теми писателями разных стран, для которых литература — это служение человеку и народу.

**Л. Д.**

# ПИСАТЕЛЬ-КОММУНИСТ

Владимир Познер... Это имя известно у нас в стране. Мы видели его на обложках книг, в газетах. Яркие, страстные статьи и очерки Познера рассказывали о гражданской войне в Испании, предупреждали о надвигающейся угрозе фашизма, прославляли силы Сопротивления. Его перо всегда исполнено подлинной революционности и непримиримой ненависти ко всему реакционному, к любым проявлениям фашизма и милитаризма, варварства и мракобесия. Недаром в пору бесславной для Франции войны в Алжире оасовцы пытались взорвать его квартиру — пострадали не только стены и полы, которые до сих пор остались перекошенными, но и сам писатель уцелел только чудом, о чем напоминают шрамы, пересекающие висок.

Познер не раз бывал в Советском Союзе. Это неизменный наш друг, связанный тесными узами со многими нашими писателями и поэтами как старшего, так и младшего поколений. В письменном столе Познера в Париже, на улице Мазарэн — узкой улочке бурливого Латинского квартала,— лежит альбом с автографами и дружескими посвящениями. Здесь вы увидите строки, написанные Максимом Горьким и Маяковским, Всеволодом Ивановым и Пастернаком, Эренбургом и более молодым другом Познера — Константином Ваншенкиным.



Владимир Познер

И вот Познер в Москве, у нас в гостях. Он побывал в Средней Азии, в Сибири, съездил в Ленинград.

— Я поражен тем, что в Ташкенте идет нормальная жизнь,— говорит он.— Замечательные у вас люди. В Ташкенте, например, я познакомился с молоденькой девушкой — наполовину татаркой, наполовину

киргизкой. Как она знает французскую литературу! Мы говорили с ней и об Арагоне, и о Превере, и об Элюаре. Это поразительно. Был я и в Самарканде, встречался там со студентами, выходцами из кишлаков,— они изучают французский язык. Затем я поехал в Сибирь. Встречался там с академиком Александровым, с писателем Залыгиным. Сколько интересного они мне показали! Возили в колхозы, в школы, знакомили с людьми самых разных профессий. А для журналиста, для писателя так важно живое общение с людьми — этого ничто не заменит, никакие книги, никакая статистика.

— И эти свои впечатления вы собираетесь как-то использовать? — спрашиваем мы Познера.

— Да, конечно. «Юманите» выпускает альманах, посвященный 50-летию советской власти. Вот я и хочу там выступить. Но прежде мне бы хотелось побывать еще в Киргизии и Армении, съездить на Дальний Север. И написать о Советском Союзе 1967 года. Главное — рассказать о людях, нарисовать их портреты, чтобы французские читатели получили представление о том, какой огромный путь проделала ваша страна. А мне это особенно видно. Вот я был в Ленинграде, на квартире, где я родился и где протекло мое детство. Из окон этой квартиры я наблюдал революцию. В доме до сих пор есть несколько человек, которые помнят меня и моих родителей: ведь мы жили там до 1921 года. Разыскал я и моих школьных товарищей, побывал в школе, где учился. Я узнавал знакомые места и не узнавал. Ведь я был свидетелем революции, а теперь я видел ее плоды. И мне очень хочется рассказать про это тем, кто этого не видел и не знает. А узнав, иной раз не верит, что так может быть.

Но кроме того, мне хочется написать и о наших людях, о французских коммунистах, нарисовать их портреты, показать, что привело их в ряды партии. Вот я и задумал создать серию очерков, которые затем войдут в книгу.

Познер собрал много человеческих документов — и у нас в стране, и во Франции. И мы уверены, что он напишет обо всем виденном, напишет правдиво и взволнованно, как писал всегда.

**Т. КУДРЯВЦЕВА**

## ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

# Деловая, творческая атмосфера

Если попытаться сформулировать, что же отличает литературу Чехословакии в последнее время, то бросится в глаза одно обстоятельство. Для культурной жизни страны стало характерно уменьшение количества литературных дискуссий и увеличение выпускаемой художественной продукции; меньше отвлеченных споров и деклараций и больше деловой критики.

Страстные споры, занимавшие уже несколько лет внимание чехословацкой литературной общественности, касались многих вопросов и в том числе будущего литературы. Теперь уже появилась возможность проверить правильность некоторых прогнозов. Так, явно не подтвердились предсказания о неминуемой гибели романа как эпического жанра. Их, в частности, опровергает большой успех ряда романов эпического склада, вышедших в последнее время: назовем «Хромого Орфея» Я. Отченашека, «Вечных любовников» Б. Бржезовского, «Аменмарию» Л. Тяжкого. Совсем недавно читатель имел возможность познакомиться с новым произведением талантливого чешского романиста Л. Фукса «Мелодия для темной струны». И хотя не раз предсказывался отход от актуальной современной проблематики в сторону вечных «экзистенциальных» проблем, это предсказание тоже не исполнилось. Можно назвать много произведений чешской и словацкой литературы, вышедших в самое последнее время и проникнутых острым интересом к существенным, сегодняшним проблемам в жизни социалистической страны. Таковы, например, произведения одного из самых талантливых многообещающих дебютантов, выступавших в области прозы в последнее время, Владимира Парала. В его книге «Буря в личной жизни», изданной несколько месяцев тому назад, как и в его первой повести «Ярмарка исполненных желаний», выпущенной год назад, писатель воспроизводит и зло разоблачает один и тот же социальный тип — современного мещанина, пытающегося паразитировать на социалистическом обществе, человека-марионетки, усиленно симулирующего полезную деятельность.

Много дискутировали в последние годы и о поэзии; и в этом нет ничего удивительного — последние годы ознаменовались притоком новых поэтических сил в литературу. Совсем еще недавно выступали с очень решительными декларациями сторонники «конкретной поэзии» и другие апологеты «чистой формы». Но сейчас уже ясно, что интерес, скажем, к поэзии Лацо Новомесского, полной размышлений о серьезнейших вопросах, волнующих современного человека, или к философской лирике Иржи Шотолы стал от этого не меньше. Да и большинство молодых поэтов отнюдь не ограничивается поисками новых формальных открытий, а стремится по-своему осмыслить современность.

Можно сказать, что в литературе Чехословакии наступила более деловая, рабочая, творческая атмосфера.

В создании деловой, творческой атмосферы большую роль сыграла резолюция XIII съезда компартии Чехословакии по вопросам социалистической культуры, в которой сформулирована четкая программа задач культурного развития на современном этапе и принципов партийного руководства в области культуры.

В резолюции со всей решительностью отвергаются получившие некоторое распространение взгляды, согласно которым искусству следует предоставить автономию в смысле его независимости от политики партии. При этом резолюция опирается на диалектическое понимание места искусства в общественной жизни:

«В истории достаточно примеров того, что политика и искусство в своем развитии неразрывно связаны, хотя эта связь зачастую бывает очень сложной. Искус-

ство ничем нельзя заменить. В этом смысле оно является автономным и представляет собой специфическую форму общественного познания и сознания. Однако только само по себе оно никогда не имеет значения... Художник всегда связан с обществом, с его духовной и материальной сферой, она питает и вдохновляет его, и он своим творчеством помогает формировать и развивать ее. Следовательно, связь культуры с политикой партии жизненно необходима для того, чтобы они могли выполнять в социалистическом обществе свое назначение. Руководящая роль партии объективно вытекает из того факта, что социализм и коммунизм развиваются не стихийно, а на основе творческой сознательной деятельности всех трудящихся во главе с рабочим классом, на основе научной теории».

**А отсюда вытекает принцип научной основы руководства партии искусством, столь же важный, как важна научная основа во всех других сферах жизни народа.**

**В партийном документе решительно осуждается упрощенное понимание взаимоотношения искусства и политики, имевшее место в прошлом, когда порой упускалась из виду специфика искусства и перед ним ставились задачи, которые должны решать пропаганда или просвещение. Партия ни в коем случае не требует от искусства иллюстрации политических лозунгов. Она хочет, чтобы социалистическое искусство своими специфическими средствами воздействовало на сознание людей, помогало формированию социалистической идеологии.**

**При этом она решительно отказывается от всякой мелочной опеки и призывает к активному творческому осмыслению ее решений и претворению их в жизнь. В резолюции говорится о необходимости «преодолеть представление о том, что партия заранее и до мелочей все решает сама».**

**В отличие от прошлого периода, когда появлялись тенденции решать в директивном порядке специфические вопросы искусства, вплоть до проблемы стилей, жанров и других конкретных особенностей художественной структуры, резолюция недвусмысленно указывает:**

«Положительная программа социалистического художественного творчества содержит принципы и цели, а не совокупность каких-то заранее установленных эстетических норм и творческих процессов».

**В резолюции XIII съезда чехословацких коммунистов развиты те принципы культурной политики, которые были намечены в решениях предшествующего XII съезда КПЧ. В том анализе современного состояния чехословацкой культуры, который содержится в резолюции, подчеркиваются благотворные результаты осуществления этих принципов в промежутке между двумя съездами.**

«Живое и ответственное отношение к современности, правдивый, непредвзятый взгляд на культурное наследие, углубляющееся творческое сотрудничество с искусством Советского Союза и остальных социалистических стран и прогрессивных работников искусства всего мира — все это помогало преодолеть временное сужение нашего культурного фронта в предшествующем периоде и высвободить творческие силы разных талантов для нового подъема».

**Углубившаяся дифференциация внутри художественного творчества, большое обогащение стилей, направлений, жанровых форм, более интенсивное проявление творческих индивидуальностей во всех видах искусства — все эти характерные признаки чехословацкой культуры последних лет утверждаются в резолюции как завоевание. При этом подчеркивается, что главное направление социалистического искусства связано с судьбами**

«искусства, активно относящегося к жизни социалистического общества, непримиримого к буржуазной идеологии, рассчитанного на широкий круг читателей, зрителей и слушателей, с их мыслями и чувствами, с их повседневными проблемами и деятельностью». Отмечается, что именно социалистическое, реалистическое искусство «своим многообразием наиболее убедительно отображает динамику современной жизни».

**В резолюции обращается внимание на то, что непременным условием художественного богатства и многообразия искусства, отвечающего уровню возросших культурных запросов граждан социалистического общества, являются смелые творческие поиски. Партия понимает также, что эти творческие поиски подчас сложны и не обходятся без противоречий.**

**Резолюция свидетельствует о непримиримости к сектантскому сужению фронта искусства. Вместе с тем в резолюции решительно осуждаются взгляды, «в которых проявляются серьезные политические ошибки, оппортунистический отход от социалистических принципов, идейная неясность, открывающая простор для негативистских тенденций». Эти вредные тенденции часто связываются, как указывается в резолюции, с отрицанием или умалением революционных традиций, с «односторонней, неправильной оценкой прошлого, суженным пониманием борьбы против догматизма и пережитков культа личности». В резолюции говорится также и о том, что среди молодых, несмотря на успехи их в искусстве, порой проявляется склонность к идейному примиренчеству, аполитичности и пацифизму.**

«Произведения, сложные, необычные, заключающие в себе что-то новое, приобретают широкую популярность, если они отвечают на вопросы большой общественной важности...» — записано в решениях съезда.

**Всячески приветствуя творческую смелость в поисках новых возможностей художественного выражения, резолюция подчеркивает, что современность искусства не ограничивается только формальной новизной. По этому поводу цитируются страстные слова писателя-коммуниста Владислава Ванчуры, сказанные им в начале 20-х годов, когда он и его товарищи пламенно защищали поиски новых форм в искусстве, соответствующих новому революционному содержанию: «Новая, новая, новая звезда коммунизма, его коллективный труд создает новый стиль, и вне его нет современности».**

**Доверие к творческим силам чехословацких деятелей искусства выражено и в последней фразе резолюции:**

«Партия убеждена в том, что у нашего народа, у социалистической творческой интеллигенции есть все предпосылки для создания новых культурных ценностей на благо всего нашего социалистического общества».

**С памятных дней XIII съезда КПЧ прошло не так много времени. Но развитие литературной жизни Чехословакии свидетельствует о том, что процесс все большего обогащения литературы, преодоления трудностей, встающих на ее пути, успешно продолжается.**

**И. БЕРНШТЕЙН**

# Африка, кино и... тачка, которую носят на голове

**В 1900 году на долю колониальных владений приходилось 35,2 процента населения земли, а сегодня — всего лишь 1,2 процента. И хотя за этой цифрой скрываются явления отнюдь не однозначные, процесс распада колониальной системы тем не менее близок к завершению, и этот факт имеет не только политическое значение. Появление на карте мира десятков новых государств с быстро растущим населением и все усиливающимся влиянием, государств, которые за несколько лет, так сказать, на наших глазах, проходят такой путь, какой Старому Свету не всегда удавалось пройти и за века, заставляет нас взглянуть на многое по-иному и отказаться от многих предрассудков.**

**Колониям редко дают слово. Но о них говорят, пишут, их показывают в кино. За время колониального господства в Африке об этом континенте были написаны горы книг, созданы десятки кинофильмов — и не всегда, мягко говоря, их авторы заботились о том, чтобы говорить правду.**

**Ныне положение меняется. Получив независимость политическую, африканцы имеют теперь возможность выразить себя и в сфере искусства. Трудно, даже если очень захотеть, не признать существование африканской литературы. А совсем недавно первые, но знаменательные шаги сделало африканское кино.**

**Именно проблемам современного киноискусства, применительно к африканской действительности, посвятил свою статью французский кинематографист Рене Вотье, автор фильмов «Африка-50», «Мне восемь лет», «Алжир в огне».**

**«От Африки, созданной в кино, до Африки, создающей кино» — так назвал он эту статью, опубликованную в еженедельнике «Жён Африк».**

**Итак, какова же Африка, созданная в кино?**

«Кто первый придумал этот кадр, где изображались носильщики, взвалившие себе на голову тачку, вместо того чтобы катить ее по земле? — спрашивает Вотье.— Мы находим его в бельгийском фильме о Береге Слоновой Кости, в английском фильме о Северной Нигерии и в фильме, который показал мне один колониальный чиновник.

— На самом деле это не так,— сказала мне жена чиновника.— Они-то знали, как надо толкать тачку, но им велели нести ее на голове для съемок».

**В наши дни документальное кино, как и документальная литература, находит все больше и больше поклонников. Зрители хотят видеть только факты, а выводы — делать сами. Да, но факты воспроизводятся по-разному — кто не знает этого, а также и возможностей современного кино!**

«Проникнув в мир, отличающийся от Европы,— продолжает автор статьи,— кино стало настаивать исключительно на этих различиях и направило все свое внимание на фальшивое прошлое, которое африканцы быстро привыкли «играть» для белых. По контрасту, «все хорошее», пришедшее из Европы, подавалось самым выигрышным образом: колониальные шлемы, отечески добрые жандармы, шпри-

цы для подкожных инъекций и велосипед с тем самым колесом, которое черные не сумели изобрести и не понимали, как им пользоваться!..

На пленке «бедуинские пляски» сменялись «конголезскими танцами», «берберские обряды» — «церемониями обрезания у кафров», и, само собой разумеется, не обходилось без посещения лепрозория добрых сестер из Судана или диспансера отца Фуко. Фильмы обычно говорили на официальных «африканских» языках того времени: французском, английском, португальском, немецком, а порой даже, как то было с «Черными сестрами» в Родезии в 1935 году, на таком «мало распространенном» языке, как зулусский. Но содержание фильмов было всегда одно и то же: камеры скользили лишь по поверхности Африки и возвращались, полные экзотики и солидных доводов в пользу колонизации».

**Рене Вотье не одинок в своих утверждениях. Нигерийский писатель Дж. Коинде Вогеи несколькими годами раньше в статье «Киноложь об Африке» говорил буквально то же самое:**

«Коммерческое кино, которое всячески использует в своих интересах широко распространенные заблуждения и, по существу, кормится ими, создало свою Африку, имеющую так же мало общего с реальной действительностью, как и вымыслы путешественников XIX столетия. Не понимая африканских языков и не зная обычаев африканских племен, постановщики таких фильмов не желают видеть в африканцах людей, разделяющих общечеловеческий опыт всех других народов. Они предпочитают использовать Африку в качестве экзотической декорации, показывая главным образом диких зверей и расписанных боевыми красками «туземцев»... Помимо увлечения ложной экзотикой, существует и другая тенденция в изображении Африки, особенно широко распространенная в Англии. Во многих фильмах проводится мысль, что африканцы нуждаются в покровительстве белых, которые должны управлять ими и заботиться об их развитии».

**Пользуясь безнаказанностью, европейские и американские кинокомпании создают коммерческие кинобоевики с белыми суперменами в главной роли, нравоучительные и познавательные фильмы, в которых африканцы либо «служат живым реквизитом», либо «исполняют роли слуг, отличающихся поразительной тупостью».**

«А потом,— рассказывает Рене Вотье,— в дело вмешались этнографы. Им надоело смотреть, как камеры скользят по верхам, и они взяли их в свои руки. Может быть, теперь европейцы узнают реальную Африку? Но посудите сами, друзья-европейцы: пошлите этнографа в Бретань, например. Конечно, он не привезет туристический фильм. Он возвратится с пленкой, которая объяснит вам, что жабадао, типичный бретонский танец, изображает движение звезд по небосводу или морской отлив и прилив (это зависит от вдохновения) и что культ мертвых у кельтов доказывает их монгольское происхождение! Ничего о конвульсиях современной Бретани: о запустении деревень, покидаемых крестьянами, о закрытии судостроительных верфей, о демонстрациях в Сен-Назере...

Разве могли этнографические фильмы передать проблемы сегодняшней Африки? Они говорят о том, что отличает африканцев, некоторых африканцев,— от европейцев. Вы узнаете, как хоронят догонов, но не узнаете, как они живут. Вы можете увидеть, как последние африканцы из последнего племени, вооруженные последним копьем, преследуют последних львов, но вы не увидите, как колониальная администрация преследует африканцев».

**Но не все остается безнаказанным. Недавно прессу всего мира облетело сообщение о демонстрации зрителей у кинотеатра «Астор» (Западный Берлин), возмущенных итальянским расистским фильмом о Конго «Прощай, Африка!».**

**Было бы, однако, неверно утверждать, что никто из авторов фильмов об Африке не пытался рассказать правду. Но страны-колонизаторы, замечает Вотье, «не хотели допустить на экран ничего, что бы говорило о действительной — политической и социальной — ситуации в Африке». Из фильма Жана Руша «Хроника одного лета» была вырезана политическая часть, так как «цензура не могла пропустить то, что говорили французы о войне в Алжире». Фильм Андре Дюметра и Бертрана Дюнуайе об Алжире был изъят во Франции; та же судьба постигла фильмы Саши Вьерни «Алжир—свобода», Алена Рене «Статуи тоже умирают», Рене Вотье «Алжир в огне» и т. д. Рогазен, снимавший в Южной Африке фильм «Возвращайся назад, Африка», подпал под действие одиннадцати различных законов. Сам Рене Вотье «заработал» за «Африку-50» тринадцать судебных обвинений и год тюрьмы.**

**Весной этого года на Всемирном фестивале негритянского искусства в Дакаре был показан фильм «Чернокожая». Его автор — хорошо известный у нас сенегальский писатель Сембен Усман. «Наше кино,— говорил Сембен Усман,— будет реалистическим или его не будет вообще». И созданный им фильм подтверждает эти слова — авторы многих статей расценивают его появление как начало новой африканской кинематографии. Это не просто история сенегалки, доведенной до самоубийства жестокостью белых хозяев, пишет в журнале «Африка рипорт» сотрудник Афро-американского института Ньюэлл Флэтер, это — «выражение тревоги за гордый дух, униженный до полного**

отчаяния». Сембен Усман, так же как алжирец Лахдар Хамина, сенегалец Абабакар Самб, анголка Сара Молдодор,— имена, с которыми связаны надежды африканского кино. Благодаря Сембену Усману и Лахдару Хамина, заключает Рене Вотье,

> «можно говорить об африканском кино, а не только об Африке, изображенной в кино. И, может быть, по расчищенной ими дороге пойдут другие творцы и в полный голос, на своем родном языке воспоют африканскую действительность».

И как следствие этого — все реже будут появляться на экранах европейских или американских кинотеатров африканцы, несущие на голове тачку.

А. СЛОВЕСНЫЙ

# Восстановить истинный образ поэта

Бульварная пресса встретила состоявшуюся в Западном Берлине премьеру пьесы Гюнтера Грасса «Плебеи репетируют восстание» с суетливой восторженностью; серьезная критика приняла ее с почти единодушным осуждением. Журнал «Шпигель» не без основания писал, что пьеса вызвала «порицание слева и аплодисменты справа». Однако, по существу, если не считать любовного приветствия Грассу из уст иллюстрированного еженедельника «Бильд», чьи комплименты могут только скомпрометировать уважающего себя автора, та западногерманская критика, которую можно принимать в расчет, отнеслась к пьесе Грасса весьма сурово и неодобрительно.

Газета «Вельт» охарактеризовала ее как «скучную»; говоря о провале спектакля, рецензент заметил: «...вечер кончился фатально». А тот же «Шпигель» довольно точно обозначил существо этого сомнительного по своим художественным достоинствам произведения как «смесь политической бульварщины с манерной подделкой под Брехта». Критик Рудольф Аугштейн, редактор «Шпигеля», в своей более чем нелестной для Грасса рецензии утверждает, что, глядя на сцену во время спектакля, начинаешь ощущать себя «в шарантонском сумасшедшем доме». «Эта пьеса не должна была быть написана»,— заявляет Аугштейн. Мнение Аугштейна разделяют и другие критики. Известный знаток театра Герберт Иеринг, давая в «Ди андере цейтунг» обстоятельный анализ нового произведения Грасса, заключает:

> «Эта пьеса — тройная неудача: в плане политическом, драматургическом и в том, что касается характеристики персонажей».

С критикой пьесы, основанной на историческом анализе событий, легших в ее основу, выступила пресса ГДР. Она рассматривает пьесу как недостойную пера такого безусловно талантливого художника, как Грасс.

Снабженная пышным заголовком «Немецкая трагедия», долженствующим, по мысли автора, напоминать о лучших днях немецкой драматургии и о худших — немецкой истории, пьеса эта задумана как произведение о берлинских событиях 17 июня 1953 года и об отношении к ним большого писателя демократической Германии Бертольта Брехта.

Обычно столь недоверчивый к утвердившимся штампам, Грасс кладет в основу пьесы сложившуюся на Западе лживую версию об этих событиях, как о некой «немецкой революции». Он даже не пытается противопоставить этой версии собственную точку зрения или хотя бы отнестись к ней с обычным скепсисом, который во всех других случаях расходует по меньшей мере неэкономно. Сделав героем своей пьесы Бертольта Брехта, выведенного под анонимной кличкой «шеф», Грасс, по его собственному признанию, хотел изобразить «модель ситуации, при которой ангажированный художник и интеллигент вдруг оказывается перед лицом действительности и пренебрегает ею ради утопии».

Чтобы лучше понять эту идею Грасса, а тем самым всю концепцию его пьесы, следует обратиться к выступлению писателя на заседании «Группы 47» в Принстоне (США). Иронизируя над «ангажированной» литературой, Грасс отвергает самую мысль о том, что литература носит характер социальный, является средством общественного воздействия. Писателей, считающих себя «завербованными», он именует «придворными шутами». С остроумием, достойным лучшего применения, Грасс высмеивает всякую попытку художника внести в свое творчество воспитательный элемент. «Я вижу кругом, включая и меня,— утверждает он в своем выступлении,— только дезориентированных писателей и поэтов, которые сомневаются в собственном ремесле...» Писатель — какую бы роль он ни избрал: шута или советника — «всего лишь марионетка», а потому «немыслимо говорить о позиции писателя».

Итак, постичь, а тем более содействовать изменению, преобразованию грубой, жестокой реальности, полной вопиющих противоречий, художник не может. А потому всякая попытка оказать своим словом, своим творчеством влияние на ход событий в мире, тем более взять на себя ответственность за судьбы этого мира представляется Грассу, «утопией»: утопия, и только она,— удел «завербованного» писателя.

Именно как такой «завербованный» художник, терпящий крах перед лицом действительных событий, на которые он бессилен повлиять, и задуман грассовский «шеф». Но беда автора, вернее, парадокс, на эффект которого не рассчитывал и он сам, заключается в том, что «шеф», каким он предстает в пьесе,— никакой не «ангажированный» художник. Напротив, он — художник, которому нет дела ни до чего, кроме искусства. К тому же он претенциозный пустозвон, лишенный всякого характера, человек без качеств.

Образ Брехта, каким его изобразил Грасс, вызвал у критиков вполне понятное возмущение. Некоторые из них готовы многое простить Грассу, этому нашалившему вундеркинду от литературы, но простить ему искаженный до неузнаваемости, до полуидиотизма образ Брехта — не могут.

Как пишет «Цейт», у Грасса получился «мелкоформатный Брехт», а «Зюддейче цейтунг» с иронией называет мятущегося на сцене «героя» этаким «Гамлетом, который четыре акта подряд не знает, что ему делать, а потом с нечистой совестью отправляется спать».

Как же выглядит «шеф» и что он делает на протяжении всего сценического времени, не столь уж короткого по нынешним масштабам?

В день, когда в Берлине путчисты и провокаторы, подстрекаемые западноберлинским радио и подкупленные западногерманскими марками, затевают беспорядки на улицах города — разумеется, у Грасса все это называется «революцией»,— «шеф» репетирует в своем театре шекспировского «Кориолана». Ему никак не дается сцена восстания плебеев, он бьется в поисках лучшего режиссерского решения. И тут, расталкивая театральных плебеев, обряженных в живописные драные одежды, на сцену вваливаются «плебеи» настоящие — «восставшие пролетарии со Сталиналлее».

Для начала они играючи набрасывают петлю на шею незадачливого «шефа» и его помощника, но потом, как люди практические, смекают, что не худо бы использовать авторитет «шефа» в своих «повстанческих» целях, и настаивают, чтоб режиссер, поддержав их требования, написал за них петицию. «Шеф» долго не может сообразить, чего от него хотят, а сообразив, не может решиться: он слишком погружен в творческие раздумья, чтобы заниматься грубой прозой жизни. И тут его осеняет: наскоро угостив незваных гостей пивом и сосисками, он решает с их помощью оживить сцену из «Кориолана». «Ты печешь из них статистов, как пекут блины»,— не без желчи замечает его возлюбленная.

В сумбурном переплетении эпох и стилей, которые нагромоздил Грасс в поисках внешнего эффекта, и Шекспир и Брехт оказываются погребенными под мощной лавиной исторической фальсификации. Признать это пришлось даже тем критикам, которые склонны были увидеть в пьесе некий шедевр политической и художественной дальновидности.

«В этой пьесе,— пишет рецензент газеты «Крист унд вельт»,— Гюнтер Грасс... заставляет плясать под свою дудку Шекспира и Брехта». «...Шекспиру приходится посторониться, чтобы мог развернуться со своей пьесой коллега Грасс»,— иронизирует Аугштейн. А журнал «Конкрет», в общем-то одобрительно отнесшийся к идее Грасса атаковать величайшего немецкого писателя нашего века памфлетом, пасквилем» и «фальсифицировать, стилизовать, трансформировать историческую личность по своему желанию», тем не менее устанавливает, что «шеф» в этой пьесе кое-чем «удивительно напоминает Грасса», так что пьеса, в сущности, «дает ответ на вопрос: как повел бы себя 17 июня на месте Брехта сам Грасс?»..

Большинство западногерманских рецензентов, очень далеких от правильного понимания событий 17 июня, обрушиваются на Грасса за то, что он вмонтировал в свою насквозь искусственную, надуманную, а потому шаткую конструкцию фигуры Брехта.

Аугштейн замечает:

«Кто не знает ни Брехта, ни Вейгель, ни «Кориолана», ни брехтовскую обработку «Кориолана», тот будет в растерянности. Но кто все это знает, тот будет возмущен».

По мнению Аугштейна, у Грасса вместо достоверного образа крупнейшего художника получилась «мутная водица».

«Можно ли вообразить себе Брехта,— спрашивает Рейх-Раницкий в «Цейт»,— человеком, который, что бы ни случилось, пытается отделаться одними остротами? Что бы ни представлял собой Брехт, глупцом и шарлатаном он не был»!

Не меньшее недоумение критиков вызывают и созданные Грассом фигуры рабочих, даже отдаленно не напоминающие живых людей.

«Сразу видно, что Грасс никогда не имел дела с профсоюзами,— пишет «Шпигель» — ...Разве можно представить себе восставших рабочих, наряжающихся в театральные лохмотья и позволяющих превратить себя в вульгарных статистов?»

По мнению «Цейт», рабочие, выведенные Грассом, чаще всего разговаривают как дети. А думать они, по всей видимости, совсем не в состоянии... Ничего удивительного

в том, что «шеф» не принимает всерьез их восстание и обращается с ними, как со статистами.

«Мы для него куклы»,— говорит каменщик. И дальше (протестующе): «Мы же все-таки не марионетки». Но они именно таковы: марионетки-попрыгунчики. И не «шеф» сделал их такими, а автор пьесы».

Пьеса Гюнтера Грасса вызвала возмущение и за пределами его родины. И это объясняется прежде всего тем, что Брехта знают и уважают во многих странах мира. Еженедельник «Леттр франсез» противопоставляет пьесе Грасса ту интерпретацию фактов, которая содержится в книге Л. Копелева о Брехте. Как подчеркивает «Леттр франсез», советский литературовед в отличие от западногерманского писателя доказывает, что Брехт реагировал на события 17 июня как человек, кровно связанный с рабоче-крестьянским государством.

«Леттр франсез» печатает также статью шведского режиссера, постановщика антифашистского фильма «Майн кампф» Э. Лейзера, резко полемизирующего с Грассом. Шведский режиссер, который встречался с Брехтом в те дни, утверждает, что Брехт, выйдя 17 июня на улицу, увидел там «разного рода деклассированных юнцов», вызвавших у него ассоциацию с «жестокими и грубыми силуэтами нацистской эпохи». Признавая только лишь один — социалистический — путь развития своей родины, сожалея, что и на верном пути иной раз допускаются ошибки, Брехт знал, что события 17 июня — это прежде всего злобная провокация, организованная и направляемая с Запада. Он отдавал себе отчет в том, что «свобода для всех» может означать также «свободу для тех, кто стремится к войне»,— пишет Лейзер.

«При сопоставлении правды с многочисленными ложными сведениями,— продолжает он,— вырисовывается истинный облик Брехта, который противостоит штампам, имеющим сейчас хождение, и в особенности образу, созданному Грассом».

Для того, чтобы очистить образ замечательного художника-гуманиста от налета фальсификации, «Леттр франсез» и выступил с целой серией материалов.

«Необходимо,— говорится в редакционной статье,— не только восстановить истину о поведении и мужестве Бертольта Брехта, но иметь в виду устремленность его творчества в будущее. Нельзя забывать, что Брехт — гений».

**И. МЛЕЧИНА**

# Борьба и творчество

Какова роль интеллигенции в движении за национальное освобождение? Таков был вопрос анкеты, с которым обратился редактор уругвайского еженедельника «Марча» Карлос Нуньес к писателям, приехавшим в качестве гостей и делегатов на триконтинентальную конференцию в Гавану. Надо ли говорить, сколь волнующа и остра эта проблема для всех деятелей культуры Латинской Америки, являющейся сегодня одним из важнейших плацдармов борьбы против колониализма.

Проведенная К. Нуньесом анкета дала материал, который еще раз подтверждает не только исключительную важность, но и сложность этой проблемы.

Ответы на вопрос редакции «Марча» были получены от восьми латиноамериканцев и трех европейцев и опубликованы одновременно в «Марча» и в кубинском журнале «Каса де лас Американас».

Взглянув в целом на все эти ответы, убеждаешься в необыкновенном многообразии аспектов, с которыми связана проблема участия интеллигенции в освободительной борьбе. Вместе с тем с неменьшей очевидностью обнаруживается и единство исходных позиций писателей по этому вопросу.

При всех политических, психологических, возрастных различиях участников анкеты довольно ясно определяется одна общая тенденция в их ответах; в той или иной форме все они говорили о гражданской ответственности писателей и интеллигенции в современном обществе, о связи, которая неизбежно существует между их творчеством и их общественной позицией.

При этом, разумеется, каждый выразил свое сугубо индивидуальное отношение к этой проблеме, выделяя в ней тот аспект, который он считает наиболее животрепещущим. Так, Альфредо Варела, известный аргентинский писатель и участник всемирного движения за мир, ставит вопрос о борьбе против колониализма и милитаризма в мировом масштабе, а миссию писателя видит прежде всего в его активном гуманизме.

«Несколько лет назад разговаривая с романистом Леонидом Леоновым, я запомнил его волнующие слова — свидетельство беспокойства его души: «Если Достоевский, потрясенный слезинкой младенца, хотел возвратить богу билет з

будущий мир гармонии, то что должен делать я в мире, где убивают, терзают физически и морально миллионы детей?»

Мне кажется, что этот исполненный горечи вопрос ждет ответа от многих сегодняшних интеллигентов, от тех, кто в той или иной области творит культурные ценности... Ибо как можно оставаться равнодушным или занять позицию наблюдателя «вне игры», когда миллионы человеческих существ все еще терпят различные формы гнета... или когда Вашингтон готов направлять свои морские силы и бомбардировщики в любой пункт мира, где бы ни возникло сопротивление его господству, усугубляя и без того невыносимую драму Вьетнама».

**В большинстве ответов довольно отчетливо была поставлена проблема конкретного участия писателя в освободительной борьбе собственного континента. Вспоминая благородные традиции литературы Латинской Америки прошлых веков, чилийский поэт и общественный деятель Гонсало Рохас утверждает:**

«Нет, не может быть сегодня настоящего писателя, для которого одновременно с творчеством не встал бы вопрос и о революции — о нашей, истинной революции»

**Со всей категоричностью связывает проблему национальной независимости с проблемой революционного преодоления социально-экономической отсталости латиноамериканских стран молодой перуанский романист Варгас Льоса.**

**Несколько лет назад он получил широкую известность своим романом «Город и псы», который появился также и на русском языке.**

**Варгас Льоса решительно заявляет, что писатели Латинской Америки, являющиеся жертвами несправедливой и уродливой социальной системы, господствующей в этих странах, с особой остротой ощущают необходимость борьбы за ее свержение:**

«В этом обществе нам нечего защищать: мы являемся его естественными врагами и должны бороться за его ликвидацию и замену не только как граждане, но и как представители интеллигенции. А новая система, которая заменит старую, может быть лишь социалистической».

**Программу специфических задач писателей и художников революционной эпохи рассматривает в своем ответе на анкету Хорхе Саламеа, известный колумбийский поэт, писатель и общественный деятель.**

«Наше время во всех отношениях может называться революционным. Происходит революция социальная и научная, экономическая и художественная... В эпоху, подобную нашей, художник не может отдаться самосозерцанию или радости создания лирической исповеди. Он должен стать свидетелем своего времени и попытаться участвовать в решительном, достойном и истинном изменении общества».

**Х. Саламеа поэтому считает, что наибольшее значение в нашу эпоху имеют произведения, которые в той или иной форме являются ее документом. В частности, он считает, что международный успех его сатиры «Великий Бурундун Бурунда умер» обязан именно тому, что автор запечатлел в ней характерные черты тирании в Колумбии.**

**Далее Саламеа ставит вопрос о новых средствах связи искусства с массой, без которых произведения, создаваемые писателями и поэтами, обречены на безвестность. И здесь существенны не только технические изобретения, как то: радио, телевидение, пластинки,— но и прямой контакт с людьми.**

«Поэт должен идти на улицы, площади, в университеты, в маленькие поселки, в заброшенные деревни. И он должен нести туда свое творчество в уверенности, что он всегда найдет отклик в массах, которые с каждым днем проявляют все более жадный интерес к живому слову и живой культуре. И тогда он обретет огромную аудиторию, какую имеют уже Евтушенко, Арагон, Гильен, Неруда».

**Ставя со всей ответственностью и остротой вопросы общественного долга интеллигенции, писатели одновременно говорили о многих сложных творческих вопросах, связанных с участием писателя в общенациональной борьбе.**

**Так, А. Варела высказывает весьма важную мысль о недопустимости предъявлять одинаковые требования ко всей интеллигенции, стремящейся к участию в освободительном движении.**

«У каждого интеллигента есть свое место в национально-освободительном движении, и сюда он может принести свое слово или свой труд, свою поэму или подпись, подтверждающую его позицию. Разными могут быть пути, какими он включается в общую и единую борьбу, не одинаковыми эстетические концепции, разными художественные течения, как сама форма, в которую выливается его творчество. Единственно, что недопустимо,— это равнодушие, инерция или, что еще хуже, уход под сень опасных формул, одинаково осуждающих угнетателей и тех, кто против них борется».

**Творческий процесс во многом стихиен, в нем эмоция часто преобладает над логикой. Нередки и случаи разрыва между гражданским сознанием писателя и формаль-**

ным поиском. И если А. Варела говорит о различии и неоднозначности творческих индивидуальностей, объединяющихся в единое освободительное движение, то Варгас Льоса говорит о еще более сложной проблеме — о внутренней противоречивости художника.

«...в человеке творческом зачастую является определяющим не рациональное, а некое стихийное, неконтролируемое, преимущественно интуитивное начало. Писатель не всегда может подчинить его заранее какой-либо цели. В определенном смысле писатель страдает от этой двойственности или, по крайней мере, от страшного напряжения: он хочет быть верным своим политическим убеждениям и вместе с тем он обязан быть верным своему призванию. Если оба эти момента совпадают — прекрасно, если же нет, то возникает напряжение, внутренний разлад, от которого мы не должны убегать, а которое, наоборот, мы полностью должны осознать и преодолеть».

Выступления двух кубинцев — Лисандро Отеро и Роберто Фернандеса Ретамара — интересны прежде всего тем, что они посвящены опыту, которого не имеют еще писатели других латиноамериканских стран,— опыту «шести лет жизни, тесно связанной с первой социалистической революцией в Америке».

Автор романа «Так было» Лисандро Отеро вспоминает тяжкие годы вооруженной борьбы с тиранией Батисты, когда у интеллигенции не было иного дела, кроме личного участия в этой борьбе. Иные задачи возникли после победы революции.

«Теперь интеллигент вновь может вернуться к своим размышлениям и сосредоточиться на творчестве с тем, чтобы отныне способствовать революции только ему присущим профессиональным способом».

Роберто Фернандес Ретамар — поэт, критик и преподаватель университета касается сложных и острых вопросов формирования той художественной политики в революционной Кубе, от которой зависит эффективность участия писателей в общественном и культурном преобразовании страны.

В этой связи он упоминает ряд заявлений, сделанных от имени правительства о свободе творчества на Кубе. Задачу писателей революционной Кубы он видит в том, чтобы

«воплотить энтузиазм и стойкость нового общества, которое сейчас рождается, которое мы создаем и которое создает нас, воплотить, не забывая взглянуть на него критически, ибо только благодаря этой особенности писатель и может служить революции».

Суммируя в целом ответы, полученные на анкету уругвайского журнала, можно хотя бы в общих очертаниях представить и широту захватываемых в них проблем, их важность, да и сложность. В современной борьбе Латинской Америки против колониализма перед писателями встают огромные задачи, и, стремясь их осуществить, они преодолевают немало объективных и субъективных трудностей. В большинстве ответов привлекает отсутствие декларативности, общих фраз. Каждый писатель говорит о том, что волнует его лично. Именно поэтому-то и возникает при их чтении ощущение не только большой ответственности, но и глубокого своеобразия творческой функции писателя в сегодняшних условиях национально-освободительного движения латиноамериканских стран.

В заключение нельзя, однако, не сказать, что на страницах журнала «Каса де лас Американас» появилось также заявление, прозвучавшее резким диссонансом всему духу дискуссии.

В этом заявлении мы сталкиваемся со стремлением подменить задачи общенациональной борьбы с колониализмом задачами классовой борьбы пролетариата, с полным отождествлением политической и творческой функции интеллигенции. Грустное недоумение вызывает содержащийся в нем список многочисленных пороков, которыми якобы страдает интеллигенция Латинской Америки, из этого списка можно сделать лишь один вывод — о ее непригодности к участию в решении судьбы своих народов.

Не будучи самостоятельными, эти концепции, однако, способны нанести немалый вред развитию национальной культуры Латинской Америки.

**М. АЛЕКСАНДРОВА**

# В гостях у итальянского скульптора

Цирковая сцена. Рельеф.

В любое время года толпятся туристы на площади перед собором св. Петра в Риме. Одни останавливаются около ватиканской стражи в полосатых желто-фиолетовых костюмах, сделанных еще по рисунку Микеланджело, другие, огибая собор, направляются в знаменитую художественную галерею или рассматривают величественную колоннаду и купол собора — создание Микеланджело.

А в соборе, минуя множество скульптур Бернини, еще раз встречаются с творением великого флорентийца — его ранней Пиетой, чистой и небожественной, установленной на высоком постаменте из красного мрамора.

На этот раз нас, советских художников, привлекли сюда не эти шедевры, а новое произведение современного итальянского скульптора Джакомо Манцу «Porta di Pietro», или «Врата смерти». Выполненные из светло-золотистой бронзы, они установлены на главном фасаде собора св. Петра. На них — рельефы с изображением различных обличий смерти: смерть на земле и в пространстве, смерть в бою, насильственная и тихая, покойная — от старости. В основе — библейские сюжеты. Но разве рельеф «Каин, убивающий Авеля» не прочитывается как мотив братоубийственной войны, принесшей столько горя людям? А Стефан, побиваемый камнями,— не протест против унижения и угнетения? А умирающая Сулла и плачущий ребенок не напоминают всем о безвозвратной утрате самого дорогого и близкого?

И не случайно между рельефами очень выпукло, очень объемно вставлены пучки колосьев, лозы винограда, как бы утверждающие мирный труд, жизнь, будущее.

Я оглядываюсь на разноязыкую красочную толпу туристов, которые принесли сюда из разных стран мира ненасытный интерес к культуре прошлого и настоящего, свои радости и тревоги, и думаю, что есть нечто символическое в том, что эти врата стоят как бы на грани двух эпох: за ними внутри, в торжественной тишине собора — великие творения прошлого, а сами они обращены к нам, современникам, к тем, кто сейчас в таком множестве собрались на этой площади, залитой светом солнца.

Мы просим разрешения посетить мастерскую Джакомо Манцу.

По дороге (а мастерская находится километрах в сорока от Рима) я вспоминал о другом, более раннем произведении Манцу — вратах собора св. Петра в городе Зальцбурге. Композиционно они похожи: правда, там всего четыре рельефа, также выражающих скорбь и сострадание к людям.

Из переполненного народом собора на площади были слышны торжественные и печальные звуки ор-

гана (исполняли Моцарта, Чайковского, Гайдна). Не имея возможности войти внутрь, я рассматривал погруженный во тьму рельеф «Возвращение блудного сына» и думал о том, насколько они проникнуты той же возвышенной любовью к людям.

Наверно, еще тогда возникла мысль, определяющая для меня главное в творчестве Джакомо Манцу: большой гуманизм, любовь к красоте жизни, выраженные пластикой современного искусства, основанной на глубоком понимании искусства прошлого.

...Дорога ведет все дальше — мимо маленьких городов с неизменными трактириями, магазинами, кафе и стоянками автомобилей с кричащими пестрыми рекламами, мимо могучих и молчаливых форумов и акведуков. А потом, свернув в сторону, в поле на фоне огромного чистого неба мы увидели одиноко стоящие дом и мастерскую Джакомо Манцу — плоское белое строение, крытое, как соломой, настилом из зеленоватого пластика.

Немногословный, сдержанный в движениях, что часто свойственно людям, несущим полную чашу чувства...

Джакомо Манцу встретил нас дружески, и чуть заметная лукавая улыбка его вполне заменила бурные приветствия.

Пока мои друзья вели беседу, я внимательно рассматривал работы. У входа лежала двухметровая мраморная скульптура кардинала, видимо только что привезенная или предназначенная к отправке. На стенах — гипсовые щиты и углем нарисованные на них женские фигуры, в центре — белая гипсовая танцовщица, стоящая на носках, с руками, тянущимися ввысь, и тут же на станках в беспорядке брошенные бронзовые портреты, еще не укрепленные на подставках,— удивительно живые и выразительные. Скульптор лепит их за один-два сеанса. А на полу разложены рельефы в бронзе, эскизы и варианты к «Porta di Pietro». Тонкий рельеф — несколько сочных выразительных деталей — переходит часто в рисунок стеком по глине. Великолепно вылепленные головы, торсы заканчиваются чуть наметившимися очертаниями человеческой фигуры... Незавершенность эта кажущаяся.

Мы рассматривали предварительные пробы, эскизы, варианты.

Тут только видишь, какой огромный труд предшествовал созданию «Porta di Pietro».

И в зале нового искусства в Ватикане и в Музее современного искусства в Риме близ Вилла Боргезе, где были выставлены артистически выполненные обнаженные фигуры и портреты,— всюду искусство Манцу живет и волнует зрителя могучей страстью и жизнелюбием. Оно живет рядом с творениями прошлого, не только продолжая, но и часто нарушая, изменяя его каноны, утверждая искусство нового времени.

**Скульптор В. ЦИГАЛЬ,**
**заслуж. деятель искусств,**
**чл.-корр. Академии художеств СССР**

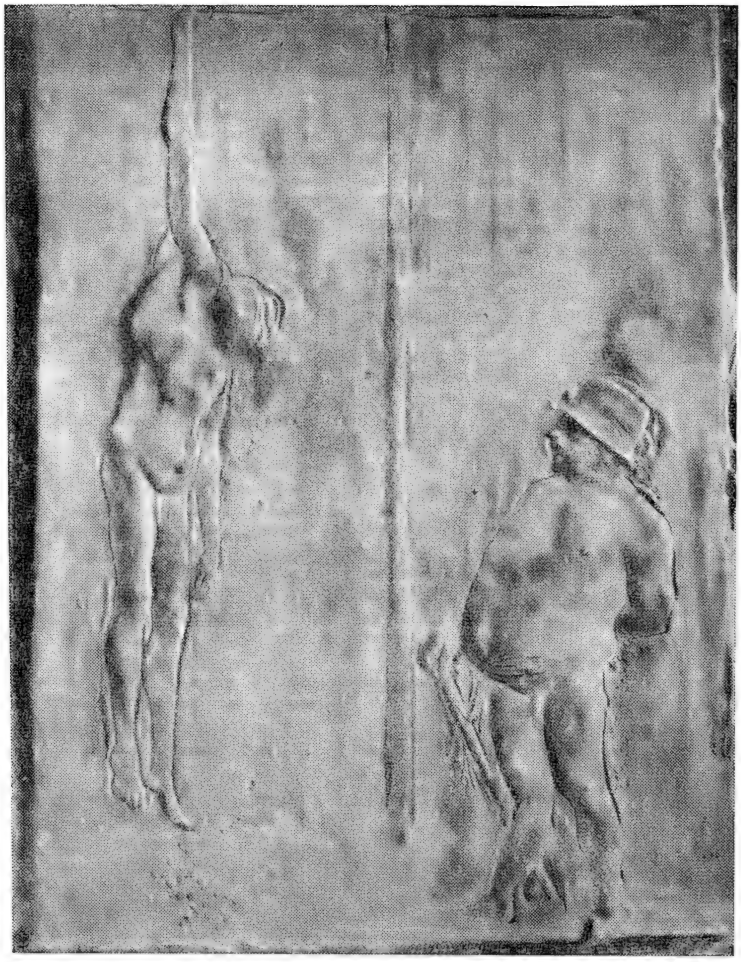
*Ю. Колпинский*

# Творчество Манцу

Недавно состоявшееся присуждение Джакомо Манцу Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» — не только дань уважения общественной деятельности замечательного мастера. Эта премия — и знак признания огромной общественно-эстетической ценности, которую представляет само его искусство — глубоко гуманистическое и правдивое.

Искусство может служить делу защиты мира, непосредственно обращаясь к теме мира. Подлинно реалистическое, неразрывно связанное с жизнью людей, с жизнью народа искусство участвует в этой борьбе и не столь прямо. Это происходит тогда, когда оно утверждает поэзию и правду жизни, любовь к человеку, к человечному в человеке, формируя в людях тот внутренний духовный, нравственный мир, который делает их врагами зла, воспитывая в них любовь к добру, к человеческому счастью, к красоте жизни. Меня волнует и радует, что в творчестве Манцу оба эти аспекта служения искусства делу мира, делу взаимопонимания и братства людей органически переплетены. Особо радует, что творчество Манцу есть еще одно доказательство вечной жизненности и плодотворности великого гуманистического и реалистического пути развития искусства.

Реализм — объективная потребность современной культуры, выражающая коренные эстетические запросы человечества. Поэтому



Распятие. Рельеф.

по трудному и благородному пути подлинных исканий гуманизма и реализма идут многие художники во всех странах мира.

Таково творчество лучших художников социалистических стран, таковы творческие достижения лучших мастеров мексиканской художественной школы, таковы искания многих замечательных японских мастеров, например, супругов Маруки, такова и наиболее сильная в художественном отношении фигуративно - реалистическая линия в творчестве Пикассо. Итальянская культура сегодня внесла, пожалуй, особенно заметный вклад в развитие современных форм реализма и гуманизма. Достаточно вспомнить о творчестве Гуттузо, Фарули, Мукки, Пиццинато и многих других. Джакомо Манцу один из самых замечательных мастеров этого направления, один из ярчайших выразителей огромной творческой силы и одаренности итальянского народа.

И сам Манцу — выходец из народа. Он родился в 1908 году близ североитальянского городка Бергамо в бедной крестьянской семье. Он прошел долгий путь творческого и духовного развития. Законченное профессионально-школьное художественное образование ему получить не удалось. Однако было бы неверно рассматривать его как «автодидакта» — одаренного самоучку, представляющего «прелести наивного» искусства. Это художник, неустанно совершенствовавший свое мастерство, человек широчайшей общей духовной и профессиональной культуры.

Что касается связей с традицией, то они по мере его творческого роста рас-

ширялись и становились все более «программными». В его искусстве ощутима связь с итальянским возрождением — с традициями Гиберти, Дезидерио и особенно с творчеством позднего Донателло. Не меньшее значение, однако, имеет и явная близость молодого Манцу к Медардо Россо — крупному итальянскому скульптору, своеобразно продолжавшему традиции импрессионизма и Родена. Однако отнюдь не это главное в творчестве Манцу. Отличительные черты его художественного своеобразия — необычайно острое, тонко-ассоциативное ощущение оттенков пластической формы, своеобразное сочетание непосредственности в ощущении жизни, блестящего, иногда почти озорного артистизма с глубокой содержательностью чувства и мысли.

Путь Манцу ясен и целостен в том смысле, что он никогда не поддавался соблазнам неизобразительных форм искусства, связанных с игрой в чистое «самовыражение» или с отчужденным от человека конструированием отвлеченно-формальных композиций.

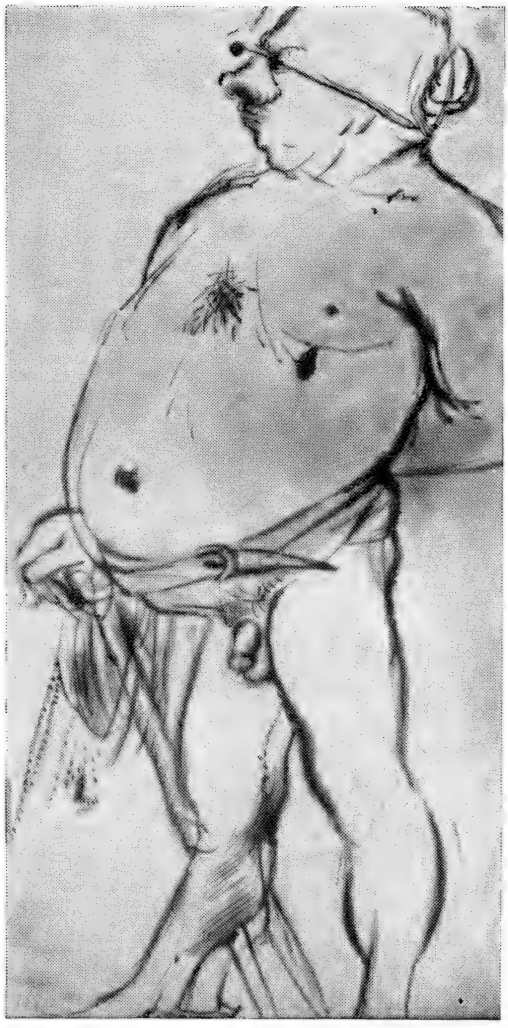
Манцу неразрывно связан с жизнью —он плоть от ее плоти. И вместе с тем в этих пределах искусство Манцу достаточно сложно и, разумеется, не лишено подчас своих противоречий.

Уже молодому Манцу были свойственны интерес к жизни в ее движении, острая, точная, чуть-чуть ироническая наблюдательность. Молодой художник, формировавшийся в условиях воздействия на искусство Италии холодной риторики, тяжеловесной помпезности псевдомонументального стиля, поощрявшегося фашистским режимом, занял эстетическую позицию, резко враждебную по отношению к этому направлению. Отсюда, так сказать, антимонументальность его произведений. Ряд художников, не принимавших либо эстетически, либо этически, либо политически господствующий режим, часто уходили в область искусства герметического, отчужденного от окружающей их жизни. Однако Манцу просто не мог порвать с живым искусством, с окружающей его живой жизнью, хотя и у него в ту пору можно было встретить работы, отмеченные изысканной стилизованной манерностью, вроде изящной камерной «Цирковой сцены» и др.

В эти годы закладываются основы и его мастерства портретиста. Он необычайно чуток к движению человеческого тела. Назовем «Моющегося мальчика» (1938) или портрет угловато-порывистого, не очень красивого мальчишки лет 10—11, сидящего на корточках, названного с некоторой долей сознательного озорства «Давидом» (1938).

Но уже в конце тех же 30-х годов в творчестве Манцу отчетливо звучат новые, все более глубокие и серьезные ноты, позволяю-

Генерал. Набросок к рельефу «Распятие».



щие угадать автора будущих знаменитых «Врат смерти».

Драматические противоречия современной действительности, грозный призрак надвигающейся мировой войны начинают находить отзвук в его, казалось бы, столь артистичном и одновременно непосредственно-свежем искусстве. Такова серия рельефов, посвященных теме «Распятия». Следует сказать, что обращение к этой теме определяется своеобразным переплетением двух сторон художественных и человеческих интересов самого Манцу. С одной стороны, он искренне верующий художник, живущий в стране, где еще сегодня, а тем более вчера значительная часть народа (преимущественно крестьяне и так называемый подпролетариат — бедняцкие деклассированные прослойки города, но не только они) принадлежит к верующим, либо в их сознании продолжают жить идеи и представления, связанные с мифологией христианской церкви. Для Манцу обращение к образам, навеянным евангельскими легендами, обусловливалось не только общими религиозными взглядами тех лет или игрой в литературно-отвлеченные аллегории и символы. «Распятия» не столько олицетворяли мистические события христианской легенды, сколько воплощали дух смятенности и беспокойства кануна грозной войны. Достаточно вспомнить, что в эти годы и Ренато Гуттузо создает свое полное трагизма и гневной горечи «Распятие» (1942) — символ распятого фашистской диктатурой на кресте войны народа-мученика.

Так на «Распятии» (1939) Манцу вокруг изможденного Христа расположены с одной стороны обнаженные мужчина и женщина — обыкновенные простые лю-

Портрет Альфонсины Пасторио.

Женский портрет.

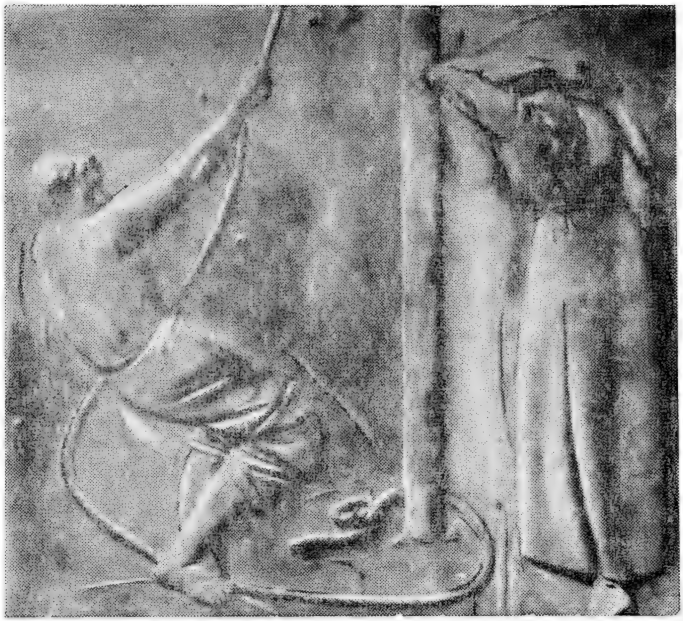
ди, как бы воплощающие идею скорбящего человечества. С другой стороны выступает наглая фигура палача с воинской каской немецкого образца на голове. Этот мотив несколько позже получает более глубокое и вместе с тем лаконическое решение в сопоставлении уже не с Христом, а с подвешенным за руки к крестообразной перекладине замученным партизаном, на которого взирает со спесивой наглостью почти нагой тучный человек, опирающийся на саблю. На голове его — та же каска («Распятие», 1942 г.). Контраст нагло-самодовольного, оплывшего жиром палача и замученного человека необычайно выразителен. В этой композиции, поражающей острой экспрессивностью пластического языка, своеобразно переплетаются многовековая традиция бесчисленных распятий и полная беспощадного трагизма традиция искусства Гойи. Пожалуй, именно в этом рельефе зарождается в сознании Манцу тот мотив «смерти насильственной», который он вводит в композицию «Врат смерти». Особенно остро эта связь чувствуется в подготовительных эскизах и набросках этой огромной работы.

Послевоенные годы — период творческой зрелости Манцу. Его портреты приобретают большую психологическую остроту, удивительную нервно-экспрессивную подвижность. Назовем здесь жизненный и очень по-современному психологически выразительный портрет «Альфонсины Пасторио» (1944), «Портрет девушки» (1946) и т. д.

Подчас в таких, например, композициях, как «Мальчик с уткой», кажется, что стремление к жизненно «нечаянным», почти натуральным мотивам движения разрушает не только традиционные догмы, но и сами

Инге.

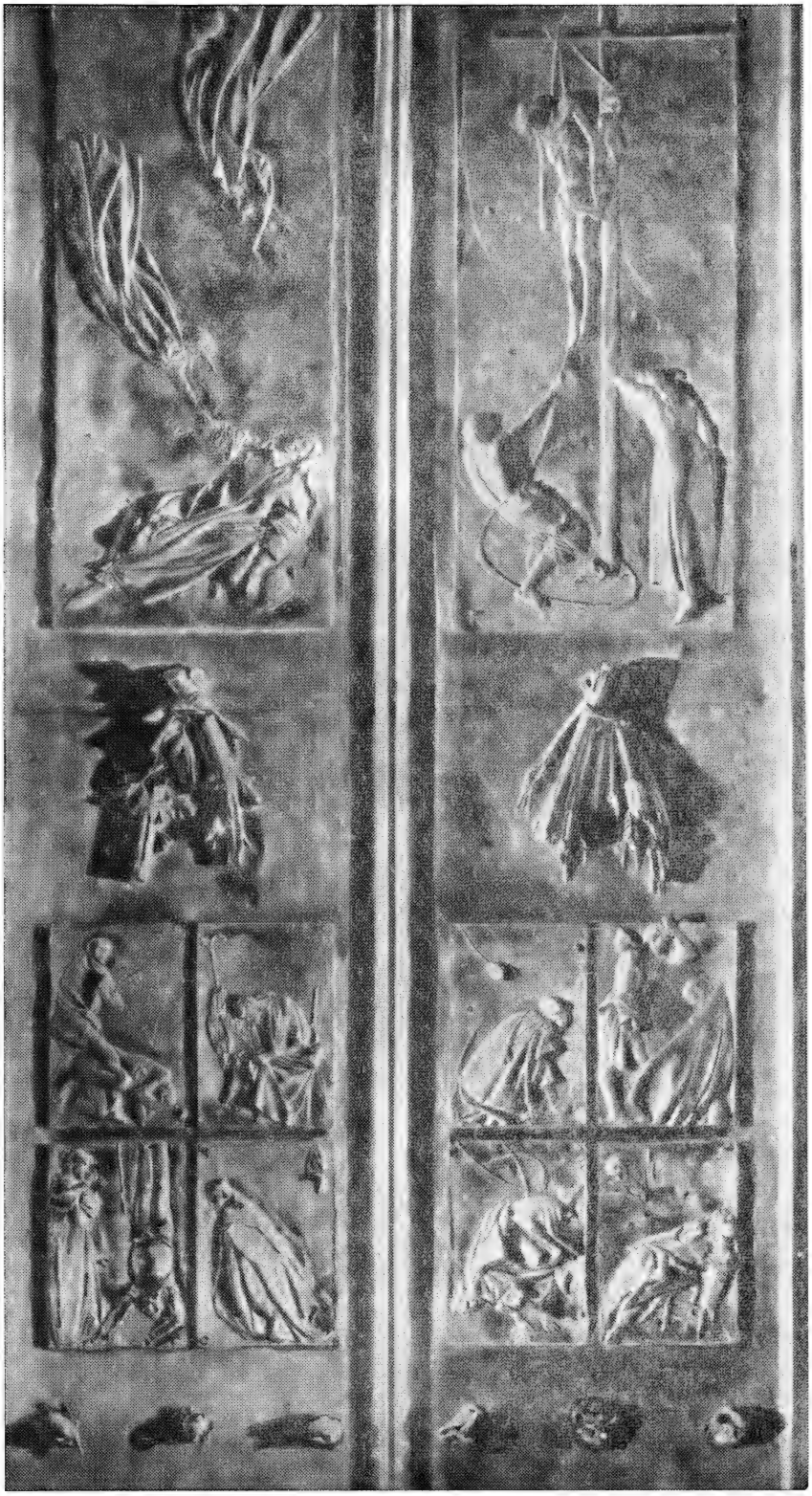
Большая танцовщица. Деталь.

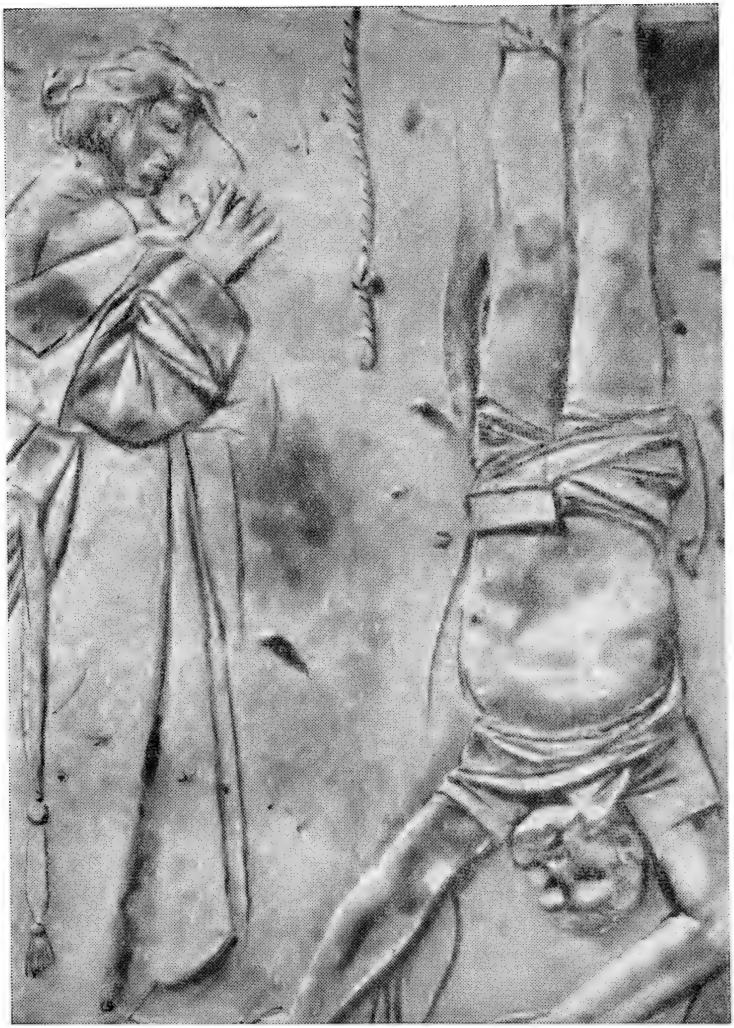


Врата смерти. Общая композиция. ⟶

Врата смерти. Снятие с креста. Деталь. Рельеф.

Девочка, сидящая на стуле.





Врата смерти. Смерть насильственная. Рельеф.

законы художественного языка скульптуры. Однако чаще речь идет о свежести взгляда, подкупающей смелости мотива, художественной убедительности найденного решения, обогащающей возможности скульптуры. Такова его полная очарования нагая «Девочка, сидящая на стуле». Как в этой работе, так и в удивительно современной по образу, уверенно - непринужденно сидящей обнаженной девушке поражает острое ощущение пластической жизни формы в трепещущем и дышащем окружающем ее пространстве. Эта связь пластики Манцу с окружающей средой, умение не иллюзионистически, а образно, эмоционально и поэтично передать ее трепет и дыхание — одна из замечательнейших примет своеобразия его художественной манеры.

Начиная со второй половины 40-х годов творчество Манцу в основном связано с тремя большими тематическими циклами. Первый — работа над портретом, главным образом женским. Все более и более явно волнует художника задача раскрытия богатства духовного мира человека. Может быть, лучшее здесь—серия портретов Инге. Большой интерес представляет и исполненный народной простоты и силы образ «Матери с ребенком». Другая линия связана с изумительной серией нагих

танцовщиц. Это как бы воплощенная в скульптуре музыкальная сюита, раскрывающая всю поэзию и все многообразие жизни, одушевленного радостью бытия прекрасного человеческого тела. Страстное, сосредоточенное утверждение красоты бытия звучит в «Большой танцовщице» (1954). В этих работах чувственная, языческая основа итальянской культуры находит свое особо яркое выражение. Третий цикл — блестящая серия «Кардиналов». В лучших скульптурах этой серии поражает не только выразительность и остроумие лаконических пластических приемов, но прежде всего мастерство психологической характеристики, раскрывающей отнюдь не одни евангельски-благостные черты.

Пристрастие к сериям дает знать себя и в графике, представляющей собой не только подготовительные наброски и рисунки скульптора, но имеющей самостоятельную художественную ценность. Манцу — один из замечательных графиков современной Италии. В серии скульптур и рисунков «Художник и модель» (столь своеобразно перекликающихся с аналогичной графической серией Пикассо) Манцу стремится передать многообразие характеров встречи художника с моделью. По-разному протекает своеобразный «диалог» художника с моделью, с жизнью, например, в той паре, где изображен художник, рисующий истово-благолепно сидящую в наивно-застывшей позе старую крестьянку, закутанную в свои одежды, и в паре, где художнику противостоит смело скинувшая покрывало нагая дева.

Кульминацией творческих исканий мастера стала его огромная по масштабам работа над «Вратами смерти» для собора св. Петра в Риме. Она отняла 18 лет творческих напряженных усилий.

Первый тур конкурса (их было несколько) проходил в 1947 году. Работа была завершена в декабре 1963 года. Манцу оказались ближе не принципы современного плоскостно-декоративного «оформления стены», а скорее традиции ренессансного и античного рельефа зрелой и поздней классики. Фигуры своими ракурсами не «прорывают» плоскостности ворот. Они как бы окутаны мерцающей дымкой светотени, в которой то стремительно-драматично, то мягко-приглушенно, то сурово, то нежно звучат ритмы их движений. В композиции рельефов все время как бы переплетаются ощущение плоскости поверхности ворот и одновременно какой-то подвижной мерцающей зыбкости. Ощущение это усиливается мягкой золотистостью светлого тона бронзы особого состава; свое значение

Кардинал. Эскиз.

Врата смерти. Смерть Авраама. Деталь. Рельеф.

имеют и радужные блики и мягкие шероховатости не зачищенной после отлива поверхности. Однако ни тонкое пространственно-пластическое решение композиции, ни богатство эмоционально - выразительных ритмов и пластической фактуры не определяют всей художественной значительности целого. Сила его — в неразрывной связи интонации, оттенков художественного языка с миром чувств и переживаний человека, с их движением и развитием.

«Врата» посвящены теме смерти как неизбежной стороны жизни. Характерна группировка сюжетов: наряду с воплощением темы смерти библейских и евангельских сказаний Манцу обращается и к сегодняшнему реальному, земному миру.

В верхней части левой и правой створок «Врат» изображены в наиболее крупном масштабе «Успение Марии» и «Снятие с креста». Ниже расположен ярус из четырех рельефов, посвященных истории смерти, как она дана в Священном писании жития святых и истории церкви. Первая смерть — первое убийство в истории человечества — «Каин, убивающий Авеля». В следующем рельефе драматической жестокости мотива убийства противопоставляется печальная по своим проясненным ритмам поэзия тихого естественного угасания старца — «Смерть Иосифа». Третье клеймо посвящено смерти побиваемого камнями за свою веру «Апостола Стефана», и, наконец, последняя композиция в этом ряду изображает смерть папы Григория VII: его задумчиво склоненная фигура сопоставлена со сдержанной энергией, молодой силой движений юного воина.

Глубина художественного постижения, философского осмысления темы смерти, а не религиозные ассоциации — пружина этой грандиозной работы. В четырех

рельефах нижнего яруса уже открыто трактуется тема смерти в современном «земном» смысле. Трагический образ смятенной, скорбной женщины, в горестном изумлении взирающей на повешенного вверх ногами, истерзанного пытками человека в шортах. Кто помнит образ замученного гестаповцами партизана в фильме «Рим — открытый город», перед которым склоняет колено священник-патриот, легко почувствует связь этого рельефа с недавней историей итальянского народа. Не случайно в одном из первоначальных вариантов композиции «Врат» Манцу создал набросок замученного и подвешенного за руки человека, явно перекликающийся с его антифашистским «Распятием» первых лет мировой войны. Следующее клеймо посвящено кончине папы Иоанна XXIII, затем — «смерть в воздухе»: падающий со строительных лесов человек, с криком отчаяния несущийся к земле. Завершается серия нижних четырех рельефов «Смертью на земле»: младенец с беспомощным отчаянием взирает на внезапную смерть матери, судорожно застывшей в последнем безнадежном и отчаянном противоборстве с подступающей к ней смертью. Жестокость и беспощадность смерти — тема первого и последнего рельефа этой серии.

В смерти Манцу видит и неизбежное завершение жизни, и трагическую плату за верность своей правде, своей идее, и жестокость и несправедливость смерти насильственной, вызванной торжеством силы зла. Гуманист, страстно любящий жизнь, Манцу восстает против этой смерти.

Итак, композиция Манцу украшает ворота главного собора католического мира, она победила на конкурсе вопреки сопротивлению наиболее консервативных и реакционных кругов церкви. Подобно творениям эпохи Возрождения, произведение это глубоко и правдиво воплощает раздумья гуманиста о человеке и о его судьбе. В этом его сила, художественное и нравственное значение.

Нижняя часть ворот завершается аллегорическими, имеющими свое каноническое значение изображениями животных. На нас они воздействуют не аллегорическим смыслом, доступным лишь немногим, а своей живой образностью. Тут и сумрачный ворон, и добродушный шарик ежа, и убитая птица, и олицетворяющая упорство жизни черепаха, ведущая смертельную борьбу со змеей. Особенно выразительны помещенные между самым верхним рядом рельефов и восемью рельефами, повествующими о разных видах смерти, срезанная лоза и скошенный сноп. Связанная с исконной народной мудростью основа этих евангельских олицетворений ясна каждому. Лоза срезана, дабы весной корень ее дал новые, свежие ростки жизни. Смерть сжатого колоса полагает начало новой жизни брошенных в землю зерен.

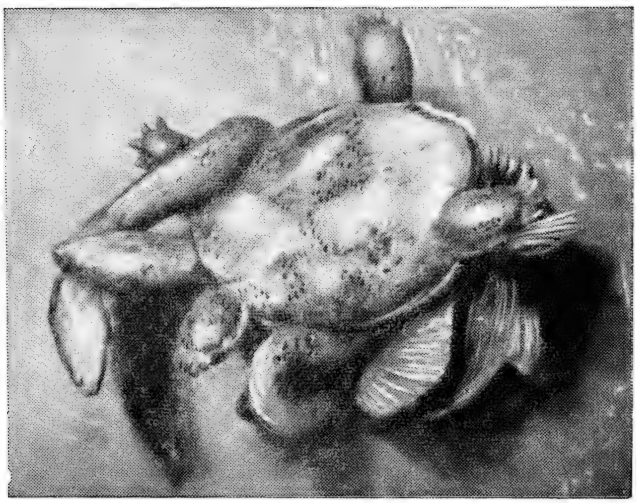
Особо волнует полная огромной жизненной правдивости, истинно человеческой глубокой скорби композиция, посвященная снятию с креста. Безнадежная и беззащитная горечь материнской скорби о погибшем безвременно сыне во-

Смерть на земле. Рельеф.

площена в этом, казалось бы, столь не эффектном к не картинном движении показанной спиной к зрителю рыдающей Марии. И здесь, как, к примеру, в «Евангелии от Матфея» — итальянского кинорежиссера Пазолини,— человеческое горе, человеческая драма, человеческое содержание придают подлинную силу старым евангельским мотивам.

Сегодня скульптор находится в расцвете своих творческих сил. Он продолжает искать дальше и как бы в противовес трагическому лиризму «Врат смерти» снова обращается к воспеванию счастья жизни, радости бытия. Такова его незаконченная работа «Любовники». Жизнь торжествует и будет торжествовать.

Литография.



Бой черепахи со змеей. Рельеф к «Вратам смерти».

ДЖЕК ЛИНДСЕЙ

# ГУМАНИЗМ ЛЕНИНА

За последние годы мы были свидетелями крушения многих репутаций. Но поразительное дело: слава Ленина не только не меркнет, но неуклонно продолжает расти. Речь идет при этом вовсе не об одном социалистическом мире. И в классовом обществе, даже в среде литераторов, отвергающих социализм и все с ним связанное, в сущности, никто не пытался всерьез оспорить роль Ленина или поколебать представление о нем как об учителе, революционере с большой буквы.

Именно в этой несокрушимости ленинского авторитета — секрет особого воздействия его личности, побуждающего нас обращаться к нему за помощью и советом при каждом новом повороте событий, всякий раз, как возникают новые проблемы. Не за тем, чтобы получить готовые ответы, которые избавили бы нас от труда самостоятельного поиска, но чтобы воодушевиться его примером, зарядиться энергией, источник которой — в удивительной цельности, гармонии души и разума, всех импульсов, устремленных к достижению одной цели — освобождению человечества.

Вот почему — хотя к ленинской теме можно подойти со многих сторон — первое, о чем думаю я, обращая свой мысленный взор к Ленину,— обаяние его личности. Он необыкновенно прост, эта простота рождена органическим слиянием сложнейших элементов. Динамическим единством я бы назвал главную отличительную черту этого сплава. История знает примеры всепоглощающей целеустремленности выдающихся личностей, подчинения одной идее всех их способностей и импульсов. Но ни в одном другом случае за этой целеустремленностью не стоит такая любовь к человеку, такая непреклонная решимость бороться до тех пор, пока не будет окончательно отвоевана его свобода. Ленин неотделим от революционных идей, в которые он верил, но эта «отданность» не требовала от него никакого самопожертвования: необходимость в жертве возникает, только когда между личностью и исповедуемыми ею идеалами существует некий разрыв.

Анализируя творчество великого художника французской революции Луи Давида в своей книге «Смерть героя», я отмечал, что главной темой наиболее значительных его полотен был конфликт между общественным и личным, жертва личным счастьем, на которую патриот сознательно шел во имя родины, во имя народа. Он, например, обращался к образу римлянина Брута, посвятившего себя борьбе за свободу своего народа и осудившего собственных сыновей за то, что они выступали противниками этой свободы. Женщины рыдают, но Брут не отступает от своей одержимости. И в этом можно увидеть черту, характерную для буржуазной революции. Тут как бы олицетворялся конфликт между декларируемыми целями и истинными ее результатами, между чувством и рассудком. Русская революция, хотя она, как и всякий глубинный социальный конфликт, и расколола какие-то семьи и группы, носила иной характер; Ленин не знал противоречий между целями и средствами борьбы. Конечной целью был цельный человек коммунизма; и эта цельность, к достижению которой была устремлена революция, обрела свой символ и выражение в Ленине.

Мысленно я всегда представлял его себе не иначе как самим средоточием кипучей энергии. И в то же время — благодаря внутренней гармоничности его духовного обли-

ка — неизменно спокойным, уверенным, даже мягким. В этом спокойствии нет и тени благодушия, уверенность его добывается ценой непрестанной работы придирчивой мысли исследователя, скрупулезного, пристрастного анализа ситуации во всех ее меняющихся аспектах, во всех следствиях, которыми она может быть чревата для народа. Любовь его взыскательна и прозорлива, от нее не укрыты ни продажность, ни вероломство мира, разделенного на классы, но видит она сквозь все это и другое — неиссякающие родники человечности в народе, творящем и продолжающем жизнь на земле. Вот эта слиянность любви и трезвости взгляда и есть то самое, что сообщает особое, неповторимое обаяние теплоты, непосредственности и прямоты, отличавших Ленина на любом этапе, в любой момент всей его столь много вместившей жизни. Его невозможно обмануть — он безошибочно распознает любое притворство и ложь, всегда отлично видит пружины предательства в мире классового неравенства. И тем не менее и любовь его, и вера остаются незамутненными и нерушимыми. Одинаково пристально он вглядывается в те явления окружающей его действительности, которые ведут к эксплуатации и неравенству, и те, что приводят к восстанию и утверждению братства.

Я мог бы подтвердить сказанное, анализируя в подробностях жизнь Ленина. Но, думается, полезнее будет обратиться к тем сторонам его облика и его учения, которые наиболее интересны с точки зрения конфликтов нашего времени. Каковы главные уроки, которые мы можем извлечь из ленинского наследия, решая актуальные проблемы сегодняшнего дня? И прежде всего, чем вооружает оно нас в сфере этической и культурной? Как следует нам претворять в жизнь и развивать принципы гуманизма, столь ярко воплощенные в деятельности и взглядах Ленина?

Главное направление исторического развития после распада первобытного общества определялось необратимым движением вперед, в котором — сколь бы запутанными и сложными ни оказывались жизненные процессы — «ферментом» всегда оставалась идея братства с конечной целью покончить с любыми формами классового неравенства и эксплуатации.

Нередко отмечалось, что взгляд на историю как на историю классовой борьбы — концепция вовсе не обязательно марксистская, многие буржуазные мыслители приняли бы это определение при условии, что оно подразумевало бы постоянное отмирание одних и возникновение новых классовых отношений. Специфика марксистского подхода к проблеме — в отказе видеть в классовой борьбе бесконечно повторяющее себя движение по спирали, взгляд на нее, как на процесс, самой своей природой подводящий людей к этапу, когда пролетариат, объединив свои силы, сможет вырваться из порочного круга. Из этого вовсе не следует, будто марксисты верят в некое слепое предопределение. Следует лишь то, что они видят в самой природе производственных отношений предпосылку единения и солидарности тружеников-созидателей, союза, который неминуемо приходит в столкновение с любыми формами эксплуатации и паразитизма. По мере углубления и расширения общественного характера производства эти противоречия все более усугубляются. Иначе говоря, конфликты, обусловливающие неизбежность социализма, возникают не в силу некоего предопределения судьбы, а как естественное выражение самой природы человека-созидателя.

Таким образом, мы с полным на то основанием можем проследить движение идей справедливости, братства и равенства со времен первобытного общества вплоть до эпохи социализма. В сложных исторических условиях развития классов эти идеи могут порой терять свою отчетливость, расплываться, а то и представать в искаженном виде, однако вечно живой союз людей труда вновь и вновь возвращает им жизнь, позволяя с новой силой утвердиться в новом качестве, еще с большей, чем прежде, силой и ясностью выявить свое существо, сыграть важную роль в подготовке и приближении часа решающей схватки. Реальный исторический процесс необыкновенно сложен, однако эстафета времен никогда не прерывается, элемент преемственности, обеспечивающий определенную связь между первобытным братством и социалистическим сообществом, всегда налицо.

В ленинском смысле ничего абстрактного в идее истории как эпопее свободы нет. Как нет ничего абстрактного в самой концепции свободы, поэтому, хотя теория, идея играют в целом существенную роль, они не могут быть вычленены из этого целого как некие идеальные движущие силы. Это—не самодовлеющий фактор, в том смысле, что одни они не определяют ситуацию, а всегда соотнесены с конкретной фазой общественного развития. Абсолютными их можно назвать лишь постольку, поскольку они воплощают непреходящие потребности человечества, его устремленность к идеалам свободы и братства. Можно сказать, что в истории каждый шаг вперед, углубляя и расширяя социально-экономические связи между людьми, повышает потенциал свободы и братства. В конечном счете с отменой классовой эксплуатации и утверждением общественной собственности в сфере производства абсолютные факторы обретают свое подлинное выражение и смысл, позволяя, наконец, утвердиться идеям истинно гуманистической морали.

Эти положения, изложенные здесь суммарно и огрубленно, на мой взгляд, присутствуют в учении и Маркса, и Ленина; у Маркса, быть может, более обстоятельно анализируется их философская сторона, у Ленина отчетливее акцент на конкретных явлениях, ибо возможность социализма, строя, полно воплощающего подлинно гуманистическую систему морали, была в его время поставлена жизнью на повестку дня, а в 1917 году — реализована. Вот почему учение Ленина являет собой столь

яркий образец единства теории и практики. Оно не только позволяет конкретно, диалектически осмыслить и проанализировать действительность, но в каждом своем звене связывает это осмысление и анализ с насущными задачами социалистического преобразования. Подлинно гуманистические нормы морали, лишенной черт классовой ограниченности, обретают реальную плоть. В личности самого Ленина эти нормы получили блестящее воплощение в том взаимопроникновении любви и трезвости, о котором говорилось выше. Сам облик Ленина как бы выражает высшую ступень борьбы за свободу морали от классовой ограниченности, предстает символом рождения личности нового типа, над которой не довлеют старые нормы и противоречия.

Интересно посмотреть, с каких позиций пытаются буржуазные критики атаковать принципы ленинской морали. Основные «заповеди» этой морали — типа «человек человеку друг, товарищ и брат» — предстают в качестве вполне конкретном, здесь нет двусмысленных дилемм, превращающих их в классовом обществе в идеалистические абстракции и средства затуманить цели борьбы эксплуатируемых и угнетенных. Таким образом, буржуазный мир оказывается свидетелем того, как возвышенные идеалы приобретают вполне земные очертания и невиданными дотоле способами воплощаются в жизнь. Взглянуть в глаза реальности в этом случае означало бы похоронить буржуазный правопорядок. И все же оппоненты вынуждены признать, что конечные идеалы, провозглашаемые коммунистами, вбирают в себя все лучшее, что было в этических установлениях предшествующих эпох. Единственное, что им остается,— отрицать, что идеалы эти осуществляются и осуществимы вообще. То, что я назвал абсолютным или совершенным гуманистическим элементом в этике ленинизма, они квалифицируют как чисто утопическую мечту далекого недостижимого будущего, к ней обращаются, чтобы справиться с настоящим. Во имя лучшего будущего, заявляют они, людей вынуждают мириться с невзгодами и лишениями сегодняшнего дня.

Далее, они извращают самый дух ленинизма, пытаясь истолковать его как релятивизм макиавеллистского толка, безразличный к средствам, лишь бы они служили пролетарскому делу. Любые — самые низкие и жестокие средства — оправдываются, клевещут они, ссылкой на возвышенные цели. Таковы основные направления нападок и главные аргументы защитников классового строя. Именно эти аргументы — в слегка перелицованных и измененных вариантах — бесконечно воспроизводятся вновь и вновь, именно они въелись настолько глубоко, что недооценивать их опасности было бы неверно. Именно в эти одежды облекается предубежденность против Советского Союза и социализма в сознании многих людей, чьи симпатии в другом случае могли бы быть привлечены на сторону нового мира.

Нападки эти несостоятельны прежде всего потому, что они не имеют отношения к природе ленинского гуманизма и всех его опосредований. Они приписывают ему как раз те виды внутренних противоречий (разрыв между теорией и практикой), которые характерны для этических программ классового общества. Другими словами, они объявляют его крайней формой сплава идеализма с коварным релятивизмом, который всегда господствовал в этике классового мира и с которым ленинский гуманизм призван окончательно покончить. На самом деле именно потому, что люди в классовом обществе испытывают не всегда осознанное, но острое ощущение внутренней противоречивости систем морали своего общества, эти чувства удается легче «переадресовать», ощущение горечи, разочарования пытаются перенести на социалистический мир, подводя к сознанию безысходности, тупика.

Правда, пока во всем мире не утвердится коммунизм, этика братства в чистом виде не может пока еще возобладать даже в обществах, ушедших достаточно далеко вперед от классовых конфликтов. Но все это не может изменить того факта, что впервые в истории рождено социалистическое общество — общество, поставившее перед собой ясную цель достижения всеобщего братства и обращающееся к критериям истинного, последовательного гуманизма, позволяющим осмыслить и оценить различные стадии, которые оно проходит на пути к коммунизму. С этим не сравнить ни одну стадию классового общества, потому что на всех стадиях это общество раздирают жестокие противоречия между людскими устремлениями и фактом неравенства и эксплуатации.

Социализм встречает на пути своего развития много сложных проблем и трудностей, в особенности когда речь идет об осуществлении — с такой полнотой, какую позволяет каждый данный этап,— идеи братства в условиях окружения империалистического мира, которым правят старые противоречия в их острейшем выражении. Но как бы много ни вставало этих сложных проблем, как бы велики ни были эти трудности, ничто не способно изменить тот факт, что самая душа системы — в действии новых законов, политических и социальных, экономических, культурных и моральных. Старого типа противоречий здесь больше нет: новый тип борьбы, характерный для социалистического развития с его собственными законами, вызван к жизни. Абстрактное противопоставление коммунистического будущего и социалистического настоящего, на котором пытаются строить свои заклинания буржуазные критики, существует лишь в их воображении, это вымысел, способный родиться лишь у посторонних наблюдателей, над которыми довлеют формы конфликтов, надежд и предрассудков их собственного общества и которые подходят к явлениям социалистической действительности с чуждыми ей критериями. В социалистиче-

---

ДЖЕК ЛИНДСЕЙ
ГУМАНИЗМ ЛЕНИНА

ской действительности всем понятна диалектическая взаимосвязь между будущим и настоящим. Будущее воспринимается как нечто постоянно и конкретно реализующееся в настоящем, во все ширящемся и углубляющемся ряду осуществлений и достижений. В конечном счете будущее повсюду и во всем переплетается с настоящим и чувство дистанции исчезает в непосредственном энтузиазме и радости деяния, осмысленного во всех его оттенках.

Подобным же образом попробуем проанализировать попытки буржуазных критиков принизить сущность ленинского учения до уровня изворотливого релятивизма, оправдывающего любые средства, сколь бы бессердечными и жестокими они ни были. Действительно, хорошо все, что служит пролетарскому делу, делу социализма. Ибо это все углубляет чувство людской солидарности и приближает день его полного торжества. Но разве это похоже на амнистию любых норм поведения человека под тем предлогом, что он пытается помочь строительству социализма? Эта концепция не имеет ничего общего с ленинским гуманизмом.

Когда думаешь о том, как классовое общество в века господства христианской церкви погрузилось в стихию бесконечных войн, пыток, резни и как позднее оно закабалило свой рабочий класс и народы колоний во имя свободного предпринимательства, лишний раз убеждаешься, что апологеты буржуазного строя приписывают социалистическому обществу те самые черты лицемерия и фальши, которые всегда были свойственны их собственным системам.

■

Меня могут упрекнуть в том, что, так много говоря о главных сторонах ленинского гуманизма, я не уделил должного внимания недостаткам, неизбежным в процессе осуществления его принципов. Я кратко указал на определенные трудности, с которыми вынуждено сталкиваться социалистическое общество, стремящееся реализовать свои коренные предпосылки в условиях угрозы со стороны империалистического окружения Давление извне не может не усилить и внутренние факторы, препятствующие продвижению вперед. Кроме того, даже в самых благоприятных условиях нельзя ждать, что возможности, заложенные в новой системе, будут тут же реализованы, как трудно ожидать, что длительная борьба старого с новым, борьба, разгорающаяся вновь и вновь на каждом значительном повороте движения вперед, прекратится, стоит лишь вернуться назад, к старой иллюзии, будто достичь коммунизм не так уж сложно — достаточно лишь волевого импульса. Ленинизм, наконец, дает возможность справиться со старыми противоречиями, превращающими мораль классового общества в смесь абсолютов-абстракций с соответственными извинениями по поводу скверной реальности. Но из этого отнюдь не следует, что такая победа обуславливается самим фактом возникновения социалистического государства, сколь бы решающим ни было значение этого факта. Такое безболезненное преобразование — категория фантазии, ничего общего не имеющая с ленинскими идеями борьбы.

Общество в целом и каждый индивидуум в нем должны пройти длительный процесс изменений, прежде чем полностью отомрут старые противоречия во всех их неисчислимых разновидностях. Коль скоро эта борьба ослабевает или отклоняется от главного направления, недостатки и несовершенства, приписываемые буржуазными критиками самой природе социализма, начинают заявлять о себе. К будущему взывают, пытаясь прикрыть ошибки настоящего, а беспринципный релятивизм, о котором шла речь выше, пускается в ход, чтобы оправдать нарушения или бюрократические методы. В такие моменты могут возникнуть факты возвращения вспять к старым системам противоречий, предстающим в особенно отталкивающем обличье по контрасту с идеями ленинского гуманизма, критериями которых следовало бы выверять ситуацию. Но главные, решающие черты, уходящие корнями в самую природу социализма, остаются жить и утверждают себя вновь и вновь. Каковы бы ни были отклонения или искажения, они появляются лишь наперекор главной тенденции, и даже если какие-то особые обстоятельства позволяют им на время укрепиться, они не могут в конце концов устоять против основных сил и принципов, уходящих корнями в самые глубины социализма, составляющих самое существо его истории и повседневной практики.

Естественно, буржуазные критики с восторгом вытаскивают каждый пример, реальный или выдуманный — свидетельство того, что в социалистической стране якобы потерпела крах попытка жить в соответствии с высокими нормами ее этики. Здесь-то и обнаруживается любопытная непоследовательность позиции такого сорта критиков. С одной стороны, они объявляют моральный кодекс социалистического общества безнадежно утопическим либо лицемерным, макиавеллистским, с другой — не устают реагировать на любое проявление слабости, которое, как они полагают, им удалось обнаружить, утверждая, что эта слабость — несоответствие идеалам куда более высоким, по сравнению с их собственным классовым обществом. В самом деле, образ действий, который показался бы самым заурядным, не заслуживающим особого внимания в том мире, они истолковывают как серьезный криминал, когда набредают на него в социалистическом обществе. Так, сами того не желая, они, в сущности, подтверждают, что этический кодекс социализма намного превосходит уровень морали классового общества, и это признание делает нелепыми их попытки отождествить социалистическую мораль с утопическими химерами и прагматическими оправданиями статус-кво.

Мы должны приветствовать исследования, показывающие превосходство моральных норм социалистического общества, мы должны делать все, что в наших силах, что-

бы показывать, как можно более полно и конкретно исследуя эту проблему, бескомпромиссность моральных критериев социалистического мира. Со времен спутников и космонавтов никто в мире всерьез не сомневается в закономерности успехов советской науки и техники. Очевидно, пройдет не так уж много времени, и СССР доведет производство предметов потребления до стадии, когда общий материальный уровень жизни общества сравняется и превзойдет уровень США. Вопрос производства предметов потребления больше не представляет решающего значения с точки зрения апологетов буржуазного мира. Разумеется, они будут и впредь, когда удастся, отмечать все недостатки в социалистическом производстве предметов потребления. Но соревнование между двумя системами все больше переходит в сферу политики, культуры, этики. Защитникам буржуазного строя приходится любой ценой убеждать людей, будто в области культуры и морали лучшие возможности создает капитализм, а не социализм и что главное преимущество здесь в «свободе». Вопрос о свободе при социализме неразрывно связан с проблемой социалистической этики, ленинского гуманизма, и потому все, что проясняет эти проблемы и делает их понятнее для несоциалистического мира, имеет первостепенное значение. Отсюда в свою очередь и постоянное внимание к этим проблемам в самом социалистическом мире — задача здесь в том, чтобы углубить представление о ленинском гуманизме и распространить это представление как можно шире и глубже среди народа.

Лично я убежден, что какие бы ни случались временные неполадки, злоупотребления и ошибки в СССР в прошлые годы, ленинская страсть, энтузиазм в созидании нового общества никогда не угасали среди широких кругов народа. Но всегда нам было необходимо — и сейчас больше, чем когда-нибудь,— постоянно проверять себя критериями живого марксизма, применительно к каждому новому этапу. Каждая стадия, каждая фаза социалистического опыта должна углублять наше понимание марксизма, побуждая нас все более вдумчиво исследовать его основы и истоки, постоянно расширять сферу его приложения, совершенствовать наше владение инструментом диалектического метода, все более глубоко и тонко постигать природу противоречивых частностей и итогового единства. Тот факт, что нынче уделяется так много внимания — даже в капиталистическом мире — ранним работам Маркса, где он стремится очертить круг проблем в области культуры и этики,— в целом здоровый признак. Правда, некоторые буржуазные критики обращаются к этим работам в надежде ослабить выводы его поздних трудов, но не только в этом дело. Налицо растущий интерес к фундаментальной постановке моральных, культурных, психологических проблем, в частности, стремление поставить диагноз заболеванию классового общества. Марксов анализ отчуждения, разделения труда, всех тенденций, ведущих к разорванности, дегуманизации индивидуума, приобретает значение по мере того, как империалистическое общество доводит все эти тенденции до их крайнего выражения. В этой ситуации, когда стольких людей волнует откровенно развращающее, растлевающее воздействие буржуазной культуры, когда проблема молодежи становится все более тревожной, вопросы морали выдвигаются на первый план.

Эти общие соображения приходят мне на ум, когда я думаю о Ленине и о значении его жизни и деятельности для нашего времени. К кому, как не к нему, можно обратиться за вдохновением? Имя его всегда вызывает в моем воображении образ простой и сильный. Ни один человек не был меньше его подвержен иллюзиям, ни один более последовательно не верил в народ. Ему было свойственно исключительно острое чувство момента, которое уравновешивалось умением терпеть и ждать; он никогда не требовал от людей больше, чем было возможно, но при этом всегда исходил из максимума, на который они способны, и в максимуме этом он видел определяющий элемент их характера. Собственная его жизнь находится в совершенной гармонии с главными принципами его взглядов. Вот почему мы всегда можем обратиться к нему за советом, вот почему его личность и его гуманизм имеют такое большое значение для нас на нынешней стадии классовой борьбы в мире.

РОНАЛД ФРЕЗЕР

# ФАБРИКА НОВОСТЕЙ

*Бюджет Информационного агентства Соединенных Штатов (ЮСИА) за последние три года вырос на 50 миллионов долларов, то есть почти на 30 процентов. Что же побуждает конгресс США так щедро финансировать ЮСИА? Ответ на этот вопрос неожиданно дала газета «Нью-Йорк таймс» в статье «ЮСИА делает упор на политику во Вьетнаме». Газета пишет: «Проблема, стоящая перед агентством, заключается в том, как содействовать политике, которая по ряду причин является непопулярной. Цель агентства — обратить в свою веру тех, кого можно убедить».*

*Та же проблема и та же цель стоит перед каждым агентством печати на капиталистическом Западе, и потому продукция, которую выпускают эти «фабрики новостей», являет собой отнюдь не объективную информацию, а искусно дозированную смесь тенденциозно подобранных фактов с измышлениями и клеветой.*

*О том, как стряпается это варево, предназначенное для обмана и оглупления масс, рассказывает Андре Вюрмсер в статье «Свобода печати и печать свободы», напечатанной в майском номере нашего журнала. О том же пишет в публикуемом ниже автобиографическом очерке Р. Фрезер, пять лет прослуживший в международном агентстве печати.*

*Первыми жертвами осуществляемой таким образом идеологической обработки оказываются сами винтики пропагандистской машины — те, кто по долгу службы ежедневно и ежемесячно пропускают через себя эту кондиционированную информацию. Мало-помалу они привыкают смотреть на события под определенным, наперед заданным углом зрения. И, содействуя за десять фунтов в неделю «политике, которая по ряду причин является непопулярной», сами незаметно превращаются в адептов этой политики, отчуждаются от самих себя, от собственной личности.*

*В последнее время понятие отчуждения стало на Западе, употребляя выражение Лафарга, своего рода метафизической кокоткой. Ему придают столь абстрактный, внеисторический смысл, что оно, по существу, лишается всякого смысла. Его возводят в ранг «условия человеческого существования». В нем видят универсальную отмычку, избавляющую от не-*

*обходимости искать настоящий ключ к конкретным проблемам современности. Ценность документов, подобных очерку Фрезера, перепечатанному из английского журнала «Нью лефт ревью», состоит как раз в том, что они срывают с отчуждения мистический покров и проливают свет на его реальную социально-историческую и даже непосредственно политическую почву.*

К помещению, в котором находилась наша редакция, я так и не сумел привыкнуть. Вопреки пословице «стерпится — слюбится», я не полюбил это помещение, хотя и не испытывал к нему особого отвращения. Всякий раз, входя в этот зал, я должен был сделать над собой усилие, словно собираясь перепрыгнуть глубокий ров. Чувство отчужденности неизменно оставалось.

Редакция — сердце агентства — занимала огромный, вытянутый в длину зал размером 50 на 25 ярдов. Летом здесь было пыльно, зимой грязно. Переступив порог, вы немедленно попадали в атмосферу сутолоки и шума. Все помещение по обе стороны остававшегося свободным узкого прохода — от одной вращающейся двери до другой — было уставлено столами и телетайпами, размещенными без какой-либо видимой системы, в полнейшем беспорядке. В редакции, словно в клепальном цехе, стоял непрерывный стук, лишь слегка приглушаемый звуконепроницаемой обивкой стен и потолка.

Телетайпы, производившие весь этот шум, выплевывали бесконечные бумажные ленты, которые, свернувшись кольцами, валялись на полу. Иногда кто-нибудь, подобрав такую ленту, пробегал ее глазами и снова бросал на пол. За столами на вращающихся стульях сидели сотрудники; они печатали на машинках или, откинувшись назад, читали газеты. В проходах между столами и телетайпами толпились люди; одни сновали взад и вперед, другие беседовали. Когда я впервые появился в редакции, меня провели к столу в форме буквы L в самом конце зала, усадили на свободный стул с краю и дали мне просмотреть сообщения агентства за последние сутки.

Я стал или, вернее, пытался стать журналистом скорее случайно, чем по призванию. У меня не было ни законченного образования, ни профессии, ни четкого представления о том, чем бы я хотел заняться теперь, когда кончилась моя служба в армии и надо же было чем-нибудь заняться. Журналистика показалась мне возможным решением вопроса. Мне случалось уже выполнять кое-какую работу для агентства печати, и, пустив в ход семейные связи, я сумел получить там место стажера с двухмесячным испытательным сроком. Конечно, это было компромиссное решение, но все же оно открывало передо мной дорогу в жизнь. Мне исполнилось в то время двадцать лет.

Вместе со мной поступили еще два стажера. Мы сидели в конце длинного стола и читали и перечитывали сводки агентства, стараясь делать вид, что поглощены работой. С десяток сотрудников, сидевших по обе стороны нашего стола, усердно занимались своим делом — редактировали полученные сообщения. На нас они не обращали ни малейшего внимания, но, впрочем, не замечали и друг друга. У меня было лишь самое смутное представление о том, что здесь происходит. Стол, за которым мы сидели, назывался «Главным», и нас поместили здесь потому, что это был центр деятельности агентства — место, где можно многому научиться, как сказал мой провожатый.

Я надеялся, что кто-нибудь объяснит мне, в чем состоят мои обязанности, но вскоре выяснилось — и каждый новый день подтверждал это,— что никто и не думал нас обучать. Единственным определенным моментом нашей работы было начало смены, четко обозначенное в расписании, которое висело на стене: понедельник — 10 часов, вторник — 16 часов, среда — 7 часов; агентство работало круглые сутки. Мне становилось как-то не по себе при мысли, что помещение никогда не пустует. Ежедневно и ежечасно сюда непрерывным потоком текли сообщения; их подвергали обработке, и телеграф, радио, телетайпы рассылали их снова.

В агентство поступают только зарубежные новости. «Главный стол» — самый большой из дюжины столов, закрепленных за определенными географическими районами; он является центром жизнедеятельности агентства и обслуживает все остальные столы. Отсюда сообщения посылаются также по телетайпу непосредственно в редакции английских газет. Это придает «Главному столу» особое значение.

Старший редактор «Главного стола» носит прозвище Дегустатор. Он читает все телеграммы, все сообщения, поступающие от корреспондентов агентства со всех концов света, и решает, что с ними делать. Он отмечает в корреспонденции «ведущий» абзац, нередко тонущий в общем контексте, и указывает нужный размер и степень срочности данного сообщения. Затем он обходит все столы и распределяет работу. Если какой-либо материал принимается в течение всего дня — как это часто бывает, потому что сообщения поступают по мере развития

---

РОНАЛД ФРЕЗЕР
ФАБРИКА НОВОСТЕЙ

событий,— редактор, обрабатывающий этот материал, не занят уже больше ничем. Другим сотрудникам достается смесь самых разнообразных материалов: политические новости, кораблекрушения, войны, сенсационные происшествия, конференции, авиакатастрофы — то есть все о чем мы читаем в газетах, за исключением спорта и финансовых дел. Хотя стулья стоят впритык друг к другу, редактор обычно не знает, чем занимается его сосед,— ни у кого нет ни времени, ни желания обсуждать свою работу, и только Дегустатор может составить себе ясное представление о характере поступившей за день информации.

По какому-то невидимому и неслышному сигналу то один, то другой редактор встает со своего места и куда-то исчезает; сейчас же все остальные автоматически пересаживаются так, чтобы между ними не оставалось пустого стула; в любую минуту рядом с вами может оказаться новое лицо, и этот непрерывный круговорот продолжается день за днем, год за годом.

В зале работало человек сто или больше, но царивший здесь шум исходил не от них — жужжанье и стук телетайпов заглушали человеческие голоса. Время от времени звенели звонки, покрывавшие на мгновение весь этот шум, и в репродукторе раздавалось: «Молния» на аппарате один». Это означало, что получено срочное сообщение, и старший редактор, выхватив из аппарата только что поступившую телеграмму, диктовал ее дежурному телетайписту, сидящему позади него: Эйзенхауэр избран на пост президента, Эверест покорен, умер Сталин... Аппарат отстукивал несколько слов — одну короткую фразу, не больше — в точно отмеренное число секунд. Потому что борьба, которую здесь вели, измерялась в секундах; каждое выигранное мгновение могло принести победу в жестоком поединке — чья информация поступит первой, чье сообщение будет подхвачено редакциями газет во всем мире, перебив дорогу материалам других агентств.

Но эта скачка наперегонки со временем оставалась здесь незаметной, только вздрагивал на мгновение самый напряженный нерв сложной и разветвленной системы. На телетайпах, расставленных вдоль стен, по обе стороны прохода, вокруг столов, больших и маленьких, то и дело звенели звонки, но беспорядочное, на первый взгляд, движение в зале не нарушалось ни на минуту. Никто не торопился узнать, что произошло в мире, никому и в голову не приходило бросить работу: известия считались здесь лишь продуктом для обработки, сырьем; они были хорошо или плохо составлены, слишком длинны или недостаточно обстоятельны, написаны телеграфным стилем или «размазаны»; их следовало переработать и под аккомпанемент телетайпов, напоминающий стук станков, разослать потребителю в виде готовой к печати продукции.

Падение кометы, переговоры о перемирии в Корее, наводнение в Голландии, Таунсенд, Даллас...— все это должно было обкатываться быстро, точно и в соответствии с установленной формой.

Время от времени, когда в зале становилось нестерпимо душно, появлялся рабочий в комбинезоне и мелким дождиком распрыскивал из пульверизатора дезодорант.

Мы часами сидели без дела, иногда за главным пультом, а когда там не было места, устраивались у соседнего стола. Конечно, мы были здесь мертвым грузом, но не только этим объяснялась некоторая неприязнь к нам, которую мы не могли не чувствовать. Другие, прежде чем попасть на Флит-стрит, годами гнули спину в какой-нибудь провинциальной газетенке, а мы не только сразу, безо всяких усилий очутились здесь, но и вдобавок оказались совершенно бесполезными. Если мы не соответствовали своему положению, то ведь имелось немало людей с опытом, готовых занять наше место.

Наконец, наступил день, когда старший редактор дал нам обработать несколько мелких сообщений, настолько незначительных, что, если бы они случайно затерялись, никто бы этого не заметил. Мы получили лишь самые общие указания относительно того, что делать с материалом, в каком виде он должен быть представлен. Работу надлежало сдать на проверку контрольному редактору, через которого проходили все рассылаемые агентством материалы. Задача заключалась в том, чтобы раз и навсегда установленная форма соблюдалась неукоснительно, в противном случае вся система пошла бы прахом. Для того, чтобы заставить такое огромное число людей ежедневно в течение восьми часов мыслить на один и тот же лад, необходима готовая формула, подходящая для любого случая, вмещающая в себя все что угодно. Только таким способом агентство может выдавать свою суточную продукцию быстро, дешево, без осечки.

Однако никто не мог сказать, что представляла собой эта формула. Я старался уговорить себя, что навалившееся на меня чувство непосильного напряжения объяснялось лишь обычной растерянностью необтершегося новичка, оказавшегося вдруг колесиком огромного механизма, в котором он должен будет теперь вращаться — и сегодня, и завтра, и до конца своих дней. Постоянные перемены расписания, неравномерное распределение свободного времени — даже наши два выходных дня в неделю редко выпадали подряд — мешали нам создать себе личную жизнь, настолько интенсивную, чтобы работа отодвинулась на второй план. У меня практически не было никакой другой жизни, даже друзей я не

успел завести, и работа постепенно стала заполнять меня целиком. Она как бы вытеснила меня самого. Я приходил в редакцию, испытывая неуверенность и беспокойство, и уходил, издерганный до предела. Пытаясь как-то оградить себя, я стал делать вид, что работа совершается помимо меня. Я как бы отсутствовал. Мне понадобилось немало времени и усилий, чтобы отделить частицу самого себя и замкнуть ее в своего рода защитную оболочку, от которой все отскакивало. Мое настоящее «я» устранилось совсем. Я перестал существовать.

Однажды в уборной я заметил, что на меня смотрит помощник главного редактора. Оказалось, он знает, как меня зовут. «Как дела?» — спросил он, и человек в скафандре, в которого я превратился, пробормотал что-то невнятное. «Вы делаете успехи,— сказал помощник главного редактора,— надо только набрать скорость. Вы слишком медлительны. Конечно, в нашей работе главное — точность, но и скорость имеет большое значение». Помощник главного редактора был важной персоной и, разговаривая, не глядел на собеседника. Он зашел в кабинку и вскоре вернулся, вытирая руки платком. Он был человек нервный и непрерывно потел. «Лучше всего учиться в ночную смену,— буркнул он.— Не так много людей вокруг. Есть вакансия. Хотите?» И он вышел, прежде чем я успел высказать свои сомнения.

Это был мой первый разговор с одним из боссов. А на следующий день я прочел свою фамилию в списке ночной смены.

Смена начиналась в одиннадцать тридцать и кончалась в семь часов утра. Старшим ночным редактором был Диггер Кэнтер. Я уже слышал о нем раньше. Он называл свою смену «чертовой командой» и не преминул продемонстрировать мне, что он под этим подразумевает. «Стажер, да? — сразу спросил он.— О'кей. Натаскаем в два счета. Займитесь-ка пока «затычками».

Кроме Диггера Кэнтера здесь было всего два редактора: Дейв Браун, сердито глядевший на мир сквозь очки в темной оправе, которые так не вязались с его круглым младенческим лицом, и Ритчи Малкольм, бледный и, по-видимому, издерганный молодой человек. Обоих я видел впервые. Оба не проронили ни слова. Я принялся за «затычки» — мелкие сообщения, которые накапливаются за сутки, а в шесть часов утра рассылаются лондонским вечерним газетам и заполняют пустые места на первых страницах. Кэнтер, не обращаясь прямо ко мне, недвусмысленно дал понять, что бездельникам в его смене нет места — за ночь выпускалась такая же увесистая кипа сообщений, как и в дневную смену. Я подумал, что, по крайней мере, здесь меня не будут игнорировать. Но, когда я протянул Кэнтеру готовые заметки, он, швырнув их назад, рявкнул: «Вода. Только испоганили материал». Я снова взялся за работу. «Два абзаца на «затычку»,— крикнул Кэнтер,— два, не больше». Я сидел под яркой электрической лампочкой, свет которой резал мне глаза, и пытался втиснуть каждое сообщение в два абзаца. Это были коротенькие истории, происшествия, выпадающие из обычного распорядка вещей и забавные для нас лишь потому, что мы надеемся, что ничего подобного с нами никогда не случится. Работа подвигалась с трудом. Мне никак не удавалось сохранить главное и избавиться от «воды». Кэнтер продолжал бушевать.

В отношениях со своими подчиненными Кэнтер руководствовался девизом: «Обломать или сломать». Я не остался бы здесь ни минуты, если бы понял это сразу. Но тогда я еще питал иллюзии относительно своей карьеры. Иногда проходил целый час, прежде чем мне швыряли работу обратно, но чаще всего я немедленно получал ее назад.

Так проходила ночь за ночью; часы до рассвета тянулись бесконечно долго, напряжение не спадало. Иногда я совсем ничего не ел до утра, а, как правило, нам всем приходилось обходиться бутербродом, потому что Диггер очень гордился тем, что сократил свою смену до семи с половиной часов, отменив получасовой перерыв. Таким образом он лишил нас передышки, дававшей нам возможность поболтать за едой и позлословить, чтобы хоть немного отвести душу.

Я так уставал, что, придя домой, уже не мог спать. Лежа без сна, проклинал все на свете, потел и глотал пилюли. Наконец мне удавалось задремать, но через два-три часа уже пора было подниматься, чтобы успеть до работы приготовить себе на газовой плитке какую-нибудь еду. Попытки выспаться хотя бы настолько, чтобы продержаться следующую ночь, отнимали у меня все свободное время. Больше меня ни на что не хватало. Но от одного я вылечился: я уже не мог больше притворяться, что перестал существовать.

Тогда я придумал один трюк: стал опаздывать. Всего на несколько минут. Но мне казалось, что, крадя у агентства время, я утверждаю свое право на существование, отстаиваю свою личность, которую Диггер пытался свести на нет, разобрать на части и составить вновь уже по своему образцу. У меня было такое чувство, словно я постепенно превращаюсь в кого-то другого, как две капли воды похожего на всех этих стандартных журналистов, которые в любое время суток приходят и уходят, сменяя друг друга. Куда они девались, когда, не сказав ни слова, неожиданно вставали со своего места и исчезали за вращающейся дверью? Мысль об этом повергала

---

РОНАЛД ФРЕЗЕР
ФАБРИКА НОВОСТЕЙ

меня в смятение. Что они делали в той, другой жизни, которая называлась частной, потому что на нее никто не посягал? Для меня частной жизнью была всего лишь передышка. Я начал пить; стакан джина за завтраком, по дороге на работу, вошел у меня в привычку. Мой желудок отказывался принимать пищу, я начисто лишился сна. Диггер оставался неумолим.

Но однажды ночью, примерно через месяц после того, как я пришел сюда, когда Диггер по обыкновению рвал и метал, что-то во мне вдруг треснуло и сломалось — я встал, чтобы уйти. И тут Дейв поднял глаза от машинки: «Ради бога, Диггер, — сказал он, — отвяжитесь вы, наконец, от парня». Наступила минута напряженного молчания. Потом все вернулись к работе. С тех пор Диггер перестал надо мной измываться.

Прошло еще некоторое время, и, хотя мне не было сказано ни слова похвалы, Диггер явно решил, что теперь из меня может выйти толк. Это неожиданное молчаливое одобрение помогло мне обрести уверенность в себе, а Дейв с его профессиональным цинизмом научил меня не принимать работу так близко к сердцу. Правда, я по-прежнему плохо спал и не бросил пить, но в эти длинные, душные летние ночи я впервые почувствовал, что начинаю приобретать навык. Диггер прибавил мне один фунт в неделю, так что я теперь получал шесть фунтов десять шиллингов, и утвердил на штатную должность. Я уже становился профессионалом, по крайней мере, для постороннего глаза, а ведь только это и имеет значение — никому нет дела, что у тебя на душе.

После того как ухватишь суть, работа уже не кажется трудной. Нужно было решить три дюжины кроссвордов за ночь, вот и все. Сообщения были ключами к кроссвордам, нам оставалось разместить все по клеткам. Для этого существовали свои правила: всякая инициатива запрещалась, отбор материалов определялся только их содержанием, факты играли решающую роль. Агентство гордилось своей «объективностью». Мы излагали все версии освещаемого события, если можно было сослаться на достаточно надежные источники. А «надежным» источником был всякий официально признанный авторитетный источник, такой, которому «все» верят, то есть не какие-нибудь там бунтовщики, люди, стоящие вне закона, вроде алжирских «мятежников», «террористов» из Мау-Мау или кипрских «бандитов». В то время это казалось мне вполне естественным. Я принимал на веру все, о чем говорилось в сообщениях, и не задумывался над тем, что оставалось недосказанным. Мне доставляла удовлетворение мысль, что я наконец справляюсь со своим делом. Я помогал миллионам людей узнавать последние новости, стараясь преподнести их в форме, доступной среднему читателю — мифическому «молочнику из Канзас-Сити», на которого ориентировалось агентство. Стереотипные новости для стереотипного читателя.

Конечно, я не мог не сознавать, что наша информация оставалась безликой, что и по содержанию и по форме она всегда отвечала готовому образцу, будто отливалась в заводском цехе. Продукция агентства была серийной.

Гибель десятка людей при пожаре в кино, суд над Кениатой, бракосочетание каких-нибудь особ королевской крови — все это было для нас лишь газетным материалом. Наша объективность оборачивалась бесстрастием, а бесстрастие — равнодушием. Только одно не оставляло нас равнодушными: каждый редактор, в том числе и я, испытывал гордость, посылая «свое» сообщение в печать. Нам всем нужна хоть какая-нибудь заинтересованность в работе, пусть даже столь иллюзорная, как эта. Я тоже ощущал творческое удовлетворение, перечитывая на следующий день «свою» заметку в газете. Впрочем, это чувство быстро проходило. Лишь на мгновение оно завладевало мной, а потом я возвращался к реальным представлениям. Заметка не принадлежала ни мне, ни кому-либо другому, у нее не было автора или, вернее, авторов было так много, что никому нельзя было по праву приписать это звание.

Наша задача сводилась к заполнению клеток кроссворда. Это требует умения и навыка, но разгадка кроссворда всегда предопределена, и точно так же результаты нашей работы могли быть только однозначны — готовое решение уже существовало, от нас требовалось лишь найти его.

Через год я получил повышение, и меня снова перевели в дневную смену. Только тогда я вполне ясно понял, какому безликому механизму служу. В смене Диггера, этой маленькой группке, работающей по ночам, замкнутой в круг яркого электрического света, установились свои грубовато-дружеские отношения, определявшиеся чувством солидарности и взаимного уважения к опыту и знаниям другого. Этот опыт и эти знания мы принимали за возможность что-то решать. В дневной смене самообман рассеялся. Глядя в начале своего рабочего дня на длинный стол с отодвинутыми стульями и брошенными в беспорядке машинками, я думал о тех, кто только что ушел отсюда — встал и вышел, не оставив здесь ничего, никакого следа своего пребывания, и меня каждый раз поражало холодное бездушие этого зала. Вместо одного босса в дневных сменах их был десяток, и все они интриговали друг против друга, стараясь захватить место получше. Но перемещения в должностях ничего не меняли, машина продолжала крутиться

по-прежнему. А люди только обслуживали ее, поддерживая раз навсегда установленный порядок, раз навсегда установленную репутацию агентства. Кто бы ни управлял машиной, никто не мог заставить ее отклониться от заданного пути.

Конечно, это не следует понимать буквально. Я сам теперь был начальником, правда, небольшим — в тех случаях, когда кто-нибудь из настоящего начальства отправлялся закусить или отсыпался дома,— и я принимал решения, отдавал приказания, словом, управлял ходом дела. Но именно ход дела и ускользал от меня. Я выполнял только то, чему меня научили, и все мои распоряжения сводились к одному: колеса машины должны были вращаться без остановки. Налаженный ритм нарушался лишь тогда, когда агентство заключало новый контракт, согласно которому мы должны были следить за событиями, представляющими особый интерес для нашего нового зарубежного клиента. Но эти договоры определялись чисто финансовыми соображениями и в компетенцию редакции не входили.

Однажды меня вызвали к телефону, которого я раньше как-то никогда не замечал, и незнакомый голос в трубке произнес: «Говорит секретарь правления. Мы решили повысить вам жалованье до десяти фунтов в неделю. Круглая цифра, как видите». Эта новость, исходившая от правления агентства, с которым до сих пор мне почти не приходилось иметь дела — главного редактора я видел раза три-четыре, а директора — никогда,— заставила меня задуматься: неужели все дело в том, что круглая цифра упрощает расчеты? «Не будь дураком,— сказал Дейв.— Просто у тебя теперь уже есть опыт, и они боятся потерять тебя. Постарайся выжать из них все, что сможешь».

Я впервые понял, что мой труд имеет продажную стоимость. В нашем роду состояние получали по наследству, и я мог себе позволить пренебрежительное отношение к деньгам, афишируемое людьми моего круга; я полагал, что плата не имеет большого значения, если ты занят настоящим делом. К тому времени, когда я понял, что мое мастерство можно продавать за деньги, я уже успел разочароваться в работе. Присматриваясь к людям вокруг себя, наблюдая, как они день за днем совершают одни и те же повторяющиеся действия, я невольно думал о том времени (теперь уже почти наступившем, а тогда еще фантастическом), когда все это будут делать электронные машины. В собственных глазах я был всего лишь механизмом. Если я еще и гордился чем-нибудь, то не результатами своего труда — они были заранее предопределены и слишком незначительны,— а только своим профессионализмом. Профессиональный навык был моим рабочим инструментом, который я мог использовать в любую минуту, стоило только нажать нужную пружинку. Большего от меня и не требовалось. Каждую неделю я уносил домой конверт с деньгами и взамен отдавал часть самого себя. Только часть — весь я был не нужен, хотя рабочий навык не существует сам по себе; его применение, как и применение любого инструмента, требует известного напряжения, внимания, даже сосредоточенности. Я не мог отключиться от работы, хотя как личность я и не участвовал в ней, а мое мастерство, как и мастерство любого другого сотрудника, насколько я мог судить, представляло ценность лишь в том случае, если оно использовалось для производства раз и навсегда заданной продукции.

Здесь не было злого умысла. Тем хуже — некого было винить. Кроссворд, по крайней мере, кто-то сочиняет, у него всегда есть автор, пусть даже и неизвестный; наша система, казалось, работала сама по себе, ежедневно воспроизводя одни и те же задания, которые нам надлежало выполнять. Понятие «агентство» не заключало в себе одушевленных существ. Круглые сутки телетайпы выбрасывали свои конвейерные ленты с новостями, которых бы хватило на стодвести ежедневных газет. Люди здесь были только придатками — правда, необходимыми — к процессу типового производства самого нестандартного из всех товаров. Постепенно отчуждаясь, этот процесс стал автоматическим. Никто не управлял им, если не считать юридического и финансового контроля со стороны множества мелких акционеров, получающих доходы от своих акций. Но эти акционеры, в конечном счете, хотели только того, что шло на пользу и самой системе: роста прибылей или гарантии их роста в будущем. Мои требования к агентству были совсем иными, хотя, надо сказать, весьма туманными. Они не выражались в понятиях материальных, как, например, зарплата, различного рода пособия, ограничение сверхурочной работы, лучшее обслуживание в столовой или введение дополнительных перерывов. Это было, скорее, недовольство системой в целом, стремление подчинить ее себе хоть в какой-то мере. Мы делали свое дело, но от нас не зависело ничего.

Все эти мысли я высказывал про себя. Иногда мне казалось, что причина моей депрессии во мне самом. Я был аполитичен и не понимал, что подобные чувства могут найти какое-либо выражение — помимо лирических излияний. Профсоюз не мог мне ничем помочь. Он занимался лишь чисто материальными вопросами. Да и в самом деле, стоило ли заниматься чем-нибудь еще? Для чего, в сущности, мы работали? Для денег. На этот вопрос ответил бы любой. И за неимением дру-

---

РОНАЛД ФРЕЗЕР
ФАБРИКА НОВОСТЕЙ

гого ответа я пришел к выводу, что деньги — единственно возможное вознаграждение за мой восьмичасовой рабочий день. Я получал плату за свой труд и на эти деньги мог купить себе забвение на остальную часть суток. Восемь часов труда обеспечивали возможность жить в течение остальных шестнадцати. И я отказался от попытки соединить две разрозненные половинки своего существования — работу и все, что не относилось к ней.

Я совсем уже было решил уйти из агентства, когда мне предложили работу за границей. Главный редактор обрисовал мне мое будущее в весьма радужных тонах. Я должен был «представлять» агентство за границей. Он очень лестно отозвался обо мне, и из его слов я понял, что решающую роль при выборе кандидатуры сыграло мое происхождение. У нас было много отличных редакторов, но ни один из них «не подошел бы» для подобной роли. О моих деловых качествах не было сказано ни слова.

Возвращаясь в свой зал, я думал о том, что означало «подходит» или «не подходит» у нас в редакции.

Я пробыл в редакции пять лет, и я знаю, что здесь ценят не родословную, а умение что-то делать. Остановившись в дверях и прислушиваясь к обычному шуму в зале, я впервые понял, что я рабочий, потому что я продаю свой труд за еженедельную плату предприятию, которое не только не принадлежит мне, но в котором я ничего не могу решать. И я подумал о всех тех, кто, оказавшись в таком же положении, как я, все еще не относит себя к рабочему классу лишь на том основании, что они родились в другой среде.

**Перевод с английского Е. ПРИГОЖИНОЙ**

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ

# АФРИКАНСКИЙ БЛОКНОТ

Главы из книги

Перевод с болгарского Н. ГЛЕН

## Масаи

На обратном пути в столицу мы пересекаем долину Серенгети. Эти места, как я теперь узнаю, оспаривают друг у друга народ масаи и... дикие животные. Равнина разделена на две части: «Национальный парк», предназначаемый только для дичи, и «Заповедник», где обитают дичь и принадлежащие масаям стада. Между этими двумя сторонами — старый конфликт, связанный с общей здешней проблемой дичи.

До европейского нашествия в Африку существовало равновесие между уменьшением числа животных в результате охоты и их естественным приростом. Колонизация Африки нарушила это равновесие и привела к почти полному уничтожению африканской фауны. А фауна здесь не только важный фактор привлечения иностранных туристов и не только бесценное богатство для науки, но и главный источник снабжения населения белками. Понятие «мясо» и понятие «дичь» выражается на суахили одним и тем же словом — звукоподражательным «ньяма». И вот «ньяма» уже и нет — «континент дичи» не может удовлетворить потребность своих жителей в мясе. Для разрешения этой проблемы были созданы парки и заповедники. Способствуя разведению диких травоядных, они могут — по утверждению специалистов — в далекой перспективе разрешить проблему мяса лучше, чем ее решает классическое животноводство: полудикие стада при правильной эксплуатации гораздо более пригодны для Африки. Но для организации заповедников были отняты пастбища у масаев...

О масаях тут говорят много, для европейцев это одна из самых больших приманок в этой стране. Джон Гантер, которого мы не можем обвинить в левых идеях, пишет в своей книге об Африке:

«Масаи — любимое племя европейцев, хоть они и полудикари. Быть может, англичане именно потому так их и любят, что они еще дикари. Старые колонисты всегда склонны не доверять и не симпатизировать племенам с более развитой культурой. Чем культурнее племя, тем больше забот оно создает, потому что культурный прогресс почти неизбежно порождает недовольство».

Но масаи, хоть они и отсталые, тоже недовольны — они хотят пастбищ для своих стад. В первый раз я увидел «морана» — масайского воина — в аэропорту Аруши. Вид у этого воина и правда внушительный! По ту сторону стеклянной стены, у которой стоял моран, как раз приземлялся, сверкая алюминием, самолет «Восточноафриканских воздушных линий». Вся картина напоминала туристскую рекламу: «Посетите Танганьику!» Моран был так высок, строен и красив, что я со своим маленьким ростом, мятыми брюками, весь опутанный ремешками от разных сумок и киноаппаратов, почувствовал себя рядом с ним безобразным пигмеем. Моран был бос, бронзовое его тело прикрывал только рваный плащ кирпичного цвета. Но он носил этот плащ с завидной элегантностью и стоял, опираясь на тонкое копье со стальным наконечником, напоминающим длинный лист какого-то растения. Волосы его, туго заплетенные и обмазанные красноватой глиной так, что походили на шлем, спадали на плечи двумя косами, а на лоб спускалась клиновидная прядь, закрепленная металлическим украшением.

Окончание. Начало в № 11.

На оттянутых ушах воина висели большие кольца из слонового волоса, унизанного бусинами. Лицо его было правильно и, хоть и покрытое охрой, необыкновенно красиво. Моран кинул скучающий взгляд на самолет, презрительный — на меня и, вскинув на плечо свое копье, удалился такой эластичной и гордой походкой, какой я нигде больше не встречал.

Масаи — народ, говорящий на одном из языков нилотской группы и насчитывающий около 130 тысяч душ, половина которых находится в Танганьике, а вторая половина — в Кении, если о них вообще можно говорить, что они «находятся», ибо они не признают границ и постоянно переходят с места на место в поисках пастбищ для своих бесчисленных стад. В прошлом они действительно были воинственным народом, который долгое время заставлял путешественников избегать безбрежного плато, носящего до сих пор их имя. Но это прошлое. Сейчас лучшие их пастбища заняты белыми колонистами, а сами они безжалостно вытеснены на безводную территорию на границе Кении и Танганьики. Мало этого, сейчас их гонят и из разных заповедников!

Масаи живут в групповых «бома» — тоннелях из ветвей, выгнутых полукругом и обмазанных навозом. Несколько таких тоннелей ограждается плетнем из колючек. Когда группа масаев решает перейти на другое место, бома бросают или сжигают. Масаи презирают земледелие, главная гордость этого племени — их стада. А еще большая гордость — украденное стадо. Похищение чужого стада — нечто вроде спорта, с помощью которого мораны доказывают свое мужество и который, разумеется, часто приводит к кровавым столкновениям. Масаи питаются мясом, молоком и свежей коровьей кровью. Эта вторая «дойка» производится таким образом: шея животного-«донора» крепко перевязывается, и шейная вена пробивается стрелой, выпущенной в упор. В принципе масаи не охотники, но их традиционный враг — лев. Для них он то самое, что для наших пастухов волк. Масаи отличаются исключительной храбростью и часто, вооруженные одним копьем, вступают со львом в единоборство.

Мировоззрение масаев, разумеется, совершенно особое: с их точки зрения, они далеко превосходят все остальные человеческие расы и племена, потому что им принадлежит скот всего мира — с того времени, как бог сбросил с неба на землю длинный ремень и по нему, мыча, спустились все земные стада... Один англичанин, чиновник в Аруше, рассказывал мне о чувстве собственного достоинства у масаев. «Масай,— говорил он,— никогда не врет. В суде мы верим ему на слово, не требуя свидетелей и доказательств».

Эти черты создают вокруг этого народа ореол. Путешествуя по Северной Танганьике, я прочел роман Жозефа Кесселя «Лев», по которому сделан и нашумевший фильм. В этой книге налицо и заповедник, и лев, и масай, и любовь между масаем и дочерью сторожа заповедника, и дружба этой дочери со львом, и смертельный поединок между львом и масаем. И все это умело сплетено и снабжено местным колоритом. Ни одна из деталей, которые гость узнает здесь за три дня, не осталась неэксплуатированной в романе... и ни одна проблема, требующая более длительного пребывания и более серьезного изучения, в нем не затронута. Так вот и пишутся романы об Африке! И у автора ведь имя во французской литературе. При этом настоящие проблемы существуют: культурная отсталость этого народа, отсутствие пастбищ.

В Нгоронгоро я познакомился с вождем танганьиканских масаев. На нем была не львиная грива, а европейский костюм. В кармашке пиджака блестела ручка.

— Познакомьтесь! Это вождь Эдуардо! — сказали мне.

Мы пожали друг другу руки. Вождь Эдуардо — человек атлетического телосложения; полное его имя Эдуард Мбарноти, а полный титул — «великий оратор масаев».

Вместе с ним и танганьиканским министром лесов я присутствовал на одном собрании масаев. Мне ярко вспоминается вся сцена: около пятидесяти масаев, видимо, делегаты отдельных общин, растянулись в траве на каком-то холме. Под нами — колючая ограда одного бома. Первым говорит вождь Эдуардо, за ним — министр. Переводит с суахили на масайский молодой парень с умной физиономией. Оба оратора в конце речи поднимают сжатый кулак и провозглашают: «Ухуру!» Отвечает им старейший из делегатов, в очках и ветхой английской шинели. Тон его кажется мне весьма агрессивным. Мне говорят, что он жалуется на лесников, которые бьют масайских женщин за то, что они собирают хворост. Он тоже заканчивает свою речь «Ухуру!» Отвечает ему мистер Фосбрук, начальник заповедника, который помогает себе выразительными жестами и смешными гримасами. Он явно знает, как надо говорить с этими людьми. Но эти люди не слишком склонны смеяться. Копья их торчат позади них, отвесно воткнутые в землю одно рядом с другим.

## Поездка по острову

Мы едем из столицы Занзибара в город Чуака на противоположном берегу острова. Узкое, но хорошо асфальтированное шоссе идет по невиданно красивым местам. Со мной в машине молодой поэт Хиджя Салех Хиджя-Мтачока, которого я упоминал, рассказывая о суахильской поэзии. Это именно он футбольный

тренер. Он объясняет мне, что его команда проиграла команде Танганьики со счетом 6 : 0 по объективным причинам: несколько его игроков — полицейские, и их начальник не пустил их в Дар-эс-Салам.

— А почему он их не пускает? — наивно спрашиваю я.

Мой спутник смеется. Очевидно, или полицейские очень нужны здесь, или Танганьика их не слишком любит. Или и то и другое. Но футбол не так важен. Важнее, что он — Салех Хиджя — непобедим в поэтических состязаниях.

— Каких поэтических состязаниях?

Он рассказывает мне, что здесь — и особенно на острове Пемба — активнее, чем где-либо, поддерживается упомянутая традиция стихотворных споров между поэтами. На Пембе по праздникам, кроме боя быков — наследия португальских времен,— устраивают очень интересные турниры импровизаторов.

— Я потому и подписываюсь «Мтачока»! — говорит он и гордо таращит глаза.

Оказывается, «Мтачока» значит «Ты устанешь!», и смысл этого псевдонима — обращенный к сопернику вызов: «Ты устанешь, если дерзнешь состязаться со мной в импровизации стихов!» Свет широк, каких только обычаев в нем не встретишь!

Так мы болтаем и вдруг погружаемся в облако благоухания. Словно мы попали под огромный пульверизатор. Начинаешь понимать, почему мореплаватели Европы испещряли карты Индийского океана заманчивыми названиями вроде «Острова ароматов», «Архипелаг запахов». Запах гвоздики обдает путешественника, еще когда он приземляется на аэродроме Занзибара, но сейчас запах буквально одуряет: мы пересекаем плантацию гвоздичного дерева. Я прошу на минуту остановиться, и мы с Мтачокой идем на плантацию. Здесь растут и бананы, и кокосовые пальмы, и деревья манго, и яркие «пылающие акации», которые здесь называют «кристмас три», потому что они цветут на рождество. Среди сочной зелени на утоптанной кирпичной дороге черные велосипедисты в белой одежде вертят босыми ногами педали, дополнительно обернутые резиной. Коровы зебу пасутся вблизи, предоставляя каким-то птицам искать паразитов у них на спинах. Большой рак пересекает дорогу. Двое стариков, сидя на земле под пестрыми рекламами («Кафенол при головной боли!», «Симба чай», «Сигареты «Матине»), играют в «бао» — игру, при которой по толстой доске с выдолбленными на ней гнездами передвигают орехи. Мы пересекаем какой-то лес.

— А где плантация? — спрашиваю я.

— Вот плантация,— говорит Мтачока.

Деревья, похожие издали на дубы, с роскошными, густыми кронами, оказываются именно гвоздичными деревьями — главным богатством острова.

Наверху в густой листве деревьев мелькают черные ноги сборщиков, слышны песни, которые они поют. Словно поют сами деревья. Одно запевает, другое отвечает ему.

— Когда начинается созревание? — спрашиваю я тоном специалиста, убежденный, что черные гвоздики, которые я видел на маминой кухне, это плод гвоздичного дерева.

— Оно еще не начиналось,— отвечает Мтачока.

— Я хотел сказать — цветение,— поправляюсь я.

— И оно не начиналось,— говорит Мтачока.

— Что же они тогда собирают? — признаюсь я наконец в своем невежестве.

— Почки,— говорит Мтачока.

Продукт гвоздика — это маленькие почки огромного дерева.

...В Чуака мы приезжаем в темноте. Молодежный праздник, который был нашей целью, уже начался. Посреди полянки молодежь построила эстраду и расставила рядами стулья. Все огорожено брезентовыми полотнищами, из-за которых выглядывают — словно хотят бесплатно посмотреть представление — темные короны пальм. Только что кончилась комическая сценка с моралью: «старики не должны напиваться, потому что они попадают в дурацкое положение». Сейчас двое молодых — юноша и девушка — поют любовный дуэт:

Как увидел меня издали,
свернул в поле.
Бедная я! Нет больше
любви на земле! *(Поет и вздыхает девушка.)*

Как заметила меня, кинулась
тут же прочь с дороги.
Бедный я! Нет больше
любви на земле! *(Поет и вздыхает юноша.)*

Песенка и сама по себе была славная, и славно исполняли ее эти молодые. Но радовало и еще одно: девушка стоит рядом с юношей, без «пурды» — без страха перед древними законами ислама. И этот дух господствовал в программе всего празднества. В султанате Занзибар назревают большие перемены. ЯСУ — местная молодежная организация — одна из пружин этих изменений.

# Комориец

На этом странном острове каждый час приносит новые неожиданности. В разговоре с одним здешним арабом я задал свой обычный вопрос: что он знает о моей родине? Он знал только одно: что какой-то знаменитый мусульманский проповедник путешествовал по ней, обращая неверных в истинную веру. Быть может, он путал Болгарию с какой-нибудь другой страной, но подход к предмету у него был интересный.

А потом я встретился с молодым учителем-коморийцем... «Комориец» — это слово говорило мне столько же, сколько, наверно, говорит сейчас читателю. Потом я узнал, что где-то в океане, между Мадагаскаром и Занзибаром, затеряна группа островков; и что там живут люди; и что эти люди стонут под властью французских колонизаторов. Поэтому здесь, на Занзибаре, существует такая многочисленная коморийская колония (около 5000 человек).

Молодой учитель пригласил меня на вечеринку в клуб этой колонии. Она давалась в честь другого коморийского учителя, уезжавшего на Пембу, чтобы открыть там первую школу для коморийского меньшинства. Коморийцы — смесь ширази и мальгашей (переселившихся некогда с тихоокеанских островов). Они мусульмане и соблюдают мусульманские обычаи. Мы сидели по-турецки и ели руками жирный пилав, который хозяева разминали пальцами, прежде чем поднести ко рту. Молодой учитель сидел рядом со мной и рассказывал мне по-французски, что на Коморах нет школ, нет профсоюзов, что губернатор передвигается на носилках, что коморийцев держат в невежестве и посылают усмирять восстания мальгашей и что мальгаши презирают их за это...

Он приносит маленький французский атлас и темными пальцами показывает мне четыре точки среди океана.

— Пишите о нас! — просит он меня, блестя глазами.— Пусть мир узнает, что существуют четыре острова, которые называются Коморскими! И что несчастные их обитатели обречены на нечеловеческую жизнь.

«Пусть мир узнает...» — я слушаю его и словно слышу, как болгарин времен турецкого ига жалуется западному корреспонденту, посетившему страну массовой резни.

Я выполняю сейчас его просьбу, пишу об его островах, но едва ли это принесет большую пользу. На этой земле еще так много страданий и неправд! При этом угнетатели нашего народа были некультурными фанатиками, и происходило это столетие назад, а юноша этот жалуется сейчас, в XX веке, и жалуется на Францию, которая, как известно, вторая родина всех свободомыслящих...

# Первая линия в культуре

Со спутником-африканцем я еду в джипе в деревню, где директором средней школы работает угандский поэт Эдуард Кавере. Исчезают белые дома. Как все африканские города Кампала заканчиваются традиционными предместьями из жалких лачуг и жестяных домишек, пестрящих рекламами прохладительных напитков (кока-кола, пепси-кола) и нефтяных компаний («Калтекс», «Путешествуй смело — путешествуй с Шеллом!»). Погружаемся в сочную зелень — банановые деревья, манговые деревья, поля, засаженные кассавой. Вот дерево омотуба — видимо, что-то вроде инжира,— из коры которого бугандцы в прошлом делали одежду. То здесь, то там у дороги подымаются островерхие кирпично-красные башни, высотой в два-три метра, напоминающие по форме куличи, которые дети лепят из морского песка. Это жилища термитов. Мой спутник говорит, что они нередко возникают посреди дороги и что, случается, на повороте машины разбивают о них радиаторы. Затем господин Сенбира рассказывает мне, что местные жители употребляют термитов в пищу: выкапывают перед термитником ямку и бьют в барабан. Термиты принимают барабанный бой за звук дождя, почему-то вылезают наружу и попадают в яму. А сорго, которое растет вокруг, здесь смешивают с банановым соком и делают пиво. Женщины, мимо которых мы проезжаем, несут на головах именно пиво в этих глиняных сосудах, похожих на реторты. Но с какой легкостью и грацией они это делают!

Школа, в которую мы приезжаем, состоит из нескольких скромных, но аккуратных одноэтажных построек. Мальчики и девочки, гуляющие по школьному саду с книгами в руках, одеты в чистую, опрятную форму. Эдуард Кавере — угандиец средних лет, живой, веселый. Одет он по-европейски, на галстуке — изображение нового знамени независимой страны: чередующиеся черные, желтые и красные полосы и символическое изображение хохлатого журавля. Он пишет на языке луганда и, хотя он один из самых известных поэтов страны, не издал еще ни одной книги. Мой спутник сейчас приехал к нему в связи с его книгой, которую собираются издавать в Англии. Ее заглавие можно перевести как «Стихотворения с содержанием».

— А каково их содержание?

— Самое разное. Я пишу о крестьянине, школьнике, матери, родине, цветах, жизни в городе.

Он читает мне одно из них: о реке, которая сбегает с вершины в поле. Рифмованное, с ясно выраженным ритмом. Судя по всему, речь идет о поэзии в народном духе, еще наивной и, насколько я могу понять из объяснений, проникнутой дидактическим духом.

Примерно такое же впечатление я вынес позже и из встречи с другим поэтом — Ийедедией Лубамбулой. Он, видимо, основоположник бугандской * поэзии, автор первого выпущенного здесь сборника стихов «Стихотворения на языке луганда», который вышел несколько лет назад, причем на ротаторе. После этого он написал что-то вроде романа и книгу текстов, предназначенных для кампании против неграмотности.

Как неравномерно, ненормально развивалась цивилизация в этой стране! Улицы ее столицы идеально асфальтированы, витрины полны холодильников, а писатели делают свои первые шаги, и книги их печатаются на ротаторе. Среди удобств европейских отелей, в обществе изысканно одетых африканцев гость забывает о действительном положении вещей и вдруг при столкновении с каким-нибудь фактом такого рода падает с неба: как это возможно? Возможно.

В том же духе протекали и мои встречи с господином Мсимби. Это пожилой угандиец, служащий школьной инспекции, деятель «Языкового общества Уганды». Он дал мне свою брошюру «Обычаи Уганды», в которой ратует за сохранение фольклора и нападает на гибельные новые моды. В ней встречаются такие абзацы: «Всевозможные встречи, когда собравшиеся пьют пиво, участились и вызывают опасения. Различные виды напитков изготовляются на продажу. Большинство мужчин и женщин, юношей и девушек пьет все, всегда и всюду. Последствия ясны». На одной встрече в языковом обществе я слышал местную музыку, записанную на магнитофон. Но на встрече присутствовали только пожилые африканцы, да и те слегка посмеивались. Чувствуется, что есть что-то безнадежное в этих стараниях сохранить старое, разрушаемое хлынувшей извне цивилизацией, которая при этом представлена здесь главным образом суррогатами.

Еще один бугандский литератор того же толка — депутат Мулира. Мы раза два-три встречались с ним в его доме в зеленых окрестностях столицы. Этот пожилой местный политик и известный бугандский писатель попросил меня дать ему совет, как писать биографии. В его просьбе было скромное и искреннее желание усовершенствоваться, которое не могло не тронуть, и я несколько дней напрягал свои литературные познания и свои познания в английском языке, чтобы быть ему полезным. Кажется, он остался доволен, но как же труден путь перед этими первыми литераторами Уганды!

Одно из главных затруднений кроется в самом языке, на котором они пишут. О нем я скажу несколько слов ниже.

## Вторая линия в культуре

Кроме географического экватора, маленькая Уганда перерезана и «языковым экватором» Африки: через нее проходит северная граница той огромной части континента, в которой говорят на языках группы банту. Поэтому в Уганде множество языков и диалектов банту и не банту.

Самый распространенный и самый развитый язык группы банту здесь язык луганда, на котором говорят в Буганде и ближайших к ней областях около 3 миллионов человек. На нем пишут все перечисленные мной литераторы, но он содержит, видимо, много примесей английского и суахили. При этом еще недавно язык этот не имел азбуки, да и сейчас на нем пишут по-разному в разных местах, так как школы католических «белых братьев» продолжают употреблять правописание, созданное ими самими, хотя протестанты с помощью английской администрации сделали свое правописание официальным.

К той же группе принадлежат, но существенно отличаются от луганды следующие языки: рунианколе-рукига (королевство Анколе) и руньоро-руторо (королевство Торо и Буниоро). А в северной и восточной областях страны говорят на других — самых разных языках, образующих две группы: луо (на севере) и тезо (на востоке). На какой основе будет построено языковое единство этого маленького африканского Вавилона? На основе суахили? Он довольно широко распространен здесь, но его не слишком любят из-за воспоминаний о работорговле, которую он обслуживал в прошлом. На основе английского? Сейчас это здесь официальный язык (хотя говорят на нем, в общем, плохо и пишут с ошибками), но разве может европейский язык стать языком африканской страны, материнским языком для ее детей, основой ее будущей культуры и литературы?

— Вы не правы. Эти фольклорные потуги на местном языке совершенно бесперспективны! — сказал мне позже преподающий здесь профессор Джеральд Мур.—

* Буганда — одно из четырех королевств, входящих в состав Федеративной Республики Уганда.

Литература в Уганде может развиваться только на основе английского языка. Вы должны побывать в «Макерере»!

Когда я попал в университет на холме Макерере, я почувствовал себя не в Уганде, а в Оксфорде — этот консервативный стиль зданий, увитых вьющимися растениями, эта атмосфера аристократического колледжа, эти квартиры профессоров рядом со студенческими!

Основанный в 1922 году как Техническая школа, переросший в 1949 году в университетский колледж, филиал Лондонского университета, «Макерере» является сейчас частью Восточноафриканского университета — единственного высшего учебного заведения Кении, Уганды и Танганьики. В последние годы он был значительно расширен и к традиционным постройкам прибавились новые — современные аудитории, лаборатории, кинозалы. Счастливы молодые люди, которые попадают в число тысячи студентов, отбираемых из всех соседних африканских стран! При этом «Макерере» не только большой университет, но и большой парадокс: он создан англичанами, но образование, которое он дает, обращается против британского господства — большинство виднейших борцов за независимость Восточной Африки вышли из его стен.

Я побывал в «Макерере» на факультете изобразительных искусств, руководимом профессором Сесилем Тоддом, и видел там много интересных работ. Несомненно, здесь ищут пути, которыми молодые африканские художники могли бы наиболее полно выразить свое ощущение и видение мира. Энергично переданные движения; краски, бьющие в глаза зрителя,— что-то смелое и жизненное было в ученических работах молодых африканцев.

— Кто в наибольшей степени на них влияет? — спросил я.

— Экспрессионисты, Кокошка, мексиканцы.

Особенно часто трактуемые темы — африканский фольклор и религиозные сцены, глядя на которые трудно разграничить Библию, проповедуемую с амвона, и сказку, рассказанную у очага. Многие художники рисуют коров, быков; на многих картинах торчат рога, изгибаются коровьи бока, пляшут хвосты — у животноводческих племен Северо-восточной Уганды настоящий культ рогатого скота.

Этот свободный педагогический подход дает свои результаты. Такие художники, как танганьиканец Сам Нтиро, и скульпторы, как кениец Грегори Малоба (его Статуя Независимости установлена в Кампале), известны уже и в Европе. Необыкновенно смелы и насыщены африканским духом и скульптуры воспитанника «Макерере» Петсона Ломбе из Северной Родезии.

Что же касается литературы, которая интересовала меня больше всего, у меня сложилось впечатление, что она преподается здесь академически, «по-островному», без учета особых склонностей африканских студентов. Единственное имя молодого, подающего надежды литератора, которое я здесь слышал, это имя Джеймса Нгуги, автора пьесы «Черный отшельник». И это все. Ничего другого современной африканской литературе «Макерере», видимо, не дал.

## Третья линия в культуре

— Плюньте вы на этих консерваторов! — сказал мне позже Раджат Неоги.— В «Макерере» только и знают, что зубрить английскую классику. Безнадежное дело!

Но что представляет собой он сам?

Раджат Неоги — человек лет 25, из богатого индийского семейства, красивый, с бородой. Я встретил его в доме одного англичанина — профессора университета «Макерере». Он тогда только что вернулся из поездки в Нигерию и Гану и ходил в какой-то пестрой накидке, делавшей его похожим на мексиканца. Он безупречно говорил по-английски и рассказывал, какая разнообразная и интересная в Нигерии культурная жизнь и как там свободно. Доказательство: хулиганство очень модно и молодежь очень весело издевается над полицией. В Гане, наоборот, плохо. Доказательство: несколько анекдотов против Нкрумы. Сам он против прямого участия в политике, и умеренная линия угандского правительства ему по душе. В 14 лет он завершил свое среднее образование, потом учился в Англии, два раза был в Париже. Когда здесь была объявлена независимость, он попытался образовать свою партию, но стал нежелательной фигурой для англичан. Они хотели его подкупить, но он им не поддался, уехал в Соединенные Штаты, а вернувшись оттуда, основал ежемесячный литературный журнал «Переход» («Transition»). Он получает американскую денежную помощь, но без каких бы то ни было условий. Сам он пишет стихи, но постоянно их теряет. Не хотел ли бы я побывать у него в гостях? Да, я хотел бы.

Дом Раджата оказался за чертой города, в зеленых джунглях.

— Я против теории «негритюда»,— говорит мой хозяин.— Линия Леопольда Сенгора и Эме Сезэра, воспевающих «черный строй чувств», «черный гул барабанов в сердце»,— это, по существу, оборотная сторона «покровительственного» отношения белых к Африке и ее культуре. Мы можем обрести себя, стать частью мировой куль-

туры, только если мы забудем о цвете своей кожи, если мы станем такими же людьми, как все другие!..

Он говорит остроумно и самоуверенно о бреши, которую пробивает в культурном застое страны его журнал, о своих связях с парижским журналом «Презанс африкэн» и нигерийским журналом «Черный Орфей»; цитирует уже знакомые мне слова нигерийского поэта Уоле Шоинки: «Я не могу представить себе тигров, которые хвастались бы своим тигритюдом». Я слушаю его внимательно, но мне кажется, что вот-вот у меня под ногами зазвучит «черный гул» парижского метро, а за колеблемой ветерком шторой я вижу глухую стену какого-то монпарнасского дома. Трудно представить себе, что этот разговор с таким сильным оттенком снобизма ведется в Кампале, всего в нескольких километрах от стариковских заседаний языкового общества и от «оксфордских» читален «Макерере» — в стране, которой еще предстоит строить национальное единство, бороться с неоколониализмом, преодолевать свою культурную отсталость.

Три взаимоисключающие линии в культурной жизни Уганды: одна тянет к музыкальным инструментам из выдолбленных тыкв, вторая замыкается в английских классических образцах, третья гонится за последним криком моды и не слышит крика народа. Где же четвертая, единственно верная? Существует ли она и только я ее не заметил или ее еще нет и ей только теперь предстоит зародиться?

## Прогулка с принцем Ниабонго

Принц д-р Омубито Акики Ниабонго — одна из колоритнейших фигур, которых я встретил в Африке. Этот крупный, разговорчивый мужчина лет 45—50 принадлежит к народу торо, причем к его аристократической верхушке — он брат короля Торо. Он дал мне свою биографию, в которой сказано, что он учился в бугандской дворцовой школе в Менго, в бугандском аристократическом колледже в Буду, затем в США (Гарвард, Йел) и в Англии (Оксфорд), где получил звание доктора литературы. Дальше перечислены книги, которые он написал («История одного африканского вождя», «Африка дает ответ», «Африканские народные сказки»), длинный список высших учебных заведений в Соединенных Штатах, где он преподавал, и научных обществ, членом которых он является. Приведены цитаты из высказываний о нем европейских ученых. «Этот принц-идеалист,— заканчивается биография,— любитель музыки, начиная с ритмов барабана и кончая современной симфонией. Среди его развлечений — плавание, теннис и гольф. Д-р Ниабонго сотрудничал в различных газетах и журналах. Он путешествовал по Африке, Азии, Америке и всему европейскому континенту». Со мной принц чрезвычайно любезен и гостеприимен. Он был делегатом III Конференции афро-азиатской солидарности в Моши и говорит мне, что очень рад видеть меня своим гостем. Первое, что он делает,— устраивает мне аудиенцию у своего брата, короля Торо.

Король Торо носит титул «мукама»; зовут его сэр Джордж Рукиди. Дворец его расположен на холме и, как и дворцы других королевств, огражден тростниковым плетнем. Это двухэтажный дом в европейском стиле, но рядом с ним сооружается из железобетонных конструкций остов будущего дворца, линии которого будут напоминать прежний дворец-хижину. Мукама — тучный человек лет 55. На снимках, которые я видел, он сфотографирован в традиционной одежде, среди леопардовых шкур. Сейчас он встречает меня в европейском костюме, в обстановке, напоминающей адвокатскую контору — сходство это еще усиливается тем обстоятельством, что, пока мы с ним разговариваем, брат короля читает газету. Единственное различие заключается в том, что на стенной вешалке висят два щита — символы королевской власти и что все придворные, входя, падают ниц и потом до конца стоят на коленях. Аудиенция длится недолго — у мукамы сейчас слишком много забот с племенами баконжо и бемба, чтобы заниматься гостями. Да и принц Ниабонго спешит: он решил за день показать мне все королевство. Мы с ним посещаем местный парламент, который здесь называется «руку-рато», и на машине пускаемся в путь.

Странный это принц — европейский воспитанник и африканский аристократ, он говорит на великолепном английском языке и без ошибок цитирует Броунинга; а немного погодя, когда мы останавливаемся, чтобы размяться, протягивает узнавшему его крестьянину руку для поцелуя. Он объясняет мне, что, в сущности, престол Торо по праву принадлежит ему, но он отказался от него в пользу брата, так как у него у самого прогрессивные убеждения; а немного погодя он входит в первую встречную лавчонку и берет бесплатно целую корзину продуктов, так как «все в этом королевстве принадлежит ему». Странный африканский Дон Карлос!

Мы едем на юг, по направлению к большому озеру Эдуард. Минуем городок Касесе и вдруг останавливаемся перед непонятной белой стоп-линией, начерченной на асфальте. Рядом с шоссе — странное сооружение: бетонный круг около трех метров в диаметре. Белая линия проходит через центральную точку постамента. А сверху надпись: «Экватор». Две стрелки указывают С и Ю. Делаем неизбежный снимок: болгарский гость одной ногой стоит в северном, другой — в южном полушарии, и продолжаем путь на юг.

Свернув к каким-то кратерным озерам, из которых добывают поваренную соль, посещаем здание центра по консервированию рыбы.

По искусственной насыпи, о которой принц Ниабонго говорит, что она построена еще его предками, пересекаем красивый перешеек между озерами. И мы уже в заповеднике для дичи — парке «Королева Элизабет». Он, конечно, интересен, но я уже привык к слонам, которые спокойно пересекают дорогу, ко львам, которые желтеют в траве неподалеку от нас. Кроме того, дает себя знать усталость. Из комфортабельных номеров отеля «Мвея лодж» открывается великолепная панорама бесконечного озера Эдуард, но я и к озерам потерял уже вкус — мне кажется, я ничего уже не в состоянии запомнить. Шофер Исмаил тоже истощен долгой дорогой и постом. Поэтому, когда принц Ниабонго предлагает на обратном пути заехать в шахтерский центр Килембе, я говорю, что уже темнеет и что можно было бы обойтись и без него. Но принц настаивает, и я решаю подчиниться его высочайшей воле.

И правильно делаю, Килембе оказывается одним из самых сильных моих впечатлений от Уганды. На первый взгляд это просто медные рудники, как любые другие, и обогатительная фабрика, такая же, как у нас в стране. Но тут это еще и ночь, и огни фабрики, и тени африканских шахтеров, и то, что я не знаю, куда меня ведут, и усталость, которая кружит и смешивает все образы, звуки и запахи в одно-единственное хаотическое, но необыкновенно яркое ощущение. За каких-нибудь полтора часа мой проводник-принц провел меня, как Вергилий, через три социальных слоя Африки.

Сначала мы посетили гольф-клуб при рудниках, где обстановка была райски комфортабельна. Здесь принц исчез и оставил меня в компании молодого инженера, южноафриканца, пьяного в стельку. Думается, принц исчез не случайно — еще недавно здесь было «for europeans only». Я сказал своему пьяному компаньону, что приехал из Парижа. Он сказал мне, что Париж, наверно, красивый город, только вот как французы терпят негров. Эти негры — сброд, который, если оставить его без европейского контроля, за тридцать лет вернется к каннибальству. Я слушал его внимательно: хоть он и южноафриканец, он показался мне типичным представителем тех белых поселенцев Восточной Африки, которые приехали сюда, потерпев из-за отсутствия способностей неудачу в собственной стране, и чей комплекс неполноценности находит выход в расизме. Он был весь розовый, с засученными рукавами и серьгой в одном ухе. Киплинговский тип из тех, что должны нести «бремя белых». «Эти черные морды! — говорил он, обдавая меня спиртными парами.— Они пропитались коммунизмом, они создают организации, они угрожают стачками, но мы расплющим до конца их черные носы!»

Из рая гольф-клуба принц повел меня в чистилище — азиатский клуб. Здесь атмосфера была другая. Тихие торговые разговоры и пинг-понг. Двое молодых индийцев пригласили меня к своему столику и наскоро рассказали мне, что среди азиатов здесь есть индусы, пакистанцы, гоанцы и другие, что все они чуждаются друг друга, но все вместе презирают африканцев и стремятся вверх. Почему европейцы не допускают их в свое общество? Ведь они не негры! Некоторые из них даже совсем светлые, и это крайне несправедливо!

После чистилища мы заглянули в ад — кабачок для африканцев. Когда мы подошли к входу, из которого доносились крики и музыка, я почувствовал, как мой принц заколебался.

— Вам лучше не входить,— сказал он мне.

Но любопытство пересилило. Помещение было битком набито африканцами — шахтерами, женщинами. Когда я вошел, музыка и шум мгновенно оборвались. И в полной тишине я почувствовал, как вокруг меня стягивается обруч ненависти. Быть может, ни один европеец вообще сюда не заходил, и в полумраке вдруг со всех сторон засверкали белки глаз. Черные лица — белые глаза, черные лица — белые глаза, отовсюду, из-под курчавых волос, из-под касок. «Зачем им эти лампы на касках,— мелькнуло у меня на мгновенье,— когда они могут светить себе глазами!» Принц Ниабонго суетился около меня, но, видимо, он не был здесь известен, и его голубая кровь не могла мне помочь. Наконец, одна женщина узнала его и бросилась целовать ему руку, но он оттолкнул ее — наверно, она слишком подозрительно выглядела, чтоб дать ей до себя дотронуться. Но атмосфера разрядилась, и мы выбрались на улицу.

Вот и все — полтора часа в шахтерском поселке Килембе. Но на всем пути к Форту-Порталу и потом к Кампале все виденное вертелось у меня перед глазами. Другая Африка — не Африка гиппопотамов и комфортабельных отелей, а страна «медного пояса», «цветного барьера», жестокой эксплуатации, классового расслоения — показала мне во время этого хаотического ночного посещения свой страшный вертикальный разрез.

## Прощание с Африкой

На прощание вечером в канун моего отъезда господин Мсимби из языкового общества пригласил меня на специально организованный танцевальный вечер в окрестностях Кампалы.

Мы едем по шоссе мимо только что открытой большой современной больницы в предместье Мулаго. Выясняется, что приятная пожилая африканка в машине рядом со мной ни больше, ни меньше, как третья сестра кабаки (короля Буганды) — принцесса Ирэн. Это для меня немалая честь, так как женщины двора кабаки здесь очень почитаются, особенно королева-мать, супруга и старшая сестра, самые важные личности после короля.

Управляющий гомбололы, в которую мы приезжаем, падает перед ней на колени, молитвенно сложив ладони. То же делают все, кто подходит к нам, пока мы, сидя на специальном возвышении в маленьком внутреннем дворике, ждем начала танцев.

Танцы начинаются громоподобным грохотом барабанов самых разных форм и размеров, ксилофонов, выдолбленных тыкв с постукивающими внутри семенами. Появляется несколько танцовщиц — толстые, с большой грудью, в соломенных юбках и с бубенцами, привязанными к щиколоткам. Они танцуют, используя главным образом нижнюю часть тела, откровенно эротично и в таком ритме, что зритель не может ему не поддаться. Вдруг среди них возникает танцор, странно одетый: очки, привязанные к ушам ремешком, пластмассовая фляжка у пояса, черная бабочка, солдатская куртка с дамскими желтыми пуговицами, старые баскетбольные кеды. Но об этом смешном одеянии забываешь тотчас, как только он хватает барабан и начинает в него бить и танцевать с ним. С первых же ударов барабан превращается в живое существо, в зверя, во врага, который быстр и увертлив и требует от соперника еще большей быстроты и увертливости. Танцор подкрадывается к нему, но барабан его замечает. Танцор прыгает на него сверху, но барабан выворачивается и кусает его. Барабан переходит в нападение, и танцору едва удается его оседлать. Зато теперь и кулаками, и ногами — бей, бей его, пусть знает, с кем имеет дело!.. А за танцором с фляжкой подпрыгивают соломенные юбки женщин, громоподобно трещат другие барабаны...

Принцесса Ирэн заметила, что представление меня увлекло, и награждает меня сдержанной дружеской улыбкой.

— Это чтобы вы запомнили нашу страну,— говорит она.

Еще как запомню! Даже на следующее утро, когда я выношу свои чемоданы из гостиницы «Спик», мои барабанные перепонки словно остаются частью местного оркестра.

И вот наступает час расставания с этой страной, а стало быть, и со всей Африкой. Расставание с господином Боу и с русоволосой Арабеллой, с господином Йовом Сенбира и его семьей. Мы едем на аэродром Энтебе.

— Что скажешь, Йов, что скажешь, Исмаил, не опрокинуть ли нам по рюмочке на прощание?

Но Йов не пьет, а у Исмаила еще не кончился рамадан. Мы пожимаем друг другу руки, черная — белую, белая — черную, обнимаемся. Громкоговоритель уже приглашает пассажиров на большой самолет, который унесет меня через Каир обратно в Европу.

В Европу, которая долго, слишком долго относилась к африканскому континенту как к своему экономическому придатку и которая большой частью своей роскоши и богатства обязана его бедности и страданиям!

Колеса самолета отрываются от бетонной дорожки. Распростертая его тень переламывается на крышах из гнутой жести, поблескивающих среди зелени.

— Счастливого пути!

Кто говорит эти слова?

Африка — путешественнику.

Путешественник — Африке.

На миг закрываю глаза, чтобы освободить свою память и узнать, какие впечатления долгого пути появятся в ней первыми.

Вижу, как пленительное женское лицо, вытесанное из асуанского камня, медленно поворачивается ко мне.

Вижу, как бескрайняя река несет свои воды мимо песков и выбеленных солнцем храмов.

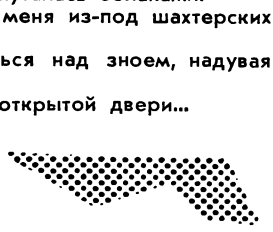
Вижу какой-то дворик, освещенный дрожащим пламенем свечей, из которого одна за другой выходят девушки, подобные белым призракам.

Вижу, как снежная вершина блеснула на миг и вновь закуталась облаками.

Вижу, как потные черные лица пристально смотрят на меня из-под шахтерских касок.

Вижу комнату в гостинице, которая пытается приподняться над зноем, надувая вентиляторами паруса москитных сеток.

Вижу ночь с тонкими стволами пальм и светлый клин открытой двери...



ЮСУФ АС-СИБАИ

# НА ПОРОГЕ НОВОГО ПОДЪЕМА

*Как уже сообщалось в нашем журнале (см. «Иностранную литературу» № 11 за 1966 год), с 30 августа по 1 сентября 1966 года в Баку проходило расширенное заседание Советского комитета по связям с писателями стран Азии и Африки. Открыл заседание вступительной речью председатель комитета Сарвар Азимов. С основными докладами выступили Мирза Ибрагимов, Габит Мусрепов. В обсуждении докладов приняли участие писатели из всех республик Советского Союза и гости из 30 стран мира. В адрес заседания были присланы многочисленные приветствия, в том числе от Михаила Шолохова, Константина Федина, Шарафа Рашидова, Ильи Эренбурга. В центре внимания собравшихся были представители писателей борющегося Вьетнама — делегация Союза писателей Демократической Республики Вьетнам во главе с Ни Фуангом и делегация писателей Фронта национального освобождения Южного Вьетнама во главе с Фан Ты. Заседание заслушало также сообщение К. Чугунова об итогах чрезвычайной сессии Постоянного бюро писателей стран Азии и Африки в Каире. Материалы Бакинской встречи и принятые на ней документы публиковались в советской печати.*

*Сегодня мы печатаем написанную для нашего журнала статью генерального секретаря Постоянного бюро писателей стран Азии и Африки Юсуфа ас-Сибаи, присланную нам из Каира.*

1

Первая конференция писателей Африки и Азии, которая состоялась в Ташкенте в 1958 году, была не просто встречей литераторов, собравшихся для обсуждения своих задач. По своей сущности это был процесс самопознания и самоутверждения. Читая документы и материалы Ташкентской конференции, нельзя не задуматься о важных проблемах, которые были на ней затронуты. Разумеется, обсуждению подвергся целый ряд практических и организационных вопросов, но, что гораздо важнее, конференция открыла лицо афро-азиатского писателя, если можно употребить такое выражение. Я не хочу этим сказать, что писатели в странах Азии и Африки коренным образом отличаются от других, но несомненно, что роль и функции писателя в этих странах несколько иные, чем в остальном мире.

Радостно было видеть, как эти писатели, занимающие ведущее положение в своих странах, но все же лишь в редких случаях известные за их пределами, встретились и открыли друг друга. Это открытие, больше, чем что-либо другое, привело их к мысли об объединении. Писатели в странах Африки и Азии являются неотъемлемой частью, совестью и лицом своего общества — нового и одновременно традиционного. Они всегда были на переднем крае борьбы — сначала за независимость и национальное освобождение своих стран, потом за их перестройку, оздоровление и обновление. Все они — граждане, связавшие себя с судьбами своих народов, своих континентов и всего человечества, с борьбой за мир и процветание. Они видят мир в перспективе движения вперед; они не оглядываются во гневе, но смотрят в будущее с надеждой и упованием.

2

Это сознание причастности и важности своей роли привело их к поискам путей и средств, которые сделали бы их контакты и связи постоянными. Все они понимали, что «дух Ташкента» не должен исчезнуть с окончанием ташкентской встречи, но должен быть пронесен через пространство и время. Они верили, что первая конференция была не просто поводом для обмена

информацией и добрыми пожеланиями, но начальным пунктом движения, которое имело надежный залог успеха, движения, которое сплотит свои ряды и станет мощной волной. При этом писатели Азии и Африки знали, что они не одиноки в своих усилиях. Они понимали, что при всех специфических проблемах, стоящих перед ними, они не могут быть вырваны из потока мирового художественного творчества. Сознание этого выразилось в призыве к писателям всего мира — призыве, который был их «визитной карточкой» и в то же время протянутой рукой дружбы и товарищества.

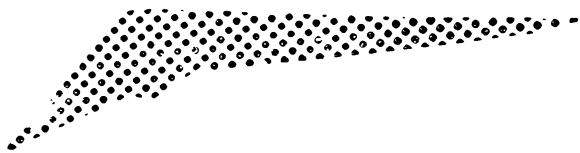
Наметив эти величественные цели и обсудив трудности, стоящие на пути к их осуществлению, они создали Постоянное бюро, в которое вошли представители десяти стран: Китая, Японии, Индонезии, Цейлона, Индии, СССР, ОАР, Ганы, Камеруна и Судана,— и, воспользовавшись любезным приглашением покойного премьер-министра Цейлона, избрали Коломбо в качестве местонахождения бюро. Афро-азиатские писатели верили в успех своего движения. Страны-участницы оказывали всемерное содействие Постоянному бюро, как организации, деятельность которой должна была стать воплощением их благородных целей. СССР, Индия, ОАР и другие страны немедленно послали в Коломбо своих представителей, чтобы положить начало движению писателей стран Азии и Африки. Но бюро медлило с созывом второй конференции, которая должна была состояться в Каире. Собравшиеся в этом городе члены Постоянного бюро выразили надежду, что бюро активизируется и сможет выполнять свои функции.

В 1962 году в Каире состоялась Вторая конференция писателей стран Азии и Африки. Но и после нее члены Постоянного бюро обнаружили, что бюро не выполняет возложенных на него обязанностей, и пять его членов предложили созвать следующее заседание Постоянного бюро в Каире. Оно состоялось в июне 1966 года при участии представителей СССР, Индии, ОАР, Судана, Камеруна и Цейлона. Я хотел бы отметить, что все участники каирской встречи были главами или членами делегаций своих стран на второй конференции в Каире и постоянными участниками заседаний бюро в Коломбо. Резолюции каирской встречи хорошо известны; наиболее важной среди них была резолюция о переводе бюро из Коломбо в Каир. Принимая это решение, члены бюро осуществляли свое юридическое право, записанное в уставе движения афро-азиатских писателей. Другим важным документом была резолюция о созыве Третьей конференции писателей Азии и Африки в Бейруте. Эта конференция должна была состояться еще в 1964 году в Индонезии, но не состоялась. Объединенная Арабская Республика на каирской встрече была избрана местом пребывания Постоянного бюро, и представителю организации писателей ОАР выпала честь занять пост генерального секретаря.

Впоследствии писательские делегации воспользовались расширенным заседанием Советского комитета по связям с писателями стран Азии и Африки, состоявшимся в Баку, чтобы провести заседание своего исполнительного комитета. В заседании принимали участие представители шестнадцати стран, которые одобрили резолюции каирской встречи и создали подготовительный комитет Третьей (бейрутской) конференции. Первое заседание этого комитета состоялось в Баку. На нем была разработана повестка дня конференции и установлена дата ее проведения — конец февраля или начало марта 1967 года.

13—14 ноября 1966 г. в Каире состоялось второе заседание подготовительного комитета. Оно закончило разработку повестки дня, уточнило список организаций и лиц, которых предполагается пригласить, рассмотрело проект Устава организации, который будет принят Бейрутской конференцией, и обсудило финансовую сторону как конференции, так и всего движения писателей стран Азии и Африки в целом.

К началу заседания Подготовительного комитета был приурочен выпуск первого номера информационного бюллетеня «Писатель». Продолжается сбор материалов для первого выпуска литературного ежеквартальника, который будет распространяться во время конференции. Устанавливаются контакты с организациями писателей Азии и Африки и с отдельными писателями, уже приобретшими известность. Сейчас задача состоит в том, чтобы оживить движение афро-азиатских писателей и сделать его воплощением их надежд и стремлений. Мы хотим, чтобы Постоянное бюро объединило действия писателей обоих континентов. Мы хотим, чтобы оно стало центром афро-азиатской литературной жизни, вратами, через которые художественные произведения могут переходить из одной страны в другую, а затем распространяться по всему миру. Мы хотим быть издательским и переводческим центром афро-азиатской литературы. Мы верим, что обмен литературными ценностями — одно из важнейших средств укрепления дружбы и взаимопонимания между народами. Мы верим, что писатели Азии и Африки сыграют важную роль не только в битвах за освобождение и возрождение своих стран, но и в процессе обогащения мировой культуры. И мы всегда будем стремиться к достижению этой цели. Мы знаем, что ее осуществление реально и возможно, и мы уверены, что Постоянное бюро до конца выполнит стоящие перед ним серьезные задачи. Мы верим, что движение писателей Азии и Африки стоит на пороге нового подъема.



# НАША ПОЧТА

## ЧИТАТЕЛИ О ЖУРНАЛЕ

«Мы будем благодарны, если вы напишете нам, какие произведения, опубликованные нашим журналом в этом году, вы находите наиболее значительными и интересными;

какие произведения вам показались менее интересными и почему;

какие книги, пьесы, стихи, очерки, статьи вы хотели бы прочесть в «Иностранной литературе»;

какие имена вы надеетесь увидеть в оглавлении;

какие проблемы общественной жизни и культуры за рубежом вас особенно интересуют» — с этими вопросами обратилась редакция к своим читателям. В ответ мы получили много писем из 36 городов страны.

Нам написали люди, любящие наш журнал и из года в год постоянно и внимательно его читающие,— молодые инженеры, ученые, врачи, преподаватели, рабочие и служащие.

Эти письма свидетельствуют о большом интересе наших читателей к тем социальным и идеологическим процессам, которые находят отражение в зарубежной литературе. Наши читатели хотят видеть в журнале высокохудожественные произведения, глубоко и многогранно отражающие эти процессы.

Среди произведений, напечатанных нашим журналом в 1965 году, наибольшее внимание привлекли· роман американского писателя Джона Апдайка «Кентавр», роман английского писателя Стэна Барстоу «Любовь... любовь?», повесть польского писателя Ежи Ставинского «Пингвин», роман немецкого писателя (ФРГ) Вольфганга Кёппена «Смерть в Риме», роман мексиканского писателя Карлоса Фуэнтеса «Смерть Артемио Круса», пьеса французского драматурга Эжена Ионеско «Носорог». Весьма положительно был встречен молодежный 12-й номер. «Спасибо за удачный номер,— написал нам инженер В. Павлов,— тема, решение и оформление доставили большое удовольствие, они интересны и значительны».

Широкий отклик получили напечатанные в журнале произведения писателей стран народной демократии. Заинтересовала многих читателей повесть польского писателя Ежи Ставинского «Пингвин»; читатели помнят и другую его повесть, опубликованную в журнале,— «В погоне за Адамом». До сих пор вспоминают они также роман немецкого писателя Дитера Нолля «Приключения Вернера Хольта» и роман молодой немецкой писательницы из ГДР Кристы Вольф «Расколотое небо». высказываются пожелания продолжить знакомство с творчеством этих писателей. Понравились читателям повести чешской писательницы Я. Блажковой «На попутных машинах», болгарского писателя Д. Фучеджиева «Небо над Велекой» и венгерского писателя Дюлы Фекете «Старый доктор». О талантливом романе Эрвина Штриттматтера «Оле Бинкоп» были высказаны мнения, иногда не совпадающие между собой. «Штриттматтер — писатель оригинальный и интересный, хотелось бы прочесть еще что-нибудь из его произведений» (Анпилов, Белгородская обл.). «Очень интересной вещью представляется «Оле Бинкоп» (П. Палажченко, Москва). Отмечая хорошую и глубокую главную мысль, достоверность и сложность центрального героя, некоторые читатели пишут о недостатках произведения — одни считают тяжеловесным язык, другие находят расплывчатыми образы.

Читатели пишут, что хотели бы увидеть на страницах нашего журнала новые произведения полюбившихся им писателей социалистических стран, с чьим творчеством их познакомил наш журнал: Станислава Лема, Ярослава Ивашкевича, Дитера Нолля, Людвика Ашкенази, Зофьи Посмыш, Антала Гидаша, Ладислава Мнячко, Ежи Ставинского, Войтеха Мигалика, Станислава Дыгата и других.

С каждым годом все более широкое признание у советских читателей завоевывает литература Латинской Америки. Об этом свидетельствуют и письма в редакцию «Иностранной литературы», в которых дается высокая оценка роману Ж. Амаду «Мы

пасли ночь», роману М. О. Сильвы «Пятеро, которые молчали», рассказам Хуана Боша, пьесе Диаса Гомеса «Вторжение». «Самым сильным произведением,— пишет В. Елизаров,— считаю роман Фуэнтеса «Смерть Артемио Круса». Потрясающая сила правды, мудрая лаконичность и поразительная сила наблюдений».

Все большее внимание читателя привлекает творчество писателей афро-азиатских стран. Многие читатели справедливо отмечают серьезный познавательный интерес, который представляют опубликованные в журнале произведения писателей Африки и Азии, и их художественное своеобразие. «По два-три раза перечитываю что-нибудь с индийского, очень уж ново, совсем не по-нашенски,— написала нам читательница из Фрунзе Антонина Шейхина.— И не успокоюсь, пока не пойму всей прелести медленной, церемонной речи, пересыпанной афоризмами. Цепенею от ужаса, когда под гипнотизирующие звуки тамтама убивают африканцы своего вождя, мечтавшего о независимости своего народа. Боже мой, как велик и разнообразен мир, как хочется узнать о нем больше, понять его лучше. Очень жаль, что мне приходится ограничиваться в основном своим журналом, что не могу покупать все новинки иностранной литературы. Может быть, есть книги, где говорится подробнее о сегодняшней Индии, ведь только мельком знаешь о трагедии неприкасаемых, об узаконенной жестокости к нищим и убогим, которых покарал какой-то индийский бог, поэтому и помочь им чуть ли не зазорно... Ни одной вещи о Бирме, Пакистане. Обидно мало Африки, Австралии».

Показательно в этом отношении и коллективное письмо студентов филологического факультета МГУ о романе южно-африканского писателя Питера Абрахамса «Венок Майклу Удомо». «Вот уже несколько дней,— пишут студенты,— у нас в группе не смолкают споры по псводу романа, и это одно уже доказывает талантливость этой вещи и своевременность ее опубликования. Побольше бы таких романов — он всколыхнул большой интерес к Африке и, вызвав споры, вызвал и свежие мысли».

Не всегда единодушны были наши читатели и в оценке даже тех произведений, которые в целом получили наиболее широкое признание — в ряде случаев они вызвали серьезные возражения. Вот высказывания читателей о двух произведениях, опубликованных журналом в 1965 году:

«За 1965 год мне больше всего понравился роман С. Барстоу «Любовь... любовь?». Не удивляйтесь, что 73-летнему человеку понравился именно этот роман. Он мне полностью, да и моей жене, напомнил почти точно нашу жизнь. До чего глубоко здесь все сказано... Мы очень благодарны с женой за этот роман» (М. Д. Супрун). «Недавно я прочел роман Барстоу, и мне стало неприятно. Этот роман я должен от своей внучки-девушки прятать. Ведь это же сплошная порнография И я не могу понять, как это произведение могло быть напечатано у нас, в Советском Союзе. Что, собственно, он должен дать и кому?» (И. А. Семенов, 82 года, Москва). «Наиболее интересным считаю роман Стэна Барстоу «Любовь... любовь?». Современный и отлично читается» (Ю. Н. Седов, Москва).

Мы рады, что большинство наших читателей не смешивают с порнографией чуждый ханжеству психологический анализ интимных сторон человеческих отношений и умеют увидеть за «рискованными» сценами нечто более существенное и значительное.

А вот что пишут читатели о другом романе, произведении оригинальной и усложненной формы: «Лишь одна вещь была прочитана с трудом. Это Апдайк. Очень замысловато пишет он о вещах, о которых можно писать гораздо проще... но, возможно, я чего-то недопонял» (Дегтярев, Алма-Ата). «Пять лет моя семья подписывалась на журнал, а на 1966 год подписку не возобновили... Произведения, подобные Апдайку, не затрагивают, а вызывают раздражение. Даже молодые люди моей семьи и их знакомые — преподаватель и студенты — заключили: нет смысла терять время на чтение «вывертов» (В. А. Федотовская, Свердловск).

Впрочем, отнюдь не все читатели столь категорически осудили нас за публикацию «Кентавра». Многие из них не пожалели времени на вдумчивое чтение этого «трудного» романа. Так, рабочий-электрик Вадим Смоляков (Москва) написал нам: «Самым выдающимся романом, опубликованным в этом году, считаю «Кентавр» Апдайка. С глубоким интересом следишь за героями романа, написанного в очень интересной манере. Будущее Америки зависит не от «бешеных» и не от морских пехотинцев, творящих чудовищные злодеяния на земле Вьетнама. Оно зависит от тысяч и тысяч простых американцев, жизнь которых так талантливо показал нам автор».

Б. В. Крутов из Москвы хочет, чтобы редакция печатала больше «свежих и ярких, пусть даже спорных» произведений. «Интересен «Носорог»,— пишет нам другой читатель,— весьма спорная вещь, но то и хорошо, что она спорная и что вы ее поместили». Примечательно в этой связи письмо полковника запаса В. М. Казакевича о публикации рассказов Кафки: «Мне лично Кафка просто не нравится. Однако я прочел его с интересом, пусть даже познавательным... надо иметь свою точку зрения. Надо и впредь знакомить читателя с талантливыми авторами, даже если форма изложения и некоторые положения будут спорными. Читатель, советский читатель, разберется в существе дела».

Что касается пожеланий наших читателей, то список авторов, произведения которых они хотели бы найти на страницах журнала, очень велик и довольно полно охватывает круг наиболее значительных представителей европейской и американской литературы.

---

Среди них довольно часто называют имена Пруста, Камю. Саган, Фолкнера. По этому поводу нельзя не заметить, что такие пожелания нередко — плод недоразумения. Ведь роман «Особняк» и рассказы Фолкнера уже печатались в нашем журнале; многотомный роман Пруста «В поисках утраченного времени» издавался в Советском Союзе, уже не говоря о том, что творчество этого писателя выходит за хронологические рамки литературы, которую призван публиковать наш журнал.

Многие читатели написали нам о том, что они любят стихи, но уровень поэтического перевода их не всегда удовлетворяет. Понравились им стихи о любви, напечатанные в «молодежном» двенадцатом номере журнала, а также стихи Сэндберга, Арагона, Превера, Карема, подборка произведений греческих поэтов. Особенно широкий отклик получила публикация параллельных переводов стихотворения «Крылья» известного чешского поэта Витезслава Незвала. Вот что написал нам сотрудник Института этнографии АН СССР С. А. Арутюнов: «С большим интересом прочел я в вашем журнале стихотворение Незвала в переводе шести поэтов. Это очень удачная форма международного общения, заслуживающая развития и повторения. Следовало бы публиковать подлинник иноязычного стихотворения на широко понимаемом языке (славянском, английском и т. п.), может быть, вместе с подстрочником». В связи с этим опытом многие наши читатели высказали интерес к проблеме поэтического перевода в целом. Наибольшей популярностью пользуется французская поэзия, о традиционной любви наших читателей к ней свидетельствуют их просьбы публиковать не только стихи современных французских поэтов, но и произведения поэтов конца XIX — начала XX веков.

Наши читатели предлагают напечатать подборки стихов поэтов Норвегии, Исландии, Финляндии, Канады, США, Латинской Америки и Японии. Одиноко прозвучала просьба юриста Маргариты Гриневой, написавшей нам: «Поменьше стихов! Вот главное, о чем я хотела вас просить. Достаточно одного, двух для ретивых поэтоманов. Экономьте бумагу — на стихах!»

Из критических материалов, опубликованных в журнале за год, наибольший интерес вызвала дискуссия о реализме. Читателям нравится форма дискуссии вообще и выбранная тема в частности. «Интересна была полемика с Гароди, хотя мои взгляды не совсем совпадают с позицией журнала»,— пишет нам П. Палажченко. Некоторые читатели предлагают продолжить дискуссию, что дало бы им возможность более полно ознакомиться с точкой зрения зарубежных и наших литературоведов. «Из более крупных работ,— пишет П. Палажченко,— отмечу статьи Старцева и Анисимова. Статья Анисимова, я думаю, не только мне, открыла в Бехере много нового». По мнению И. Л. Орестова из Пятигорска, «очень интересна статья Олдриджа «Будущее романа», вообще его критические замечания всегда своеобразны и интересны». Читательницам из Ленинграда (М. А. Шеиной, Т. И. Шапошниковой, Б. Б. Бестман) понравилась статья А. Старцева «Горькая судьба Фицджеральда». Читатели просят печатать обзоры по литературам основных капиталистических стран. Многие хотели бы прочесть серьезные критические статьи о творчестве наиболее значительных представителей западной литературы, чьи произведения давно не переиздавались у нас или вообще не переводились

Положительно оценивается практика публикации критических статей непосредственно за публикуемым произведением, Г. А. Елецких из Свердловска приводит в пример статьи А. Дымшица о романе Э. Штриттматтера «Оле Винкоп» и статью П. Топера о романе Г. Бёля «Глазами клоуна». Вадим Смоляков хотел бы прочесть в журнале серьезную статью о современной китайской литературе, в которой было бы рассказано о влиянии на нее политической линии КПК.

Читатели предлагают осветить вопросы формы и стиля, сделать обзор бестселлеров, опубликовать материал, знакомящий с оформлением иностранных книг, шире освещать публикацию советских книг за рубежом. Несколько читателей написали нам, что им неинтересно читать рецензии на книги, которые у нас не переводились. Однако, как нам кажется, это замечание идет вразрез с самой задачей данной рубрики, состоящей в том, чтобы возможно шире знакомить читателя с текущим литературным процессом. В разделе «Издано в СССР», который, по общему мнению, читается с интересом, просят уделять меньше места изложению содержания книг.

Из публицистических материалов нашим читателям понравились публикации в № 12. «Круглый стол» получился очень интересным... Я думаю, всех заинтересовали выступления Полевого, Атарова, Эренбурга, Розова, Бондарева и Рекемчука,— написал нам товарищ Палажченко. Заведующий кафедрой аналитической химии И. Л. Орестов из Пятигорска считает удачей публикацию материала о тинэйджерах.

Среди публицистических материалов вспоминают книгу А. Лундквиста «Мать-Индия», хвалят «В поисках Биско» Э. Колдуэлла. «Чаще нужно печатать такие интересные публицистические произведения, как «Описание одной битвы» А. Клюге. Очень интересен ваш раздел «Культура и современность», отмечу статьи Орловой, Апта и К. И.»,— пишет П. Палажченко. «Больше путевых очерков по разным странам, в том числе и европейским»,— просит В. В. Жуковская из Читы. Читатели хотели бы увидеть в журнале статьи о современном зарубежном фольклоре, рассказ о западных «менестрелях». «Хотелось бы видеть более широкие и подробные статьи о наиболее значительных мастерах искусства,— пишет А. Г. Шулятьев (Челябинск),— в этом отношении хороша была публикация «Автобиографии» Чаплина».

Привлекает внимание читателей раздел «Изобразительное искусство», нравятся цвет-

ные вклейки. Товарищ Нирод из Москвы предлагает рассказать в этом разделе о творчестве итальянского скульптора Джакомо Манцу. Редакция выполняет эту просьбу читателей.

Несколько читателей написали нам, что они с большим интересом читают раздел «Из месяца в месяц» и просят расширить его, уделив больше места непосредственно литературным материалам «Очень хотелось бы, чтобы раздел «Из месяца в месяц» был богаче и даже больше по объему,— пишет нам А. Ф. Кузин из Владимира.— Литературная хроника в этом отделе должна быть лучше, это бесспорно».

Большинство читателей единодушны в своих пожеланиях видеть на страницах журнала произведения, напечатанные без сокращений. Наиболее категорично высказалась по этому вопросу Рита Зак из Москвы «...или печатайте все произведение, или ничего». А. Н. Желобаев из Львова просит избегать крупных произведений, растянутых на несколько номеров, его мнение поддерживает Ю. Н. Седов из Москвы и многие другие наши читатели.

Авторы ряда писем в редакцию просят расширить жанровый и тематический «спектр» журнала. «Обещанный в первом номере отдел сатиры заглох в зародыше. Фантастика, детектив...—за журналом»,—пишет тов. Павлов (Москва). «Хотелось бы, чтобы вы не забывали нас, любителей фантастики»,— поддерживает его О. Т. Рыбаков из Приморского края. Напоминают о себе и любители детектива, поклонники Жоржа Сименона и Агаты Кристи. Вадим Смоляков считает, что «была бы интересной дискуссия о сценарии как литературном жанре, желательно с участием зарубежных сценаристов». Вообще о рубрике «Кино» пишут настойчиво, предлагают печатать сценарии самых нашумевших фильмов, обзор киноре-пертуара и т. д.

Читатели предлагают шире освещать театральную и музыкальную жизнь за рубежом. Многие хотели бы видеть в журнале список книг зарубежных авторов, вышедших у нас за истекший месяц.

Редакция благодарит всех читателей, откликнувшихся на ее анкету. Высказанные мнения, пожелания и предложения будут учтены нами в дальнейшей работе. Мы будем и впредь рады читательским письмам.

# СРЕДИ КНИГ

## ИЗДАНО В СССР

### В СТРАНЕ БИБЛА

**Библ. Стихи. Перевод с чешского под редакцией Е. Винокурова. Составление и предисловие Н. Николаевой. Москва, «Художественная литература», 1965. 183 стр.**

Путешествие в эту страну — не просто поездка на родину чешского поэта Константина Библа, в Чехословакию по преимуществу довоенных и военных лет. Надо еще вникнуть в его книгу, в его стихи, преодолеть необычность формы многих из них, приучиться не замечать отсутствия знаков препинания в поэме «Новый Икар».

О. Мандельштам сравнил как-то открываемую читателем книгу с холстом, на котором ему придется писать картину. И бывают такие якобы прочитанные нами произведения, которые на самом деле остаются пустым холстом.

Библ — художник дерзкой и неожиданной образности. Солнечные лучи его фантазии неузнаваемо преображают многие приевшиеся нам явления.

Но это не безразличное солнце, равно тянущее свои лучи к великому и мизерному, прекрасному и отталкивающему.

Луч света! Если б мог тебя вонзить я
в глубины мрака!
*(«Пролог». Перевод Л. Мартынова)*

Без такого употребления луч поэтической фантазии для Библа тускнеет и обесценивается. Но как стремительно все изменяется, когда он касается больших проблем, сути жизни! Как удивительно претворяется Библом мысль о вещах, плодах человеческого труда:

Вот уличный свет растворяется в синем
окне,
и кажется мне, что я где-то на дне,
в глубине
пещеры, в которой блестят сталактиты,
где потом людским вековечным текучие
стены покрыты
и, капля за каплей
с горячих ладоней и лбов непрестанно
стекая к земле,
теперь каменеет он белой подушкой,
зеленою лампой, стаканом воды на столе...

*(«За вечерним окном». Перевод Л. Мартынова)*

Человек, так остро ощущавший тяжкую цену вещей, этих материализованных людских усилий, надежд, горя и мечтаний, не мог не возненавидеть силы зла и уничтожения, войны, расправу над человеком и его созданиями. «Новый Икар» — это вопль проклятия империалистической войне, богу, сотворившему *такой* мир, бунт против жизни в нем:

Ты один уцелел из свидетелей этого ужаса
почему ты себя не убил?
Бог из глины тебя слепил швырни ему глину в рожу
уйди как уходит слуга не ждущий пока уволят...

*(Перевод Л. Тоома)*

В мире, против которого протестует Библ, дворничиха отчаянно бранит почтальона, потому что с приносимых им газет на лестницу капает кровь, а если газету бросить на стол — раздается лязг жандармских штыков («Девятая песня»). Тут человеку надменно отказывают в праве самостоятельно мыслить: за него, дескать, мыслит «высшее начальство»,— но если подняться по иерархической лестнице и обследовать все ее ступени, то выяснится, что никто ни о нем и ни о чем вообще не думает, что всем на все наплевать и он предоставлен самому себе («Песня шестеренки»). Здесь происходит обман за обманом, подлый маскарад идей и намерений:

Ты участница войн за наживу и за дивиденды,
и, когда под картечь посылала солдата картель,
наряжалась ты в национальные ленты,
чтоб никто не заметил, в какую ты целишься цель.

*(«Винтовка». Перевод Л. Тоома)*

И как апофеоз этого страшного мира встает в стихах Библа проволока концентрационных лагерей — «гигантский терновый венок» на челе обманутых народов («Тишина на войне»).

Библ верил, что все это глубоко чуждо честному трудовому люду. В стихотворении «Театр в деревне» он с нежностью рассказывает о том, как «рабочие играли королей», как не давались им повадки и нравы этих «высокостоящих», но низких душой людей:

Пусть у тебя на голове корона,
а в руке скипетр — тебе не скрыть своей души!
Королевскою рукою, которая не умеет любить,
как погладишь ты свою королеву?
Будет ли воля твоя непреклонна,
если потребуется для блага трона
казнить друзей?

*(Перевод Е. Винокурова)*

Русский читатель впервые может совершить такое длительное путешествие по «стране Библа». А многих оно заставит поскорее познакомиться и с другими произведениями замечательного чешского поэта. И думается, что наши издательства пойдут навстречу этому желанию.

Когда-то Библ сказал, что стук его сердца «пугает птиц залетных».

У читателей — иной обычай: когда они слышат в стихах поэта биение его сердца, их сердца летят ему навстречу.

**А. ТУРКОВ**

## СУЩАЯ ПРАВДА

**Вейо Мери. Манильский канат. Перевод с финского В. Богачева. Предисловие Геннадия Фиша. Редактор В. Смирнов. Москва, «Молодая гвардия», 1965. 127 стр.**

Надо знать с самого начала, что солдата Кеппиля звали так же, как и его отца: Йоосе. Правда, «отец называл сына Вилхо. На самом деле полное имя сына было Вилхо Йоосеппи. Отца же просто звали Йоосеппи. Отец считал себя единственным настоящим Йоосеппи и не желал, чтобы сына звали так же, как его. К тому же Йоосе, по его мнению, слишком походил на мать, которую отец считал чуть ли не хохотушкой. Сам же отец никогда в жизни не смеялся, даже ненароком. «Смейся, смейся, скоро плакать будешь»,— говорил он обыкновенно каждому, кто имел неосторожность усмехнуться при нем».

Ну вот теперь, когда мы все это знаем и запомнили, мы можем двигаться дальше. Правда, к повествованию старший Йоосеппи, настоящий Йоосеппи, отношения почти никакого не имеет и упоминается всего только раз или два. Зато он имеет прямое отношение к своему сыну, а сын его — герой книги, о которой пойдет речь. Так что мы правильно сделали, начав с отца, пусть не обидятся на нас все остальные родственники.

Книга же про то, как финский солдат Йоосе Кеппиля нашел на фронте канат, настоящий манильский канат и, отправляясь в отпуск, решил отвезти эту ценную вещь домой: достаточно, что люди остаются валяться в полях на корм птицам, зачем, чтоб еще добро пропадало? Но поскольку военная полиция могла этот канат у него обнаружить и отобрать, и многое еще другое могла сделать военная полиция, Кеппиля обмотал находку вокруг себя. Не сам, конечно, а при помощи двух других солдат. Вот как это происходило: «Оба его помощника, взявшись за концы каната, ходили вокруг Йоосе: один — по солнцу, другой — против солнца. Сам Йоосе, без рубашки, в одних приспущенных штанах, стоял в центре как ось, напружась, стараясь устоять на месте...

— Тяните, тяните, я выдержу!..— покрикивал он».

Покрикивал он так по неведению и довольно легкомысленно, поскольку еще не имел опыта перевозки манильских канатов и не представлял заранее, сколько ему придется претерпеть и как тело его сплошь покроется синяками. А мы, читая эту сцену, мысленно видя все происходящее, не догадываемся еще, что закручивают не столько даже канат вокруг тела Йоосе, как закручивается сейчас сюжет, которому в дальнейшем не суждено раскрутиться, поскольку канат в конце книги просто разрежут.

СРЕДИ КНИГ

И сделает это жена Йоосе, Вийра. Увидев своего полузадушенного мужа на полу, бездыханного, не надеясь уже спасти его, но спасая честь и доброе имя семьи, она ножом разрежет канат на куски, в подоле вынесет их за хлев в навозную кучу, «где хоронили дохлых кур и все, что не должно попасть людям на глаза».

Теперь, очевидно, время спросить: а зачем все же понадобился Йоосе канат и те муки, которые он стоически переносил? Но ответить на это пока не представляется возможным, поскольку и сам Йоосе этого тоже хорошенько не знал, хоть и терпел. Говоря по секрету, канат, проходящий через всю книгу, связывающий первую главу с последней, не имеет к книге почти никакого отношения. И уже совсем страшно вымолвить, но без Йоосе книга тоже могла бы обойтись, если не думать о том, что тогда канат пришлось бы везти другому. Однако Йоосе — главный герой, а без главного героя книг не бывает.

Впрочем, кому известно, что бывает, а что не бывает? В хороших книгах, как в жизни, которая ни на кого походить не обязана, все бывает. Бывает даже так: ушел человек за спичками, а к тому времени, когда вернулся, жена его, если только мне память не изменяет, успела выйти замуж за другого. Тут тоже можно спросить: а при чем тут спички? Пусть даже ни при чем, пусть они только повод, чтоб начать рассказ. Однако этим с несомненностью подтверждается старая истина: дело не в истории, а в том, кто эту историю рассказывает. Написав о том, как человек ходил за спичками, Майю Лассила сделал своей книгой то, чего не смогли сделать многие научные труды: тысячам тысяч людей он открыл Финляндию и финнов.

Конечно, сравнение Вейо Мери с Майю Лассила, сегодня уже классиком, это первое, что возникает у каждого, кто недостаточно хорошо знает финскую литературу. Ничего нет удивительного, если Вейо Мери, писатель, в сущности, еще достаточно молодой, испытал на себе влияние этого огромного таланта. И все же, думается мне, дело не в литературном влиянии. Литература — это, в конечном счете, производное. А дело в характере финского народа, в его необычном юморе, из которого и возникла такая литература. Вот эта основа у обоих писателей общая.

Мы больше привыкли к юмору искрометному, где не все даже досказано, где многое понимается с полунамека. Тут же действуют люди уравновешенные, настолько уравновешенные, что могут даже показаться несколько заторможенными,— вот это их немаловажное качество едва заметно, без всякого нажима подчеркнуто писателем. И говорят они серьезно, с массой малозначительных и даже вовсе не относящихся к делу подробностей, среди которых глубоко спрятан юмор. Прелесть их поведения состоит в том, что они не видят себя со стороны, не подозревают, что многое в их серьезных разговорах способно вызвать улыбку. А у автора достаточно выдержки и такта, чтобы не комментировать поступки своих героев. Он если и улыбается, то так, что читателю этого не видно. И оставленный наедине с героями, наедине со всем происходящим, читатель постепенно проникается иллюзией, что все это он сам сумел увидеть и открыть. Это необычайно важная иллюзия. Хорошо, когда читатель чувствует себя проницательным, умным. Такому читателю нет цены, и наблюдать его тоже интересно.

Однако мы тут несколько удалились от каната, который, что ни говори, все же протянут в книге там, где должен проходить сюжет. Впрочем, и автор не держится за него рукой. Порой он просто забывает и о канате и о том, кто мужественно везет его на себе под шинелью. Но зато, как интересно следовать по многочисленным петлям многочисленных историй, которые рассказывают попутчики Йоосе. Рассказывают их по поводу и без повода, порою как бы по глупости, но собранные вместе истории эти, превратившиеся в солдатские анекдоты или, наоборот, возникшие из них, и составляют книгу, в них ее обаяние.

Ну вот одна хотя бы история: о том, как ловили сумасшедшего, бегавшего по крыше. Ловили его, естественно, нормальные люди и весьма безуспешно. Они заманивали его с чердака, пытаясь вступить в переговоры, растягивали сеть вокруг дома, но он был не дурак, чтобы прыгать в сеть. По своей логике он собрался прыгать с шестого этажа прямо на землю. И прыгнул бы, если б не фельдфебель, проходивший мимо роты. Фельдфебель сделал то, что никому почему-то не приходило в голову: «...солидно подошел к дому и уперся обеими руками в стену, как бы готовясь толкнуть ее. Затем крикнул повелительным голосом:

— Если ты сию минуту не слезешь вниз, я повалю дом!»

И это подействовало мгновенно: псих добровольно слез с крыши и отдал себя в руки санитаров. Что не могли сделать врачи-психиатры, сделал фельдфебель. Однако

врач, почувствовав себя несколько уязвленным, спросил: «Но что бы вы стали делать, если бы ваш метод отказал?»

Закончись вся эта история до вопроса врача, она могла бы прозвучать как гимн армии, как гимн находчивости военного человека, который не теряется в любой обстановке. Но она не закончилась торжественной нотой. Она имела продолжение. Врач спросил, и фельдфебель ответил. Вот что он ответил:

«— Я повалил бы дом...

— Что вы сказали? — недоверчиво переспросил доктор.

— Я повалил бы дом,— повторил фельдфебель твердо».

И это еще с некоторыми допущениями можно воспринять как гимн. Если не разуму, так твердости по крайней мере. Ибо известно из солдатской практики, что для смелого и решительного ничего невозможного нет. Но тут доктор схватил за рукав проходившего мимо солдата, самого последнего в ротном строю, и солдат этот внес ясность:

«— Еще как повалил бы. Ему это ничего не стоит, он у нас сумасшедший».

Ну, это уж ни на какой гимн не похоже: ноты не те. И самое интересное, что написано это человеком из финской военной семьи, имевшей большие военные традиции.

Однако история с фельдфебелем не кончена. Что значит сумасшедший? Все в жизни довольно конкретно и не существует вне среды и обстановки. Фельдфебель сумасшедший только в нормальных условиях, среди нормальных людей: недаром он так быстро нашел общий язык с психом. Зато на войне, в противоестественных для человека обстоятельствах, фельдфебель выглядит нормальней всех. Там он — лучший из лучших, он рожден для войны: минус на минус дали плюс.

В этой маленькой книге бесчисленное множество историй. И каждая из них по-своему невероятна. Но самое невероятное не в книге, а за страницами ее: в жизни, о которой по-своему рассказывает Вейо Мери. Самое невероятное то, что существуют в мире войны, что нормальные люди воюют, истребляют друг друга с таким усердием и так умело, как не каждый из них умеет добывать свой хлеб.

Чувствуя, быть может, что найдутся люди, которые примут рассказанное не всерьез или даже вообще усомнятся в жизненности всех этих историй, автор сам делает шаг навстречу. Один из его героев, старый Йооссппи, помните, тот настоящий Йооссппи, который никогда в жизни не смеялся, даже ненароком, говорит рассказчику: «Ты архилжец». Но рассказчик, на этот раз старик крестьянин, возмутился: «Как же ты можешь называть меня лжецом? Да еще архилжецом? Ну вот, расскажи о том же, о чем я сейчас рассказывал, расскажи все по правде. Ведь для всякой лжи должна быть своя правда. А тут нет никакой другой правды, кроме той, что я рассказал. Ну, теперь поверил?»

На это уже и возразить нечего. Потому что война, о которой рассказано в книге, никакой человеческой правдой быть не может.

Но Йооссппи и тут сказал: «Нет!» Однако будем помнить, что это все-таки сказал старый Йооссппи. А вот молодой Йоосе, только что вернувшийся домой, еще не забывший ничего, тот тихо сказал: «Сущая правда».

И мы вслед за ним скажем: сущая правда, рассказанная талантливо, остроумно, порою в крайней форме анекдота.

**ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ**

## ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ ФИЛИППИН

**Хосе Рисаль. Флибустьеры. Роман. Перевод с испанского Е. Лысенко. Предисловие М. Колесникова. Комментарии Ю. Левтоновой. Москва, «Художественная литература», 1965. 342 стр.**

О Хосе Рисале написано и сказано очень много.И на его родине, на Филиппинах, и за рубежом. Обаяние личности этого удивительного человека, выдающегося писателя столь велико, что на литературном конкурсе Филиппинской Республики, который проводится ежегодно, не раз присуждались премии за книги о Рисале. Очень трудно писать о Рисале, не впадая в повторы, минуя общие места.

Еще в предвоенные годы в горьковской серии «Жизнь замечательных людей» вышла первая полная биография Хосе Рисаля (А. Губер и О. Рыковская. Хосе Рисаль. «Жургаз», 1937). К столетию со дня рождения писателя, которое широко отмечалось мировой общественностью в 1961 году, в Издательстве восточной литературы вышли избранная публицистика, автобиографические заметки и важнейшие письма Х. Рисаля. А два года спустя на русском языке появилась и первая часть дилогии Рисаля, роман «Не прикасайся ко мне» *.

Изданные теперь «Флибустьеры» — это вторая часть большой работы писателя — переведены на русский язык заново. Издание 1937 года изобиловало пропусками и неточностями перевода.

«Не прикасайся ко мне» (1887) и «Флибустьеры» (1891) — это Филиппины второй половины прошлого века в условиях жесточайшего колониально-церковного гнета Испании. Обаятельный образ главного героя дилогии Крисостомо Ибарры, умного и благородного человека, большого патриота, каким был и сам писатель, образы Элиаса, друга и соратника Ибарры, самоотверженного борца за освобождение родины, Ма-

* Рецензия на роман была опубликована в журнале «Иностранная литература» № 3, 1964 г.

рии-Клары, невесты Ибарры, воплощающей в себе национальные черты филиппинской женщины (кстати, ежегодно в Маниле среди филиппинских девушек проводится конкурс на «лучшую Марию-Клару», которая должна соответствовать образу любимой литературной героини), философа-идеалиста Тасио потрясли современников Рисаля своей правдой. Документально точное описание положения в стране — изуверства и алчности, лицемерия и коварства монашеских четырех орденов, бесправия народа и его безропотности, прислужничества пособников испанцев — заставило многих другими глазами посмотреть на то, что делается вокруг, признаться хотя бы самим себе в том, о чем они раньше боялись и думать.

Тайно провезенный на Филиппины и подпольно распространенный на островах роман Рисаля, написанный с целью «разбудить соотечественников от глубокого летаргического сна», вызвал истошный вой со стороны колониальной и церковной администрации. Борцы против колониального ига сделали роман своим знаменем, а самого Рисаля — духовным вождем. Во второй части романа Ибарра, чей образ нередко ассоциируется с образом самого автора, быстро эволюционирует от веры в добрые намерения «матери-Испании», надежды на реформы к вере в силы и возможности собственного народа, надежде на победу в вооруженной борьбе, если будут исчерпаны мирные средства. Флибустьер Рисаль делает флибустьером и своего героя.

Слово «флибустьер» приобрело на Филиппинах иное значение. Вот что пишет по этому поводу сам Рисаль в одном из писем: «Слово «флибустьер» — очень мало известно на Филиппинах... Я услышал его впервые в 1872 году, когда была свершена трагическая казнь*. Я помню до сих пор ту панику, которую произвело это слово. Наш отец запретил произносить его... Манильские и испанские газеты применяют это слово к тем, кого считают подозрительными или революционерами». И весьма знаменательно, что Рисаль решается предпослать второму роману посвящение Мариано Гомесу, Хосе Бургосу и Хасинто Саморе — участникам и «зачинщикам» восстания в Кавите. Немудрено, что те, кто распространял, читал или пересказывал содержание романа, были подвергнуты гонениям, а сам роман — строжайшему запрету.

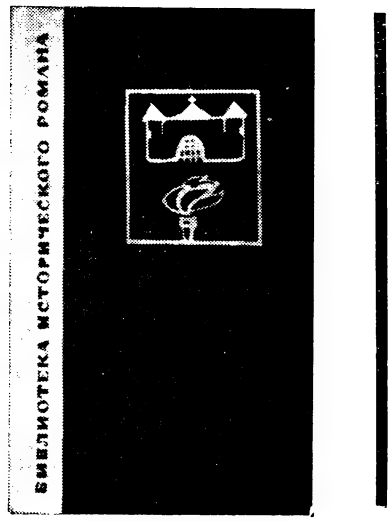
Рост грамотности и образования среди населения Филиппинских островов, по мнению испанского духовенства, был главнейшим злом. В этом отношении символичны слова одного из действующих лиц романа, монаха Каморры: «Индейцев (так испанцы презрительно называли филиппинцев.— *В. М.*) нельзя учить испанскому языку!.. Никак нельзя, потому что они сразу же лезут с нами спорить, а индейцам спорить не положено, они должны повиноваться и платить... Еще примутся законы толковать по-своему, книги читать! Это такие хитрецы и сутяги! Не успеют научиться испанскому языку, как становятся врагами господа и Испании...»

Восемь миллионов покорных подданных «господа и Испании» стараниями Рисаля, его друзей и последователей медленно, но верно пробуждались к активной самостоятельной жизни, готовились к борьбе за свободу и независимость; в ряды «флибустьеров» становились новые и новые патриоты.

«Далеко не все из нас рождаются журналистами и далеко не все литераторы — журналисты. Писать более или менее хорошо в художественном отношении для меня — вещь второстепенная. Главное — искренне чувствовать и мыслить, иметь перед собой цель, и тогда перо сумеет передать это... необходимо быть настоящим человеком, настоящим гражданином, который умом и сердцем, а случится, и руками помогал бы развитию страны»,— писал Рисаль.

И хотя ради дорогих его сердцу идей Хосе Рисаль готов был пожертвовать не только литературной формой своих произведений, но и самой жизнью, язык и стиль его романов превосходны. Его книги — филиппинская классика; этим филиппинским романам на испанском языке суждено было стать и заметной частью испанской литературы прошлого века. К сожалению, Хосе Рисалю не удалось завершить задуманное: третий роман, за который он неоднократно принимался, так и остался ненаписанным.

Главной целью и основной темой публицистики и писем Рисаля остается тема национального освобождения, боевой антиколониализм. Сколько иронии и разящего сарказма в полемических статьях и письмах последних лет жизни великого филиппинца! Он дает отпор расистским теориям, смело разбивая их. Так, в полемической




* Публичный расстрел «зачинщиков» кавитского восстания на Багумбаянском поле в Маниле, где четверть века спустя казнили и самого Рисаля. Восстание сыграло большую роль в процессе объединения патриотических сил филиппинского народа.

статье «О праздности филиппинцев» (1890) Рисаль пишет: «Жаркий климат располагает к покою и отдыху, точно так же, как холод стимулирует трудолюбие и жизнедеятельность. По этой причине испанец более расположен к праздности, нежели француз, а француз более, чем немец. Однако как ведут себя в тропических странах сами европейцы, которые постоянно упрекают местное население колоний в лености?.. Окруженные поистине княжеской свитой, они не делают шагу пешком и передвигаются лишь в карете; они не в состоянии без помощи слуг не только снять обувь, но и обмахиваться веером...»

Будучи вынужденным странствовать по Европе, Азии и Америке, филиппинский писатель пристально наблюдает. Он отмечает в своих заметках дискриминацию и проявление произвола по отношению к неграм, китайцам и к самому себе в тогдашней Америке. Несмотря на слепящий блеск электрических огней, он увидел многие недостатки, присущие этой стране, и прозорливо предположил, что Филиппины могут в ближайшем будущем попасть в зависимость от США. Ревностный католик, воспитанный иезуитской коллегией «Атенео» и «королевским и папским» университетом св. Фомы в Маниле, Рисаль сумел подняться до критики католицизма.

Хосе Рисаль немало сделал за свою короткую жизнь, но очень многого ему сделать не удалось. На рассвете 30 декабря 1896 года, не дожив до 36 лет, он был расстрелян испанцами, как «опасный революционер», «флибустьер». Его казнью хотели предотвратить революцию на Филиппинах— ею эта революция началась, положив конец колониальному режиму Испании на Филиппинских островах. Отвечая испанскому иезуиту Пабло Пастельсу — его преподобие пытался вернуть «заблудшего Рисаля на путь истинный»,— Хосе Рисаль писал: «Очень возможно, что существуют дела, достойнее тех, которыми я занимался. Но мое дело — дело доброе, и этого с меня достаточно».

В этом году филиппинцы и все прогрессивное человечество отмечают 70-летие со дня трагической гибели Хосе Рисаля. Советский читатель теперь имеет возможность ознакомиться с лучшим из того, что было создано писателем, одним из первых сознательных борцов против колониализма и религиозного дурмана на Востоке.

**В. МАКАРЕНКО**

## В ТРУДНОМ ПУТИ

**Шаукат Сиддики. Божий поселок. Перевод с урду Р. Каюмовой. Москва, «Прогресс», 1965. 320 стр.**

Издательства не часто радуют наших читателей переводами книг пакистанских писателей. Небольшие сборники стихов Фаиза Ахмада Фаиза, Джасимуддина, Эхсана Даниша, книга новелл А. Н. Касми, небольшая антология рассказов пакистанских писателей и немногие прозаические и поэтические произведения, рассеянные по страницам различных сборников и журналов, могут дать читателям лишь самое общее представление о богатой и своеобразной литературе многонационального пакистанского народа. И с тем большим нетерпением открываешь первый на русском языке большой роман «Божий поселок» совсем не известного у нас ранее писателя Шауката Сиддики (а не Сидикки, как ошибочно указано на титуле книги.)

Шаукат Сиддики не новичок в литературе. Он стал писать вскоре после того, как Индия освободилась от колониального гнета и образовались независимые государства Индия и Пакистан. Бурные события, сопровождавшие раздел страны, неизменно приковывают внимание писателя, им посвящены его романы «Третий человек», «Красный лотос», «Смерч», многочисленные рассказы. Но лучшим произведением писателя считается роман «Божий поселок», удостоенный в 1960 году высшей литературной премии, существующей в Пакистане,— премии Адамджи.

Писатель показал атмосферу общественной жизни, сложившуюся в стране в первые годы после завоевания независимости, хотя в романе изображен только небольшой городок — «Божий поселок»,— в котором творятся отнюдь не божьи дела. Нищета, безработица, религиозный фанатизм, невежество, махинации дельцов, не останавливающихся ни перед какими преступлениями, демагогия депутатов муниципалитета, щедрых на посулы во время выборов, когда они рвутся к власти, и полное забвение обещаний после выборов — все это черты реальной жизни народа, показанные писателем правдиво, ярко.

Многие проблемы затрагивает писатель, но основное внимание уделяет он рассказу о жизни подростков, о жизни молодежи в этом неустроенном мире.

Лишенные детства, предоставленные самим себе и влиянию улицы, юные герои Шауката Сиддики Раджа и Ноша ищут дорогу в жизни — и не находят ее.

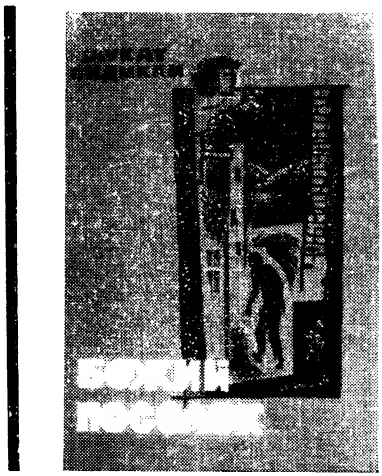
Смелый, независимый в суждениях, неистощимый на выдумки и проказы Раджа — признанный вожак ребят в своем квартале. Но редко кому удается увидеть, что за внешней беспечностью скрывается глубокое страдание от одиночества, тоска по близким, недетское ощущение своей ненужности. Надо было испытать слишком много, чтобы у двенадцатилетнего паренька вырвались такие слова отчаяния: «Ноша, друг! Мне хочется умереть!... Что хорошего в этой проклятой жизни?!» Слишком тяжелое бремя свалилось на плечи ребенка Во время индусско-мусульманской

резни убиты отец и два старших брата. Мать вынуждена торговать собой, а Раджа попадает в приют, больше похожий на тюрьму для малолетних преступников.

Не менее трагична судьба Ноши и его семьи. Полуголодное существование дома и жестокие побои в мастерской, где он работает, потом побег с Раджей в Карачи, шайка воров, куда их продал какой-то проходимец. И это тоже не выдумка, не эффектный ход писателя. О торговле людьми, особенно девушками, неоднократно писали крупнейшие писатели урду. Об этом говорится и в романе Кришана Чандара «Дорога ведет назад», и в рассказе Гулама Аббаса «Два старика», в произведениях С. Х. Манто, Ибрагима Джалиса, Мирзы Адиба Многочисленные тайные шайки при молчаливом попустительстве полиции до сих пор наживают большие деньги на этом «бизнесе».

Забытый всеми, умирает от проказы Раджа. Возвращается в родной городок, чтобы встретиться с семьей, Ноша. Но семьи нет — мать отравил Нияз, содержатель лавочки по продаже ворованных вещей, когда-то приучивший к воровству и Ношу. Сестра стала любовницей Нияза, а брат связался с торговцами живым товаром. Решив отомстить Ниязу, Ноша убивает его, а сам отдается в руки полиции. Как несовершеннолетнего, суд приговаривает его к пожизненному заключению. «Повесьте меня! Застрелите меня! Я не хочу жить, не хочу! Бога ради, повесьте меня! Господин судья, повесьте меня!» — кричит Ноша после оглашения приговора.

Шаукат Сиддики еще в ранних рассказах выступил как писатель с необычайно широким кругом интересов и обостренным чувством нового. Вполне естественно, что от его внимания не могли ускользнуть те прогрессивные силы (зачастую еще малочисленные и слабо организованные), которые пытаются в сложных обстоятельствах найти на помощь народу. Для группы молодых интеллигентов из романа Сиддики, создавших просветительское общество «Штурмующие небо», характерно искреннее стремление быть полезными своему народу. Вместе с тем они слабо связаны с массами, ищут, но еще не нашли подлинных путей преобразования общества.



Их задачи скромны: организация народных библиотек-читален и медицинского пункта с бесплатным лечением бедняков, проведение кампании по ликвидации неграмотности взрослого населения, разъяснение народу его гражданских прав. Члены общества убеждены, что могут остаться в стороне от политической борьбы, занимаясь одной только благотворительной деятельностью. Надо сказать, что эти иллюзии разделяют многие представители интеллигенции стран Азии и Африки, недавно освободившихся от колониальной зависимости. В то же время заявления об отказе от политической деятельности нередко служат лишь средством маскировки, дающим возможность создания легальных демократических организаций там, где левые партии вынуждены уйти в подполье.

Шаукат Сиддики показывает, что логика борьбы заставляет членов общества вступить в политическую борьбу, об отказе от которой они заявили раньше.

Богатейший делец Хан Бахадур, ставший председателем муниципалитета, предлагает «Штурмующим небо» заключить сделку на покупку заграничных медикаментов и перепродажу их на черном рынке. Хан Бахадур думает не только о наживе. Его главная цель — скомпрометировать руководителей общества, избавиться от них, как от потенциальных противников на муниципальных выборах. Когда «Штурмующие небо» отказываются пойти на сделку, Хан Бахадур начинает борьбу с ними. В ход пускается все — нападение банды подкупленных хулиганов, избиение членов общества и их арест полицией, поджог школы и больницы. Читатель видит, что уже недостаточно полицейских мер для борьбы с демократическими организациями. В практику входят попытки подкупа руководителей и их компрометация, использование материальных затруднений и игра на религиозных чувствах обитателей городка.

Малоопытные, но беспредельно честные в своих намерениях «Штурмующие небо» мужественно выносят выпавшие на их долю испытания и остаются верными своим убеждениям. Молодые герои Сиддики — среди них сестра Ноши Султана — включаются в работу общества. И читатель вместе с Шаукатом Сиддики верит, что в конце концов эти люди найдут верные пути борьбы за лучшее будущее.

«Божий поселок» — одна из значительных книг, появившихся в пакистанской литературе в последнее десятилетие.

Издательство «Прогресс» сделало хорошее дело, познакомив советских читателей с этим произведением.

**А. СУХОЧЕВ**

## ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО, КОТОРОМУ МОЖНО ВЕРИТЬ

**Alvah Bessie. Inquisition in Eden. New York, The Macmillan Company, 1965.**

Голливуд... Там творятся сказки... Там все качества получают превосходную степень: «самый захватывающий», «самый аристократический», «самый дорогой»... Для большинства Голливуд — рай. Другим он видится адом. Понятие «Голливуд» для них почти противоположно понятию «искусство».

Вокруг него — стена слухов, сплетен, обмана, преувеличений. Проникнуть за эту стену трудно. «Подлинный Голливуд» — а как знать, что это подлинный? В таких случаях лучше всего помогают свидетельства очевидцев — очевидцев, которым можно верить.

Документальное свидетельство о Голливуде военных и первых послевоенных лет представляет нам Альва Бесси автобиографической книгой «Допрос в раю».

Известный у нас по роману «Антиамериканцы», Альва Бесси — человек, действующий всегда в соответствии со своими убеждениями. И потому жизнь его развивалась по вехам, общим для многих прогрессивных писателей Америки. Годы кризиса — материальные лишения, рассказы, отвергаемые печатью; вызревший интерес к социализму и социалистическим учениям. 30-е годы — Испания, батальон Линкольна; по возвращении — работа в левом журнале «Нью мэссиз», 47-й год — вместе с Альбертом Мальцем, Джоном Говардом Лоусоном, Рингом Ларднером (младшим), Бертольтом Брехтом и шестью другими деятелями Голливуда предстал перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. Приговор — год тюрьмы за оскорбление комиссии.

Еще в 1938 году друг А. Бесси по Линкольновскому батальону Арон Лопофф говорит ему: «Приехав сюда, в Испанию, ты *начал*». Ощущение этой понятой им закономерности Альва Бесси превосходно доносит до читателя. Жизнь независимого художника в Америке — крестный путь, цепь сражений, больших и малых.

А в паузе между сражениями — Голливуд. Эпиграф к книге гласит: «Сними мишуру с Голливуда — увидишь мишуру внутри». Одну за другой снимает Альва Бесси слои конфетной фольги с цветистой легенды о голливудском рае.

И не забавные истории о «звездах», истории, подчас похожие на сплетни,— главное средство развенчать легенду о Голливуде. Альва Бесси изображает конъюнктуру, царящую в «киностолице мира», невежество продюсеров, власть над искусством, приобретаемую далеко не по праву таланта.

Сценарист и продюсер спорят об эпизоде. Продюсер берет за рукав сценариста, подводит к окну. За окном — стоянка машин. «Которая твоя?» Сценарист показывает: второсортный «шевроле». Рядом — роскошный «кадиллак». «Видишь эту машину? — спрашивает продюсер.— Моя. Так что эпизод в картине остается».

«Допрос в раю» написан в остроумно выбранной для книги о Голливуде форме хроникального киносценария. Идет повествование — вдруг «стоп», как будто выключается камера,— следуют указания: крупный план, средний.. в местах наиболее напряженного действия начинается диалог. Повествование двупланово — сцены в Голливуде чередуются со сценами в тюрьме. Ассоциации, при этом возникающие, не случайны—они часть авторского замысла. Иногда они акцентируются самим текстом, иногда — последовательностью сцен, параллельными построениями. Так, например, мы узнаем о документе, который подписывает каждый нанятый Голливудом служащий: «Настоящим удостоверяется согласие автора на то, что материал, им представленный, автоматически становится собственностью продюсера», а вслед за этим сцена — у вновь прибывших арестантов отбирают деньги, носильные вещи, зубные щетки...

Голливуду, конечно, далеко до рая. Так что же он, ад? Нет. Просто страна, где творятся сказки, подчиняется реальным законам, тем же, что и вся остальная Америка. И здесь опять возникает ассоциативный ряд. Брошенный в тюрьму, Альва Бесси наблюдает эту противоестественную жизнь, которая оказывается вполне естественным продолжением и следствием жизни на свободе.

И так ли уж сказочен Голливуд? Обстановка недоверия — «Остерегайтесь того человека, он очень мил, но при случае может воткнуть вам нож в спину»,— в которую окунается только что прибывший в Голливуд писатель, кажется ему трогательно знакомой. Художники там зарабатывают свой хлеб. Купленные, спутанные по рукам и ногам тысячами пут, лучшие из них честно пытаются творить искусство; иногда им это удается, чаще — нет. Пауза между сражениями, Голливуд для Альвы Бесси тоже стал сражением.

Заслуга автора «Допроса в раю» — исторически верное изображение политических событий, определивших в сорок седьмом году судьбу деятелей Голливуда. Значительное «полевение» Голливуда во время войны, сделавшее, кстати сказать, возможным пребывание там его, «красного писа-

теля», не обманывает Альву Бесси — он понимает временный характер этого. От него не скрыта и обратная сторона медали — с е нарии, в том числе и его собственные, отклоненные как «слишком антифашистские», приглушенные толки о том, что «союз с русскими — это ненадолго: вот кончится война, мы и за них примемся...» Поворот в политике Трумэна не застал Альву Бесси врасплох. К трезвой и верной ее оценке он подводит и читателя.

В строгую документальность повествования «Допроса в раю» вкраплены образы почти символические, освещающие, как вспышки магния, мысль автора. К таким «почти символам» относится и сопоставление хода следствия с сюжетом «Алисы в стране чудес»—фантастической сказки Льюиса Кэррола. В фантастике всегда есть своя логика, размышляет автор; в кажущейся вопиющей невероятности всего происходившего в комиссии, затем перед судом и на суде также была своя логика.

Да, здесь присутствует логика, общая для всех реакционных политических процессов, когда результат заранее известен, законы попраны, а суд меньше всего интересует истина. И потом — все как быть должно: твой друг отворачивается от тебя, сын дерется с мальчишками: «Неправда, папа не предатель, не предатель», тебя увольняют с работы.

Потом ты сидишь по ложному обвинению в оскорблении комиссии — конечно, ведь тебя не могут обвинить прямо, в чем решено тебя обвинить! А в тюрьме в последние месяцы ты заболеваешь болезнью, общей для всех заключенных, у которых кончается срок: тебе кажется, что время непереносимо, невозможно длинно (хотя ты и знаешь, что на свободе только-то и начнутся твои мытарства!). И, наконец, свершается: ты выходишь, пошатываясь, и свет слепит тебя, свет, как нимбом, охватывающий всех выходящих из тюрьмы! Последние страницы — последние дни тюрьмы и освобождение — едва ли не самое сильное место книги: прекрасно передана лихорадка нетерпения и первая обжигающая радость свободы.

Альва Бесси включает в текст тюремное стихотворение Хикмета — он получил на это право: их породнил не венец мученика, но меч бойца. Альва Бесси принадлежит к кругу тех, чья жизнь убыстряет ход истории, разрушающей горькую логику современной буржуазной действительности.

**Е. ОСЕНЕВА**

## «АКТОВЫЙ ЗАЛ» ГЕРМАНА КАНТА

**Hermann Kant. Die Aula. Berlin, Rütten und Loening, 1965.**

Если собрать все отзывы о романе Германа Канта «Актовый зал», появившиеся за последние полгода в печати ГДР и ФРГ, объем их, вероятно будет равен солидной академической монографии.

Вместе с «Оле Бинкопом» Эрвина Штритматтера и «Расколотым небом» Кристы Вольф «Актовый зал» в тезисах, опубликованных в качестве материала для литературной дискуссии в печати ГДР, приводится как пример многостороннего постижения действительности, как «носитель» критического элемента внутри эстетики социалистического реализма.

Журнал «Нейе дейче литератур» откликнулся на появление романа большой статьей Сильвии и Дитера Шленштед, в которой дан тонкий анализ формы произведения (при несколько абстрактной трактовке его идейно-образной системы).

Менее подробными (но весьма положительными) были статьи Германа Келера в журнале «Зинн унд форм», профессора Кауфмана в «Нейес Дейчланд», профессора Дирзен в «Берлинер цейтунг». «Зоннтаг» посвятил роману Канта чуть ли не десять различных публикаций, «Форум» отвел немало своих страниц читательским письмам о романе. Словом, трудно перечесть критическую литературу об «Актовом зале», появившуюся в ГДР .

Отклик по ту сторону границы, естественно, монолитностью не отличается. В статьях, различных по «удельному весу» и направлению, появившихся в печати ФРГ, можно найти все — от попыток «интегрировать» роман Канта в общее, вненациональное, внесоциальное и внеисторическое понятие «современная литература» до полного отрицания этой «коммунистической зажигалки». Особенно охотно критика ФРГ расчленяет роман Канта на «коммунистическую пропаганду» и «довольно любопытное повествование», причем, конечно, признания заслуживает лишь эта искусственно выделенная сторона произведения.

В общем, в критике книгу Канта постигла судьба многих талантливых и острых произведений, появившихся в ГДР.

«Актовому залу» предпослан эпиграф из Генриха Гейне: «Сегодняшний день — следствие вчерашнего. И его волю должны мы познать, если хотим понять, чего хочет наш день».

В сущности, эпиграф этот можно было бы предпослать и многим книгам, вышедшим в ГДР за последние пять-шесть лет,— таким, например, как «Приключения Вернера Хольта» или «Мы не пыль на ветру».

Но действие этих романов начинается либо во время второй мировой войны, либо непосредственно после разгрома гитлеровской Германии, и это соответственно окрашивает и проблему «вчерашнего дня», которая в них стоит.

Роберт Исваль — герой романа Канта — очень близок к героям названных нами произведений и по возрасту, и по своей военной судьбе. Исваль примерно на два года старше Вернера Хольта и на два года младше Руди Хагедорна — героя романа «Мы не пыль на ветру». Он — человек года рождения 1925-го, и в фашистскую армию он был призван не в первый год войны (как Руди Хагедорн), но и не по «тотальной мобили-

зации». Он воевал (как и где — об этом в романе речи почти нет), был в плену — в Польше (и об этом мы узнаем не очень много), учился там в антифашистской школе, вернулся в «восточную зону», работал электротехником, пошел учиться на рабфак, затем в университет и наконец стал журналистом, по-видимому, отчасти и новеллистом. В этом качестве мы и застаем его к началу действия — в 1962 году.

Однако в романе два времени. День вчерашний — 1949 год, когда герой поступил на рабфак. И 1962 — день сегодняшний, смысл или «желания» которого (если вернуться к эпиграфу) герой хочет постигнуть, анализируя те события, в которых проявилась «воля» вчерашнего дня.

Таким образом герой как бы начинает свой путь (во «вчерашнем дне»!) двадцати четырех лет от роду, имея за спиной опыт войны за неправое дело и плена, но опыт этот словно отсечен рукою автора от судьбы, от формирования характера героя.

А. С. Макаренко говорит, что если к нему обращаются родители трехмесячного младенца с вопросом, когда следует начать воспитание, он отвечает: «Вы уже потеряли три месяца».

Так далеко я не захожу. Но я думаю, что если не все двадцать четыре года, то во всяком случае половина их, несомненно, имеет отношение ко «вчерашнему дню» героя.

Где развертывается действие «вчерашнего дня» героя — годы его учения,— я не вполне улавливаю. Речь идет об одном городе богатого ганзейского севера, где находится старинный, прославленный университет. Однако город этот не приморский, следовательно, это не Росток. Да, пожалуй, он и слишком провинциален для Ростока. Действие «сегодняшнего дня» происходит преимущественно в Берлине.

«Два времени» скреплены самим сюжетом книги. Роберт Исваль, окончивший в 1952 году с отличием рабоче-крестьянский факультет, получает телеграмму от Мейбаума, бывшего декана этого факультета, который возлагает на Роберта почетную обязанность

держать речь в день торжественного закрытия рабфака, которое состоится через полгода. Роберт дает согласие. И тогда начинается его полугодовая прогулка в прошлое, прояснение всех темных мест как своей биографии, так и биографий своих товарищей.

В связи с романом Канта в критике ГДР поминались и, на наш взгляд, вполне законно проза Гейне и романы Стерна. Действительно, образ времени — идет ли речь о дне вчерашнем или о дне сегодняшнем — соткан в романе Канта не только из судеб главных героев или хотя бы их близких. Случайный спутник в купе поезда, сосед за столиком в пивной — каждый из них вплетает в общую картину времени свою вставную новеллу, иногда повествующую о целой человеческой судьбе, иногда — лишь об одном комическом эпизоде. В целом же все это сплетается в единую многоцветную ткань, долженствующую показать почти парадоксальную сложность одновременного существования столь разных взглядов на жизнь и столь как будто бы несовместимых человеческих судеб и характеров. Впрочем, этих вставных новелл больше в повествовании о сегодняшнем дне, день вчерашний изображен более монолитно.

Было ли прекрасным то время, когда батраки, плотники, лесорубы, слесари, швеи — все комсомольцы в возрасте от 19 до 24 лет — пошли на штурм науки, вступивши в качестве не слишком полноправных членов в величественные, украшенные портретами курфюрстов залы и аудитории университета? Да, было и прекрасное. Молодежь ощущала себя «матросами из Кронштадта», которые идут на штурм Зимнего, и всегда голодные ребята эти в холодных комнатах общежитий были счастливы и богаты, потому что им принадлежало это прекрасное: дружба, товарищество, смех и песня и высокая (несмотря на некоторые комические проявления) принципиальность, бескорыстие и вера в свою революционную правду. Это прекрасное передано необычайно тонко и убедительно. Мир упорной учебы, субботников, красных косынок, студенческого «трепа», вспыхивающей по любому поводу песни «По долинам и по взгорьям» передан в романе во всей своей чувственной конкретности — в цветовой гамме, звуках и запахах.

Но я бы сказала, что у этого «вчерашнего дня» нет в романе *своего* «вчерашнего дня». Отношение какой-то части старой профессуры и студентов к рабфаковцам-комсомольцам — это в романе скорее пассивная оборона буржуазного «высоколобия» от демократических «невежд», чем *политическая борьба* наследников буржуазно-фашистского прошлого против строителей новой, демократической Германии. И зло, которое вторгается в светлый мир рабфаковцев-комсомольцев, не связано в романе с пережитками лишь недавно побежденной и еще не вытравленной до конца фашистской заразы, а

если вглядеться пристальней, то и более отдаленного прошлого.

Антидогматический и антибюрократический пафос романа Канта в высшей степени привлекателен. И читатель в Германской Демократической Республике может очевидно ощутить ту таящуюся в подтексте связь нового зла со старым — с прусской регламентацией общественной активности, с тем ложным пониманием дисциплины, которые принесли столько бед в историю немецкого народа.

Советский читатель хотел бы, пожалуй, от автора более ощутимой путеводной нити, которая помогла бы ему до конца разобраться в том, откуда пришло все то горькое, что влилось в судьбу хороших ребят-комсомольцев.

Мир Роберта Исваля и его молодых друзей прекрасен, но — увы! — под ним почти с самого начала «хаос шевелится». Слишком часто молодые и честные порывы «оформляются» некоторыми руководителями в сторону догматизма и лицемерия, слишком часто молодая и ищущая мысль наталкивается на рогатки, и тогда начинается умолчание о своих истинных сомнениях и взглядах.

В условиях расколотой страны все это оборачивалось трагически и в общественной и в личной судьбе. По мысли Канта, в «западную зону» перебегали иногда отнюдь не худшие, причем далеко не во всех случаях это было связано с «объективно-историческими обстоятельствами». Объективно-исторически объясняется горькая судьба Лизы — сестры Роберта Исваля. Она полюбила (после разгрома фашизма) Сашу, русского военного врача. Но пожениться любящие не могли, и после многих слез, пролитых обоими, им пришлось расстаться. А Лиза убежала на Запад — от отчаяния (как бросаются в воду), чтобы раз навсегда покончить с бесплодной надеждой на новую встречу.

Иначе обстояло дело с отличным парнем, товарищем Роберта по рабфаку, Фибихом. Он несколько раз высказал вслух свои сомнения по поводу некоторых парадно-бюрократических мероприятий, за что и получил полной мерой от догматиков и бюрократов из руководства рабфаком. Конечно, вина за судьбу Фибиха лежит прежде всего именно на таких представителях руководства. Но не уходят ли во «вчерашний день вчерашнего дня» корни той нестойкости, которая привела Фибиха к поспешному и отчаянному решению?

Еще сложней обстоит дело с судьбой вожака комсомольцев из комнаты общежития, носившей имя «Красный Октябрь». Карл Гейнц Рик, по прозвищу Квази (его любимое словцо), был и вожаком, и организатором, и человеком исключительной нравственной чуткости, одним из немногих, кто понимал, какое огромное значение не только в личной, но и в общественной жизни имеет «сектор сердца».

Квази был не только замечательным товарищем — его математические способности были, по мнению очень сухого и требовательного преподавателя, на грани гениальности. И любовь его принадлежала достойнейшей девушке — молодому врачу Шнеде. Все корни, все чувства, все будущее Квази было связано с молодой республикой. И вдруг — неожиданно и непонятно для всех — он оказался в Гамбурге, владельцем трактира.

Над разгадкой этого противоестественного казуса и бьется Роберт, восстанавливая в памяти прошлое. Мне думается, что «общую формулу», объясняющую поступок Квази, нашел в романе секретарь райкома Хайдук, умный, замечательный коммунист, боец гражданской войны в Испании. Хайдук видит разгадку судьбы Квази в тех строках гетевского «Прометея», в которых говорится о «бегстве в пустыню», потому что не весь «цвет мечты» стал плодами. Да, несомненно, бегство Квази — это реакция пришедшего в отчаяние романтика, с романтическим нетерпением ждущего немедленного осуществления мечты, со слишком чувствительным «сектором сердца».

Но за общей верной «формулой Хайдука» стоит еще и частная, непосредственная причина отчаяния и разочарования. Как выясняется при постепенном разматывании нитей, основную травму, решившую все, нанесло Квази то, что можно назвать «преступлением Роберта Исваля»... С преступлением этим дело обстоит тоже не так просто. Подозрение, что Герд Трулезанд — ближайший друг Роберта — вместе с тем еще и счастливый его соперник в любви к Вере Бильферт, пробуждает в рабфаковце-комсомольце ревность, достойную Отелло, короля Марка Корнуэльского и Ричарда III. Отсюда лицемерное и предательское поведение Роберта на партсобрании, цель которого — отправить Трулезанда на семь лет в почетную командировку в Китай. Именно это «предательство» под маской дружеской услуги и «социалистического гуманизма» нанесло, как догадывается Роберт к концу повествования, последний удар чувствительному сердцу Квази.

Сам Роберт склонен считать, что его вроде как бы «нечистый попутал». И к той коллекции чертей (или воплощений зла), с которой мы познакомились в русской и мировой литературе за последние двадцать лет, Роберт Исваль (или Герман Кант) прибавил еще одну разновидность — «нечистого», который возникает и орудует в переходный период. Но ведь переходный период бывает «от чего-нибудь» к «чему-нибудь». «Нечистый» в «Докторе Фаустусе» или «дракон» Шварца, даже «убийца по призванию» Ионеско совершенно явственно обнаруживают свое фашистское происхождение. И если бы Роберт Исваль еще более беспощадно и пристрастно исследовал свое «преступление», не нашел ли бы он в нем корни, которые тянутся далеко назад, к тем двадцати четырем годам его жизни, о которых нам не рассказал автор?

Самое любопытное, что и преступление-то оказалось ненужным и бессмысленным. Как выясняется во время путешествия Роберта в прошлое, Трулезанд и не думал о Вере, а Вера — ныне жена Роберта — и тогда уже

думала только о нем. Но все-таки *поступок* — «неандертальство» под маской «социалистического гуманизма» — остается. И этот как будто малый камешек сдвинул многое во многих человеческих судьбах.

В общем, преступление было и его не было. И задания держать речь в день закрытия рабфака тоже и было и его не было. Начальство решило, что «закрывать» что бы то ни было в республике — «не типично». Поэтому речи и закрытия не будет, будет вечер «в честь», с пивом и музыкальным ансамблем.

И «возмездие» за преступление, вся глубина и вся бессмысленность которого открылась Роберту во время «поездки в прошлое», тоже почти было и не осуществилось. Роберт лишь *чуть не погиб* в автомобильной катастрофе, как бешеный гоня машину ночной дорогой в Берлин из Лейпцига, где состоялся заключительный эпизод — «прогулка в прошлое», встреча через десять лет с некогда преданным им Гердом Трулезандом.

«Львиные когти» большого таланта чувствуются во всем романе Германа Канта, в сложной и многоцветной ткани повествования, в тонкости психологического анализа, в соединении злого сарказма с той «иронией сердца», которую Томас Манн в статье «Искусство романа» назвал основой эпического повествования.

**Е. КНИПОВИЧ**

## ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ — РЕВОЛЮЦИЯ

**Edmundo Desnoes. El Cataclismo. La Habana, Ediciones Revolución, 1965.**

Эдмундо Десноэсу исполнилось двадцать восемь лет, когда на его родине, Кубе, совершилась революция. «В романе «Катаклизм» я хочу рассказать о ликвидации того социального порядка, при котором я жил и который познал изнутри в первые три десятилетия своей жизни,— пишет Эдмундо Десноэс.— Сформировавшийся в прошлом, захваченный настоящим, я могу рассказать только о конфликтах и о разрушении прежнего строя, о конце глупой и трусливой буржуазии, о гибели социальной структуры — несправедливой, жестокой и уродливой».

Но, очевидно, работа над книгой так захватила автора, что он вышел за рамки собственного замысла,— рассказывая о разрушении старого строя, он пишет и о рождении новой жизни. Главный герой его нового романа — Революция. Это — Куба 1960—1961 годов, время глубоких социальных перемен в стране. Время, когда на Кубе закладывался фундамент нового общества, когда наиболее остро встал вопрос о защите народных завоеваний.

Семья богатых землевладельцев Кастельянос — открытые враги революции. Национализация крупной собственности, проведенная в стране, подрубила их под корень. После долгих семейных споров Кастельяносы решают бежать в США. Они, правда, питают еще какие-то надежды: «Это не продлится и шести месяцев,— говорит Рикардо, зять Кастельяносов.— Мы вернемся, и тогда полетят головы многих людей, многих коммунистов».

И Рикардо возвращается на Кубу, но «с черного хода», через Плайя-Хирон. Отбившись от своих после стычки с бойцами народной милиции, он безуспешно пытается найти дорогу среди болот. И тогда Рикардо приходит к выводу, что ему больше нет места на этой земле. «Если бы я родился раньше! Что за судьба выпала на мою долю»,— думает он в отчаянии.

Жена Рикардо, Кристина, дочь Кастельяносов, борется с мучительными сомнениями — хотя она и повторяет заученную фразу: «Коммунизм — это самое худшее в мире»,— в ее голосе уже слышна неуверенность. Она проникается отвращением к родителям, к мужу, которые в дни революции обнаружили свое подлинное лицо. «Они обманывали меня, все снаружи казались чистенькими. А теперь я вижу, что они грязные и неприглядные»,— с горечью признает Кристина.

Симон, молодой служащий, влюблен в Кристину. Понимая ее переживания, Симон пытается объяснить ей происходящее. Но избалованной, привыкшей к роскоши женщине слишком трудно найти в себе силы, чтобы принять революцию, и Кристина пытается найти выход в самоубийстве.

С большим мастерством автор рисует в романе образы тех, кто делал революцию, тех, кто вырос и закалился в ее огне, стал ее опорой.

Это старый коммунист Сальвадор, который героически погибает в бою с интервентами на Плайя-Хирон.

Это молодой разносчик кофе Эвелио. Он учится грамоте, вступает в народную милицию. Проходя по улицам Гаваны, Эвелио упоенно читает все, что попадается ему на

глаза: вывески магазинов и революционные лозунги. Для него открывается новый мир. И не столь важно, что читает он еще по складам. Эвелио воспитывает новое сознание и в своей невесте, робкой негритянке Мигдалии, работавшей служанкой в доме Кастельяносов.

Даже маленький Кике, брат Эвелио, находит свое место в революции. Он с энтузиазмом встречает призыв покончить с неграмотностью и отправляется учить рабочих, добывающих древесный уголь в Сьенага де Сапата.

Эдмундо Десноэс сумел показать сплоченность тех, кто борется за правое дело, их решимость бороться до конца. Тысячи людей собираются на площади Революции: «Мы будем защищать каждое здание, каждый дом от верхнего этажа до подвала, а когда не останется ни одного этажа, мы будем защищать развалины домов!» — гремят слова Фиделя, и мощные микрофоны разносят их во все уголки Гаваны.

На плантациях сахарного тростника созрел первый урожай революции И здесь пролегла линия нового, трудового фронта. На плантации вышли все, кто хотел выиграть бой. Среди них Эвелио и Мигдалия.

А когда апрельской ночью 1961 года наемники империализма США высадились на Плайя-Хирон, Куба поднялась с оружием в руках.

«Нужно понять, что Революция — это сила более мощная, чем природа. Циклоны, ураганы и все прочее — чепуха по сравнению с Революцией. Революция обладает силами, превосходящими все явления и катаклизмы природы. Революция — это социальный катаклизм, это также народ, совершающий революцию, которая переполняет его, и он способен смести все, что стоит у него на пути, все стоящие перед ним препятствия!» Эти слова Фиделя Кастро автор взял в качестве эпиграфа к своему роману.

Недавно советские читатели познакомились с первым романом Эдмундо Десноэса, «Возвращение»,* в котором автор рассказал о судьбе молодого кубинского интеллигента Себастьяна Солера, о его жизни, стремлениях и исканиях в условиях предреволюционной Кубы, в годы кровавой диктатуры Батисты. В романе «Катаклизм» автор решает более сложную задачу — показать народ, строящий новую жизнь и самоотверженно защищающий свое право на нее.

Задача эта, бесспорно, не легка Кстати, в литературе революционной Кубы на эту тему пока что создано не так уж много произведений «большого жанра» Роман «Катаклизм» представляет собой одну из первых попыток воспроизвести эпопею кубинского народа. И хотя роман не свободен от недостатков, написан он на одном дыхании человеком, «захваченным настоящим»,— строительством социалистической Кубы, борьбой в защиту ее завоеваний.

**ГАЛИНА ЖУЧКОВА**

* Роман печатался в журнале «Иностранная литература» № 7 за 1963 год

## О ДЕШЕВОМ ОТЧАЯНИИ

**Hermann Glaser. Weltliteratur der Gegenwart. Dargestellt in Problemkreisen. West-Berlin, Ullstein, 1965.**

В последние годы на Западе все чаще выходят произведения крупных писателей современности в общедоступных карманных изданиях. Это знаменательно: широкие круги читателей не удовлетворяются развлекательной коммерческой продукцией и тянутся к серьезной книге. В каталоге «карманных книжек» западногерманского издательства Ульштейн на 1966 год содержатся любопытные цифры. В списке авторов, достигших наивысших тиражей, наряду с Гарднером, Хичкоком и другими королями авантюрно-криминального жанра значится Эрих Кестнер (380 000 экз.), Э. М. Ремарк (655 000 экз.), Джон Стейнбек (690 000 экз.), Генрих Бёль (1 210 000 экз.).

Книга Германа Глязера «Современная мировая литература» тоже вышла в издательстве Ульштейн. Вышла уже пятым (на этот раз расширенным и переработанным) изданием и, по-видимому, изрядным тиражом. В аннотации на обложке книги сформулирован замысел: «...дать картину современного мира, отражающуюся в вопросах и ответах писателей». Массовый читатель проявляет интерес к содержательной художественной литературе — значит, надо помочь ему ориентироваться в книжном потоке, надо определенным образом направить его интерес... Направить — в какую сторону? Разберемся и не будем торопиться с выводами.

Герман Глязер — автор ряда историко-литературных работ и, бесспорно, человек начитанный. Он с самого начала оговаривается, что обозревает современную мировую литературу не полностью, а выборочно. Он оговаривается также, что трудно очертить точные хронологические границы понятия «современность» — он рассматривает писателей XX века, иногда с заходами в век XIX. Диапазон получается и в самом деле громадный — от Достоевского до Ионеско.

Никто не обнимет необъятного, а современная мировая литература и вправду необъятна. Однако в отборе и умолчаниях Глязера есть своя система.

Последовательно подчиняя изложение тематическому принципу, Глязер с легкостью шагает через национальные границы и десятилетия, переходит от «Будденброков» Томаса Манна к пьесе Тенесси Уильямса «Стеклянный зверинец», от ранних пьес Шоу — к «Чуме» Камю. «Верноподданный» Генриха Манна оказывается в близком соседстве с антикоммунистическим памфлетом Оруэлла. А в главе «Умер ли бог» автор пересказывает сочинение некоего Шаппера, где говорится о злоключениях православного дьякона в стране большевиков, а затем переходит к роману Фолкнера «Свет в августе», где тоже, мол, большое

место занимает мотив крестных мук и страстей Христовых. Такая «методология», при которой *намеренно* нивелируются произведения разного художественного уровня, разной идейной направленности, дает Глязеру возможность включить немалое количество книг весьма путанного, а то и откровенно реакционного содержания в круг наиболее заметных явлений.

Уж если придерживаться жанра обзора, то, казалось бы, невозможно умолчать о тех новых пластах жизненного материала, которые были открыты — или впервые широко разработаны — писателями нашего времени.

Можно ли сказать, что Герман Глязер вовсе игнорирует, например, писателей Востока? Вроде бы и нет: в поле его зрения входит Юнихиро Танидзаки, создатель романа «Ключи» — «одной из наиболее жестоких книг новейшей эротической литературы». Но в «мировой литературе», как ее понимает Глязер, не числятся ни Рабиндранат Тагор, ни Лу Синь. Нет в обзоре Глязера поэтов и прозаиков стран Латинской Америки, даже таких всемирно признанных мастеров, как Пабло Неруда, Жоржи Амаду или Мигель Анхель Астуриас. Не говорим уже о писателях Африки. Слава П. Абрахамса, Л. С. Сенгора, Сембена Усмана давно уже вышла за пределы африканского континента, но у Глязера мы не найдем ни слова о них. Писатели развивающихся стран вносят в мировую литературу *свои* темы и проблемы, *свои* образы и краски. И умалчивать о них — значит обеднять картину литературной современности.

Естественно, что в эпоху, богатую невиданными историческими потрясениями и сдвигами, социальными революциями, национально-освободительными движениями, написано много выдающихся книг на темы, волнующие миллионы людей. Но именно к этим тематическим сферам литературы нашего столетия Герман Глязер весьма равнодушен.

В первой главе книги обозревается длинный ряд произведений, повествующих об упадке и вырождении буржуазии: тут и Драйзер, и Пруст, и Синклер Льюис, и Макс Фриш. Глава вполне закономерно завершается выводом: «Буржуазная эпоха приходит к концу». Читатель ждет: а что же будет сказано о творчестве писателей, которые вдохновляются мятежной энергией угнетенных классов и народов? Одна из последующих глав названа «О нужде бесправных». Здесь на скорую руку изложено несколько книг, где говорится о гибели евреев при фашизме, о дискриминации негров в США; затем пересказано небольшое число произведений на тему о бедствиях, которые приносит людям война. Однако мотивы *протеста, борьбы* народов против империалистической войны и угнетения Глязером последовательно замалчиваются.

Немецкому литератору, казалось бы, невозможно обойти в обзоре мировой литературы антифашистскую тему. Однако Глязер по мере сил ее обходит. «Успех» Л. Фейхтвангера бегло упомянут как полудокументальное повествование о Мюнхене 20-х годов. Выдающиеся романы о борьбе немецких антифашистов-подпольщиков, привлекшие в годы гитлеровского господства внимание международной общественности — «Седьмой крест» Анны Зегерс, «Испытание» Вилли Бределя,— даже не названы. Не названа и замечательная книга Юлиуса Фучика «Репортаж с петлей на шее», переведенная на пятьдесят с лишним языков.

В числе немногих антифашистских произведений, удостоившихся внимания Глязера, роман Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Общеизвестно, что роман этот написан с самой горячей симпатией к делу республиканской Испании, проникнут уважением к героям справедливой освободительной войны. В разборе Глязера содержание этой книги грубо искажено. «Люди, роковым образом запутавшиеся, попавшие в сети тоталитарного государства и его идеологии, утратившие способность понимать, что такое гуманность и права человека, поддаются безумию взаимного уничтожения». Отважные борцы за свободу Испании кощунственно приравниваются к фашистским бандитам.

Весьма вольное обращение с фактами находим мы и в некоторых обобщающих суждениях Глязера. Он перечисляет видных литературных деятелей XX века, которые «с оговорками, или безоговорочно, или по крайней мере с сочувствием обратились к коммунизму и к большевистской партийности». Тут названы, в частности, Тухольский, Генрих Манн, Брехт, Арнольд Цвейг, Роллан, Арагон, Сартр, Симона де Бовуар, Гашек, Лакснесс, Драйзер, Хемингуэй, Стейнбек, Витторини. Нетрудно заметить, что в этом перечне отсутствуют некоторые из всемирно известных писателей, проявлявших искренние симпатии к делу Октябрьской революции,— от Анатоля Франса до Л. Фейхтвангера и Юлиана Тувима; не названы и выдающиеся писатели-коммунисты разных стран и поколений — Джон Рид, Анри Барбюс, Поль Элюар, Жан-Ришар Блок, Иоганнес Бехер, Анна Зегерс, М. Андерсен-Нексе, Э. Киш, Назым Хикмет, Витезслав Незвал, Иван Ольбрахт, Владислав Броневский.

Глязер не включает в свой список ни эти, ни многие другие достойные имена, но зато называет тут же, рядом известных писателей модернистского склада, эпизодически тяготевших к СССР, А. Жида и А. Мальро, называет еще несколько литераторов, по большей части второстепенных, ставших ренегатами коммунистического движения, и ничтоже сумняшеся делает вывод: «Большинство вышеназванных впоследствии отреклись от коммунизма». Большинство? Даже по отношению к упомянутым Глязером именам это неправда и в прямом арифметическом смысле. Тем более неправда, если принять во внимание силу таланта каждого из названных писателей, их нравственный облик и авторитет, их удельный

вес в современной культуре. Дело, конечно, не в случайных поворотах отдельных писательских судеб. Ведь еще на заре нашего столетия движение человечества к социализму осознавалось наиболее проницательными умами как веление времени. Ведь еще Золя (которого Глязер преподносит не как автора «Жерминаля», а *только* как автора «Терезы Ракен» и «родоначальника натуралистического отвращения к жизни») в последние годы приходил к убеждению: «социализм — вот будущее». А полвека спустя другой большой художник-гражданин, умудренный историческим опытом, Томас Манн произнес широко известные мудрые слова: «Антибольшевизм — главная глупость нашей эпохи». Именно этой преступной глупостью продиктованы многие страницы книжки Глязера.

Глязер не мог себе позволить вовсе умолчать о советской литературе: интерес к ней в ФРГ велик, это подтверждается текущей статистикой переводов. Однако круг советских писателей, о которых говорится в книге, до предела сужен. А уровень анализа? Приведем для примера характеристику Горького. Она уместилась в одном-единственном абзаце. «Безграничное обнищание русского человека показал Максим Горький в драме «На дне». В 1902 году она была поставлена Станиславским в Москве и повсюду воспринята как пролог революционного возмущения; 750 000 экземпляров были проданы за несколько месяцев. Горький был коммунистом; в своем творчестве, в частности в романе «Мать», в значительной мере автобиографическом (!), он отвернулся от традиции (русская литература, дескать, самая пессимистическая литература в мире) и повернулся к «положительному герою»; он хотел показать, как надо «выдумывать» будущее».

Подобная же смесь полуправды и лжи налицо и в других характеристиках советских писателей. «Тихий Дон» в истолковании Глязера — «грандиозное полотно о жертвенном пути народа», написанное «без партийно-политической предвзятости». Сатира Зощенко, оказывается, направлена не против мещанских традиций и нравов, а против «порочности большевистских партийных будней». Не обошелся Глязер и без обычной — ставшей уже шаблоном в известного рода литературоведческих «трудах» — спекуляции на трагических эпизодах в истории советского общества. Он даже смерть Есенина и Маяковского ставит в некую туманную связь со «сталинскими чистками».

Словом, Герман Глязер делает все возможное, чтобы исказить, умалить в глазах читателя значение передовой, реалистической литературы нашего времени — той литературы разных стран, в которой отразилась борьба народа против фашизма и империалистической реакции, за демократию и социализм. Ведущую роль он отводит писаниям совершенно иного рода.

Селин и Роб-Грийе, Беккет и Набоков — эти и многие другие, менее известные, антироманисты и антидраматурги трактуются Глязером как центральные фигуры литературного процесса. Разборы литературных произведений то и дело становятся для автора поводом, чтобы напомнить о «великой виновности современного человека», продемонстрировать «кафкианский хаос мира, где всюду воздвигнуты глухие стены, где становится очевидной безвыходность положения человека, загнанного в лабиринт». «Человек во все времена жил в соседстве с пропастью»,— утверждает Глязер. «...Но лишь редко бывали писатели и мыслители столь погружены во тьму, как в наши дни». Ничтожность человека, бессмысленность бытия — таковы лейтмотивы, назойливо проходящие через всю книгу.

Но в финале Глязер неожиданным образом спохватывается. Какую роль может играть в жизни людей искусство абсурда и распада? «Под впечатлением разлагающих сил, которые всюду угрожают человеку и ставят под вопрос его жизнь и судьбу, современная литература нередко сама становится фактом разложения». По отношению к *той* литературе, которая особенно мила сердцу Глязера, это, пожалуй, верно... Большое, настоящее искусство не может держаться на одной лишь ноте уныния: позиция творцов «черной» литературы не только морально предосудительна, но и эстетически неплодотворна. Но если так, то этим, по сути дела, *опрокидывается* вся та шкала оценок, которой придерживался Глязер на протяжении книги.

Внимания современных писателей, разумеется, достойны не только любовь и нежность, но и активное противостояние человека силам реакции и зла; не только доверие и дружба, но и боевая солидарность людей, которые добиваются переустройства мира на началах социальной справедливости. А разве нет в литературе нашего времени таких книг, таких образов? Они есть, их даже весьма немало, но Глязер либо искажает их смысл, либо вовсе о них умалчивает.

Генрих Бёль однажды заметил: проповедники дешевого, модного отчаяния часто живут весьма беспечально. Это вполне применимо к Герману Глязеру. Его, видимо, мало беспокоит, что он прибавил еще одно сочинение к обширной коллекции книг, сеющих дешевое, модное отчаяние, то есть являющихся, по его собственным словам, «фактором разложения».

**Т. МОТЫЛЕВА**

# НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Согласно выпущенному ЮНЕСКО очередному тому «Индекса переводов», наибольшее число переводов с иностранных языков в 1964 г., а именно 4405, было опубликовано в СССР. США занимают лишь шестое место — после СССР, ФРГ, Италии, Голландии и Франции. На последнем месте Коста-Рика (один перевод).

Болгарское издательство «Народна култура» выпустило несколько книг советских писателей: роман-эпопею «Путь Абая» М. Ауэзова, «Избранные стихотворения» Р. Гамзатова, «Повести о Гоголе» А. Полторацкого, стихотворения А. Малышко и С. Олейника, исторический роман «Святослав» С. Скляренко, а также «Избранные стихотворения» М. Танка.

Там же вышла повесть А. Дейча «Ломикамень». Повесть рассказывает о жизни Леси Украинки, чье творчество хорошо известно в Болгарии, где недавно вышел в свет сборник ее стихотворений в новых переводах Стояна Бакарджиева.

В нескольких болгарских издательствах вышли произведения Ч. Айтматова: повесть «Джамиля» — в издательстве «Народна просвета», повесть «Материнское поле» — в государственном военном издательстве, «Повести гор и степей» — в издательстве «Народна младеж». Там же выпущена книга Н. Ходзы «Самый человечный человек. Рассказы о Ленине».

Пьеса А. Шервашидзе «Девушка из Сантьяго» вышла в софийском издательстве «Наука и искусство».

Издательство Болгарской коммунистической партии выпустило объемистый сборник «Максим Горький о литературе».

Первый раздел сборника содержит «Литературные портреты». Это широко известные очерки о Ленине, Толстом, Чехове, Леониде Андрееве, Короленко, Блоке, Есенине, Пришвине, Ромене Роллане. Статьи, речи и доклады Горького составили второй раздел сборника.

«Выход сборника «Максим Горький о литературе» несомненно еще больше углубит интерес к творчеству великого советского писателя, у которого училось несколько поколений наших творческих работников,— писал в еженедельнике «Литературен фронт» рецензент В. Ганев.— Максима Горького будут читать и перечитывать. Особенно он нужен молодежи, ищущей свои пути в литературном творчестве...»

«Пять лет назад в Болгарии начала регулярно выходить библиотечка «Советские поэты»,— рассказал редактор этого издания писатель Христо Радевский. Сейчас в ней выходит десять книжек в год, в которые включены произведения поэтов всех национальностей Советского Союза. Над переводами работают известные болгарские поэты.

«К настоящему времени изданы стихи шестидесяти советских поэтов,— сказал Радевский,— Александра Блока и Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Николая Заболоцкого, Николая Асеева и Михаила Светлова, Павло Тычины и Максима Рыльского, Янки Купалы и Петруся Бровки, Симона Чиковани и Самеда Вургуна, Сильвы Капутикян и Эдуардаса Межелайтиса».

Готовятся к выпуску стихи Гафура Гуляма и Мирзо Турсун-заде, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Ояра Вациетиса, Николая Тихонова, Алексея Суркова, Саломеи Нерис, Аветика Исаакяна, Зульфии и других.

«В последние годы наш читатель сделал своеобразные открытия. Он открыл сказочный, веселый мир мечтателя Александра Грина, яркий, самобытный дар Исаака Бабеля, тонкий, многогранный юмор Юрия Олеши. Теперь ему предстоит открыть и Андрея Платонова — большое и светлое имя в русской литературе»,— писал обозреватель болгарского еженедельника «Литературен фронт» в связи с опубликованием на его страницах рассказа А. Платонова «Третий сын». Перевод выполнен М. Митовской. В 1967 году Пловдивское издательство «Хр. Г. Данов» выпустит сборник избранных произведений Андрея Платонова.

Тематические планы болгарских издательств предусматривают выпуск к 50-летию Великого Октября специальной библиотечки «50 лет советского романа», а также сборников «Советская литература в Болгарии», «Антология поэзии, посвященной Октябрьской революции» и альбома «50 лет советского изобразительного искусства», которые будут подготовлены совместно с издательствами Советского Союза.

В заметке театрального рецензента итальянской газеты «Унита», озаглавленной «Стрелы Маяковского продолжают разить», говорится о большом успехе пьесы «Клоп» на сцене миланского театра «Театро ди Палаццо Дурини».

За прошедший год в Румынии переведено около трех десятков книг советских авторов и опубликовано два сборника советской прозы — «Антология советской новеллы» и «Красное яблоко».

Рисунок Ивана Кьосева к роману Ф. Гладкова «Цемент», который выходит в Болгарии в серии «50 лет советского романа».
*(Газета «Народна култура»)*

В числе этих трех десятков советских книг — повести и рассказы Л. Леонова, «13 трубок» И. Эренбурга, «Коротное замыкание» В. Тендрякова, «Иду на грозу» Д. Гранина, «Тронка» О. Гончара, «Материнское поле» Ч. Айтматова, «Дорогой мой человек» Ю. Германа, «Дикий мед» Л. Первомайского и другие.

Двухтомная «Антология советской новеллы» (Издательство художественной литературы, Бухарест) охватывает период 1945—1965 гг. В «Антологию» вошли рассказы М. Шолохова, К. Паустовского, Л. Леонова, К. Симонова, Э. Казакевича, С. Антонова, В. Пановой, В. Кетлинской, Г. Николаевой, Ю. Нагибина, Г. Бакланова, В. Тендрякова, В. Быкова, Ю. Казакова, Ч. Айтматова, А. Кузнецова и др.

Сборник «Красное яблоко», получивший наименование по рассказу Чингиза Айтматова, вышел в бухарестском Издательстве мировой литературы. В предисловии говорится, что «ранее были опубликованы сборники «При свете дня» (1963) и «Когда мы вместе» (1964) — с целью ознакомления румынского читателя с лучшими образцами советской литературы последних лет так называемого «малого жанра». Разнообразные по тематике и по творческой манере, отражающие широкий диапазон чувств и душевных состояний героев, рассказы и новеллы этого сборника,— говорится далее в предисловии,— рисуют картины жизни современного советского общества, передают волнения, радости и горести людей различных поколений и социальных категорий». Помимо произведений, принадлежащих перу известных советских писателей — К. Симонова, В. Аксенова, В. Кожевникова, Ю. Нагибина, В. Тендрякова, Ч. Айтматова,— в сборник вошли рассказы писателей, лишь недавно пришедших в литературу,— В. Емельянова, И. Грековой и др.

Народный театр города Негой (Румыния) поставил «Оптимистическую трагедию» Всеволода Вишневского.

Белградское издательство «Народна книга» выпустило в переводе Даницы Якшич роман белорусского писателя Ивана Шамякина «Сердце на ладони».

Газета «Борба» публикует в отрывках повесть Ю. Королькова «Человек, для которого не было тайн (Рихард Зорге)».

Издательство «Графички завод» в Титограде (Югославия) выпустило книгу «Маяковский в воспоминаниях современников», в которой собраны мемуары В. Андреева, К. Чуковского, Н. Сереброва, П. Антокольского, С. Спасского, В. Шкловского, В. Мейерхольда, Л. Брик, П. Незнамова, Н. Асеева, Л. Сейфуллиной, В. Саянова и Л. Кассиля. Рецензент газеты «Политика» называет Маяковского «выдающейся поэтической личностью», влияние которой на литературу ощущается и поныне.

Австрийская газета «Фольксштимме» в своем еженедельном приложении опубликовала рассказ Ю. Казакова «Запах хлеба».

В издательстве «Фольк унд вельт — Культур унд фортшритт» (ГДР) вышли «Воспоминания о Ленине» Н. К. Крупской и воспоминания К. Т. Свердловой «Яков Михайлович Свердлов». Там же выпущен роман Л. Леонова «Дорога на океан», роман Г. Холопова «Гренада», повесть А. Авдеенко «Над Тиссой».

Корреспондент журнала «Театер дер цейт» сообщает о гастролях «Дейчес театер» (ГДР) во Франкфурте-на-Майне. В числе других постановок театр показал зрителям пьесу В. Розова «В дороге».

Тот же театр показал в Бонне пьесу Е. Шварца «Дракон». Спектакль прошел с большим успехом. Пресса отмечает, что это первое представление, данное театром из ГДР в столице ФРГ.

Веймарский национальный театр (ГДР) во время гастролей в Аугсбурге (ФРГ) показал пьесу М. Горького «Васса Железнова».

Дрезденский государственный оперный театр — впервые на немецкой сцене — готовит постановку оперы Шостаковича «Тихий Дон» по роману М. Шолохова.

В мюнхенском издательстве «Гольдман-ферлаг» вышли в свет «Донские рассказы» М. Шолохова, роман Г. Бакланова «Мертвые сраму не имут», повесть Н. Евдокимова «Грешница», роман В. Киселева «Человек может», а также роман Н. Вирты «Крутые горы».

Повесть С. Залыгина «На Иртыше» выпущена Государственным издательским институтом Польши (ПИВ).

Барселонское издательство «Планета» (Испания) выпустило в свет «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Перевод «Тихого Дона» сделан бывшим ректором Мадридского университета известным испанским ученым Хосе Энтральго. Критика высоко оценивает этот роман Шолохова и его творчество в целом. Барселонский еженедельник «Дестино» в специальной статье, написанной критиком Сэрхио Виларом, называет «Тихий Дон» и «Поднятую целину» вершиной творчества Михаила Шолохова. Высоко оцениваются Виларом также «Судьба человека» и ранние рассказы Шолохова.

Там же вышли «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого и «Волоколамское шоссе» А. Бека.

«Испанский дневник» Михаила Кольцова выпущен издательством «Наше войско» (Чехословакия).

Государственное издательство детской книги в Праге выпустило повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».

Исторический роман Д. Демирчяна «Вардананк» выпущен парижским издательством «Шток».

Издательством «Жюллиар» (Франция) выпущен в двух томах роман К. Симонова «Солдатами не рождаются».

В издательстве «Эдитёр франсе реюни» вышла повесть В. Аксенова «Апельсины из Марокко». Как пишет обозреватель газеты «Юманите», ранее французские читатели познакомились с «Коллегами» и «Звездным билетом».

Французское издательство «Галлимар» в серии «Советская литература», которую редактирует Луи Арагон, выпустило сборник рассказов Ю. Тынянова, получивший название «Подпоручик Киже». В сборник вошли рассказы «Подпоручик Киже», «Восковая персона» и другие. В рецензии на сборник обозреватель еженедельника «Леттр франсез» пишет: «Рассказы Юрия Тынянова — лучшие из всех иностранных рассказов, переведенных на французский язык в 1966 году».

В той же серии вышел сборник под названием «Воздушные пути и другие рассказы» Б. Пастернака в переводе А. Робеля.

В издательстве «Сегер» вышел отдельной книгой биографический очерк «Тарас Шевченко», написанный М. Рыльским и А. Дейчем.

---

Газета «Юманите» (Франция) опубликовала статью Андре Стиля, посвященную советской литературе, в связи с выставкой-продажей марксистской книги. Стиль подчеркивает все увеличивающееся разнообразие тем советской литературы, ее подлинный реализм, сочетание в ней классических традиций с новаторством. В этой связи автор останавливается на «Конспекте романа» В. Пановой, «Зосе» В. Богомолова, рассказах Ю. Трифонова, повести С. Залыгина «На Иртыше».

---

Венгерское издательство «Европа» выпустило повесть В. Быкова «Третья ракета», роман В. Фоменко «Память земли», а также «Избранные рассказы» О. Вишни.

В издательстве «Кошут» вышла повесть А. Рекемчука «Молодо-зелено», в издательстве «Магвете» — роман М. Стельмаха «Правда и кривда», а в издательстве «Мора» — «Приключения Айвама» Т. Семушкина.

---

Издательство «Гуо Пиу паблик-кейшн» в Рангуне (Бирма) выпустило роман Н. Островского «Как закалялась сталь».

---

«Библиотека универсал популар» в Рио-де-Жанейро (Бразилия) издала «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева.

---

Сборник произведений литовского писателя В. Креве под названием «Старый пастух» и другие рассказы» вышел в Нью-Йорке (США) в издательстве «Мейлэнд букс».

---

Роман эстонского писателя А. Таммсааре «Новый Ванапаган из Пыргупыхья» выпущен финским издательством «Кансанкулттуури».

---

Пьеса А. Арбузова «Иркутская история» поставлена в кубинском городе Сантьяго-де-Куба драматическим коллективом «Ориенте Ван Чай».

---

Калькуттское издательство «Видеши Сахитья» (Индия) выпустило повесть Ч. Айтматова «Джамиля».

---

За несколько последних лет в Голландии издано немало произведений русских и советских писателей. Наряду с русской классикой — книгами Достоевского, Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Л. Толстого, Чехова, Лескова — голландские читатели получили книги «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Они сражались за родину» М. Шолохова, «Тишина» Ю. Бондарева, «Живые и мертвые» К. Симонова, «Продолжение легенды» А. Кузнецова, «И подо льдом река течет» латвийского писателя М. Бирзе, «Ошибка Оноре де Бальзака» Н. Рыбака, «Первый учитель» Ч. Айтматова, «Евдокия» В. Пановой и многие другие произведения.

Кроме того, в Голландии издан сборник переводов произведений советских поэтов: Евтушенко, Рождественского, Вознесенского, Винокурова и Старшинова под названием «Россия, это ты...» «Этот прекрасный сборник стихов с удовольствием прочтет всякий любитель поэзии»,— писал критик газеты «Де Ваархейд».

Иллюстрация к роману «Июль 1941 года» Г. Бакланова из серии, созданной художниками К. Тасеевым и Ю. Минчевым.

# ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

## АВСТРАЛИЯ

### АВСТРАЛИЙСКИЕ ПОЭТЫ ПРОТИВ ВОЙНЫ ВО ВЬЕТНАМЕ

Прогрессивная общественность Австралии протестует против «грязной войны» американского империализма во Вьетнаме и поддержки ее австралийскими властями. В Мельбурне под председательством известного австралийского писателя Джуды Уотена прошли чтения антивоенных стихов. Среди их авторов — совсем еще юные поэты и уже признанные мастера литературы.

Поэт Майкл Хэмель-Грин прочел стихотворение «Солдат, уверен ли ты?». Поэтесса Вильма Хэдли выступила с чтением большой поэмы. Главная ее мысль — право каждого честного человека протестовать против войны во Вьетнаме. Поэт Сирил Гуд прочел гневную сатирическую поэму о войне.

Каждый из выступавших, отмечает корреспондент еженедельника «Трибюн», говорил своим языком, но все повторяли вновь и вновь: войну во Вьетнаме нужно прекратить как можно скорее.

Джуда Уотен заявил, что выступления поэтов, отстаивающих дело мира, будут проводиться и впредь.

Как сообщает печать, 58 видных деятелей литературы подписали обращение, выпущенное в виде листовки: «Писатели против участия австралийцев в войне во Вьетнаме».

### К ЧЕМУ СТРЕМИТСЯ БАРБАРА?

Сиднейские зрители увидели новую пьесу Моны Брэнд «Барбара». Рецензент еженедельника «Трибюн» считает ее наиболее серьезной попыткой писательницы разобраться в современной австралийской действительности.

Судьбы молодежи, проблемы нравственных ценностей в центре внимания автора. Молоденькая девушка Барбара Беннетт выросла в буржуазной семье среднего достатка, в комфортабельном изолированном мирке и находится на попечении властной любящей матери и добросердечного, слабовольного отца. Своенравной, впечатлительной Барбаре хочется самостоятельно прокладывать путь в жизни и принимать решения. Но жизненный опыт достается ей дорогой ценой: она проваливается на экзаменах при поступлении в университет, обманывается в любимом человеке.

«Это пьеса о проблеме личных взаимоотношений, о конфликте между поколениями,— пишет рецензент еженедельника.— Сюжет и характеры героев пьесы неразрывно связаны с социальной средой».

## АВСТРИЯ

### КРИЗИС КИНО

С 1962 по 1965 год в стране закрылось более 100 кинотеатров, сообщил корреспонденту газеты «Фольксштимме» один из деятелей австрийской кинематографии, не пожелавший назвать свое имя. За это время число фильмов на немецком языке уменьшилось вдвое. На экранах кинотеатров преобладают низкопробные ленты некоторых западных киностудий — фильмы «ужасов», «секс»-фильмы и т. д. Серьезным конкурентом кинематографии стало телевидение.

«Однако,—заявил австрийский кинематографист,— хорошо сделанные, интересные фильмы по-прежнему находят отклик у публики». К таким фильмам он относит, в частности, советский фильм «Гамлет» Григория Козинцева и «Корабль дураков» Стэнли Крамера (США).

## АНГЛИЯ

### ЛОУРЕНС ОЛИВЬЕ О СЕБЕ

В интервью критику и публицисту Кэннету Тайнену для Британской радиовещательной корпорации (Би-Би-Си) знаменитый английский актер Лоуренс Оливье рассказал о своем жизненном и творческом пути,

поделился своими мыслями об актерском труде, о будущем английского театра, своим опытом работы над отдельными ролями.

...В 1937 году Лоуренса Оливье пригласили на работу в театр «Олд Вик». Его первой ролью был Гамлет.

— Были ли вы уверены в себе? Наверное, было страшно? — спросил Тайнен.

— Да, было страшно,— признался Оливье.— Но вопрос стоял так: или все, или ничего. Поэтому единственное, что оставалось делать,— это дебютировать в той роли, за которую—я знал— меня будут строго критиковать. В конце концов, Джон Гилгуд доказал, что он лучший Гамлет нашего поколения, и с моей стороны было бы глупо пытаться соперничать с ним. Но я подумал: «Придется пройти сквозь это, и пусть меня поколотят, но без этого я ничему не научусь».

— Поговорим,— предложил Кэннет Тайнен,— о сыгранной вами роли Отелло. Ведь вначале вам очень не хотелось браться за эту роль. Почему?..

— Я не был уверен, что моя внешность полностью подходит для роли Отелло, а кроме того, меня беспокоил мой голос,— ответил Оливье.— Я считал его недостаточно низким. Мне пришлось долго тренировать мой голос, чтобы усилить басовые его ноты. И мне это удалось. Кроме того, я много занимался гимнастическими упражнениями, и этот жесткий режим я продолжаю выдерживать по сей день, чтобы всегда быть в форме.

Как известно, Лоуренсу Оливье было предложено стать первым руководителем английского Национального театра, впервые в Англии получившего правительственную субсидию; он же был организатором труппы.

— Не мешает ли административная работа вашей актерской профессии? — поинтересовался критик.

— Нет,—ответил Оливье,— ведь я люблю эту работу. Мне кажется, я могу сочетать и то и другое. Я давно мечтал о Национальном театре для нашей страны, который будет субсидироваться государством. Это единственный способ сделать театр органической частью жизни народа.

О будущем английского театра Лоуренс Оливье сказал:

— Я хотел бы, чтобы для театра были созданы более благоприятные условия, такие, в которых можно было бы расширить театральную деятельность. И, может быть, тогда искусство актера будут рассматривать как один из важных факторов в жизни народа.

### «ПРИВИЛЕГИЯ»

Молодой кинорежиссер Питер Уоткинс, постановщик антивоенного фильма «Игра в войну» (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 7, 1966) в настоящее время работает над фильмом под названием «Привилегия». Как пишет корреспондент газеты «Морнинг стар», этот фильм может оказаться самым интересным кинопроизведением 1967 года.

«Привилегия» — сатирический фильм, действие которого происходит в 1970 году. Главный его герой — исполнитель популярных песенок, кумир наподобие «битлов». Его роль исполняется популярным певцом и композитором Полом Джонсом. Постепенно кумир превращается в лидера полуфашистского евангелического движения...

Массовые эпизоды, как и в «Игре в войну», Уоткинс старается не инсценировать, а снимать «в натуре». В этом фильме, в частности, им широко использованы съемки, сделанные на Бирмингемском стадионе и в других общественных местах.

Все, кто ждет развлекательной картины, будут разочарованы, пишет критик «Морнинг стар» Нина Хиббин: это будет комедия с примесью горечи, сатира на современное английское общество.

Питер Уоткинс на съемках фильма «Привилегия».
*(Газета «Морнинг стар»)*

## БОЛГАРИЯ

### БОЛГАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ

Как сообщает печать, с начала 1965 года 110 произведений болгарской художественной литературы изданы в четырнадцати странах.

Много болгарских книг переводится и издается в социалистических странах: в Югославии и Румынии, в ГДР и Венгрии, в Польше и Советском Союзе.

В связи с подготовкой в Польше большой антологии болгарской поэзии Болгарию недавно посетил известный польский поэт и переводчик Анатоль Стерн.

«В антологии будет около 450 страниц,— сказал Стерн корреспонденту еженедельника «Литературен фронт»,— в нее войдут произведения более шестидесяти болгарских поэтов, главным образом современных. Переводить их будут тридцать известных польских поэтов. Антология выйдет из печати в 1967 году».

В Греции недавно изданы антология «Болгарские рассказы», состоящая из произведений классиков и современных авторов; новелла Емилиана Станева «Похититель персиков»; поэтический сборник Доры Габе для детей и юношества «Я, мама и мир». В Афинах выходит антология «Двадцать восемь современных болгарских поэтов», составленная и переведенная поэтом Эвангелосом Камберосом. Предстоит издание еще одной антологии, в которую будут включены избранные стихотворения болгарской классической поэзии.

В Турции в настоящее время впервые готовится к изданию сборник произведений болгарских прозаиков.

## «ТАК ГАСНУТ ЗВЕЗДЫ...»

Ушел из жизни большой болгарский поэт, заслуженный деятель культуры, дважды лауреат Димитровской премии Веселин Ханчев. Его произведения неоднократно переводились в Советском Союзе; в 1963 г. московское издательство «Прогресс» выпустило сборник его стихов под названием «Лирика». Отдельные стихи поэта публиковались на страницах журнала «Иностранная литература».

Первая книга стихов Ханчева «Испания на кресте» вышла в 1938 году. В полную силу его поэтический талант раскрылся после 9 сентября 1944 г. Героика освободительной войны против фашизма воплотилась в сборнике Ханчева «Стихи в обоймах» (1954).

Одним из лучших достижений современной болгарской поэзии считается его сборник «Лирика», вышедший в 1960 г.

Веселин Ханчев был прекрасным знатоком и переводчиком советской, французской и польской поэзии.

«Погасло одно из самых ярких светил на нашем поэтическом небосклоне, — сказал на траурном митинге поэт Валерий Петров.— Так гаснут те звезды, которые мы называем «падающими», но которые прочерчивают свой искрящийся след в зените. У немногих из нас свободный стих звучал столь естественно, немногие из нас умели так сжато выражать свои мысли и чувства, немногим из нас удалось добиться тех творческих прозрений, какие он постиг в цикле «Я жив».

«Со смертью Веселина Ханчева,— писала газета «Работническо дело»,— болгарская поэзия и наша социалистическая культура потеряли одного из наиболее даровитых и самых одухотворенных своих представителей».

## ВЕНГРИЯ

### «Я НЕНАВИЖУ ВОЙНУ»

Талант молодого художника Фридьеша Порштa, широко известного своими графическими работами, иллюстрациями к произведениям Томаса Манна, недавно предстал в новом качестве. В одной из телевизионных передач зрители увидели художника в мастерской, во время работы над созданием... фотомонтажей.

Эти произведения Порштa имеют ярко выраженную антивоенную и антифашистскую направленность. «Я ненавижу войну,— сказал художник,— и каждый мой монтаж проникнут именно этим чувством».

Вот одна из работ Фридьеша Порштa. Перед современным зданием из стекла и бетона — нацистский офицер со свастикой на рукаве, за его спиной — развалины. «Я сделал это и готов повторить, если позволят»,— как бы говорит этот матерый фашист. Несколько монтажей Порштa посвящены борьбе вьетнамского народа против американских агрессоров.

## ГДР

### ГАННЕС ТРОСТБЕРГ — БОРЕЦ ЗА НОВУЮ ГЕРМАНИЮ

Внимание прессы ГДР привлекла новая пьеса для радио и телевидения «Ганнес Тростберг». Автор ее — известный писатель Бернгард Зеегер (роман Зеегера «Осенний дым» опубликован в «Иностранной литературе» №№ 3—5, 1963).

«Это попытка проследить нашу национальную историю на протяжении последних 20 лет — с конца войны до настоящего времени»,— от-

Фотомонтаж Фридьеша Порштa.
*(Журнал «Орсаг вилаг»)*

мечает рецензент журнала «НДЛ». Ганнес Тростберг — бывший рабочий, ставший государственным деятелем,— один из тех борцов-антифашистов, которые вынесли все тяжести гитлеровской диктатуры, прошли сквозь ад фашистских лагерей. Именно эти люди проложили путь к новой, социалистической Германии. «История Ганнеса и его семьи — это история всей нашей жизни»,— пишет обозреватель газеты «Нейес Дейчланд».

Недавно пьеса Зеегера была показана по центральному телевидению ГДР.

Газеты помещают читательские отклики на пьесу «Ганнес Тростберг». «Из новой пьесы Зеегера мы узнаем о том, как труден был путь борцов против гитлеризма»,— пишут читатели «Нейес Дейчланд».

Артист Герберт Кёфер, исполняющий одну из главных ролей в пьесе, заявляет в письме в газету «Берлинер цейтунг»: «Такие люди, как Ганнес Тростберг,— истинные герои. Пьеса Зеегера — памятник им».

Высоко оценивая новую пьесу Зеегера, рецензент газеты «Нейес Дейчланд» говорит о «правдивом изображении в ней людей и конфликтов».

## ФРГ

### «ЗВЕЗДА НА АМЕРИКАНСКОМ ФЛАГЕ»

«Я осуждаю войну США против Вьетнама»,— заявил Мартин Вальзер в речи на открытии в Мюнхене выставки изобразительного искусства против войны во Вьетнаме.

Вальзер осудил тех западногерманских писателей и публицистов, которые прямо или косвенно поддерживают агрессию США во Вьетнаме. Вслед за Генрихом Бёлем и Кристианом Гейслером Вальзер осудил политику западногерманского правительства в этом вопросе.

«Мы, вероятно, единственное западноевропейское государство (не считая Испании и Португалии), в котором критика американской агрессии не получила политической окраски,— сказал далее Вальзер.— Мы уже стали звездой на американском флаге».

Мартин Вальзер предложил собравшимся подписать воззвание, в котором осуждается война во Вьетнаме. В воззвании содержалось требование к правительству ФРГ поставить вопрос о Вьетнаме на повестку дня заседаний бундестага.

Как сообщает информационное агентство АДН, в течение одного часа это воззвание подписало 400 человек. В том же сообщении говорится, что весь сбор от продажи произведений искусства выставки и от реализации входных билетов поступил в фонд помощи Вьетнаму.

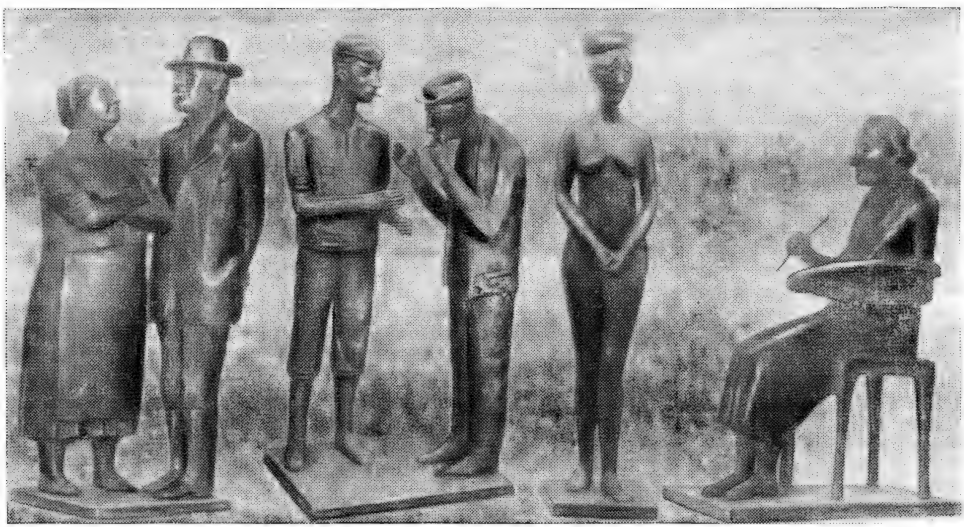
### КРАСНОРЕЧИВЫЕ СРАВНЕНИЯ

Накануне открытия осенней книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне гамбургский еженедельник «Ди андере цейтунг» привел статистические данные о «потреблении» книг в ФРГ и в ГДР.

...В 1965 году в ГДР — пишет еженедельник — было выпущено 5374 книги (число названий). В ФРГ и в Западном Берлине по данным за 1964 год (новых еще нет)

---

Художник Юрген фон Войский, живущий в молодом промышленном городе Хойерсверде (ГДР),— мастер малых скульптурных форм. Недавно еженедельник «Зоннтаг» поместил репродукции его работ. Некоторые из них мы здесь воспроизводим.



было издано 26 228 книг... Значительная разница, видимо, объясняется не столько большей численностью населения ФРГ, сколько кольчеством авторов, издателей и книготорговцев. Но превосходство в выпуске по названиям еще не значит, что западногерманский читатель больше читает, чем читатель в ГДР... Упомянутые 5374 книги были изданы в ГДР общим тиражом 96 млн. экземпляров, или в среднем 5,8 книги на одного человека. Любопытно, что аналогичной цифры общего тиража книг в ФРГ узнать невозможно. Газета «Вельт» по этому поводу писала: «Статистики общего тиража книг в ФРГ не существует. Издателей не заставишь публиковать эти данные»... Однако средний показатель «книг на одного человека» все же подсчитали: 2,3. Газета «Франкфуртер альгемейне» писала, что западногерманские издатели могут лишь завидовать тиражам книг в ГДР. А «Вельт» констатировала, что разница между цифрами 5,8 и 2,3 «вызывает тревогу» и что падение интереса к литературе уже не объяснишь тем, что, мол, на Западе зато производится больше предметов ширпотреба. Нельзя уже закрывать глаза на тот факт, что система образования и культурная политика на Востоке Германии после войны вызвали значительно большую тягу к чтению, чем на Западе...

По данным Лейпцигской книжной ярмарки средний тираж произведения художественной литературы в 1965 году составил в ГДР 17 900 экземпляров. Этой цифре действительно может позавидовать любой западногерманский издатель. Средний тираж большинства книг, выпускаемых, например, франкфуртским издательством «Зуркамп», не превышает 3—5 тысяч. Правда, последняя книга Генриха Бёля «Чем кончилась одна командировка» вышла в издательстве «Кипенхейер унд Вич» тиражом 40 000, но это относится к редким исключениям. «Причина малых тиражей,— заключает «Ди андере цейтунг»,— в высоких ценах на книги, а это не способствует росту покупательной способности. Западногерманские журналисты подсчитали, что книги в ГДР почти вдвое дешевле, чем в ФРГ».

## ГОЛЛАНДИЯ

### ПАМЯТНИК ЛИТЕРАТУРНОМУ ГЕРОЮ

В Голландии в порту Делфзейл состоялось торжественное открытие памятника Жюлю Мегрэ, литературному герою многочисленных романов Жоржа Сименона. На церемонии присутствовал писатель, автор ста восьмидесяти девяти романов, переведенных на тридцать четыре языка. Приехали издатели его книг — из Болгарии, Югославии, Испании, Финляндии, Швеции, Норвегии, Италии. К гостям присоединилась делегация клуба Мегрэ из Дюссельдорфа, местные студенты, бургомистр Делфзейла, представитель королевы.

...Упало покрывало — и перед собравшимися предстал маленький бронзовый коренастый человек в котелке в форме каски, с неизменной трубкой в руке (работа скульптора Питера д'Хонгта). Бургомистр произнес торжественную речь и вручил Сименону документ, удостоверяющий, что «Мегрэ, Жюль родился в Делфзейле в возрасте сорока четырех лет в феврале 1928 года от отца по имени Жорж Сименон и неизвестной матери».

А предыстория этого события такова: в 1928 году на борту маленького парусного судна «Остгот» двадцатипятилетний Сименон путешествовал с женой по Северному морю. В Делфзейле выяснилось, что судно требует капитального ремонта. Обреченный на вынужденную длительную остановку, молодой писатель написал здесь первый роман о знаменитом Мегрэ.

— В 1938 году я решил отправить Мегрэ на пенсию и больше о нем не писать,— рассказал Сименон корреспондентам.— Не тут-то было. Поток читательских писем вынудил меня срочно к нему вернуться и снова приняться за работу. Теперь Мегрэ существует уже независимо от моего желания. И я придерживаюсь определенного ритма: один Мегрэ в год.

Как сообщает печать, Сименон, бельгиец по происхождению, оказался первым и единственным писателем, которому при жизни выпала честь присутствовать на открытии памятника персонажу его книг.

## ДРВ

### КОГДА РЯДОМ РВУТСЯ БОМБЫ...

— Вьетнамские киноработники неутомимо трудятся,— рассказал корреспонденту «Юманите Диманш» директор Ханойской киностудии Вю Нанг Ан.— Каждый день съемки прерываются воздушными налетами, иногда рядом со студией рвутся бомбы... Когда над нами пролетают вражеские самолеты, режиссеры, операторы, актеры и актрисы прерывают работу, берутся за оружие...

Несмотря, однако, на эти обстоятельства и на недостаточную техническую оснащенность, мы выпустили в 1965 году пять полнометражных фильмов,— продолжал Вю Нанг Ан.— В этом году их должно быть десять, хотя трудностей становится все больше.

Пользуясь случаем, я хочу передать нашу искреннюю благодарность Йорису Ивеису и его французским коллегам, которые обратились к кинематографистам всего мира с призывом помочь вьетнамскому кино. Мы знаем, что этот призыв был услышан в Италии, в Бельгии, в социалистических странах...

Мне хотелось бы рассказать о работе наших товарищей в Южном Вьетнаме. Они сражаются как бойцы и в то же время посылают нам свой материал, а это для нас — ценнейшая помощь. Мы со

своей стороны делаем в Северном Вьетнаме фильмы, основанные на реальных фактах... Сейчас мы заканчиваем работу над фильмом, который называется «Труженики моря». В нем рассказывается о подвиге рыбаков, живущих в центральной части Вьетнама. Каждый день они вынуждены обороняться от налетов американских самолетов, не прекращая своей обычной работы.

**ДАНИЯ**

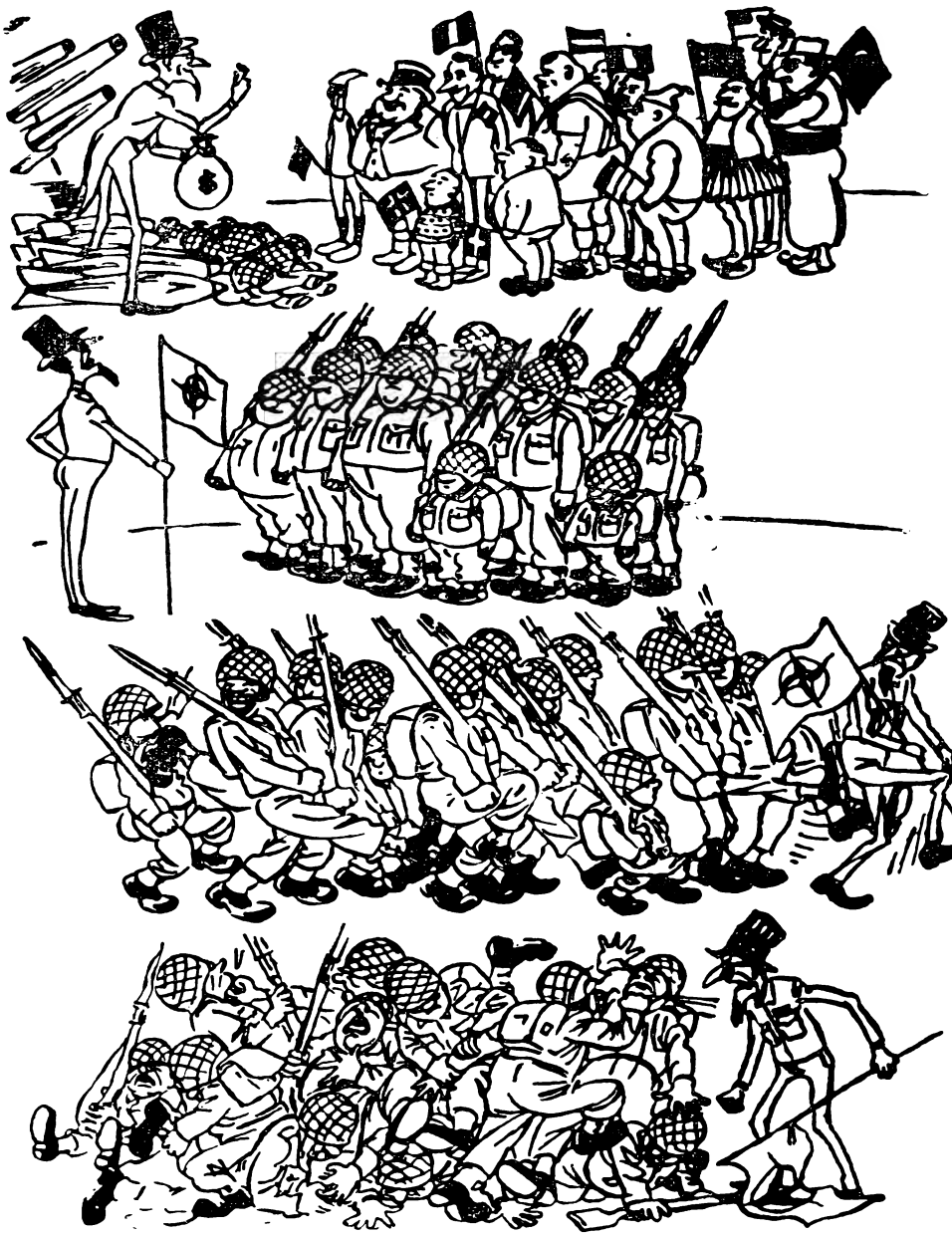


Рисунок Херлуфа Бидструпа «НАТО» (из газеты «Ланд ог фольк»).

## ИНДИЯ

### НОВЫЕ ПРЕМИИ «ФОНДА НЕРУ»

Во второй раз присуждаются премии за лучшие произведения литературы и журналистики, за лучшие переводы, способствующие сближению многоязыких стран-гигантов — Индии и СССР. Премии эти, созданные по инициативе выходящего в Индии журнала «Совьет лэнд» («Страна Советов»), носят имя выдающегося государственного деятеля и литератора Индии Джавахарлала Неру. Его дочь Индира Ганди — премьер-министр Индии — является патроном «Фонда Неру».

В Комитет по премиям Неру, возглавляемый бывшим послом Индии в СССР К. П. Меноном, входят видные литераторы, ученые и общественные деятели Индии и СССР.

Впервые премии присуждались в прошлом году, и тогда в числе лауреатов были широко известные советскому читателю индийские поэты Сумитранандан Пант и Али Сардар Джафри (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 1, 1966).

В 1966 году литературные премии были присуждены поэту хинди Хариванш Раю Баччану за составленную и переведенную им антологию русской поэзии; поэту телугу Шри Шри за сборник стихов «Так куется меч», в который вошли и оригинальные произведения и переводы из русской поэзии, в том числе из Пушкина и Маяковского. Удостоен премии и поэтический сборник Судхананды Бхарати «Песни индо-советской дружбы». Прозаик Кришан Чандар получил премию за свои рассказы, утверждающие гуманизм и мир во всем мире; его произведения, общий тираж которых в нашей стране составил 1 700 000 экземпляров, помогают советским людям лучше узнать Индию, жизнь ее народа.

Ассамский литератор Сурендра Мохан Дас получил литературную премию за перевод «Войны и мира» Л. Н. Толстого.

Количество переводов, отмеченных премиями, свидетельствует о все возрастающем интересе в Индии не только к русской литературе — ее индийские читатели знают хорошо,— но и к советской литературе. Это и рассказ «Судьба человека» М. Шолохова, переведенный на язык ория, и повесть «Джамиля» Ч. Айтматова на языке ассами, и книга «Как человек стал великаном» М. Ильина на малаялам.

Снова и снова переводятся на языки Индии книги Максима Горького; не случайно кажется индийцам, будто романы «Фома Гордеев» и «Мать» — их переводы на языки урду, пенджаби и ория заслужили премии — написаны о сегодняшнем дне их страны.

Премий за лучшие журналистские работы, способствующие укреплению дружеских связей между Индией и СССР, удостоены В. Р. Кришна Айяр и Р. К. Каранджия за сборник статей, П. В. Гадгии за книгу «Неру — глашатай мира» и др.

Отмечены премиями и рисунки индийских детей, посвященные дружбе с Советским Союзом: пятеро юных лауреатов проведут летние каникулы в международном пионерском лагере «Артек» в Крыму.

## ИТАЛИЯ

### МОНДАДОРИ «ВЫХОДИТ ИЗ ИГРЫ»

Книгоиздательство Мондадори — одно из крупнейших в Италии — заявило, что начиная с 1967 года оно ни в какой форме не будет участвовать в организации конкурсов на соискание литературных премий. Писатели, произведения которых публикуются в этом издательстве, смогут, если пожелают, участвовать в соискании премий только в индивидуальном порядке (в числе писателей, издающихся у Мондадори,— Пратолини, Арпино, Палаццески, Пьовене, Реа, Буццати и многие другие). Одновременно заявили о выходе из состава жюри различных литературных премий (а их в Италии довольно много, помимо основных — «Виареджо», «Стрега», «Прато») несколько видных критиков и писателей, в частности, руководитель издательства «Саджаторе», тесно связанного с Мондадори, известный литературовед Джакомо Дебенедетти.

Мотивируя свое решение, издательства Мондадори и «Саджаторе» в опубликованном ими специальном заявлении указывают, что в результате нынешнего порядка присуждения литературных премий в Италии дело часто кончается тем, что «премируется высокая активность издательских и внеиздательских групп, а не достоинства литературных произведений».

Комментируя отказ Мондадори участвовать в присуждении премий, корреспондент газеты «Унита» пишет, что это решение следует рассматривать как один из признаков все более явного падения престижа итальянских литературных премий.

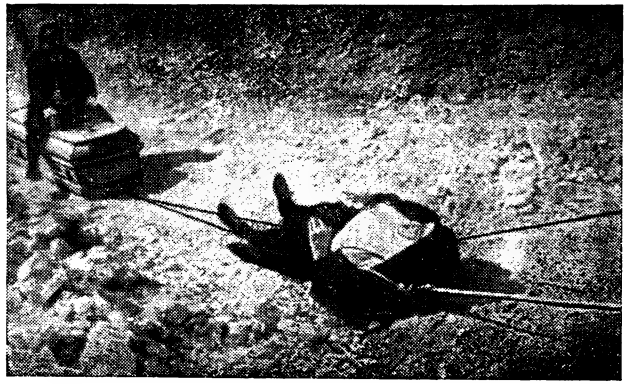
### ОКОНЧАНИЕ ТРИЛОГИИ ПРАТОЛИНИ

Прошло одиннадцать лет с тех пор, как был издан роман Васко Пратолини «Метелло», и шесть лет с момента выхода его романа

---

«Писатель в поисках нового языка» — сатирический рисунок из газеты «Унита».

«Расточительство» — первой и второй частей трилогии «Итальянская история». Теперь, по газетным сообщениям, писатель сдал в печать третью, последнюю часть — роман «Аллегория и осмеяние», в котором действие трилогии, начавшееся в конце прошлого века, доводится до наших дней. Название романа флорентийский писатель изменил уже буквально в гранках — до того заключительная часть трилогии должна была называться «Обрученные из Муньоне». Пратолини работал над этим произведением в течение шести лет с небольшим перерывом, когда он писал знакомый советским читателям роман «Постоянство разума». Книга «Аллегория и осмеяние» по своему объему превосходит «Метелло» (этот роман также известен нашему читателю) и составит очередной, девятый том собрания сочинений писателя, выходящего в издательстве Мондадори.



Кадр из фильма «Смерть бюрократа».
*(Еженедельник «Фильм»)*

## КУБА

### «СМЕРТЬ БЮРОКРАТА»

На экранах страны демонстрируется сатирический фильм Томаса Гуттьереса Алеа «Смерть бюрократа». Действие фильма происходит в 1965 году на Кубе. Он начинается сценой похорон героя фильма, раздавленного изобретенной им же машиной для производства бюстов национальных героев. Автора изобретения хоронят вместе с его трудовой книжкой. Потом оказывается, что без этого документа вдова не может получить пособие. А по закону нельзя произвести эксгумацию трупа раньше, чем через два года...

Представителям печати Алеа рассказал:

— Фильм этот сатирический. Вначале я не думал о сатире — были совсем другие планы. Но действительность столкнула меня с целой серией бюрократических типов. Я почувствовал необходимость с ними разделаться и решил поставить о них фильм. Хотел я показать и другие наши недостатки, например, предупредить об опасности «стандартизации» патриотических чувств. Ведь в художественной мастерской, где изготовляют революционные плакаты, при изображении патриота используют один и тот же штамп: мускулистые руки, великолепные зубы и т. д.

Кинорежиссер поделился своими дальнейшими планами:

— Я работаю над двумя сюжетами. Но с одним придется повременить. Это будет приключенческий фильм (XVII век, религиозный догматизм, фанатизм, контрабандисты, пираты, демонический священник, инквизиторы, битвы на суше и море), и на его постановку потребуется много средств, которыми наше кино пока не располагает. Сейчас я приступаю к съемкам фильма на современную тему. Я покажу внутренний мир ничтожного маленького буржуа. Он все критикует, остался совсем один, разуверился во всем и в себе самом.

## КУВЕЙТ

### ОТКРЫТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

В Кувейте, по сообщениям арабской прессы, открылся национальный университет. Он имеет четыре факультета: литературный, научно-технический и педагогический, а также отдельный факультет для девушек, где будут изучаться те же предметы, что и на «мужских» факультетах.

## ОАР

### ОПЕРА «АНТАР»

Сказания об Антаре — полулегендарном арабском поэте-витязе, жившем по преданию в VI веке нашей эры, не раз вдохновляли поэтов и композиторов разных стран на создание ярких произведений (например, сюита «Антар» Римского-Корсакова).

Арабский «эмир поэтов» Ахмед Шауки посвятил Антару пьесу в стихах, прославляющую подвиги этого древнего богатыря, сына бедуинского князя и эфиопской невольницы. Недавно, по сообщению журнала «Аль-Мусаввар», египетский композитор Азиз аш-Шавван положил эту пьесу Шауки на музыку, создав новую оперу «Антар», сцены из которой были показаны по каирскому телевидению.

## ПЕРУ

### ПОБЕДА ПРОГРЕССИВНЫХ СИЛ

В Лиме состоялись выборы нового правления На-

циональной ассоциации писателей и деятелей искусства Перу. Победил левый, прогрессивный список. Президентом ассоциации избран известный перуанский романист Сиро Алегриа.

Газета Коммунистической партии Перу «Унидад» писала по этому поводу: «Победа известного писателя Сиро Алегриа, избранного президентом Национальной ассоциации писателей и деятелей искусства, крайне знаменательна. Она имеет огромное значение прежде всего потому, что его конкурентом выступал представитель крайнего обскурантизма в области культуры, проимпериалистически настроенный сенатор и ректор университета в Сан-Маркосе Луис Альберто Санчес.

Победивший на выборах список включает представителей самых различных политических и эстетических направлений. Это в известной степени гарантирует их плодотворную работу в будущем. Еще больше надежды вселяют предвыборные и последовавшие за окончанием выборов заявления Сиро Алегриа, который на общем собрании членов ассоциации заверил их, что будет бороться за то, чтобы развивать и поднять на должный уровень перуанскую национальную культуру. Необходимо, чтобы ассоциация встала на путь реализма, достойный ее высокой миссии, а не дремала равнодушно и не превращалась в оплот той или иной политической партии или группировки, чтобы она стала настоящим передовым отрядом культуры, помогающим перуанскому народу правильно ориентироваться в самых различных общенациональных проблемах».

## ПОЛЬША

### НОВЫЕ ИМЕНА, НОВЫЕ СБОРНИКИ

Выходящий в Варшаве польский ежемесячный журнал «Поэзия» опубликовал обширное обозрение Ришарда Матушевского о состоянии дел в современной польской поэзии. Автор пишет, что в настоящее время в Польше издается большое количество поэтических сборников—более ста в год (в 1965 году их было издано 115). Четыре пятых из них составляет творчество поэтов, которые дебютировали за последние десять лет, причем на 1965 год приходится 40 дебютов.

Однако, отмечает Матушевский, уровень мастерства поэтов растет значительно медленнее, чем их число. «Лицо поэзии определяют прежде всего молодые,—пишет автор статьи.— В последнее время появилась довольно забавная мода сравнивать поэтические открытия с открытиями в физике. Я воспользуюсь этим и скажу, что если прав профессор Инфельд, который в своих недавно вышедших мемуарах утверждает, что 30 лет — средний возраст, когда должны проявиться творческие способности ученого в области атомной физики, то это тем более справедливо для поэтических талантов».

В числе произведений уже известных поэтов читатель в последнее время познакомился с новыми стихами Гроховяка и Харасымовича, Бялошевского, Уршули Козел и Хелены Рашки, Гжесьчака, Ратайчака и некоторых других.

Автор подробно анализирует творчество польских поэтов самого молодого поколения, которые, по его словам, являются надеждой и будущим польской поэзии, но творчество которых пока что не лишено существенных недостатков. Это — Ежи Ярмоловский и Хенрик Хартенберг, Рышард Мерник, Роман Згожельский и Земовит Скибинский, Эрнест Дычка и Кшиштоф Кориолан, Богуслава Лятавец, Войцех Буртовый, Эдмунд Петрик, Ярослав Маркевич и другие.

### ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ПОЛЬША

Событием в литературной жизни Польши явился выход из печати исследования Базыля Бялокозовича «Связи Льва Толстого с Польшей». Эта книга, пишет рецензент газеты «Трибуна люду» Вацлав Садковский, ничем не напоминает сухую диссертацию на историческую тему. Автор концентрирует внимание на взглядах и произведениях великого русского писателя, исторических документах и воспоминаниях современников, которые свидетельствуют о том, что Лев Толстой был большим другом польского народа. «Дружеские чувства Толстого к Польше, полякам и польской культуре,—пишет Садковский,—определяются его зрелым выбором, а не случайным движением души».

Бялокозович обращает внимание польского читателя на то, сколь привлекательны у Толстого образы поляков, связанных с национально-освободительным движением. «На примере отношения к Польше и к полякам мы видим, как художник всегда побеждал в Толстом философа».

Садковский называет Бялокозовича «вдумчивым и добросовестным исследователем», который раскрывает перед польским читателем величие Толстого.

### ПОБЕДА В БЕРГАМО

Международный кинофестиваль в Бергамо (Италия) «специализируется» на так называемых «авторских» фильмах, то есть таких, где режиссер и сценарист представлены в одном лице. В нынешнем году победу на фестивале в Бергамо одержала кинематография социалистических стран. В финал фестиваля вышли фильмы Польши, Югославии, Советского Союза и Чехословакии, в которых рассказывается о жизни современного молодого поколения. Главный приз фестиваля присужден польскому фильму «Барьер» режиссера Ежи Сколимовского, автора получивших высокую оценку критики и зрителей фильмов «Приметы» и «Вальковер».

«Барьер» — это история знакомства молодого студента-медика и девушки — водителя варшавского трамвая. Молодые люди бродят по Варшаве, разговаривают... На следующий день

Иоанна Щербиц в фильме «Барьер» Ежи Сколимовского.
*(Еженедельник «Фильм»)*

студент собирается жениться, и это его последний «холостяцкий» вечер. Оба они открывают в собеседнике сложный, притягательный мир. Много часов они проводят вместе — и расстаются.

«Барьер» — это полная экспрессии поэма о проблемах нашей современности,— писал рецензент еженедельника «Фильм»,— над которой все еще довлеет прошлое; это вызов, брошенный как молодому, так и старшему поколениям. В то же время — это тонкая психологическая повесть о любви двух молодых людей».

Главные роли в фильме исполняют Иоанна Щербиц и Ян Новицкий.

## РУМЫНИЯ

### ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА «РУМЫНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Исполнилось двадцать лет со дня выхода первого номера журнала «Румынская литература», который издается на английском, французском, немецком и русском языках. Журнал дает читателям обширную информацию о литературной и культурной жизни Румынии.

По случаю юбилея выпущен специальный, увеличенный в объеме номер «Румынской литературы». Помимо обычных информационных материалов и статей в нем опубликованы приветствия многих зарубежных деятелей культуры, в том числе советских писателей К. Федина, Л. Леонова, Ю. Смуула, Г. Маркова.

В приветствии Альберта Кана (США) говорится: «Ваше издание вызывает большой интерес к достижениям современной культуры вашего народа и дает представление о замечательных культурных традициях Румынии».

Сиро Судзуки (Япония) написал: «Поразительные успехи Румынии в области политического и экономического развития хорошо известны в нашей стране; успехи же, достигнутые в культурной области, явившиеся естественным результатом гигантского экономического прогресса, менее знакомы нашей публике. «Румынская литература» дает оперативную и многогранную информацию о новейших достижениях румынской культуры».

«Благодаря вашему изданию,— пишет Фрэнк Харди (Австралия),— я имею возможность следить за бурным развитием румынской литературы». А. Крипалани (Индия) прислал такое поздравление: «Нам доставляет удовольствие чтение этого журнала, который мы считаем интересным обзором искусств, культурной жизни и развития общественной мысли Румынии».

## СИРИЯ

### РАССКАЗЫ СЕЛЬМЫ АЛЬ-КУЗБАРИ

В дамасском издательстве «Атлас» недавно вышел сборник рассказов сирийской писательницы Сельмы аль-Хаффар аль-Кузбари «Чужая».

В своих произведениях Сельма аль-Кузбари уделяет внимание социальным проблемам Сирии, пишет рецензент журнала «Аль-Адиб». Она правдиво отображает общественную историю своей страны. По мнению рецензента, главную прелесть ее рассказов составляют лирические сцены.

Новый сборник писательницы отличается от ее прежних книг тем, что действие большинства его рассказов происходит не в Сирии, а в Аргентине и Испании, где она долгое время жила.

В рассказах много ярких картин из жизни аргентинцев и испанцев. Писательница описывает также жизнь арабских эмигрантов в Аргентине, их невзгоды, говорит об их горячем стремлении вернуться на родину.

## США

### «МАКБЭРД»

Молодая прогрессивная писательница Барбара Гарсон выступила недавно с сатирической пьесой «Макбэрд», которая заслужила похвалы видных писателей, поэтов и критиков. Пьеса Барбары Гарсон названием и содержанием пародирует шекспировского «Макбета», действие которого перенесено в наши дни. Остроумная переделка имен, не позволяющая никому привлечь автора к суду «за оскорбление личности», а также действия многих персонажей пьесы, проживающих в Белом доме, подвизающихся в Капитолии и напоминающих шекспировских героев, обусловливают, пишет рецензент еженедельника «Типлз уорлд», политическую остроту пьесы. Фразы в шекспировском стиле чередуются в пьесе с современным политическим жаргоном.

Герои Гарсон — Макбэрд и его супруга леди Макбэрд (намек на имя Ледибэрд Джонсон) и их две дочери... Леди Макбэрд занята тем, что, подобно леди Макбет, пытается устранить запах крови со своих рук, но с помощью... запаха цветов. Это, говорится в рецензии, откровенная издевка над кампанией, начатой женой президента Джонсона, цель которой — засадить шоссейные дороги Америки цветами. В пьесе так и говорится: леди Макбэрд пытается смыть с рук кровь, проливаемую во Вьетнаме, и по-

этому мечется по сцене с цветочными горшками.

Убийство старого короля осуществляется в открытой машине во время парада — автор намекает на событие, взволновавшее Америку.

Как пишет рецензент «Пиплз уорлд», автор «Макбэрда» по понятным причинам не может рассчитывать на постановку своей пьесы на Бродвее. По всей вероятности, пьеса пойдет в одном из театров вне Бродвея, где, как известно, ставится немало интересных и острых произведений.

### «ПЕСЕНКА ГОЛЛИВУДА СПЕТА...»

Известный американский кинорежиссер Джон Форд, ирландец по происхождению, обладатель шести премий «Оскар», во время пребывания в Париже дал интервью представителям печати. Он — автор многих фильмов, в том числе антирасистских, таких, как «Резня в Форт-Апаше», «Солнце светит всем» и «Черный сержант».

Форд вышел из себя, когда его спросили, знает ли он, что кое-кто находит в его творчестве расистские идеи.

— Я расист? Только идиоты или сумасшедшие могли это сказать! Я первый в Америке поставил антирасистские фильмы. В «Форт-Апаше»—трагедия индейцев. В «Черном сержанте» впервые показан негр-герой. Да в моих фильмах больше негров, чем во всей продукции Голливуда в целом. Я видел, как негры сражались и умирали, и считаю их полноправными американскими гражданами. Лучшие мои друзья—негры. Один из них живет в моем доме двадцать пять лет. Я родился в штате Мэн, где сегрегация уничтожена сто лет назад. Священник, который меня крестил, был негром, вольноотпущенным рабом. Я с теми, кто борется против сегрегации. Я расист? Ну нет!

Форд поделился своими творческими планами, которые он считает неосуществимыми:

— Я хотел бы написать книгу и поставить фильм об американской революции и о первой битве при Лексингтоне в 1775 году в войне Америки за независимость. Но продюсеры и слышать не хотят о фильме, в котором будут изображены Вашингтон и революция. Американцы не знают своей истории, и восемьдесят процентов наших граждан даже и не слышали об этой битве. Этот сюжет в Голливуде не пройдет еще и потому, что в нем нет эротики, без чего сейчас там невозможно делать фильмы. Большая часть кинематографистов моего поколения ушла из кино — их заставляли делать омерзительные фильмы. Песенка Голливуда спета, мировые столицы кино находятся теперь в Париже, Лондоне, Риме. В США же осталось только телевидение. После того, что я здесь сказал, мне больше не дадут работы в Америке, но мне плевать на это.

### НУЖНЫ ДЕЙСТВИЯ, А НЕ СЛОВА!

В американском журнале «Индепендент» («Независимый») появилась редакционная статья, в которой с гневом и болью говорится о преступной политике США во Вьетнаме.

«Во Вьетнаме совершается хладнокровное, безжалостное убийство,— сказано там.— Убийство без причины, убийство, которому нет оправдания. Убивают мужчин, женщин и детей... Все их преступление состоит в том, что они вьетнамцы. Это геноцид...

Совсем недавно, не сейчас, и не у нас, людей допрашивал международный трибунал по обвинению в геноциде, их повесили... Сегодня война — самый обычный бизнес. Вы играете в знаменитую американскую игру — накопление долларов. И плевать вам на то, что происходит где-то там, далеко.

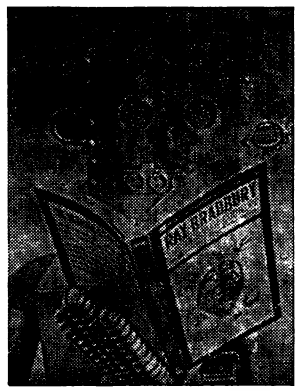
Ведь это же все вранье, не правда ли? Да и существует ли этот Вьетнам? Разве может быть такое место, где каждый пятый американец болен венерическими болезнями, так как мы превратили эту страну в публичный дом? Разве есть на земле такое место, где солдаты наших вооруженных сил пытают своих пленников перед телевизионными камерами и играют в такую, например, увлекательную игру: выталкивают вьетнамцев из самолета, летящего на большой высоте?..

Может ли Вьетнам существовать? Разве могут американские летчики рассказывать корреспондентам о том, что им нравится выкуривать вьетконговцев из их пещер, поливая их напалмом? «Мне нравится смотреть, как они горят,— сказал недавно один из офицеров военно-воздушных сил США интервьюировавшему его по телевидению английскому корреспонденту.— Мне просто нравится смотреть, как они горят».

Попробуйте взглянуть на все это со стороны.

Каждый день наше правительство хвастливо называет число женщин и детей, уничтоженных «нашими вооруженными силами». Даже у Гитлера хватало стыда не издавать ежедневного бюллетеня жертв.

---



Роботы, созданные воображением Рэя Брэдбери, обладают яркими, индивидуальными характерами, писал недавно рецензент еженедельника «Бук уик» в статье, посвященной творчеству этого известного американского писателя-фантаста. Стремясь подчеркнуть мысль рецензента, художник изобразил робота... читающим произведения Брэдбери.

Так должны ли мы утешаться словами вместо действий?!

Ваши предложения! Дискуссия открыта!»

## ФИНЛЯНДИЯ

### НЕ СОЗДАВАТЬ ЛОЖНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЙНЕ!

В течение шести лет роль солдата Лахтинена в пьесе «Неизвестный солдат» по одноименному роману Вяйне Линна, которая идет во «Вращающемся театре» Пюникки в городе Тампере, исполнял известный актер Вейкко Синисало. В новом театральном сезоне зрители не увидели его в роли солдата Лахтинена — он отказался ее играть.

В интервью корреспонденту газеты «Кансан уутисет» Синисало, мотивируя свой отказ от дальнейшего исполнения роли, заявил, что в инсценировке романа война показана почти как развлечение. «Для меня война никогда не станет веселым представлением: война—это кровь, слезы, вдовы, сироты...— заявил актер.— Я не намерен принижать значение романа «Неизвестный солдат», это подлинно художественное произведение. Но его инсценировка — насквозь фальшива. Те, кто участвовал в войне, сумеют увидеть ее несоответствие действительности. Но неискушенным она дает ложную картину войны. Сегодня это — актуальный вопрос. Ведь существует Вьетнам, существует угроза ядерного оружия... Нельзя создавать ложное представление о войне».

## ФРАНЦИЯ

### «ДЕРЕВНЯ»

Роман Раймона Жана «Деревня», выпущенный издательством Альбена Мишеля, посвящен событиям во Вьетнаме. Автор его несколько лет провел в этой стране, он посвятил книгу «вьетнамскому народу, его страданиям, его борьбе, его победе...» В газете «Юманите» Андре Стиль дает высокую оценку произведению: «Превосходная книга, продиктованная самой жизнью, подлинная от первой до последней строчки, как сама жизнь. Это одна из значительных книг нашего времени».

Повествование ведется то от имени самого автора, то от имени молодой женщины Ксуан, с которой писатель познакомился в свою бытность в Сайгоне. Книга начинается описанием мертвой деревни, в которой грудами лежат трупы детей, женщин, мужчин... «В этот день,— пишет автор,— американские самолеты сбросили на деревню много детских игрушек (по вьетнамскому календарю в этот день был большой праздник). Но прошло всего несколько часов, и все дети погибли при бомбардировке».

Раймон Жан не видел Ксуан десять лет и ничего не знает о ее дальнейшей судьбе. Но важно не это. Главное, к чему стремится автор,— ее глазами, через ее восприятие показать совесть, разум, сердце этой страны, ее народа во время войны. Ксуан, когда он видел ее, говорила народу о революции. «Могла ли она говорить о чем-нибудь другом? — спрашивает писатель.— Маловероятно. Вернее: все, что она могла сказать о цветах и плодах, о любви и смерти, о дне и ночи, о музыке и море, об Азии и Европе,— все для нее было революцией».

В ткани произведения органически переплетаются реальность и творческая фантазия, цитаты из газет, письмо «К моим американским друзьям» и вставные новеллы-притчи.

Книга заканчивается страстным призывом автора:

«Пусть вино возмущения опьянит всех людей!.. Придет день, когда все, кто согнулся под тяжестью насилия, угроз, страха, смертоносной агрессии, поднимут голову, встретят их лицом к лицу, бросят им вызов и победят!»

### СЧАСТЛИВАЯ НАХОДКА

Библиотекарь «Комеди франсез» Сильвия Шеваллей случайно обнаружила в связке рукописей пожелтевшую тетрадь, на которой прочла: «Кумушка. Комедия в одном акте для театра «Итальянской комедии», написанная г-ном Мариво. 1741 г.».

Действительно, это оказалась считавшаяся безнадежно потерянной рукопись пьесы известного драматурга и романиста XVIII в. Мариво, автора более тридцати комедий, большую часть которых он передал театру «Итальянской комедии».

Мариво — родоначальник любовно - психологической комедии, удачно названной одним французским критиком комедией «о нечаянностях любви», и своеобразного стиля, получившего впоследствии по его имени название «мариводажа», изобилующего утонченными шутками, неологизмами, когда герои в словесном поединке как бы соревнуются в изысканном остроумии.

Пьеса «Кумушка» представляет собой переложение для сцены второго романа Мариво «Удачливый крестьянин», где рассказывается история быстрой карьеры жизнерадостного и ловкого крестьянина Жакоба. «Кумушка» во многом отличается от классического «мариводажа»: автор дает в пьесе хлесткую сатиру на нравы и предрассудки парижской мелкой буржуазии. Но те, кто интересуется частной жизнью в XVIII веке, а также поклонники неподражаемого диалога Мариво будут удовлетворены»,— пишет Шеваллей.

Как эта пьеса, которую считали украденной или уничтоженной, оказалась в архивах театра «Комеди франсез»? Об этом можно только строить догадки.

Известно, что пьеса ни разу не ставилась. Постановка «Кумушки» с более чем 200-летним «опозданием» ожидается в «Комеди

французе» в начале будущего года.

## ЧЕХОСЛОВАКИЯ

### В ЗАЩИТУ ВЬЕТНАМСКОГО НАРОДА

В Праге состоялось собрание работников культуры и науки в защиту вьетнамского народа от агрессии империализма США. С речью на собрании выступил академик Ярослав Прушек, который, в частности, заявил: «Сегодня ни один честный человек не может проходить молча мимо вьетнамской трагедии... Я убежден, что ведущаяся во Вьетнаме борьба касается нас в такой же мере, как и французов и американцев. Это дело всех людей на земле. Мы протестуем против насилия, объектом которого стал сегодня вьетнамский народ, и солидаризируемся с твердой линией борьбы против бесчеловечной жестокости, которую ведут ныне лучшие сыны Америки, ее профессора, студенты, представители интеллигенции часто с риском для своей жизни и здоровья. Линия фронта, где ведется борьба за гуманизм, проходит теперь через все страны...»

Участники собрания работников культуры и науки направили письмо посольству Демократической Республики Вьетнам в Праге, в котором выразили свою солидарность с борьбой вьетнамского народа за независимость.

Одновременно собравшиеся послали протест посольству США в Праге, в котором сказано: «Мы осуждаем американскую агрессию во Вьетнаме, протестуем против присутствия войск США во Вьетнаме, который является точкой, где может вспыхнуть пожар мировой войны. Мы требуем немедленного прекращения бомбардировок Демократической Республики Вьетнам и вывода американских войск из Вьетнама.

Не может быть мира на земле без мира во Вьетнаме!»

## ЧИЛИ

### ПЕРВАЯ ПЬЕСА ПАБЛО НЕРУДЫ

В ближайшее время, как сообщает латиноамериканская печать, в одном из театров чилийской столицы Сантьяго будет поставлена пьеса «Хаокин Муриэта», написанная Пабло Нерудой. Любопытно, что Пабло Неруда не только никогда ранее не пробовал свои силы в драматургии, но всегда отрицал какую-либо возможность своих выступлений в этом жанре. Пабло Неруда рассказал корреспонденту уругвайского еженедельника «Марча»:

— Я работал над большой книгой любовной лирики, которую было назвал «Баркарола». И внезапно возникли эпизоды, которые никак не укладывались в рамки задуманной книги. Среди этих эпизодов—история Хоакина Муриэты, которая мало-помалу стала превращаться не то в трагедию, не то в мелодраму. Наконец я обнаружил, что неожиданно для самого себя написал произведение для театра...

Идея, легшая в основу этой недавно написанной пьесы, возникла еще много лет назад, когда во времена диктатуры Гонсалеса Виделы поэт жил в подполье, спасаясь от полиции, меняя каждую неделю свое убежище (Неруда рассказывает, что тогда он сменил более сорока конспиративных квартир).

Очутившись — в пору нелегальных скитаний — в небольшом поселке Чена, где, кстати, он завершил работу над своей знаменитой «Всеобщей песнью», Пабло Неруда как-то нашел старый номер американского географического журнала «Нэшнл джеогрэфик мэгэзин» со статьей о Калифорнии. Среди иллюстраций к статье была репродукция дагерротипа, изображавшего голову Хоакина Муриэты, выставленную на ярмарке.

— Я сказал себе,— продолжал Пабло Неруда,— ведь это же интереснейшая тема!..

Муриэта был чилийским авантюристом, деятельность которого развернулась в середине прошлого века в Калифорнии, во времена «золотой лихорадки». Пабло Неруда сказал далее корреспонденту:

— Эпоха «золотой лихорадки» окружена трагическим ореолом. Тогда две тысячи чилийцев отправились в Калифорнию. Хлеб, которым они питались, пекли из муки, привезенной из Чили... Эпоха насилия, атмосфера трагической поэзии. Муриэта сам по себе был романтической личностью, благородной и справедливой (своего рода Робином Гудом). Один из его друзей освободил и вооружил негров рабов и сражался вместе с ними против южан в гражданской войне... Муриэта погиб, а его голова была выставлена на ярмарке.

Пьеса Пабло Неруды представляет собой ораторию, в которую включены диалоги, хоры, песни, инсценировки. Музыка к пьесе принадлежит композитору Серхио Ортеге.

В заключение Пабло Неруда сказал:

— Никогда я не был приверженцем поэтического театра. Правда, существует испанская традиция—от Ло-

Пабло Неруда — дружеский шарж, опубликованный еженедельником «Марча».

*(Газета «Политика»)*

пе де Веги до Гарсиа Лорки,— но меня она никогда не увлекала. Мне всегда казалось, что в поэтическом театре, за редкими исключениями, чего-то не хватает. А сейчас я сам «попался». Как видите, никакой догматизм не может существовать долго.

## ЮГОСЛАВИЯ

### ПРЕМИЯ НЕГОША — МИРОСЛАВУ КРЛЕЖЕ

Как сообщает газета «Политика», литературная премия имени Негоша в этом году присуждена югославскому писателю Мирославу Крлеже за роман «Флаги».

«Жюри считает роман Крлежи «Флаги»,— говорится в сообщении,— выдающимся достижением современной югославской литературы. В нем писатель широкими мазками нарисовал целую историческую эпоху со всеми ее сложными социальными и нравственными проблемами. Основываясь на исторических фактах, Крлежа осветил важнейшие события, предшествовавшие распаду Австро-Венгерской монархии и образованию новых общественных и национальных отношений после первой мировой войны. Эпическая широта и монументальность — характерная черта этого значительного произведения современной литературы народов Югославии».

Известный писатель Михаил Лалич, входивший в состав жюри, заявил: «Я очень рад, что премия Негоша присуждена писателю, у которого я сам многому научился и которому многим обязан, писателю, чьим произведениям присущи три основные негошевские черты: пафос национально-освободительной борьбы, глубина мысли, огромная поэтическая и художественная выразительность». Роман «Флаги» печатался начиная с 1964 года в двадцати четырех номерах журнала «Форум».

## ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

### «НА РОДИНЕ И В ИЗГНАНИИ»

В 1961 году известный южноафриканский писатель Льюис Нкози, преследуемый правительством Фервурда, был вынужден покинуть родину и поселиться вначале в США, затем в Англии. Но и будучи в изгнании, он и как писатель и как редактор издающегося в Лондоне журнала «Нью африкэн» не прекратил борьбы против человеконенавистнических порядков, царящих у него на родине, за свободу и независимость африканских народов.

В недавно вышедшей книге «На родине и в изгнании», состоящей из двенадцати очерков, Нкози говорит о проблемах, волнующих африканских писателей, разоблачает лицемерную сущность апартеида, тепло вспоминает о своей работе в иоганнесбургском журнале «Драм» совместно с такими известными деятелями африканской культуры, как Артур Маймане, Эзекайл Мпашлеле и другими.

Значительное место в книге отведено впечатлениям писателя от пребывания в странах Запада. Америка быстро разочаровала его: надежды на то, что здесь его поймут, не сбылись. Жизнь на Западе убедила Нкози в том, что расовая проблема и здесь остается острой и злободневной.

## ЯПОНИЯ

### «ДЛЯ ЧЕГО СУЩЕСТВУЕТ ЛИТЕРАТУРА?»

С этим вопросом редакция журнала «Гундзо» обратилась к нескольким известным японским писателям.

Санэацу Мусякодзи ответил на него так: «В литературном творчестве для меня самое главное—писать правду. Или, во всяком случае, не писать неправду. И второе. Писать только тогда, когда хочешь сказать что-то важное. Если ничего важного нет, не стоит браться за перо ради того, чтобы просто поболтать с читателем. Литература — дело очень важное. Писатель через судьбу человека изображает судьбу всего человечества. Такая литература достойна уважения.

Крестьянин не выращивает сорной травы. Он выращивает хлеб насущный. Писатель не был бы писателем, если бы вместо пищи духовной давал людям сорняк».

Интересные мысли высказал в своем ответе Кэндзабуро Оэ. «Прежде всего мне бы хотелось коснуться проблемы социальной роли литературы,— сказал писатель.— Она встает совсем не потому, что литература в чьих-то глазах представляется бесполезной. Наоборот, общественная, социальная ее значимость — неотъемлемое ее качество.

Особенно важен социальный роман сейчас, когда мир сошел с ума. Впервые я подумал об этом лет пятнадцать назад, когда прочел сообщение о начале войны в Корее.

Сейчас, когда я пишу свои произведения, мною движет стремление выступить против темных и страшных сил, которые существуют в мире. Перестать писать — означает для меня прекратить эту борьбу, сдаться».

### НЕОЖИДАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Журнал «Гундзо» проводит ежегодные конкурсы начинающих литераторов. В число жюри входят видные японские писатели и критики: Сэй Ито, Сёхэй Оока, Мицуо Накамура, Кэн Хирано.

Результаты последнего конкурса оказались неожиданными.

На конкурс было прислано 802 рассказа и повести и 71 критическая статья. Ни одно из этих произведений не было премировано. Как пишет один из членов жюри, известный писатель Сэй Ито, это произошло не потому, что жюри слишком уж придирчиво отнеслось к присланным произведениям, а потому, что их уровень оказался слишком низким.

# Авторы этого номера

**АННА ЗЕГЕРС — ANNA SEGHERS** (род. в 1900 г.).

Произведения выдающейся немецкой писательницы Анны Зегерс (ГДР) завоевали широкое признание у советских читателей. Ее романы, проникнутые духом антифашизма — «Седьмой крест», «Мертвые остаются молодыми» и др.,— изданы на русском и на языках народов СССР. В нашем журнале были напечатаны ее повести «Человек и его имя» (№ 1, 1955), «Возвращение» (№ 6, 1957) и роман «Решение» (№№ 1—4, 1960).

Широко известна общественная деятельность Анны Зегерс, которая удостоена Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

Недавно вышла новая книга А. Зегерс «Сила слабых» («Die Kraft der Schwachen», 1966) — сборник рассказов, объединенных общностью замысла, два из которых — «Пророк» и «Поединок» — мы публикуем в этом номере журнала.

В разделе «Среди книг» (№ 10 за этот год) опубликована рецензия А. Дымшица «Чем люди живы» на эту книгу писательницы.

■

**ДАШДОРЖИЙН НАЦАГДОРЖ** (1906—1937).

Монгольский писатель, поэт, драматург и общественный деятель, один из основоположников современной монгольской литературы. На родине писателя широко известны его книга стихов «Четыре времени года» (вышла у нас в русском переводе), рассказы «Белый месяц и черные слезы», «Сын старого мира», стихи «Моя родина», стихи для детей, переводы стихотворений Пушкина.

Недавно в Монголии учреждена литературная премия имени Д. Нацагдоржа, которая будет присуждаться один раз в год за лучшее произведение на современную тему.

Стихи, которые мы публикуем в этом номере, были напечатаны в собрании сочинений Д. Нацагдоржа, вышедшем в Улан-Баторе в 1961 году.

■

**РАДОВАН ЗОГОВИЧ — РАДОВАН ЗОГОВИЋ** (род. в 1907 г.).

Циклом стихов представлен в этой книжке журнала известный югославский поэт Радован Зогович. В годы войны с фашизмом Р. Зогович был одним из видных деятелей партизанского движения. Духом освободительной борьбы проникнуты многие произведения поэта. Широкой популярностью пользуется его книга стихов «Упрямые строфы» («Пркосне строфе», 1947).

Р. Зогович также критик, публицист и переводчик, много сделавший для популяризации творчества Маяковского в Югославии.

■

**ДЖЕК ЛИНДСЕЙ — JACK LINDSAY** (род. в 1900 г.).

Известный английский писатель, автор многих романов, теоретических очерков и эссе. В русском переводе вышли его книги «Адам нового мира», «Весна, которую предали» (первая книга большой эпопеи о британском образе жизни). В последние годы писателем написаны романы «Восстание сыновей» («The Revolt of the Sons», 1960), «Куда катится мяч» («The Way the Ball Bounces», 1962), «Маски и лица» («Masks and Faces», 1963).

Статья Д. Линдсея «Гуманизм Ленина» получена редакцией в рукописи.

■

**ЮСУФ АС-СИБАИ**

Известный египетский писатель, генеральный секретарь Постоянного бюро писателей стран Азии и Африки выступает в этом номере со статьей «На пороге нового подъема», полученной редакцией в рукописи.

Перу Юсуфа ас-Сибаи принадлежат романы «Картина соответствовала оригиналу» (1951), «Земля лицемерия» (1956), «Водопос умер» (1956), «Дорога возвращения» (1957), «Нация» (1958) и др.

# СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ЗА 1966 ГОД (№№ 1—12)

## К 96-ой ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

**НЕ ЗНАЮЩИЙ РАВНЫХ СРЕДИ БОРЦОВ,** № 4.

## РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

**Абэ, Кобо** — Женщина в песках (Роман, Послесловие П. Палиевского), № 5.
**Амаду, Жоржи** — Мы пасли ночь (Роман), №№ 2—3.
**Андрич, Иво** — Запертая дверь. Повесть о соли (Рассказы), № 7.
**Ань Дык** — Родная земля (Рассказ), № 6.
**Бёль, Генрих** — Чем кончилась одна командировка (Повесть), №№ 11—12.
**Борхерт, Вольфганг** — В мае, в мае куковала кукушка. Цветок одуванчика (Рассказы), № 2.
**Вейс, Петер** — Судебное разбирательство (Оратория в одиннадцати песнях), № 5.
**Вукович, Чедо** — Предостережение (Рассказ), № 7.
**Грин, Грэхем** — Комедианты (Роман), №№ 9—10.
**Дюрренматт, Фридрих** — Обещание (Повесть), № 5.
**Зегерс, Анна** — Рассказы (из книги «Сила слабых»), № 12.
**ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЮГОСЛАВСКОЙ ПРОЗЫ,** № 7.
**Исакович, Антоние** — Человек и дерево (Рассказ), № 7.
**Каррера, Густаво Луис** — Венесуэльские новеллы, № 5.
**Кош, Эрих** — Лодки (Рассказ), № 7.
**Маринкович, Ранко** — Руки (Рассказ), № 7.
**Нгуен Динь Тхи** — В огне (Повесть), № 6.
**Нгуен Чунг Тхань** — Лес Са-ну (Рассказ), № 6.
**Неруда, Пабло** — Скитаясь по Вальпараисо... (Рассказы. Вступление Инны Тыняновой), № 7.
**Новак, Слободан** — Старуха Лукре не знала, что ей делать с деньгами (Рассказ), № 7.
**Отченашек, Ян** — Хромой Орфей (Роман), №№ 1—4.
**Папп, Ференц** — Под корнями (Повесть), № 9.
**Паризе, Гоффредо** — Хозяин (Роман), № 8
**Раду Попеску, Думитриу** — Новеллы, № 10.
**Сартр, Жан-Поль** — Дьявол и господь бог (Пьеса в 3 действиях, 11 картинах. Послесловие Самария Великовского), № 1.
**Сноу, Чарльз П.** — Коридоры власти (Роман), №№ 11—12.
**Стиль, Андре** — Сосед (Рассказ), № 3.
**Триоле, Эльза** — Великое никогда (Роман), № 7.
**Уормсер, Ричард** — Пан Сатирус в космосе (Фантастическая повесть), №№ 1—2.
**Усман, Сембен** — Почтовый перевод (Повесть), № 8.
**Уэст, Морис** — Посол (Роман. Послесловие Саввы Дангулова), № 6.
**Филипович, Корнель** — Сад господина Ничке (Повесть), № 11.
**Фриш, Макс** — Homo Faber (Роман), № 4.

## СТИХИ

**АМЕРИКАНСКИЕ ПОЭТЫ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ,** № 9.
**Андреевски, Цане** — Мир и мы, № 10.
**Ань Тхо** — Кукушка. Девушки плетут сети, № 6.
**Барзанджи, М.** — Патриоты Курдистана вьетнамскому народу, № 6.
**Барнет, Мигель** — История, № 1.
**Божилов, Божидар** — Лирические исповеди, № 1.
**Бранли, Роберто** — Родина, № 1.

**Брехт, Бертольт** — Стихи разных лет (К 10-летию со дня смерти), № 8.
**Ван Дай** — На марше. Солдатская куртка. Возвращение, № 6.
**Вешович, Радоня** — Свеча на его могилу. Эскиз памятника храбрости, № 10.
**Гилмор, Мэри** — Когда я родилась, отец услышал кулика, № 3.
**Гильвик** — Стихи разных лет, № 10.
**Гинзберг, Аллен** — Моя утренняя песня. Сутра подсолнуха, № 9.
**Гривель, Шарль** — Война показывает нам клыки, № 6.
**Дамбара, Кабвердиану** — Батуке, № 9.
**Дашкалуш, Алешандри**—Опустошение, № 9.
**де Орад, Педро** — 19 апреля, № 4.
**Дешлиу, Дан** — Стихи, № 9.
**Джафри, Али Сардар** — Но я вернусь!.. № 11.
**Ёниг, Вольфганг** — Триолеты воспоминаний, № 6.
**Жасинту, Антониу** — Поезд-каналья, № 9.

**ЖИЗНЬ ДЫШИТ, НАКОНЕЦ, СВОБОДОЙ!** (Стихи поэтов Кубы. Предисловие Нины Булгаковой), № 1.

**Зианг Нам** — Письмо в тыл, № 6.
**Зогович, Радован** — Из новой книги, № 12.

**ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ,** № 2.

**ИЗ ЮГОСЛАВСКОЙ ПОЭЗИИ,** № 10.

**Кардозу, Антониу** — Фруктовое дерево, № 9.
**Картер, Мартин** — Красота моей любимой, № 6.
**Катагири, Юдзуру** — Ненависть, № 6.
**Ким Чинь** — Героический Север, № 6.
**Краверинья, Жозе** — Моей матери, № 9.
**Кракар, Лойзе** — Рай, № 10.
**Лара, Алда** — Прелюдия. Завещание, № 9.
**Ле Ань Суан** — Встреча, № 6.
**Левертов, Дениза** — Сцены из жизни перечных деревьев. Музыка. Меррит-аллея. Под дождем, № 9.
**Лопес, Сесар** — Вернулся я, № 1.
**Лопиш Герра, Энрики** — Приди, касимбу, № 9.
**Майлс, Джуди** — Самосожжение, № 6.
**Мартинес, Мануэль Диас** — Тебе, любовь, № 1.
**Мартини, Овидиу** — Эмиграция, № 9.
**Матев, Павел** — В походе, № 3.
**М. Б. Шах** — Жатва стихов, № 8.
**Мелвингер, Ясна** — Никто не имеет права разрушать жизнь, № 10.
**Минатти, Иван** — С того мгновения, как я узнал ее... № 10.
**Младенович, Танасие** — Время. Между листвою и мною... № 10.
**Наварро Луна, Мануэль** — Ода Южному Вьетнаму, № 6.
**Нацагдорж, Дашдоржийн** — Четыре времени года и др., № 12.
**Негалья, Жонаш** — Мяч, № 9.
**Нуниш, Антониу** — Ритм песта, № 9.
**Озга-Михальский, Юзеф** — Из новой книги, № 10.
**Оно, Тосабуро** — Подводное землетрясение, № 6.
**Павчек, Тоне** — Плененный океан, № 10.
**Падилья, Эберто** — Во имя правды и любви, № 1.
**Перес, Рафаэль Альсидес** — Примета, № 1.

**ПЕСНИ, ВЫРВАВШИЕСЯ ИЗ АДА** (Стихи поэтов Анголы, Мозамбика и островов Зеленого Мыса), № 9.

**Посвятовская, Халина** — Вьетнам 1965, № 6.

**ПОЭТЫ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА,** № 6.

**Раичкович, Стеван** — Люди просыпаются без оружия, № 10.
**Ретамар, Роберто Фернандес** — Пока горит на берегу костер... № 1.
**Ромеро, Эльвио** — Партизаны Вьетнама, № 6.
**Сарайлич, Изет** — Письмо в 1941 год ленинградской девочке Тане Савичевой, № 10.
**Сепеда Варгас, Мануэль** — Пламя Колумбии, № 11.

**СЛОВО ПОЭТЕССАМ ВЬЕТНАМА,** № 6.

**Снодграсс, Уильям** — Апрельская инвентаризация. Отпуск на десять дней, № 9.

**СТРОКИ ГНЕВА И НАДЕЖДЫ,** № 6.

**Суан Куинь** — Деревья на дороге, № 6.
**Суман, Шивамангал Сингх** — Лирические стихи, № 7.
**Тауфер, Иржи** — О человеке, который зажигает погасшие огни, № 5.
**Тахмишчич, Хусейн** — Письмо из Грузии, № 10.
**Тейтельбойм, Дора** — Живой факел, № 6.
**То Хыу** — Зеленая рубашка, № 6.
**Уилбер, Ричард** — Событие. Развивая Ламарка. Мальчишка у окна, № 9.
**Утан, Тибериу** — Стихи, № 4.
**Фам Хо** — Шутливые строфы, № 6.
**Френо, Андре** — Стихи (Предисловие Самария Великовского), № 2.
**Фукагава, Мунэтоси** — Хиросимские пятистишия, № 8.
**Фурнаджиев, Никола** — Бдение, № 2.
**Хай Иен** — Звезды — глаза сына, № 6.
**Хамис, Файяд** — Что для вас поэзия? № 1.
**Ханг Фыонг** — Мама учится грамоте, № 6.
**Хоай Ву** — Гляжу на свое отраженье в ручье О-ри, № 6.
**Хоанг Тхи Минь Кхань** — Руки мои обессилят, устанут... № 6.
**Цэвэгмидийн, Гайтав** — Уничтожить войну! № 6.
**Чиарди, Джон** — Воспоминания о единственном стуле, № 9.
**Шопов, Ацо** — Озеро, № 10.
**Эль Индио Набори** — Элегия о Нгуен Ван Чое, № 6.
**Энценсбергер, Ганс Магнус** — Стихи мои — тени, № 10.

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

**Беккет, Сэмюел** — В ожидании Годо (Трагикомедия в 2-х действиях), № 10.

## ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

**Лорка, Федерико Гарсиа** (К 30-летию со дня смерти), № 9.
**Новые переводы из Лу Синя** — (К 30-летию со дня смерти), № 10.

**Шоу, Бернард** — Воскресенье на холмах Суррея (Рассказ), № 9.

## КРИТИКА

**Адамов, Аркадий** — Зарубежный детектив (Заметки писателя), № 10.
**Астуриас, Мигель Анхель** — Латиноамериканский роман — свидетельство нашей эпохи, № 9.
**Бурсов, Б.** — Г. В. Плеханов и наше время, № 7.
**Головин, Е.** — Программирование прекрасного, № 7.
**Гус, М.** — Об отчуждении действительном и мнимом, № 11.
**Дмитриев, В.** — Реализм и современная литература (По материалам дискуссии), № 5.
**Достал, Владимир** — Четыре романа о недавнем прошлом, № 2.
**Елистратова, А.** — Трагикомедия Беккета «В ожидании Годо», № 10.
**Затонский, Д.** — Homo Макс Фриш, № 4.
**Зверев, А.** — Место на земле, № 3.
**Кагарлицкий, Ю.** — Публицист или художник? (К 100-летию со дня рождения Герберта Уэллса), № 9.
**Карякин, Ю.** — О невинности и порочности дилетантства, № 7.
**Кин, Ц.** — Литературная алхимия, № 1.
**Книпович, Е.** — Свидетели, № 5.
**Ланина, Т.** — Маска и лицо человеческое, № 10.
**Ларин, С.** — Связь времен (Заметки о польском рассказе), № 12.
**Левидова, И.** — Об американской поэзии наших дней, № 9.
**ЛИТЕРАТУРА, ДОКУМЕНТ, ФАКТ.** Творческая встреча в журнале «Иностранная литература» (Выступления П. Палиевского, Ник. Атарова, Н. Павловой, А. Зверева, С. Ильинской, И. Бернштейн, М. Кораллова, Л. Козлова, С. Корытной, С. Великовского, Бор. Агапова), № 8.
**Мотылева, Т.** — Наследие Бехера сегодня, № 7.
**Пузиков, А.** — История и современность (О новых книгах французских писателей), № 12.
**РЕАЛИЗМ СЕГОДНЯ** (Анкета «Иностранной литературы»), № 12.
**Рзоунек, Витезслав** — Человек не одинок (Творческий путь Яна Отченашека), № 5.
**Харю, Итиро** — О герое японской литературы, № 4.
**Ясный, В.** — Большая проза Испании (Заметки о современном испанском романе), № 2.

## К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОМЕНА РОЛЛАНА

**Анисимов, И.** — Современность Роллана, № 7.
**ИЗ ПЕРЕПИСКИ РОМЕНА РОЛЛАНА И ЖАНА-РИШАРА БЛОКА**, № 11.
**Роллан, Ромен** — Из книги «Записки и воспоминания», № 1.

## ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

**Гильвик** — Поэт и социальный мир, № 10.
**Матуте, Ана Мария** — Гражданская война и писатели моего поколения, № 9.
**Минач, Владимир** — Парадоксы вокруг искусства, № 3.
**Ханчев, В.** — Тревоги и надежды вокруг поэзии, № 10.

## ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

**Даниэльсен, Эрик** — Торжество рассказа (Письмо из Дании), № 3.
**Лайтинен, Кай** — Год интересный, хотя и не богатый (Письмо из Финляндии), № 8.
**Лисон, Боб** — Книги хорошие и плохие (Письмо из Англии), № 10.
**Манолеску, Николае** — Новые вкусы (Письмо из Румынии), № 5.

## СРЕДИ КНИГ

### ИЗДАНО В СССР

**Абдуджаббаров, Т. и Хамидов, Х.** — Румынский писатель — сын пастуха-узбека, № 2.
**Азадовский, К.** — Поэзия жизни, № 11.
**Аксенов, Василий** — Непривычный американец, № 3.
**Атарова, К.** — «Не призрачный свет луны...», № 6.
**Бакланов, Григорий** — Сущая правда, № 12.
**Бершадский, Руд.** — Беспощадное перо, № 6.
**Губер, А.** — Героический народ непобедим, № 6.
**Добровольская, Ю.** — Исповедь конформиста, № 9.
**Дорошевич, А.** — Зеленеющее древо жизни, № 8.
**Друнина, Юлия** — Как совладать с ветром? № 2.
**Жирмунская, Тамара** — Тысячелетьям вопреки, № 7.
**Ильинская, С.** — Распахнуть железные ворота, № 8.
**Исбах, Александр** — Национальный герой Вьетнама, № 6.
**Кагарлицкий, Ю.** — Роман Мэри Шелли, № 1.
**Краснокутский, В.** — Дневник Жюля Ренара, № 3.
**Краснокутский, В.** — Победители, № 7.
**Левидова, И.** — Цельность и многообразие, № 1.
**Левик, В.** — Переводы Анны Ахматовой, № 10.
**Макаренко, В.** — «Честные люди земли — соотечественники», № 5.
**Макаренко, В.** — Честь и совесть Филиппин, № 12.
**Макиев, Валерий** — Суман, дочь таваиф... № 8.
**Малышев, М.** — «Каждый день зависит от нас», № 2.
**Новиченко, Л.** — Разговор о литературе социалистических стран, № 4.
**Обрегон Моралес, Роберто** — Эта поэзия мира сего, № 11.
**Огнетов, И.** — Они нужны людям, № 6.
**Опульский, А.** — В гуще героической народной борьбы, № 7.

**Радволина, Ида** — Бунтующий класс, № 5.
**Ронская, Г.**— «Грустные игрушки», № 9.
**Рубин, Вл.**— Как завести часы? № 9.
**Слуцкий, Борис** — История пощечин, № 3.
**Слуцкий, Борис** — Цыгане и жандармы, № 10.
**Солонович, Евг.**— Семеро под одной обложкой, № 2.
**Сухочев, А.**— В трудном пути, № 12.
**Турков, А.**— В стране Библа, № 12.
**Фейгина, Л.**— Зеркало жизни, № 1.
**Фейгина, Л.**— На земле Цейлона, № 9.
**Челышев, Е.**— Ткач из Бенареса, № 4.
**Черникова, С.**— Одна из многих, № 6.
**Шевелева, Екатерина** — Здравствуйте, Доан Тхи Дьем, № 6.
**Эйдлин, Л.**— Перо безжалостное и горькое, № 11.
**Эйдлин, Л.**— Чистота взгляда, № 6.
**Ярославцев, Геннадий** — Знакомство продолжается, № 11.

### РАБОТАЯ НАД ПЕРЕВОДАМИ

**Антокольский, Павел** — Встреча с Хо Ши Мином, № 6.
**Никулин, Н.**— Сказания вьетнамских гор, № 6.
**Штейнберг, Аркадий** — Благородство и человечность, № 6.
**Ярославцев, Геннадий** — «Царица вьетнамской поэзии», № 6.

### ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

**Балашова, Т.**— Мятежные нашего времени, № 8.
**Балашова, Т.**— Чтобы остаться человеком, № 2.
**Бернштейн, И.**— Исповедь пятидесятилетнего, № 9.
**Бочарникова, Е.**— Размышления Флориана Тота, № 9.
**Громан, Г.**— Прощальный свет, № 4.
**Достоевский, А.**— О способности вешать за ноги, № 2.
**Дымшиц, Александр** — Чем люди живы, № 10.
**Елистратова, А.**—Цена человеческой жизни, № 11.
**Жучкова, Галина** — Главный герой — революция, № 12.
**Зверев, А.**— Кто сеет ветер? № 10.
**Ивашева, В.**— Закат Британской империи, № 5.
**Ильинская, С.**— Акула среди людей, № 5.
**Калинникова, Е.**— Дань Нарайана древнему эпосу, № 11.
**Книпович, Е.**— «Актовый зал» Германа Канта, № 12.
**Ковальджи, Кирилл** — Два первенца, № 5.
**Константиновский, И.**— Новый талант, № 1.
**Ларин, С.**— Рассказы Славомира Мрожека, № 4.
**Левик, В.**— Антология русской поэзии, № 3.
**Мельников, А.**— «Литературные приключения» Моники Варненской, № 7.
**Мотылева, Т.**— О дешевом отчаянии, № 12.
**Мотылева, Т.**— Один взгляд, № 1.
**Наркирьер, Ф.**— Сотый номер «Маржиналь», № 3.
**Некрасова, Л.**— Голос Восстания и голос Свободы, № 2.
**Некрасова, Л.**— Граждане той нации, «которая будет существовать», № 7.
**Николаев, М.**— Емелька, царица Савская и Герберт Маршалл, № 9.
**Опульский, А.**— Поэзия воссоздания мира, № 10.
**Осенева, Е.**— Свидетельство, которому можно верить, № 12.
**Павлова, Н.** — Жизнь — смерть — жизнь, № 7.
**Пиотровская, А.**— Таким был Корчак, № 11.
**Померанцева, Е.**— Странствия Фрэнка Доули, № 10.
**Потехина, Г.**— Новая книга Сембена Усмана, № 8.
**Салганик, М.**— Два полюса: Тринидад и Англия, № 8.
**Сантакреу, Хосе** — Тема поэзии — Испания, № 1.
**Тертерян, И.**— История и патология, № 3.
**Тугушева, М.**— Из глубин ада, № 7.
**Урнов, Д.**— Шекспир как он есть, № 9.
**Фурнье, Шарль** — Истина об американской агрессии, № 6.
**Шатков, Г.**— Движение «Кларте» в Швеции, № 3.
**Яцковская, К.**— О сильных и добрых людях, № 11.

### КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

**ПОЭТЫ О ПОЭЗИИ**, № 3.

### КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

#### Заметки на полях зарубежных газет и журналов

**Александрова, М.**— Борьба и творчество, № 12.
**Алимжанов, Ануар** — «Лисьи хвосты» Робера Лаконтра, № 3.
**Андерс, Гюнтер** — Нюрнберг и Вьетнам, № 8.
**Аничков, Л.**— Важнейшее условие диалога, № 10.
**Бернштейн, И.**— Деловая, творческая атмосфера, № 12.
**Васильев, П.**— Президент Джонсон и две культуры, № 8.
**Владимиров, Н.**— За ясность понятий и четкость границ, № 7.
**Гривнин, В.**— Политика и литература, № 7.
**Карельский, А.**— Настало время... № 10.
**Млечина, И.**— Восстановить истинный образ поэта, № 12.
**Орлова, Р.**— Когда молчать нельзя, № 7.
**Разговоров, Н.**— Под созвездием LSD, № 3.
**Симонян, Л.**— Споры о реализме, № 1.
**Словесный, А.**— Африка, кино и... тачка, которую носят на голове, № 12.
**Тертерян, И.**— Культура — мост, а не стена, № 10.
**Толер, П.**— В поисках родимых мест, № 1.

## ПУБЛИЦИСТИКА


**Вальзер, Мартин** — Наш Освенцим, № 10.

**Видаль, Жан-Эмиль** — Вьетнам героический, № 6.

**Вюрмсер, Андре** — Свобода печати и печать свободы, № 5.

**Гамшик, Душан** — Обед с Аденауэром, № 9.

**Кайко, Такэси** — Агония укрепленного поста Бен-кат, № 6.

**Капоте, Трумэн** — Обыкновенное убийство (Документальная повесть), №№ 2—4.

**Кон, И. С.** — Личность и общество (Возвращаясь к проблеме отчуждения), № 5.

**К СЕВЕРУ И К ЮГУ ОТ 17-ой ПАРАЛЛЕЛИ**, № 6.

**Леви, Карло** — «Весь мед уже кончился» (Из книги о Сардинии), № 7.

**Линдсей, Джек** — Гуманизм Ленина, № 12.

**ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, ОТЧУЖДЕНИЕ** (Эрих Фромм, Гюнтер Андерс, Гарвей Сводос, Филипп Эвергуд, Аллен Хэррингтон, Льюис Мамфорд, Эрнест ван ден Хааг), № 1.

**Марушиак, Ондрей** — В стране нашего завтра (Чехословацкие писатели о Советском Союзе), № 3.

**Митфорд, Джессика** — Мотели для покойников, или Американский образ смерти, № 10.

**МЫ С БОРЮЩИМСЯ ВЬЕТНАМОМ** (Мастера культуры отвечают на обращение «Иностранной литературы»), № 6.

**Нгуен Кхай** — На острове Трав, № 6.

**Нгуен Туан** — И грабители, и нищие, № 6.

**Олдридж, Джеймс** — Расставаясь с иллюзиями, № 8.

**Праттико, Франко** — Два способа умирать, № 6.

**Салганик, М.** — На встрече в Баку, № 11.

**Старцев, А.** — Ленин и «Десять дней, которые потрясли мир», № 11.

**Стрельников, Борис** — Американская трагедия, № 4.

**Тер-Григорян, А.** — Волшебная палочка традиции, № 6.

**Фрезер, Роналд** — Фабрика новостей, № 12.

**Элисондо, Хосе Родригес** — О том, что я видел, № 6.


## ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ


**Бочаров, А.** — Современный герой в литературе, № 4.

**Затонский, Д.** — Немецкие писатели Праги, № 3.

**Караганов, А.** — Для тысяч или для миллионов? № 9.

**Мачавариани, Вл.** — В Бледе на конгрессе ПЕН-клубов, № 1.

**Петров, Валерий** — Африканский блокнот (Главы из книги), №№ 11—12.

**Твардовский, А.** — Речь на конгрессе Европейского сообщества писателей, № 1.

**ас-Сибаи, Юсуф** — На пороге нового подъема, № 12.

**М. С.** — На встрече в Баку, № 11.


## ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ


**Гойтисоло, Хуан** — Встречаясь с Хемингуэем, № 1.

**Майский, И. М.** — Дипломатия и культура, № 5.

**Маркович, Мирко** — Я знал Хемингуэя, № 8.


## ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА


**Дравич, Анджей** — К сердцевине жизни, № 9.


## ТЕАТР


**О'Нил, Джон** — На сцену выходит свобода, № 7.


## ЭКРАН И ВРЕМЯ


**Голд, Ли** — Новые волны, старые проблемы (Заметки обозревателя), № 7.


## КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»


**Дмитриев, Валентин** — Первая книга Эжена Потье (К 150-летию со дня рождения), № 9.

**Злыднев, В.** — Пенчо Славейков, № 5.

**Кожевников, Ю.** — Муза мести и печали (К 100-летию со дня рождения Джордже Кошбука), № 10.

**ПАМЯТИ И. И. АНИСИМОВА**, № 7.

**К ЮБИЛЕЮ ШОТА РУСТАВЕЛИ** (800 лет со дня рождения автора бессмертной поэмы «Витязь в тигровой шкуре»), № 9.


## НАШИ ГОСТИ


**Дашкевич, Юрий** — Посол Гватемалы (Мигель Анхель Астуриас в «Иностранной литературе»), № 11.

**Дашкевич, Юрий** — Поэзию — людям, на улицы! (Хорхе Саламеа в «Иностранной литературе»), № 10.

**Д., Л.** — Новое в румынской литературе (Ана Бландиана, Штефан Бэнулеску, Бен Корлачу и Матей Кэлинеску в «Иностранной литературе»), № 12.

**Зорина, И.** — «Я вырубаю из жизни своих героев...» (Сид Чаплин в «Иностранной литературе»), № 8.

**Кудрявцева, Т.** — Писатель-коммунист (Владимир Познер в «Иностранной литературе»), № 12.

**Кудрявцева, Т.** — Тореро — и смелый, и талантливый (Хуан Гойтисоло в «Иностранной литературе»), № 5.

**Л. А.** — «Самое главное для меня — это действие» (Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар в «Иностранной литературе»), № 9.

**Почивалова, С.** — Прошлое, настоящее, будущее (Али Сардар Джафри, Бонарсидас Чатурведи, А. Б. Раха, К. Н. Пишароти в «Иностранной литературе»), № 10.

**Симонян, Л.**— Контакты необходимы (Эва и Эрвин Штриттматтер и Генрих Бёль в «Иностранной литературе»), № 2.

**Симонян, Л.**— «Фантастические истории, в которых правда» (Макс Фриш в «Иностранной литературе»), № 9.

**Ткачев, М.**— Говорят писатели Вьетнама (Нгуен Динь Тхи, Нгуен Туан и Суан Зиеу — гости журнала «Иностранная литература»), № 2.

## ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

**БЕСКРАЙНЯЯ ПЕСНЬ ПОРТИНАРИ** (Вступительная статья Л. Новиковой), № 3.

**В ГОСТЯХ У ИБРАГИМА БАЛАБАНА** (Очерк Радия Фиша), № 5.

**ДАКАР, 1966...** Современные художники Тропической Африки (Очерк Г. Черновой), № 11.

**ИЗ РАБОТ ВЬЕТНАМСКИХ МАСТЕРОВ**, № 6.

**ИЗ РАБОТ РЕНЕ ПОРТОКАРРЕРО** (Вступление Павла Грушко — «Я зову вас в Старую Гавану»), № 10.

**Колпинский, Ю.**— Творчество Манцу, № 12.

**«ПОЮЩАЯ ЛИНИЯ»** (Рисунки Кришны Хеббара. Сопроводительная статья С. Потабенко), № 7.

**Пышновская, З.**— Герберт Зандберг — художник-публицист, № 9

**СОВРЕМЕННАЯ ГРАФИКА ГРЕЦИИ** (Сопроводительная статья Г. Петриса), № 8.

**СОЛ СТЕЙНБЕРГ — КАРИКАТУРИСТ-ФИЛОСОФ** (Сопроводительная статья В. Туровой), № 1.

**Цвейг, Арнольд** — Современность, запечатленная в гравюре (О творчестве Герберта Зандберга), № 9.

**Цигаль, В.**— В гостях у итальянского скульптора, № 12.

## ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

**Джемаль, Джаид** — Монголия сегодня (Художника представляет Константин Симонов), № 2.

## НАША ПОЧТА

**ЧИТАТЕЛИ О ЖУРНАЛЕ**, № 12.

**НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ**, №№ 2, 5, 10, 12.

**ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ** (Хроника), №№ 1—5, 7—12.

**АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА**, №№ 1—12.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ.**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Технический редактор **Л. Д. Богданова**

А 19265. Сдано в производство 8/X-66 г. Подписано к печати 24/XII-66 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=10 бум. л.; печ. л. 20. Зак. 3335.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394